

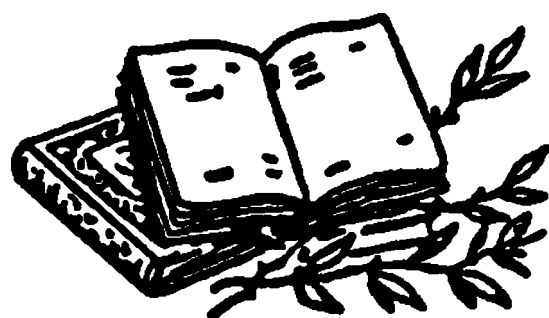
Сергей Снегов
ДИКТАТОР

«ТЕРРА» — «АЗБУКА»

Scan Kreyder - 03.07.2017
STERLITAMAK



БОЛЬШАЯ
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Сергей Снегов



СОЧИНЕНИЯ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том второй

ДИКТАТОР
Роман



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ТЕРРА»—«АЗБУКА»
1996

**ББК 84Р7
С53**

**Иллюстрация на обложке
© D. Mattingly, 1996.
All rights reserved.**

Снегов С.

**С53 Сочинения: В 3 т. Т. 2: Диктатор: Роман. —
СПб.: ТЕРРА—Азбука, 1996. — 688 с. — (Большая
библиотека приключений и научной фантастики).**

ISBN 5-7684-0129-6 (т. 2)

ISBN 5-7684-0127-X

Читателям представляется наиболее точное, сверенное по авторской рукописи произведение, уже опубликованное за рубежом, но впервые напечатанное в России.

Читатель с удивлением обнаружит в книге массу знакомых черт дня сегодняшнего и тем более поразится дару предвидения писателя, явственно различившего черты завтрашнего дня.

ISBN 5-7684-0129-6 (т. 2)

© С. Снегов, 1996

ISBN 5-7684-0127-X

© «ТЕРРА»—«Азбука», оформление, 1996

Часть первая
ПОРЫВ К ВЛАСТИ



1

Все гости входили пристойно — аккуратно открывали и прикрывали дверь в гостиную, сначала громко здоровались сразу со всеми, потом чинно обходили комнату, рукопожатствуя с каждым. Он не вошел — ворвался. И так хлопнул дверью, словно хотел с ней расправиться. И с порога крикнул нам:

— Это же безобразие! Я спрашиваю — как это вам понравится?

В эту минуту я увидел его впервые. Впоследствии я научился отделять его внешность от характера, но тогда меня поразило, насколько облик ворвавшегося в комнату человека не координируется с его поведением. Сейчас портреты Гамова висят в миллионах квартир — никого не удивить подробным описанием его облика. Но, повторяю, меня поразила не внешность Гамова, в общем, вполне ординарная — невысок, широкоплеч, крупноголов, туловище плотное, ноги коротковаты, руки еще короче, — а именно то, что обыденнейшая внешность никак не гармонировала с необыкновенной манерой вести себя.

— Алексей Гамов, по профессии — астрофизик, по душе — отпетый философ, по натуре — взбесившийся бык, — сказал Павел Прищепа, инженер моей лаборатории. Павел привел меня на “четверг” у Готлиба Бара, пообещав, что встречусь с интересными людьми и наслажусь умными разговорами в смеси с безумными выходками. Не знаю, относил ли Павел красочное появление Гамова к обещанным “безумным выходкам”, но Гамова он обрисовал точно, в этом ныне не сомневаюсь.

Готлиб Бар, “хозяин четверга”, знаток литературы, ироник и циник, один отозвался на громкое воззвание Гамова:

— Один мой приятель сработал пьеску и назвал ее: “Как вам это понравится?” Он подразумевал, что ни пьеса, ни зрители, которые будут ее хвалить, ему самому ни капельки не нравятся. У меня такое же отношение — не нравится. Удовлетворил мой ответ?

— Еще меньше, чем пьеса твоего приятеля! — Гамов плюхнулся в кресло, вытянул ноги и энергично хлопнул себя по коленям короткими, сильными руками — этот жест я часто потом видел у него в минуты, когда он бесился — видимо, давал выход чувствам. — Догадываешься, почему? Ты же не знаешь, о чем я спрашивал.

— Не знаю, — согласился Бар. — Но какое это имеет значение? Что бы ты ни имел в виду, ответ может быть только в двоичном коде: да либо нет. Слово “нравится” мне нравится гораздо меньше, чем “не нравится”. Ибо и в совершенстве есть изъяны, и на солнце есть пятна. “Нет” всегда обоснованней, чем “да”. Вот почему отвечаю спокойно: нет!

Гамов вдруг стал очень серьезен. Он был мастер на внезапные переходы от возмущения к добродушию, от бешенства к спокойствию, от равнодушия к ярости. Мгновенные перемены настроений входили в систему приемов, какими он сражал противников.

— Значит, не дошли последние сообщения, — сказал он. — Так вот — Артур Маруцзян выступил с новой речью. Он обещает помощь Патине против Ламарии в их вековечном трагическом споре о каких-то трех вшивых пограничных деревеньках. Завтра начнется всеобщая война.

— Уж и война! Да еще мировая! Допускаю, пара стычек патрулей, три раненых, один убитый... Большого споры патинов с ламарами и не стоят.

— Война! Мировая! Завтра! Не ухмыляйся. Говорю, не говорю — кричу: завтра война! И всем нам — крышка! Всему миру — крышка!

Он, конечно, не кричал, но постарался, чтобы голос звучал выразительно. Он с вызовом оглядывал гостей Бара. Теперь я должен сказать и о них, многие сыграли роль в последующей драме. Кое-кого я знал и раньше, иных видел впервые. Среди незнакомых выделялся рослый, жилистый, длиннорукий, с аскетическим лицом Джон Вудворт, кортезианец, лет десять назад переселившийся в Латанию и объявивший, что наконец нашел родину по душе. Это не мешало ему, как я сам потом слышал, гневно ругать наши порядки и восхвалять Кортезию, которой он изменил. Правда, было известно и то, что на старой родине он не рассыпался в похвалах и ей. Он был из людей, каким видится хорошее лишь там, где их нет.

Второй незнакомец, Аркадий Гонсалес, преподаватель истории искусства, знаток древней живописи, казался сошедшим с одной из старых картин, сменившим одежду на современную. Узколицый, остроносый, со щеками такой нежной окраски, с талией, столь тонкой, с кистями рук, столь маленькими, что, переоденься он женщиной, никто бы не догадался, что перед ним фанатик жестокости и силач. Все это я узнал о нем после, а в тот вечер только любовался им — он был незаурядно красив.

Зато третий незнакомец, Николай Пустовойт, желания любоваться им отнюдь не вызывал. О таких, как он, говорят: “Отвортясь — не насмотришься”. Я не хочу сказать, что он был уродлив, фигура и лицо выглядели нормально, а в целом складывалось впечатление, что он некрасив. Вероятно, это происходило от несимметричности — на крупном теле сидела на длинной шее маленькая голова, а на маленьком лице торчал чрезмерный нос, мощно нависающий над столь же чрезмерным толстогубым ртом. Было время, когда его изображения часто передавались по стерео и печатались в газетах, необычный облик постепенно перестал удивлять. Но в тот первый день знакомства я запомнил только огромный нос над широким — за щеки — красным ртом, все остальное на лице терялось. И от крупного телом да еще такого мощноротого Пустовойта, ожидался голос громкий и повелительный, во всяком случае четкий. А он говорил тихо и невнятно, почти смиренно, он был добрым и мягким, этот странный голос Николая Пустовойта, в тот момент бухгалтера строительной конторы, а впоследствии могущественного министра Милосердия — как много, как бесконечно много отчаявшихся людей протягивали к нему руки за помощью! Сейчас я знаю, что из всех внешних черт Николая Пустовойта только его тихий, его добрый голос истинно отвечал характеру.

Об остальных гостях Готлиба Бара говорить не буду, они сами заговорят о себе в назначенное время; но о “хозяине четверга” сказать нужно. Кстати, о забавном прозвище. Оно возникло из его литературных увлечений. Он говорил, что какой-то писатель — я его не читал — опубликовал роман под удивительным названием “Человек, который был четвергом”. “Я, конечно, не четверг, — важно говорил о себе Бар, — но раз уж собираю вас у себя на четверговые встречи, значит, хозяин четверга — наименование точно отвечает моему значению в вашей компании”. И хохотал, упоенный хлестким прозвищем. Любовь к позе

было главное в нем, впоследствии моем друге и помощнике. И он искренне считал себя значительней всех нас, ибо умел о любом факте высказать два противоположных мнения — и каждое убедительное. Но сразу же отмечу, что этот софист и ерник, в тот момент лишь главный инженер моторостроительного завода. Готлиб Бар, глубже нас всех вникал в практические дела, куда шире нас выискивал бездны возможностей в каждой проблеме. По профессии инженер, он в глубинной природе своей был государственным организатором. И не подозревал об этом, пока ему чуть ли не силой раскрыли, кто он.

Жена Бара, безликая женщина, вкатила столик с чашками, самоваром и печеньем и тут же удалилась. Я в тот вечер не рассмотрел ее. Впоследствии я сотни раз видел его жену, но так и не запомнил ее облика. Вероятно, нечего было рассматривать. Она возникала, что-то делала и исчезала. Все остальное, кроме того, что она возникает и исчезает, не имело значения.

Николай Пустовойт налил себе чаю, схватил печенье — и, звонко хрустя им, заговорил:

— Патины вечно ссорятся с ламарами, но почему война?

Гамов ответил с прежней энергией:

— Потому что ваш любимый вождь, ваш ошалелый дурак, ваше ничтожество Артур Маруцзян обещал сегодня помощь патинам в их пограничных спорах. А патины этим завтра воспользуются.

— Зачем ты так? — с обидой произнес Пустовойт. — Ты же знаешь, я не максималист. Трудно, очень трудно говорить с тобой!

Он отвернулся от Гамова. Эстафету спора перехватил Вудворт.

— А я буду говорить! — сейчас Вудворт возмутился не на шутку. — И не позволю так отзываться о Маруцзяне. Я максималист, лидер моей партии мною высоко чтим. Я не знаю другого такого же...

— ...Дурака и ничтожества, — хладнокровно повторил Гамов. — К сожалению, по-иному назвать вашего лидера не могу. Теперь у вас две возможности, Вудворт: вызвать меня на дуэль либо написать на меня донос. Вызывать не советую: стреляю без промаха — сто раз проверено на испытаниях. На дуэли все шансы на моей стороне.

— Есть еще третья возможность, — гневно отрезал Вудворт. — Прекратить всякое знакомство с таким человеком, как вы, Гамов.

И он решительно отошел от Гамова. Гостиная в трехкомнатной квартире Бара была просторная — на три кресла и шесть стульев. Вудворт прихватил кружечку чая и уселся в дальнем углу, демонстрируя равнодушие ко всему, что еще произойдет. Гамов проводил Вудворта насмешливым взглядом. На Гамова насел Бар.

— Все, что ты нам наговорил тут, — вздор! И я это докажу.

— Ты все можешь доказать — и что черное бело, и что белое черным-черно.

— Ограничусь пока тем, что белое — бело. Отвечай — можно ли начать большую войну без подготовки? Без накопления материальных ресурсов, резервов оружия, без скрытой мобилизации?

— Невозможно. Ну и что?

— А то, что такой подготовки нет. Мы ее не видим, а ведь ее скрыть невозможно. Тебя это не убеждает?

— Убеждает в том, в чем я давно убежден: если Маруцзян и маршал Комлин начинают большую войну, предварительно к ней не подготовившись, то им нельзя управлять страной. Нас сокрушат.

Бар обратился к молчаливому Казимиру Штупе, военному метеорологу, я с ним встречался в семье Павла Прищепы. Генерал Леонид Прищепя, отец Павла, по должности соприкасался с метеорологической службой и благоволил к молодому ученому. Павел с ним дружил.

— Надеюсь, Казимир, вы не выдадите государственных секретов, если скажете, есть ли изменения в режиме метеорологических станций? Судя по тому, что небо безоблачно и ветры не рыщут по равнинам, больших нарушений погоды не ждать? Я верно оцениваю обстановку?

Штупа пожал плечами. Изменения в погоде могут произойти ежечасно. Можно говорить лишь о запланированной стабильности климата, но не о постоянстве ветра или дождя. Опасных нарушений метеообстановки пока не происходит. И особых мер по сохранению климата не предписано. Кстати, на ближайшие двое суток планируется отличная погода.

— Ты слышал, Гамов? — Бар любил побеждать в словесных перепалках и умел это делать. — Нарушений климата не пред-

видится, а без этого крупная война невозможна. В старину обходились шествованием пехоты и наступлениями бронетанковых армий. Современная добротная война — это, прежде всего, жестокая метеосхватка. Разве не так?

Гамов снова переменялся — согнулся в кресле, криво усмехаясь. Он вдруг словно бы постарел на десяток лет. Он не мог создать в себе такую перемену искусственно. Его искренно терзали страшные предчувствия грядущих событий.

— Добротная война? — сказал он горько. — Бессмысленная, так правильней. Преступление перед человечеством, какого еще не бывало!

— Все войны по-своему преступны. Ибо приводят к гибели невинных и непричастных людей. Ты это хотел сказать?

— Бессмысленная война, — повторил он. — Много было войн в истории, в некоторых имелся свой смысл. А в той, что разразится, смысла нет. Она бесцельна и потому преступна.

До этой минуты я только молчал и слушал. У меня не было своего мнения по предмету спора. Я еще не думал, скоро ли война, будет ли она вообще. Великие события мира от меня не зависели. Но мысль о бессмысленности новой войны меня заинтересовала. Я попросил объяснения.

Гамов ответил лекцией. В ней уже были те идеи, с какими он впоследствии обращался ко всему миру. Но в тот вечер я не был к ним подготовлен. Я был пронизан традиционными воззрениями на войну, как на продолжение государственной политики. В музее я видел на старинной пушке отлитое красивой вязью изречение: “Последний аргумент королей”. Королей уже мало осталось. Но их “последний аргумент” по-прежнему пребывал самым веским для сменивших венценосцев председателей и президентов. Много в речи Гамова показалось мне либо блажью, либо любовью к парадоксам.

Зато ее пафос увлек. С того вечера многие миллионы людей — и друзья, и враги — многократно слышали Гамова, не на одного меня он действовал не только мыслями, но и тем, как высказывал их. Он умел убеждать, ибо сам был безмерно убежден. От его голоса, от силы его слов надо было либо заранее готовиться защищаться, либо безвольно покоряться их действию. Но я впервые слышал его речь, не реплики в споре, не игру в словесные парадоксы — и не подготовил защиты. Меня наполнила страсть, негодование и боль, возмущение и сострадание, не сопровождавшие, рассказ о войнах, что уже были, и о войне,

что готовилась, нет, повторяю, не сопровождавшие, а возникавшие как что-то неотделимое от мысли и слов. Я всем в себе резонировал на речь, так, наверно, горячая молитва верующего порождает в нем самом ответный словам поток столь же горячих чувств. Гамов потом говорил, что я не только верный его последователь, но и первый из учеников. Сомневаюсь, что в тот вечер у Бара я уже стал его последователем. Но что психологически готов был стать им, убежден абсолютно.

После речи Гамова стало неинтересно говорить о чем-либо другом. Чай был допит, печенье съедено. Вновь появилась призрачная жена Бара и убрала столик с опустошенным самоваром. Мы начали расходиться. Первыми ушли Павел Прищепа с Казимиром Штупой. Только хмурый Джон Вудворт еще не поднимался с кресла, когда я оделся. Я вышел вместе с Гамовым. Над землей сияла полнозвездная ночь.

— Нам по дороге, — сказал Гамов. — Почему вы так всматриваетесь в небо, Семипалов?

— Давно не видал яркого ночного света. Наверху устроили торжественный пленум звезд. Все светила на месте, ни одно не прикрыто облачком.

— Все светила на месте... — рассеянно повторил он.

На великолепно иллюминированном небе сверкала белая Вега, неподалеку тонко сияли Плеяды, летящая коляска Кассиопеи стремилась захватить в свои недра сверкающих соседей, уже склонялась к горизонту горбатая Большая Медведица. И, расплескав могучие крылья, звездный Орел тремя ярчайшими светилами бурно мчался по небу прямо на Вегу. Небо всем своим блеском безмолвно свидетельствовало о спокойствии в мире.

Мне захотелось подразнить Гамова.

— Гамов, звездное небо доказывает безопасность. Не похоже, чтобы готовилась война.

Он вдруг остановился, с ним это случалось часто — внезапно замирать во время ходьбы.

— Красота этого неба свидетельствует не о безопасности в мире, а о беспечности наших руководителей. Они не понимают, какую кашу заваривают. Уверен, что в эту минуту на всех метеогенераторных станциях Кортезии спешно форсируются режимы.

— У нас договор с ними о плановой эксплуатации циклонов.

— Плюют они на договоры! А если сегодня еще не плюнули, завтра плюнут! Вы главного не понимаете, Семипалов: корте-

зы — хищники, а мы — дураки! Они ждут лишь повода, чтобы напасть. В такой момент объявить о поддержке патинов!..

— Патины наши союзники...

— Союзники! А какая нам польза от союза? Добро бы они только прикрывались нашей широкой спиной... Но патины воинственны не по реальной силе! Вилькомир Торба, напыщенный индюк, втравит нас в драку с Кортезией ради своих крохотных интересов. Заставит нас воевать, а при первом поражении сразу изменит.

— Вы пессимист, Гамов. Такое неверие в союзников!

— Я реалист и не дурак!

Я потянул его за руку. Не терплю, когда ни с того ни с сего вдруг останавливаются на улице. Он очнулся и зашагал. Теперь он шел так быстро, что я еле поспевал.

— Куда вы торопитесь, Гамов?

Он не сбавил шага.

— Не могу идти медленно, когда думаю. И не люблю ночных улиц. Столько дряни выплескивается наружу. Каждую минуту ожидай бандитя. Стараюсь обходиться без поздних прогулок.

Хулиганов, и вправду, в городе становилось все больше. Полиция поддерживала сносный порядок лишь на центральных проспектах, а Готлиб Бар жил на окраине.

Несколько минут мы шли молча. Потом увидели впереди двух женщин. Они обернулись, разглядели, что мы приближаемся, и ускорили шаг. Гамов засмеялся, его позабавило, что нас приняли за хулиганов. Он сбавил ход, расстояние между нами и женщинами стало увеличиваться. На новом повороте улицы мы перестали их видеть и сейчас же услышали крики. Я оглянулся — нет ли поблизости полицейского или других прохожих. Гамов толкнул меня в плечо.

— Бегом! Не стойте как истукан!

Он так рванулся вперед, что я лишь за поворотом нагнал его. На улице женщины вырывались из кольца обступивших их пятерых парней. Двое зажимали одной из них рот и тащили с собой, вторая, не переставая кричать, отбивалась от остальных. Увидев нас, от группки отделился самый рослый — и схватился с Гамовым. Двое парней кинулись на меня, двое продолжали возиться с женщинами. Мои противники были из зверья, бравшего многолюдством стаи, но не умением драться. Одного я ударил ногой в пах, он завертелся и заверещал, сжимая живот, и

выбыл из схватки. Второй был проворней и сильнее. Он парировал мой выпад, а от его удара в голову я еле устоял на ногах — здания, как живые, вдруг запрыгали перед глазами. Я прислонился спиной к стене. И в это мгновение услышал дикий вопль, потом звериный визг. Я нанес своему противнику удар в плечо, он охнул и отшатнулся — и, на несколько секунд освобожденный, я увидел, что Гамов и его враг катаются по мостовой. Противник Гамова был на голову выше его, успел выхватить нож, но Гамов повалил его наземь, обеими руками выкручивал руку с ножом, а зубами впился ему в подбородок. Даже в малярном бреду не вообразить зрелища чудовищней — страшно выкаченные глаза обоих, выкручиваемая рука с ножом и залитый кровью рот Гамова, грызущего подбородок парня. Тот отчаянно старался свободной левой рукой оторвать от себя Гамова, но не мог и визжал и выл звериным воем.

Парни, возившиеся с девушками, поняли, что драка пошла нешуточная, и поспешили на помощь своим. На меня навалились опять двое, третий, стараясь вызволить высокого балбеса, выдиравшегося из мертвой хватки Гамова, тоже выхватил нож, но все не мог пустить его в ход, два тела на земле дергались и взбрыкивали так, что он боялся попасть в своего. Пятый, выключенный ударом в пах, тяжело стонал и все не отрывал рук от живота.

Оба моих противника ножей не вытащили — одолевали силой. Но из-за поворота вдруг вырвался Джон Вудворт.

— Держитесь! Иду! — кричал он, набегая.

В следующий миг один из моих противников отлетел и ударился головой о стену. Второй согнулся под тяжким кулаком Вудворта, и я его срубил наземь. Оба тут же вскочили и удрали. Мы с Вудвортом бросились к Гамову. Парень, крутившийся вокруг двух катающихся тел, тоже пустился наутек, когда мы кинулись к ним. На месте остались два поверженных врага: мой первый противник, не отрывавший обеих рук от паха, и верзила, приподнявший голову и рукой ощупывавший окровавленное лицо. Он уже не визжал, а в голос плакал и твердил:

— Разве так можно драться? Разве так можно драться?

Гамов, встав с нашей помощью на ноги, сразу успокоился. Я еще не привык в ту первую встречу к мгновенным переменам его состояний — и меня поразило, как быстро он перебросился от звериной ярости к почти безмятежному хладнокровию. Он аккуратно вытер залитое чужой кровью лицо, дико выкаченные

еще минуту назад глаза глядели уже спокойно, почти весело. Он протянул руку Вудворту.

— Вы нас выручили. Благодарю.

Вудворт без охоты взял руку Гамова. Он еще не забыл их резкий спор у Бара. Он был не из отходчивых.

— Что делать с подонками? — Он показал на парней.

— Сдадим в полицию, там дознаются и о сбежавших друзьях, — предложил я.

— Отпустим, — решил Гамов. — Что им полиция? Каждый не раз прохлаждался в полицейских камерах. Но я раньше поговорю с ними. Вставай! — приказал он, толкнув ногой лежащего.

Мой противник, еле держась на трясущихся ногах, уже не стонал и не прижимал руки к животу, но опухшее лицо и безумные глаза показывали, что боль от жестокого удара не проходит. А верзила, дравшийся с Гамовым, выглядел еще хуже — лицо было залито кровью, правая рука повисла. И он все твердил с рыданием:

— Разве так дерутся? Руку выломал, рожу перекусал, как бешеная собака... Люди вы или не люди? Так же нельзя драться!

— Замри! — велел Гамов. — Не испускай скверных звуков. Слушайте меня, остолопы. Моя фамилия Гамов. Запомнили? И если когда-нибудь увидите меня издали — бледнейте, теряйте голос — и бежать! Понятно?

— Отпустите, в больницу надо! — простонал мой противник.

— Бледнеть, терять голос — и бежать! — повторил Гамов свой странный приказ. Ни я, ни Вудворт понятия не имели, какую грозную правду грядущих действий предвещают его слова. Гамов стал впадать в новое бешенство. — Кому велел потерять голос? Не плакать и не охать! Всем в стае передать: иду на вас, трепещите! Теперь наутек!

Наутек оба парня не бросились, но и задерживаться не захотели. Гамов засмеялся, глядя, как они ковыляют. Мы с Вудвортом переглянулись, Вудворт пожал плечами.

— Нагнали на них страха! — с удовлетворением сказал Гамов. — Они теперь будут бледнеть и неметь, услышав о нас.

— О вас, — холодно поправил Вудворт. — Вы называли только свою фамилию. Впрочем, ваша ярость в схватке, а также умение нашего друга Андрея Семипалова драться, — он церемонно поклонился мне, — произвели на наших противников гораздо больше впечатления, чем ваши театральные приказы.

Гамов возразил — и серьезней, чем следовало бы по обстоятельствам схватки с уличными хулиганами:

— Вся наша жизнь, дорогой Вудворт, игра на подмостках истории. А в игре слова бьют сильнее обуха и ранят больней ножа. Слово есть дело — и грозное дело, доложу вам! — Он добавил с раздражением: — Председатель вашей партии сегодня произнес несколько слов — и потратил на них ровно столько усилий, сколько нужно, чтобы выдохнуть из легких немного скверного воздуха. А слова его станут грохотом машин, огнем и пеплом, смертями женщин и детей. Убийственным ураганом пронесутся эти слова по несчастной земле.

— Вы уже говорили на эту тему у Готлиба Бара, правда, не столь выпренно, как сейчас, — недружелюбно возразил Вудворт. — Разрешите мне удалиться.

И, холодно кивнув, он направился к перекрестку улиц, откуда выбежал на шум драки. Он не придавал значения ни разговору Гамова с двумя хулиганами, ни его мрачному восхвалению могущества слова. На меня яркие слова действуют сильнее, чем на Джона Вудворта, но и я даже отдаленно не представлял себе, что может реально стоять за сценой, разыгранной Гамовым. Не знаю, предугадывал ли он сам, какие страшные кары обрушит впоследствии на тех, кого назвал “уличным бандитом”, какую пропишет тягостную судьбу отребью общества. Но что в сокровенном своем желании способен на такие действия, думаю, о себе знал ясно. Я на подобную проницательность, равнозначную прозрению, способен не был.

Зато меня потрясла (это сильное слово — единственно точное) драка Гамова с парнем, замахнувшимся на него ножом. Картина схватки не лезла ни в какие рамки. Бандит, рыдавший: “Так не дерутся!”, был прав. Так в наше время никто не дрался, да и раньше тоже. Привычная, освященная обычаем драка протекает иначе: ну, обмениваются бранью и проклятьями, ну, наносят друг другу — сама фразеология чего стоит: друг другу, а не враг врагу — кулачные удары, ну — последний аргумент хулигана — втыкают друг в друга ножи. Все просто! Я снова и снова вспоминал: Гамов был в неистовстве, его палила дикая ярость, трясло вдохновение ненависти — такие эмоции уличной драке несоразмерны! Я вдруг вспомнил древнего полководца, перед решающей битвой наставлявшего своих солдат: “Бейте дротиком в лицо, а не в грудь и не в живот. Враги знают, что раны и смерть в бою возможны, заранее идут на это, но уродст-

во для молодых вражеских всадников непереносимо, они будут отшатываться перед копьями, а не бросаться на них.” Тот полководец, конечно, победил, но он сражался за владычество над миром, да к тому же у его врагов было вдвое больше войска, для победы требовались ухищрения. Но за что боролся Гамов? Почему такое исступление?

На следующем перекрестке Гамов остановился.

— Вам направо, мне налево. Мы провели нехороший вечер — и поспорили, и подрались, и можем спать в ожидании какого-то завтра.

— Вечер был нехорошим, вы правы, — сказал я. — Против спора ничего не имею, но драка меня не восхитила. До отличного завтра.

— Я не верю в хорошее будущее, — буркнул он и ушел.

Я медленно двигался по ярко освещенной пустой улице. Было еще не поздно, только перевалило за полночь, но город словно вымер. Волчьи стаи хулиганья владычествовали в ночные часы — жители рано запирались в квартирах. Я не опасался нового нападения: хулиганы поделили между собой городские районы, одна шайка не совалась во владения другой. Мы проучили пятерых местных, а других не ждать. И я поднимал голову, любовался небом — звездный мир ликовал, вселенная предавалась какому-то величественному торжеству. Из-за крыш выдвинулся Орион, в нем красно калился Бетельгейзе, белокалильно пылал Ригель. И ярчайшая звезда неба, великий Сириус, медленно приподнимался над зданиями. Меня охватил восторг, так был прекрасен, так невыразимо прекрасен мир, который мне сподобилось видеть!

Я не торопился. Дома меня никто не ждал. Жена уехала на лето к своему отцу. Я не был уверен, что она вообще вернется. Перед отъездом она сказала, что лучше жить одинокой, чем иметь мужа, реально его не имея. Я ответил, что уж каков есть. Она может считать себя свободной в любом поступке. Она поблагодарила так зло, что благодарность была хуже пощечины. Вот так мы расстались с ней месяц назад.

И у входа в свой дом я еще постоял на улице, радуясь звездному торжеству. Шел второй час ночи. Я открыл дверь и замер. На диване — сидя — спала жена. Я придвинул стул, уселся и стал смотреть на нее. Она казалась усталой и похудевшей, темные полукружья отчеркивали сомкнутые глаза. Все это не имело значения. Она была прекрасна. Она была еще красивей, чем

в тот день, двенадцать лет назад, когда я впервые увидел ее и когда, знакомя нас, Павел Прищепа шепнул: “Первая красавица в институте — учти!” Как часто я досадовал, что она так красива, для семейного спокойствия надо бы заводить жену не выше стандартной миловидности. И не я ее выбрал в жены, я не осмелился бы выбрать такое женское совершенство. Меня себе в мужья назначила она и потом негодовала, что я сопротивлялся, даже уверял, что не та-де оправа для драгоценного камня. С тех дней прошло двенадцать лет — и многое переменилось в нас. Во всяком случае, я не ожидал, что она воротится так скоро.

Она раскрыла глаза и зевнула.

— Я заснула, Андрей, — сказала она сонно.

— Ты еще спишь, Елена.

— Сколько времени? Четыре ночи?

— Только два, Елена.

Она засмеялась

— Елена, Елена!.. Как любишь ты повторять мое имя.

— Хорошее имя, Елена.

— Сама же я хуже своего имени?

— Лучше!

Она покачала головой. Сейчас пойдут упреки, понял я.

— Я думала, тебе станет свободней в мое отсутствие. При мне ты редко приходил раньше трех. Но вот всего два, а ты уже дома. Без меня квартира приятней?

— В твое отсутствие я часто совсем не ночевал дома. Сегодня особый случай. Четверг.

— Да, вспоминаю — интеллектуальный бал у Бара. Скучное сборище скучных людей в тесной комнатке, где не пройти между стульями. Не понимаю, что влечет тебя к Бару.

— Была бы сегодня у него, поняла бы. Собрались интересные люди. Джон Вудворт, Казимир Штупа, Николай Пустовойт, Алексей Гамов...

— Вудворта знаю. Кортес с лицом страстотерпца. И Штупу с Пустовойтом встречала. А кто такой Гамов?

Я рассказал о спорах у Бара, помянул об уличной драке. Елена испугалась.

— Ты не ранен? Ушибов нет? Повернись. Вся спина перепачкана. Вот здесь порвано. Ты не терся о кирпич?

— Прижимался к стене, когда насели двое. Если бы не Вудворт, ущерб было бы больше, чем разорванный пиджак.

— И брюки перепачканы! Снимай костюм. Утром вычищу.

Ее участие придало мне смелости спросить о самом важном.

— Елена, я опасался, что ты уезжаешь навсегда. Но ты вернулась. Как это понимать?

— Вот так и понимай — взяла и вернулась.

— Тогда разреши спросить...

— Не разрешаю! — она начала сердиться. На нее часто находило — и, бывало, без видимых причин. — И если на всю правду, так сама у себя допытываюсь — почему вернулась?

— И не находишь ответа на слишком трудный вопрос?

— Если бы трудный! Прimitивно простой! И ответ на него примитивно прост. — Она печально улыбнулась — себе, не мне. Она жалела себя — чего-то не могла перебороть. Она всегда хорошо улыбалась, Елена. Улыбка была объяснением и признанием. И так как она улыбалась только в хорошие минуты, то на улыбку хотелось ответить дружественным словом или добрым поступком. — Я просто окончательно поняла, что жить с тобой трудно, а без тебя невозможно. Первое я установила давно, а второе стало ясно, когда захотела превратить нашу временную разлуку в постоянную — и не смогла.

Я потянулся к ней. Она покачала головой.

— Завтра проясним отношения. Ужасно хочу спать.

Она ушла к себе. Я посидел на диване. Я и радовался, что она вернулась, и страшился завтрашнего объяснения.

Как бы она опять не потребовала, чтобы я сломал весь режим жизни. Я не был тем мужем, какого она заслуживала. Не раз пытался стать им, ни разу не становился. И уже не стану.

Устав от трудных размышлений, я так и заснул на диване.

Пробудил меня грохот снаружи. Я распахнул окно. В комнату ударил ветер, посуда в шкафу зазвенела, стулья тяжело зашевелились. По голове хлестнула портьера, лицо окатило дождем. Над городом бушевал ураган. Одна молния перебивала другую, грохот валился на грохот. В свете небесного пламени ошалело неслись тучи. Ни в каких метеосводках не планировались подобные безобразия, никакие аварии на метеостанциях не могли породить подобной бури!

Я захлопнул окно и включил стерео. Диктор передавал сводку новостей. Патина, не стерпев пограничных провокаций ламаров, ответила сокрушительным ударом. Армия Патины смяла заслоны врага и успешно продвигается к Ламе, столице Ламарии. Коварная Ламария запросила помощи у Кортезии и Родера. Президент Кортезии Амин Аментола произнес угрожающую

речь. В портах Кортезии объявлена тревога, заокеанские метеогенераторные станции переведены на усиленный режим. Флот Кортезии вышел в океан.

— Перед лицом неслыханной провокации правящей клики Кортезии, — торжественно вещал диктор, — наша страна не останется безучастной. Председатель правительства Артур Маруцян подписал указ о мобилизации добровольцев на помощь беззащитной Патине, так долго и так безропотно сносившей издевательства наглых ламаров. В добровольцы принимаются мужчины от 18 до 55 лет. Запись начнется с восьми часов утра. Все метеогенераторные станции приступили...

Сильный раскат грома заглушил голос диктора. Погасло электричество. Экран стереовизора еще слабо светился, но диктора почти не было видно, и его голос звучал слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова в оглушительном реве бури.

Из спальни выскользнула перепуганная Елена.

— Андрей, что случилось?

— Война! Всеобщая война, та, которую несколько часов назад предрекал Гамов. А я ему не поверил!

2

Война шла плохо.

Вначале, конечно, мы побеждали. Патины разбили ламаров, захватили их столицу Ламу, пересекли границу Родера, главного союзника Кортезии. Родеры защищались упорно и умело: старая военная нация, неоднократно наводившая страх на соседей, и теперь, после последней проигранной ими большой войны, после трех десятилетий разоружения, показывала, что не потеряла ни воинской доблести, ни мужества. Патины еще продвигались, но было ясно, что без нашей помощи скоро остановятся. Наша армия пока стояла на границах, но быстро сформированные дивизии добровольцев вступили в Патину и были готовы вторгнуться в Родер: Артур Маруцян пока медлил с приказом. Зато Амин Аментола, президент Кортезии, не терял и часа. В портах Родера выгружались оружие и солдаты заокеанской республики. В отличие от осторожного Маруцяна, бесцеремонный Аментола не камуфлировал хорошими словами нехорошие дела — его солдаты так и назывались солдатами, а не добровольцами, их соединениям присваивались армейские номера, а не воодушевляющие наименования, как у нас.

После первых успехов в Адан, нашу столицу, съехались главы дружественных держав — и победоносной Патины, и Нордага, и Великого Лепиня, и Собраны. Даже Торбаш, политический ублюдок без армии и промышленности, прислал своего главу, он именовался королем и носил наследственный номер: Кнурка Девятый. Я о нем еще поговорю, этот тщедушный мозгляк Кнурка Девятый имел в своей маленькой головке, как потом выяснилось, гораздо больше мозгов, чем все правители союзных государств, вместе взятые. В Адане устраивались торжественные приемы. Утренние заседания сменялись вечерними банкетами. Артур Маруцзян произносил по три речи в день. Речи были отличные — благородные принципы вселенского содружества государств и ужасные угрозы врагам, которым, естественно, предрекалось полное поражение.

Конференция союзников закончилась, главы государств разъехались, а на фронте враги перешли в контрнаступление. Их отбили, они снова насели. Заранее восславленная победа оборачивалась реальным поражением.

— Не понимаю, Андрей, — сказала как-то вечером Елена. — Где правда? По стерео передают о продвижениях патинов вперед, а в продовольственных очередях твердят, что наши оставляют завоеванные города.

— Передачи врут, слухи преувеличивают. На фронте города переходят из рук в руки.

— Такая недостоверность! По-моему, надо говорить правду. Если наступаем — значит, наступаем, и можно успокаиваться. Если бежим — значит, бежим, и надо утраивать усилия.

— Ты не политик, Елена. Ты не умеешь врать. Правда — неэффективное оружие для политиков. Во всяком случае, так привыкли считать.

— Ты прав, я не политик и никогда политиком не буду. Ненавижу ложь!

Меньше всего мы оба, она и я, могли вообразить, что уже немного осталось до времени, когда мы станем политиками, и если бы кто сказал нам, в какие фигуры мы превратимся в недалеком будущем, мы назвали бы его безумным. Ни во мне, ни в ней не было ни черточки, ни атома того, что могло бы закономерно разрастись в раковую опухоль величия. Мы были средними людьми — и не собирались выплескиваться из обыденности. Все, что свершилось дальше, произошло независимо от нас — командовали обстоятельства, нам не подвластные.

Одно было хорошо для нас с Еленой в первые месяцы войны. Я стал рано возвращаться домой. Если раньше разрешали засиживаться в лаборатории, и я задерживался, сколько хватало сил — эксперименты шли трудно, — то теперь в вечерние часы институт запирался, чтобы обезопаситься от проникновения диверсантов ночью в здание, где оставалось лишь несколько сотрудников, так нам объяснили. Я доказывал, что во время войны надо умножить старания, а меня обрывали: директива обсуждению не подлежит, извольте подчиняться. Я подчинялся, Елена радовалась: даже после свадьбы мы не проводили столько времени вместе!

— Что говорят в очередях? — спрашивал я.

— Очень многое! И не всегда вранье. Две недели твердили, что уменьшат мясную норму. И что же? На этот месяц вообще не будет мяса. Боятся, что второго метеонападения не отразят, и тогда урожая не ждать. Как ты думаешь, будет второе метеонападение?

— Генералы Аментолы не делятся с нами стратегическими планами. Вообще-то наши метеогенераторные станции — предприятия надежные.

Я говорил о надежности метеогенераторных станций для успокоения Елены. Они работали хорошо лишь в спокойных условиях — мира, а не войны. Создание циклонов разработали неплохо, но вождение циклонов в атмосфере относилось скорее к искусству, чем к технологии. Казимир Штупа еще до войны говорил мне, что пойманного в сети тигра гораздо легче подчинить своей воле, чем порожденный циклон: “Веду его с океана на степи для умеренного напоения земли, а он над морем внезапно свивается в дикую бурю и три четверти своих водных запасов обрушивает на воду же. Для каждого циклона существует критическая масса и критический объем, сверх которых они становятся неуправляемыми. Но каковы эти масса и объем, никто точно не знает. В трудной ситуации полагаемся на интуицию”.

Во время первого — неожиданного — метеонападения нашим метеорологам удалось отразить удар. Привычка к технологической бдительности — без этого можно потерять контроль над буйством воздушных масс — позволила нашим метеогенераторам отогнать внезапно брошенный на нас циклон. Он слишком быстро мчался, это насторожило дальние посты кон-

троля. Буря бушевала всего одну ночь. Уже к утру восстановилось чистое небо.

Зато на суше враги теснили нас. Соединенная армия кортезов и родеров отогнала патинов и наших добровольцев от границ Родера, продвинулась в глубь Ламарии, отбила Ламу. Война переламывалась в пользу врагов.

Я получил призывную повестку. Мне предписывалось немедленно записаться в добровольцы.

— Иду воевать, — сказал я Елене. — Мне присвоен чин капитана-добровольца.

— Почему капитана? — Что я могу быть только добровольцем, она и сама понимала. Артур Маруцзян тысячи раз говорил, что профессиональная армия у нас большой быть не может: мы не воинственная страна. Не знаю, был ли в мире хоть один дурак, кого он мог обмануть таким нехитрым враньем.

— Потому капитан, что три года назад выслушал курс военных наук и прошел полевую подготовку, — напомнил я. — Без отрыва от лаборатории и по своему добровольному решению, предписанному специальным приказом. Разве ты не помнишь, что я в те дни почти не появлялся дома?

— Ты так часто забывал появляться дома, что я уже не помню причин — добровольная ли военная подготовка или вынужденная задержка у лабораторных механизмов. Между прочим, и я мобилизована. Буду синтезировать лекарства на фармацевтическом заводе. Завтра в десять утра должна быть на месте сбора.

— Мне в шесть утра. Даже поспать не дадут!

На утро на призывном пункте я повстречал моего помощника Павла Прищепу. Его забрали от нас в начале войны.

— Андрей, беру тебя, — сказал он. — Я сформировал два добровольческих батальона, с третьим отправлюсь сам. И знаешь куда? В дивизию “Стальной таран”. А ею командует мой отец. Уясняешь ситуацию?

— Ситуация прекрасная. Генерал Леонид Прищепа профессиональный военный — все-таки гарантия от добровольческих ошибок и военного невежества. А в качестве кого вербуешь меня?

— По нашей специальности — в радиодиверсанты. Дивизия отца оснащена радиоимпульсаторами, резонансными орудиями и электроартиллерией. От Гамова на складах ничего важного не утаить.

— Гамова?

— Гамова. Он теперь майор — зампотех отца. Прирожденный военный, говорит отец.

Этот вечер, проведенный с Еленой, был последним перед расставанием. Она уезжала в Адан на фабрику медицинских препаратов, я уезжал на запад, в лесистые горы Патины. Я откинул штору и выглянул в окно — почудились тревожные крики. Забон лежал в темноте — чтобы даже случайно не вспыхнул где-нибудь свет, из уличных фонарей выкрутили лампы. В нашей квартире раньше горели шестнадцать ламп, нам оставили четыре — по числу помещений. Снаружи кричали мужчины, там дрались. Шум завершился призывом о помощи.

— Ночной грабеж, — сказал я. — Кого-то придушили или забили насмерть. Нет ночи без разбоя. Надеюсь, ты одна не возвращаешься?

— Мы собираемся по пять, по шесть женщин. Еще недавно нас развозили на служебных автобусах, но все автобусы объявили добровольным пожертвованием фронту от нашего учреждения. И вместе с водителями увезли.

Мы сидели на диване. В распахнутое окно подмигивала красноватая Капелла, крупная, недобрая звезда. Елена положила голову мне на плечо, я обнял ее. Давно мы не чувствовали себя такими близкими.

— Завтра я уеду, и мы не скоро увидимся, — сказал я.

— Завтра ты уедешь, и мы не скоро увидимся, — повторила она.

3

Шел третий месяц моего пребывания в добровольной дивизии “Стальной таран”.

Заканчивалось оборудование главного электробарьера на склонах двух лесистых холмов, нависавших над излучиной Барты — своенравной речки, разделившей нас и родеров. Еще на отходе к этой реке мне удалось отбиться огнем всех электроорудий от теснившего нас противника и занять эти господствующие над местностью холмы. Два месяца мы только отступали. Но на новой позиции были шансы задержаться надолго. Так я пообещал генералу Прищепе и его заместителю Гамову — три дня назад, перед боем на Барте, Гамов из зампотеха и майора был произведен в заместители командира и полковники. Перемены в военной карьере Гамова мы отпраздновали энергич-

ным электроналетом на подвижные части противника. Враг оборвал свой натиск. Это и дало нам возможность по-солидному выстраивать дивизионный электробарьер.

Все орудия были надежно замаскированы. Баллоны со сгущенной водой — главные наши энергоемкости — мы укрыли в котловане, в отдалении от батарей. Я позаботился о безопасности энергосклада. Выход из строя одного баллона со сгущенной водой обесточивал всю батарею. В соседней добровольной дивизии “Золотые крылья” — она тогда занимала главную линию обороны в тридцати километрах впереди нас — месяц назад взорвался энергосклад. И только то, что в нем находилось всего два водобаллона, спасло “Золотые крылья” от полного уничтожения. Мы с ужасом наблюдали, как впереди взвился чудовищный столб дыма и пара и в нем неистовствовали молнии. Вода, ставшая огнем и дымом, — страшное зрелище! Враги, конечно, использовали свою удачу. Не буду острить, что “Золотые крылья” неслись, как на крыльях, хотя эта острота переходила из уст в уста. Но отступление “золотокрылых” после взрыва на энергоскладе иначе как паническим бегством не назвать. Они обнажили фронт, и на нас навалились гвардейцы Родера. Из дивизии второго эшелона мы внезапно стали передовой. И лишь то, что генералу Прищепе не занимать было ни храбрости, ни умения воевать, позволило нам удержать линию фронта. Мы отступали, фронт выгибался, но оставался непрерывным. А в самый трудный момент генерал получил телеграмму Комлина: Главнокомандующий приказывал немедленно отходить, чтобы не попасть в окружение.

— Как реагируем на приказ маршала? — спросил офицеров Леонид Прищепа.

— Бросим радиogramму в мусорную яму! — первым откликнулся Гамов. — А маршалу ответим, что после последнего метеоналета врага размыло все дороги назад. И потому нам легче отбросить родеров, чем отступать перед ними.

— Так и действуем! — одобрил генерал.

Вот так мы и действовали: отбивали натиск родеров, потом отодвигались на следующую подготовленную позицию.

Я поднялся на вершину холма. В стороне пролетел аэроразведчик врага. Ничто не показывало, что нашу позицию обнаружили. Утро было свежее и веселое. Внизу поблескивала Барта, до меня доносился тихий шелест быстробегающей воды, огибающей мысок между двумя холмами. В небе медленно пере-

двигалась стайка белых облачков. Шла весна — нарядная и радостная. И нарядность весны, и безоблачность неба, и веселый бег светлой Барты не радовали, а тревожили. Самый раз было противнику ударить на нас. Каждое утро начиналось с обстрела тяжелыми орудиями, с попыток сгустить в дождевые тучи все облачка, какие можно было собрать в окрестностях. Сегодня и помину не было таких попыток. Это предвещало нехорошее.

Ко мне подошел Павел Прищепа в капитанском мундире. Нас с ним тоже повысили в званиях.

— Приветствую и поздравляю, майор! — сказал Павел.

— Приветствие принимаю, а поздравление — нет. Скорей приму соболезнование, дела наши плохи.

— Тогда послушай передачу из столицы.

Он протянул мне свой карманный приборчик с записью утренних новостей. Адан извещал страну, что на западном фронте положение ухудшилось. Противник соединенными силами трех армий — Ламарии, Кортезии и Родера — потеснил нас из Ламарии. Наши дивизии героически сопротивляются, но натиск превосходящих сил врага не ослабевает.

— Ты поздравляешь с тем, что мы потеряли завоеванную Ламарию и скоро потеряем союзную Патину? Я верно понял?

Диктор сообщил, что в боях дивизия “Стальной таран” генерала Прищепы стала грозой противника. Ударные ее соединения под командованием полковника Гамова неоднократно срывали наступление врага. Добровольцы Прищепы и Гамова возвели неприступные бастионы на реке Барта. О них расшибают лбы гвардейские полки Родера. Командирам всех дивизий и полков надо взять в образец боевые действия старого генерала Прищепы и молодого полковника Гамова.

— Что за вздор, Павел! Неприступные бастионы, о которые гвардейцы Родера расшибают лбы! Они еще не атакуют, и пока неизвестно, кто кому расшибет лоб. Кто передал сведения о нашей дивизии?

— Я передал, — радостно сообщил Павел. — И по прямому запросу маршала Комлина. Он потребовал, чтобы я не поспешил на хорошие слова, лишь бы очи не слишком расходились с истиной. Я офицер исполнительный, на хорошие донесения не скуп. Информация о нашей стойкости явилась для маршала глотком кислорода в удушающей атмосфере.

— А восхваление Гамова? Нами командует твой отец, а не Гамов.

— Отец потребовал, чтобы я особо выделил Гамова.

Павел любил иронизировать, даже издеваться. Чрезмерное восхваление Гамова давало отличный повод для насмешки. Но Павел не позволил себе и слабой иронии. Генерал Прищепа стар, в недавнем бою едва не вывели его из строя. И он думает о будущем армии. Война выдвигает талантливых полководцев. Прищепа считает Гамова выдающимся офицером. Он верит, что такие люди способны спасти нас от поражения.

— Но Гамов не командует армией. Он заместитель командира одной дивизии.

— Он будет командовать армией, Андрей! И для этого должен раньше стать известным всей стране. Неужели тебе непонятно?

Нет, я этого не понимал. Я научился уважать Гамова, видел его военные способности — он стал душой нашей дивизии, — ценил его умение успокаивать людей в опасной обстановке, воодушевлять в бою. Но военный руководитель страны? Нет, таким я себе его еще не представлял. Гамов потом назвал меня своим первым учеником и последователем. Павел Прищепа, командир разведки добровольной дивизии “Стальной таран”, с большим правом мог носить звание: “первый ученик Гамова”. Он сразу поверил в него.

— Какие еще новости, Павел?

— Пока никаких. Аэроразведка не показала сосредоточения противника на нашем участке. Ты тревожишься?

— Очень! Меня пугает безоблачность неба, тишина... Слышишь эти звуки, Павел?

— Птицы поют. Это плохо?

— Ужасно! Столько дней мы не слышали птиц! Когда запускают метеогенераторы, птицы немеют, звери замирают. Врагу самый раз напасть на нас, пока мы не укрепились на этом берегу. Так бы сделал любой грамотный военачальник. А они бездействуют!

— Известий об их действиях нет, — повторил Павел.

— На войне отсутствие новостей — очень неприятная новость, — сказал я со вздохом. — Пойдем в штаб.

Штаб разместился в небольшом особняке. В зале работали офицеры разных отделов дивизии. Я прошел к генералу. Прищепа лежал на диване. Я присел рядом. В одном из недавних боев неподалеку разорвался резонансный снаряд. Прищепу трясло с такой силой, что сбежавшиеся санитары едва натянули

на него тормозной жилет и еще минут пять возились, пока ввели жилет в противорезонанс. После такой вибрационной пытки обычно отправляют в госпиталь, но генерал не захотел оставлять командования. Он уверял, что чувствует себя неплохо. Леонид Прищепа принадлежал к здоровякам. Но что до выздоровления далеко, мы все понимали.

Он повернул ко мне темнощекое, темноглазое лицо, встопорщил седые усы. Он здоровался улыбкой, такова была его манера для близких. Я принадлежал к самым близким из его подчиненных.

— Холодно, генерал? — спросил я. Все вытерпевшие сильную вибрацию долго страдают от недостатка тепла.

— Не холодно, а зябко. Что на позиции, Андрей?

— Полное спокойствие.

— Тебя тревожит спокойствие?

— А как иначе? Враг подсунул загадку своей невозмутимостью.

В комнату, — как всегда, очень быстро — вошел Гамов. За ним показался Павел. У Гамова зло сверкали глаза. Павел был бледен.

— Новая беда, полковник? — спросил Прищепа.

— Пусть скажет ваш сын!

Павел способен запоминать сводки и сообщения наизусть. Дар из кратковременных, на часы, в особо важных случаях — на сутки. В пределах этого времени он излагает известия, словно читая их. Внятно отчеркивая запятые и точки, он передал свежую радиограмму из Адана. Патина не вынесла удара соединенных армий и запросила сепаратного мира. Вилькомир Торба объявил, что не хочет подвергать военным разрушениям свою прекрасную страну. Он переоценил могущество Латании. Председатель Маруцзян обманул его, выставив не профессиональную, а добровольную армию. Надежды на победу нет. Великодушный президент Кортезии господин Аментола заверил его, что никто из сложивших оружие патинов не подвергнется репрессиям. Блюдя достоинство своего великого народа и полный высокого рвения прекратить кровопролитие, президент Патины Вилькомир Торба приказывает своим войскам организованно прекратить борьбу.

— Измена! — сказал Прищепа. — Спровоцировали нас на войну за их интересы. И при первой же неудаче изменяют нам!

— Пока только предательство, а не измена, — мрачно поправил Гамов. — Пока только отходят в сторону, оставляя нас один на один с врагами. Но скоро они открыто перейдут на сторону Кортезии и повернут оружие против нас. Я говорил это вам уже давно. Верить такому лицемеру, как Вилькомир Торба!

— Да, вы говорили, Гамов, что верить патинам нельзя. А я им верил, а вам не верил. Да что я! Как Маруцзян, столько лет стоявший в центре мировой политики, не раскусил его?

В глазах Гамова загорелась злая издевка.

— Вы спрашиваете, почему Маруцзян столь непроницателен? Все просто, генерал. Маруцзян — тупица. Хитрец всегда обведет дурака вокруг пальца. Именно это и произошло.

Прищепка с усилием приподнялся.

— Пойдемте к операторам. Боюсь, что выход Патины из войны прояснит загадку спокойствия на нашем участке.

По дороге в операторскую я тихо сказал Гамову:

— Укоротите язык! Майор Альберт Пеано все-таки родной племянник Маруцзяна.

— И не подумаю! — резко бросил Гамов. — Пеано не просто племянник, а, как вы точно выразились, “все-таки племянник”. Альберт — умнейший юноша и наблюдал Маруцзяна со своего младенчества, это кое-что значит. Неужели вас не удивляет, что Пеано заслали в боевую дивизию? Если Пеано попадет у нас под резонансный удар, дядюшка вздохнет с облегчением. При Альберте можно говорить свободно.

В зале два оператора склонились над картой, расстеленной на длинном столе. Один, двадцатидвухлетний, невысокий, живой Альберт Пеано, и был племянником главы правительства. Что он не в чести у своего дяди, мы слышали. Но я сам дважды присутствовал при его разговорах с Маруцзяном: и голоса, и слова, самые душевные, слухи о вражде не подтверждали. Второго оператора, Аркадия Гонсалеса, преподавателя университета, я уже видел на “четверге” у Бара и кое-что говорил о нем. Теперь скажу подробней. Я уже упоминал, что он был высок, широкоплеч, очень красив, с женственным тонким лицом. Внешность обманывала. Все в нем было противоречиво. Он как-то на моих глазах ухватил за трос идущий мимо трактор и потащил его назад. Человек такой силы и такого роста мог стать светилом баскетбола, а он ненавидел спорт. К нему устремлялись тренеры знаменитых баскетбольных команд, но ни одному не удалось вытащить его в спортивный зал. Самого настойчиво-

го тренера он взял за шиворот и снес из своей комнаты на четвертом этаже на университетский дворик и, в присутствии хохочущих зрителей, обвел широкий круг его размякшим телом с бессильно болтающимися ногами. Потом ласково сказал: “Будь здоров! Больше не приходи!” Оба они, Пеано и Гонсалес, сами напросились в операторы. Но если Альберт с интересом вникал в военные дела и успешно спланировал операции отхода с боями, то Гонсалес оставался равнодушным к тому, что делал. Он добросовестно выполнял приказания Прищепы и Гамова, но не было в нем “военной жилки”. Он никогда сам не просился из штаба в бой. Он не был трусом, но воинскую доблесть недолюбливал. В свободные минуты он читал исторические книги. Вначале мне казалось, что он приставлен к Пеано для тайного наблюдения и охраны. Потом я убедился, что он ненавидел самую войну. Исправно воевал, внутренне презирая свое занятие, таков был этот человек, Аркадий Гонсалес, сыгравший впоследствии столь грозную роль.

— Плохие дела, генерал, — сказал Пеано, показывая на исчерканную карандашами карту. — Родеры нас окружают.

— Пока не окружают. Но окружают, если патины сложат оружие.

— Вы в этом сомневаетесь, генерал? — Пеано усмехнулся. В его улыбке была какая-то отчаянная веселость. — По-моему, здравомыслящие люди никогда не верили в союзническую надежность патинов.

— Вы не высказали своих сомнений дяде, Альберт?

Улыбка Пеано стала шире. Он любил улыбаться. Я не верил его улыбке. Она камуфлировала истинное настроение.

— Моему дяде не говорят того, что ему не нравится.

Мы с Гамовым рассматривали карту. Позади и с боков нашей дивизии стояли патины — третий их корпус слева, четвертый и пятый позади и справа. За пятым корпусом патинов располагалась добровольная дивизия “Золотые крылья”, потрепанная в недавних боях. На левом крыле, за третьим корпусом патинов, восстанавливалась сплошная линия наших войск. Здесь держали оборону профессиональные части, они прикрывали путь на Адан.

Картина была удручающая.

— Если патины сложат оружие, мы в мышеловке, генерал, — резюмировал Гамов общее впечатление.

— Они могут прекратить сражение, но остаться на своих позициях. Положение и тогда незавидное, но хоть без окружения.

— Они уступят свои позиции родерам! Генерал, сколько еще мы будем предаваться иллюзиям?

Прищепа среди нас, принужденных стать “военными добровольцами”, один был профессиональным военным. И действовал по-военному.

— Приказываю организовать круговую оборону, майор, — сказал он мне. — Капитан Прищепа, задействуйте всех своих разведчиков — живых и автоматических. Через час жду донесения, что на флангах и в тылу. Полковник, проводите меня в мою комнату.

Павел выскочил в дверь. Гамов ушел с генералом. Пеано посмотрел на меня. Я пожал плечами.

— Уже, Пеано. Плохой бы я был командир, если бы ограничился устройством одной передовой позиции. Солдаты сейчас усиливают защиту с тыла. Надо срочно создать подвижное соединение. Дивизии придется цепляться за землю, чтобы уцелеть до помощи извне. Но понадобится сильный отряд для нанесения внезапных ударов в глубь неприятельского окружения. Я выделю в диверсионный отряд своих лучших солдат. Прикажете другим полкам сделать то же. И поставьте диверсионный отряд под мое командование.

— Отлично, майор. Сейчас мы с Гонсалесом подработаем техническую сторону и доложим генералу.

Я уже собрался уходить, но меня задержал обмен репликами между двумя операторами.

— Насчет помощи извне, о которой говорит майор Семипалов, — сказал Гонсалес. — Ты не хотел бы, Альберт, соединиться с дядей, чтобы лично обрисовать ему наше положение?

— Дядя хорошо знает наше положение на фронте.

— Он мог бы приказать маршалу двинуть на выручку свободные силы.

— Маршал ответит, что свободных сил нет. И что славная дивизия “Стальной таран” отлично вооружена и командует ею испытанный генерал Прищепа — и потому она может одна противостоять целой армии врага.

— Я так тебя понимаю, — медленно произнес Гонсалес, — что нас оставят на произвол капризной военной судьбы?

— Ты меня неправильно понял, — отпарировал Пеано. — Нам окажут великую помощь самыми высокими словами, какие

найдутся в словарях. Как будет вещать стерео о нашей доблести! Какие покажут картины нашей героической обороны! А под конец маршал вышлет два водолета, чтобы вывести в тыл тех, кто остался в живых. Тебя не устраивает такая перспектива, хмурый друг мой, выдающийся — в будущем, конечно — историк Аркадий Гонсалес?

— Не устраивает. История полна глупостей и подлостей.

— Верно! Еще ни одна эпоха не жаловалась на нехватку дураков и мерзавцев. В этом главная сущность истории. Но чего бы ты пожелал другого?

— Я пожелал бы повесить на одной всемирной виселице всех, кто устраивает войны.

— Тогда бы тебе пришлось начать с моего дядюшки, — сказал Пеано и улыбнулся самой веселой улыбкой — слишком веселой, чтобы выражать истинную веселость.

Взгляд, какой на него бросил Гонсалес, я при всей нелюбви к выпренности должен назвать зловещим.

— Ты думаешь, это меня остановит, Альберт?

Как часто я потом вспоминал этот взгляд Гонсалеса и его слова!

Задолго до того, как он начал свою страшную деятельность, он высказал всю ее сущность в коротком разговоре со своим другом Пеано!

4

Аэроразведчики показали именно то, что мы ожидали: нас окружали родеры. Патины оставляли позиции. Их места занимала армия главного союзника Кортезии. Все происходило как на парадных маневрах — одни мирно уходили, другие мирно появлялись. Родеры воевали умело. Ни один резонансный снаряд пока не разрывался над нашими позициями, ни одно облачко, насланное передвижными метеогенераторами, не омрачало неба. Нам давали отдохнуть и выспаться, пока удушающее кольцо не замкнется полностью.

Ранение генерала Прищепы оказалось серьезней, чем он уверял нас. Он иногда заходил в штаб, но долго высидеть там не мог. Гамов командовал, уже не согласовывая с генералом своих приказов. Он вызвал меня в штаб, когда я лежал на молодой травке у электробатарей и размышлял, сколько времени нам отпустили до сражения. Был полдень, хороший весенний полдень — радостная земля вокруг!

В операторской Гамов рассматривал фотографии аэроразведки. Гонсалес наносил данные на карту. Четвертый корпус патинов у нас в тылу еще не двигался, но третий и пятый уже очистили позиции на наших флангах.

— Двое суток нам дают, — оценил обстановку Гамов. — Можно позагорать, сегодня солнце довольно жаркое.

— Я это и делал, когда вы вызвали меня. Зачем я вам?

— Разведывательная группа подорвала в лесу вражескую машину. Водитель и солдат убиты, но офицер целехонек. Хочу, чтобы вы присутствовали при допросе пленника.

Павел Прищепа сам привел пленника. Даже если бы на нем не было формы, можно сразу было признать в нем родера. Сама его внешность была типична для их военных — и прямая, словно трость проглотил, фигура, и крупноносое надменное лицо, и удлиненная — тыквой назад — голова. И он вышагивал между двух солдат охраны, как если бы они служили ему почетным конвоем.

— Садитесь! — Гамов показал на стул.

Пленный обвел нас презрительным взглядом, закинул ногу на ногу и поднял вверх голову. Теперь он упер глаза во что-то на стене около потолка. Если эта поза должна была изображать пренебрежение к нам, то исполнена она была убедительно.

— Имя, фамилия, звание? — начал Гамов допрос.

Пленный не говорил, а цедил сквозь зубы.

— Звание вы можете установить по мундиру. Фамилия Шток, имя — Биркер. В целом — Биркер Шток.

Гамов усмехнулся.

— Нет, а настоящие фамилия и имя, господин капитан?

— Хватит и этих, — проворчал пленный и опять устремил глаза на невидимую точку у потолка.

— Вы, оказывается, трус, капитан, — сказал Гамов спокойно.

Пленный встрепенулся и повернул лицо. Обвинение в трусости в Родере относится к самым оскорбительным.

— Посмотрел бы я на вашу храбрость, если бы вашу машину взорвали, а на вас, выброшенного на землю, навалился отряд головорезов.

— Вы трус не потому, что попали в плен, а потому, что боитесь назвать свою настоящую фамилию. Ибо придется рассказать все известные вам военные тайны, капитан. И страшно, что

узнают, каким вы — реальный, а не какой-то Шток — были разговорчивым на допросах.

Пленный вскочил и топнул ногой.

— Ничего не узнаете! Офицер Родера не выдает вверенные ему тайны!

— Выдадите. Есть хорошие методы развязывания языка.

— Плюю на ваши методы! — неистовствовал пленный. — Чем вы грозите? Расстрелом? Ха! Каждого на войне подстерегает смерть. Часом раньше или часом позже — какая разница? Или пытка? Тогда узнаете, какие муки способен вынести родер! Ваши пытки не страшней рваных ран, не мучительней резонанса. Ха, говорю вам! Мое тело трижды рвали пули, дважды скручивала вибрация. Вытерпел!

Он кричал и срывал с себя мундир, показывая, куда его ранило. Гамов повернулся к нему спиной.

— Гонсалес, — сказал он, не меняя спокойного тона. — Пройдите в хозяйственную роту и возьмите живую свинью, желательно погрязней. Пусть фельдшер сделает ей обезволивающий укол, не обезболивающий, Гонсалес, а обезволивающий — чтобы не брыкалась. Доставьте ее сюда вместе с фельдшером. И пусть явится стереомеханик со своей аппаратурой.

— Будет исполнено, полковник! — Гонсалес светился от радости, он уже догадывался, какую сцену разыгрывает Гамов.

Пленный, выкричавшись, снова сел. Он был доволен собой — опять положил ногу на ногу, опять устремил глаза в невидимую точку на стене.

Гамов подошел к нему вплотную. Я вдруг снова увидел его в той звериной ярости, что овладела им, когда он на улице пытался загрызть хулигана, напавшего на него с ножом.

— Слушай внимательно, дерьмо в мундире! — сказал он свистящим от бешенства голосом. — Я не буду тебя пытать. И расстреливать не стану. Тебе введут порцию обезволивающего яда. И ты потом будешь целовать под хвост свинью, а стереомеханик запечатлеет эту сцену. И миллионы людей у нас и в Родере будут любоваться, как истово, как благоговейно лобызает задницу свиньи благородный родер, назвавший себя капитаном Биркером Штоком. Вот что будет, если ты не заговоришь.

Пленный побелел. Широко распахнутыми глазами он поглядел на дверь, будто там уже показалась затребованная свинья. Все же он нашел в себе силы засмеяться. Он еще не верил.

— Так не воюют! — сказал он, вдруг охрипнув. — Латания военная нация, она знает науку благородной войны. Вы шутите, полковник!

— Наука благородной войны? — с ненавистью переспросил Гамов. — Благородного убийства женщин и стариков? Разорванный на глазах матери ребенок — это благородная война? Сожженные библиотеки, испепеленные статуи, великие картины, превращенные в пепел? Этого благородства ты ждешь от меня, подонок? Не жди! Я воюю так, чтобы вызвать отвращение к войне. Только такое отвращение будет истинно благородным!

Не знаю, понял ли пленник значение всего, что Гамов говорил, но сила исступленного голоса дошла. Пленный все повторял:

— Так не воюют! Полковник, так же нельзя воевать!

Я припомнил хулигана, твердившего с рыданием:

— Так не дерутся! Так же нельзя драться!

Не думаю, впрочем, чтобы я, даже вспомнив, что подобное нарушение священных правил драки недавно уже было, понял, что Гамов уже реально, а не только угрожающими словами, создает свои методы войны. Я видел лишь вспышки бешенства там, где уже командовала концепция.

В зал ввалилась толпа: впереди радостный Гонсалес, за ним солдат со свиньей на веревке, за ними фельдшер с аптечкой, стереомеханик с аппаратурой и вооруженные солдаты.

Свинья была крупная и невообразимо грязная. Уверен, что Гонсалес приказал специально довести свинью до “нужной формы”. В нужную форму привел ее и фельдшер — свинья безвольно тащилась, куда влекла веревка.

— Даю минуту на колебания, капитан. И ни секундой больше! — непреклонно сказал Гамов.

Фельдшер вытащил шприц. Трое солдат встали с боков и позади пленного. Оттолкнув солдат, он метнулся к стене. Там он со стоном блевал и корчился, потом утерся платком. Ни кровинки не было в его внезапно осунувшемся лице.

— Спрашивайте, полковник, — сказал он хрипло.

— Ваши настоящие имя и фамилия, капитан?

— Биркер Шток, — ответил пленный. — Вы назвали меня трусом и подонком, полковник. Но я не такой уж трус, чтобы бояться своего имени. И не такой подонок, чтобы прятать свои грехи под чужой фамилией.

— Первый вопрос, Шток. Почему четвертый корпус патинов у нас в тылу не двигается с места, а третий и пятый обнажают наши фланги?

Гамов задавал ясные вопросы, получал четкие ответы. Два корпуса патинов на наших флангах уже начали сдавать оружие родерам и теряют боеспособность. Но четвертый корпус оружия не сдал и не сдаст. Готовится второе соглашение, патины обещают выступить против своей недавней союзницы Латании, но выторговывают выгоды. Когда завершится торг, четвертый корпус патинов навалится с тыла на обе дивизии — “Стальной таран” и “Золотые крылья”. Вот почему ему разрешают сохранять боеспособность. Разоруженным корпусам потом тоже возвратят оружие, но эта операция не скорая. И чтобы оберечь их от фланговых ударов добровольных и профессиональных полков Латании, их и отводят с такой поспешностью в тыл.

— Какие новости на Центральном фронте?

На Центральном фронте идет позиционная борьба между главными силами Кортезии и главными силами Латании. Две профессиональные армии Латании сдерживают натиск кортезов. Прибывающие из-за океана подкрепления направляются сюда. Центральный фронт скоро прорвут, и тогда откроется дорога на Адан. С падением столицы война завершится.

— Ваше мнение об оперативном руководстве наших войск?

— Из рук вон плохое, — не задумываясь, отозвался Шток. — С такими силами, что были у вас в начале войны, и не завоевать разоруженного Родера! Вы тащились по нашим дорогам, как паралитики. И когда к нам поступило оружие из Кортезии, мы сразу остановили вас. А если бы мы были еще до войны вооружены?..

— Тогда война вообще бы не началась — по крайней мере, с нашей стороны. Что вы скажете о нашем стратегическом руководстве, Шток?

— В Родере и генералы не занимаются стратегией, а я капитан.

— Тогда расскажите, куда вы так торопливо мчались на своей машине? И почему не приняли надежных мер охраны?

Об этом пленный рассказывал подробно. В третий корпус патинов пришел на двух машинах специальный груз из Ада-на — триста миллионов калонов. Огромная сумма денег адресована правительству Патины для оплаты закупок у населения. Деньги захватили как военный трофей и направили в Родер под

охраной полка Питера Парпа. Биркер Шток, заместитель подполковника Парпа, задержался в третьем корпусе патинов для уточнения мест и времени сдачи оружия, потом догонял свой полк. Он ехал по территории, освобожденной от латанов и патинов, и не опасался нападения.

— Поскорей увезти к себе деньги вам казалось важней, чем завладеть всем оружием патинов?

— Естественно, полковник. На деньги можно достать любое оружие. А отобранное у патинов снаряжение ведь придется им же возвращать, когда они объявят вам войну. Но денег они уже не получают.

— Покажите по карте маршрут вашего полка.

Гвардейский полк Питера Парпа двигался по шоссе, огибающему с запада нашу дивизию. От наших позиций до шоссе было не меньше тридцати километров. Электроорудия на такое расстояние не били.

— Допрос окончен, капитан Шток, — сказал Гамов. — Если у вас есть какие-либо пожелания — высказывайте.

Шток вытянулся. Отвечал на вопросы он довольно спокойно. Но сейчас опять стал волноваться.

— Один вопрос и одна просьба, полковник.

— Слушаю вопрос.

— Вы пригрозили мне немыслимым унижением, которое опозорило бы не только меня, но и вас как офицера... Я не выдержал... Но ведь если бы вы... фельдшер держал шприц... Показания отравленного — те же, но снимают обвинение в измене, ибо совершаются в состоянии...

— Нет, не те же, Шток, — резко оборвал Гамов. — В состоянии полубессознательном вы многое могли не припомнить, точно не указать. Слушаю просьбу.

Шток вытянулся еще сильнее.

— Прикажете расстрелять меня, полковник.

Гамов не скрыл, что поражен.

— Аргументируйте свою странную просьбу, капитан.

— Что же странного?.. Я нарушил присягу, выдал военные тайны. Среди своих я пустил бы себе пулю в сердце. Среди врагов я не могу разрешить себе такого малодушия, да и оружия нет. Но умереть от пули врага не бесчестье, а воинская судьба. Хочу своей кровью смыть хоть часть вины...

— Вы будете жить, капитан Шток. Вы еще понадобится мне.

Конвой увел пленного из штаба. Гамов рассматривал карту.

— Ваше мнение, друзья? Окружение, удар вчерашнего союзника нам в тыл... И триста миллионов калонов, бездарно врученные врагу...

— Окружение предотвратить вряд ли сможем, — сказал я. — А если бы и удалось прорваться, то поставили бы под удар “Золотые крылья”, а они и так потрепаны. Деньги надо отбить.

— Надо. Как и когда?

— Сперва когда. Сегодня ночью, пока Парп далеко не ушел. Он движется по своей территории, вряд ли торопится. Теперь — как? Силами нашего диверсионного отряда. Поведу его я. Имеете возражения?

— Только дополнение. С вами пойду и я.

— И еще капитан Прищепа, — сказал я. — Без его разведчиков незаметно не подобраться к Питеру Парпу.

— Альберт, свяжитесь с дядей, — сказал Гамов. — И попросите, чтобы центральное стереовидение сделало передачу такого примерно содержания. Добровольная дивизия “Стальной таран” генерала Прищепы и полковника Гамова, — Гамов подчеркнул голосом свою фамилию, — попала в полное окружение. На выстроенную дивизией оборону накатываются неприятельские полки, но находят свою гибель у ее валов. Стойкая оборона дивизии цементирует наш западный фронт, сильно заколебавшийся после подлой измены патинов.

Пеано засветился самой яркой из своих улыбок.

— Не преувеличение, полковник Гамов? Окружение еще не состоялось, атаки врага пока ни одной не отбивали...

— Не преувеличение, а предвосхищение, Пеано. И особо объясните дяде, что такая передача нужна для воодушевления солдат. Ваш дядя не может не понимать, что успешная оборона нашей позиции существенно ослабит бездарность общего положения на фронте. Не согласны?

— Мое согласие или несогласие не имеет значения, полковник. Я передам дяде все, что вы потребовали передать.

Я уже говорил, что в любом споре Гамов рассчитывал, по крайней мере, на ход дальше противника. Сейчас был именно такой случай. Даже умница Альберт Пеано, мастерски камуфлирующий свой ум глуповато-радостной улыбкой, даже он не понимал, на что уже замахивается полковник добровольной дивизии “Стальной таран” Алексей Гамов.

Мы ждали темноты, чтобы переправиться через реку. На вражеском берегу пока было пусто. Очевидно, родеры держались подальше, чтобы не попасть под обстрел наших орудий.

Я сосредоточил диверсионный отряд на левом фланге дивизии — здесь и переправы были легче, и ближе до шоссе, — по нему сейчас двигался полк Питера Парпа. Все солдаты были в поплавковых костюмах, но пока не надували их. Я ждал Гамова и Прищепу. В тускнеющей вышине проступали звезды. Ни облачка не затеняло неба. В отдалении, справа, на недавних позициях сложившего оружие пятого корпуса патинов, вспыхивали зарницы — “Золотые крылья” уже вступили в борьбу со сменявшими патинов родерами. На наших флангах все было тихо: враг накапливал силы, не ввязываясь в дело, пока не получит перевеса.

Я прилег на нагретую за день траву, впитывал телом теплоту земли, слушал прерывистый шелест Барты — на откосы высокого берега набегали мелкие волны. И меня охватывало попеременно наслаждение и отчаяние. Наслаждение от тишины, от красоты неба и земли, реки и леса за рекой, от всего того, что вокруг меня так удивительно, так проникновенно прекрасно. И отчаяние от того, что я сам, тысячи, нет, миллионы таких, как я, должны уничтожать красоту, что так очаровывает меня. Через несколько часов я брошу свой отряд в сражение — и не будет уже ни тишины, ни красоты, а будет грохот резонансных бомб, свист пуль, вопли раненых, стоны умирающих... Я числился в хороших офицерах, я и был таким, никто не смог бы бросить мне упрек, что я забываю свой воинский долг. Но в тот прекрасный вечер, последний тихий вечер в нашей дивизии, я испытывал отнюдь не солдатские чувства, думал отнюдь не солдатскими мыслями. И ненавидел судьбу, предписавшую мне стать солдатом!

Гамов и Прищепа появились одновременно. Гамов показал на север, где полыхали беззвучные молнии.

— Сообщение от генерала Коркина, командира “Золотых крыльев”. Родеры обстреливают его с фронта и с тыла. Он энергично отвечает. Он уверен, что удержит свои позиции. Наш генерал считает, что Коркин всегда преувеличивает свои возможности. От него поступают победные реляции, даже когда он терпит поражение. Маршал передал приказ: стоять, не покидая Барты. Генерал считает, что такой приказ сковывает наши дей-

ствия — и мы не сумеем в нужный момент прийти на помощь “золотокрылым”. Ваше мнение?

— Не мнение, а возмущение! — сказал я. — Сколько еще получать глупых приказов? Маршал не понимает реальной обстановки.

— Глупые приказы можно и не выполнять. Генерал ответил, что будет действовать по обстановке.

Гамов впервые надевал поплавковый костюм, я помог ему влезть в него, отрегулировал надув воздуха. Костюм был усовершенствованной конструкции, в нем можно передвигаться в воде и отвесно, и с любым наклоном — вперед, назад и в стороны. Я посоветовал Гамову плыть отвесно — передвижение помедленней, чем с наклоном, зато туловище лишь по грудь в воде. Разумеется, при обстреле надо уходить в воду поглубже, но обстрела с противоположного берега мы не ожидали.

Павел принес приборчик с экраном. На экранчике засветились линии, возникли цифры. Павел показал направление — не прямо на запад, как мы намечали, а несколько южнее.

— Парп движется медленней, чем мы ожидали. И если пойдем на запад, то перехватим его полк на шоссе не на рассвете, а в полдень. Время для диверсии неудобное. К тому же, Парп скоро даст своему полку ночной отдых.

— И это все показывает твой карманный экран? — я указал на приборчик. — Как он называется?

— ВПМ, что означает Видеоскоп Полевой Малый.

— А принцип его работы, Павел?

— Об этом поговорим в другое время.

Я понял, что ВПМ относится к секретным приборам. В разведывательном хозяйстве Павла Прищепы было много устройств, о которых нам было известно, что нам ничего о них не должно быть известно.

Переправа через Барту заняла времени даже меньше, чем планировалось. На берегу вражеских постов не было. Командиры отделений доложили, что у них все на месте. Все поплавковые костюмы сложили в кучу и укрыли в густом кустарнике у берега. Туда же спрятали и поплавковые лодки, перевозившие резонаторы. Павел назначил дозорных, и мы двинулись по бездорожью. Лес был сосновый, насаженный и ухоженный, двигаться по такому лесу нетрудно. Часа в три ночи Павел сообщил, что полк Парпа расположился на отдых километрах в восьми от нас. Я скомандовал привал.

Мы с Гамовым укрылись в старом сосняке. Я вытянулся на прошлогодней хвое и смотрел в небо. Гамов прилег рядом и что-то обдумывал. Большая Медведица уже поворачивалась вокруг Полярной звезды на запад. Ночь шла к концу. Гамов вдруг сказал:

— Страшная сила радио и стерео! Куда сильнее газет и книг!

— Почему вы думаете о радио и стерео?

— Когда вы готовили отряд к рейду, центральное стерео передало то сообщение, какое я продиктовал Пеано. И диктор кое-что добавил от себя. Хорошее, разумеется. Мы становимся известными, Семипалов.

— Я не честолюбив.

— Дело не в честолюбии, хотя оно и генератор жизненной энергии. Популярность — добавочная степень свободы. Маршал даже на нашего генерала кричал, как на мальчишку, я сам слышал. После таких передач он не посмеет третировать Прищепу — да и нас с вами!

К нам подобрался Павел. Впереди у Парпа — батальон прорыва с двумя электроорудиями и пулеметами. В центре — машины с деньгами в окружении батальона охраны. Охранники вооружены импульсаторами, у некоторых и ручные резонаторы. Позади — батальон арьергардной защиты, обычное стрелковое соединение со штатным вооружением, транспорт — грузовые машины и мотоциклы. Полк растянулся на километр. В районе нашей встречи уже побывали разведчики Парпа и доложили, что никого там нет. Можно теперь подбираться вплотную к шоссе.

Я разделил отряд на три группы. Одна нападает на первый батальон с востока и с севера, принуждая его вести бой в полуокружении. Вторая с востока отсекает арьергард от батальона охраны денег. А третья, затаившаяся по обе стороны шоссе, вступает в бой с востока и запада одновременно, когда передовой и задний батальоны уже будут атакованы. Задача группы захвата — овладеть машинами с деньгами. Если же первый и третий батальоны дадут деру, мешать не надо, пусть бегут.

— Хочу принять командование группой захвата, — сказал Гамов.

— Принимайте. Передовой группой командует Павел, я возглавляю третью. Теперь поднимаемся. Нам нужно к шоссе на час раньше Парпа, чтобы выбрать позиции для электроорудий.

Моя группа подошла к шоссе, когда небо позади побледнело. Впереди, на западе, еще стояла ночь. Гамов радировал, что занял обе стороны шоссе. Павел сообщил, что установил электроорудия на хорошей позиции. На моей позиции тоже все было подготовлено. Я приказал прекратить радиопереговоры — полк Парпа приближался.

Вскоре на шоссе показалась передовая колонна. Небо посветлело и на западе, у нас за спиной разгоралась заря. Грохот механизмов опережал колонну четко шагающих солдат — родеры даже в походном строю держатся как на параде. Укрывшись в подлеске, мы наблюдали стройное шествие гвардейцев передового батальона.

За первым батальоном прошествовал второй. Проехали две закрытых черных машины с деньгами. Солдаты второго батальона вели себя свободней, чем передовые. Мы слышали смех, громкие выкрики, кто-то заунывно напевал.

Когда появился арьергард, я просигналил атаку. Шоссе покрылось скачущими искорками резонансной шрапнели. Вражеские солдаты метались, падали, крутились, терзаемые вибрацией. Я увидел вражеского офицера, пораженного несколькими резонансными пулями. Он, еще стоя, качался и размахивал трясущимися руками, потом упал, продолжая и на земле содрогаться. Артиллеристы пытались установить на боевую позицию электроорудие, но орудие, осыпанное резонансной картечью, само завибрировало. Часть солдат бросилась в лес по другую сторону шоссе. Встающее солнце осветило отвратительное зрелище — всюду корчились люди, всюду кричали, просили помощи. О помощи всем не могло быть и речи. Но одному я велел облегчить страдание. Молодой солдат, почти мальчик, стоял, схватившись рукой за колесо грузовика, его выворачивало, он, прикусив нижнюю губу, отчаянно пересиливал вибрацию. На него набросили тормозной жилет, быстро установили антирезонанс, он затих и, освобожденный от боли, потерял сознание.

Павел передал, что передовой батальон, после кратковременного сражения, бежит в лес по другую сторону шоссе, он не мешает бегству, а спешит на подмогу Гамову, у того бой в разгаре. В центре дело шло хуже, чем у нас. Электроорудия были только у Павла и у меня, а против ручных резонаторов родеры Парпа направили такие же свои резонаторы. Засверкали и синие молнии импульсаторов. Передовой и арьергардный батальоны Парпа были вооружены лучше центрального, зато на охрану де-

нег он поставил самых стойких солдат. Я отрядил половину своей группы наводить порядок на шоссе — сводить пленных, собирать оружие, оказывать помощь раненым. Со второй половины группы я поторопился к Гамову. Гамов встретил нас у двух огромных машин — около них уже стояла наша охрана. На железных фургонах висели массивные замки, их ломали. Я спросил Гамова, не лучше ли отвести машины в дивизию нетронутыми. Он весело ответил, что надо убедиться, что деньги на месте, и у него давно зреет мысль найти хорошим деньгам хорошее применение. Я не стал допытываться, что за применение находит Гамов деньгам и почему называет их хорошими — деньги как деньги, обыкновенные банковские билеты.

Первый фургон открыли. Он был заполнен доверху пакетами, перевязанными стальными лентами, на каждом виднелась надпись: “200000 калонов”. Гамов сбил одну ленту, вынул несколько пачек денег. Деньги были новенькие, пахли ароматом каких-то эссенций. Гамов вертел пачки в руках, нюхал и всматривался в них. Странное выражение было на его лице, не то восхищенное, не то умиленное, такое выражение бывает, когда человек испытывает глубокую радость, смешанную с глубоким удовлетворением. В общем, лицо Гамова мне не понравилось. Я иронически поинтересовался:

— Какое же хорошее применение вы собираетесь найти этим хорошим деньгам, Гамов?

— Сейчас сами увидите.

Подошедший Прищепа доложил, что отряд готов к возвращению с добычей и пленными. Раненые размещены в машинах. Гамов спросил, можно ли задержать отряд на полчаса для митинга. Хоть на час, ответил Павел.

— Тогда соберите всех, кто не несет охрану пленных. Пусть впереди станут командиры.

Солдаты не шли, а бежали на митинг. Всех тревожило, что мы задерживаемся на шоссе, где можно подвергнуться такому же неожиданному нападению, какое сами устроили на полк Питера Парпа. Один Павел оставался невозмутимым, он знал, что нападения на нас не будет.

Гамов взобрался на зарядный ящик. У ног его лежали раскрытые пакеты с деньгами, двое солдат охраняли их. Гамов заговорил с таким волнением, какого я еще не знал у него. Я видел его гневным, язвительным, резким, грубым, яростным, все это были формы волнения. Сейчас он говорил с волнением ду-

шевым, не просто с волнением души, душа волнуется по-разному. Он говорил именно так: душевно.

— Солдаты, друзья, братья мои! — говорил он. — Не буду благодарить вас за победу: мы просто выполнили в бою свой воинский долг. И нам досталась огромная добыча — деньги, принадлежащие нашему народу, возвращены народу. Мы с вами тоже часть народа — и передовая, боевая часть. Мы заслужили толику этих денег, кровью своей, риском смерти заранее оплатили их. Я знаю, что действую против всех инструкций, и вы это знаете. Но я решил часть добычи выдать вам за заслуги в бою. И готов нести всю ответственность за такое решение.

В толпе солдат пронесся и замер гул.

— Поймите меня правильно, — продолжал Гамов. — Хочу вознаградить заслуги в бою, а не растаскивать народное имущество. Поэтому устанавливаю временную оценку за каждый боевой успех. Пусть ваши командиры принимают от меня пачки с деньгами, а потом распределяют их между своими солдатами. Слушайте и запоминайте, Убито 65 родеров. За каждого убитого назначаю награду в 200 калонов — итого 13000 калонов. Взято в плен 350 человек. Каждого пленного оценим в тысячу калонов — итого триста пятьдесят тысяч. Принимайте плату за убитых и пленных.

Солдаты вынимали из пакетов пачки денег, Гамов швырял их командирам отделений. Все это так противоречило воинскому уставу, так нарушало все обычаи войны, что я растерялся. Надо было остановить Гамова, приказать отряду разойтись. Но я чувствовал, что сделаю я хоть шаг к защите денег — и уже не удержу дисциплину. Все понимали, что поступком своим Гамов вызовет гнев начальства. Но гул в толпе становился сильнее и радостней. Я поглядел на Павла. Прищепка ухмылялся, он поддерживал Гамова. Я стиснул зубы, подавляя негодование.

— Слушайте дальше, — продолжал Гамов. — Нами захвачено двести ручных вибраторов, тридцать импульсаторов — каждый оцениваю в пять тысяч калонов. Получайте один миллион сто пятьдесят тысяч калонов. — Солдаты передали отделенным несколько пакетов денег. — За электроорудие по сто тысяч, всего двести тысяч. Эти деньги — за вибраторы и орудия — только тем, кто их захватывал. Не возражаете? — Новый взрыв одобрительного шума утвердил решение Гамова. — И последнее. Каждому раненому выдается две тысячи калонов, а семьям уби-

тых — по десяти тысяч. Теперь строиться и в путь. Плату командиры выдадут на привале.

Солдаты снова не шли, а бежали на места построения. Если раньше их гнал на митинг страх неожиданного нападения, то теперь подстегивала жажда поскорей добраться до привала и получить свою долю.

Мы с Павлом подошли к Гамову.

— Не одобряете, вижу, — сказал он. — Итак, возражения?

— Тысячи, — сказал я, — и все серьезные.

— Павел, у вас тоже возражения, и тоже только серьезные?

— Полковник, я всегда с вами! — горячо ответил Павел. — Все, что вы делаете, — правильно!

Я снова утверждаю, что именно Павел Прищеп, а не я, был первым последователем Гамова. Меньше всего в тот день после боя с родерами я мог сказать Гамову: “Я всегда с вами, все, что вы делаете, — правильно!” Нет, я был не с ним. И если бы пришлось действовать, я действовал бы против него. Реально получилось по-другому, но тут сыграли роль внешние обстоятельства, а не убеждение.

— Итак, я слушаю возражения, — сказал он, когда отряд углубился в лес. — У вас их тысяча, и все серьезные, так вы сказали. Для начала выберите два-три самых веских.

— Поступим по-другому, Гамов. Сперва вы объясните, почему нарушили обычаи войны и приказы командования, а уж потом выскажусь я.

Он уже ждал такого ответа. Он задумал раздачу денег в момент, когда понял, что ими можно овладеть. Деньги, говорил он мне и Павлу — мы шагали втроем по прошлогодней хвое соснового леса, — величайший двигатель экономики. Но война тоже питается деньгами. Да, конечно, главное на войне — отвага солдат, мастерство полководцев, мощь промышленности, крепость духа. Но и без денег не провести ни одной крупной операции. И он хочет поставить захваченные деньги на службу нашей победе. Он намерен катализировать ими энергию нашей обороны. Что произойдет, если нас разгромят? Враг снова захватит деньги, они пойдут на укрепление его сил. А если наши солдаты получают эти разноцветные бумажки, так нужные каждому — ему и детям его, жене и родителям? Разве они не заслужили такой награды куда больше вельмож, в тылу осыпаемых деньгами? Разве солдат, зная, что, прорвавшись сквозь вражеское окружение, он не только обретет свободу, но и пере-

даст своим близким столь бесконечно нужный им дар, кипу кредиток, разве он не умножит своих усилий, чтобы отбросить врага? Повторяю, деньги не заменят ни любви к родине, ни верности воинскому долгу, ни личного мужества. Но они усилят все эти великие факторы войны. Кредитки будут воевать рядом с резонаторами, электроорудиями, лучевым и снарядным оружием. Я просто не могу отказаться от дополнительного вооружения, когда предстоят тяжелые, может, даже гибельные бои! Слушаю теперь ваши возражения.

Он говорил с такой убежденностью, с такой страстью, что у меня вдруг смешались мысли. И я ухватился за первое высветившееся в мозгу возражение — и тут же сообразил, что именно так кричал Гамову сраженный им хулиган, именно на это напирал пленный Биркер Шток.

— Но ведь так не воюют, Гамов! Так никогда не воевали!

— Верно! Так никогда не воевали. Ну и что? Ну и что, спрашиваю? Придумали тысячи форм и обычаев войны, но ни одна форма войны, ни один из ее обычаев не направлены против самой войны. Вдумайтесь в этот страшный парадокс! Войны оканчивались и снова вспыхивали. Войны стали если и не повседневностью человеческой жизни, то повседневностью истории — каждый год где-нибудь льется кровь и корчатся искалеченные дети. Как это вытерпеть? Как с этим примириться?

— Вы хотите вообще уничтожить войны?

— Хочу! Навечно ликвидировать войны! Старыми средствами этого не сделать, они дают лишь победу в отдельной войне, но не победу над войнами вообще. Дети, на которых падают с неба бомбы! Все могу понять, хоть и не все прощаю. Но убийства детей, но их покалеченных тел, их слез, их отчаяния — нет, никогда не пойму, никому не прощу! Меня корчит от ненависти, Семипалов! О, если бы был один конкретный виновник войны, хоть сказочный великан, с какой бы свирепой яростью я бросился на него, с какой жестокой радостью ломал его руки, зубами грыз его горло!

Он уже не говорил, а кричал. Он впал в такое же исступление, как в тот вечер, когда одолевал своей яростью напавшего на него верзилу с ножом. Выкричавшись, он замолчал. Некоторое время мы двигались в безмолвии, потом я заговорил:

— Войны отвратительны, согласен. И военными средствами с ними не справиться. Но что вы можете предложить другое?

— Только одно — вести с войнами войну, но не по правилам войны, а против этих правил. Придумать такие правила, чтобы лишить войну прикрывающих ее понятий благородства, героичности... Унизить войну, чтобы мутило и выворачивало кишки при каждом упоминании о ней.

— И вы уже придумали правила войны, уничтожающей всякие войны?

— Ищу, — ответил он.

Еще некоторое время мы шагали молча.

— Хорошо, ищите средства, не облагораживающие, а унижающие войну, — снова заговорил я. — Воротимся к деньгам, розданным солдатам. Они ведь не унижают войну, а делают выгодным участие в ней. Бой на коммерческой основе... В старину разбойники и пираты, бандиты и флибустьеры...

Он прервал меня:

— Не согласен! Наш солдат, получив деньги за свою храбрость, разбойником не станет. Он не грабит, а премируется — разница! И еще замечу вам — пираты и разбойники ведь были отчаянными воинами, сражались самозабвенно. Хочу, чтобы дух самозабвения, порыв отчаянной храбрости проник и в ряды наших солдат — хотя бы благодаря раздаче раскрашенных бумажек. Имеете еще возражения?

Я пообещал представить тысячу серьезных возражений, но смог выдать из себя только одно:

— Вы представляете себе, какой вызовете гнев в Адане, когда там узнают о вашем самоуправстве! Особенно, если таким же способом распорядитесь остальными деньгами.

— Плюю на все гнев и кары! И постараюсь сполна высвободить динамизм, потенциально скрытый в этих бумажках. А что до Артура Маруцзяна, которого вы так же уважаете, как и я, и особенно до маршала Комлина, невежеством и глупостью которого вы сами так часто возмущаетесь, то можно с ними и поспорить. Победа над врагом, если она станет известна всей стране... И наша с вами сплоченность...

— Нет! Не рассчитывайте в этом смысле на меня, Гамов. Открыто выступать против вас не буду. Но и не поддержу.

На этом закончилось наше объяснение. Павел, не дождав-шись конца, ушел к разведчикам. Я убедился, что всем раненым — и нашим, и вражеским — оказали неотложную помощь. Затем был привал. Отряд разделился на группки, в каждой делили деньги. Я опасался, что пойдут споры, но дележ совершал-

ся под шутки и смех. Офицеры записывали, кому, за что и сколько выдают. Я снова прошел мимо раненых в открытых машинах. Один поднял голову над бортом.

— Спасибо, командир, за награду! Так по-человечески с нами...

— Что будете делать с деньгами? — спросил я. — Повеселитесь?

— Не до веселья, майор. В первом же городке, где есть почта, отошлю домой. У жены двое детей.

И другой раненый вступил в разговор:

— А в дивизии не отберут деньги? Хорошо бы знать заранее.

— Не знаю, — сказал я. — Разрешения выдавать деньги не было. Еще как посмотрит начальство.

— Не отдам! — злобно сказал раненый. — Разорву, но не отдам! Теперь это мое, ясно? Мне эта награда сильнее лекарства, вроде и кости поменьше болят, а ведь всего вибрировало.

— Почему не надели антирезонансного жилета? Мы их много взяли.

— Бой же! Заранее не надеть, он тяжелый. Мы бросились на их оружие, грудь на грудь, нож на нож... И тут меня прорезонировали по ногам и по животу... Очнулся уже в лесу...

Он показал несколько пачек денег и добавил:

— Не одна общая награда, еще и за оружие. Отметили ребята, что я первый к нему кинулся. Спасибо полковнику — по правде оценил!

Первый раненый снова заговорил:

— Майор, вы уж не отступайте... Мы понимаем, полковник самовольничал. Пусть разговаривают с нами, если что... Мы скажем свое слово.

— Снимут полковника — разве поможет ваше слово? — не выдержал я. — Установят нарушение воинской дисциплины. И — все!

— Не отдам! — еще злей повторил второй раненый. — При всех в костер брошу. И заколю, кто бросится вытаскивать.

Я отошел. На пригорочке Гамов и Павел уписывали консервы. Моя банка консервов лежала на траве открытая. Я погрузил в нее ложку.

— Как настроение солдат? — спросил Гамов.

— Боятся, что награду отберут. И за вас боятся. Предвидят, что начальство накажет вас. Грозят, что денег не отдадут, а уничтожат. Смятение в душах, Гамов!

Он засмеялся.

— Это хорошо — смятение в солдатских душах. Нечто непринятое, даже запрещенное в методах войны.

К нам подошли два офицера с денежным пакетом.

— Остаток. Все раздали по заслугам, лишнее возвращаем.

Поздно вечером мы добрались до Барты. Поплавковые костюмы и плоты были там же, где мы их укрыли. Переправа продолжалась еще с час. Я обошел электробарьер дивизии, все орудия стояли на местах, обслуга несла вахту. Я пошел в штаб. В комнате генерала Прищепы собрались офицеры. Генерал хмуро поздоровался со мной. Гамов предварил мой вопрос:

— Майор, я доложил генералу о результатах боя и о раздаче денег. Генерал не одобрил, но и не отменил наших действий.

— Ваших, а не наших, — поправил я. — Генерал, почему вы так странно оценили события: не одобряете, но и не отменяете? В таком важном деле нужна определенность.

— Послушайте раньше сводку, — сказал Прищепа, — потом воротимся к вопросу о деньгах. Альберт, прошу.

Пеано — видимо вторично, для меня — прочитал последние донесения. Вторая армия Родера, заняв позиции разоруженного и отступившего пятого корпуса Патины, с юга и востока атакует дивизию “Золотые крылья”. Командующий дивизией генерал Филипп Коркин сообщает, что практически окружен, только тыл дивизии, прижатый к морю, еще не подвергся нападению — вражеских кораблей пока не видно. Бои очень тяжелые. “Мои геройские солдаты, массами уничтожая врагов огнем и вибрацией, отошли на вторую позицию, но она тоже подверглась сильному нападению”, — доносил Коркин. Генерал просил срочной помощи, у него нет уверенности, что без нее удержит последнюю линию обороны.

— Ваше мнение, майор? — обратился ко мне генерал Прищепа.

— Всей дивизией на выручку “Крылышек”! — воскликнул я.

— Тогда послушайте приказ маршала Комлина.

Пеано торжественно читал депешу из ставки: “Командующему добровольной дивизией “Стальной таран” генералу Прищепе. На фронте дивизии “Золотые крылья” сложилась тяжелая обстановка. Дивизия разорвана на сражающиеся группы. Единое командование утрачено. Донесения командира дивизии недопустимо приукрашают реальность. Есть опасение, что сопротивление “Золотых крыльев” будет вскорости сломле-

но. Приказываю укрепить оборону своей дивизии. Разделавшись с Коркиным, враг обрушится на вас. Уверен, что вы покажете невиданное геройство в обороне созданной вами крепости на Барте. Командующий Западным фронтом маршал Антон Комлин”.

Пеано язвительно добавил:

— Итак, показать невиданное! Очень выразительный, хотя не совсем военный стиль в приказах маршала.

— И ни слова о помощи “Крылышкам”? — сказал я.

Генерал Прищепа горестно покачал головой.

— Ни единого слова! Дивизия Коркина, похоже, списана. Я послал запрос о помощи “Золотым крыльям”. Жду ответа.

— Но ведь это преступление — не помочь товарищу в беде!

— Жду ответа от маршала, — сухо повторил генерал. Я с негодованием посмотрел на Гамова. Гамов сказал:

— Майор, генерал разрешает подготовку к рейду. Если маршала убедят наши запросы, немедленно выступим на помощь “Крылышкам”. Подготовьте срочный демонтаж электробарьера, а я продиктую донесение для центрального стерео.

И он громко продиктовал — Пеано записывал:

“Сегодня на рассвете диверсионная группа дивизии “Стальной таран” под командованием полковника Гамова и майора Семипалова, после скрытого ночного рейда в тылу противника, атаковала гвардейский полк родеров, двигавшийся по шоссе. Противник разгромлен. Часть гвардейцев в панике бежала, бросив все оружие. Наши трофеи: 350 пленных, два передвижных электроорудия с большим запасом боеприпасов, две-сти ручных резонаторов, импульсаторы и прочая техника и материалы. Отбиты 300 миллионов калонов, оказавшихся в руках изменников патинов и преступно переданных ими армии Родера. Наши потери незначительны. Слава воинам и офицерам генерала Прищепы, с такой отвагой и умением громящим врага в его тылу!”

Я поморщился.

— Гамов, зачем такая выпренность?

— Для впечатления, — спокойно ответил он.

— Вы уверены, что маршал пропустит подобный текст?

— Еще как! Надо же ему чем-то похвастаться. В неудачных войнах, когда теряют армии, похваляются подвигами отдельных солдат. После измены патинов, после гибели “Золотых крыль-

ев” он на всю страну раззвонит об успехе нашего диверсионного отряда.

— На свою голову раззвонит! — зловеще произнес Пеано. И сопровождал грозное предсказание самой сияющей и радостной из своих улыбок. Удивительно не совпадал смысл его слов с выражением лица!

Я пошел готовить электробарьер к демонтажу.

6

Все изменилось к утру.

Дивизия “Золотые крылья” сложила оружие. Об этом нас известил в очередной депеше маршал Комлин.

— Ваше мнение? — вызвав нас в штаб, спросил генерал Прищепа.

Первым ответил Гамов:

— Родеры концентрируют пленных в колонны, чтобы отвести их в свой тыл. Они не будут атаковать нас с севера, имея за собой массы пленных. Даже обезоруженные “Крылышки” осложнят сражение с нами. А когда и на севере, до моря, наших уже не будет, они ударят и с севера, и с юга, а с востока к ним присоединится четвертый корпус патинов, который пока сохраняет удивительную неподвижность. Думаю, его бросят на нас — и это будет первый акт войны патинов с нами.

— Вы сказали — атака родеров с севера и юга, а если поддержат патины, то и с востока. Почему не упоминаете атаку с запада? Фронт нашей дивизии обращен на запад.

— Именно потому, генерал, что наш фронт обращен на запад, он всего безопасней. Только идиоты ринутся через такую реку, как Барта, в лоб на электробатарей, когда появилась возможность атаковать нас с флангов и тыла.

— Что скажете, майор? — спросил генерал меня.

Я рассматривал карту с обстановкой. Карта открывала неожиданные возможности. Но надо было хорошо продумать их. Я ответил:

— Согласен с полковником.

В комнату вошел дежурный по штабу и доложил, что вокруг машин с деньгами собралась толпа солдат и требует, чтобы деньги выдали всем, а не только диверсионной группе. Они просят командира дивизии. Генерал сердито посмотрел на Гамова.

— Полковник, вы начали эту странную раздачу кредиток. Теперь сами наводите порядок.

— Порядок будет, — заверил Гамов, вставая.

Я вышел с ним. Машины с деньгами стояли на площадке за обратными скатами двух опорных холмов электробатарей. Вокруг них скопилось сотни две галдящих солдат. Охрана машин — с десятков солдат вместе с сержантом — держала наготове ручные резонаторы. Я быстро прикинул, что вооруженного отпора разрешать нельзя: первый же залп резонаторов на таком расстоянии превратит напирающих солдат в толпу обезумевших бестий, способных от боли все разнести.

Нас с Гамовым встретили криками:

— Где генерал? Мы просили генерала! Пусть придет генерал!

Гамов влез на ступеньку машины и сделал знак, что будет говорить. В толпе медленно затихал шум.

— Генерал Прищепа ранен, — начал Гамов. — Ему трудно ходить, еще трудней толковать с неорганизованной толпой. Он привык командовать солдатами, а не оравой. Буду говорить я.

Взрыв негодующих голосов покрыл его слова. Гамов спокойно ожидал, пока шум снова утихнет. Толпа умножалась. Среди бегущих к машинам я увидел и солдат диверсионного отряда, после рейда получивших в лесу денежные выдачи. Почти все они были с лучевыми импульсаторами. Я не труслив, но меня охватил страх. Конечно, я понимал, что они собираются защищать машины от грабежа, а не участвовать в нем. Но если они применят оружие, площадку усеют трупы.

— Раздачу наград за бой я предпринял на свой риск, — продолжал Гамов. — И поэтому вы должны объясняться со мной, а не с генералом. Но я не умею орать, и мои два уха не вместят тысячи ваших криков. Выделите одного представителя, и пусть все слышат наш разговор.

В толпе кого-то выталкивали, несколько голосов уговаривали: “Иди, Семен, да иди же! Доказывай полковнику! Валяй, пока по шее не схлопотал!” Из толпы выбрался высокий солдат, белобрысый, краснощекий, усатый.

— Ну, я буду! — выдавил он из себя.

— Докладывай по форме! — приказал Гамов.

Солдат оглянулся, из толпы поддержали криками.

— Рядовой второго батальона Семен Сербин. Что еще?

— Еще — то самое, ради чего сюда явился. Доложи претензии.

Сербин опять оглянулся на толпу, и его опять поддержали криками. Теперь он говорил свободней. Претензия одна — обидели солдат. Такую гору денег раздобыли, а роздали только двум сотням. Для кого остальные? Для себя? Берите и себе, но и нас не обделяйте. Надо по совести — военную добычу всем поровну. Все воюем, всех и награждать.

Снова заговорил Гамов:

— Все верно, Семен Сербин. Все воюем, и всех надо награждать. Но ведь воюем не одинаково, один смелей и удачливей, другой осторожней и боязливей. Почему же обоих награждать одинаково? Диверсионный отряд вчера воевал, кое-кто погиб, многие ранены. А ты в эту ночь стоял на спокойном карауле или дрых в палатке. За что же тебя награждать? Вот отличишься в сражении, получишь награду.

— А если прихлопнут в сражении, на хрена мне тогда награда? — зло крикнул солдат. — Мне сейчас нужно, за окопы, за перестрелки, за ночные переходы... Мертвым не повеселишься. Кончай уговоры, открывай машины! — он повернулся к толпе. — Верно говорю, братцы?

На этот раз в ответном шуме я не услышал единодушия. Кто-то заорал:

— Полковник, а в других боях будут награды?

— Будут! Сами же видите — денег гора! Гора принадлежит вам, но за реальные заслуги, а не потому, что стоите рядом с этими машинами. Я не позволю, чтобы раненный в бою получил то же, что и прячущийся за спины товарищей.

Теперь слышались голоса: “Верно! Правильно говорит полковник!” Но большинство еще поддерживало Сербина. Один из солдат диверсионного отряда протиснулся вперед и крикнул:

— Семен, ты меня знаешь, я Варелла! Что можно шлепнуться в любом бою — точно, можно. А ведь не шлепнулись пока. А ты и не ранен. Все в твоём отделении с ранами, а ты, вот же счастье, — нет!

Сербин понял, что настроение в толпе меняется.

— За мной! — заорал он. — Кто не трусит, выходи!

Из толпы стали протискиваться солдаты. Один за другим они выбирались наружу, кучка вокруг Сербина густела. Сержант охраны приказал своим солдатам поднять резонаторы. Взмахом руки я запретил ему стрелять. Солдаты вновь опустили

оружие. Жестом я подозвал поближе солдат из диверсионного отряда и вынул свой импульсатор. Если дойдет до схватки, сам уложу Сербина, решил я, а остальных одолеют мои диверсанты. Гамов стоял невозмутимый, лишь повернул лицо в мою сторону и кивком поблагодарил.

— С дороги! — крикнул Сербин. — С дороги, полковник! Поперек не становись!

Гамов поднял руку, показывая, что еще хочет говорить.

— Не слушайте! — надрывался Сербин. — Нужна мне награда, когда я мертвый буду валяться в дерьме! По горло сыт дерьмом. Прочь с дороги!

— Взять его! — крикнул Гамов.

В диверсионный отряд подбирались не только смелые, но и сильные и ловкие. Сербин отчаянно заметался в сплетении дюжих рук. Он пытался что-то выкрикнуть, но удар Вареллы усмирил его. Охрана машин снова взметнула резонаторы. С десятков диверсантов, став между охраной и толпой, стали теснить толпу назад. Толпа под дулами резонаторов, и сдерживаемая стенкой схватившихся руками людей, недобро молчала. Любое неосторожное слово могло породить новый взрыв. Я боялся, что Гамов не сдержит свой норов. Но и тени гнева не было на его лице.

— Семен Сербин, по военному закону я должен расстрелять тебя перед строем солдат за попытку поднять бунт в полку, — говорил Гамов так громко, что его слышали в толпе даже тугухие. — Но я не буду тебя расстреливать. Я верю в тебя, Сербин. Ты человек смелый, к тому же ни разу не ранен, не ослаб, значит, будешь страшен для врага. Убежден, что еще покажешь доблесть в бою и я еще пожму тебе тогда руку и вручу ценную награду. Но за сегодняшнее буйство тоже надо тебя наградить. Ты сказал, что сыт по горло дерьмом. Нет, Сербин, ты еще не пробовал настоящего дерьма. А сейчас испробуешь — и, точно, досыта! — Гамов властно приказал:

— Бросить его в отхожий ров!

На склоне холма, позади электроорудий, был вырыт отхожий ров с наклоном в быстротекущую Барту. Несколько диверсантов потащили туда отчаянно забившегося Сербина. Толпа, не сразу разобрав, что произошло, зашевелилась, загомонила, стала распадаться. Прошла минута-две, и вся толпа устремилась к отхожему рву. Вокруг машин осталась охрана и мы с Гамовым.

— Посмотрим, — хмуро сказал Гамов. — Это противно, но надо видеть, что делаем.

Над рвом взметнулось тело Сербина. Его вопль потонул в разноголосом реве толпы. Все теперь теснились к обрыву холма, чуть не валясь в ров. Сербин упал в зловонное месиво, вскочил, поскользнулся, опять упал, опять вскочил. Он дико ругался, а ему отвечали хохотом — очень уж смешон был человек, стирающий грязными руками грязь с лица и одежды и что-то со слезами орущий сквозь коричневую маску, облепившую всю голову. Вероятно, были и осуждающие голоса, но их заглушал безжалостный хохот развеселившейся толпы.

Гамов подозвал одного солдата.

— Разыщи командира его отделения. Пусть последит, чтобы Сербин отмылся в Барте и выстирал свою одежду. И пусть передаст Сербину, чтобы до первого боя даже случайно не попался мне на глаза.

Мы воротились к машинам. Гамов был мрачен и подавлен. Перед лицом бушевавшей толпы он выглядел куда спокойней, чем после так своеобразно ликвидированного буйства. Я подумал, что его мучит стыд за унижительную расправу с солдатом, и сказал:

— Я ждал, что вы расстреляете Сербина, как положено по военной классике. Но вы применили неклассический метод усмирения.

— А что толку его расстреливать? Многие кинулись бы на его защиту. И разве это отбило бы у солдат желание попользоваться богатством? Угроза бунта осталась бы. А на выручку барахтающемуся в дерьме никто не придет, еще похохочут. И никто не пожелает очутиться в таком же дерьме. Теперь нападения на машины не жду.

— Почему же вы так мрачны, если шумиха подавлена?

— Я давно уже не думаю о ней. Эта трагедия “Золотых крыльев”... Скоро и нам отбиваться в окружении! Маршал не пришлет нам настоящую подмогу. И не по военной своей бездарности, а по реальным обстоятельствам. К нам не пробиться ни с востока, ни с юга.

— Гамов, у меня есть план спасения, — сказал я. — Идемте в штаб.

В штабе я попросил у Пеано карту с последними данными и доложил свой план. Какая сложилась обстановка? С востока четвертый корпус патинов, с юга дивизии родеров, на севере

родеры поспешно уводят пленных “крылышек”. Эта эвакуация создает непредвиденные возможности. Посмотрите на дороги севернее нас. Они идут в обход наших позиций на Барте. В некий момент колонны пленных будут проходить всего в полусотне километров от нас. Почему нам не ринуться наперерез и не освободить своих? Конечно, к тому времени родеры займут позиции на противоположном берегу Барты, но вряд ли большими силами. Дороги на север, на юг и на восток если и не все закрыты, то чрезвычайно опасны. А на запад прорваться легче. Конечно, прорыв на запад равносильен тому, чтобы поглубже засунуть голову в пещеру врага. Но сейчас там двигается пленная дивизия. Освободив ее, мы удваиваем свои силы. Став корпусом из дивизии, мы повернем обратно на врага и пробьем себе выход на восток к своим армиям.

Гамов воскликнул:

— Великолепный план! Я —за!

Пеано, Гонсалес, Павел Прищепа и другие офицеры тоже высказались за операцию. Но генерал Прищепа задумался.

— Генерал, неужели вы против? — удивился Гамов.

Генерал медленно проговорил:

— Не я, а маршал Комлин против. Он предписывает нам на смерть стоять на нашей позиции.

— Генерал, снова спрашиваю — вы против?

Прищепа грустно улыбнулся.

— Трудный вопрос вы задаете, Гамов, своему дисциплинированному начальнику. Я всю жизнь привыкал исполнять приказания свыше. Вот мой ответ: я за прорыв на запад. Капитан,— обратился он к сыну, — успех операции зависит от вашей разведки. Если вы ошибетесь в скорости движения колонны пленных, в степени их концентрации, поход дивизии будет равносильен удару кулаком в воздух.

— Можете положиться на разведку, генерал, — сказал Павел.

— Пойду отдохнуть. — Генерал выглядел измученным. Мы догадывались, что его не так тяготит слабость после ранения, как то, что обстоятельства принудили идти против предписаний начальства. — А вы подработайте операцию.

— Предлагаю с детальной разработкой операции погодить до получения данных, как эвакуируются пленные, — сказал Гамов после ухода генерала. — Есть другой срочный вопрос — захваченные деньги. Солдат волнует судьба бумажек.

— Вы обещали им, что награждение деньгами будет продолжено, — сказал я.

— Но согласны ли вы? Нужна точность.

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что мне безразлично, как распорядятся деньгами. Всею душой я восставал против того, чтобы разбрасывать деньги, принадлежащие всей стране, а не одной нашей дивизии. Но отмена обещаний Гамова вызвала бы возмущение среди солдат и уменьшила нашу боевую энергию перед рискованным походом в тыл врага.

— Снимаю возражения, — сказал я.

— Тогда разработаем ценник денежных выплат за боевые успехи, — сказал Гамов. — Я раздавал деньги по наитию. Надо установить теперь, чего объективно стоит каждый успех в бою. А завтра развесим ценник во всех полках, чтобы каждый знал, на что рассчитывать.

— Прейскурант цен на геройские подвиги, — невесело пошутил я. Это была моя последняя попытка иронизировать над включением банковских кредиток в штатное вооружение дивизии.

— Меня денежные ценники не интересуют, пойду организовывать разведку, — объявил Павел.

Вместе с ним ушли в свои подразделения и другие офицеры. Остались Гамов, Пеано, Гонсалес и я. Гамов вписывал в лист бумаги наименование подвига и объявлял цену. Он уже заранее продумал каждую цифру. Мы сразу согласились, что за трофейную машину, уничтоженную или сильно поврежденную, надо платить в два раза меньше, чем за целую или требующую небольшого ремонта. То же и для всех видов ручного и стационарного вооружения. Но когда перешли к живой силе, разволновался Аркадий Гонсалес. Я уже говорил, что этот долговязый майор, наш второй оператор, работал с картами добросовестно, но показывал непостижимое равнодушие к реальной сути своих разработок. Он признавался, что ненавидит войну. Такое отношение к своей службе — а его службой было планирование военных операций — не могло способствовать ее успеху. Между тем, у нас не было нареканий на квалификацию его боевых наметок. Но если можно было не высказывать своего мнения на советах, он неизменно молчал. А сейчас разбушевался.

— Вы предлагаете платить за убитого врага в пять раз меньше, чем за пленного? Никогда не соглашусь! — кричал он. — Убитый больше не встанет. Его смерть — облегчение для нас. Древние говорили: убитый враг хорошо пахнет. А пленный? Это

же обуза! Корми, лечи, охраняй! И он потенциально опасен, ибо может вырваться и опять пойти на нас. А вы хотите платить за потенциального убийцу наших солдат впятеро больше, чем за того, кто уже не нанесет нам никакого вреда? Это же абсурд!

Гамов возразил:

— Враги такие же люди, как и мы. Большинство из них насильно погнали воевать, они не ответственны за войну, хоть и страшны для нас, когда воюют. Я повышаю плату солдату, берущему врага в плен, за то, что он сохранил человеческую жизнь. Вывел из строя врага, но спас человека. Гонсалес, вы часто говорите, что ненавидите все формы войны. Убийство не ликвидирует войны, за убитого будут мстить. За пленного не мстят. За то, что сохраните пленному жизнь, будут благодарны. Если враг знает, что мы только убиваем, он и в безвыходной ситуации отчаянно сопротивляется и сеет смерть в наших рядах. А если узнает, что мы платим нашим солдатам за сохранение жизни больше, чем за убийство, то разве тогда ему, попавшему в трудное положение, не захочется самому пойти к нам с поднятыми руками, чтобы разделаться с опостылевшей войной? Это же логика, Гонсалес! Не только простая человеческая логика, но и военная! Как же вы этого не понимаете?

Мы с Пеано поддержали Гамова.

Гамов прочел вслух ценник денежных наград за боевые подвиги:

“1.	Захват водолета	2000000	калонов
2.	Уничтожение водолета	1000000	
3.	Захват электроорудия	200000	
4.	Уничтожение электроорудия	100000	
5.	Захват ручного вибратора	10000	
6.	Уничтожение ручного вибратора	5000	
7.	Захват автомашины	20000	
8.	Уничтожение автомашины	10000	
9.	Захват метеогенератора	4000000	
10.	Уничтожение метеогенератора	2000000	
11.	Захват генерала в плен	500000	
12.	Уничтожение генерала	100000	
13.	Захват офицера в плен	50000	
14.	Уничтожение офицера	10000	
15.	Захват солдата в плен	1000	
16.	Уничтожение солдата	200	
17.	Раненому за ранение	2000	
18.	Наследникам убитого	10000	

Захват и уничтожение остального боевого снаряжения и материалов, не упомянутых в настоящем списке, оценивается каждый раз особо — с учетом важности его для успеха в бою”

— Вот и перешли к неклассическим методам войны, — сказал я. И на этот раз не иронизировал.

— Это только начало нашей войны против войны, — отозвался Гамов.

Все мы — и я, и Пеано, и Гонсалес, а до нас еще Павел Прищепа — уже искренно поддерживали то новое, что вносил Гамов в методы войны. Он мог уже и тогда назвать нас своими учениками. Но ни один из нас и отдаленно не догадывался, до каких границ продумал он эти “неклассические методы войны”, какие поставил себе исполинские цели и с какой опаляющей энергией будет их добиваться.

7

Трудно передать возбуждение, охватившее всю дивизию, когда расклеили “Ценник подвигов”.

И первым, кто взволновался, был наш старый генерал Леонид Прищепа. Он ожидал, что наутро мы представим ему диспозицию похода на север в тыл противника. А ему положили на стол роспись выплат за воинские успехи. Он промолчал, когда Гамов роздал солдатам малую толику захваченных денег — чего на войне не бывает, опытный военный умеет на многое закрывать глаза. Но превратить маленькое вынужденное исключение в новый метод ведения войны? Скрепить этот неслыханный метод своей подписью? Вы белены объелись? Да никогда, говорю вам!

И как мы ни убеждали, он не пошатнулся.

— Приказ о наградах за подвиги подпишу я, — сказал Гамов. — Ведь это моя идея, буду отвечать за нее.

Перед вывешенным списком не рассеивались солдаты. Одни читали вслух, другие переписывали цифры. В палатках толковали только о наградах за боевые успехи. К начальнику охраны машин с деньгами подошло несколько солдат — возможно из тех, кто недавно пытался захватить их силой, — и сказали:

— Ребята, в случае чего — кричите нас на подмогу. А то шантрапа разграбит, и после боя будет нечего получать.

А на электробарьере два солдата, сидя на баллонах со сгущенной водой, делились мечтами — я стоял неподалеку и слышал:

— Приобрету домик, — говорил один. — Теперь на войне заработаем, не прежнее — голову сложи либо в госпиталь... Вышлю домой награду, пусть подыскивают домик.

— А если голову сложишь до награды? — поинтересовался второй.

— И за смерть мою получают не один похоронный листок.

Не только я прислушивался к солдатским разговорам. Все командиры докладывали, что солдаты уже сердятся, чего медлим, почему теряем драгоценное время в обороне? Генерал Прищепа приказал распустить слух, что к нам на выручку идет армия. В слух поверили, меня спрашивали, скоро ли рванем навстречу? Я отговаривался, что определенно не скажу, но скоро соединимся со своими — это была не та правда, в какую верили солдаты, но все же правда. Открыто лгать было стыдно.

Между тем, противник методично окружал дивизию. На другом берегу Барты неприятельские части занимали оборону, готовили засады. Враг вел себя нагло и беззаботно — заводили веселую музыку, ночами лезли купаться. Нас провоцировали на бесцельный обстрел. Но мы не тратили снаряды на уничтожение декораций. Неприятель не собирался штурмовать нас с запада. Он не знал, что мы сами намерены устремиться туда, откуда недавно с тяжелыми боями брали Барту. Родеры — отличные воины, но пленники заранее разработанных планов — и на этом всегда можно сыграть.

Пленная дивизия двигалась пешком тремя отрядами. Аэро-разведчики показывали, что тяжелого вооружения неприятельская охрана не имеет — ни одного электроорудия, не говоря уже о метеогенераторах. Большого сопротивления удару всей нашей дивизии охрана пленных оказать не могла. Зато неприятель мог увести колонны пленных назад, под защиту основных сил, готовящихся с фланга атаковать наши позиции на Барте либо прорваться дальше нас в свой тыл. Ни того, ни другого нельзя было допустить.

Пеано предложил разделить нашу дивизию на два полка с мобильным оружием и группу уничтожения из двух полков с тяжелым снаряжением. Полки прорыва форсируют Барту и, не ввязываясь в затяжные бои, устремляются вперед. Задача левого полка — закрыть неприятелю путь в свой тыл. Задача правого полка — преградить дорогу обратно. Сила полков прорыва неодинакова. Родеры, встретив препятствие впереди, не бросятся сразу назад, поспешное бегство не в их характере. Они попыта-

ются разметать неожиданную затычку. Бои левого полка наверняка будут ожесточенными и долгими. Задачу правого полка можно выполнить меньшими силами — бегство назад произойдет лишь после разгрома, когда неприятель будет сильно ослаблен. Основную задачу по разгрому неприятеля и спасению пленных выполняет группа уничтожения.

Командование левым полком прорыва, продолжал Пеано, возлагается на майора Семипалова, правым полком командует капитан Прищепа со своей разведывательной группой. Отряд уничтожения возглавляет полковник Гамов. Генерал Прищепа координирует боевые действия всех отрядов.

— Возражений нет? Замечания? — спросил генерал. — Капитан Прищепа, доложите, как отводят в тыл пленных.

Движение пленных “крылышек” третий день совершается по тридцать лиг в сутки. Спустя двое суток пленная дивизия подойдет по шоссе на самое близкое к нам расстояние, потом станет удаляться. До этого ближайшего пункта после прорыва обороны врага на противоположном берегу Барты левому полку полные сутки хода. Выступать нужно завтра к ночи или послезавтра утром.

— Завтра к ночи, — сказал я. — В темноте легче проскользнуть в тыл.

— Солдатам надо сказать, что цель сражения не та, о какой ходили слухи. И что они идут на спасение братьев, а не просто выручают себя, — сказал Гамов. — Только ясное понимание операции способно мобилизовать духовные силы. Сегодня обращаюсь к ним сам.

Когда Прищепа распустил военный совет, я сказал его сыну:

— Павел, удели мне парочку своих ребят с их инструментарием. В такой операции, да еще ночью, тыкаться сослепу...

— Во всех отрядах будут мои разведчики. А тебе, Андрей, передаю дубликат моего личного приемо-передатчика. То, что я скажу, сможешь услышать лишь ты. И один я буду слышать тебя. Перехват наших переговоров исключен.

— Всем бы начальникам вручить такие передатчики, — сказал я, принимая металлическую коробку, похожую на портсигар. На крышке стояло число 77.

— Будут, — сказал Павел, — но пока нет. Новое изобретение.

Обращение Гамова к солдатам я услышал, примостившись на склоне электробарьера. Обслуга орудия сгустилась у репро-

дуктора на сосне. Гамов начал с того, о чем уже все знали: добровольная дивизия “Золотые крылья” не вынесла удара неприятельских сил. Сейчас всю ее, обезоруженную, гонят во вражеский тыл мимо наших позиций. Слухи о том, что на помощь к нам идет целая армия, не подтвердились. В этих условиях командование дивизии “Стальной таран” решило прорываться туда, где нас никто не ждет и где оборона врага всего слабей — во вражеский тыл, на освобождение пленных братьев. Соединившись с ними, мы станем много сильнее и сможем нанести новый удар в любом месте, где враг не оборудовал прочной обороны, чтобы там выйти к своим.

И Гамов закончил:

— Командование уверено, что каждый исполнит свой воинский долг!

Солдаты, не стесняясь моего присутствия, комментировали новости:

— Покинули нас! — кричал один солдат о командовании фронта. — Списали в расход. Предатели, не лучше патинов! “Крылышек” предали, теперь нас!

Другой поддерживал:

— Ребята, воротимся — неужто смолчим? Полжизни бы отдал, чтобы выложить маршалам и министрам, что думаю о них!

Но были и другие разговоры.

— Правильно — выручим своих! Отобьем — и станем сильнее.

— Есть, есть у наших командиров мозги! — восхищался солдат с громким голосом, перекрывающим все другие голоса. — Нас спланировали прихлопнуть на Барте, а мы, нате вам, пошли куролесить по их тылам. И своих отобьем! Толковые командиры, вот мое мнение!

К вечеру мой полк прорыва скрытно сконцентрировался на обратных скатах электробарьера.

На электробарьер явился Гамов — командовать отсюда выходом в тыл врага основной массы дивизии. Темнота наступила около восьми вечера. В восемь пятнадцать ударили все орудия электробарьера. Что противник будет захвачен врасплох, мы не сомневались. Но что ему, как мы узнали потом, будет нанесен сразу огромный ущерб, и думать не могли. Прошло минут десять, прежде чем неприятель наладил противобатарейный ответ. Он бил по хорошо защищенным орудиям, а не по заросшему кустарником берегу, куда уже перебазировался полк прорыва.

Гамов вначале сконцентрировал обстрел на узком участке другого берега — проложил свободную полосу среди вражеского окружения. Такую же полосу Гамов проделал и на другом участке — для Павла Прищепы, а когда мы уже переправились, рассредоточил обстрел.

В девять часов я начал переправу, в половине одиннадцатого весь полк сосредоточился на другом берегу. И мы начали марш в глубину. Но еще до того, как последний солдат полка высадился на неприятельский берег, меня изумило еще не виданное явление. Ветра в тот вечер не было, а лес качался, как в бурю. Я обхватил молодую сосенку, она дрожала и вырывалась из рук, как живая. Она вся вибрировала, тонко звеня вершиной. Я видел, как метались люди, пораженные вибрацией, как они кричали и гибли от резонанса, если на них не набрасывали противорезонансную одежду. Но что и дерево, пораженное виброосколками, способно так же мучиться, так же болезненно трястись, выдавая свои страдания лишь тихим звоном кроны, и не подозревал. Я постоял около сосны и отошел к солдатам. Я не мог ей помочь — противорезонансной одежды для деревьев пока не создано. Потом я часто думал, удалось ли той сосенке выжить после жестокой вибрации или насильственный резонанс погубил ее так же верно, как губил человека. Доныне не знаю ответа.

Дорога во вражеский тыл была свободна. К полночи полк уже был в десяти лигах от Барты, сделали первый привал. Позади грохотали орудия электробарьера, им отвечала подоспевшая вражеская артиллерия.

К рассвету полк осилил полдороги. Я колебался, дать ли дневку или продолжать поход. Нигде не было и следов противника. Зато мы заметили три водолета, пролетевших в стороне и, по всему, не подозревавших о нашем существовании. Я засмотрелся на красиво плывущие в воздухе машины. Мы знали, что Кортезия приступила к массовому их производству, и у нас готовились их производить, но над полями сражения они пока появлялись редко.

Я вызвал Павла по врученному мне приборчику. Голос Павла звучал так чисто, словно он стоял рядом. Я сказал, что если продолжить поход без остановки, то к вечеру подойдем к дороге, по какой конвоируют пленных. Но боюсь открыто двигаться при свете дня.

— Можешь спокойно идти, — сказал Павел. — В окрестности твоего полка население давно эвакуировано, а вражеских частей и в помине нет.

— Где ты находишься?

— На рассвете форсировал Барту. К шоссе подойду завтра.

— Гамов переправился?

— Он ведет бой уже с трех сторон. Он не торопится прорываться, чтобы дать возможность нам укрепиться для перехвата пленных. Когда Гамов решит, что пора действовать, он легко опрокинет противника впереди и еще легче оторвется от тех, кто насаждает на флангах. Между прочим, охрана пленных не догадывается, что мы готовимся блокировать их колонны. Они шествуют неторопливо, с песнями и музыкой.

— Меня смущает беспечность врага.

— Радуйся его беспечности!

Я дал команду двигаться и днем.

К ночи мы подошли к шоссе, где шла пленная дивизия. Солдаты валились с ног. Я снова связался с Павлом. Он считал, что до следующего полудня встречи не ожидать — первая колонна пленных от меня на расстоянии дневного перехода. Гамов начинает переправу, сказал Павел. Вражеская оборона на Барте сметена, на флангах идут бои. Противник еще не верит, что мы идем в его тыл, а не на восток к своим. И укрепляет свою оборону не там, где мы реально прорываемся. Неподвижный до того четвертый корпус патинов отодвигается в тыл, освобождая территорию родерам для окружения и с востока.

— Пока все на пользу нашему плану, — закончил Павел.

Я разрешил солдатам глубокий ночной отдых. Сам я спал плохо. Сон прерывался трубными сигналами тревоги. Я вскакивал, готовый выкрикнуть команду в бой, но сигналы грохотали лишь в моем мозгу. На заре я проверил, как расположился полк.

Позиция была удачная. Дорога петляла по холмистой местности. Среди возвышенностей теснилась покинутая жителями деревенька, в ней я расположил часть солдат, другой частью занял холмы вдоль дороги — любая колонна на ней попадала под наш обстрел. Была одна проблема, я все ломал над ней голову: если бы конвой, впад в панику, смешался с массой пленных, пришлось бы прекратить обстрел, чтобы не погубить своих. Оставалась рукопашная, но бросаться с ручными вибраторами или лучевыми импульсаторами на врага, вооруженного таким же оружием, по-моему, не столько образец героизма, сколько акт

отчаяния. Я решил, что рукопашной не допущу, но чем заменить ее, если конвой смешается с пленными, не представлял себе.

Родеры не торопились. Прошло утро, миновал полдень, они не появлялись. Разведка показывала, что они двигаются тремя колоннами, в каждой несколько тысяч пленных и несколько сотен конвоя. Только к вечеру показалась их передовая группа. Она предварила себя гулом машин и военной музыкой. Расположение было таким, на какое мы рассчитывали, — сильный отряд впереди, за ним пленные с конвоирами по бокам, за ними снова сильный отряд. Если бы родеры подозревали нападение, они построились бы по-иному. При таком расположении можно было применить и орудия. Но орудий у нас не было, артиллерия осталась у Гамова.

И когда передовые машины углубились в приготовленную им ловушку, мы ударили из ручного оружия. Ошеломленные, родеры вначале пытались прорваться мимо бьющих с обеих сторон резонаторов и импульсаторов. Но впереди был завал, устроенный нами еще вчера. Родеры, запоздало исправляя свою оплошность, отступили, сгустили колонну пленных в толпу, а передовой отряд навязал нам бой по уставу. Темнеющий воздух озарили синие молнии импульсов. Соскочив с машин, родеры ползком пробирались меж холмами, заходя во фланг и пытаясь вытащить нас из укрытий и принудить к открытому сражению. В одном месте им это удалось. Группка наших солдат, выскочив наружу, ринулась наседавших родеров. Я послал им приказ немедленно уходить в укрытие, но в горячке боя они не послушались. Впрочем, родеры благоразумно отошли, обстреливая наших с отдаления.

Бой прекратился лишь с темнотой. Я обошел наши позиции, ни с одной нас не сбросили. Я связался с Павлом. Он уже перекрыл обратную дорогу неприятелю, но в бой пока не вступал — не с кем было.

— Если враг не появится утром, пойду на сближение с тобой, — сказал Павел. — Все же самое умное для них — повернуть назад. А не повернут, нажму на них сзади.

Это было, конечно, самым умным для врага — броситься назад под укрытие основных сил. Слабый полк Павла не выдержал бы концентрированного удара всего конвоя. Павел повторил, что возвращения родеров не ожидает: враг настолько уверился в своем превосходстве, что ищет не самых умных, а самых скорых решений.

— Он всей массой обрушится завтра на тебя, Андрей! Гамов форсировал Барту, но с тяжелым вооружением движется медленно. От твоей стойкости зависит спасение пленных.

Павел не хуже меня понимал, что любая стойкость имеет пределы. Я прикидывал, удастся ли неприятелю за ночь подтянуть к нашим позициям основные силы. Во вражеских колоннах слышался шум машин, разведка фиксировала передвижение масс людей. С рассветом надо было ожидать жестокого удара.

Удар был не только жестоким, но и очень методичным. Родеры демонстрировали свои лучшие боевые традиции, отнюдь не утраченные за тридцать лет разоружения после последней войны. Они и не думали наваливаться на нашу оборону, приневоливая к беспорядочному сражению по всей линии. Они обрушивались десятикратным превосходством на крайние точки сопротивления и, только подавив их, продвигались дальше. Они умели сражаться, эти молодые потомки воинственных отцов, некогда наводивших страх на весь мир — не просто дрались, демонстрируя бесстрашие, а разыгрывали бой, как шахматную партию. У нас не хватало сил противостоять такому умению. Разумеется, я мог поднять свой полк на открытый бой и на какой-то срок отогнать врага. Но конечный результат открытого боя мог быть только один: наше поражение. И мы это понимали, и враг это понимал.

И сдавая одну позицию за другой, я прикидывал, сможем ли продержаться до темноты. Некогда колдун-военачальник остановил на часок солнце, чтобы подраться при свете до победы. Я отдал бы половину жизни, чтобы заполучить в свой полк колдуна, способного ускорить величавое шествие солнца по небосклону. Но оно не торопилось, подошло к полудню, прошло сквозь него, а ожесточение битвы не стихало. И тут мы услышали далекую трескотню резонаторов, над лесом позади нас взлетели синие искорки импульсов.

— Напал на вражеский арьергард, — сообщил Павел. — Огрызаются свирепо, но мы их тесним. Надеюсь, это облегчит твое положение.

Облегчение было лишь в том, что упавший дух моих солдат немного возрос. Но командование родеров и не подумало перемещать хотя бы толику своих солдат к арьергарду. Оно с тем же упорством разметывало преградившие дорогу заслоны. Но если и раньше мы ожесточенно сопротивлялись, то сейчас сопротивлялись больше, чем ожесточенно — яростно. Продвижение вра-

га замедлилось, Я кидал взгляды на небо — появилась надежда, что до захода солнца мы продержимся.

А когда солнце стало склоняться, над холмами пронесся тяжкий грохот. Большие электроорудия начали свою партию в боевой игре. Полки Гамова подошли в район сражения. Всего полчасика понадобилось командованию родеров, чтобы понять, что дальнейшее сопротивление равнозначно полной гибели. Громкоговорители разнесли приказ — всем солдатам и офицерам сдавать оружие.

Я поспешил к Гамову.

— Отлично сражались, Андрей! — впервые со дня нашего военного общения он назвал меня по имени. — Как я тревожился, что конвой прорвет наши заслоны! Теперь идемте смотреть освобожденных пленных.

По дороге к нам присоединился Прищепа.

— Идиоты! — весело сказал он о родерах. — Больше трети своих сил в самый разгар боя оставили сторожить пленных, когда каждый солдат был так нужен. Правда, пленные заволновались и, если бы их не держали под дулами импульсаторов, кинулись бы в драку. — Он протянул руку. — Давай, Андрей.

— Что давать? — не понял я.

— То самое, что я тебе вручил по случаю чрезвычайных событий. Тебе не только не положено знать, что это такое, но и запрещается хранить у себя, когда этих событий нет.

Я возвратил передатчик.

А затем была встреча с освобожденными пленными. Я устал отвечать на приветствия, жать руки и обнимать, а еще больше устал от того, что обнимали и целовали меня. Гамов сказал Павлу:

— Проверьте состояние освобожденных. Здоровые поступают под команду своих офицеров, больных — к врачам. Мы с майором едем к вашему отцу.

В палатке генерала Прищепы, кроме наших, собрались освобожденные офицеры дивизии “Золотые крылья”. Я увидел и командира ее — Филиппа Коркина, массивного генерала с желтым лицом: он жестоко пострадал от ран вибрации, правая рука висела, ноги тоже не отошли, он охал каждый раз, как приходилось двигать ногой. Коркин рассказывал, как посылал в ставку радиogramму за радиogramмой и на все мольбы о подмоге маршал Комлин отвечал одно: “Помощи в ближайшее время ока-

зять не можем. Берите пример с героев “Стального тарана”, мужественно отбивающих на Барте непрерывные атаки врага!”

— Вранье! — не выдержал генерал Прищепа. Очень сильно надо было разозлить его, чтобы он нарушил свою невозмутимость. — Не было у нас боев на Барте, да еще непрерывных. Оборону создали крепкую, но ушли еще до сражений.

Командир “Крылышек” опять пустился в воспоминания о страшных боях перед пленом, но Гамов прервал его:

— Генерал, о прошлом говорить не время, поговорим о будущем, — и, игнорируя Коркина, он обратился к Прищепе: — Реальные потери у “Крылышек” не столь уж велики. По количеству солдат они по-прежнему составляют дивизию. Две наших дивизии — это корпус. Нужен командир корпуса. Примите командование над нашими объединенными силами.

Прищепа покачал головой.

— Нет, полковник, в командиры корпуса мне трудно. — Он посмотрел на Коркина и сказал как о чем-то заранее решенном: — Командовать корпусом будете вы, Гамов. А вашу должность примет... — Он снова обернулся к генералу Коркину. — Пойдете ко мне в заместители? Немного подлечитесь, восстановите силы...

Коркин побагровел от унижения. Но если он был плохим командиром дивизии, то в уме ему нельзя было отказать.

— Понимаю, генерал Прищепа, Мне нельзя командовать моей дивизией, я потерял авторитет... Извещу командование, что сам предложил заменить меня... А кого просить на свою должность?

Прищепа указал на меня.

— Майор Семипалов безукоризненно командовал полком, сумеет и дивизию возглавить.

В палатку вошли Альберт Пеано и Аркадий Гонсалес — если было возможно, они всюду ходили вдвоем, — а за ними и Павел Прищепа. Павел доложил, что освобожденные “крылышки” распределены по старым полкам, им утром раздают оружие. Пленные родеры взяты под охрану своими бывшими пленными. Враги обнаружили, что мы ушли из крепости на Барте. Два вражеских корпуса перестраиваются. Тот, что разгромил “Золотые крылья”, начал движение с востока, а корпус, атаковавший нас с юга, форсирует Барту. Соединившись, они бросятся на нас.

— Раньше мы атакуем их! — сказал Гамов. — С востока

идут победители “Крылышек”? Мы воздадим им за победу! Разгромившие будут разгромлены. Завтрашний день отведем организации корпуса, а послезавтра начнем обратный поход к своим.

Павел с удивлением посмотрел на отца.

— Генерал, это ваш приказ?

Генерал Прищепа широко улыбнулся.

— Выше, капитан, — приказ нового начальника нового добровольного корпуса, полковника Гамова. Я остаюсь командиром моей дивизии.

Только уважение к двум генералам, добровольно поставившим себя под командование полковника, помешало Пеано и Гонсалесу и, конечно, Павлу встретить сообщение радостными криками. Генерал продолжал:

— Командовать возрожденной дивизией “Золотые крылья” мы предложили майору Семипалову.

— Поздравлений пока не принимаю, — сказал я, — самовольные назначения высшее командование может не утвердить. У нас с Гамовым нет гарантий, что мы реально удержимся на своих новых постах.

Гамов весело возразил:

— Вы правы, неутвержденное назначение еще не назначение. Но мы сделаем так, чтобы высшее командование побоялось отказать нам в утверждении. Майор Пеано, запишите новую сводку для стерео.

И он продиктовал, что нами завершена операция по освобождению добровольной дивизии “Золотые крылья”, попавшей в плен из-за того, что в тяжелейших боях ей не была оказана помощь со стороны командования фронта. В новом корпусе, объединившем две дивизии, новое командование — командир корпуса полковник Гамов и командир дивизии “Золотые крылья” майор Семипалов. Воинам дивизии “Стальной таран”, вызволившим из плена товарищей, за их смелость и мужество, и в соответствии с индивидуальными подвигами каждого, выдано щедрое вознаграждение из денег, ранее отбитых у врага. Корпус под командованием полковника Гамова, генерала Прищепы и майора Семипалова готов к новым сражениям в тылу врага с его превосходящими силами. Солдаты и офицеры корпуса уверены, что высшее командование на этот раз преодолеет свою

инертность и поспешит крупными силами на подмогу корпусу, прорывающему вражеское окружение.

— Да такая передача — война! — с удивлением сказал генерал Прищепа. — Гамов, вы объявляете войну нашему высшему командованию!

— Пока еще нет, генерал. Но предупреждаю, что мы не позволим оставить себя на произвол судьбы, как они оставили “Крылышки”. Либо прекратить преступное бездействие на фронте, либо держать ответ перед всем народом — вот перед такой дилеммой я хочу поставить нашего дорогого маршала Комлина.

Пеано, сбросив с лица неизменную веселую улыбку, задумчиво глядел на Гамова. Он уже понимал, что Гамов объявляет войну не одному высшему командованию, а всей высшей власти в стране. И в первую очередь войну главе этой власти, лидеру максималистов, дяде Альберта Пеано, председателю Совета Министров Латании Артуру Маруцзяну. Хотел бы я знать, какие мысли роились тогда в красивой голове молчаливого Пеано — возмущение против Гамова или то полное с ним согласие, какое Пеано так преданно демонстрировал впоследствии.

Но более всех был поражен неудачливый бывший командир “Крылышек” генерал Коркин. Выпучив глаза, он ошалело переводил их с одного на другого. В его мозгу не вмещалась мысль, что можно пойти на такое нарушение воинского устава, как раздача казенных денег солдатам, да еще с добавкой дерзких угроз высшему командованию.

Он, конечно, не понимал, что Гамов уже сознательно отверг классические методы ведения войны.

8

Раздача денежных наград началась на рассвете и завершилась к обеду. Одна из денежных машин была на две трети опустошена.

Два события ознаменовали тот день. Первое показалось мне поначалу малосущественным, но из него потом проистекли огромные последствия. Второе же потрясло своей значительностью, но вскоре выяснилось, что оно куда менее важно, чем то, что последовало сразу за ним.

Первое событие произошло после торжественного смотра корпуса.

Солдаты выстроились на поле. Генерал Прищепа поздравил нашу дивизию с победой, недавних пленников с освобождением и объявил о создании корпуса и его командире. Затем Гамов известил о новом походе. От нас одних зависит, сказал он, прорвем ли мы вражескую оборону, выйдем ли к своим. Будем надеяться на помощь извне, но наше командование неповоротливо. До сих пор мы сами выручали себя, так покажем же еще раз, чего стоим.

В нормальных условиях такую речь верней бы отнести к пораженческим, а не победным — Гамов открыто предупреждал, что помощи от своих не ждать. Но речь вызвала такой радостный гул, такие крики, словно он поделился не сомнениями, а счастливым известием.

Однако не эта реакция солдат явилась первым удивительным событием дня, а то, что произошло сразу после смотра.

Мы еще стояли на дощатом помосте — с него говорили Прищепа и Гамов, — когда к нам стала протискиваться группка солдат. Они кого-то тащили, кто-то упирался, на него кричали: “Да иди же! Смелее, говорят тебе!” У помоста из группки выперли Семена Сербина. Сербин остановился перед удивленным Гамовым и протянул обе руки. В руках он сжимал несколько пачек денег.

— Вот! — голос его дрожал и руки дрожали. — Награда... Два резонатора, офицера... И ранен...

Какую-то секунду Гамов колебался, а потом порывисто шагнул к солдату и обнял его. Сербин выронил пачки денег, припал головой к плечу Гамова и громко заплакал. Наверное, с минуты тянулась эта сцена — Гамов смеялся, обнимал солдата, похлопывал по спине, а тот все так же рыдал, не отрывая залитого слезами лица от груди командира корпуса. А из толпы, направшей на помост, неся восторженный рев, толпа в сотни голосов надрывалась, сотнями рук махала над головами. Все умножающееся ликование, как цунами, мчалось в дальние края обширного поля.

Гамов, по-прежнему обнимая Сербина, шел в толпу солдат, двое товарищей Сербина подняли оброненные деньги и несли, высоко поднимая над головой. Солдаты расступались и всё иступленной ликовали. Над толпой взлетали уже и шапки, и даже пачки недавно полученных денег — их бросали вверх и ловили, вопя от восторга...

Конечно, Гамов обладал незаурядным личным обаянием, его власть над людьми была почти магической. И в том событии после смотра, быть может, впервые в его государственной карьере открылась сила его власти, солдаты просто раньше других, не разумом — сердцем осознали, какой необыкновенный человек командует ими. Все это я могу понять. Другого не понимаю — Сербин, несомненно, был среди своих авторитетен, недаром его определили в ходатаи перед начальством, когда требовали немедленного раздела денег. И допускаю, что дружки Сербина подняли бы мятеж, если бы Гамов велел расстрелять его. Но Гамов поступил с Сербиным хуже, чем просто расстрелял. И те же люди, что готовы были грудью защищать своего вожака, радостно гоготали и издевались над ним, так зло униженным. Почему же они сейчас, забыв свое поведение, так радовались примирению командира с непокорным солдатом? Или увидели в этом примирении прощение самих себя, своего недостойного хохота над попавшим, по их же вине, в унижение товарищем — отпущение собственного предательства?

Повторяю: я так и не понял истинного значения диковинного события, совершившегося у меня на глазах. И если я, пораженный, еще в какой-то степени сообразил, что отныне Гамов приобрел над душами солдат власть, какая и не мечталась нашим военным и государственным руководителям, то о власти, которая, пока еще не ощущаемая, вручалась в этот момент прощенному солдату, и отдаленно вообразить не мог. Еще много времени должно было пройти, чтобы не один я, хотя и первый, понял, как страшно простерлась над нами зловещая тень этого человека, так драматично брошенного в грязь, так непредвиденно восстановленного из грязи в высший почет!

Таково было первое и самое важное событие этого дня.

О втором событии мы узнали в штабе корпуса, так теперь назывался наш бывший дивизионный штаб.

Начальник нового штаба, все тот же майор Альберт Пеано, все с той же неизменной улыбочкой, весело информировал нас с Гамовым:

— Ликуйте! Нас осчастлививляет появлением эмиссар моего дорогого дяди, он же личный представитель не менее дорогого маршала. В наше расположение прилетает на водолете сам Данило Мордасов.

— У нас появились боевые водолеты? — удивился Гамов.

— У кого “у нас”, полковник? Это генерал Мордасов без во-долета не способен к передвижению. Итак, подготовимся вече-ром предстать пред его светлые, невыразительные очи. Он пре-дупредил, что раньше отдохнет и пообедает, а после призовет к себе.

— Светлые, невыразительные очи? — задумчиво переспро-сил Гамов. — Вы хотите сказать, что Мордасов дурак? Ненави-жу дураков! Особенно, если они на высоком посту.

— Хуже, чем просто дурак, Гамов. Умный дурак. Циник и ловкач. Из тех, кого в старину называли царедворцами.

— Вы его недолюбливаете, Пеано?

Пеано осветился слишком доброжелательной улыбкой.

— Восхищаюсь им. Нет такой щели, куда бы он не пролез, если нужно.

— Значит, вечером встреча? Тогда передайте ему, что “призовет к себе” отменяется. Пусть явится в штаб к восьми ча-сам и не опаздывает, у нас подготовка к походу.

Звучало это внушительно.

Мордасов вечером не вошел, а вкатился в штаб. Невысокий, толстенький, кругленький — средних размеров бочонок на двух ногах — он двигался с быстротой, внушающей удивление. И, войдя, приветственно — сразу всем — замахал ручкой.

— Салют! Поздравление с победой! — у него был тонкий, режущий голос. Таким голосом можно пилить дрова, если по-стараться. На круглощечном лице сияла улыбка. Он безошибочно выделил Гамова среди нас и обратился к нему, игнорируя двух присутствующих генералов. — Наш общий друг Альберт Пеано передал мне ваше категорическое... скажем так — пожелание... или просьбу?.. чтобы явился сюда к восьми и не опаздывал. — Он глянул на часы и радостно закончил: — Не опоздал, не опо-здал... Ненавижу опоздания, когда так настоятельно... просят.

Немного было случаев, чтобы Гамов смущался. Мордасов его смутил. Гамов покраснел и не подыскал ответа. Одной из самых крупных жизненных ошибок этого ловкого человека, Да-нилы Мордасова, было то, что он заставил Гамова растеряться. Он и отдаленно не догадывался, с кем имеет дело.

“Поставив на место” зазнавшегося полковника, Мордасов поздоровался с генералами, потом и нам пожал руки и ожив-ленно заговорил:

— Знаю, знаю: у вас ко мне много вопросов, тысячи, верно? С вопросами немного повременим. Ваши вопросы, так сказать, не главный вопрос повестки дня. Главный же — восхищение!

Спешу разъяснить: восхищение вами! Восхищение вашей доблестью, вашим воинским искусством, вашим... в общем, вами! Вы сегодня самая яркая, самая радостная искра удачи в сумраке нашего безрадостного военного бытия. Самые известные, самые популярные люди в стране! Подразумеваю генерала Прищепу, полковника Гамова, майора Семипалова, капитана Прищепу, ну, и... штабистов Пеано и Гонсалеса! — Он сделал многозначительную остановку, прежде чем произнес фамилию Пеано. — Передачи о ваших подвигах повторяются четырежды в день, удивительная диверсия в тылу врага против гвардейского полка Питера Парпа передавалась даже восемь раз. Разбудите сегодня малыша в детском саду и спросите, кого он больше всех знает. И он пропищит: “Полковника Гамова!” Короче, мне поручили передать вам благодарность за ваше воинское мастерство и восхищение вашими удачами. Почетное поручение, вы меня понимаете? Теперь задавайте вопросы, отвечу на любые, мы ведь здесь все свои!

Первым отозвался генерал Прищепа. Мы знаем только то, что доносит до нас радио и стерео — непрерывные отступления профессиональных и добровольных соединений, а также измена патинов... Но каков истинный размер неудач? Сколь губительны реальные наши потери? Нельзя ли полней осветить этот вопрос?

Мордасов “освещал вопрос” с такой охотой, словно живописал грандиозные успехи, а не трагические провалы:

— Вы правы, генерал, вы абсолютно правы: неудачи, неудачи и снова неудачи! На Западном фронте удалось стабилизировать оборону лишь с помощью самого противника, не сумевшего использовать собственный успех. Вы знаете нашего уважаемого командующего Западным фронтом. Великую ложь произнесет тот, кто припишет маршалу военные дарования. В командиры полка его еще так-сяк, но командовать фронтом! К сожалению, наш великий лидер, ваш дядя, — он неодобрительно поклонился Пеано, неодобрительность, мы поняли, относилась не к тому, что у майора Пеано такой знаменитый и влиятельный дядя, а только к тому, что у знаменитого и влиятельного дяди такой незначительный и невыдающийся племянник, — ваш дядя, повторяю, чрезмерно доверяет маршалу — печально, конечно, но не нам осуждать непонятные привязанности великих людей, мы на проницательное понимание их поступков никем не уполномочены. Так вот, наши потери пленными на Западном фронте составляют двести тысяч человек.

— Двести тысяч? — ужаснулись мы все разом.

— Двести! — с воодушевлением повторил Мордасов. — Всех усилий теперь только и хватает, чтобы хоть временно сохранять стабильность фронта!

— Временно? — переспросил Гамов. — Вы, кажется, предвещаете нам поражение, генерал Мордасов?

— Не генерал, нет, только государственный советник, — быстро откликнулся Мордасов. — А раз не военный, то не вправе высказывать категорические суждения о стратегии. Поймите меня правильно... Если бы не ваши великолепные боевые успехи... Они как маяк в ночи, как звездочка из густых туч... Десяток бы таких частей, как ваша дивизия, таких командиров... У кого бы тогда могла прозвучать пессимистическая нотка, кто бы тогда осмелился?

Мы молчали, подавленные. Что могли значить наши крохотные удачи перед трагедией на фронте? Снова заговорил Гамов:

— Ну, хорошо — хорошего на фронте нет. А в тылу? Настроение народа?

Мордасов живописал тыловые трудности с тем же бодрым красноречием, как и военные неудачи.

— Нелегко в тылу, вот точная формула. А конкретно две вещи. Первая — снабжение. Все забрали в резерв, армейские склады пока полны. Союзники тоже требуют — то дай, другое, а ведь без этого не поддержат. А кортезы перехватывают циклоны, их метеогенераторные станции куда мощней наших... Хлеба пожгло, овощи не уродились. Настроение — соответствующее. Да ведь трудность не только в снабжении. В конце концов — война, все подтягиваем животы. Внутренний враг оживился!

— Измена? Восстания?

— Не измена, нет. И о восстаниях не слышал. Хулиганство! Бандитизм! Все границы перешли... Молодежь дезертирует. Прячутся, заработков нет — сколачиваются в шайки, достают оружие. Даже поезда, если с продовольствием, без сильной охраны на линии не выпускаем. Ночью в Адане в одиночку на улицу выйти — самоубийство! Разденут, изобьют, а сопротивляешься — прикончат.

— Что же смотрит полиция? — вдруг закричал Гонсалес. — Хватать и расстреливать подлецов!

— Хватаем и расстреливаем. А толку? Одного расстреляем, двое добавляются. Пока нет победы на фронте, бандитизма не одолеть.

— А победа на фронте не светит, судя по вашим словам,— хмуро сказал Гамов. — Теперь вопрос: зачем вы прилетели к нам?

— Как зачем? Передать, что командование восхищено вашими военными удачами, услышать ваш ответ.

— Восхищение вы уже передали. Наш ответ естествен: благодарны за добрые слова. Но для хороших слов хватило бы и радио, а послали водолет. Итак, ваше особое задание, Мордасов?

Мордасов, по всему, не ожидал, что Гамов так властно и открыто потребует расшифровки визита. Он еще колебался, без обиняков ли изложить суть дела или идти к ней извилистой тропкой. Строгий взгляд Гамова пресекал все боковые ходы.

— Видите ли, друзья... Буду откровенен, мой девиз — только правда. В общем, восхищенное вами командование кое в чем и не согласно... Не все ваши поступки находят одобрение.

— Не мямлите, Мордасов! Прямо и точно — чего вам надо? Забрать деньги, которые мы еще не успели раздать?

— Да, в общем это... Но не только остаток... Командование недовольно, что разбазаривали государственную казну. Приказано изъять у солдат все, что им незаконно выдано.

Гамов недобро улыбнулся.

— Вы уверены, что можно отобрать у солдат их награды? Подскажите, как это сделать?

— Вам видней. Не имею права вмешиваться в ваше командование, Гамов, хотя замечу в скобках, что вы еще не утверждены в должности командира корпуса и ваши приказы... ну, не совсем законны, чтобы вас не обижать. Но если вы вернете незаконные награды... Короче, можете тогда рассчитывать...

Гамовым овладевал один из тех приступов ярости, с которыми он временами не мог справиться. Он подошел к Мордасову вплотную, вперил в него бешеные глаза. Я испугался, что Гамов влепит эмиссару пощечину, но от пощечины Гамов удержался.

— Ты, пивная бочка на склеротических ногах! — прошипел он. — Печалился, что всем приходится затягивать потуже пояса, а твой живот не ужмет даже стальной обруч. Да ты разбойник хуже тех, что бесчинствуют на ночных улицах!

Мордасов выкарабкался из кресла и отскочил в сторону. Он был возмущен и испуган — уж не знаю, чего было больше.

— Ответьте мне на один вопрос, Мордасов, только отвечайте честно! — приказал Гамов, с усилием подавляя гнев. — Нам предстоит прорываться сквозь вражеское окружение, будут тяжелейшие бои. Согласны ли вы, что изъятие наград и отказ от дальнейших выдач сильно ослабит боевой дух корпуса? Да не дергайтесь, я задаю элементарный вопрос.

— Допускаю, что в смысле появления некоторого недовольства... — пробормотал Мордасов.

— Вот-вот, появится недовольство... Но недовольство ослабит боевой дух и уменьшит наши шансы победить в бою и вырваться к своим, так? Отвечайте, Мордасов!

Показное спокойствие Гамова после вспышки ярости обмануло Мордасова. Он вдруг перешел на крик:

— Да что вы пристаёте? Боевой дух, прорыв из окружения!.. Есть законные и незаконные средства войны. Не требуйте привилегий, каких лишены все армии мира! Солдат сражается во имя любви к родине, а не ради разбойничьей наживы. Воюйте, как все!

— То есть погибайте в неравном бою, попадайте в плен, ждите в отчаянную минуту помощи, которая не придет. Ваша позиция ясна, Мордасов, Ее точное название — предательство!

— Вы не смеете, полковник Гамов!..

— Смею! Последний вопрос — и бог вас борони ответить лживо. Кто требует отвоеванные нами деньги? На какие нужды требует?

— На государственные нужды, вот на что!

— А разве спасение целого корпуса, разгром противника в бою не является важнейшей государственной нуждой?

— Не путайте божий дар с яичницей! Незаконное обогащение солдат и высшие цели страны! Маршал Комлин приказал мне: умри, но без денег не возвращайся!

— Сам маршал?.. Дилемма ясна: вы либо умираете, либо возвращаетесь с деньгами. Ваш ответ меня удовлетворяет.

— А меня нет! — вдруг вмешался в спор Пеано. Он стал страшен, убрав с лица неизменную улыбку — впервые выглядел воистину тем, кем реально был, а не кем приучал себя казаться. — Я скажу, на что пойдут отобранные у нас деньги. Они давно уже списаны в государственный убыток. И сейчас, бесконтрольные, умножат богатство достойных людей. У жены маршала великолепный набор изумрудов, она говорит, что если

его немного пополнить, то будет лучшая в мире коллекция зеленых камней. А моя дорогая тетка, жена моего дорогого...

— Не смейте! — закричал Мордасов. — Я не позволю хулу!.. Нет, тысячекратно прав ваш дядя, ах, как он знает вас! Как предупреждал!

— Предупреждал? Очень интересно! А о чем предупреждал?

— О вас! О вашей злобе! О вашей непокорности! О вашем двоедушии! “Альберт ненадежен, помните об этом, и, если попробует сопротивляться, арестуйте его и доставьте ко мне”, — вот так он высказался о вас. И если вы скажете еще хоть одно слово, я вас арестую, Пеано!

— Одно слово, два слова, три слова! — издевательски пропел Пеано на какой-то знакомый мотив. — Сколько еще надо слов, глупец?

— Под стражу его, полковник! — Мордасов простер руку к Пеано. — Я приказываю именем маршала.

— С выполнением приказа погодим! — холодно ответил Гамов. — Надо раньше разделаться с мучительной дилеммой: деньги или ваша жизнь!

— Никакой дилеммы! Мой водолет готов принять все, что осталось нерозданным. Я сегодня же привезу деньги маршалу. Остальные вы соберете у солдат и доставите сами.

— Вы меня не поняли, Мордасов. Денег вы не получите.

До Мордасова не доходил смысл происходящего.

— Вы шутите? Как вас понимать?

— Очень просто. Дилемму: ваша смерть или ограбление солдат — я решаю в пользу вашей смерти. Приговариваю вас к казни за предательство армии. Гонсалес, отведите осужденного на расстрел.

Мордасов только сейчас понял, какую заварил крутую кашу. Гонсалес, вытащив импульсатор, пошел на него. Мордасов завизжал и выхватил ручной резонатор. Даже у одинаково быстрых противников, когда у одного резонатор, а у другого импульсатор, борьба неравноценна: резонатор способен поражать мучительной вибрацией сразу многих, импульсатор убивает одного, зато наповал — без судорог и мук. И Гонсалес, тощий и высокий, был проворней коротенького кругленького Мордасова. В комнате сверкнула синяя молния, Гонсалес перечертил ею Мордасова наискосок. Мордасов зашатался и стал валиться, уже мертвый.

Гонсалес вызвал охрану штаба. Убитого унесли.

— Интересная ситуация, — спокойно сказал генерал Прищепепа.

И только сейчас мы осознали, что с нами находятся два генерала, не проронившие ни одного слова во время спора Гамова с Мордасовым. Что до Коркина, то, раненый и подавленный своими несчастьями, старый генерал мало что соображал. Но Прищепепа, когда совершалась казнь Мордасова, только вдумчиво взирал на нее, не поощряя и не запрещая расправы.

Гамов резко повернулся к Прищепе.

— Слушаю, генерал, что вы скажете?

Генерал Прищепепа ответил с тем же спокойствием:

— Я скажу после того, как вы отдадите все свои распоряжения. Ведь вы еще не закончили, полковник?

Гамов помолчал, потом обратился сразу ко всем:

— Не удивляйтесь тому, что сейчас скажу. Имею в виду форму, а не содержание. Содержание ясно: мы вступили в борьбу с правительством. Нам не простят самоуправства с деньгами и казни Мордасова. Вокруг главы правительства концентрируются десятки мордасовых, все они обрушатся на нас. Единственная наша защита пока — поддержка народа. Мы должны усилить эту поддержку. Но сделать это хочу осторожно, иначе спохватятся, что слишком вольно ведем себя в передачах по стерео, и закроют эту единственную возможность познакомить народ с правдой. Пеано, записывайте.

И Гамов продиктовал — как всегда, неторопливо и ясно:

— В то время, как наш добровольный корпус ведет в тылу врага тяжкую борьбу, некоторые безответственные элементы, тайно пробравшиеся в правительственные круги, саботируют усилия народа и власти. Некий Мордасов прилетел в расположение нашего корпуса и, назвавшись эмиссаром правительства, пытался лишить наших солдат выданной им награды за героические успехи в недавних боях. Целью его преступных действий было понизить боевой дух в корпусе и тем предопределить его поражение в предстоящих боях. Получив отпор, изменник Мордасов оклеветал наших верховных руководителей, утверждая, что наш испытанный боевой начальник маршал Комлин по своим военным способностям не годится даже в командиры полка. И что маршал издает глупые приказы, а глава правительства, наш любимый лидер партии максималистов Артур Маруцзян, из личной привязанности к маршалу, поддерживает все его бездарные распоряжения. Запись чудовищных высказываний пре-

ступника Мордасова будет предъявлена для проверки любой следственной комиссии. Я, полковник Гамов, командир окруженного врагами добровольного корпуса, приказал казнить Мордасова за попытку понизить боевой дух солдат перед боем и за клевету на наших верховных руководителей. Торжественно заверяю народ и правительство, что корпус готов к решительным боям с врагом и будет выполнять все приказы командования, ведущие к победе.

Пеано уже вернулся в обычное состояние — на лице светилась так хорошо известная нам дружелюбная улыбка, лишь чуть больше обычного сдобренная иронией. Он поставил точку на записи и сказал:

— Метко и коварно. Ни маршалу, ни моему дядюшке не обойтись после такой передачи без сердечных пилюль.

— Надеюсь на это! — Гамов повернулся к Павлу. — Капитан Прищепа, я не спросил вас, записана ли на пленку беседа с Мордасовым?

Павел засмеялся.

— Полковник, мне кажется, я свои обязанности знаю.

— Слушаю вас, генерал, — сказал Гамов. — Вы хотели что-то сказать, когда я закончу.

Генерал Прищепа протянул руку Гамову.

— Хочу сказать, что я с вами, Гамов. Во всем и до конца!

9

Вся следующая неделя сохранилась в моей памяти как что-то тяжкое и сумбурное.

Это было одно гигантское сражение, протянувшееся во времени на несколько сотен часов, а в пространстве на несколько десятков лиг.

Мы шли, оттесняя вражеские части, умножая число раненых, теряя убитых, накапливая пленных. И когда наступил последний день этой недели и вокруг перестали греметь электроорудия, шипеть резонансные пули и шрапнель, вспыхивать синие пламена импульсаторов, мы как-то не сразу сообразили, что последний заслон врага опрокинут и окружение прорвано — вышли к своим!

Затем был отдых и раздача наград. Обе денежные машины полностью опустели. Появились офицеры из Главного штаба. Нам приказали двигаться к Забону на пополнение и переформирование. Лучшего приказа и быть не могло — мы шли в родной

город, где в начале войны собрались, вооружились и откуда начали свой поход на запад.

Перед новым походом — уже по своей территории — в штаб явилась группа солдат — человек тридцать, среди них я заметил и Семена Сербина, и лихого сержанта Серова, чуть не застрелившего Сербина, когда тот бунтовал, — и попросили разрешения на секретный разговор. Гамов, принимавший солдат, высоко поднял брови.

— Какие у нас с вами могут быть секреты, друзья?

— Так мы решили между собой, чтобы секретно, полковник, — ответил один из солдат. Лихой парень, Григорий Варелла, он отличился еще в рейде против Питера Парпа, потом при подавлении “денежного бунта”, затем стал героем последующих сражений. Но его открытое, веселое лицо так не вязалось со словом “секретность”, что я не удержался от улыбки. Впрочем, то, что он сказал дальше, даже в анархическом обществе числилось бы “совершенно секретной информацией”, а мы все же были дисциплинированные военные в централизованном государстве.

— Объявляйте свои секреты, — разрешил Гамов.

Варелла сказал, что солдаты обсуждают, что будет на родине. Общее мнение — по головке не погладят. Командир корпуса самоуправствовал с казней. Генерала, явившегося отбирать ее, казнили. До сих пор не утверждены командиры в их новых должностях в созданном ими корпусе. И никого не повысили в званиях, а разве это дело, когда полковник командует корпусом, а дивизией майор? В общем, хорошего не ждать.

— Интересный анализ обстановки! И какой вывод?

— Арестуют вас заслушание! А у нас отберут награды. И наше решение — награды не вернем, а вас в обиду не дадим. И если попробуют разоружить, воспротивимся.

— Это пахнет бунтом! Приказы начальства надо исполнять.

— Против государства мы не бунтуем. Отдавали кровь за него и еще отдавать будем. А захотят расправиться с вами, мигом встанем.

— Мне кажется, вы слишком мрачно рисуете обстановку. Не думаю, чтобы осмелились вас грабить, — он подчеркнул голосом словечко “грабить”. — Что же до ареста командиров... Не за победы же нас карать? За победы хвалят.

— Все может быть, — убежденно сказал Варелла. — Такое время — и за победы иной раз карают. Но мы за вас. Помните об этом.

— Идите в свои полки, — сказал Гамов. — Буду помнить, что вы сказали.

Когда солдаты ушли, Гамов упрекнул Павла Прищепу:

— Капитан, вы хвалитесь своей разведкой. А пропустили, что у солдат панические мысли о том, что их ждет в тылу, и что они вздыбливают себя на неповиновение... Плохая работа, капитан Прищеп!

— Отличная работа, полковник! Замечу в скобках, что в делегации солдат три моих разведчика и что их оратор Григорий Варелла тоже мой человек, к тому же из самых боевых. А что солдаты хорошо знакомы с положением в стране, так ведь не из сводок нашего маршала. И что нас ожидают неприятности, особенно — вас, тоже не из пальца высосали. Люди понимают свои задачи.

— Бестия вы, капитан! — не удержался Гамов от своеобразной похвалы. — Сами все задумали, сами осуществляли!

— Коллективная работа, полковник. Спорили, вырабатывали решения...

Гамов посмотрел на меня. Я покачал головой. Я понятия не имел, что среди моих солдат проводится тайная работа. Гамов обернулся к Пеано. Пеано ослепительно заулыбался.

— Мы! Мы! И я — больше всех. Я ведь хорошо знаю маршала. И характер дядюшки тоже не первый год изучаю. Мы стали опасны для них. Почему бы нам не переиграть их? Настроение солдат в такой игре — карта козырная. Вот так мы решили.

— Маршал не осмелится отбирать у солдат награды! Он все же не отпетый дурак, — задумчиво произнес Гамов.

— Не осмелится, верно. И дядюшка не осмелится — единственная воинская часть, вернувшаяся с победой, а не разбитая! Но почему не разоружить наш корпус под видом его пополнения, переформирования, оздоровления?.. Хорошие словечки для плохого дела всегда найдутся. Нам надо сохранить оружие, мы исполняем ваши решения.

— Я не говорил об этом, — Гамов пристально вглядывался в Пеано. Тот сбросил свою маскирующую улыбку и снова, как в схватке с Мордасовым, стал истинным — злым, решительным, скорым на дело.

— Вы думали об этом, полковник. Все ваши передачи били в одну точку. Пора от стереопередач перейти к действиям активней.

— С обоими генералами вы говорили, Пеано?

— Нет, конечно. С Коркиным говорить бесполезно, он распался. А генерал Прищепа и сам понимает, что вы задумали и на что решились.

— Задумал, решился!.. Вы уверены, что разбираетесь в моих невысказанных намерениях?

— Уверены! — в один голос отозвались они втроем.

— Раз так, будем ждать завтрашнего дня, — сказал Гамов.

“Завтрашний день” растянулся на десять суток.

День за днем мы двигались в радостном марше по своей территории к Забону. Каждодневно возобновлялась одна и та же картина — тысячи встречающих на сельских дорогах и в городах, цветы, подарки и речи, речи, речи! Конечно, мы знали, что победы наши должны производить впечатление на фоне постоянных неудач. Знали, что стереопередачи чрезвычайно усиливают нашу известность, но даже Гамов, диктовавший содержание передач, не подозревал, что так быстро превратится из неизвестного полковника во всенародного героя.

До города Парку мы двигались по шоссе, из Парку шли железные дороги на Забон и на Адан. Здесь корпус должен был погрузиться в поезда: пустые составы уже стояли на всех путях. На вокзале ко мне кинулась жена. Ее сопровождал Джон Вудворт. Елена с рыданием обняла меня, прижалась лицом к груди. Я целовал ее щеки и глаза, не мог насмотреться. Она похудела и посерела, но была еще красивей, чем раньше, — так мне показалось. Допускаю, впрочем, что если бы она и подурнела, я бы этого не заметил — она всегда была для меня лучше всех женщин.

— Ты жив! Ты жив! — твердила она, не переставая плакать. — Я так боялась! Такие сражения!..

— Жив, даже не ранен! — Я протянул руку Вудворту. — Рад увидаться, Джон. Вас не попросили под конвоем в добровольцы?

До Вудворта шутки решительно не доходили.

— Я сам просился в добровольцы. Но отказали. Я теперь референт Маруцзяна по международным делам.

— Если бы не Джон, я бы не пробралась в Парку, — сказала Елена. — Сюда гражданских не пропускают. А я не могла дожидаться тебя в Забоне. Джон выдал мне пропуск сюда.

— Я начальник эшелона, в котором вы поедете, — сказал Вудворт. — Вам с Еленой выделили отдельное купе. Вот ваш поезд. В салоне, наверно, уже собрались ваши офицеры. Когда поезд тронется, я тоже приду в салон.

Он чопорно поклонился и отошел. Мне не понравилось, что он назвал Елену так по-приятельски — по имени.

— Ты подружилась с Джоном, Елена? И, кажется, увлеклась?

— Глупый! Я увлеклась в своей жизни однажды — и, боюсь, навсегда! Тобой увлеклась, дружище! Тобой одним! Ты и он — разве вас можно сравнивать?

— А что? Высокий, умный, красивый!..

— Некрасивый! Аскет! И по внешности, и по натуре. Перестань ревновать, а то я рассержусь.

— Уже перестал. Не сердись. Идем в вагон.

В салоне сидели генерал Прищепа, Гамов, Павел, Пеано и Гонсалес. Я представил товарищам Елену. Все приветствовали ее, а Гамов вгляделся, словно старался открыть в ее лице что-то тайное — она покраснела от бесцеремонного взгляда, — потом сказал чрезмерно вежливым голосом:

— Очень рад познакомиться, Елена. Ваш муж никогда не говорил, что вы такая красивая.

— Он не замечает моей красоты. Мой муж реалист и никогда не видит того, чего нет.

— Отличное свойство! Но только в военном деле. Не дай бог видеть на поле боя то, чего там нет. Но для женщины нужна психологическая фантастика. Если женщине говорят, что она красива, она сразу становится красивой.

— Вы часто так говорите своей жене, полковник Гамов?

— Я не женат, Елена. Семья — нечто для меня недоступное.

В салон вошел Вудворт. Поезд погромыхивал на стыках рельс. За окном открывался унылый пейзаж, окрестности Парку никогда не радовали живописностью. Меня удивила малая скорость движения, я сказал об этом Вудворту. Он громко ответил, чтобы слышали все в салоне:

— Вы плохо представляете себе положение, Семипалов. Главное горючее, сгущенная вода, давно не поступает на транспорт. Локомотивы переоборудуются на старинное топливо — уголь и нефть.

— Кто вы сейчас, Вудворт? — со сдержанным недоброжелательством поинтересовался Гамов — он не забыл их резкого спора на “четверге” у Готлиба Бара.

— Я уже объяснил Семипалову мое положение. Я референт главы правительства по международным отношениям. В данный момент — командир эшелона, везущего вас с одним батальоном ваших войск в Забон. Остальными эшелонами командуют назначенные мной люди. А пришел к вам, чтобы сделать важное заявление. Но прежде попрошу посторонних лиц удалиться из салона.

Такое распоряжение могло относиться лишь к Елене, других посторонних лиц не было. Она сказала, что отдохнет в купе, и вышла.

— Полковник Гамов, я должен перед вами извиниться, — начал Вудворт в своей церемонной манере. — На вечере у нашего друга Готлиба Бара вы очень грубо отозвались о моем нынешнем шефе, лидере максималистов Артуре Маруцзяне. Я столь же грубо возражал вам. Ныне я работаю под его непосредственным началом и убедился, что вы были правы в своих негативных оценках.

Вудворт промолчал, чтобы дать нам справиться с изумлением. Пеано, по обыкновению, улыбался — только не радостно, а насмешливо. Он один не удивился, что Вудворт, начав работать с Маруцзяном, так круто изменил свое мнение о нем. На худом лице Вудворта установилась мина решительности и твердости. Вудворт продолжал:

— Понимаю, вы поражены, многие не верят. Поверят после дальнейших объяснений. Начну с информации о некоторых фактах. Мне было приказано в ваш эшелон посадить только больных и раненых, а в остальных эшелонах перемешать солдат дивизий “Стальной таран” и “Золотые крылья”. Я не сделал ни того, ни другого. Раненым выделен отдельный эшелон. В этом поезде находится тот батальон, который совершил диверсионный рейд в тыл родеров и отбил машины с деньгами. Солдаты этого батальона сейчас в вашем поезде и под вашим командованием.

— Вы узнали из наших сводок и стереопередач о том, как ведут себя отдельные наши подразделения? — осведомился Гамов.

— Не только из них. В моих руках и та информация, которую капитан Прищепа передавал своим доверенным людям.

Павел вздрогнул, приподнялся на стуле и снова сел. Его глаза, нормально серые, вдруг потемнели.

— Нас хотят арестовать? — спросил Гамов.

— Охотно бы арестовали, но при вашей нынешней популярности это опасно. План такой: повысить вас в званиях и разъединить. Генералов Гамова и Семипалова пошлют формировать новые части, полковников Пеано, Гонсалеса и Прищепу распределят по военным школам и комендатурам, генерала Прищепу удалят на лечение, а генерала Коркина разжалуют.

Называя наши будущие звания, Вудворт с некоторой вежливой издевкой кланялся каждому. Гамов спросил:

— Правительство боится нас? Почему?

— Положение сложнее, полковник. И радуется, и побаивается. Радуется, ибо ваш рейд в тылу врага — единственный военный успех, которым оно может похвалиться. И хвалится во весь голос! Побайвается потому, что ваши удачи достигнуты при игнорировании приказов командования. Ваша расправа с Мордасовым ужаснула. Не говорю уже о чувствительных личных потерях для иных членов правительства.

— Если бы дурак Мордасов не повел себя так агрессивно...

— Бросьте, полковник! Неплохая разведка не только у капитана Прищепы. И мы уже на другой день знали, что Мордасов, выйдя из водолета, отправился в офицерскую столовую один, а его охрану пригласили пообедать в другое место, заперли там, поставили стражу и пригрозили, что если кто-нибудь подаст голос, его тут же проимпульсируют. Все это происходило до вашей беседы с Мордасовым, значит, вы заранее вынесли ему приговор. Я правильно говорю, капитан Прищепка?

— Абсолютно правильно! — спокойно подтвердил Павел. — При известии о прилете Мордасова мы втроем посовещались — Пеано, Гонсалес и я. Пеано сказал, что Мордасов прилетает изъять деньги и увезти его, Пеано, в тыл под предлогом, что дядя беспокоится о его здоровье. Мы и решили изолировать Мордасова от его охраны, но обоим генералам и Гамову с Семипаловым ничего не говорили, они могли не одобрить таких поступков до объяснения с эмиссаром правительства.

— Узнаю много нового о своих собственных действиях, — задумчиво проговорил Гамов. — Не расскажете ли подробнее, в чем заключалась миссия Мордасова? Возможно, и о ней я не все знаю.

— Майор Пеано еще до прилета Мордасова точно описал его миссию своим товарищам. Мордасов должен был вывезти Пеано в тыл, ибо, по мнению его дяди, он оказывал скверное влияние на командиров дивизии “Стальной таран”. Думаю, племянника Маруцзяна ожидала тюрьма. Что до денег, которые поручили выволить Мордасову, то распределение их уже было расписано: на премии членам правительства за самоотверженную работу по спасению отечества. Разумеется, без опубликования... Чтобы не было кривотолков — мне тоже назначили куш... А вы не только казнили Мордасова, но и в грозной передаче по стерео обвинили правительство, что в его среде благоденствуют дураки, бездарности и предатели. Вы нагнали ужас на правительство, полковник Гамов, вот истинное отношение к вам.

— Отношение ясно... А действия?

— Я уже говорил о них. Отъединить вас всех от вашего корпуса. Публично наградить званиями, орденами, осыпать хвалебными словами — и разослать в разные места. А ваш корпус — не отбирая наградных денег, сейчас это невозможно — разоружить и раскассировать.

— И действия ясны. Кто назначен осуществить их?

— Первую фазу операций — я. В смысле отделения вас от солдат и запудривания вам мозгов восхвалениями... Разъединенные эшелоны движутся в Забон. Все оружие сохранено и имеется в каждом эшелоне. Вместо запудривания ваших мозгов, точно нарисовал, что вас ожидает.

— Вудворт, чего вы хотите?

Вудворт, конечно, ждал такого вопроса. И, конечно, десятки раз повторял в уме ответ. Но вдруг так разволновался, что не сразу смог ответить — как-то по-детски открыл рот и снова закрыл его. Но уже в следующую минуту он справился с волнением.

— Гамов, возьмите верховную власть в стране!

Все, что Вудворт говорил до последней минуты, закономерно подводило к тому, что он призовет к противодействию правительству. Но что он так открыто сформулирует программу переворота, никто ожидать не мог. Гамов хмуро глядел на Вудворта — бледные щеки аскета залил жар.

— Взять можно только то, что дают. Пока что никто не предлагает мне верховной власти, Вудворт!

— Послушайте меня, Гамов! — страстно воскликнул Вудворт — я и помыслить не мог, что этот чопорный, холодный че-

ловек способен возвысить голос до крика. — Страна катится к гибели, ее надо спасать. Страной правят дураки и циники, их надо вышвырнуть с мостика. Это сможете сделать только вы, Гамов! Ваши передачи кричали о наших безобразиях, они звали каждого мыслить, а не верить лживым словам. Таково было их действие, их спасительное действие! Маруцзян слишком поздно сообразил, что они несут не только успокоение — хоть какие-то есть успехи, но и взрывной запал — почему у других командиров нет таких успехов? С какой радостью он оборвал бы ваши дальнейшие передачи! Но народ жаждал ежедневных сводок о ваших боевых операциях, умолчание о них вызвало бы всеобщее возмущение, Гамов! Власть валится из рук Маруцзяна и маршала, они сами чувствуют, что сидят на пороховой бочке и что к бочке уже подносят огонь. Уж если я поверил в вас, Гамов!.. Вы ведь помните наши споры!.. Народ с восторгом примет известие, что именно вы правите страной, головой отвечаю!

— А если вам придется ответить головой до смены правительства? Услышь кто-нибудь ваши речи...

— Нас окружают верные люди. В частности, проводники вашего вагона... Лучших телохранителей вам не подобрать, я сам проверял их.

— Телохранители? — Гамов поднял брови. — Позовите их, хочу посмотреть, что за люди.

Вудворт нажал кнопку вызова. Но вместо проводника в дверях показался Варелла, а за ним еще два наших солдата. Вудворт окаменел. Это мелочь, конечно, — смена нескольких солдат, когда речь шла о смене правительства страны. Но ошеломление, в которое на мгновение впал Вудворт, было так забавно, что мы не удержались от смеха.

— Каждый делает свое дело, Вудворт, — сказал Павел. — И я не знал, с чем вы явитесь в салон. Новый “вариант Мордасова” заранее не исключался. Григорий, где люди командующего эшелона?

— В его личном вагоне. Мы их вежливенько попросили туда. Оружие у них забрали, — весело сообщил Варелла.

По знаку Павла солдаты удалились. Теперь хохотал и сам Вудворт. Он впал в восторг. Он видит в предусмотрительности капитана Прищепы готовность к действиям. Он радуется, что его самого могли “разыграть по варианту Мордасова”, если бы он задумал что преступное.

— А разве вы не задумали преступление? — иронически поинтересовался Пеано. — Меня учили, что свергать законное правительство преступно.

Вудворт мигом стал серьезным.

— Нет, майор. Не преступление, а благородный поступок. Спасение государства, избавление народа от жадных ртов, сосущих его. И ваше личное спасение от мести ваших высоких родственников, — он повернулся к Гамову. — Я не жду немедленного ответа, полковник. Я обрисовал вам ситуацию и торжественно заверяю, что если вы захотите спасти государство, то я с вами. Теперь я удаляюсь в свой вагон и буду ждать вашего вызова.

— Подождите. Ответьте еще на один вопрос. Вы не разоружили и не разъединили корпус. Скрыть, что вооруженный корпус в полном составе движется в Забон, невозможно. Вы продумали заранее оправдания?

— Конечно. Я скажу, что попытка разъединить и разоружить корпус привела к волнению. Меня предупредили, что могу применять любые меры, лишь бы они не вызвали бунта. Вот и укажу, что нарастал мятеж. Похвалы не жду, но и кары не опасюсь.

— Идите пока к себе, — сказал Гамов.

Вудворт опять был тем, каким его знали раньше — церемонным, даже чопорным. Он поклонился сухо и вежливо, словно была пристойная и приятная беседа, а вовсе он и не уговаривал нас поднять восстание в государстве. Гамов задумчиво смотрел ему вслед.

— Вот уж от кого не ожидал такого преобразования! Что ответим на его рискованное предложение?

— Отвечать будете вы, — возразил я. — А мы займемся своими неотложными делами. У меня появились кое-какие мысли, я бы хотел обсудить их с операторами и Павлом Прищепой.

— Мы готовы, — быстро ответил Пеано.

Гамов помолчал, раздумывая.

— Мне кажется, вы уже решили за меня. Не рано ли? Я ведь еще не сообщил ответа Вудворту.

— Вы уже продумали свое решение, Гамов. С нас достаточно ваших мыслей. Будем переводить их в практические дела.

Гамов встал.

— Тогда не буду вам мешать. У Семипалова, уверен, уже разработана диспозиция и динамика не хуже тех, при помощи которых он так блестяще вел наши полки на прорыв из окружения.

— Постараюсь, чтобы были не хуже, а лучше тех.

— И я займусь неотложным делом — посплю. — Гамов пошел к двери и остановился. Он что-то хотел сказать и не решался — редкий случай у этого человека. — Семипалов, скажите... нет, лучше потом!

— Лучше сейчас. Нас ждут трудные расчеты. Не хочу забивать голову мыслью, что у вас какие-то нерешенные вопросы ко мне.

— Тогда скажите — вы ревнивы? — Он поспешно добавил: — Не поймите меня превратно. У вас такая красивая жена... Хочется чисто академически узнать, как держатся мужья, имеющие таких жен?

— Да, ревнив! — отрезал я. — И даже очень. И скор на драку за Елену! Надеюсь, вы не собираетесь отбирать у меня жену?

— Можете быть спокойны! Женщины не моя стихия. Красивые — тем более! — Гамов засмеялся. И вышел из салона.

Никто из нас четверых, оставшихся в салоне, не понял странного вопроса Гамова. Я уже говорил, что Гамов видел в своей сложной игре с судьбой на много ходов дальше любого своего противника. Скоро все в этом убедились — и друзья, и враги. Но что он заранее рассчитывает победные ходы в ситуации, которой еще нет, которая почти неосуществима, о которой и помыслить почти невозможно — нет, о такой его способности даже самые верные его поклонники не догадывались.

А был именно такой случай! Он мысленно видел несуществующую, мало вероятную ситуацию — ее надо было еще сотворить в нескором будущем — и рассчитывал для той далекой ситуации точные ходы, наповал сражающие противника.

10

Когда мы подъезжали к вокзалу, Гамов вдруг разнервничался.

— Семипалов, вы все предусмотрели?

— Абсолютно все и даже немного сверх того.

В отличие от него я был спокоен. Он видел грядущее много лучше меня. Но в том, что меня окружало, я разбирался точно.

Мы ехали из Забона в Адан захватывать власть.

Конечно, причины поездки на официальном языке звучали по-иному. Командование корпуса, объединившего добровольные дивизии “Стальной таран” и “Золотые крылья”, вызывали в правительство для отчета о боевых действиях в тылу врага.

Гамов уединился в купе — еще раз поправлять доклад. Я со штабными работниками и Прищепой в последний раз прикидывал, где у нас позиции послабее и где прочней. Если изъяны в наших расчетах и имелись, то не такие, чтобы существенно повредить плану.

И еще до полуночи мы разошлись по своим местам. Я спал эту ночь спокойно. Думаю, что и Пеано и Гонсалес не терзались сомнениями, прогоняющими сон. О Павле Прищепе этого не скажу. У него ночь — лучшее время для связи со своими людьми в столице, и он в Забоне с утра разговаривал с ними по своему загадочному аппарату.

Утро в Адане было нерадостное. Гамов, выйдя из вагона, хотел пойти пешком — посмотреть на людей, послушать их голоса. Но Павел с Пеано запротестовали. В решающий час нельзя пренебрегать осторожностью. Мы хорошо подготовились, но как подготовились противники? Людей мы увидим из машин и голоса услышим, не выходя на тротуары.

Я хорошо помнил довоенный Адан — прекрасный город, населенный веселыми и добрыми жителями. По его широким проспектам густо двигались оживленные мужчины и женщины, в скверах бегали радостные детишки, в роскошно убранных магазинах было полно товаров и покупателей. И следа былого довольства не виделось в мрачном городе. Мне показалось, что даже и солнца теперь в Адане меньше, чем раньше, — впрочем, солнца вообще не было, небо затягивали тучи. Три четверти магазинов были закрыты и темны, у открытых змеились очереди молчаливых людей. Больше всего меня поразило отсутствие детского гомона, так отличавшего раньше дневную жизнь столицы. Конечно, мы знали, что много детей вывезено во внутренние области, но знать, что детей нет, — это одно, и совсем другое — почувствовать их отсутствие.

О нашем приезде в Адан не сообщалось, и люди в очередях равнодушно провожали глазами наши машины. Среди прохожих я увидел наших солдат в гражданских костюмах — отпускники, задержавшиеся в столице при поездке на родину. Они не подавали вида, что узнают нас. Павел Прищепка хорошо исполнял свою службу.

В приемной нас встретил Вудворт.

— Правительство уже два часа заседает, Маруцзян встает рано, все к этому приспособляются. — Он понизил голос. — Капитан, все по плану?

— Оптимально, — ответил Павел.

В зал заседаний мы вошли гуськом — впереди генерал Прищепа, за ним Гамов, я, Пеано, Гонсалес, Павел Прищепа и несколько наших офицеров, я их не называю, они не были посвящены в заговор.

Все члены правительства встали, когда мы вошли, Маруцзян и маршал Комлин пожимали наши руки, Вудворт громко называл наши фамилии и воинские звания, Когда дошла очередь до Пеано, Маруцзян недобро поглядел на него, но сказал совсем не то, что говорили его глаза:

— Счастлив видеть тебя здоровым, племянник!

Пеано засиял самой ослепительной из своих улыбок.

— Тысяча благодарностей, дядя!

Нас посадили за отдельный стол. Всего в зале было три стола — большой, вдоль торцевой стены, на возвышении вроде сцены, второй, еще длинней, от главного входа в зал до другой торцевой стены — там тоже была дверь, — и третий у глухой стены напротив главного входа. За первым столом сидело правительство — Маруцзян, министры и военные, за вторым — вызванные чиновники, третий отвели нам. Вел заседание сам Маруцзян. Министр энергетики докладывал о производстве сгущенной воды.

Я не узнавал Маруцзяна. Не было в стране человека, всем столь известного. Его красочные портреты, его фотографии, его стереоснимки висели в каждом учреждении, в квартирах, на перекрестках улиц. Мы навеки отпечатавали в памяти образ невысокого плотного человека, круглолицего, толстощекого, с коротким, картошкой, носиком, с поросячьими, но пронизательными глазками. Помнили и его голос — торопливый, шепелявый, то взрывающийся гневными выплесками, то опускающийся до лстивого уговаривания. Мало что осталось в Маруцзяне от того всем известного, знаменитого человека. Тот, прежний, казался всегда лет на десять моложе своего возраста, этот выглядел на десяток лет старше себя. Вел заседание правительства осунувшийся, похудевший, посеревший старик с потухшими глазами. Только голос напоминал прежний, так же взвизгивал в патетических местах, так же шепелявил, когда не торопился.

Нелегко, очень нелегко далась война нашему сверх всяких заслуг прославленному главе правительства!

А маршал Комлин нисколько не переменился. Тот же уса-
тый, пучеглазый, резкий в движениях, он, сидя рядом с Маруц-
зяном, подавал тем же громким категорическим голосом репли-
ки. Он не умел ни обсуждать, ни рассуждать, каждое его слово
звучало командой. И он помолодел, а не постарел! Война ожи-
вила его, уже прошедшего пик человеческого расцвета. У него
распрямылись плечи, пуще встопорщились серые усы, побле-
скивали глаза. Он впадал во вторую молодость, наш славный
маршал, глава вооруженных сил. Только ума ему не прибави-
ло — это становилось ясно из каждого выкрикиваемого им сло-
ва.

— Положение очень сложное, но будем напрягать все си-
лы, — так закончил министр энергетики свой доклад о сгущен-
ной воде.

— Да, постарайтесь, пожалуйста! — устало выговорил Ма-
руцзян. — Без энерговоды не отразить нового наступления вра-
га.

— На двадцать процентов дать больше! — выкрикнул мар-
шал. — Нет, в полтора раза! В полтора раза будет точка в точку!

— Сделаем все, что можно, — неопределенно пообещал ми-
нистр.

Маруцзян вызвал метеогенераторное управление. У среднего
стола приподнялся наш старый знакомый Казимир Штупа. Для
меня было приятной неожиданностью, что этот скромный, от-
лично воспитанный военный метеоролог удостоился доклады-
вать правительству. Впрочем, о его докладе я бы не отозвался
так же хорошо, как о нем самом. Доклад был безрадостен. Ме-
теорологическая агрессия врага все усиливается. Кортезы стро-
ят в Родере и Ламарии мощные метеогенераторные станции.
Когда они заработают, Кортезия приобретет господство в атмо-
сфере. И сейчас океан в нераздельном владении кортезов, они
куда свободней нас задают направления циклонам. Их метео-
стратегия проста: весной не допускать на нашу территорию вла-
гонасыщенные тучи, летом заливать наши поля непрерывными
дождями. Пока мы успешно сопротивляемся: весной обеспечи-
ли дожди на всех засеянных землях, сейчас противодействуем
вторжению больших циклонов. Но полностью исключить их не
можем. Сбор хлеба в этом году будет происходить при обиль-
ных ливнях.

— Короче, урожая не будет, — скорбно проговорил Маруцзян.

— Будет, но меньше нормального, — осторожно поправил Штупа.

Маршал яростно ударил кулаком по столу.

— Меньше или больше урожай, армию обеспечить хлебом! Не позволю уменьшать военные пайки!

— Успокойтесь, маршал, — сказал глава правительства. — Снабжение армии останется на прежнем уровне. Но гражданские пайки еще сократим. Прискорбно, но не вижу другого выхода.

Маршал успокоился так же быстро, как перед тем рассердился. Снабжение гражданского населения его не интересовало.

— Теперь послушаем наших героев! — Маруцзян улыбнулся нам. — Докладывать будете вы, полковник Гамов?

— Начните доклад с того, почему игнорировали мои приказы и директивы правительства! — опять взорвался маршал.

Маруцзян поморщился. Маршал нарушал обговоренный сценарий. Лидер партии максималистов долго шел к власти извилистыми путями и хорошо приспособился к тому, что называлось в учебниках “стратегией непростых действий”. Даже во главе государства он недолюбливал атаки в лоб. И хоть командир корпуса, пока еще лишь полковник, в этом зале казался фигурой незначительной, Маруцзян не изменил своей гибкой политике. Он милостиво кивнул Гамову. Он все же нервничал: надо было слушать не чиновных лакеев, а своих врагов — он не сомневался, что это так.

— Начните с ваших побед, полковник. Это будет приятным и для вас, и для нас началом.

Павел Прищепа вытащил из портфеля большой блокнот и раскрыл его. Я увидел через плечо, что это вовсе не блокнот, а приборчик, похожий на тот, что он давал мне. Только на том была две цифры 7, а здесь их было около сотни. Павел ткнул в одну из цифр, и по внутренней стороне крышки побежали светящиеся слова. Он ткнул в другую, появились новые. Я шепотом спросил:

— Идет по плану?

Павел ответил тоже шепотом:

— Вокзал в наших руках, стереостанция тоже. К казармам войск безопасности подкатили тяжелые вибраторы в грузовиках.

— Телефоны и электростанция, Павел?

— Пока нет. Но по твоей диспозиции мы захватываем их после стерео и казарм. Время еще есть.

Гамов в это время показывал, что не собирается плясать под музыку главы правительства, а намерен разыграть собственный танец.

— О наших победах говорить не буду, они известны сегодня всем в стране! И к тому же они гораздо меньше, чем могли бы быть. А меньше потому, что мы не получили поддержки от нашей армии. Нас бросили на произвол судьбы. Совершена государственная измена — хорошо оснащенную дивизию сознательно покинули на уничтожение.

— Да что вы говорите? — вскипел маршал, вскакивая. — Кто вы такой, что осмеливаетесь бросать мне в лицо чудовищные обвинения?

— Я командир корпуса, объединившего две дивизии, преданные верховным командованием, и собственной кровью, собственным мужеством проложившего себе обратную дорогу на родину.

— Самозванец вы, а не командир! Сами себя назначили! Никогда вам не бывать ни генералом, ни командиром корпуса!

Что разговор с командованием непокорного корпуса будет несладким, Маруцзян догадывался. Но что Гамов сразу начнет с обвинений, а маршал безобразно взорвется, по всему, было непредвиденным. Маруцзян показал, что не даром в свое время обогнал в беге к власти своих противников и столько лет прочно держал ее в руках. Он прикрикнул на Комлина:

— Прекратите, маршал! Запрещаю вам говорить без моего разрешения! — И почти вежливо обратился к Гамову: — Очень серьезные обвинения, полковник. Но есть ли у вас столь же серьезные основания для них? На любой войне бывают успехи и неудачи. Но разве допустимо все неудачи приписывать предательству и изменам? Тогда почему ваш сосед генерал Коркин, которого мы разжаловали, сдал свою дивизию в позорный плен, а вы в условиях еще тяжелей, чем у него, одерживали одну победу за другой?

Он, конечно, умел спорить, глава нашего правительства. И на какие-то минуты в этом осунувшемся старике возродился прежний лидер, мастерски высмеивавший своих противников, ставивший перед ними вопросы, на которые имелись лишь желаемые ему ответы. И сейчас он верил, что легко опровергнет

любые обвинения Гамова, а потом накажет полковника за то, что тот осмелился необоснованно обвинять.

Гамов не успел ему ответить, как в зал вошел начальник охраны правительства, низенький полковник в очках, Морохов, так его звали, мы часто видели его на стерео во время дворцовых банкетов. Маршал раздраженно прикрикнул на него:

— Я не вызывал тебя! Уходи, заседаем!

Но Морохов игнорировал окрик.

— Маршал, у нас авария. Вся связь отключена!

— Отключена? — удивился Маруцзян. — Почему отключена?

— Что-то случилось на центральной станции. Все каналы на город перестали работать.

— Так что стоишь? — Маршал, несмотря на запрет Маруцзяна, все больше свирепел. — Иди и налаживай связь! Даю полчаса на исправление — и ни минутой больше.

Морохов исчез. Гамов продолжал прерванную речь:

— Вы требуете обоснованных обвинений? Обвинения будут убедительные. Изменник и предатель Мордасов...

На этот раз не выдержал сам Маруцзян:

— Полковник, выбирайте выражения! Вы не в домашнем кругу сплетничаете о знакомых, а докладываете правительству. Мы еще расследуем ваше обращение с нашим посланцем. За многие поспешные и преступные действия придется нести суровую ответственность.

Гамовым овладел так хорошо мне знакомый приступ бешенства. Я встревожился, не сорвется ли он раньше времени. Но он сдержался, только глаза его зловеще засверкали, и в голосе зазвенело железо.

— Вы совершенно правы, уважаемый председатель Совета Министров, за преступные действия надо нести суровую ответственность. И я уверен, что все виновные понесут ее. Я долго подбирал слова, которые точнее всего характеризуют Мордасова. И остановился на самых объективных — предатель и изменник! — Гамов резко повысил голос, пересиливая поднявшийся в зале гул: — Да, предатель и изменник! Но не он один, а все те, кто его выдвигал и поддерживал. И тому доказательством документ, очутившийся в наших руках. — Он поднял вынутую из кармана бумагу. Все в зале, кроме нас пятерых, сидевших отдельно, — мы знали, о чем он будет говорить, — уставились на нее, как замороженные. — Сейчас я оглашу его, но предупреж-

даю: моему чтению попытаются помешать скрытые предатели, также находящиеся в этом зале. Любую такую попытку со стороны любого человека буду расценивать как самообвинение, как признание в соучастии в измене и предательстве.

Он обводил зал злыми глазами. В зале каменело глухое молчание. Даже маршал не осмеливался подать громкую реплику.

— Продолжаю. Мордасов прилетел в распоряжение корпуса, чтобы отобрать у солдат тысячекратно заслуженные ими крохотные денежные награды. Для чего? Чтобы они усилили оборону родины, так он сказал. Ради усиления обороны родины он примирился с тем, что боевой дух корпуса сильно падет перед решающими битвами за вызволение. Он готов был пожертвовать нашим корпусом ради более высоких целей. Каковы же эти высокие цели? Вот они, в этой бумаге! Отобранные им деньги предназначались для раздачи высшим сановникам государства. Маршалу Комлину выделялось два миллиона калонов, главе правительства...

Маршал вскочил и заорал:

— Стража! Стража!

В зал проскользнул Морохов, ожидавший за дверью вызова.

— Полицию безопасности! — ревел маршал, грозно топорща седые усы и бешено вращая глазами. — В тюрьму молодчиков, всех в тюрьму!

— С полицией безопасности нет связи, — ответил Морохов. — Связь не удалось наладить.

— Как не удалось наладить? Я же дал указание, чтоб наладили! Как же не удалось, если я дал указание, чтоб удалось?! — бушевал маршал. — Вы получили мое указание? Отвечайте!

Даже у таких верных служак, как Морохов, временами отказывала дисциплина.

— Отвечаю. Получил очень ценное указание. Но ни один телефонный аппарат не отреагировал на ваше указание, маршал.

Маруцзян не отрывал колючих глаз от Гамова, спокойно стоявшего с бумагой в руке. Артур Маруцзян был слишком опытным политиком и достаточно умным человеком, чтобы понимать, что только сумасшедшие могут просто прийти на заседание правительства и бросить ему обвинение в измене. В грозном хладнокровии Гамова таилось нечто большее, чем дурной характер нескольких чересчур возомнивших о себе командиров. Уверен, что в мозгу Маруцзяна проносились тысячи тревожных картин — возмущение в армии, восстание народа... Но за окна-

ми не слышалось ни криков толпы, ни грохота электроорудий, ни визга резонаторов. Обрыв связи с городом мог возникнуть в результате обычной аварии. Маруцзян всю свою жизнь отвечал на любой удар еще более жестоким ударом. Гамова надо было любыми средствами заставить молчать. Маруцзян приказал начальнику стражи:

— Полковник Морохов, вызовите внутреннюю охрану. Пусть вызовут всех свободных солдат срочно сюда с оружием!

— Внутренняя связь дворца тоже не работает, — был ответ.

Маруцзян побелел, у него перехватило дыхание. Внутренняя связь во дворце была автономна. Никакая авария в городе не могла вызвать такую же аварию во дворце. Маруцзян бросил быстрый взгляд на маршала. Маршал ничего не понимал. Он с недоумением оглядывался, пожимая узкими плечами с роскошными погонами, и горестно бормотал:

— Как же не получилось, если я дал указание, чтоб получилось?

Маруцзян распорядился:

— Полковник, пройдите сами по залам дворца и соберите всех, кто попадется. Срочно, полковник, срочно!

— Слушаюсь! — Полковник повернулся к двери.

Но еще до того, как он вышел, в зал стал входить вооруженный отряд. Впереди вышагивал Варелла, среди других я увидел сержанта Серова и Сербина. Отряд прошел к столу правительства, за каждым министром встал солдат с ручным резонатором, за спинами Маруцзяна и маршала встали по двое. Все совершалось в мертвом молчании зала. Маршал, совладав с ошеломлением, вскочил и заорал на Вареллу, остановившегося за его спиной:

— Кто такие? По какому праву? Вон отсюда! Под арест! Я маршал, и я приказываю!..

Варелла правой рукой прижал к груди маршала ручной резонатор, а левой сорвал с него один за другим оба пышных погона.

— Ты уже не маршал, а старый дурак! Садись и помолчи! Не то одно нажатие кнопки — и будешь крутиться на полу!

Маршал хорошо знал, как действуют резонаторы. Он опустился на стул и обхватил лицо обеими руками. Плечи его, освобожденные от эмблемы высокой власти, судорожно тряслись. Старый воин молчаливыми слезами оплакивал свое унижение. Гамов спокойно спросил:

— Маруцзян, вам ясна ситуация?

Главе правительства понадобилась почти минута, чтобы справиться со вдруг отказавшим голосом. Выдержки и собственного достоинства у него было гораздо больше, чем у маршала. Он ответил Гамову таким же спокойным голосом:

— Устроили путч! А что дальше, разрешите узнать?

— Дальше вы откажетесь от поста главы государства. И не просто откажетесь, а передадите мне этот пост.

— Что будет потом? Вручите меня суду, как делают это узурпаторы с побежденными противниками? Предъявите обвинения в измене и прочих провинах, которые с усердием высосете из своих пальцев?

— Что будет с вами, зависит от вас, Маруцзян. Если без лишнего шума откажетесь от власти, обещаю суда над вами не устраивать.

Маруцзян обвел глазами зал. Все безмолвно сидели на своих местах. Он обернулся на двух солдат, каменно возвышавшихся за его спиной. На его скуластом лице обрисовалась злая улыбка.

— Нет, полковник Гамов, не дам я вам радости легкой передачи власти. Захватывайте ее насильно, а меня отдавайте под суд. На суде я выскажу все, что знаю о вас и еще к тому времени узнаю. Посмотрим, удастся ли вам обосновать на открытом процессе идиотские измышления.

Тогда рядом со мной поднялся Пеано и пошел к столу правительства, вынимая из кармана самое страшное оружие ближнего боя — точно такой же импульсатор, из какого Гонсалес располосовал Мордасова. Снова страшно побелев, Маруцзян непроизвольно приподнялся. Пеано остановился перед Маруцзяном.

— Дядюшка, вы меня знаете, и я вас знаю. Вы соображаете очень быстро, и поэтому я вам даю ровно одну минуту, чтобы принять все условия полковника. Если на исходе этой минуты мы не услышим ваше громкое “да”, я развалю вас на четыре куска. И сделаю это с удовольствием, можете мне поверить.

— Негодяй, ах, какой негодяй! — прошипел Маруцзян. — Ты все это подстроил, я знаю! Какой же я дурак, что отправил тебя на фронт, а не засадил в тюрьму, как надо было.

— Полминуты прошло, — зловеще предупредил Пеано и стал поднимать импульсатор. — Считаю медленно. Один, два, три...

— Да, да, да! — истерически прокричал Маруцзян. — На все — да! На все ваши проклятые условия — да! Опустим импультатор, Альберт!

Пеано спрятал импультатор и не спеша пошел на свое место.

— Теперь остается зачитать перед стереокамерой отречение от власти, — сказал Гамов.

В глазах Маруцзяна засветилась надежда. Он всегда умел ловко находить неожиданные ходы в сложных ситуациях. Не подарит ли ему судьба и сейчас такую спасительную возможность?

— Мне нужно время обдумать текст отречения...

— Отречение уже написано. Вудворт, подайте его.

Вудворт вышел из-за второго стола, где сидел, и вручил Маруцзяну текст. Ненависть исказила маловыразительное лицо Маруцзяна.

— И вы, Джон, — сказал он горько. — Так умри же, Артур Маруцзян, величайший из лидеров славной партии максималистов!

— Никто не требует вашей смерти, — заметил Гамов. — Отречение от власти еще не смерть.

— Говорю фигурально! — огрызнулся Маруцзян. — Я так полагался на его верность, столько добра ему делал. А он предает меня!

— Не предаю, а перехожу в стан тех, кто может стать спасителем нашей страны, которую вы довели до упадка и опустошения, — чопорно сказал Вудворт.

Маруцзян зло махнул на него рукой и погрузился в текст.

— Сильно, сильно! — сказал он, — но раз уж я объявил “да”... Теперь немного отдохнем и поедем на стерео.

— Стереоператоры уже здесь, — сказал Вудворт.

Если бы взглядом можно было жечь, то от взгляда, какой метнул в Вудворта Маруцзян, тот вспыхнул бы, как щепка, вымоченная в бензине.

Стереоператоры вкатили в зал свою аппаратуру. Маруцзян встал перед камерой. Пеано негромко сказал:

— И, пожалуйста, дядюшка, никаких иронических или трагических интонаций, неадекватных тексту ухмылок и прочего, на что вы были так искусны в своих речах. Не отягчайте свое дальнейшее существование, дядя!

Маруцзян не удостоил племянника ни репликой, ни взглядом. Он и без указаний со стороны понимал, что не стоит отяг-

чать свое существование. И он внятным спокойным голосом известил страну, что ради активизации военных действий, ради наведения порядка в тылу, ради повышения жизненного уровня населения он решил сложить со своих усталых плеч верховную власть и вручить ее более молодому, более энергичному, более удачливому вождю. Отныне главой правительства он объявляет беспартийного полковника Алексея Гамова.

Стереоператоры перевели камеру с Маруцзяна на Гамова. Если кто-нибудь из нас и ожидал, что Гамов произнесет первую из тех ярких речей, какими он впоследствии часто полонил слушателей, то он ошибся. Гамов сухо и кратко информировал страну, что власть принял, что будет срочно изучать обстановку и после этого объявит состав своего правительства и программу действий.

Я приказал увести Маруцзяна и его министров. Когда мимо меня проплелся — его поддерживал под руку все тот же Варелла — пошатывающийся маршал, я услышал его горестное бормотание:

— Я же дал указание, чтобы получилось... Почему не получилось?..

Мне показалось, что маршал совсем спятил со своего не очень обширного умишки. Будущее показало, что ошибся.

Ко мне подошел Гамов. Он вовсе не выглядел радостным. После удачного захвата власти новые правители, так мне представлялось, должны демонстрировать если не ликование, то удовлетворение. Возможно, впрочем, что Гамов уже был всеми мыслями в трудном будущем.

— Эс швиндельт, — сказал он непонятно и пояснил: — Голова кружится! Такой скачок в неизвестное! — Он протянул мне руку. — Спасибо, Семипалов! Не знаю, что вышло бы из нашего заговора, если бы не вы!

Я принял благодарность как должное. Захват власти был разыгран по моему сценарию.

Часть вторая
СВЯЩЕННЫЙ ТЕРРОР



1

Правительства еще не было, а правительственная работа шла. В захваченном нами дворце толпились вызванные. К группке, составившей правительственное ядро, присоединялись новые люди — мы становились из головы телом, на теле удлинялись и крепили руки, руки охватывали всю страну.

— Гамов, — сказал я однажды вечером, когда в нашей комнате осталась лишь “шестерка узурпаторов”, как кинул нам Маруцзян, уходя под арест. — Гамов, я устал командовать людьми без ясной программы действий. Мы не карета скорой помощи, чтобы судорожно кидаться на затычку всяких щелей и провалов, а пока только это и делаем. Хочу определить саму философию нашей власти.

Гамов ответил:

— О философии помолчу, она появится из анализа нашего дела, а дела лишь разворачиваются. И цели еще призрачны. Поговорим о программе практических действий.

— Хорошо, пусть будет программа.

Я распахнул окно. В комнату ворвался ветер, гардины затрепыхались, закачалась люстра. Темное небо рассекла молния с сотнями отростков, почти синяя от сгущения электричества. Над столицей разыгрывалась битва стихий. Она началась неделю назад, когда стерео разнесло по всей планете известие о смене правительства, и с того дня не прекращалась. Кортезы и родеры бросили на нас миллиарды чудов воды: испытывали на стойкость новое правительство. Улицы столицы превращались в бушующие реки, подвалы затапливались. Лишь сегодня военным метеорологам удалось отшибить ошалелые дожди на сотню лиг от Адана, но туч они не отогнали — над столицей гремела сухая буря.

Подошел Пеано и тоже с наслаждением вдохнул свежий воздух.

— Друзья, возвращайтесь на свои места, — сказал Гамов. — Изложу первоочередную программу. В ней семь пунктов. Первый — война.

Противник силен, а война идет плохо, сказал далее Гамов. Наши недостатки: много солдат в плену; не хватает вооружения и боеприпасов; в командовании мало талантов, многие генералы — ни к черту! Предлагаю такой выход. Маршал Комлин командовал неудачно, но одно сделал отлично: заполнил резервные склады оружием и боеприпасами на три года войны. Эти запасы полностью направим в армию и не только остановим наступление врага, но и погоним его обратно. Он ведь не предвидит столь отчаянного удара.

— Воистину отчаянный удар! — сказал я. — Но так ли уж отчаянно наше положение? А если израсходуем все запасы, а противник оправится от ошеломления и снова погонит нас? Резервов у него больше.

— Согласен: на резервах можно выиграть одно сражение, но проиграть всю войну. Надо срочно увеличить военное производство раза в полтора.

Вероятно, из всех семи пунктов программы Гамова, этот — столь радикальное повышение производства — вызывал всего больше сомнений. Гамов опровергал все возражения. В промышленности большие резервы. Рабочий может трудиться интенсивней. Вопрос — как принудить его работать лучше?

— Патриотическими воззваниями, как делал мой дядюшка? Или военным принуждением? — иронически поинтересовался Пеано.

— Есть и третий способ. В резервных складах бездна товаров. И не тех, что в магазинах, а почти позабытых в быту. Вот эти первоклассные товары мы выбросим на дневной свет. Но будем продавать их только тем, кто перевыполняет нормы. Чем не стимул к быстрому росту продукции?

— Специальные карточки для выдающихся рабочих?

— Не карточки, а деньги, Пеано. Новые деньги — золото! Мне доложили, что запасы золота в стране — пять тысяч чудов. И что это золото тратилось на подачки союзникам за болтовню о солидарности с нами. Так вот, мы создаем новую золотую валюту. А на золото покупай самые редкие товары, о которых вчера и мечтать не смел!

Вудворту финансовые проекты Гамова говорили больше, чем нам, ни разу не державшим золотой монетки.

— Гамов, вы недооцениваете человеческую психологию. На золото кинутся горячей, чем на колбасу и масло, шелк и шерсть. Золото будут прятать, а не тратить на дорогие товары.

— Тем лучше! Пусть золото прячут. Ведь его получают лишь за крутое повышение продукции. А чего нам еще нужно? Плевать нам на мертвое золото в подвалах банка! Но при переходе из банка в частные квартиры золото произведет дополнительное оружие, дополнительное армейское снаряжение, дополнительные машины, шерсть, зерно, мясо!.. Вот что сделает мертвое ныне золото, на время ожив.

— В тылу родеров вы оценили каждый военный подвиг в деньгах, — продолжал Вудворт. — И это повысило дух солдат. Не пора ли превратить сражения из чистого акта доблести и героизма еще и в акт обогащения? Тысячи парней скрываются от призыва, идут в бандиты. Риск потерять жизнь у солдата и бандита одинаков. Но солдат при удаче только сохраняет свою жизнь, а бандит еще и обогащается. Разница!

— Согласен с Вудвортом, — сказал Гамов. — Временный ценник подвигов превратим в постоянный. И будем оплачивать военные подвиги золотом. Война станет из неизбежной еще и экономически заманчивой для всех, кто в ней участвует.

— Война отныне — коммерческое предприятие, — сказал я. — Нечто вроде промышленного товарищества солдат и командиров по производству подвигов. Не принимайте шутку за возражение. Возражений не имею.

— Дальше — наши союзники, — говорил Гамов. — Надо отказаться от всех союзов. Отдавая богатства собственному народу, мы усиливаемся, а бездарно тратя его на речи союзников, лишь ослабляем себя.

— Но разозленные союзники могут превратиться в прямых врагов, — заметил Вудворт.

— Надеюсь на это! Сами не пойдут воевать, не дураки. Значит, позаботятся раньше получить помощь Кортезии. Пусть же она разбрасывает свое богатство, свое оружие, своих солдат по всем странам мира, это не усилит, а ослабит ее.

Разрыв с союзниками был одобрен.

— Теперь внутреннее положение, — продолжал Гамов. — Против бандитов нужны крутые меры. Однако расстрелы и тюрьмы малоэффективны. Надо не только карать преступников, но и безмерно их унижить. Многим бандиты видятся чуть ли не героями. Помните, как я наказал мятежного солдата Семена

Сербина? Эффект был тысячекратно сильнее, чем если бы его расстреляли. На оружие разбушевавшаяся толпа могла ринуться грудью. Но от выгребной ямы все отшатнулись. Предлагаю преступников подвергать публично омерзительному унижению. Кара будет куда эффективней простого расстрела!

Мы молчали. Ни один не говорил ни “да”, ни “нет”. Такая борьба с преступностью сама выглядела преступлением.

— Принимается, — сказал я первый. — Что дальше?

— Дальше правительство. Состав правительства я предложу немного позже. Сейчас поговорим о государственном аппарате. Он развращен. Воровство казны, лихоимство, взятки, семейственность стали обычностью. Радикально бы — заменить всех руководителей новыми людьми. Но где их взять? И будут ли они лучше? Нынешние руководители развратились, но ведь и приобрели опыт управления. Без такого опыта государство не способно нормально функционировать. Предлагаю, чтобы каждый руководитель, остающийся на старом посту, тем более — идущий на повышение, заполнял секретный “Покаянный лист” с подзаголовком “Повинную голову меч не сечет”. В “Покаянном листе” он признается в совершенных им ранее нарушениях закона и обязуется больше их не допускать. От наказания за проступки, в которых повинится, он заранее освобождается. Зато за скрытое виновный несет полную кару. Проступки, в которых признались, остаются тайной для всех, проступки, которые пытались скрыть, опубликовываются.

— Все? — спросил я. — Тогда вопрос. Как именовать вас, Гамов? Вы сконцентрируете у себя необъятную власть. Для носителя такой власти нужно и особое титулование. Что вам больше нравится, Гамов? Король? Император? Президент? Генеральный секретарь? Председатель? Или, не дай бог, султан? Халиф? Богдыхан?

— Диктатор. Название отвечает власти, которую беру на себя.

2

В столице установился отличный день. “Отличный” по нынешнему времени означало только то, что не лили дожди, а тучи были не столь густы, чтобы сквозь них не просвечивало солнце. Я вышел из дому — мы оставили на замке нашу старую квартиру в Забоне и поселились временно в гостинице в Адане — с Еленой. Ей нужно было в госпиталь — испытывалось новое лекарство ее фабрики. Я шел в правительственный дворец.

— Пойдем пешком, — предложила она, и мы пошли пешком.

По случаю временного прекращения потопа на улице появились люди — сбивались в кучки, обсуждали перемены. Стерео еще не разнесло по стране мои изображения, я мог не опасаться, что меня узнают. Мы с Еленой пристали к одной группке.

— Полковник Гамов — военный! — кричал один пожилой мужчина. — Но что он понимает в гражданском управлении? Что, я вас спрашиваю? Взял власть, а зачем? Ни он, ни его вояки ни слова об этом пока не проронили!

— Обдумывают, что сказать, — возражал другой. — Надо же разобраться, что есть, на что надеяться...

— Устроили переворот, а заранее не знали, зачем свергают правительство? Это же несерьезно! Бедный Маруцзян, как у него дрожали губы, когда отказывался от должности!

— Ради переворота подбросили бы продовольствия, — печалился третий. — Окрасить начало правления хоть выдачей по норме, это шаг!

— А мне Гамов нравится. Племянник воевал в его дивизии, говорит — полковник душевный, его солдаты любят. А награда! И честь завоевал, и карманы полны! Родных повеселил, себе душу отвел.

— Выгода! Деньги принес! А для чего? В магазинах без карточек деньги ни к чему, а на рынок и наград не хватит. Зря хвастается твой племянничек. Узнают, что разбогател, налетят вечером гаврики — и плакали все награды!

Мы отошли от этой кучки, пристали к другой. Везде сетовали на тяжелую жизнь. Никто перевороту не радовался, никто не высказывал больших надежд.

— Твой Гамов знает о настроении народа? — спросила Елена.

— Если и знает, то недостаточно.

— Он мечтатель! Ваш новый кумир немного не от мира сего.

Гамов не был моим кумиром. И вряд ли Елена могла с первого знакомства понять такого сложного человека. Мы заседали опять “шестеркой узурпаторов”. Я рассказал, что слышал. Гамов спросил:

— Итак, вы настаиваете?

— Настаиваем, — ответил я за всех. — Зачем таить уже разработанную программу? Или вы боитесь себя, Гамов?

— Боюсь значимости каждого своего слова, Семипалов. Слово, объявленное народу, становится делом. Сегодня вечером выступаю с правительственной речью.

Я забыл сказать, что теперь мы называли друг друга только по фамилии и на “вы”. Этого потребовал Гамов. Никакой приятельщины, мы теперь не просто друзья, а “одномышленники истории”, вот такой фразой он описал нашу государственную роль. Я лишь выговорил для себя право называть Павла Павлом, чтобы не путать его с отцом. И пообещал научиться называть его на “вы”, с остальными “ты” и раньше не было.

В день речи Гамова к народу улицы, хоть обошлось без бури и дождя, были пусты, жители сконцентрировались у стереовизоров. У меня было ощущение, что и враги прекратили метеоатаки, чтобы самим услышать нового правителя Латании.

И он произнес двухчасовую речь, первую из тех речей, какими с такой силой покорял людей. Чем он брал? Логикой? Откровенностью? Лишь ему свойственной искренностью? И это было, но было и еще одно — и, быть может, самое важное. Он говорил так, как если бы беседовал с каждым в отдельности — интимный разговор, миллионы “разговоров наедине”, совершавшихся одновременно. Нет, и это не самое важное! Беседы наедине тоже бывают разные — и доверительные, и угрожающие, и умоляющие, и просто информативные. Он говорил проникновенно, вот точное слово. И совершалось таинство слияния миллионов душ в одну, которое враги называли “дьявольской магией диктатора”.

Мы с Еленой слушали его дома. Я знал, о чем он будет говорить, готовился иронически оценить иные рискованные предложения, прокомментировать для Елены трудные пункты. Я все знал заранее, одного не знал — как он будет говорить. И не прошло и десятка минут, как я позабыл свои комментарии и, как все его слушатели, как миллионы его слушателей, только слушал, слушал, слушал...

Он начал с того, что армия терпит поражение из-за нехватки военного снаряжения. Метеогенераторные станции не способны эффективно отразить атмосферную агрессию врага — не хватает сгущенной воды, и промышленность все уменьшает выпуск этого важнейшего энергетического материала. Если метеонаступление врага не остановить, наши поля будут залиты — грозит продовольственная катастрофа. Почему же так плохо в промышленности? Неужели рабочие не понимают, что от них зависят и удача на фронте, и урожай на полях? Неужели им неизвестно, что каждый процент продукции, недоданный на заводах, равнозначен гибели сотен наших солдат, равносильно гниению

на корню так отчаянно нужного нам хлеба? Неужели им не жалко своих сыновей, погибающих от того, что отцы недоукомплектовали какой-то агрегат, недокрутили какую-то гайку? Неужели не терзает их плач детей, протягивающих дома ручонки: “Мама, хлеба! Папочка, хочу есть!” И они не могут не знать, рабочие наших заводов, что бессмысленно проклинать продавцов за нехватку товаров, ибо нельзя в магазины доставить того, что не вырабатывают в поле и на заводе. Падение промышленности не просто плохая организация труда, нет, это наше преступление перед самими собой, предательство наших парней, отчаянно сражающихся на фронтах, безжалостная измена нашим детям, плачущим дома от голода. И не ищите слов помягче, слов, оправдывающих наше недостойное поведение, ибо все слова будут лживы, кроме самых страшных — измена отчизне, измена себе, измена своим близким, взрослым и маленьким!

Гамов сделал минутный перерыв, пил воду, страстный голос умолк. Я смотрел на Елену. Она побледнела, пригнулась к экрану.

— Андрей, что же это? Нельзя же обвинять весь народ в преступлении! Какие ужасные слова!

Гамов снова заговорил.

— Итак, не ищите виновных в стороне от себя. Виновны мы сами. Кто-то меньше, кто-то больше, но в нынешних бедствиях виновны все. Конечно, правительство и командование виноваты гораздо больше, чем токарь на заводе, тракторист в поле, оператор метеогенератора у пульта. Поэтому мы сменили бесталанное правительство. Но одна лишь смена власти не принесет исцеления. Нужно перемениться всем. Давайте думать, почему сложилась такая нерадостная обстановка. Но предупреждаю: понять — не значит оправдать. Так считают многие — найдут причины зла, и от одного того, что происхождение зла понятно, оно, это зло, кажется не таким уж злым. Нет, тысячу раз нет! Понять причины зла нужно для того, чтобы уничтожить эти причины, а не для того, чтобы примириться со злом. Так вот, первая причина — апатия, потеря бодрости и веры. Зачем выпалывать сорняки, разбрасывать удобрения, если завтра бешеные ливни вымоют все удобрения, пригнут колосья в грязь? Зачем перевыполнять нормы, если завтра нормировщик снизит расценки? И если выбить десяток-другой каленов сверх обычного, что сделать с ними? В магазинах сверх карточки не купить. Зачем дополнительные деньги? А ведь за бумажки эти, дополнительные и ненужные, надо пролить дополнительно пота, истре-

пать и без того истрепанные мышцы! Это в поле и на заводе. А дома холодно и скудно, на улице в свободный час не показывайся — бандитье выглядывает, не идешь ли? Несешь ли что с собой? А на фронте? Одна дивизия отступает, другая складывает в землю головы. Руки опускаются, ничего делать не хочется!

— Мы ищем меры для общего оздоровления, — продолжал Гамов. — Одни аварийные, другие — на длительный срок. Правительство Маруцзяна готовилось к затяжной войне: набивало резервные склады продуктами промышленности и села. Эти товары скоро увидят — армия на фронте, вы в магазинах. Приrost оружия и боеприпасов позволит не только отразить врага, но и отвоевать потерянные провинции. А товары в магазинах хоть на время ликвидируют недохватки. И урожай этого года спасем — метеорологи гарантируют, если получат резервные запасы энерговоды, ясное небо до поздней осени.

Вы заметили, что я говорю об улучшениях на фронте и в тылу: на время, пока, до осени. Ибо щедрое использование резервов имеет один недостаток: наступит облегчение, а что после? Снова нехватка оружия, нехватка продовольствия и одежды, страх гибели следующего урожая? И ведь тогда резервные склады будут пусты, аварийная помощь уже не обеспечена запасами. Единственный выход: значительно умножить производство! Мы решаем это так. В армию направляем сразу все резервное оружие, а труженики тыла товары из госрезерва получают лишь за ту продукцию, что произведена сверх установленных норм. Товары из госрезерва будут продаваться в специальных магазинах и на новые деньги, старые останутся для прежних магазинов. Мы вводим в Латании денежную единицу лат: золотые монеты в пять, десять и двадцать латов и банкноты, обмениваемые на золото. Лат содержит в себе один кор золота — по стоимости. Кто захочет высококачественных товаров в новых магазинах, тот должен постараться. Нароботаешь — получишь. И не иначе!

Два вопроса. Первый: хватит ли золота и товаров из госрезерва, если продукция слишком возрастет? Никаких “слишком”! Чем больше, тем лучше! И товаров, и золота хватит. И второй: не начнут ли снижать расценки за повышаемую продукцию? Так было до сих пор, так больше не будет. Существующие ныне нормы замораживаются до конца войны. Продукция в границах нормы оплачивается в калонах. Все, произведенное сверх нормы, латами — золотом и банкнотами.

Гамов снова сделал передышку. Думаю, миллионы слушателей в этот момент тоже делали передышку. Он говорил с напряжением, но и слушали его с таким же напряжением. Он должен был остановиться, ибо переходил к самому неклассическому в своей неклассической концепции войны.

— На фронте станет легче, когда польются туда запасы из резерва. Но существует великая несправедливость в положении воина на фронте и труженика в тылу. И она теперь не ослабеет, а усилится. Молодой воин ежеминутно рискует своей жизнью. Их, не живших, не насладившихся ни любовью, ни семьей, ни успехами в работе, гонят на вероятную смерть, но еще вероятней — на ранение и уродство. Вы, слушающие меня сейчас в тылу, вам трудно, а им стократ трудней. И завтра за дополнительное напряжение в труде вы получите золото, приобретете редкостные товары, а они? Станет легче сражаться, но и сражения умножатся, а злая старуха смерть не скроется, она еще грозней замахнется косой в усилившемся громе электроорудий, в дьявольском шипении резонаторов, в свисте синих молний импульсаторов. Отцы и матери, это ведь дети ваши! Женщины, это ведь ваши мужья и возлюбленные! Чем же мы искупим свою великую вину перед нашими парнями? Так неравны их судьба и наша, а мы теперь еще усилим это трагическое неравенство судеб!

Он перевел дыхание. Я физически ощущал, как в миллионах квартир перед стереовизорами каменела исступленная горячечная тишина. Губы Елены дрожали, в глазах стояли слезы. Гамов снова заговорил:

— Вы знаете, что дивизия, в которой я воевал, захватила две машины с деньгами. Мы роздали захваченные деньги нашим воинам. Не распределили среди безликой массы, а строго оценили каждый подвиг в бою, выдали денежную награду по подвигу, а не по званию. Так доныне не воевали, ордена государству стоят дешевле денег, солдат отмечали лишь честью. Мы будем воевать по-другому. Для нас нет ничего дороже наших родных парней-храбрецов. Так почему отказывать им в богатстве, накопленном всем народом? Способ, примененный в дивизиях “Стальной таран” и “Золотые крылья”, мы отныне распространяем на всю армию. Размеры наград за каждый выдающийся успех разрабатываются — о результатах вам сообщит комиссия военных и финансистов.

Настал еще один эмоциональный пик — Гамов заговорил о преступности в стране. Ненависть и негодование пропитывали каждое его слово. Я опасался, что он на экране стереовизора впадет в приступ ярости. Но он не допустил себя до бешенства. Только изменившийся голос показывал, что жестокие слова отвечают буре в душе.

— Вдумайтесь в аморальность нашего быта! Вдумайтесь в чудовищность ситуации! — страстно настаивал он. — Враг на фронте идет на нас по приказу, а не по собственному желанию, а мы убиваем его, превращаем в калеку, хоть в сущности он вовсе не враг нам, а такой же человек, как и мы, только попавший в беду повиновения. Но ведь тот, кто нападает на наших улицах на женщин, на стариков, на детей, тот не враг по приказу свыше, враг по собственному желанию — десятикратно худший враг! И на фронте враги идут с оружием на оружие, не только стреляют в чужую грудь, но и свою подставляют под удар — схватка отвратительна, но честна. А в тылу? Вооруженный нападает на безоружного, стает на одиночку, взрослый мужчина на беззащитного старика, на беспомощную женщину. Бандит — враг, как и тот, на фронте, но многократно мерзостней. И карать его надо в меру его гнусности — гораздо, гораздо строже военного врага, идущего с оружием в руках под ответный удар нашего оружия! Это же чудовищная несправедливость: бандит с нами поступает тысячекратно подлей противника, а мы с ним тысячекратно милостивей, чем с тем. На фронте нападающего убивают. В тылу нападающего сажают в тюрьму, одевают, кормят, лечат, дают вволю спать, тешат передачами по стерео! А они еще возмущаются, что плохая еда, еще грозят — выйдем на волю, покажем! И показывают, чуть переступают порог тюрьмы, — снова за ножи, снова охота за беззащитными людьми. Безмерная аморальность, к тому же двойная — и с их стороны, ибо они подрывают изнутри нашу безопасность во время тяжелой войны, и с нашей, ибо платим за их предательство заботой о них! А когда война кончится, выпустим на волю, и они нагло посмеются над нами: ваши парни погибали, возвращались калеками, а мы нате вам — здоровые. Сколько же мы умней тех, кто безропотно шел на фронт, от которого мы бежали!

— Не будет их торжества! — с гневом говорил Гамов. — Мы взяли власть также и для того, чтобы раздавить внутреннего врага. Объявляю Священный Террор против всех убийц и грабителей. Мы сделаем подлость самой невыгодной операцией, са-

мым самоубийственным актом, самым унижительным для под-
леца поступком! Бывали власти твердые, суровые, даже жесто-
кие, даже беспощадные. Нам этого мало. Мы будем властью
свирепой. В тюрьмах сегодня тысячи многократных убийц. Я
приказал всех расстрелять с опубликованием фамилий и вины.
И единственная им поблажка — разрешаю казнь без унижения.
А других заключенных вывезти на тяжелейшие северные рабо-
ты или в штрафные батальоны. Тюрем больше не будет, тюрьмы
слишком большая роскошь во время войны. Мера жестокая,
скажете вы? Да, жестокая! Но необходимая и полезная. Беру на
себя всю ответственность за нее. После войны вмените мне в
вину и казнь преступников — не отрекись от этого моего реше-
ния.

Но ликвидации тюрем мало, друзья мои. Около двухсот ты-
сяч человек на воле, молодые, здоровые люди, сбились в бан-
дитские шайки и терроризируют страну. Объявляю Священный
Террор против их злодейского террора! Наказания и унижения
продолжающим войну против общества, о каких еще не слыха-
ли. Слушайте меня, честные мои соотечественники, слушайте
меня, убийцы и грабители, таящиеся в лесах и подвалах! Всем,
кто добровольной явкой не испросит прощения, — унижение и
гибель! Главарей шаяк живых утопят в дерьме, стерео покажет,
как они в нем барахтаются, как глотают его, прежде чем уто-
нуть. И это не все. Родители преступников за то, что воспитали
негодяев, примут на себя часть вины. Родители отвечают за
детей, таков наш новый военный закон. Их выведут на казнь их
детей, потом самих сошлют на тяжелые работы до окончания
войны, а имущество конфискуют. И если будет доказано, что
кто-либо попользовался хоть одним калоном из награбленного
бандитами, у тех тоже будет конфисковано имущество, а сами
они сосланы на принудительные работы. И еще одно. Некото-
рые полицейские за взятки тайно покрывают преступников. За
старые провинности мы не преследуем, если в них покаются. Но
кары за продолжающиеся поправки бандитам объявляю такие:
виновного полицейского повесят у дверей его участка, имуще-
ство конфискуют, а семью вышлют. Объявляю всем, кто тайно
способствует преступлениям: трепещите, иду на вас!

Самое страшное было объявлено, Гамов мог бы не волно-
ваться, а он побледнел, голос стал глухим. И я вдруг ощутил то,
чего не чувствовал в личном общении, — как нелегко, как изну-
ряюще нелегко даются ему решения! Он спорил с нами, видел

наши лица, все снова повторял аргументы, если замечал, что мы не убеждены, что не все наши сомнения развеяны — мастерски подбирал для каждого особые доказательства. А сейчас он обращался к миллионоликому существу, не видел его, не слышал ответного голоса этого загадочного существа — народа. Он мог и приказать народу, захват власти давал возможность приказывать. Он понял раньше всех нас, что приказывать народу будет не победой, а крахом. Только одна возможность была для власти, какой он жаждал, — убедить всех, покорить все умы, завоевать все души.

И он всем в себе пошел на выполнение такой задачи.

— Знаю, знаю, какие страшные кары противопоставляю преступлениям. И вижу, не видя вас, с каким ужасом слушаете меня. Но поставьте себя на мое место, придумайте за меня эффективное истребление злодейства. Об одном из императоров прошлого говорили, что он варварскими методами истреблял варварство. Утопление в грязи, высылка близких, конфискация имущества — да, это варварство, это тоже преступление, всякая иная оценка — ложь. Но убийство на войне в тысячу раз горшее преступление, ибо твой противник не сделал тебе лично вреда, а ты его убиваешь. Почему же совершаются такие преступления? Потому что они выгодны и эффективны. Государству выгодно победить соседа-недруга, а самый эффективный способ победы — преступление, называемое войной. Преступнику выгодно пользоваться чужим добром, и самый эффективный способ — напасть, ограбить, убить. Но все применяемые до сих пор методы борьбы с преступлениями неэффективны — и войны вспыхивают все снова, и бандит, отсидев срок, снова идет на преступление, а если не сам, то его подросшая смена. А я применю кары, столь несоразмерные вине, чтобы преступление стало чудовищно невыгодным. Подлость должна стать самой убыточной в мире операцией — таков мой план. И грош мне самому цена, если меня постигнет неудача!

— Вдумайтесь еще в одно обстоятельство, — продолжал он, переменяя страсть в голосе на тон поспокойней. — В том, что мы применим еще неслыханные кары за преступления, таится своеобразная оценка его характера. Да, уважение и высокая оценка, я не оговорился. Смертью бандита не испугать, он ежеминутно сосед со смертью. И что ему тюрьма? Кому тюрьма, кому дом родной — сколько раз слышал такую похвальбу. Но вот глотать дерьмо, да еще перед камерами стерео, да на глазах

своих близких, да под их вопли — нет, это все же несравнимо с неизбежной для каждого смертью! И знать, что этих твоих вопящих родных сразу после твоей унижительной казни отправят на долгие страдания, лишив всего приумноженного твоими подлостями имущества, — будет ли и тогда тебе казаться выгодным преступление? Девочки мои милые и беззащитные, женщины мои дорогие, измученные трудом и недостатками, клянусь вам всем: эту зиму вы будете спать в квартирах спокойно, спокойно будете в темь ходить по улицам! И если этого я не совершу, значит, и сам я, и мои помощники не больше, чем дерьмо, ибо, насильно захватив непомерную власть, не сумели ею распорядиться разумно и эффективно!

Здесь была кульминация речи Гамова. В обращении к женщинам он снова возвысил голос до страсти, убеждал не аргументами, а тоном. Оглядываясь назад, я вижу, что тому феномену, который враги называли “дьявольской магией Гамова”, начало положила эта первая речь к народу: женщин он завоевал сразу, хотя грозил чудовищными карами, а в сердцах женщин всегда легче возбуждать сострадание, а не ненависть.

После этого, уже спокойней, не трибун, а верховный администратор, он поведал, как организует правительство. Ядро власти составят его друзья, участники переворота, и те, кому он доверяет абсолютно. Пока их будет десять человек — невыборные и несменяемые. Что до обычных министров, руководителей хозяйства и культуры, то они потом образуют второй правительственный слой — выборные, сменяемые и подконтрольные.

Состав “Ядра” он объявил такой:

1. Алексей Гамов — диктатор.
2. Андрей Семипалов — заместитель диктатора, военный министр.
3. Готлиб Бар — министр организации.
4. Джон Вудворт — министр внешних сношений.
5. Альберт Пеано — главнокомандующий армией.
6. Казимир Штупа — министр погоды .
7. Павел Прищепа — министр государственной охраны.
8. Аркадий Гонсалес — министр Террора.
9. Николай Пустовойт — министр Милосердия.
10. Омар Исиро — министр информации.

Стереозэкраны погасли.

— Поздравляю тебя с назначением в заместители диктатора, — сказала Елена много равнодушной, чем мне бы хотелось услышать.

Я не скрыл, что уязвлен.

— Тебе не нравится, что я заместитель диктатора? А разве есть в правительстве пост выше этого? После Гамова, разумеется.

Она не хотела обижать меня нелестным ответом. Но была в ней черта, отличавшая ее от других женщин: неспособность на неправду. Я часто жалел впоследствии, что природа не одарила ее умением хотя бы малой скрытности.

— Вот именно, Андрей, после диктатора. Не сердись, но я тебя так давно знаю... Ты будешь только при нем, а не сам по себе. Это правительство... Всегда ли сумеешь быть ему верным помощником?

— Надеюсь, что всегда. Выше помощников мы не годимся. Он каждого из нас превосходит.

Снова засветился стереоэкран. Диктор извещал, что метеопередышка окончилась. С запада запущен транспорт боевых туч. Наши станции форсируют метеоотпор. Ожидаются большие ветры и обильные ливни. Жителям рекомендуется без крайней необходимости наружу не выходить. При затоплении нижних этажей вызывать военизированную метеопомощь.

Я распахнул окно. Звезды светили мирно, и малейший ветерок не колебал деревьев. В городе стояла та затаенная, нервная тишина, какую даже военные метеорологи называют зловещей. На западе вдруг вспыхнули полосы огня. Одна зарница догоняла другую. С запада наваливался дикий циклон.

— Закрой окно, я боюсь, — попросила Елена.

Она подошла ко мне, я обнял ее. Я тоже боялся. Но не циклона, а будущего. Будущее было непредсказуемо.

3

Циклон бушевал больше недели. Переулки превратились в горные ручьи, а проспекты в реки. Но военные метеорологи остановили ошалелый ураган на подходе к степям, где зрел урожай. С десятков куболиг воды залил наши западные земли, целые области на время превратились в болота. Зато противник прекратил наступление, потоп мешал его армиям еще больше, чем нашей обороне. Была и другая выгода для нас в неистовстве их метеонатиска: Павел Прищепа сообщил, что больше двух третей сгущенной воды, накопленной их промышленностью,

уже израсходованы в метеовойне. До зимы нового метеонаступления можно было не опасаться.

Конец потопа ознаменовался дискуссией на тему — что завтра? Гамов созвал совещание Ядра для решения всего нерешенного.

Я вышел из своей канцелярии, чтобы поразмять ноги, и встретился с Готлибом Баром, в недавнем прошлом знатоком литературы и философствующим ёрником, а ныне министром организации.

— Приветствую и поздравляю от имени и по поручению, — выпренно обратился ко мне Готлиб.

Мне захотелось пошутить над ним.

— Врете, по обыкновению. Приветствуете — ладно. А поздравлять не с чем и не от кого. Разве что от своего имени — то есть с “ничем” и от “никого”, ибо кто вы?

Он не разрешал себе попусту обижаться. Он взял меня под руку. В городе было мрачно и холодно, как осенью. Ободренные бурей деревья уныло покачивали голыми ветвями. Готлиб восторженно сообщил:

— Открыли валютный универсам. Товаров — ужас! Невероятные богатства хитрюга Маруцзян таил на своих складах. Идем смотреть, как реализуются запасы. Пока только для рабочих оборонных заводов за сверхплановую продукцию. К сожалению, нам с вами эти богатства недоступны. — Он вздохнул: членам правительства новая валюта не выдавалась.

— Скоро выпустишь золото и латы?

— Уже переливаем слитки в монеты, печатаем банкноты.

На Готлиба Бара замыкалась промышленность, торговля и финансы. “Ведаю двадцатью четырьмя министерствами”, — хвастался он. К удивлению — и не только моему — этот любитель искусства быстро освоил свои нынешние функции.

Универсам состоял из двух отделов. В первом, темноватом зальце, отоваривались карточки. Здесь было мало товаров — хлеб, крупа, дешевые консервы — и много покупателей, сбившихся в извилистую очередь. Во втором помещении — два хорошо освещенных зала — с полок выпячивались давно забытые снеди — копченые колбасы, сыры, масло, икра, балыки, мед, мороженое мясо, мука и сахар, птица и плоды — и тысячи, тысячи банок консервов. У каждого разумного человека невольно возникала мысль: какого черта запасались деликатесами? Сало, мясо и сухари в армии куда нужней, чем икра и балыки!

Посетителей в валютных залах было еще больше, чем в пайковом. Но ни к одному прилавку не выстраивались очереди. Я спросил пожилого рабочего, зачем он пришел сюда — покупать или смотреть? Он показал справку, что наработал сверх нормы на сорок латов — бумажка, достаточная для закупки полной сумки продовольствия.

— Погожу до выдачи золота, — сказал он. — Еда — что? Прожевал — и кончено! А золото пригодится и после войны. Кое-что истрачу. Жену порадую. Да и внук — орел! Без подарка не приду.

Другой посетитель огрызнулся:

— Купил, купил! Чего спрашиваешь? Жрать хочется, а не бумажки елозить! Все истратил, а еще наработаю, еще истрачу!

Он сердито глядел на купленные пакетики с продовольствием — похоже, втайне страдал, что пришлось расставаться с драгоценной справкой о перевыполнении нормы, не дождавшись часа, когда станет возможно превратить ее в золото. Все было, как предсказывал Гамов.

— Палка о двух концах, Готлиб, — сказал я. — Один конец — пряник, а другой — кнут. Вы мне показали все роскошества пряника, теперь я...

— Продемонстрируешь кнут?

Мы свернули с проспекта в переулочек. Я подвел Бара к трехэтажному дому. На вбитом в стену металлическом кронштейне висел мужчина лет сорока пяти, в парадном мундире подполковника, увешанном орденами. Бескровное усатое лицо, даже опухшее от удушья, хранило печать недавней красоты. Это был Жан Карманюк, начальник районной полиции, многократно награжденный прошлым правительством за усердие, примерный семьянин и общественник, отец трех мальчиков. На дощечке, висевшей на правой ноге повешенного, кратко перечислялись его преступления: брал взятки с грабителей, в покаянном листе признался лишь в незначительных провинах, а после повторного утверждения в должности за крупную мзду инсценировал побег двух бандитов. Родители и жена Карманюка высланы на север, имущество конфисковано, дети отданы в военную школу.

— Не кнут, а дубина! — сказал Бар. — Кто определил кару? Суд?

— У нас Священный Террор! Приговор выносят чиновники Гонсалеса. Кстати, в этом случае он сам его подписал — все-таки первая виселица для важного труженика полиции. Повеси-

ли со всеми орденами — показать, что прежние награды не оправдывают новой вины.

— Без суда? Без апелляции? Без протеста?

— Почему без протеста? Министр Милосердия, наш общий друг Николай Пустовойт, протестовал. Указывал на награды подполковника, на его невинных детей, им теперь, ох, несладко... Но высшая инстанция утвердила приговор.

— Кто эта высшая инстанция? Что-то не слыхал о такой.

— Высшая инстанция — я, Готлиб.

Бар долго смотрел на меня.

— Вы очень переменились, Андрей, — сказал он.

— Все мы меняемся, — ответил я.

Оставшуюся до дворца дорогу он промолчал.

Я тоже молчал, но про себя усмехался. Не радостно, а печально. Готлиб Бар, увлеченный организацией промышленности и торговли, выпуском новых денег, еще не полностью прочувствовал, какую ответственность поднял на свои плечи. Она еще не придавила его. А мои плечи уже сгибались. Я мог бы сказать Бару, что трижды брал перо в руки и трижды бросал его на стол, не подписывая казни отца троих детей. И мог бы сказать, что один из бежавших бандитов — брат его жены и что сам Карманюк его изловил, но потом поддался на мольбы жены. И еще мог бы добавить, что от одного наказания все же избавил подполковника — утопления в нечистотах, именно такой казни требовал Гонсалес. И не сказал этого потому, что знал о себе: возникнет еще такой случай — и перо в моих руках уже не задрожит. Страну до зимы нужно очистить от зверья, так пообещал диктатор — и вручил нам в руки кнут. А если уж бить, так бить! Все же я был заместителем Гамова.

Артур Маруцзян заседал обычно в роскошном зале, вмещавшем больше сотни людей. К залу примыкал полуциркульный кабинет человек на двадцать. Гамов выбрал для заседаний Ядра это помещение. Только в дни, когда вызывались все министры и эксперты, мы переходили в большой зал. Полуциркульный кабинет, вскоре ставший всемирно знаменитым, представлял собой удлиненное помещение, завершавшееся полуокружностью с убогими пилястрами по стенам.

В кабинете сидели двое — Николай Пустовойт и Пимен Георгиу, тощий человечек с басом не по росту и носиком, напоминавшим крысиный хвостик, — он при разговоре пошевеливался. Вообще в его облике было что-то крысиное. Мне он не нравил-

ся: активный недавно максималист, из приближенных к Маруцзяну, он первый переметнулся к нам. Пимена Георгиу проектировали в редакторы новой правительственной газеты “Вестник Террора и Милосердия”.

— Диктатор заперся с оптиматом Константином Фагустой, — сообщил Пустовойт, для важности понизив голос. — Секретнейшая беседа!

Добряк Николай Пустовойт раньше всех нас вошел в свою роль. Недавний бухгалтер, оперировавший цифрами, он действовал сейчас преимущественно в мире эмоций, но при нужде умело подкреплял бурю огненных чувств ледяными арифметическими расчетами. На первом заседании Ядра Гонсалес потребовал выселения из городов в лагеря всех когда-либо сидевших в тюрьмах. Пустовойт возмутился, уродливое лицо стало страшным, тонкий голос дошел до визга, он взметнулся мощным нескладным телом над изящным красавцем Гонсалесом, но того не поколебали негодующие призывы к милосердию. Тогда Пустовойт сделал в блокноте быстрые подсчеты и объявил, что прилив рабочей силы в лагеря, конечно, облегчит производимые там грубые работы. Но для охраны лагерей придется либо снять с фронта около десяти дивизий, либо закрыть два десятка заводов, либо прекратить эффективную борьбу с внутренним бандитизмом. Гонсалес был сражен наповал.

Гамов вскоре закончил свою беседу с лидером оптиматов. Я забыл сказать, что к полуциркульному залу примыкало еще несколько комнат: личное помещение диктатора. В нем Гамов и жил, и принимал одного-двух для особых бесед. Одна из комнат этого помещения прослыла “исповедальной” — по характеру совершавшихся там разговоров.

Из “исповедальни” вышел взъерошенный Константин Фагуста, а за ним Гамов. О Фагусте должен поговорить подробнее, в финале блистательной карьеры Гамова этот человек определял, жить ли диктатору или бесславно погибнуть. И хоть замечая о себе, что начинаю рассказы о людях, окружавших Гамова, с описания их внешности, должен и о Фагусте придерживаться такого трафарета. Удивительно, но все эти люди, кроме самого Гамова да, пожалуй, меня, резко выделялись незаурядным обликом, а Фагуста — всех больше. Он был массивен, как Пустовойт, ангелоликостью вряд ли уступал Гонсалесу, а на умеренных габаритов голове нес аистинное гнездо, из волос, разумеется, а не из прутьев. И волосы не лежали на голове, а возвышались

над ней, и не просто возвышались, а шевелились, то вздыбливались, то опадали. Казалось, они живут своей самостоятельной жизнью. К тому же они были неправдоподобно черные. Вообще все в Константине Фагусте было черно: и глаза, и темной кожи лицо, и даже костюмы — он ходил в вечном трауре, более приличествовавшем пророку гибели Аркадию Гонсалесу, чем лидеру оптиматов. Гонсалес, между прочим, носил и рубашку светло-салатную, и костюмы зеленоватые или синеватые — в полном противоречии со своей новой должностью.

Как-то после спора, когда аистинное гнездо на голове Фагусты особенно вздыбилось, я поинтересовался, не носит ли он в кармане батареек, производящих в нужный момент электростатическое распушивание волос. Он ответил, что электробатарейки у него есть, но они вмонтированы в сердце и заряжены потенциалом возмущения от наших глупостей. Пришлось примириться с таким не совсем научным ответом.

Фагуста пошел к свободному стулу, но увидел, что рядом Пимен Георгиу, и повернул на противоположную сторону. Оба эти человека, оптимат Фагуста и максималист Георгиу, люто враждовали. Готлиб Бар острил: “Они друг другу — враги. И ненависть их сильнее, чем любовь, они живут этой ненавистью. И если один умрет, то и второй зачахнет, ибо исчезнет ненависть, движущий мотор их жизни”.

— Информировать о нашей договоренности с господином Фагустой, — заговорил Гамов. — Он пожелал издавать газету “Трибуна”, в свое время запрещенную Маруцзяном. И пообещал, что если я разрешу его газету, то быстро раскаюсь, ибо она не поскупится на жестокую критику нового правительства. Я ответил, что любая критика ошибок полезна, и поинтересовался, а будет ли “Трибуна” одновременно с критикой ошибок восхвалять наши успехи. Он ответил, что для прославления успехов хватит “Вестника Террора и Милосердия”, возглавляемого его заклятым другом — именно такое выражение употребил господин Фагуста, — уважаемым максималистом Пименом Георгиу. Печатать “Трибуну” я разрешил. У вас есть вопросы, Фагуста?

— Список вопросов к новому правительству я представляю отдельно, — Фагуста свирепо взметнул гнездо волос.

— Представляйте. Какие у вас вопросы, господин Георгиу?

Пимен Георгиу поспешно встал, и поклонился сразу нам всем, и пошевелил кончиком тоненького, как хвостик, носа.

— Диктатор, список вопросов я уже вручил министру информации.

— В таком случае оба редактора свободны.

Пимен Георгиу был ближе к двери и подошел к ней первый. Но монументальный Фагуста нагнал его и оттолкнул плечом. Георгиу все же устоял на ногах, но помедлил, чтобы снова не столкнуться с бесцеремонным оптиматом. Мы проводили их уход смехом. Даже чопорный Вудворт изобразил на своем аскетическом лице символическую улыбку.

— Начинаем заседание правительства, — сказал Гамов. — Будем решать вопрос о создании двух новых международных организаций, одну предлагаю назвать “Акционерной компанией Черного суда”, вторую соответственно “Акционерной компанией Белого суда”.

Гамов явно наслаждался замешательством, которое угадывал у нас. И прежде, чем мы осыпали его вопросами, он спокойно продолжал: — Дам все разъяснения, но прежде наведу справку. Бар, может ли банк предоставить правительству сумму в десять миллиардов лат на особые нужды?

Готлиб Бар поднялся. Он один говорил стоя.

— Я бы сформулировал ваш вопрос по-иному. Может ли банк выделить из резервов одну тысячу чудов золота? Так вот — золото есть. Также имеется иностранная валюта — кортезианские диданы, юлани Лепиня, доны Кондука. В общем, валюты для операций, о которых вы меня известили, хватит.

— Отлично. Разъясняю суть новых акционерных компаний.

Мы создали два новых социальных института, — напомнил Гамов, — министерство Террора и министерство Милосердия. Террор должен ликвидировать массовую преступность в стране, сделать подлость убыточной и позорной. Милосердие призвано смягчить излишества террора, восстановить справедливость. Ибо борьба с преступностью ведется методами столь жестокими, что когда-нибудь и их назовут преступными. Даже успех в террористическом истреблении преступлений есть и останется горем народа.

Но преступления внутри страны ничтожно малы перед международными преступлениями, — продолжал Гамов. — Главное международное преступление — война. Но преступники не те, кто на фронте кидается с оружием один на другого, хоть они тоже не ангелы. Преступники те, кто организует, кто восславляет и финансирует войну. И с ними по высокой справедливости

нужно поступать тысячекратно более жестоко, чем с бандитом, вышедшим на разбой. Ибо зло от организатора и певца войны неизмеримо больше. Но бандитов сажают в тюрьмы, вешают, расстреливают. А короли, императоры, президенты, премьер-министры, командующие армиями, журналисты, ораторы в парламентах? Разве их наказывают? Они порождают войны, но зарабатывают славу, а не кары. Даже если война завершилась поражением, творец ее, король или президент, лидер партии или журналист, мирно удаляется на покой и пишет мемуары, где поносит противников и восхваляет себя. Величайшие преступники перед человечеством удостоиваются почтения! За то, что убивали детей и женщин, богатство и честь — вдумайтесь в эту чудовищную несправедливость! Кончать с этим! Беспощадно кончать! Тысячекратное утопление в нечистотах за убийство одного ребенка, за одну искалеченную женщину!

С Гамовым произошло одно из тех преобразований, которые вначале так поражали меня. Он впал в исступление. Он побледнел, глаза расширились и сверкали. Впрочем, он быстро успокоился. Он умел брать себя в руки. Что до меня, то железное спокойствие Гамова всегда виделось мне более страшным, чем взрывы ярости.

— Самый простой выход — объявить все роды деятельности, способные вызвать войны, в принципе преступными, — уже спокойней говорил Гамов. — Но мы не анархисты. Без аппарата власти, без талантливых политиков, писателей, ученых общество либо захиреет, либо распадется — результат еще хуже, чем война. Но почему не объявить важные государственные посты подозрительными по преступности? Почему не предупредить короля и журналиста, министра и промышленника, что у них потенциальная возможность преступления перед человечеством и что они должны остерегаться превращения потенции в реальность? И почему ему заранее не указать, что дорожка, которая доныне вела к славе и почестям, теперь поведет к виселице и яме с нечистотами? Вот для чего нужен Черный суд. Он будет предупреждать людей об их ответственности перед человечеством и заранее указывать кары, если люди обратят свои возможности во зло.

— Но этого мало — только предупреждать о карах, — говорил далее Гамов. — Черный суд станет исполнительным органом Священного Террора. Богиня правосудия изображается с весами в руках, на них взвешивается вина человека, и с повяз-

кой на глазах. Мы сорвем с глаз богини повязку. Она станет зрячей. Она будет пристально всматриваться в каждого заподозренного и, только убедившись в реальности вины, взвесит ее тяжесть и объявит кару. А также и плату тем, кто выполнит эту кару. Мы выдавали денежные награды солдатам за их героизм. Пора перенести этот способ войны и в международную жизнь. Преступник, осужденный Черным судом, часто вне досягаемости нашей полиции. Но всегда найдутся исполнители наказания, если им крупно заплатить. Вудворт, вы кортез, вы знаете психологию народа, исповедующего принцип “каждый за себя, один бог за всех”. Скажите, найдем ли мы в этой стране исполнителей приговоров Черного суда, если пообещаем огромную награду в золоте или диданах?

Я уже упоминал, что мы не поднимались со своих стульев, отвечая или докладывая. Единственным исключением был Готлиб Бар. А надменный Вудворт даже не поворачивался к тому, с кем разговаривал. Он каменно восседал, подняв голову и глядя прямо перед собой, то есть на Гамова, он выбрал себе место против диктатора. Но сейчас он встал — и это подчеркивало значительность его ответа. И на желтоватых щеках аскетического лица появилась краска. Если бы слово “вдохновение” не противоречило природе этого человека, я сказал бы, что его охватило вдохновение. Впрочем, один раз я уже видел его в таком необычном состоянии — в вагоне литерного поезда, когда он предложил нам захватить власть в стране.

А говорил он о том, что в Кортезии чистоган — всеобщая мера. Любовь и еда, красота и власть, богатство и слава — все это разные понятия, но все они могут быть выражены в деньгах как универсальном мериле. Такой-то стоит миллион диданов — и это характеристика не только его богатства, но и силы его ума, его жизненной энергии. И хоть не говорят, что вот эта девушка любит своего парня с силой в сто тысяч диданов, но если бы кто и сказал так, то вряд ли это вызвало бы возмущение. Найти за крупную плату исполнителей приговоров Черного суда не будет трудной задачей. Но как исполнитель кары сумеет доказать, что именно он, а не другой выполнил приговор и как он получит награду?

— На это нам ответит министр разведки.

Прищепка доложил, что в Кортезии у него свои люди, что он организует туда тайную доставку золота .

— Два вопроса, Гамов, — сказал я. — Об ответе на первый уже сам догадываюсь. Из запрошенного золота вы выделите Черному суду половину. Стало быть, вторая половина — Белому суду?

— Да, именно так, — подтвердил Гамов. — Не только террор против преступников — еще больше в финансовой поддержке нуждается милосердие. Слова о справедливости останутся только словами, если пуста рука помощи, протянутая страдающим и униженным. Милосердие полновластней террора. Без милосердия сам террор превратится в организованное преступление. И когда возникнет борьба между карающей и милующей руками, предпочтение должно получить милосердие.

Я не удержался от иронии:

— Недавно я сам разбирал спор между милосердием и террором. Говорю о казни Карманюка. И решил его в пользу террора. Боюсь, такого рода решения будут происходить чаще.

Гамов молча развел руками. Он мыслил широкими категориями — случайности обыденщины не всегда подтверждали общие концепции, и тогда он на мгновение терялся.

— Второй вопрос. Какую дьявольщину, Гамов, вы вкладываете в понятие акционерности? Разве карать и миловать военных преступников мы будем на паях с кем-то? Да еще на денежных?

— Справедливость — понятие общечеловеческое, а не привилегия одного какого-либо государства, — ответил Гамов. — Нельзя исключить, что сегодняшние наши враги потребуют наказания военных преступников, которых найдут у нас. И вот для обеспечения равноправия мы и предложим единые органы кары и милосердия. Финансовые их базы равноправно обеспечивают обе стороны. Мы свой вклад вносим.

— Фантастика! Неужели вы думаете, что кортезы пожертвуют своими деньгами, чтобы судить своих сограждан?

— И наших, Семипалов! Звучит пока маловероятно... Но уверен — потом ситуация переменится.

Обычно Гамов высказывал свои решения точно и недвусмысленно. Но идея превратить Черный и Белый суды в разновидность международных акционерных обществ была просто невероятна. Я мог бы многое возразить, но не стал. Будущее покажет, что и Гамов ошибается, сказал я себе.

Гамов попросил задержаться меня, Пеано, Вудворта и Прищепу, остальных отпустил.

— Вы хотели нам что-то сообщить? — обратился он к Прищепе.

— Вы хорошо знаете своих сотрудников? — спросил Прищепу Вудворта.

— Не всех. В министерстве внешних сношений сотрудников больше тысячи. Я не собираюсь каждого узнавать.

— Я спрашиваю о гласном эксперте по южным соседям Жане Войтюке.

— Войтюка знаю. Знаток своего дела.

— У меня подозрения, что он шпионит в пользу Кортезии.

— Подозрения или доказательства?

— Пока только подозрения.

Павел сказал, что Войтюк один из первых подал покаянный лист. Многие еще не решаются принести повинные, и это задерживает конструирование нового государственного аппарата. Он же сразу признался во взятках и незаконном использовании служебного положения, даже в том, что обманом спихнул своего предшественника. Набор немалых грехов. Честное признание и высокая квалификация Войтюка позволили сохранить за ним должность. Но об одной своей провине Войтюк умолчал, хотя она на первый взгляд столь мала, что можно было не таить ее. Войтюк близок с послом Кнурки Девятого Ширбаем Шаром.

— Я тоже знаком с Ширбаем Шаром, — сказал Пеано, ослепительно улыбаясь. — Очаровательный человек, умница, образован. Эксперту по южным странам необходимо общаться с послами этих стран.

— Я еще не все сказал, Пеано. Ширбай Шар в своем королевстве — платный осведомитель Кортезии.

В улыбке Пеано появилось пренебрежение. Племянник многолетнего правителя страны полагал, что лучше разбирается в международных делах, чем недавно приступивший к этому делу Павел.

— А что он мог выдавать Кортезии? Количество базаров и цены на них? Все остальное в Торбаше малозначительно. Кнурку Девятого невозможно ни предать, ни продать. Считаю ваши подозрения недоказанными.

— Вы торопитесь, Пеано. Жена Войтюка, очень красивая женщина, часто надевала на придворных балах изумрудное кольцо. Вот снимок этого редкого произведения искусства. —

Прищепу положил на стол Гамова цветную фотографию. — А теперь посмотрите каталог знаменитых украшений. Точно такое

же кольцо, но надпись “Реликвия семейства Шаров в Торбаше”. Ширбай Шар подарил Войтюку семейную драгоценность — и, очевидно, в благодарность за большие услуги.

— А не подделка ли драгоценность Войтюка?

— Камни настоящие. Я постарался узнать, осталось ли такое кольцо в доме Шара. Мне сегодня доложили, что в коллекции Шаров его больше нет. Но Ширбай Шар о пропаже драгоценности полицию не извещал — значит, изъясил кольцо сам.

Теперь в глазах Прищепы светилось не пренебрежение, а удивление. Я не стал рассматривать снимки. Меня никогда не интересовали драгоценности.

— Убедительно, — сказал Пеано. — Арестовать Войтюка! Нет, какой мерзавец! Усыпил нашу бдительность покаянным листом — и думает, отделался!

— Не согласен, — сказал Гамов. — Угаданного шпиона нужно не арестовывать, а пестовать. Его можно использовать для дезинформации противника. Вы молчите, Семипалов?

— Я не убежден, что Войтюк шпион. Может быть, кольцо подарено за интимные, а не за политические услуги? Наши южные соседи ценят женскую красоту. Не откупился ли семейной реликвией неудачливый дипломат от мести мужа? В этом случае вносить появление драгоценности в покаянный лист не обязательно.

— Итак, есть подозрение, что Войтюк шпион, а доказательств нет, — сказал Гамов. — Предлагаю подкинуть Войтюку важные секреты и проверить, дойдут ли они до противника. Пеано, нет ли у вас секретов, которыми вы могли бы пожертвовать без большого ущерба для нас?

Пеано задумался.

— Мы готовим большое наступление на южном участке Западного фронта. Оно должно вывести нас в потерянные районы Ламарии и Патины. Но почему не скамуфлировать удар на севере? Если Войтюк шпион, он передаст этот важный секрет врагу и кортезы с родерами поспешат оказать противодействие нашему северному удару. Сразу две выгоды: ослабим противодействие врага на юге, где развернется наше наступление, и установим, что Войтюк точно шпион и это можно использовать в дальнейшем.

— Ваше мнение, Семипалов?

Я помедлил с ответом. Пеано был хорошим стратегом, но разрабатывал свои планы за столом, вел солдат в сражение не

он. Войтюк не стоил того, чтобы ради раскрытия его тайной роли, если она и была, подвергать северную армию большой опасности.

— Я против. И вот почему. Если враг испугается отвлекающего удара с севера и подготовит мощный отпор, он сможет сам перейти в наступление. Что мы противопоставим ему тогда? Под угрозу попадет Забон.

Пеано заколебался. Он до сих пор разрабатывал свои оперативные планы по моим указаниям. И ныне еще не чувствовал полной самостоятельности. Но Гамов заупрямился. Прищепка уверял, что своевременно узнает, готовится ли противник к большому отпору на севере, и тогда мы укрепим дополнительно оборону Забона. Но у меня на душе скребли кошки. И родеры, и кортезы были слишком умными противниками, чтобы легко поддаться на примитивный обман.

— Дело за вами, Вудворт, — подвел Гамов итоги спора. — Соблаговолите как-нибудь проинформировать Войтюка, что мы готовим большое наступление на севере, и узнаем, станет ли это известно противнику.

— Сделаю, — сказал Вудворт.

Гамов предложил мне остаться, остальных отпустил.

— Семипалов, — сказал Гамов, когда все ушли, — у меня к вам личная просьба, обещайте не отказывать.

— Сперва выслушаю, что за просьба.

— Хочу, чтобы ваша жена вошла в правительство.

— Елена фармацевт. Разве фармацевтика разновидность политики?

— У нас нст женщин в правитсльстве. Она могла бы стать заместителем Бара. У него хватает забот с мужчинами, а женщин в тылу все же две трети населения.

— Гамов, не виляйте хвостом! Вы спрашивали меня еще до захвата власти, не ревнив ли я. И помните, что я ответил.

— А я сказал, что ваша ревность меня устраивает. Так выполните мою просьбу?

— Карты на стол, Гамов! Вы не все договариваете.

— Я раскрою все свои карты, когда докажут, что Войтюк шпион. Даже малейших секретов между нами не будет. И у вас не будет причин гневаться на меня, обещаю. Но Елена должна появиться на заседаниях правительства еще до разоблачения Войтюка.

Однако я понимал ясно, вспоминая прежние разговоры, показавшиеся мне странными уже и тогда: дело было не в Войтюке. Гамов давно задумал какой-то план, Войтук лишь повод дольше не откладывать осуществление плана.

Я сказал:

— Буду ждать разоблачения Войтюка и последующего разъяснения. Елена завтра же появится в роли заместителя Готлиба Бара.

4

Появление первых номеров двух газет: “Вестника Террора” и “Трибуны” — стало сенсацией. И крысолицый максималист Пимен Георгиу, и монументальный оптимат Константин Фагуста с аистинным гнездом на голове — оба показали, что заняли свои редакторские кресла по призыву натуры, а не по номенклатурной росписи. “Вестник” устрашал — истинный глашатай Террора. “Трибуна” требовала свободомыслия и критики правительства. И обе газеты печатались в одной и той же типографии! Я растерялся, когда на мой стол положили оба листка. Если бы “Трибуна” тайком ввозилась из вражеских стран, ее появление было бы понятней. Но она печаталась по указанию Гамова, он объявил, что достиг с Фагустой согласия — мне такое согласие показалось чудовищным.

— Вы читали “Трибуну”? — позвонил я Гамову.

— Обе газеты читал. Великолепно, правда?

— Не великолепиие, а безобразие. Говорю о “Трибуне”.

— Статья Фагусты — квинтэссенция программы нашей оппозиции! Перечитайте ее внимательно.

Я не понял восторгов Гамова. Мне было непонятно, как совмещать террор с официальной оппозицией правительству. Была прямая несовместимость в понятиях “террор” и “свободомыслие”.

Первую полосу “Вестника” отвели рассказу о создании Акционерных компаний Черного суда и Белого суда, призванных: первая — жестоко расправляться с каждым, повинным в организации и пропаганде войны, и вторая — отыскивать милосердие для виновных и в защиту безвинных. Латания вносит в каждую компанию по пяти миллиардов лат в золоте и призывает все страны, в том числе и те, с какими воюет, стать пайщиками обеих компаний.

Вторая полоса открывалась большой статьей председателя компании Черного суда Аркадия Гонсалеса под названием “Высшую справедливость оснастить чугунными кулаками”. Гонсалес повторял идеи Гамова. Этот херувимообразный красавец, Аркадий Гонсалес, не был способен к изобретению новых методов и открытию неизвестных истин. Он был превосходным исполнителем — грозным исполнителем, как вскоре выяснилось — государственных концепций Гамова, но не более того.

Статья складывалась из трех разделов: “Вызовы на Черный суд”, “Предупреждения Черного суда”, “Приговоры Черного суда”.

Вызывались на Черный суд руководители всех стран, с которыми мы воевали: список на сто фамилий. И начинал его, естественно, Амин Аментола, президент Кортезии, а завершал Эдуард Конвейзер, богатейший банкир мира, заправила военной корпорации. После таких знаменитых имен уже не могло удивить, что в списке — первом списке, деловито уточняла газета — значатся министры Кортезии и Родера, командующие их армиями, владельцы военных заводов. Вызываемых ставили в известность, что заседания Черного суда происходят в Адане, столице Латании, и что никакие причины неявки, кроме смерти вызванного, в оправдание не принимаются.

Я не посмеивался, конечно, но не был уверен, что другие читатели не расхохочутся. Фантастически невероятным было требование, чтобы обвиняемые добровольно явились на суд в нашу столицу.

В разделе “Предупреждения Черного суда” было немного имен реальных людей и много рассуждений. Журналистам и священнослужителям напоминалось об их великой ответственности перед человечеством. И всем им грозили великими карами, если они не поймут лежащей на их плечах опасной ответственности. Лишь десяток фамилий оживляли этот, в общем, мало конкретный раздел: четверо журналистов, особо ратовавших за войну, два епископа, произносивших воинственные проповеди, и несколько промышленников.

Зато невыразительность второго раздела многократно перекрывалась “Приговорами Черного суда”. Восемьдесят четыре военных преступника заочно приговаривались к смертной казни: тридцать восемь летчиков, сбросивших бомбы на мирные города, с десятков офицеров-карателей, три священника, благословляющих авиабомбы, комендант и солдаты лагеря военно-

пленных, лично расстреливавшие тех, кто им не нравился. Можно было поражаться, как Гонсалес за короткий срок сумел обнаружить столько военных преступников. Я догадывался, что тут не обошлось без помощи моего друга Павла Прищепы, недавно скромного инженера в моей лаборатории, а ныне энергичного организатора государственной разведки.

Нового в перечислении фамилий военных преступников, конечно, не было. Все воюющие страны составляют такие списки. Новое было в том, что Гонсалес предлагал любому человеку выполнить смертные приговоры и получить за это плату в золоте, латах или диданах. Размер гонорара ошеломлял. Самая маленькая награда, сто тысяч лат — сумма, которую средний рабочий мог заработать лишь за сотню лет, — обещалась за казнь малозначительных преступников, вроде полицейских и карателей. Уже казнь летчика оценивалась в триста тысяч лат, а за коменданта лагеря Гонсалес назначил полмиллиона лат — состояние даже в такой богатой стране, как Кортесия. Одновременно Гонсалес предупреждал, что только казнь приговоренных Черным судом оплачивается, ибо только она одна — законна. Любое убийство любого человека, пока на то нет приговора, — бандитизм, а не Священный Террор.

А после извещений Черного суда “Вестник” публиковал обращение Белого суда ко всем народам мира, подписанное Николаем Пустовойтом. Наш министр Милосердия извещал, что его ведомство принимает апелляции на любые приговоры Черного суда и обладает правом приостанавливать их исполнение. Правда, на очень краткий срок, многомесячные затяжки обычного судопроизводства заранее отвергаются. Пословица “Бог правду видит, но нескоро скажет” для нас неприемлема, мы за скорую справедливость. Обращайтесь немедленно к нам, если считаете приговор Черного суда несправедливым. Еще Пустовойт сообщал, что при Белом суде создана коллегия адвокатов, оценивающая на справедливость любое решение Черного суда — никто не останется без защиты. А если привлекаемый к суду — гражданин той страны, которая стала акционером Белого суда, то этот человек может выставить и своего адвоката для апелляции в Белый суд. Вот такой был первый номер “Вестника Террора и Милосердия” — террора, во всяком случае, в нем было больше, чем милосердия.

“Трибуну” открывала статья Константина Фагусты “На службе высшей справедливости — палачи!” Много мне прихо-

дилось читать статей, спокойных и патетических, гневных и ликующих, обвиняющих и восславляющих, но такой я еще не видел. О Фагусте знали, что он талантливый журналист, что перо его ядовито, недаром Артур Маруцзян не только ненавидел его, но и побаивался. “Неистовый Константин!” — называли его друзья, как, впрочем, и враги, опасавшиеся его едких оценок. А сейчас Фагуста всей силой своего писательского дара выполнял возведенную угрозу: “Вы раскаетесь, что разрешили мне печатать газету!”

Он начинал с того, что обрадовался свержению своего старого врага Артура Маруцзяна. Любое новое правительство будет лучше этих бездарей, так он твердо считал. Он слышал о военных талантах нового главы правительства, и, хоть его смущала реклама самому себе в каждой передаче по стерео полковника Гамова, все же, думал он, во время войны лучше талантливый солдафон, чем маршал Комлин, солдафон бесталанный. И поэтому он искренно принял странное правительство Гамова. Странное — потому что возникло оно неожиданно и повело себя непохоже на то, как должны себя вести нормальные правительства. Поживем — увидим, уговаривал он себя — и не отвергал лояльности к новой власти.

Теперь он будет говорить — как поживший и посмотревший. Гамов провозгласил, что правление его будет неклассическим — по-видимому, его любимое определение. И начал с того, что называл себя вполне классическим диктатором, то есть властелином выше закона. И замахнулся на тысячелетние обычаи: ввел денежные награды за военные успехи солдат и офицеров. Он оплачивал случайно доставшимися ему деньгами не только захват чужого оружия, но и убийство врага, но и полученные в бою раны, даже — страшно сказать — за собственную гибель ты получал денежную награду, не ты сам, разумеется, а кого называл своими наследниками. А сейчас этот необычный способ Гамов превращает в военную каждодневность. За любой “акт героизма” солдатам и офицерам будут выплачивать крупную сумму — и не в старой малоценной валюте, а в золоте. Вдумайтесь, я требую, в чудовищную аморальность решений нового правительства! Ведь оно превращает войну из арены, где испытывается верность солдата отчизне, его мужество, его готовность грудью защищать своих детей и близких, в какое-то доходное частное предприятие! Война — великое преступление перед человечеством, а теперь из этого преступления каждый, в

нем участвующий, сможет извлекать личную наживу. Убил врага — получай монету! Тебя ранили — тоже неплохо, распишись в деньгах за рану. А убили тебя — твоя семья порадует, неплохой профит! Смерть воина всегда приносила горе, это было благородное чувство — скорбь от потери родного человека. А теперь к горю от гибели примешивается и довольство от награды за его смерть. Какое кощунство! Какое немыслимое кощунство!

Но и такого нарушения священных обычаев войны новому правительству мало. Оно изобретает еще один неклассический метод борьбы. Оно заочно, из своего дворца в столице, будет судить тех, кого объявит военными преступниками. Нет, мы не за то, чтобы преступники избежали наказания. Кто совершил преступление, тот понесет и кару за него. Такова высшая справедливость! Но можно ли точно определить вину человека, не спросив его самого, почему он делал то, что сделал? Черный суд вызывает обвиняемых к себе, но ведь это смехотворно! Ни один обвиненный не отправится в страну, с которой воюет его государство, лишь для того, чтобы его там казнили. А если, свихнувшись с ума, и пойдет в такое губительное путешествие, то как он сможет его совершить? Тайком проберется через линию сражений?

Но и это не все! Кому поручается выполнение приговоров? Любому, вдумайтесь в это! Диктатор приглашает весь народ попрактиковаться в палачестве, вот его замысел. Он заражает бациллами бандитизма общество — пусть даже воюющее сегодня с нами, но человеческое же общество! Он превращает целые народы в тесто, вспухающее от дрожжей ненависти и взаимного истребления. И после этого говорить о высшей справедливости! Но где гарантии, что в волчьей охоте за обвиненным заочно погибнет только он сам, что одновременно с ним не погибнут защитники, посторонние люди, случайно оказавшиеся при зверской расправе? Да, господин Гонсалес предупреждает, что не оплатит убийство лиц, предварительно не осужденных Черным судом. Но разве такое предупреждение предохраняет от случайных и попутных убийств? Какое же лицемерие — приводить в исполнение свои приговоры, подвергая смертельной опасности тысячи невинных людей! Использовать для этого кровавые руки профессиональных бандитов! Ведь на призыв обогатиться ценой выстрела в спину “осужденного” откликнутся прежде всего, охотней всего, усердней всего преступники. Они и рань-

ше не гнушались убийствами, но какие то были убийства? Очистить карманы, снять кольца и часы — добыча не оправдывала удара ножом, а ведь удары наносились. А теперь за тот же удар ножом — состояние! Голова кружится, так выгодна стала охота человека за человеком! Профессиональные бандиты — служители высшей справедливости!

Такова международная справедливость диктатора, негодовал Константин Фагуста. А какова справедливость внутренняя? Да не лучше! Можно еще допустить, что злодеи, нападающие ночами на стариков и женщин, заслуживают кар и потяжелее, чем заключение в тюрьмах, где их содержат в тепле и спокойствии. И даже унижительное утопление их главарей живыми в нечистотах можно принять — как меру, отвечающую суровым условиям войны. Но карать родителей преступников, наказывать их близких! На днях министерство Террора ликвидировало банду на окраине Адана. Главарь банды, в дневное время грузчик продовольственного магазина, за убийство женщины, ее мужа и двух детей приговорен к позорному утоплению. Стерео показало нам эту омерзительную сцену. Что ж, жестоко, но известная справедливость в неклассической казни была — диктатор недаром объявил, что будет властью не просто жестокой, но свирепой — свирепым защитником справедливости, так его следовало понимать. Но какая же справедливость в том, что на месте казни стоял понурый отец, а мать рвала на себе седые волосы, а потом упала без чувств, когда сын канул на дно отвратительной помойки? Или в том, что обоих стариков сразу после казни увезли на далекий север — на холод, на муки, на нищенское полуумирание? При казни присутствовала подруга бандита, молоденькая девушка, встречались всего неделю, она и не подозревала, что угощается на преступные деньги. И ее заставили глядеть на казнь, а после выслали тем же поездом на тот же север. “Я же только хотела потанцевать, я не знала, кто он! Я не брала у него денег!” — так она кричала. И я спрашиваю: неужели была самая маленькая справедливость в свирепой каре, которой подвергли девушку за желание потанцевать, вкусно поесть, сладко попить? А если это и вправду справедливость, то что же тогда называть ужасом и преступлением, издевательством и беспощадностью?

Фагуста заканчивал гневную статью грозным предупреждением:

“Мы живем в ужасное время, когда мир распался надвое и одна половина пошла на другую. На полях сражений гибнут

тысячи людей. С первым выстрелом из электроорудий обрушились вековые принципы справедливости. Но она существует, человеческая справедливость, даже временно отстраненная. Она возродится и объявит миру: казнями не породить добра, бесчестьем — благородства. И смертью смерть не поправить! И тогда мы призовем к ответу всех, кто творит сегодня во имя справедливости великую несправедливость. И они закроют лицо руками, ибо не найдут оправдания для себя. Верую, люди, верую!”

Я отложил “Трибуну” и позвонил Гамову.

— Прошу меня немедленно принять.

— По телефону нельзя, Семипалов?

— По телефону нельзя.

— Тогда проходите в маленький кабинет.

Я положил на стол Гамову обе газеты.

— Итак, вы перечли их внимательно? — сказал Гамов.

— Перечел — и очень внимательно.

— И ваше мнение о них сильно изменилось?

— Изменилось, Гамов!

— Вы хотите сказать...

— Да, именно это! Сгоряча я назвал “Трибуну” безобразием. Сейчас я считаю появление этой газеты вражеской диверсией. Я требую ареста Фагусты, пока он не подготовил второго номера.

— Не поняли. Ни вы не поняли, ни Гонсалес.

— Я не знаю мнения Гонсалеса.

— Такое же. Немедленный арест Фагусты — и предание Черному суду. Семипалов, вы так поднялись на Фагусту, потому что он лжет в своей статье? Придумывает факты, которых не было?

— Да нет же, нет! Он опытный софист, этот ваш новый любимец Фагуста! Фактами он оперирует реальными. Толкование фактов — вот что возмущает. Самый наш злейший враг не обрушивает на нас такую критику, какую применяет он, кому вы разрешили свободомыслие.

— Вы против свободомыслия, Семипалов?

— Гамов, разве я давал повод считать меня глупцом? Я за то свободомыслие, которое идет на пользу нашему с вами делу, а не за то, которое подрывает его основы. Террор и хаотическое свободомыслие — болтай-де чего влезет — абсолютно несовместимы.

Он на несколько секунд задумался.

— Семипалов, поставьте себе такой вопрос — в чем смысл террора? В том, чтобы жестоко наказывать преступников? Видеть весь смысл террора в свирепых карах могут одни дураки, а мы с вами умные люди, так вы сами сказали. Террор должен не только карать преступления, а страхом ужасающей кары предотвращать их. Террор в порождаемом ужасе перед преступлением, а не в количестве проливаемой крови. А ужас создается гласностью. Вспомните тюрьмы Маруцзяна. В них бандитов и вешали, и расстреливали. Но бандитов не убавлялось. Почему? Известия о расстрелах не публиковались, чтобы не расстраивать население, — и они теряли свое устрашающее значение. И мы согласились с вами, что смерть гораздо меньше пугает людей, чем позор перед смертью. Все мы сойдем в могилу, а вот захлебываться в нечистотах, да еще публично! Чуть мы начали этот метод террора, как резко снизились грабежи и убийства, разве не так?

— Но мы надеялись, что бандиты начнут выходить с повинной, а пока этого нет.

— Не подошло время. Зимой в стране не останется ни одной банды, уверен в этом. Но вернемся к Фагусте. Вам не нравится, что он расписывает ужасы террора. Но ведь это как раз то, в чем мы нуждаемся. Фагуста возбуждает в людях ужас, живописуя казни. И делает это с таким искусством, с такой моральной силой, что поражаешься... Если бы Константина Фагусты не существовало, его следовало бы выдумать. Но он уже существует, и это большая наша удача.

Я задал последний вопрос:

— Гамов, Фагуста показывал вам статью перед тем, как послать ее в печать?

Гамов ответил подчеркнуто спокойно:

— Нет, Фагуста не показывал мне этой статьи перед тем, как послал ее в печать.

Намеренное повторение моих слов было не случайно. Но я тогда этого не понял.

5

В Адан съезжались главы правительств наших союзников.

Конференции союзников происходили и раньше. Артур Маруцзян обожал торжественные совещания, велеречивые доклады и длинные, как простыни, газетные отчеты. Союзники, в свою очередь, с трибун грозно кляли Кортезию, обещали нам всемер-

ную поддержку в борьбе с заокеанской грабительницей, получали займы и подачки и разъезжались удовлетворенные и собственными речами, и публичными обедами.

Гамов решил разделаться с этой практикой.

Первым в Адан прилетел король Торбаша Кнурка Девятый. На аэродроме короля встречали Гамов, Вудворт и я.

Огромная машина — водолет на пятнадцать пассажиров и двух пилотов — тяжело опускалась на грунт. Струи охлажденного пара перестали бить из задних патрубков, из днища еще вырывались тормозные потоки, преодолевавшие земное притяжение. Водолет опускался на грунт весь в ледяном пару, как в облаке. Из открывшейся дверки проворно выбежал его величество король Кнурка Девятый.

Он именно выбежал, а не выбрался — маленький, вертлявый, тонконогий и тонкорукий, с лицом, так густо заросшим бурой щетиной, что издали выглядел обезьянкой, а не человеком. Впрочем, и вблизи его можно было спутать с обезьяной средней миловидности. Зато из волосатых щелей, именовавшихся глазами, в собеседника вперялись такие острые зрачки, два таких потока умного света, что невольно становилось не по себе. Его величество Кнурка Девятый, так разительно похожий на обезьяну, не глядел, а освещал людей своими фонариками-глазками: высвечивал, даже просвечивал насквозь. И среди важных вельмож, собравшихся в Адане, он единственный, вскоре стало ясно, не ошибся в характере Гамова, хотя в политических его целях не разобрался.

— Здравствуйте! Очень, очень здравствуйте! — заверещал его величество Кнурка Девятый, протягивая каждому из нас троих волосатую ручку.

Позади короля вышагивала свита, а центром в их вельможной стайке определился могучий верзила с толстощеким лицом — кровь с коньяком в каждой щеке — и выпяченными губами выпивохи и бабника.

— Ширбай Шар, — сказал мне Вудворт. — Посол Кнурки для особых поручений.

Гамов шагал впереди с юркой обезьянкой Кнуркой Девятым, мы компактно следовали позади. У самой роскошной нашей гостиницы “Поднебесная” — ее всю отвели прилетевшим гостям — я осторожно улизнул. Только Вудворт удивленно поглядел, когда я пробирался мимо него, да Ширбай скосил на меня

глаза. Как ни странно, но этот его быстрый взгляд сыграл некоторую роль в событиях, разыгравшихся впоследствии.

Первая дипломатическая встреча гостей показалась мне такой скучной, что я впредь отказался в них участвовать. Но Вудворт упросил меня прибыть на встречу еще одного союзника, мое отсутствие, объяснил он, может осложнить дипломатические переговоры, союзник — любитель этикета. К тому же обидчив. Он говорил о Лоне Чудине, президенте Великого Лепиня.

Впрочем, я не раскаялся, что пошел. Выход Лона Чудина на землю Латании напоминал спектакль. Сначала водолет мягко приземлился, ледяной пар медленно рассеивался. Дежурные покатали трап, но никто не вышел, пока не осталось и легкой дымки от посадочного тумана. А затем вдруг из водолета грянула музыка. Машина загремела как оглашенная, а когда грохот умолк, из водолета выбрались музыканты, выстроились по обе стороны трапа, взметнули трубы, ударили в барабаны, забили в тарелки — шумовой концерт повторился еще громче. И на трапе возник Лон Чудин. Он именно возник, а не просто появился. Он красовался над нами, неподвижный, как бронзовая статуя самого себя. Я не удержался от улыбки. Лону Чудину было рискованно возвышаться над зрителями, ибо при этом отчетливей видны несообразности фигуры, а их было чрезмерно много: бедра шире плеч, ноги короче рук, а два мешка массивных щек чуть ли не ложились на плечи. Между мощными щеками таился крохотный носик, топорщливая кнопочка с ноздрями вперед. Впрочем, чудовищное безобразие президента Великого Лепиня не отвращало, а скорее пугало. И он — умный все же человек — и не скрывал уродства, а выпирал его. Я вспомнил стихи знакомого поэта, тот, кстати, был скорее красивым, чем уродливым:

И верю я, что уж никто другой
Не затемнит моей звериной рожи.
Как хорошо, что я один такой,
Ни на кого на свете не похожий.

Лон Чудин был похож только на себя.

Он стоял, пока музыка не исчерпалась в последнем диком аккорде, потом стал величаво спускаться по трапу. Я не преувеличиваю — он не спускался. А спускал свое тело, как статую. И единственным отличием от статуи было лишь то, что у статуи и ноги неподвижны, а у Лона Чудина ноги двигались, перемещая неsgiбающеся туловище со ступеньки на ступеньку.

Гамов обменялся с ним рукопожатием. Вудворт поклонился Чудину, тот небрежно кивнул. Чтоб не нарваться на такой же оскорбительный кивок, я не двинулся с места, но Лон Чудин сам подал руку. Пальцы мои сжали мешочек теста, так была мягка рука властителя Великого Лепиня. Я шепнул Вудворту, когда Гамов увел гостя:

— Почему мне такое предпочтение перед вами, Вудворт?

— Вы заместитель Гамова, Лон остро ощущает различие рангов. Но сейчас я его так побешу, что он пожалеет о своей надменности.

И Вудворт приветливо улыбнулся одному вельможе из свиты Лона Чудина. Я упоминал, что на худом лице Вудворта все настроения выпечатывались с особой резкостью. Он обрадовался Киру Кируну — так звали вельможу, брата Лона Чудина — во всяком случае, пожелал, чтобы другие оценили их встречу как радость. Лон Чудин обернулся, маленькие глаза сузились, когда он увидел, что Вудворт чрезмерно долго трясет руку брата.

Я догнал Гамова и бесцеремонно прервал его разговор с Лоном Чудином:

— Могу считать свою дипломатическую миссию выполненной? Тогда разрешите отбыть.

Гамов быстро преобразовал мой некорректный поступок в государственную операцию.

— Разрешаю. Разрабатывайте дальше наши военные планы. Потом доложите решения. Нашего друга президента Великого Лепиня интересует все, что вы делаете.

— Да, очень интересует, — подтвердил Лон Чудин. У него и голос соответствовал внешности: не звучный, не хриплый, не низкий, не высокий, а толстоватый и жирный — вот таким он слышался мне.

Больше на встречи союзников я не ходил. Предстояли важные операции на фронте, я подготавливал отвоевание потерянных областей. Резервные склады в тылу опустошались, боевой потенциал армий быстро рос. И были отменены никого не обманывающие обманные названия “добровольных” полков и дивизий. Армия стала профессиональной и по названию.

Вудворт настоял, чтобы перед открытием конференции устроили торжественный общий ужин и бал в классических правилах дипломатии. Я пробовал возражать, но Гамов поддержал Вудворта. По-моему, он просто хотел разок посмотреть, что это за штука — торжественные ужины с вином и речами, а после

них — танцы. Единственным членом правительства, кому понравились и речи, и последующее топтание ногами под громкую музыку, была Елена. Она впервые показалась на людях как заместитель министра — единственная в правительстве женщина. Гамов попросил ее произнести речь на ужине, она посетовала в речи, что война штука вредная, в госпиталях множатся раненые и больные. Вудворт совершил для себя открытие:

— Семипалов, ваша жена не только красивая, но и умная женщина. Мне кажется, она вполне на своем месте.

— Очень рад, что вам так кажется, Вудворт, — поблагодарил я. — Мне тоже иногда видится, что она не только красивая, но и умная. Умней того, что надо бы требовать от доброй жены.

Вряд ли до такого сухаря, как Вудворт, дошла ирония. Он вдумчиво выслушал мое признание и одобрил его серьезным кивком.

Перед открытием конференции Гамов созвал Ядро.

— Докладываю о работе промышленности. — Первому Гамов дал слово Готлибу Бару. — И хочу порадовать — дела прекрасны.

В промышленности твердо фиксированные нормы выработки перевыполнялись. Жажда новой валюты так охватила всех, что рабочие добровольно оставались на сверхурочные работы. Бар выпустил первую партию золотых монет, они, естественно, сразу выпали из обращения, но банкноты не прятались — дорогие товары из госрезерва раскупались быстро. Гамов обещал, что повысит выработку в промышленности процентов на двадцать, Бар с торжеством извещал, что уже подошло к тридцати. Единственное слабое место — производство сгущенной воды. До ввода новых заводов заявки армии и метеорологов полностью не удовлетворить.

Казимира Штупу тревожила осень. Летние циклоны удалось отразить, небо над столицей безоблачно. И урожай выращен хороший. Но метеогенераторы используют резервные запасы сгущенной воды, запасов осталось мало. Если промышленность не удвоит поставку энерговоды, противник осенью зальет нас дождями, зимой завалит снегами.

— Об удвоении не может быть и речи! — воскликнул Бар. — Выше собственной головы еще никто не прыгал.

Гамов подвел итоги. Надо прыгнуть выше собственной головы. Строительству заводов энерговоды присваивается высший

приоритет. Рабочим на них — повышенную плату, и только в валюте. Эффект это даст.

— Теперь вы, Вудворт. Чего требуют наши дорогие союзники?

На союзников произвели нехорошее впечатление наши военные неудачи, доложил Вудворт. Если они недавно так и рвались в бой — в речах и газетах, — то теперь и речи осторожней, и газеты прохладней. Они требуют оружия, продовольствия и денег, да еще в кортезских диданах либо в нашей новой золотой валюте. Кир Кирун пожаловался, что последнюю выдачу наш банк произвел в юланиях. “Зачем нам юлани? — возмущался он. — Мы и без вас можем их напечатать сколько угодно.” Вот такие претензии у союзников. А его величество Кнурка Девятый, кроме снаряжения, продовольствия и денег, просит еще и солдат: он согласен воевать с кортезами, но нашими солдатами, своих у него очень мало. Список товаров и денег, затребованных союзниками, я передал в министерство организации, закончил Вудворт.

— Ваше мнение об этом списке? — обратился Гамов к Бару.

— Отлично составлен! Многообразие требований восхищает. Когда я работал на заводе, ко мне однажды поступило требование на спирт для промывки оптических осей в биноклях и фотоаппаратах. О спирте союзники промолчали, но Великий Лепинь среди прочего запросил две тысячи шерстяных ковров высшего качества для казарм. Чем не спирт для промывки оптических осей?

— Отказать всем и во всем! — сказал Пеано и так заулыбался, словно предлагал облагодетельствовать союзников.

— И выгнать всех из Адана! — добавил Гонсалес. Он теперь во всех спорных случаях выносил только суровые приговоры.

Гамов посмотрел на меня. Я знал, что Гамов уже имел колебимое решение, и он знал, что я знаю это. Я заранее соглашался с еще не высказанным мнением Гамова.

— Артур Маруцзян щедро оплачивал велеречивые обещания союзников, — сказал я. — Но мы будем оплачивать только дела, а не слова. А поскольку дел пока нет, то и выдач не будет.

— Вы отдаете себе отчет, Семипалов, что при таком обращении с союзниками наш союз скоро распадется? — сказал Вудворт.

— Не вижу пока реального союза, стало быть, и распадаться реально нечему.

Вудворт инициировал правительственный переворот, но переворота в мировой политике не желал. Он проводил линию на связь с союзниками. Упорядочить непорядочное, выправить искривления — дальше мысль его не шла.

— Вы совершаете непростительную ошибку, Семипалов. Политик должен прозревать грядущее. Вы хотите отделаться от неэффективных союзников, ибо от них нет толку. Но мир разделен на два враждебных лагеря. Если вы не в одном, значит, в другом. Вы превратите союзников во врагов. И врагами они будут более эффективными, чем союзниками. Вспомните, в какое бедственное положение ввергла дивизию, где вы воевали, измена Патины. Измена Лепиня, Собраны, Торбаша и Нордага ввергнет уже всю страну в такое же бедственное состояние. Семипалов, вы этого хотите?

— Я именно этого хочу, Вудворт, — сказал Гамов вместо меня.

— Хотите, чтобы наши союзники стали нашими врагами? — Вудворт не просто спросил, а выкрикнул — редчайший случай у этого человека.

— Да! Хочу, чтобы наши союзники стали врагами.

— Вы хотите нашего поражения?

— А вот этого — нет! Хочу победы. И добьемся победы тем, что превратим союзников во врагов.

— Удивительно неклассическая стратегия! — Пеано радостно улыбался. — Боюсь, что следующей неклассической операцией будет директива сдавать наши армии в плен, чтобы расходы на содержание наших пленных разорили врагов и вынудили прекратить войну?

Гамов ответил улыбкой на насмешку Пеано. Племянник свергнутого правителя Латании уже разбирался в секретах стратегии Гамова. И заранее готовился выполнять самые парадоксальные приказы. Он, как и Гонсалес, был прекрасным исполнителем, но не творцом новых концепций — как раз то, что требовалось Гамову.

Жалею, что речь Гамова не была записана на пленку — стенографистов Гамов не терпел, а записывающие аппараты в тот день почему-то не действовали. Союз с соседями нам невыгоден, говорил Гамов. Союзники слишком много требуют и слишком мало дают. Такие союзы — гиря на наших ногах. Но все изменится, когда они станут нашими врагами. Никто из них не нападет на нас, пока Кортесия не окажет им помощи. Но, как ни

богата Кортесия, и ее ресурсы ограничены. Всего, что она предоставит им, она лишит свои армии. Она сможет усилить наших соседей лишь ценой собственного ослабления. Итак, превращение союзников во врагов какое-то время нам на руку.

— Очень короткое время, Гамов. Но потом война, пылающая на Западе, охватит нас пламенем со всех сторон!

— Любому военному удару наших теперешних союзников мы противопоставим убийственное оружие.

— Гамов, я хотел бы услышать название этого неизвестного мне сверхсекретного оружия.

— Ничего секретного. Оно называется Аркадий Гонсалес.

Все мы, конечно, удивились. Сам Гонсалес так вытаращил глаза, что на секунды превратился из писаного красавца в урод. Впрочем, он быстро успокоился и даже закивал, словно подтверждая, что именно он, Аркадий Гонсалес, министр Террора и председатель международной Акционерной компании Черного суда, является тем единственным оружием, которое способно привести забунтовавших союзников к смирению. А Гамов развивал свою новую идею:

— Мы разжигаем внутри страны частную войну против отдельных преступников, а не против государства, — резко от—

В тот день, когда союзники объявят нам войну, мы провозгласим их военными преступниками. Черный суд вынесет заочно смертные приговоры за расширение войны их министрам, генералам, военным промышленникам, воинственным журналистам... И за исполнение приговоров назначим такую цену, что она захватит воображение и оправдает любой риск. Мы разожжем в любой стране пламя внутреннего истребления, пропитаем всех ужасом собственной гибели за любое пособничество войне. У нас ведь много сторонников.

— И бандитов, которые первые воспользуются заманчивыми наградами Черного суда? — иронически добавил Вудворт. — Разве не об этом недавно писал Фагуста?

парировал Гамов. — Для войны против государства нужны армии, для частной войны — палачи. Не возражаю, чтобы палачи вербовались из бандитов. — Он помолчал и закончил: — Последние дни я детально знакомился с нашими союзниками. Середнячки, отравленные манией величия. Для них главное в мире — они сами. Гибель их армий для них куда меньше значит, чем угроза собственному благополучию. Они предадут

свою армию, чтобы усилить личную защиту. И высосут из Кортезии в десятки раз больше соков, чем высасывают из нас.

Вудворт посмотрел на меня — надеялся на мою поддержку. А добряк Пустовойт изобразил на мясистом некрасивом лице такое страдание, словно на него самого уже повели возвещенную Гамовым безжалостную личную охоту.

— Если будет голосование, я — за, — сказал я.

— Перейдем к военным делам, — предложил Гамов. — Попрошу остаться Семипалова, Пеано, Прищепу, а также Вудворта.

Министр информации Омар Исиро перед уходом спросил, какая мера откровенности допустима для прессы и стерео.

— Никакой откровенности, — сказал Гамов. — Глухая информация: что-то обсуждали... Пусть фантазируют под свою ответственность.

Омар Исиро наклонил голову. Чувствую, что в моем повествовании о Гамове имеется важное упущение: я ничего не говорил о таком члене Ядра, как министр информации. Омар Исиро был незаметен. Невысок, молчалив, скромен, исполнитель — сколько ни пытаюсь вспомнить что-либо яркое, не вспоминается. Не знаю, за какие заслуги Гамов ввел его в Ядро, но на своем месте Омар Исиро был не хуже любого другого.

— Вудворт, говорили ли вы с Жаном Войтюком? — спросил Гамов, когда мы остались впятером.

— Говорил.

— О чем?

— Разные служебные неотложности. И о том, что Семипалов и Пеано разработали план большого наступления от Забона на запад вдоль побережья. И что направление удара меня беспокоит. Наши войска пройдут так близко от пока нейтральной Корины, что она может всполошиться. Узкий пролив, отделяющий северный Родер от Корины, — слишком ненадежная защита в случае осложнений. И что я уговаривал диктатора повременить с ударом, но он отказался. В общем, как мы с вами договорились, Гамов.

— Когда был разговор?

— Неделю назад.

— Докладывайте новости, — сказал Гамов Павлу Прищепе.

За последнюю неделю Войтюк встречался с двумя посторонними людьми. Первая встреча — с продавцом магазина, тот доставил провизию. Вторая встреча с Ширбаем Шаром сразу по

приезде Ширбая. Встречи происходили при других лицах, разговоров наедине не было.

— Прямых свидетельств, что Войтюк передает секретные данные, стало быть, нет?

— Прямых нет. Косвенные абсолютны. На Западный фронт прилетел Фердинанд Ваксель, четырехзвездный генерал, заместитель главнокомандующего, то есть самого Амина Аментолы. И созвал командующих армиями и корпусами. О чем совещались, пока не знаю, но практические результаты уже известны. Кортезы поспешно усиливают свой северный фланг. В движение пришли огромные массы войск, дороги заполнены колоннами машин и людей. Видимо, кортезам стало известно о готовящемся здесь нашем наступлении, и они срочно организуют защиту.

— Если так, то подозрения против Войтюка обоснованы, — задумчиво произнес Гамов. — Семипалов, у вас такой вид, словно вы встревожены или недовольны.

Я ответил с намеренной резкостью:

— Вы правы, Гамов: я встревожен и недоволен. Встревожен тем, что кортезы усиливают свой северный фланг. И недоволен, что мы спровоцировали их на это.

— Но надо же было разгадать тайные функции Войтюка, — возразил Прищепа. — И вы сами согласились на передачу обманных сведений.

Прищепа не видел, что мы оплошали, а я уже понимал это. И даже подобие улыбки сползло со всегда улыбчивого лица Пеано, он тоже уловил опасность. Но Гамов был еще далек от правильного видения. Такие промахи с ним бывали редко, но все же бывали. Я постарался довести до него реальные возможности новых действий кортезов. Вокруг Забона оборона сильная, но не маневренная — крепости, мелкие узлы сопротивления. Натиск трех-четырех дивизий оборона выдержит. Но если враг бросит несколько корпусов? Он, конечно, скоро доведется, что испугавшая его информация лжива и наступления на севере мы не планируем. Не захочется ли ему тогда превратить свою ошибку в успех? Не ринется ли он всей своей массой на нашу оборону? Потерять второй центр страны — не слишком ли дорогая цена за разоблачение шпиона?

— Семипалов, мы ведь тоже планируем наступление, — возразил Гамов. — И если противник перебросит часть своих

войск на север, то этим ослабит оборону в центре. Шансы нашего победного наступления здесь возрастают.

Все это было верно, конечно. Крупное наступление в центре должно было отбросить противника в глубь Ламарии, вернуть нам потерянные области и — главное — ликвидировать тяжкие последствия измены Патины. Но каков бы ни был этот успех, он не мог компенсировать потери Забона, а такую грозную возможность я сейчас не мог исключить.

Даже враги не отрицали в Гамове выдающегося военного таланта. Но сейчас он трагически ошибся. Я видел просчеты Гамова. Но не мог его переубедить.

6

Когда конференция открылась, выяснилось, что наши союзники и понятия не имеют, что их ожидает. До сих пор не понимаю их слепоты. Они знали, что смена власти произошла путем переворота, а не по добровольной уступке Маруцзяна. И видели, что Гамов отвергает прежнюю стратегию и предпочитает свою. Но им воображалось лишь усиление старой политики, а не крутой ее поворот. И они нажимали на прежние педали. Мы слышали громовые речи против Кортезии. Но о реальных делах союзники и не заикались, если не считать реальным делом запросы товаров и денег.

— Я им такое скажу, что они завертятся, — пообещал Гамов.

Вудворт угодливостью не грешил и возразил Гамову:

— Грубые действия хороши в бою, а мы с союзниками еще не воюем. Не осложняйте пока моей работы.

Гамов не забыл советов Вудворта, когда произносил свою программную речь. Он поблагодарил союзников за моральную поддержку в борьбе с Кортезией — их сочувствие нас трогает и воодушевляет. И после словесных сладостей объявил, что прекращает всякую помощь оружием, материалами и деньгами нашим верным и благородным друзьям. Причина: бедственное положение внутри Латании. Прежние наши правители скрывали, что промышленность подошла к упадку, сельское хозяйство уже не способно обеспечить население продовольствием и поражение наших войск — не случайность военной фортуны, а жестокое следствие общего состояния. Когда наши войска погонят врага на запад, только тогда появится возможность помощи нашим доблестным союзникам.

Вот такая была речь у Гамова — до ошеломления ясная. И произвела она то действие, которого он желал — потрясение. Один Лон Чудин сохранял подобие спокойствия, даже улыбался. У президента Великого Лепиня имелся важный бзик, все о нем знали, — он не позволял себе показывать слабость, и это было единственной его слабостью. И он не перестал быть статуей самого себя — взирал на всех со сцены величественно и улыбочиво.

Зато его брат кипел. Это было занятное зрелище, красочное негодование долговязого Кира Кируна. Он пожимал плечами, разводил руками, то ухмылялся, то кривился, то — в высшем градусе недоумения — закатывал глаза. Воображаю, что он в это время говорил своему левому соседу, президенту Собраны Мгобо Мардобе, темнокожему мужчине лет сорока. Высоколобый, толстогубый, умноглазый Мардоба лишь кивал головой — похоже, молчаливо соглашался со всем, что наговаривал взбужденный Кирун. Это, разъяснил мне потом Вудворт, была особенность Мардобы — он всегда молчаливо соглашался со своими собеседниками, а если его принуждали говорить — он старался этого избегать, — то, к удивлению, слышали от него отнюдь не благожелательное согласие, а порой сильные и умные возражения.

Всех сильнее негодовал Кнурка Девятый. После речи Гамова он обложил Вудворта со всех сторон — куда неторопливый Вудворт ни поворачивался, маленький хозяин Торбаша оказывался перед ним. Я проходил мимо и уловил частицу их беседы. Король хватал волосатой ручкой за лацкан вудвортовского пиджака и возмущенно стрекотал свистящим голоском:

— Господин министр, встаньте на минутку на наше место. Вы наш сосед, хороший сосед, хотя, не скрою, кое-какие пограничные территории представляются нам спорными, да, очень спорными...

— Но ведь сейчас проблема не в пограничных территориях, — пытался прорваться в его речь Вудворт. — Мне думается, ваше величество...

— Нет, вам не думается, это мне думается, господин министр, — пересвистывал его король Торбаша. — Ибо лишь уступая доброму чувству к вам, нашему великолепному соседу, мы и поднялись на могущественную Кортезию, из уважения к вам, из сочувствия к вашей борьбе и в расчете на вашу помощь. Это же ясно, господин министр! А теперь что? Брошены на

произвол судьбы, воевать с ней один на один... А ведь это Кортезия, вы же должны понимать!

Вудворту отказала дипломатическая выдержка.

— Сколько знаю, еще ни один ваш солдат не вступил в реальную схватку с кортезами.

— Не вступил, а почему? Нет солдат, надо же их собрать, обучить, вооружить, а без вашей помощи, вы меня понимаете... И у нас же нет общих границ с Кортезией! Мы хотели объявить ей войну, чтобы она высадилась на нашей земле, и тогда мы героически нападём, вот такой план. Сам господин Маруцзян и великий маршал Комлин...

На заключительных заседаниях конференции я уже не появлялся. Хватало своих неотложных забот.

Произошло несчастье, которое мы сами спровоцировали и против которого я предостерегал Гамова. Кортезы не обнаружили серьезной концентрации наших сил на северном фланге и двинулись сами. Все выгоды были у них — и перевес в войсках, и преимущество в технике. Они ринулись на Забон. Я потребовал заседания Ядра и не подбирал успокоительных словечек: для дальнейшего успеха в войне и для защиты населения Забона надо сдать этот город врагу.

Гамов смотрел так, словно я сошел с ума.

— Сдать Забон? И вы серьезно, Семипалов?

— Мы перемудрили с обманом противника и должны теперь выкрутиться из своей же паутины с наименьшими потерями.

И я объяснил, что отстоять город можно лишь в том случае, если энергично переадресовать ему все резервы, подготовленные для центрального фронта. Но тогда ни о каком наступлении на западе и не мечтать. И результат: Забон сохранили, но западных областей не отвоевали, Патину не наказали за измену, Ламарию не покорили, а родеров не отбросили за их естественные границы. Ни одной стратегической цели не достигли, такова реальная цена того обмана, в который мы ввели противника. Не всякий обман врага идет на пользу, когда имеешь дело с кортезами.

Но иная картина рисуется в случае, если сдадим Забон, продолжал я. Враг, чтобы взять его, подтянет сюда новые корпуса, превратит этот участок в поле своих максимальных усилий. То есть ослабит свой центральный фронт гораздо больше, чем если бы просто хотел отразить наше обманное наступление с севера. И тогда разразится наше хорошо обеспеченное наступление на

центральном фронте. И мы обойдем с запада армии, захватившие Забон, — он станет мышеловкой, в которой захлопнется ударная мощь врага.

— План победы на всем фронте требует запланированного поражения на севере, — так закончил я свой анализ ситуации.

— Чудовищно! — воскликнул Гамов. — Могла же такая идея прийти в голову — сдать Забон!

— Главное — победить в войне, а не отстоять тот или иной город! — возразил я. — Я вас не узнаю, Гамов! Вы ли убеждали нас, что войну надо вести неклассическими методами! И колеблетесь, когда встала простенькая для любого шахматиста задачка — идти на оправданную частную жертву ради общего успеха в игре.

— Семипалов, война не перестановка фигур на доске, а страшные приговоры тысячам людей. Все во мне протестует против запланированной гибели лучшего города страны!

— Красивые слова! — бросил я. — Если мы не добьемся радикального успеха на всем фронте, погибнет куда больше людей, чем в любой битве за город. Вы это понимаете не хуже меня, Гамов.

Он понимал это. Внезапно постарев, он обводил нас потухшими глазами. Для нас с Пеано, ныне профессиональных военных, сдача или защита отдельных городов была военной операцией, а Гамов уже и тогда ощущал себя чем-то вроде предстателя за всех страждущих. Он не мог дать санкции на единственно разумный стратегический план.

— Разрешите мне, — сказал Вудворт. — Хочу предупредить, что сдача Забона может поколебать союз Нордага с нами. Нордаг разочарован отказом в материальной помощи. Если у них на границе появятся корпуса родеров, вряд ли они останутся безучастными.

— Что значит — не останутся безучастными? Разорвут союз или начнут с нами войну? Хотелось бы определенности.

Усмешка на худом лице Вудворта была выразительней слов.

— Дорогой Семипалов, дипломатический язык, в отличие от военного, всегда содержит в себе элемент неопределенности.

Гамов счел предостережение Вудворта аргументом в свою пользу.

— Забон защищаем! А на западном фронте начинаем наступление немедленно. Оно заставит кортезов призадуматься, стоит ли искать успеха на севере ценой значительных потерь в центре.

На этом и закончился военный совет. Я сказал еще, что поеду в Забон проверить оборону города. Хотел бы совершить эту поездку вместе с Пеано и Прищепой. Гамов проводил меня до двери, а там остановил.

— Нам нужно поговорить втроем, Семипалов. Приходите завтра ко мне с женой. Ее присутствие необходимо.

— Завтра буду в Забоне. Сегодня подойдет?

— Вызовите жену и приходите в маленький кабинет.

Министерство организации, где Елена трудилась заместителем Бара, располагалось неподалеку от государственного дворца. Я позвонил ей, она вскоре пришла. Я ждал ее в том же зале, где мы заседали.

— Что-нибудь случилось, Андрей? — спросила она с тревогой.

— Случится через несколько минут. Гамов пригласил нас для секретного разговора.

— Ты ожидаешь чего-нибудь плохого, Андрей?

— Даже не представляю себе, чего он хочет.

Мы постучались в кабинет Гамова. В прихожей еще не было телохранителей, как это стало обычным впоследствии. Гамов показал нам на диван, а сам сел за стол — создавал впечатление, что разговор, хоть и личный и секретный, будет все же в чем-то и служебным. Я так понял распределение мест, но Елена не приучилась еще ощущать значение мелочей, зато точнее чувствовала подспудность. Она лучше подготовилась к беседе втроем, чем я.

— Хочу договориться о совместных действиях против наших врагов, — начал Гамов. — Надо персхитрить разведку врага. Повести ее по ложному следу. Без вашей доброй помощи сделать это трудно.

Он помолчал, переводя глаза с меня на Елену и с нее на меня. Терпеть не могу, когда в меня долго всматриваются.

— Вы хотели нас сразу заинтересовать, Гамов. Считайте, что добились своего. Слушаем дальше.

— Хочу продолжить игру в дезинформацию. Через Жана Войтюка, — сказал дальше Гамов. — Сведения, переданные Войтюку Вудвортом, имели большие последствия. Ясно, что Войтюк пользуется в разведке высоким авторитетом. Лишь полной верой в его информацию можно объяснить энергичные действия маршала Ваксея. Быстрый ответ на подкинутую лживую информацию поставил нас в трудное положение. Не исключено,

что Вудворт пережал в информации. Чтобы впредь такого конфуза не повторялось, надо разъединить Войтюка с Вудвортом и свести с человеком, более осведомленным в государственных и военных делах. Ибо лишь такой человек сумеет передавать шпиону нужную нам информацию по всем вопросам, а не только по проблемам специального ведомства. Есть ли у нас такой человек?

— Даже два. Прежде всего вы, Гамов. А вторым, смею надеяться, буду я.

— Правильно, двое. В мое окружение Войтюку не войти. Значит, вы, Семипалов. Хочу перевести Войтюка к вам. Вам нужны свои консультанты по международным делам. Отличные возможности для контакта.

Я помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. Гамов знал, о чем я буду его спрашивать, — и волновался еще больше, чем я. В минуты большого волнения он съеживался и бледнел: состояние, противоположное налетавшей на него ярости, тогда лицо наливалось кровью.

— Хорошо, контакт. Но какого рода? Сдружиться с Войтюком и в приятельской болтовне делиться с ним государственными секретами?

— Нереально. Если Войтюк и вообразит, что достиг приятельства с вами, и уверится, что вы болтун, то его хозяев в этом не убедить. Они глубоко изучают ваш характер.

— Тогда — измена, Гамов. Не реальная, а обманная, так? Притвориться, что я враг всему, что у нас делается, враг вам, враг самому себе, враг своей родине? Я верно понял вашу мысль?

— И верно, и неверно. Враг мне — верно. Но почему враг своей родине? Диктатор еще не вся страна, а только человек, захвативший в ней верховную власть. Вы играете роль моего соперника, человека, считающего, что сами вы куда бы лучше правили страной. И в дружеских разговорах с Войтюком критикуете мои действия, а попутно снабжаете его секретной информацией, которая должна дезориентировать врагов.

— Не подойдет. Соперничество с диктатором еще не повод становиться на путь измены. Договаривайте — хотите причин для нашей вражды более личных, чем политическое соперничество?

— Договариваю — именно так! Вы должны изобразить моего личного, моего интимного врага.

Если у Елены и были сомнения относительно ее роли в предполагаемой игре, то теперь они рассеялись. Она вспыхнула, глаза ее зло заблестели.

— Вы хотите сделать меня своей любовницей, Гамов, чтобы превратить моего мужа в своего личного врага?

Гамов редко улыбался, почти никогда не смеялся. Возбужденным, возмущенным, разгневанным, категоричным я видел его часто, но просто улыбающимся — почти не приходилось. А сейчас он улыбался, и улыбка мне не понравилась. Она была из тех, какие называются душевными, такими улыбками стараются расположить к себе, скажу сильнее — задурить и очаровать.

— Только сделать вид, что моя подруга, Елена. Ваш муж ревнив, он сам в этом признается. И об этой его черте, конечно, быстро дознаются противники. Почему не сыграть на ревности вашего мужа для успеха государственных задач? Сыграть только на представлении о его ревности, а не возбудить ее реально. Тогда его тайная недоброжелательность ко мне в глазах противников станет обоснованной — и любая информация от него приобретет доказательность. Вот такую предлагаю игру.

Я молчал. Мне вспоминалось, что Гамов дознавался, ревнив ли я, задолго до того, как стал важной политической фигурой — загодя прикидывал, как станет действовать, когда будет диктатором. И ни о каком Войтюке мы тогда не знали! Я почувствовал себя бессильным против него. Игра расписана неотвержаемо, роли розданы — и властный кивок режиссера командует выходить на сцену!

Елена тронула меня за руку.

— Андрей, что скажешь мне?

Я сделал усилие, чтобы говорить спокойно.

— По-моему, игра стоит свеч.

Гамов радостно сказал:

— Вот и отлично! Разыгрываем треугольник, классический для внешнего глаза, но совершенно неклассический по сути.

Он снова восхвалял свои неклассические методы борьбы! А я вдруг ощутил, что он проигрывает. Он хотел возбудить во мне видимость тайного недоброжелательства, сохранив реально мою преданность и служение его воле. И преданность, и служение сохранялись, тут он не ошибся. Но появилось что-то новое в моем отношении к нему. Какая-то внутренняя холодность — первый признак реального, а не выдуманного недоброжелатель-

ства. У Елены блестели глаза, она уже входила в свою новую роль политической актрисы.

7

К чести Омара Исиро, ни стерео, ни газеты не приукрашивали военного положения. На уличных стереоэкранах Забона ежедневно вспыхивали цветные схемы расположения наших и вражеских войск. Мы втроем — Пеано, Прищепа и я — промчались с вокзала в штаб обороны. Я остановил машину у газетного киоска, купил “Трибуну”. Лохматоголовый лидер оптиматов Константин Фагуста воспользовался нашими неудачами на фронте для очередного удара по Гамову. Неистовый редактор “Трибуны” крупными буквами извещал в заголовке им же написанной статьи, что “и одного бумажного калона не стоит наша разведка”. И доказывал, что только дураки либо предатели могли проглядеть крупное сосредоточение неприятельских сил на северном фланге.

Я передал газету Прищепе, потом ее прочитал Пеано. Главнокомандующий, как всегда, мило улыбался. У Прищепы зло сверкали глаза. Он ненавидел Фагусту. Он и раньше говорил мне, что не понимает, почему Гамов покровительствует этому истерику.

— В народе — тревога. Тревогу Фагуста отразил, — заметил я. — Этого у него не отнять — острого ощущения наших провалов. Но откуда он берет свою информацию, Павел?

— Каждый день — от Исиро. После особо скандальных статей его вызывает Гамов. Но Фагуста — единственный человек, на которого Гамов мало влияет и пока мирится с этим. — И Прищепа добавил со злостью: — Долго это не продлится. Я подберу ключи к секретам вызывающего поведения редактора “Трибуны” — и Гамов поймет, с какой гадиной имеет дело.

Это прозвучало достаточно грозно. В отличие от Гамова, мой друг Павел Прищепа — как, впрочем, и все мы, друзья Прищепы, — не был одарен способностью провидеть грядущее.

В штабе мы познакомились с последней картой боевых действий. Карта выглядела безрадостно. На Забон наступало в пять раз больше неприятельских дивизий, чем мы могли выставить на защиту. Я смотрел на карту и снова думал, что лучший исход — объявить Забон открытым городом. Чтобы избавить от бомбежек с водолетов. А затем и сдать его. Оперативная карта в Забоне кричала о том же разноцветными флажками, мигающи-

ми огоньками и зелеными вспышками на местах, где значились неприятельские аэродромы: каждая вспышка означала посадку нового водолета-бомбардировщика. Я молчал. Меня окружали защитники города. Я не мог им сказать, что не верю в устойчивость их защиты. Зато Пеано уверил их, что с Западного фронта движутся хорошо вооруженные дивизии, с восточных заводов скоро подойдут батареи полевых метеогенераторов — потоп низвергнется на врага, когда он вступит в низины перед городом.

Все это верно, конечно: и дивизии перемещались на север, и на заводах спешно заканчивали сборку новых метеогенераторных установок, и все запасы сгущенной воды направлялись в Забон. Лишь одного не сказал Пеано: и враг это все знает. И если малоизвестный нам пока Фердинанд Ваксель не дурак, не лентяй, не медлителен — а как нам хотелось бы видеть его таким, — он выиграет в том, в чем мы сегодня всего слабей: в расчете времени. Он все мог сделать скорей, чем мы, он просто был ближе к Забону, чем наши маршевые дивизии, чем наши метеогенераторные заводы, чем те предприятия и города, где мы срочно изыскивали энерговоду. Я на его месте использовал бы эту фору во времени. У меня не было оснований считать, что Фердинанд Ваксель глупее меня.

— Хочу ознакомиться с разведывательными цехами, — сказал я Павлу.

Уже давно прошло то время, когда я удивлялся приборчикам капитана Павла Прищепы и тщетно допытывался секрета их конструкции. Теперь мне по должности надлежало все знать о них. И я сам подписывал приказы, превращавшие кустарные мастерские, изготовлявшие такие аппараты, в хорошо оснащенные заводы. И присваивал этому производству высший приоритет, и ассигновывал полковнику Павлу Прищепе такие суммы, от которых у моего друга капитана Прищепы застопорило бы дыхание и помутилось в глазах, но которые полковник с возмущением называл мизером и жаловался Гамову, что я недооцениваю нужды разведки.

Мы с Пеано шли за Павлом, а впереди двигались два офицера, предъявлявших охране разрешение на вход то в одну, то в другую дверь — для каждого помещения требовался свой пропуск. Лаборатория ближней разведки размещалась на девятом этаже Штаба обороны Забона — четыре оперативных зала, уставленных командными приборами, и один обсервационный.

Оперативные залы ни меня, ни Пеано не интересовали, в них переводились на машинный язык директивы, какие мы сами вырабатывали. Но в обсервационном зале мы задержались. Здесь высвечивались все действия противника в районе Забона.

Обсервационный зал напоминал обычные залы только по названию, а реально был овальным туннелем, густо уставленным самописцами. Несколько перегородок — от пола до потолка — разделяли выпуклую стену на отсеки: “Юг”, “Юго-запад”, “Запад”, “Северо-запад”, “Северо-восток”. Перед пультами, наблюдая за картиной своего района, сидели по два разведчика.

— Двенадцать приборов на одного разведчика, не много ли? — спросил Пеано.

— Можно и больше, но нет нужды, — ответил Павел. — За самописцами и интеграторами не наблюдают. Дежурные следят лишь за своими личными датчиками на территории противника.

Я смотрел на цифры, вспыхивавшие на одном из интеграторов в отсеке “Юго-запад”. На этом направлении Фердинанд Ваксель развернул наступление, уровень на интеграторе показывал чуды железа, перемещавшегося по шоссе № 13, — танков, автомашин, электроорудий, резонаторов, импульсаторов, вплоть до гвоздей в сапогах солдат. Датчики не расчленяли, сколько металла приходится на каждый вид снаряжения и оружия, только “железный вес”. Я глядел, как быстро скачут цифры на счетчике, и мысленно видел шоссе, заполненное людьми и машинами, — большие, очень большие силы бросал главнокомандующий кортезов на Забон! Гамов не захотел добровольно сдать город. Сумеем ли мы отстоять его? Найдём ли защиту от такой лавины людей и металла?

Павел показывал Пеано металлический стерженек — по виду обыкновенный гвоздь. Это и был интегратор продвигающегося мимо него железа.

— Такие датчики вбиты в деревянные столбы, присыпаны землей вдоль дорог, приварены к фермам мостов. Найти их трудно, а еще трудней расшифровать их передачи.

— А личные датчики? — спрашивал Пеано.

— Принцип тот же. Интегратор и воспринимающий аппарат. Просто для большей секретности личный датчик настроен на индивидуальное биополе разведчика либо на его столь же индивидуальный приемник.

— Понял. Личный датчик осуществляет связь дежурного разведчика с его агентами на территории противника. Так?

Я подошел к сектору “Северо-восток”. Здесь висели такие же приборы, только их было поменьше — этот сектор высвечивал территорию Нордага, не то нашего нерешительного союзника, не то столь же нерешительного нейтрала. В этой небольшой стране руководители меньше публично кляли Кортезию и не распинались в любви к нам. Но зато, в отличие от других соседей, не выпрашивали ни товаров, ни денег. Президент Нордага даже не приехал на конференцию — прислал одного министра.

Меня встревожили показания интеграторов “Северо-востока”. На дорогах, примыкавших к нашей границе, перемещались слишком большие массы металла. Вудворт предупреждал, что любой союзник может превратиться в открытого врага. Нордаг, если и не превращался во врага, то основательно укреплял свою пограничную оборону.

— Возвращаемся в штаб, — сказал я Прищепе и Пеано.

В штабе я вызвал по видеотелефону Гамова.

— Положение грозней, чем я опасался, — сказал я. — У Вакселя больше сил, чем мы предполагали. И мне не нравится, что на границы Нордага интенсивно выдвигаются войска. Потребуйте от Штупы срочной готовности к большому метеоудару. Пеано вылетает в Адан торопить действия на Западном фронте, я остаюсь в Забоне.

— Оставайтесь. О ваших подозрениях относительно Нордага информирую Вудворта. Мне давно не нравится ледяная сдержанность нордагов, но Вудворт к ним благоволит.

Штупа прилетел в ту же ночь. К утру пришел состав с метеогенераторами. Штупа приступил к монтажу метеоустановок. Я попросил его явиться ко мне в штаб.

— Когда начнут действовать метеогенераторы? — спросил я.

— Спустя двое суток мы разыграем такой ураган, что у кортезов слетят все каски с голов, — ответил Штупа.

— Спустя двое суток кортезы подойдут к возвышенностям вокруг города, к нашей последней линии обороны. Казимир, — сказал я, пренебрегая условностями обращения, — ветром армию Вакселя не сдуть. Ее надо потопить в низинах! Только это может вызвать Забон до подхода дивизий с Западного фронта.

Штупа ответил не сразу. Он очень изменился, наш министр погоды Казимир Штупа. Еще недавно я встречался в квартире генерала Леонида Прищепы с другом его сына — миловидным военным метеорологом, почти юношей Казимиром. Он тогда

казался еще моложе своих лет. А сейчас передо мной сидел человек, утративший всю прежнюю миловидность, утомленный, хмурый, неразговорчивый. Он был много старше своего возраста.

— Сколько надо дней потопа? — спросил он.

— На полное сосредоточение идущих на подмогу дивизий — две недели. Первая дивизия подойдет через неделю.

— О двух неделях и не мечтать. И неделю не обеспечу.

— Сколько же дней вы гарантируете?

— Три, максимум четыре.

Теперь замолчал и я. Четырех дней ливня могло не хватить.

— Хорошо, — сказал я. — В смысле плохо, а не хорошо. Раз так, не будем торопиться с ливнем. Хляби небесные разверзнем, когда кортезы начнут карабкаться на высоты. Это даст нам выигрыш в сутки.

Штупа ушел на монтажную метеоплощадку. В штабе мне выделили отдельную комнату со стереозэкраном во всю стену и пультом набора информации. Теперь на своем экране я мог продублировать любой интегратор и самописец подземной разведывательной лаборатории — каждому прибору отвечала своя комбинация цифр на моем пульте.

Маршал Ваксель дошел до такой наглости, что не сбивал летающих над ним аэроразведчиков. Он был уверен в своем превосходстве над нами. Он знал, что я прибыл в Забон и команду обороной. Между нами протянулась невидимая связь. Он издевался надо мной уже тем, что давал разглядывать, как движутся его дивизии. Павел доставил мне портрет Вакселя, я поставил фотографию на стол. Фердинанд Ваксель, представительный мужчина лет пятидесяти, победно светил четырьмя золотыми звездами на отворотах мундира, тонкогубое лицо кривила насмешливая улыбка, глаза смотрели проницательно и властно. Я вдумывался в его лицо, как в загадку, искал в этом открытом лице подспудности, но не находил ее. Ваксель был ясен, как обитый железом стенобитный таран. И такой же пробивной силы! И я ломал голову, как перебороть, как пересилить, как перехитрить этого человека, моего противника, так грозно надвигающегося на меня.

Вошел Казимир Штупа.

— Генерал Семипалов, я готов. Когда начинаем?

Я подвел его к экрану и включил общую картину юго-западных окрестностей. Гряда невысоких возвышенностей, ду-

гой опоясавших город с востока до моря на севере, именно здесь, на юго-западе, была всего ниже, и именно сюда Ваксель нацелил свои ударные дивизии. Перед возвышенностями простирались болотистые и лесистые низины, их постепенно заполняли машины и люди.

Цветные картинки экрана отчетливо рисовали накопление неприятельских войск. С вершин гряды срывались молнии, дальние электробатареи нашей обороны уже пробовали огонь.

— Завтра до полудня они закончат сосредоточение, — сказал я. — Во второй половине дня Ваксель даст солдатам отдых. Утомленные войска он в атаку не погонит. Кортезы воюют по науке, Казимир. Завтра к ночи они начнут натиск. Ночью разыграйте над ними ураган, а если не удастся сдуть карабкающихся на холмы, утром смойте их оттуда, залейте потопом. Вы не опасаетесь контрциклонного противодействия?

— Ваксель везет несколько таких же метеогенераторных установок, что и у меня. Монтаж их заканчивается.

— Но это означает...

— Нет, Семипалов. На мои метеоустановки работают все метеостанции страны. Я буду лишь распределять облачные массы, которые издалека транспортируются к Забону. У Вакселя нет метеомощности, сравнимой с нашей.

— Завтра перебазируюсь к вам, — сказал я, отпуская Штупу. — Прищепка смонтирует на вашем командном пункте такой же обзорный экран.

К утру следующего дня Ваксель подвел свои ударные части к возвышенностям, оборудовал электробатареи, замаскировал их и дал дневку солдатам. Только редкие водолеты проносились над замершей местностью. Я приказал не тратить на них снаряды, наши артиллеристы плохо сбивали движущиеся цели, да и не следовало расшифровывать огневые точки.

В полдень я перебрался к Штупе. Он оборудовал свой командный пункт на обратном скате холма. Метеоцентр походил на любой другой военный командный пункт: по стенам самописцы, интеграторы, командная аппаратура, акустическая и оптическая связь... И операторы в военной форме. Сам Штупа сидел в уголке за особым пультом, сбоку высился обзорный экран. Он хмуро сказал:

— Приготовления у них закончены. Третий час отдыхают.

— Раньше ночи не выступят. Могут отдохнуть и ваши люди.

— Нам не до отдыха. Самый пик подготовки.

Я вышел наружу и присел на камень. Солнце склонялось к западу. Стояла середина лета, от травы струилось тепло и терпкие запахи. Небо, безоблачное, бледно-голубое, жарким колпаком покрывало холмы и низины. В мире стояла великолепная тишина, умиротворение и вялость, ни одна травинка не шевелилась. Но не только разумом, а и всей кожей я постигал великое внутреннее напряжение, охватившее природу в этот послепоуденный час. Природа не отдыхала томно и благодушно, как полагалось ей в дни позднего лета, а сдерживала внутренний трепет — она-то знала, какую бурю накапливают в ней.

Затем на восточном краю неба возникли первые облачка. Я думал, что тучи будут мчаться на нас из глубины страны; там их накапливали и упорядочивали в массы неохватной толщи, ждущие лишь транспортного циклона, чтобы ринуться на запад. Но туч не было, были беленькие облачка, возникавшие в прозрачном воздухе как бы из ничего. И они не двигались, а стояли, лишь постепенно становились крупней и из слепяще белых превращались в серые и темные. Из командного пункта вышел Штупа.

— Кортезы разгадали наш маневр, генерал. Посмотрите на запад.

Я навел бинокль на противоположную сторону неба. Там появились такие же белые облачка, что и на нашей стороне, и они тоже укрупнялись и темнели и так же неподвижно торчали над скрытыми позициями кортезов, как наши над нами.

— Противодействие нашей метеоатаке? — спросил я.

— Точно так.

— Это опасно?

— Не думаю. Здесь их метеомощности несравнимы с нашими. Но неожиданности не получилось. Соответственно, и другой эффект.

— Но залить их в низине мы сумеем?

— Нам тоже достанется. Обязан поставить вас об этом в известность, прежде чем прикажете метеоатаку.

— Нам уже досталось, Казимир. Враг подошел к последней линии обороны. С первым сигналом индикаторов, что кортезы выбираются из укрытий и карабкаются наверх, начинайте смы-
вать их.

— Постараюсь, — ответил Штупа.

Ответ прозвучал так не по-военному уклончиво, что я потребовал объяснений. Штупа снова показал на запад. Солнце там

скрылось в тучах. На западе вечером полагалось быть светлей, чем у нас. Но у нас еще меж облаков сияло небо, а над кортезами густела ночь. Впечатление было такое, будто противник богаче облаками, чем мы. Я сказал об этом Штупе, он хмуро улыбнулся.

— Нет, конечно. Кортезы готовятся к контрциклонной борьбе, чтобы ослабить наше водоизвержение.

Из-за сгущения облаков вечер наступил часа на два раньше своего времени. Я воротился на командный пункт и не отрывался от экрана. Фердинанд Ваксель вдруг стал доказывать, что не все в его действиях можно предугадать. Ни одна машина не показывалась из укрытий. Он расположил свою армию в глубоких низинах, и хладнокровно позволил мне использовать все преимущества нашего расположения. Впервые он действовал не так, как действовал бы в его положении я. Я не считал, что он глупей меня. Но все же самым умным для него было бы вырваться из низин, не дожидаясь ливня, и, овладев возвышенностями, открыть последние запертые ворота на Забон.

— Резон у кортезов имеется, — ответил Штупа на мой вопрос. — Он провоцирует нас на метеоудар еще до сражения за высоты. Ваксель знает, что наши метеогенераторы долгой бури не обеспечат. Хочет отсидеться, а когда потоп схлынет, развить боевые действия.

Штупа меня не убедил. Если Ваксель задумал отсидеться в низинах, то и мы могли не начинать бури. Каждый день промедления работал на нас: с Западного фронта на подмогу двигались дивизии. Я вызвал Прищепу.

— Павел, меня удивляет затянувшийся отдых кортезов. У тебя нет новостей о Вакселе?

— Да он вовсе не бездействует! Он отводит армию назад. Дожидался темноты для ретирады, а к утру в низинах останутся лишь стационарные установки. Тяжелые орудия, камуфлирующие сооружения, но ни одного солдата.

План Вакселя стал мне теперь ясен. Он провоцировал своим быстрым броском к возвышенностям немедленное раскручивание циклона. А тайный уход из низин только что вступившей туда армии гарантировал, что наш метеоудар принесет кортезам гораздо меньше потерь, чем мы планируем.

Хитроумный расчет Вакселя надо было опередить и потопить его армию до того, как она выберется из низин. Я приказал Штупе:

— Запускайте бурю!

Прислонившись спиной к валуну, я обводил биноклем небо. Оно в считанные минуты изменило вид. С востока ринулись тучи, с запада двинулся встречный облачный фронт. Вдруг на все стороны распростерлась тьма. Ветер вначале мчался поверху, потом опустился на землю. Встреча двух ураганов — запущенного Штупой с востока, и западного, энергично вызванного противником, — произошла над грядой возвышенностей. Воздушный поток отражался встречным потоком, один облачный фронт яростно напирал на другой. Битва ветров и туч быстро превратилась в битву огней, линия сшибки высвечивалась молниями. Сперва они только взрезали толщи облаков, потом их стало так много и они так непрерывно вспыхивали, что небо превратилось в огненный купол — пылало от горизонта до горизонта. И горизонт можно было определить как линию, за какой уже не бушует огонь. Пожар неба освещал пока еще неподвижную землю.

Небо не только горело, но и грохотало. Как все молнии сливались в один исполинский пожар, так и небесные электроразряды складывались в один вселенский грохот. Небо гремело отовсюду, тяжелый гул обрушивался на землю. Я помнил гром электробатарей нашего корпуса, когда мы прорывали главный заслон врага при отступлении к своим. Тогда разом ударила сотня электроорудий. Я думал, что уже никогда не услышу подобного — дрожали руки и сгибались ноги. Но грохот противочиклонной борьбы столь же превосходил электробатарейный гром, сколько сама электробатарея превосходит своим тяжелым гулом треск ручного резонатора. Я бросил бинокль на землю, зажал уши руками. Надо было поскорей уходить в помещение, инстинкт гнал в укрытие — только напряжением воли, гневным приказом самому себе я заставил себя остаться у валуна.

А затем опустившаяся буря стала взламывать землю. Мимо валуна проносились камни величиной с футбольный мяч. Уроненный тяжелый бинокль вдруг взвился вверх и умчался, не падая. Ветер отрывал меня от валуна, долго противостоять такой буре я не мог.

И когда я уже терял последние силы, ко мне подоברались метеооператор и сам Штупа, ухватили за руки и потащили в укрытие.

— Если бы кортезы поднимались сейчас на возвышенность, их сдуло бы как пушинки, — сказал Штупа.

— Но они не поднимаются на возвышенность, Казимир. Они бегут назад. Не подошло ли время топить врага?

Штупа показал на обзорный экран. Хотя все небо пылало молниями, все же в местах противоборства облаков они взрывались ярче. Огненная река перерезала небо на две неравные половинки, она выгибалась на запад, а не уходила на север.

— Пока не сломим атмосферного сопротивления кортезов, начинать ливень опасно. Слишком много воды обрушим на своих.

— А пока отгоняем их противоборствующие тучи, вся армия Вакселя покинет опасные места. Мы все же на возвышенности — нам ливень не так опасен. Бросьте потоп вдогонку кортезам.

Штупа отдал приказ операторам и снова подошел к экрану. Огненная линия противоборства облачных масс все дальше выгибалась на запад. Ветер с востока пересиливал ветер с запада.

А затем разверзлись хляби небесные. Вода с тяжким гулом обрушивалась на землю. Я подошел к выходу из командного пункта, прислушивался к шуму воды. Грохот потопа менялся, сперва он был глухим и рычащим, земля отвечала на низвергающуюся воду своим негодующим голосом. Потом голоса земли затихли, звучала одна вода, бьющая по воде. И уже не гудела, а звенела и шипела. Вода залила сушу, расширилась озерами. А еще спустя какое-то время озера прорвали свои берега, превратились в потоки, бешеные ручьи помчались по земле — новый могучий гул перекрыл и заглушил недавний звон и шипенье. И скоро к общему грохоту мятущейся воды добавился еще новый гул, самый сильный, — загремели водопады, низвергавшиеся в низины. Ночь посерела, шло утро, но света не было, свет поглощала водная пелена. И воздуха не было, вместо воздуха была одна вода, вода вверху, вода внизу, вода кругом — прутья и стены воды. Возможно, надо бы назвать эту рушащуюся сверху воду как-то по-другому, а не прутьями и стенами, но я не подберу других слов для искусственно вызванного потопа. Не выходя наружу, я всматривался и вслушивался в kloкочущий мир. Всматриваться, впрочем, было не во что, мир пропал, была лишь мутная, непрозрачная пелена. А сквозь тысячеголосый грохот воды прорывались отдаленные громы молний и уханье чего-то сбрасываемого с холмов — не то валунов, не то оставленных вне укрытий машин.

Я соединился с Павлом.

— Ваксель знал, что ему готовим, и постарался обезопасить себя, — доложил Прищепа. — Датчики фиксируют множество герметизированных автомашин и амфибий. Противник преодолевает болота и потоки где вплавь, а где по дну. Много разбитой техники. Наступление кортезов сорвано.

— Не сорвано, а отдалено, Павел. Обычной воды в облаках наготовлено на неделю потопа, считает наш министр погоды, но энерговоды надолго не хватит. Двое суток такого ливня — и Штупа выдохнется.

— И, по крайней мере, трое суток, пока почва достаточно просохнет, чтобы кортезы возобновили наступление. Я информировал Пеано о событиях на нашем участке. Он усиливает продвижение дивизий. Вряд ли Ваксель сможет наступать до прихода к нам подмоги.

— Будем надеяться на это, — сказал я.

Ливень продолжался две ночи и два дня. Я держал на связи Забон и Гамова. Городские власти молили прекратить наводнение — забита ливневая канализация, улицы превращены в бушующие потоки. Гамов сердился — Ваксель отошел на безопасное расстояние и хладнокровно поджидал, пока мы угомонимся: надо перенести ливни и на территорию, куда он отступил. Я посоветовался со Штупой. Он не пожелал тратить страховые резервы сгущенной воды на такую дорогостоящую операцию, как дальний переброс не израсходованных на ливень туч.

— Я уже прекращаю контроль над тучами, — сказал он. — И они начинают рассеиваться по своим естественным законам. Завтра, к сожалению, будет ясный день.

Ясный день начался с ясного утра. Бледно-голубое небо, такое прозрачное, словно его тщательно вымыли, засияло над землей. А земля была исковеркана и залита грязью. На месте массивного валуна, защищавшего меня во время урагана, виднелась выемка, затянутая уже подсыхающим рыжим месивом: ливень вытащил валун из земли, в которой он покоился, наверно, многие тысячелетия, подкатил к обрыву и сбросил. Мой бинокль тоже покоился где-то внизу, я попросил у Штупы другой. В бинокль открывалась однообразная картина: поваленные леса, реки, переставшие быть реками и превратившиеся в болота. Даже показавшемуся летнему солнцу требовалось основательно поработать, чтобы вернуть в это царство грязи хотя бы подобие твердости. Нового наступления кортезов можно было не опасаться, по крайней мере, неделю.

Из командного пункта выскочил метеооператор.

— Генерал, вас к правительственному пульту!

Штупа протянул мне две телеграммы. Гамов требовал, чтобы я немедленно возвратился в столицу. А вторая телеграмма — от Вудворта — разъясняла, что нам объявил войну Нордаг. Наш северный сосед, сдержанный и в показной дружбе, и в тайном недоброжелательстве, первый из союзников выступил против нас открыто. Инициированный нами ураган залил не только Забон, но и пограничные районы Нордага. Франц Путрамент, президент Нордага, обвинил нас в метеоагрессии. Я читал и перечитывал телеграмму. Штупа что-то спросил, я не ответил. Я ненавидел себя. Ведь я же видел на разведывательных интеграторах Прищепы, какая масса железа перемещается вдоль границ Нордага! Почему, нет, почему, обнаружив неладное в секторе “Северо-восток”, я так легкомысленно отнесся к грозному признаку? Вудворт предупреждал нас с Гамовым, что на верность Нордага не положиться, Ваксель заставил меня служить своему плану. Так ли уж трудно перехитрить неумного противника, а разве я теперь имею право называть себя по-другому? Сам полез в расставленную ловушку, сам полез, да еще так энергично!

В помещение быстро вошел Прищепа.

— Слушаю, Павел! — сказал я. — Какие еще несчастья?

— Нордаги большими силами опрокинули нашу пограничную оборону. Они окружают Забон. Завтра они будут на том месте, где мы сейчас разговариваем с тобой, Андрей. Какие отдашь приказания?

Я раздумывал, рассеянно глядя на экран. Операторы показывали северо-восточную окраину Забона. Там уже появились чужие войска. Нордаги не маскировались, они знали, что серьезного сопротивления не встретят. Мы все были недопустимо, преступно легкомысленны, и я — первый среди всех!

— Немедленно водолет! — приказал я Штупе. — Временно оставляю вас вместо себя. Будете оборонять город в окружении. Я с Прищепой лечу в Адан.

8

— В катастрофе виноват я, — сказал я на заседании Ядра. — остальные лишь выполняли мои приказания. Я позорно позволил Вакселю перехитрить меня.

Гамов был в состоянии ледяного неистовства — в тот день, признаваясь в своей неудаче, я впервые увидел его таким. Тогда я не удивился, я был слишком подавлен, чтобы чему-нибудь удивляться, но впоследствии мне часто казалось, что оно, это состояние сдержанного исступления, еще страшней часто овладевавшей Гамовым ярости.

— Семипалов, не преувеличивайте своих ошибок. Мы все повинны в позорных просчетах. За них придется платить не только нам, но и нашим противникам. Мы страшно вознаградим их за то, что они обвели нас вокруг пальца!

Я опасался, что Гамов потребует от меня готового проекта, как выправить положение, — в голове не было ни одной стоящей мысли. Но он без подсказок уже придумал план действий — и такой, какими впоследствии часто сражал противников: до того меняющий обстановку, что по одному этому принадлежащий к непредсказуемым.

— Полковник Прищепа, — сказал он, — докладывайте.

Павел во время нашего перелета в Адан непрерывно получал донесения от своих разведчиков. В Адане к ним добавились новые данные. Нордаги продвигались с вызывающей быстротой. Забон уже окружен. С возвышенностей, защищавших город, оборона сбита. Армию Ваксея и дивизии нордагов разделяют лишь те низины, которые Штупа залил и которые пока непроходимы для машин и для пеших. Нордаги уже захватили продовольственные склады Забона, расположенные в ущельях вне города. В городе продовольствия хватит недели на две, потом начнется голод. Франц Путрамент выступил по стерео. Вот выдержка: “Мы не будем атаковать город. Мы выморим Забон, не тратя ни одного солдата. Когда улицы этого города усеют трупы погибших от голода, мы вступим на его проспекты с развернутыми знаменами и устроим на площадях торжественный парад”.

— Мерзавец! — пробормотал побледневший Готлиб Бар.

Гонсалес сделал пометку в своем блокноте. Не сомневаюсь, что он вписывал в него кары, какие обрушит на Путрамента и его министров, когда они предстанут — если предстанут — перед Черным судом.

— Предлагаю первоочередные меры, — сказал Гамов. — Продовольственные нормы в Забоне сокращаются вдвое, мне горько идти на это, но другого выхода нет. Чтобы все помнили, что происходит в Забоне, вводим у себя в правительстве нормы этого города.

Готлиб Бар, любитель поесть, горестно вздохнул. Он так же печально вздыхал, когда Гамов, вводя валютную реформу, объявил нам, что ни один министр, тем более — член Ядра, не вправе рассчитывать на золото и банкноты. Ибо, сказал Гамов тогда, валютные товары комплектуются из резервов, созданных трудом всего народа до нас, а мы, правительство, ответственны лишь за текущую продукцию, оплачиваемую в калонах. Окружение Маруцзяна жадно обирало народ, мы же будем первым правительством, получающим меньше, чем средний труженик.

— Бар, доложите о производстве энерговоды и строительстве водолетов, — приказал Гамов.

Производство сгущенной воды увеличивалось. Четыре новых завода сгущенной воды уже в строю, на подходе еще двенадцать, развернулось строительство тридцати одного. Через год будет работать около шестидесяти энергозаводов.

С водолетами хуже. Одна Кортезия накопила опыт производства этих капризных летательных аппаратов. И одна создала боевой флот таких машин. У нас до переворота имелся лишь пяток водолетов, они обслуживали правительство, а в боях не участвовали. Уже изготовлено два десятка водолетов, к весне будем иметь несколько сотен.

— До будущей весны ждать не будем, — сказал Гамов. — Используем построенные водолеты немедленно.

И он объявил свой план вызволения Забона. Военные операции на западе прекращаются. Пеано оставляет здесь прочную оборону, а все высвободившиеся силы направляет на север. Задача перебрасываемой на север армии — в течение трех-четырех недель отогнать нордагов от Забона и перенести войну на их территорию.

— Невозможно, — сказал Пеано, — шесть недель — вот минимум времени для переброски армии с запада на север.

— Продовольствия в Забоне хватит по урезанной вдвое норме лишь на четыре недели. На пятой неделе начнется вымирание.

Был один из тех редких случаев, когда даже тени улыбки не появилось на лице Пеано. Он рассчитывал точно — даже за четыре недели не перебросить и не изготовить к бою целую армию. Я мог подтвердить это с такой же убежденностью, как Пеано. Я молчал. Гамов требовал того, чего и я потребовал бы на его месте.

— Вы сказали, что есть два десятка водолетов, — вдруг подал голос Пустовойт. — Может, перевозить на них продовольствие в осажденный город?

Для министра Милосердия было естественно изыскивать пути спасения людей, но даже непрерывные полеты двух десятков водолетов не сумели бы продлить больше, чем на часы, существование огромного города.

— Водолеты предназначены для диверсии в тылу врага, — ответил Гамов.

Штаб нордагов, сказал далее Гамов, расположен в лесу недалеко от столицы этой страны. Штаб охраняется надежно — по сухопутным дорогам к нему не добраться. Но почему не напасть на него с воздуха? Выбросить десант и захватить в плен командование. Если повезет, заполучим самого Путраменты. Когда командование нордагов будет в наших руках, все течение войны с ними переменится.

— Ваше мнение, Семипалов?

У меня были возражения. Я не против диверсии, ее удача могла спасти Забон. Но использование водолетов я одобрить не мог. С первого дня нашей власти мы условились, что водолеты — самое секретное наше оружие. О том, что мы так расширяем их производство, враг и догадываться не должен. Небольшая воздушная диверсия раскрывала этот план. Ради спасения города мы снижали шансы на победу в войне.

— Понимаю вас, Семипалов, — с волнением сказал Гамов. — Но ни вы, ни я никогда не простим себе, если в Забоне от голода хоть один человек умрет. Ведь это мы с вами, в первую очередь мы двое, своими ошибками поставили город перед страшной опасностью. Помню, помню, вы возражали мне, когда решалась северная операция, но ведь не настояли на своем, Семипалов! Не опровергли меня, а согласились. Соглашайтесь и сейчас, прошу вас!

— Соглашаюсь, — сказал я. Еще не было случая, чтобы Гамов упрашивал, а не требовал. Я не мог ответить отказом на такое обращение. И снять с себя вину за то, что Забон попал в беду, я не мог: и уступил вначале настояниям Гамова, и дал себя позорно обмануть, когда организовал отпор маршалу Вакселю.

— Водолеты уже вылетели с базы, — сказал Гамов. — Перед заходом солнца они начнут операцию. Семипалов, вы срочно возвращаетесь в Забон. Сейчас пойдемте все вместе обедать.

— Я пообедаю дома, — поспешно сказал Готлиб Бар.

Готлиб и раньше не жаловал правительственную столовую, его безлика в остальных отношениях жена в этом одном, в приготовлении вкусных блюд даже из невкусных материалов, достигала подлинного мастерства. На старых “четвергах” у Барамы не всегда успевали посмотреть на нее, когда она входила с блюдами пирожков и сладких печений, но изделия ее рук сразу приковывали взгляд. После нового сокращения правительственных пайков Бару было муторно в нашей столовой.

Мы с Гамовым сели за отдельный столик. Еда с сегодняшнего дня еще больше отвечала оценке, данной ей некогда Баром: “Во-первых, дрянь, а во-вторых, мало”.

— Семипалов, Войтюк уже переведен к вам, — сказал Гамов, понизив голос. Загадка Войтюка оставалась закрытой для всех, кроме нас с ним, да еще Вудворта и Прищепы. — Он получил свой кабинет в вашем министерстве. К сожалению, вы уже не сможете познакомиться с ним сегодня.

— Наоборот, раньше познакомлюсь с ним, а потом вылечу. У меня появились кое-какие соображения, скажу о них после. Две просьбы, Гамов. Разрешите поглядеть на покаянный лист Войтюка. И позвоните, когда начнется операция водолетов, я еще буду у себя.

— Покаянный лист Войтюка в вашем столе. Когда водолеты вылетят, я позвоню и скажу одно слово “да”.

После обеда я вынул покаянный лист. В невыразительном лице Войтюка не проглядывало ни одной своеобразной черты. И собственноручная исповедь подтверждала впечатление, что ни на что выдающееся этот человек не способен. Он, конечно, совершал неблагоприятные поступки, все в аппарате Маруцзяна виновны в таких поступках. Но то, в чем признавался Войтюк, было так ничтожно в сравнении с тем, что позволяли себе другие! Неудивительно, что этот человек первый решился на исповедь, думал я. Уж не ошибся ли Павел, приписав большую важность умолчанию об изумрудном колье? Вряд ли женщины любят мужчин с физиономиями войтюков, особенно когда женщины красивы и честолюбивы, как Анна Курсай, его жена. Но если появление у Войтюка фамильной драгоценности семейства Шаров произошло по причинам интимным, а не политическим, то это оправдывает умолчание о колье в покаянном листе, зато порождает другую загадку: кто-то все же передал кортезам информацию о концентрации наших сил около Забона — и тогда надо искать другого шпиона. И я сказал себе: буду исходить из

того, что именно Войтюк шпион и что невыразительность его физиономии не больше чем камуфляж такого высокого мастерства, что перед ним будет кустарной подделкой сияющая улыбка отнюдь не улыбчивого душой Альберта Пеано и очень женственная, очень нежная красота беспощадного Аркадия Гонсалеса. Итак, держать с Войтюком ухо остро!

Он вошел по моему вызову — точно такой, каким был изображен на фотографии. Только вытянулся по-военному, даже пристукнул каблуками. Зато заговорил вполне по-граждански:

— Вы, кажется, вызывали меня, генерал?

— Не “кажется” вызывал, а просто вызывал. Садитесь, Войтюк.

Он сел на краешек стула. Это могло означать высокую степень почтения ко мне. Я сразу дал понять, что со мной надо вести себя проще.

— Садитесь удобней, Войтюк, разговор будет долгим.

Он разместился удобней.

— Мне разрешили прочесть ваш покаянный лист, хотя это документ секретный. Без этого я не мог взять вас к себе.

— Моя биография вызывает сомнение? — поинтересовался он с некоторым беспокойством.

— В общем, нет. Мелкие провинности материального свойства... Преследованию закона не подлежат — не всякий этим похвалится. Вы, конечно, знаете, для чего вас переместили из ведомства Вудворта ко мне?

— Конечно, не знаю, — сказал он. И это намеренное повторение моих слов было пока единственным проявлением нестандартности. Сквозь внешнюю гладкость проскользнуло какое-то острие. Мне стало легче. Камуфляж меня не смущал. Я боялся лишь пустоты. Теперь можно считать, что его поведение — блистательно сработанная маска.

— Министерство внешних сношений меня не удовлетворяет, Войтюк. Отношения с ним слишком официальные. Запросы, ответы. Бумаги, печати... Мне надо иметь свой филиал этого министерства под боком, без бумаг, без телефонов... Своего консультанта по иностранным делам. Вудворт рекомендовал вас.

— Готов услужить. Если вы точнее обрисуете мои задачи...

Я сделал вид, что думаю о своем и не слышу его.

— Эта трагическая операция у Забона... Кто мог ожидать, что президент Нордага Франц Путрамент так отреагирует на запущенный нами ливень, угодивший уголком на его территорию?

Да подозревай я о такой реакции, разве разрешил бы направлять туда циклон? Вы опытный дипломат, скажите честно, ожидали ли вы, что на нашу совсем не провокационную операцию эта бестия Путрамент ответит войной?

— Я проблемой Нордага не занимался, — осторожно ответил Войтюк. — Но вполне можно предположить, что у нордагов с кортезами тайные соглашения. И если учитывать характер самого Путрамента... Вспыльчивый, импульсивный, неустойчивый... В общем, мало похож на нордага, они люди уравновешенные... Если бы вы меня спросили раньше, не выступит ли Нордаг, затронь мы его кровные интересы, я ответил бы вам: да, такая опасность имеется.

— Вот видите, вы прямо говорите — да, такая опасность имеется. А Вудворт отделялся неопределенными оценками. И чтобы получить их, надо было посвящать его в военные секреты, знать которые дипломату необязательно. Теперь это не такая уж большая тайна, что мы недавно планировали наступление в обход маршала Вакселя с севера. Мы информировали об этом Вудворта. Он предупредил, что надо быть осторожным, чтобы не испугать Нордаг большим скоплением войск у его границ. Потом, подсчитав свои ресурсы, мы отказались от наступления, лишь укрепили оборону. И никакого передвижения войск у границ Нордага не устроили — ни большого, ни малого. Стало быть, по Вудворту, беспокойств от Нордага было не ждать. Только край урагана промчался по их границе, но ураганы происходят и по естественным причинам и государственных границ не признают. А Нордаг объявил нам войну! Где же дипломатическая проницательность, хочу я знать? Я уважаю Вудворта, но военная политика должна строиться на фундаменте солидней того, какой предлагает наш министр внешних сношений.

В этой тираде я заранее отмерил информацию, какой надо делиться с Войтюком, если он, и вправду, шпион. И главное — убедить, что Вудворт не собирался снабжать его лживыми сведениями о нашем северном наступлении и что проект такого наступления реально имелся, но не осуществился из-за нехватки сил, чем с таким трагическим для нас мастерством воспользовался маршал Ваксель. Войтюк должен быть уверен — и его хозяева особенно, — что ему у Вудворта открылся источник правдивой информации. Без этого дальнейшая игра с Войтюком не имела смысла. Все, что он наплел врагам о концентрации

наших сил на севере, они расценили, конечно, как его провал. Они должны теперь верить, что провала у их агента не было, было непредвиденное изменение наших оперативных планов...

То же, что я должен был сказать дальше, зависело от звонка Гамова. Но Гамов молчал, хотя уже подошло назначенное для водолетов время. Я сделал вид, что задумался.

Войтюк не выдержал моего продолжительного молчания.

— Если разрешите, генерал? Все же мне не ясны мои новые...

— А? Что? — спросил я. — Не понял. Повторите.

Войтюк не успел повторить вопрос — зазвонил телефон. Гамов произнес одно слово “да!” и положил трубку. Можно было продолжать игру.

— Что вам делать, вы спрашиваете? А вот это самое — просвещать меня в международной обстановке.

И опять сквозь внешнюю обкатанность просунулось острие.

— В каком смысле просвещать? Читать вам лекции? Либо...

— Либо! — прервал я. — На шута мне ученые лекции? Советы нужны, толковые консультации. Поняли меня, Войтюк?

Он вполне дипломатически уклонился от прямого ответа.

— Слушаю ваше приказание, генерал.

Я притворился, что заколебался — можно ли открывать новому сотруднику государственные секреты? И решил — раз уж определил его на секретную службу, то ничего таить нельзя.

— Должен вас информировать, Войтюк, что не все у нас ладно в правительстве. По внутренним делам разногласий нет, тут единая линия. Но международные акции Гамова вызывают опасения. Даже не опасения, а возражения. Гамов безмерно преувеличивает наши возможности. И он не всегда понимает реакцию на свои действия, так сказать, в международном масштабе. Поссорил нас со всеми союзниками — разве это политика? Ваш бывший шеф возражал, мы все колебались — нет, настоял на своем! А результат?

— Диктатор действует как диктатор, — неопределенно заметил Войтюк. — Вы ведь добровольно назначили его диктатором, верно?

— Добровольно, да! Не в этом дело. Гамов чрезмерно перегибает палку. Он талантливый военачальник, блестящий оратор, умница, мыслитель... Но есть же границы самоуправству! Он такое задумал для выручки Забона — ахнуть! Вот тут я и попрошу вас разобраться, не слишком ли осложнят новые акции

Гамова международную обстановку. Военная часть его планов — моя сфера. Я должен ясно представлять себе все отдаленные последствия.

— Для этого я должен знать, что предпринимает диктатор...

Он выдал себя! Я почувствовал это и по изменению его голоса, и по тому, что он отвел глаза — страшился расшифровать себя испытывающим взглядом, — и по тому, что его руки, смирно покоившиеся на коленях, вдруг стали нервно подергиваться. От Войтюка шла волна, он излучал высокое напряжение, какого не могло быть при нормальном служебном разговоре подчиненного с начальником.

— Гамов превратился в какого-то ангела мести. Даже не ангела, а дьявола. У нас имеется несколько водолетов, жалкое подражание водолетному могуществу Кортезии. Военного значения они не имеют. Но Гамов посылает их в набег на Нордаг. Он хочет захватить в плен все правительство Нордага. И уморить всех голодом! На глазах у всех заставить испытать самих то, чем дурак Франц Путрамент пригрозил Забону! А потом, еще недоумерших, утопить в нечистотах — опять же публично.

— Какой ужас! — произнес Войтюк.

Я вдохновенно врал:

— Мало этого! До зимы завоевать весь Нордаг. Прекратить все операции на всех фронтах. Все силы бросить на Нордаг — и страшно отомстить населению за удар нам в спину. Акт терроризма, какого еще не знала история! Все видные люди страны, все деятели культуры, инженеры, священники осуждены на позорнейшую казнь. А остальных — женщин, детей, стариков — вышлют в северные лагеря на холод и муки. Вот такой план! Если бы Франц Путрамент догадывался хоть об одной десятой того, что ему теперь грозит, он не только не двинул бы свою армию через наши границы, но отвел бы ее подальше в глубь своей территории, чтобы даже отдаленный силуэт его солдата не бросался в глаза нашим пограничникам.

— Но ведь это геноцид! Преднамеренное истребление целого народа! — Войтюк выглядел потрясенным.

— Это неклассические методы войны — новое изобретение Гамова для истребления всяких войн. Путрамент живет в мире старых военных традиций, а Гамов вводит новизну. Страшную новизну, можете мне поверить.

— И вы согласились с ним? Простите, генерал, что решаюсь...

— Прощаю. Я не согласился. Но что я могу сделать? Забон надо спасать. Мы не отдадим этот город на истребление. И у меня нет идеи, как его выволить. А у Гамова есть. И он спасет город — но ужасными средствами. Вот такая реальность, Войтюк. Вы меня поняли?

— Понял. Что я должен сделать, генерал?

— Подработайте, как отзовется на международной обстановке захват Нордага. В смысле — реакция наших союзников, настроение наших врагов... Не скрою — в правительстве споры... Без обоснованных аргументов против экстремизма диктатора придется всегда ему уступать.

— Вы получите такие аргументы, генерал!

Войтюк задал наконец вопрос, какого я ожидал:

— Но ведь такие споры, особенно если они усилятся, могут привести к развалу единства в правительстве?

Я сделал вид, что раздумываю, надо ли быть до конца искренним.

— Мало ли было правительств, которые распадались от внутренних разногласий? Постараемся этого не допустить. Но такое разнообразие характеров собрано Гамовым вокруг себя, такое своеобразие личностей... Единство держится на его твердой воле, на силе его аргументов, на страстной его натуре... Но кто знает, с какими неожиданностями столкнемся завтра?

— Затребованные вами соображения о внешней обстановке представить письменно или ограничиться устным докладом?

— Письменно. Я тяжелодум. Устный доклад прослушаешь — и все. А письменное донесение можно перечитать, поразмыслить над ним. Идите, Войтюк, начинайте свои разработки.

Он ушел. Я позвонил Гамову и попросил срочного свидания. Он сказал, что выезжает на аэродром. Там меня уже ждет водолет.

На аэродроме я сказал Гамову:

— Я согласен с Прищепой. Войтюк — шпион. Он держался со мной именно так, как должен держаться высококвалифицированный разведчик.

Выслушав, что я наговорил Войтюку, Гамов пожаловался:

— Тяжкие обязательства вы взвалили на меня, Семипалов.

— Никаких обязательств! Попугал разведчика страшным лицом диктатора. Пусть он передаст по своим каналам угрозы нордагам. Думаю, это заставит их призадуматься. Лживые све-

дения о вас, придуманные мной, не имеют отношения к вашим реальным действиям, Гамов.

— Обязательства, а не обманные сведения! — повторил он. — Неужели вашей информации поверят, если за ней не будет дел? Вы заставляете меня теперь поступать именно так, как наврали Войтюку. И это скорее хорошо, а не плохо. — В его лице снова появилось то выражение ледяного исступления, какое недавно поразило меня. — Семипалов, диверсия против главного штаба нордагов завершена. Путрамент мы не захватили, он за два часа до нашего нападения уехал из штаба в столицу. Но в наших руках восемь генералов, тринадцать полковников, много младших офицеров и obsługi. Всего около восьмидесяти человек. Вот на них и покажем первую часть придуманной вами угрозы. Посадите их всех в железную клетку на главной площади города. И пока Путрамент не снимет осаду с Забона, определяю пленным половину городской продовольственной нормы, то есть четверть той, что была до нападения нордагов. А если Путрамент проявит упорство, выполним вторую фазу придуманного вами плана: пленных утопим в навозе, а на столицу Нордага набросимся с воздуха. Вы известили Войтюка, что во многом не согласны со мной. Значит ли это, что вы не исполните моего приказа, Семипалов?

Я не скрыл, что раздражен.

— Войтюка я обманывал. Вас обманывать не буду. Не восхищен вашим приказом, Гамов, но выполняю его неукоснительно.

И, холодно пожав Гамову руку, пошел к водолету.

Гамов стоял и смотрел, пока тяжелая машина не оттолкнулась от земли донными струями сгущенной воды, превратившейся в холодный пар. В тумане, окутавшем водолет, пропала вся видимость.

9

Штупа встретил меня на внутреннем аэродроме — внешний захватили нордаги.

— Положение стабилизировано, — доложил он. — Нордаги так ошеломлены пленением своих генералов, что прекратили движение навстречу кортезам. Да и затопление низины мешает полному соединению этих двух армий.

— Продовольственные базы нельзя отбить? Вы не прикидывали?

— Прикидывали. Невозможно. На охране баз большие силы. В ущелье одна железнодорожная ветка, одно шоссе. Даже полка не развернуть в атаку. Зато и разграбить базы им не удастся. Попытаются вывезти продовольствие в Нордаг, я залью ущелье доверху, на это моих ресурсов хватит.

Пленных разместили в бывшем коровнике. Коровник охранял отряд во главе с моим старым знакомым Григорием Вареллой. Среди его солдат я заметил Серова и Сербина. Я спросил Вареллу:

— После того дела, кажется, друзьями стали?

Он понял, что я намекаю на случай в окружении, когда Сербин устроил мятеж для захвата трофейных денег, а Варелла с Серовым способствовали его позорной каре. Улыбка Вареллы убедительней слов — да, было, было, жестоко наказали товарища, но за дело, нет у него причин обижаться, он нас простил, и мы его простили. Вот так я расценил улыбку Вареллы.

— Показывайте трофеи, Варелла. Кстати, почему вы в Забоне? Вас здесь раньше не было.

— Мы были в водолетном десанте. Семен с Иваном ворвались в штаб, я с другими десантниками за ними.

— Враг оказал сопротивление?

— Ручная работа, генерал. Кому кулаком по шее. Кому прикладом в зубы. Ни один не схватился за оружие, а ведь были и вибраторы, и импульсаторы.

Ко мне подошли сразу восемь генералов. Двое заговорили, перебивая один другого. Я холодно прервал их:

— Доложитесь по форме.

— Сумо Париона, генерал-полковник, заместитель главного командующего, — представился один.

— Кинза Вардант, генерал-лейтенант, начальник главного штаба, — сказал второй.

Другие шесть пленных были генерал-майорами и не осмелились вмешаться в мою беседу с их начальниками, только слушали. Младшие офицеры даже не приблизились — субординация у нордагов строгая, без разрешения низшие чины к высшим не подходят. Все были в парадных мундирах, шел всего третий день войны, когда их захватили, они еще красовались, а не подбирали одеяние поудобней. Только у короля Кнурки Девятого офицеры щеголяли в таких же роскошных мундирах, как эти северяне, дома являвшие образец скромности и бережливости.

Правда, в мирном быту расходовали на одежду свои деньги, а мундиры шились за государственный счет.

— Генерал Семипалов, мы протестуем! — сказал Сумо Париона. — Вы человек военный, вы должны понимать...

— Откуда вы знаете, кто я? — прервал я.

— Как можно вас не знать? У нас фотографии всех видных деятелей вашей великой державы. И мы рады, что именно вы оказали высокую честь...

— Понятно. Слушаю ваши претензии, Сумо Париона.

Я намеренно не назвал его воинского звания. Он вспыхнул от оскорбления, голос его дрогнул. И он, и его подчиненные возмущены обращением с ними. Солдаты диверсионного отряда рукоприкладствовали, страшно ругались. Даже его, заместителя командующего, один озверелый сержант хлопыстнул кулаком, хотя он, генерал-полковник славной армии нордагов, сразу понял бесцельность сопротивления и протянул в знак сдачи свое личное оружие. И это чудовищное помещение! На фермах нашей страны животные содержатся в большей чистоте! Он просит немедленно перевести их в военную гостиницу либо в гражданский отель — помыться, привести себя в порядок и пообедать. И он убежден, что я строго накажу тех злобных солдат, которые подняли руку на высших чинов армии нордагов. Латания — старая военная нация, в ней свято чтут традиции воинского благородства...

Во мне закипало негодование. Начальник этого генерала Франц Путрамент публично пригрозил выморить голодом население Забона, а потом устроить на его мертвых площадях парад торжествующих победителей. И ни один из его подчиненных, включая и этого седого большеносого прыща в роскошном мундире, не запротестовал против угроз президента. И нет сомнений, возьми они умерщвленный голодом город, он, генерал-полковник Сумо Париона, важно шагал бы впереди своих войск, удовлетворенно бросая взгляды на трупы убитых им детей и женщин у стен домов. И он требовал у меня хорошего помещения, ванны, еды..

— Вы правы, генерал, это помещение не для вас. Оно для мирных животных. А вы далеки от животных, — сказал я. — Я посажу вас в клетку на главной площади — на позор. И вы будете там оправляться на глазах у всех и есть открыто, а еда — ровно одна четвертая той скудной нормы, которую получали жители города до вашего выступления против нас. И если кто из

вас, генералы и офицеры, я говорю: если кто из вас подохнет с голоду, обещаю не рвать на себе волосы! И последнее, — я повысил голос, я уже не мог с собой справиться, такая палила ярость: — Если кто хоть словом, хоть взглядом выкажет протест против такого вполне вами заслуженного обращения, я разрешаю охране приводить вас в смирение кулаками, палками, плевками, даже тем навозом, в котором сейчас тонут ваши лакированные сапоги. И так будет до той минуты, пока ваш главнокомандующий не откроет дорогу на захваченные вами продовольственные склады города. Гарантирую, что половина из вас перемерет задолго до того, как скончается от голода первый житель Забона.

Уверен, что никакой ужас смерти — ни сверкнувшая в лицо молния импульсатора, ни судорога резонатора, ни разорвавшийся у ног снаряд электроорудия — не мог бы вызвать в лице Су-мо Париона такого страха и растерянности. Все пленные словно сразу решились голоса, ни один не издал восклицания, не проговорил ни слова. Возможно, впрочем, что любой звук они уже расценивали как протест, а кары за протесты были объявлены.

Я вышел из коровника.

В военной гостинице — моя старая квартира была закрыта, я туда не пошел — я заперся на два часа. Я не понимал себя. Еще сегодня я возмутился, услышав жестокое приказание Гамова, а сейчас сам его объявил от имени диктатора — и не считаю, что перешел меру. Мне показалось — да и раньше я так считал, — что суровость Гамова проистекает от жестокости его натуры. Я не был жестоким, знаю это о себе, но вот не только выполнил его приказ, но и всей душой присоединился к нему. Стало быть, и я таков же, как он, назвавший свою власть не суровой, а свирепой. Значит, и в моей натуре заложена такая же свирепость? Или все мы — лишь щепки в горных потоках неизбежности?

На исходе двух часов ко мне пришел Штупа.

— Не спите, Семипалов?

— Не до сна. Есть новости, Казимир?

— Пленные генералы обратились с просьбой.

— Улучшить условия жизни? Этого не будет!

— Нет, сообщить об условиях их жизни Францу Путраменту. Генерал-полковник составил телеграмму, просит о телефонном разговоре. Он согласен с вами: обрекать город на вымирание — это нельзя считать благородной воинской традицией, хотя, добавил он, такие события происходили в истории. Он надеется,

что президент Нордага уступит велению своего великодушного сердца и отменит приказ о голодной блокаде Забона. Склады откроют, а мы в отплату за это вернем пленных домой, либо — это крайний случай — создадим достойные их рангу условия существования.

— Черт с ним! Отправляйте его телеграмму, а когда станет известно, что Путрамент ее получил, допустите и к телефону.

Я соединился с Гамовым. Он одобрил мои распоряжения. Штупа сообщил, что и телеграмма вручена, и телефонный разговор состоялся. Путрамент созывает правительство, чтобы принять решение о судьбе своих генералов. Ответ он даст в новом публичном обращении к народу.

Все следующее утро радио Нордага передавало военные марши и местные новости. Лишь в полдень я услышал голос самого президента. Хорошо поставленным баритоном — ему бы в певцы, а не в политики! — президент погоревал о бедственном положении своих выдающихся помощников, понегодовал на коварные действия наших диверсантов, укорил за плохую работу свою разведку, не обнаружившую своевременно водолетов, а затем объявил, что не будет никаких уступок. Его условия: латаны немедленно освобождают всех пленных и соглашаются сдать осажденный город. До этого ни один мешок муки, ни одна банка консервов не пересечет границу Забона. Он со скорбью, с чувством печали и великого сочувствия понимает, что безжалостные латаны усилят свои позорные издевательства над его пленными генералами и офицерами. Он торжественно обещает, что родина сохранит благодарную память об их героическом поведении и жестоко отомстит врагам за их лишения.

Штупа воскликнул:

— Предает своих офицеров!

Я добавил с отвращением:

— Какие подлые слова: благодарная память о героическом поведении! А героизм — подыхать от голода в собственных нечистотах.

— Что будем делать?

— Вам — устраивать позорный быт пленников. Я поеду на восточную оборону города.

Даже слабая армия могла превратить глубокие ущелья, ведущие к складам, в непроходимую для людей и техники дорогу. Армия нордагов была малочисленна, но хорошо оснащена. Великим нашим просчетом было, что мы пустили сюда врага. Я

был больше всех виноват в том, что Забон отрезали от всей страны.

Я воротился к себе и вызвал Штупу.

— Что в низинах? Высыхает почва?

— Высыхает постепенно. И с такой же постепенностью Ваксель передвигается вперед. Он закончит соединение с нордагами еще до полного высыхания. Он не даст нам воспользоваться этой отдушиной в окружении.

Я постукивал пальцами по столу. В голове у меня не было ни единой стоящей мысли.

— Неужели Гамов ничего не предпримет для спасения города? — заговорил Штупа. — Путрамент отдал своих генералов на казнь, но ведь не дурак же он, чтобы не понимать, что мы не предоставим ему на растерзание Забон!

— Он не дурак, Казимир. И если бы он знал, что всей его стране предстоит тотальное разрушение, он не держался бы столь вызывающе.

— Так пригрозить тотальным разрушением! Неужели ни Гамов, ни вы не думали о такой возможности?

— Думали, Казимир, думали. Но что толку в открытых угрозах. Нордаги сочтут их пропагандистской акцией! Поедьте посмотреть на пленников.

Над городом простерлась ночь. Уличное освещение включалось — и не в полную силу — лишь на проспектах. Но площадь, где мы поместили клеть с пленными, была ярко освещена. Гигантский четырехугольник из стекла накрывался непрозрачной крышей, чтобы пленные не видели неба над собой и чтобы случайный дождь не смыл их нечистот. А внутри стеклянной клетки лежали и сидели наши пленные в тех парадных мундирах, в каких их захватили. Вокруг клетки ходили зрители. Я думал, приближаясь к площади, что услышу шум и проклятия жителей, удары кулаков и камней в стеклянные стены, я заранее оправдывал такое поведение — в клетки томились люди, обрекшие город на голод и вымирание. Но только шепот прохаживающихся людей да шелест их ног оживляли площадь. У меня ныло сердце.

Я подозвал Вареллу, начальника охраны клетки.

— Выдали пленным еду?

— Выдавали, генерал.

— Как приняли?

— Баланда! Ничего, выхлебали. Все миски пустые. Не это их смущает!

— Что-то все-таки смущает?

— Не могут при таком количестве прохожих оправиться. Женщины смотрят... Ждут полной ночи.

— Всю ночь будет свет. И прохожие будут.

Я медленно прошелся вдоль четырех стен. Пленные отворачивались от меня. Только генерал-лейтенант Кинза Вардан отразил мой взгляд взглядом, как пулю — пулей. Но ненависти я не увидел в его взгляде, скорее скорбь. И я поспешно отошел, чтобы и он в моих глазах не разглядел недопустимое для меня чувство — сочувствие. Все мы были слугами обстоятельств.

В гостинице я стал думать о Войтюке. Войтук в эти минуты составлял ключ к механизму международных диверсий. Шпион он или нет? Ошибся ли Павел Прищепя, подтвердил ли я ошибку Прищепы? Как много, как бесконечно много сегодня зависело от того, ошиблись мы с Павлом или нет! Я всеми помыслами души желал, чтобы человек этот, Жан Войтук, ныне мой консультант по международным делам, был реальным, а не выдуманным нами шпионом. Ибо, рассуждал я, угроза предать всю страну тотальному разрушению, высказанная публично, будет воспринята, как пропагандистский маневр. В нее никто серьезно не поверит — так сказал я Штупе, так оно было реально. Но весть, переданная шпионом по своим секретным каналам, нет, это уже не пропаганда, а деловая информация о готовящихся в великой тайне событиях. Такую информацию нельзя игнорировать, на нее нужно отреагировать немедленно. Войтук шпион, это же несомненно! И он передал услышанные от меня секреты. Почему же нет сведений о том, как восприняли его донесение? Почему нет ответных действий?

Я позвонил Штупе.

— Казимир, какие новости?

— Никаких. Вы чего-нибудь ждете, генерал?

— Жду новостей.

— Я позвоню вам утром.

— И ночью звоните, если будет что важное.

Утром я сам схватился за телефон:

— Казимир, новости?

— Никаких, генерал! — Штупа помолчал и осторожно задал вопрос, который на его месте я бы уже давно задал: — Мне кажется, вы чего-то ждете? Можно ли узнать чего?

— Жду сообщения о капитуляции нордагов, — буркнул я в трубку.

В ответ я услышал невеселый смех.

Чтобы развеять томление, я до полудня объездил все точки обороны. В столовой подали скудный обед. Из столовой я вернулся в гостиницу и прилег, но звонок телефона заставил вскочить. Штупа взволнованно кричал:

— Семипалов, включите Нордаг! Новая речь президента.

Я кинулся к приемнику. Франц Путрамент извещал свой народ, что его правительство сегодня на экстренном заседании приняло новое решение. Оно временно, до полного урегулирования споров, прекращает военные действия против Латании и отводит свои войска на старую границу. Оно уверено, что правительство Латании с должным пониманием воспримет великодушный акт нордагов и не станет чинить препятствия возвращению их войск на прежние рубежи. Оно убеждено, что решение прекратить в одностороннем порядке все военные действия благоприятно скажется на бедственном положении пленных военачальников, томящихся ныне в застенках Латании. И оно предлагает правителю Латании господину Гамову и его заместителю господину Семипалову срочно назначить специальную комиссию по перемирию и указать время и место встречи этой авторитетной комиссии с аналогичной комиссией Нордага для совместной работы по установлению справедливого и вечного мира между обеими державами.

Диктор, закончив читать речь президента Нордага, начал ее повторять. Я опустил голову на крышку приемника и заплакал. Я плакал и кусал губы, чтобы не дать нервному плачу превратиться в рыдание. Забон спасли!

Все снова и снова звонил телефон, но прошла долгая минута, прежде чем я нашел в себе силы снять трубку.

— Нордаги уходят из ущелья! — кричал Штупа. — Генерал, нордаги очищают ущелье!

На городском аэродроме приземлился водолет из Адана. К нам прилетели полковник Прищепа, министры Гонсалес и Пустовойт.

Они вошли ко мне все четверо — Штупа, Прищепа, Гонсалес и Пустовойт. И каждый пожимал мою руку и поздравлял с освобождением города, а я еле сдерживался, чтобы не заплакать. Штупа понимающе сказал:

— Генерал, вы именно на такую речь Путрамента и рассчитывали, когда ежечасно допытывались, нет ли новостей? У вас были причины ожидать столь удивительного отступления нордагов?

— Интуиция, Штупа. И уверенность, что не вовсе же северный президент потерял свой ум!

Штупа ни минуты не верил в сказку о моей удивительной интуиции. Но понимал, что расспрашивать больше нельзя.

У входа в ущелье вытянулась цепочка наших пустых машин. Еще вчера, пояись они на этом месте, их превратили бы в щепы и пыль электроорудия нордагов. Сейчас не было видно ни одного орудия, их уже укатали. Мы впятером поднялись на высоту, оставленную нордагами. С нее открывался обширный вид на лесистые и гористые окрестности Забона. В бинокль было видно, что по всем дорогам на север передвигаются войска. Через главное шоссе, соединявшее Забон с остальной страной, перекатывалась техника противника. Я прикинул мысленно — к вечеру можно восстановить сообщение с Адамом. Блокада кончилась.

Я отвел Прищепу в сторонку.

— Павел, мы не ошиблись! Мы были правы, Павел! Но почему такая задержка? Путрамент еще вчера нагло отверг просьбу своих генералов о спасении.

— Вчера кортезы еще не передали ему, что узнали от Войтюка.

— Возвращаемся в город, Павел. Я сам войду в стеклянную клетку и сообщу пленным, что, хоть пока их и не освобождаем, но предоставим человеческие условия существования.

Лицо Прищепы омрачилось.

— Боюсь, ничего из твоих намерений не получится. У Гонсалеса особое задание.

Гонсалес рассматривал в бинокль главное шоссе, пересекаемое войсками противника. Я сказал ему:

— Полковник Прищепа сообщил, что у вас особое задание. Друзья, подойдите ближе, слушаем все, какую террористическую акцию собирается осуществить в освобожденном городе уважаемый министр Террора, он же председатель международной Акционерной компании Черный суд.

Гонсалес не обратил внимания на недружелюбный тон.

— Именно террористическая акция, — подтвердил он. — Речь о пленных. Я составил сообщение для “Вестника Террора

и Милосердия”, диктатор утвердил его. Завтра оно появится в печати.

Он вынул заготовленную бумагу и прочитал:

“Развязав неспровоцированную преступную войну против нашего государства, президент Нордага Франц Путрамент открыто объявил, что планирует выморить голодом наши города, которые завоюет. В ходе сражений, начавшихся для нас неудачно, нордагам удалось отрезать от страны Забон и заблокировать снабжение его продовольствием, то есть практически приступить к выполнению своего бесчеловечного плана. Один из наших диверсионных отрядов отважным налетом захватил в плен всю военную верхушку армии нордагов. В отмщение за объявленную нордагами войну на истребление мирного городского населения Черный суд под моим председательством приговорил всех пленных генералов и офицеров противника к длительной пытке голоданием с последующим утоплением в нечистотах.

Сегодня президент Нордага Франц Путрамент, поняв, на какой преступный и бесперспективный путь он вступил, решил односторонним актом прекратить все военные действия против нас и снять блокаду с Забона. Приветствуя разумное решение главы нордагов, Черный суд отвечает на него актом высокого милосердия. Я отменяю для пленных муки голода и последующую позорную казнь. А вместо отмененной казни приказываю их всех расстрелять и трупы предать захоронению в местности, далекой от районов военных действий. Министр Священного Террора Аркадий Гонсалес”.

На какие-то секунды я потерял дар речи, потом закричал:

— Вы не сделаете этого, Гонсалес! Я запрещаю!

Он не сомневался, что именно это я и скажу.

— Вы не можете мне запрещать, Семипалов. Решения Черного суда ни отмене, ни обжалованию не подлежат.

Я лихорадочно искал зацепки, чтобы приостановить выполнение чудовищного приказа.

— Гонсалес! В районе военных действий военный начальник является высшей властью. И поскольку власть здесь принадлежит мне...

Он предвидел и это возражение. Теперь я знаю, что Гамов, давший санкцию на расстрел пленных, заранее вместе с Гонсалесом постарался поставить меня в безвыходное положение.

— Генерал Семипалов, последний полк нордагов покидает свои позиции. Город Забон перестает быть военным районом.

Глава правительства просит вас вернуться в Адан для исполнения своих текущих обязанностей.

Тогда я повернулся к Пустовойту. На его мясистом некрасивом лице застыло выражение скорби и безнадёжности.

— Ты министр Милосердия! — сказал я. — Где же твое милосердие? Почему не протестуешь, милосердный министр?..

Лицо Пустовойта перекосилось в жалкой улыбке.

— Я протестовал, Семипалов, я очень протестовал! Но мне лишь удалось создать хорошие условия пленным после расстрела...

— Хорошие условия для расстрелянных? — переспросил я с ненавистью. — Похоронить как людей, а не как падаль? И это называется милосердием? Простая человеческая совесть у вас сохранилась? Эх, вы!

Я пошел ото всех. Я должен был остаться один. Я не мог никого видеть.

Часть третья
ПЕРЕЛОМ



1

— Гамов! Расправа с пленными — позор для нас!

Такими словами я открыл Ядро. Джон Вудворт глядел в сторону: возмущенный, как и я, он не хотел ссориться с Гамовым. Готлиб Бар и Альберт Пеано усиленно демонстрировали сокрушение, сокрушенным — в меру своей природной вежливости — выглядел и Штупа. Прищепа и Омар Исиро изображали бесстрастность. Аркадий Гонсалес сиял, красивое лицо стало даже красивей — я отвел глаза, не всякая красота восхищает. А министр Милосердия состроил мину, не отвечавшую ни обстановке, ни его министерским функциям — выражал на своем уродливом лице что-то кисло-сладенькое: “Нехорошо, очень нехорошо, но я же все, что мог, сделал”.

— Жду ответа, диктатор. И от того, приму ли ваш ответ, зависит, останусь ли в вашем правительстве.

Это был вызов — и Гамов принял его. Он не сомневался в победе надо мной. И не только в большой победе, подводящей итоги всем спорам и делам, но и в сегодняшней, маленькой, нужной лишь для того, чтобы сломить мое неожиданное сопротивление и обеспечить дальнейшую покорность его верховной воле.

— Понимаю ваше возмущение, Семипалов. Скажу сильней — рад вашему возмущению, — таким парадоксом он начал свой ответ. — Если даже вы потрясены и негодуете, то как потрясены и негодуют враги. Вы только возмущены, а у них добавляется и страх! Они возмущены и уstraшены! Состояние, единственно желанное для нас!..

— Неклассические методы войны, — съязвил я. — Но согласитесь...

И тут он нанес удар, против которого я не имел защиты.

— Не соглашусь! И напомню об одном вашем разговоре, очень важном и очень ответственном разговоре. Не описываю

всех обстоятельств, но вы тогда сказали: если бы наши враги знали, какие силы сопротивления развязывает их военная акция, какие демоны мести обрушатся на них, какую ответную реальную беспощадность вызовет их словесная угроза беспощадного обращения с мирным населением... О, если бы они это знали, так сказали вы, то никто не осмелился бы и слова угрожающего пискнуть. Так вы говорили, Семипалов! Только этим, только внезапным озарением разума, вдруг распознавшего ваши угрозы, я могу объяснить их внезапное паническое отступление от Забона. Может быть, предложите другие причины, Семипалов?

Он безжалостно показывал, какие следствия не только для врагов, но и для нас самих произвели угрозы, придуманные мной лишь как обманная акция. Не обманная акция, а программа действий, ибо без них угрозы останутся лишь ораторскими изощренностями, так он сказал мне на аэродроме. Он снова и снова возвращался к моей игре с Войтюком — и бил тем, что отказывался видеть в ней только игру. И назвать Войтюка не желал — не все члены Ядра знали о нем.

Я еще пытался сопротивляться:

— Но разве мы, когда нордаги неожиданно отступили, не могли показать своего великодушия? Для чего тогда создали министерство Милосердия, Гамов?

Омар Исиро редко вмешивался в споры, я упоминал об этом. Но иногда он изменял этой привычке, чтобы довести до нас важную информацию.

— В сегодняшней “Трибуне” Фагуста задает точно такой же вопрос и высказывает предположение, что нашему правительству в принципе милосердие не свойственно. Надо ли мне протестовать против его выпада?

— О Фагусте особая речь, Исиро. Вы требуете великодушия, Семипалов? Но разве мы не оказали его? Нордаги отвели назад свои войска. Но вы могли уничтожить их, когда они выбирались из ущелий. Сил на такое истребление у вас бы хватило, Семипалов.

— Они знали, что мы не нанесем им предательского удара в спину, когда они совершают желанный нам уход.

— Вот, вот — были уверены в нашем великодушии! И мы оказали его, не покарав армию нордагов за вторжение в наши пределы. Но расстрел военной верхушки врага — не военная операция, а акт Священного Террора против военных преступников, Семипалов! Путрамент увел свою армию не потому, что

опасался ее истребления, а потому что убоялся за себя. Он понял, что самый первый, самый верный, самый беспощадный удар мы нанесем не против армии, воюющей с нами, а против тех, кто погнал эту армию на войну — и нас не стеснят никакие традиции воинского благородства!.. Все эти лживые традиции и лицемерные словечки придумали сами вдохновители и организаторы войн, чтобы обезопасить себя при поражении. Расстрел высокопоставленных пленных показал Путраменту, что мы будем беспощадны и к нему, попади он к нам в руки. И избирательного, только для него, великодушия не будет, а будет избирательная, специально для него, жестокость. Полковник Прищепа, доложите, как реагировал президент Нордага на расстрел пленных генералов.

— Нордаги после отхода закрепились на границе, — докладывал Павел. — Концентрация войск была такая высокая, что облегчала повторное наступление на нас всеми полками, если понадобится. Сообщение о расстреле пленных передали с опозданием на шесть часов. Путрамент начал работу в своем кабинете в восемь, в десять позавтракал. В одиннадцать передали информацию о расстреле. В пять минут двенадцатого — последние известия еще продолжались — секретарь президента стал вызывать министров. В двадцать минут двенадцатого правительство собралось. В сорок минут того же двенадцатого часа из главного штаба полетели предписания в войска немедленно отходить на тридцать лиг в глубь страны. Отход еще продолжается. На самой границе остаются лишь сторожевые посты. Внутренний оборонительный рубеж спешно оснащается тяжелым вооружением.

— Слышали, Семипалов! — с силой бросил Гамов. — Не были в том вашем удивительном разговоре пророчили, что, будь правители Нордага проницательней, они отвели бы свои войска от границы. Расстрел пленных породил в мозгу Путрамента озарение — и он ответил мгновенно исполнением вашего пророчества.

Гамов издевался надо мной! Он говорил моими словами — из словесных угроз ставшими реальным действием. И я не мог возразить ему потому, что сам желал именно такого превращения грозных слов в реальные дела. Расстрел пленных лежал в рамках нарисованной Войтюку программы дальнейшей войны с нордагами.

— Можно не опасаться, что вы уходите из правительства? — насмешливо поинтересовался Гамов.

— Остаюсь, — буркнул я.

— В таком случае, ведите заседание дальше.

Я спросил, что ответим на просьбу президента о встрече двух комиссий для решения пограничных споров и государственных претензий.

— Не понимаю Путрамента, — заявил Вудворт, я к нему первому обратился. — У нас с Нордагом никогда не было пограничных споров.

— Ничего не отвечать президенту, — предложил Пеано, счастливо улыбаясь. — Наше молчание еще нагонит на него страху.

Но я считал, что отмалчиваться несолидно, и продиктовал такой ответ: "Господин президент, от встреч правительственных комиссий воздерживаемся, пока вы не высосете из пальца несуществующие правительственные претензии и не придумаете пограничные споры".

Ответ приняли с воодушевлением. Гамов вдруг впал в восторг. Все же он втайне опасался, что я отойду от него.

— Семипалов, вы нагнетаете страх на врагов даже сильнее, чем я хотел. Такая оплеуха Путраменту! Казнить его не только угрозами, но и презрением!

Вудворт тоже одобрил наглый тон ответа.

— На время проблему Нордага оставляем, — сказал я. — Главное — положение на фронте и положение в тылу. Начинайте, Пеано.

Пеано обрисовал военное положение со всех сторон. С одной стороны слышались ликующие барабаны победы: нам удалось отразить наступление кортезов с родерами, освободили осажденный было Забон, на фронтах устанавливается тишина, и можно считать, что до весны ее не нарушат. Поражение на фронте, недавно почти реальное, в близком будущем не грозит.

Но с другой стороны, докладывал Пеано, вместо радостного гула медных труб слышится унылая тягомотина сопелок. Ни одна из стратегических целей не достигнута. Кортезы с родерами не отогнаны в глубь Ламарии. Патина на две трети оставлена. Ввязавшийся в войну Нордаг едва не захватил второй город страны. На южных и восточных границах надежность соседей

сомнительна. Вывод: надежды завершить войну в этом году не оправдались.

Я спросил Вудворта, не хочет ли он дополнить доклад Пеано? Он заметил, что оправдывается старая пословица: когда говорят пушки, музы молчат. Он относит к сфере муз также и искусство дипломатии. Дипломатия вырождается. Дипломатию заменяет информация. Недавно объявленное диктатором удивительное предположение, что превращение ненадежных союзников во врагов принесет нам пользу, сможем вскоре проверить. В столицы союзных держав зачастили агенты Кортезии. Министр Прищепа подтвердит эту информацию.

— Подтверждаю, — сказал Павел. — Кортезия переманивает к себе наших союзников. Они выпрашивают условия выгодней... Один Нордаг выступил без колебаний, но его пример скорей оттолкнет других от быстрых соглашений.

— С союзниками ясно, — сказал я. — Бар, обрисуйте хозяйство.

И Бар докладывал по формуле: с одной стороны — одно, а с другой — совсем другое. Промышленность работает лучше, чем при Маруцзяне, урожай собрали. Золотая реформа и разбронирование резервов вызвали энтузиазм. Но резервы почти исчерпаны, а урожай не такой, чтобы вызвать хороший приток товаров. К зиме снабжение населения снова ухудшится. Бандитизм не ликвидирован. Прежних наглых — при дневном свете — нападений на поезда, на склады, на жилье больше нет. Однако ночь — по-прежнему время разбоя. И близится зима, а в темную пору оживляются все темные силы.

— Гонсалес, — сказал Гамов, — докажите преступникам, что не просто щеголяете высоким званием министра Террора. До морозов истребить всех бандитов до последнего — вот ваше задание.

— А сколько бандитов в стране? — деловито осведомился Гонсалес.

Прищепа пожал плечами. Анкеты бандитам не раздают, они не информируют, сколько членов в каждой шайке. Можно лишь предполагать, что от 180 до 190 тысяч.

— Выловлю! Попрошу Пеано выделить мне десяток полков для внутренней войны и подчинить мне всю полицию.

— И то, и другое — пожалуйста! — сказал Гамов.

Пустовойт с упреком сказал Гамову:

— Вы даете Гонсалесу конкретные задания, а меня игнорируете.

Я впервые заметил в тот день, что к Гонсалесу и Пустовойту Гамов относится по-разному. И выражение лица, и голос, и слова менялись, чуть он поворачивался от одного к другому. Гамов словно выключал в себе одно душевное состояние и включал другое. К красавцу Гонсалесу, нежнолицему, широкоплечему, узкому в талии, — ему очень шел и прежний мундир майора, и нынешние черный костюм и плащ, оба на белой подкладке — Гамов поворачивался хмурый, глядел непреклонно, говорил властно. А некрасивому массивному Пустовойту — лишь Константин Фагуста превосходил его общей массой — Гамов улыбался, глаза делались добрыми, всем в себе он излучал внимание и готовность слушать. Я бы сказал, что Гонсалесу он приказывал, как генерал офицеру, а с Пустовойтом обращался как с ребенком, которого часто приходится обижать, но всегда хочется утешить.

— Вам тоже будут задания. Без милосердия не обойтись ни при каком терроре. Все виды снисхождения для разоружившихся бандитов разрабатываете вы. И получите право задерживать карающую руку нашего друга Гонсалеса.

Я закрыл заседание и попросил остаться Гамова, Вудворта и Прищепу — пока лишь они были посвящены в операцию.

— Подвожу итоги: Войтюк — шпион. У кого сомнения?

Сомнений не было ни у кого. Я поставил новый вопрос — как быть с ним дальше? Хранить у себя за пазухой бесценным сокровищем, как требует диктатор? Либо расправиться, как с обыкновенным шпионом, чтобы не создались непредвиденные обстоятельства?

Все согласились, что надо продолжать игру.

— Тогда ставлю два условия. Первое — я передаю Войтюку только правдивые сведения, чтобы в глазах его хозяев не потерять авторитета.

Вудворт высоко поднял брови.

— Передавать правдивые сведения для дезинформации? Простите, я дипломат, а у нас максимум успеха — удачно обмануть. Говорить правду, чтобы обмануть, — это выше моего понимания.

Прищепа разбирался в технологиях обманов глубже Вудворта.

— Важен успех, а как он достигается — правдой или ложью — второстепенно. Семипалов передал Войтюку в общем

верные сведения, а в результате так напугал Путрамента, что нордаги отшатнулись от собственного первоначального успеха.

— Но это ведь не значит, что вы дезинформировали противника, — настаивал Вудворт. — Не понимаю ваших хитрых ходов.

— Хитрость их в том, что они долгое время лишены обмана. Но наступит момент, и я передам лживую информацию, а ей поверят, потому что привыкли верить мне. Это можно сделать только раз — и надо рассчитать, чтобы был именно тот случай, что способен повернуть течение войны.

Вудворт больше не спорил. Гамов сказал:

— Вы поставили два условия. Первое: передавать только правдивую информацию. Принимается. Слушаем второе условие.

— Повремените с публичным объявлением последнего наступления на бандитов. Все, что нужно готовить для него, будем готовить. Но объявим позже. А пока я передам Войтюку как самую секретную информацию, что мы собираем силы для очищения страны от преступников и что вы, Гамов, готовите громовую речь.

И это условие было принято. Павел сказал мне:

— Не хотите ли для последующего изучения нюансов... в общем, отличный записывающий аппарат?..

Я ответил, оскорбленный:

— Полковник Прищепа, я был уверен, что вы отлично знаете свое дело. Приходится разочаровываться. Неужели вы до сих пор не поставили такого прибора? Или не считаете меня с Войтюком деятелями государственного значения?

Даже чопорный Вудворт изобразил что-то похожее на улыбку. Прищепа весело сказал:

— Понял. Будете довольны качеством записи.

Отправляясь домой, я прихватил номер “Трибуны”. Дома было холодно и неуютно. Елена вторую неделю инспектировала какие-то заводы. В окно хлестал дождь, естественный дождь самой природы. От искусственных ливней Казимира Штупы он отличался лишь тем, что был еще унылей и надоедливей. Я не люблю осенних дождей, в них мне остро чувствуется ненужность — ни для самой природы, уже не взыскующей, как летом, воды, ни для меня. И я помечтал о грядущем, когда общество будет так богато, что сможет командовать климатом свободнее нас. И тогда какому-нибудь будущему Штупе прикажут устраи-

вать грозы и вёдро, снегопады и ветры для увеселения, а не по необходимости. И в будущей “Трибуне”, уже мало похожей на ту, что я взял в руки, можно будет прочитать: “Сегодня с 16.30 до 17.05 — большой развлекательный дождь, потом радуга на четыре ярких и три приглушенных цвета и вечернее гулянье на насыщенном озоном воздухе”. “До такого времени, ох, далеко”, — сказал я себе и развернул газету.

Константин Фагуста разразился новой статьей против правительства. Он не призывал брать оружие и идти свергать нас — но это было, кажется, единственным, на что он не осмеливался. Он доказывал, что международная политика Гамова — малоэффективна, когда правильна, и неправильна, когда эффективна. А действия Черного суда? — с возмущением спрашивал Фагуста. Сплошные ошибки и неудачи. Объявлена программа платной казни, чуть ли не программа гражданского бунта против всех видов подлости. И что же? Не слышно что-то о нападениях на королей и министров, на генералов и военных промышленников. Зато казнят беспомощных пленных! Неужели правители не понимают, что казнью пленников сами совершают воинское преступление и что за него придется отвечать? Старые — классические — методы войны отвратительны, ибо сама война отвратительна, так объявил нам диктатор. Но разве лучше то, что он практикует взамен отвергнутой старины? Хрен редьки не слаще, говорили наши предки.

Я отложил “Трибуну” с тяжелой душой. Меня мучили два противоположных чувства — негодование и бессилие. Негодование не на Фагусту, нет, ибо сам говорил то же, что он, только говорил это в крохотной правительственной группе, а не публично. Я негодовал на самого себя, что был бессилён предотвратить расправу над военными преступниками. И не только был бессилён, но и согласился с Гамовым, что сам спровоцировал это преступление и потому не имею права возмущаться. И странное дело! С первого знакомства с “Трибуной” человек этот, Константин Фагуста, стал мне неприятен. А сейчас я просто ненавидел его — за то, что он был прав, а я не мог, не имел морального права признать его правоту!

2

Природа, на время освобожденная от насилия над собой, разгулялась по собственным законам. Океан, безжалостно оби-

раемый в недели сражений, сейчас отдыхал — свободное его дыхание густыми массами туч разносилось по старым воздушным путям.

Мне тяжело описывать те осенние месяцы. Наступило царство Гонсалеса. Все утренние известия завершались его появлением на стереоэкранах. Он извещал, сколько преступников за прошедший день сдались добровольно, сколько убитых, сколько захваченных. Раз два в неделю на стерео показывался и Пустовойт и повторял все одно и то же: повинную голову меч не сечет, тех, кто сдается добровольно, он, министр Милосердия, берет под свою защиту: молодых и здоровых — в армию, больным — лечение, негодных для войны — на посильные работы.

Операция “Очищение” поначалу шла вяло. Вылавливались городские шайки, блокировались убежища банд. Перелом наступил, когда осень дождливая превратилась в осень холодную. Выпал первый снег — пока еще естественный, а не метеогенераторный. Праздник первого снега, традиционное торжество страны, ознаменовал своей стереоречью Гонсалес. Он не был хорошим оратором, даже я, не говорю уж о Гамове, владел словом лучше. Но содержание речи не нуждалось в украшении, оно и без того разило грохотом уши тех, к кому обращался наш министр Террора.

— Объявляю Неделю Тишины и Раздумья, — говорил Гонсалес. — В эту Неделю полиция и армия не производят никаких операций по вылавливанию бандитов, а вы, бандиты и пособники их, на кратком недельном покое обдумайте свою дальнейшую судьбу. После Недели Спокойствия — Неделя Амнистии, этой недели потребовал мой коллега, министр Милосердия Пустовойт. В Неделю Милосердия все сдавшиеся с оружием получают полное прощение либо минимальную кару. Все завершает Неделя Истребления, даже не неделя, а сколько потребуются. И уже не будет прощения и милосердия, самые суровые кары поразят случайно приставших к банде одинаково с главарями. Не пропустите последних спасительных дней! И не надейтесь укрыться в горных логовах, в глубинах лесов. Выморозим укрывшихся, засыплем их метеоснегами! Всей армией страны пойдем на вас!

— Я знаю, в шайке не существует полного единства, — продолжал Гонсалес. — Большинство устало от разбойничьей жизни, измучено лишениями, понимает неотвратимость наказания.

Но вас, большинство, терроризируют вожаки, их приспешники. Вы боитесь их? Но почему? Ведь вас много больше! Так разоружите главарей! Свяжите, убейте, если сопротивляются. Нападите на сонных, если трусите перед бодрствующими! И несите на пункты милосердия — связанных или убитых. Вожак впереди своей банды либо тот же вожак, связанный или мертвый, — вот пропуск в амнистию! Повторяю: не пропустите последний День Милосердия! Не отриньте последний шанс снова стать людьми из того полужвериного бытия, в которое сами ввергли себя!

Вот такова была речь Гонсалеса. Ее предварительно просматривал Пустовойт, утвердил Гамов. Гамов посоветовал и мне поработать над ней, я отказался. Это не моя епархия — внутренний террор.

День, начавший Неделю Тишины, меньше всего можно было назвать тихим. Стерео все снова и снова повторяло речь Гонсалеса, а в промежутках между речью и известиями забивало уши музыкой. Наш добрый Омар Исиро, министр информации, искренне думал, что бравурная музыка превращает черные мысли, от которых впору вешаться, во что-то радостное.

Во всяком случае, тихая неделя шла очень тревожно — и для несдавшихся шаек, и для страны, истомившейся от беспокойства, и особенно для нас — правительства, основавшего все планы на амнистии и всеобщем успокоении.

Первый День Милосердия дал обильный поток “амнистёров”, но его перекрыл второй, а еще больше третий день. Плотину нерешительности прорвало. Сдающиеся так торопились, словно боялись, что последний день сдачи наступит раньше, чем объявлен. На четвертый день поток ослабел, а в последний, седьмой день, на пункты явилось лишь несколько человек.

С бандитизмом в стране было покончено.

В речи к народу сразу же по завершении недели милосердия, Гамов именно так и обозначил достигнутый успех.

— Всего сложило оружие 273565 человек, — сказал он. — Это означает, что массовый бандитизм ликвидирован. Отдельные преступления могут совершаться, от единичных преступлений не застраховано ни одно общество. Но организованной преступности больше нет. Вдумайтесь в это! Из внутренних войск, воевавших с бандитами, мы теперь сформируем десять

дивизий в помощь фронту. Не меньше дивизий дадут и “амнистёры”. Какое облегчение для страны! Какое облегчение!

Он закончил речь обращением к женщинам. Воззвания к женщинам, как некий ударный аккорд, завершали почти все речи Гамова к народу:

— Милые мои подруги! Я обещал вам, что эту зиму вы будете без страха шагать по ночным улицам. Поздравляю вас: для страха оснований больше нет. И еще поздравляю многих с тем, что их соскользнувшие с честной дороги дети и близкие вновь возвращены к нормальной жизни нормальных людей!

На очередном Ядре Гамов изъяснялся совсем не в таких радужных тонах. Впервые он сделал выговор Прищепе.

— Полковник Прищепа, вы безобразно ошиблись! Уверяли, что бандитов в стране сто семьдесят-сто восемьдесят тысяч, а сложило оружие в одну неделю больше двухсот семидесяти. Как строить надежную политику на такой ненадежной разведке? А если сведения о неприятельских силах столь же точны? Может быть, стремительное продвижение маршала Вакселя к Забону объясняется тем, что трагически преуменьшены его реальные силы?

Павел признал недостатки разведки, но указал и на объективные причины просчетов. В районах военных действий у него своя агентура. И живым агентам там помогает инструментальная разведка, сеть тайных датчиков — приборы точные и надежные. Но внедрять своих людей в бандитские шайки гораздо трудней, инструменты здесь неприменимы. Наблюдать за неприятельской армией проще, чем следить за десятком преступников, сбившихся на короткое время в одну стаю.

Гамов продолжал утверждать, что трудно вести политику, когда неточно представляешь себе настроение народа. Ошибка с количеством бандитов лишь часть более общей и трагической ошибки — неизвестности, сколько людей поддерживают нас, а сколько наших противников. В каждой квартире не поставишь подслушивающее устройство, в каждую семью не введешь своего агента.

— Побойтесь бога, Гамов! — не выдержал Готлиб Бар. — Да спросите у меня, если не верите Прищепе! На заводах, на селе, в магазинах, это все мои объекты, нашу деятельность одобряют, нас хвалят.

— Вы меня не поняли, Бар. Я не утверждаю, что наша разведка уже ошиблась в оценке настроения народа. Но говорю, что такая ошибка возможна, и мы можем ее проглядеть.

Гамов, уверен, высказывал давно обдуманное. Он считал, что в обществе, сцементированном единой волей, в данном случае его, Гамова, верховной волей, очень трудно распознать истинные настроения людей. Свободного обсуждения нет, борьбы партий не существует — как же узнать, о чем думает средний житель? В стране, где нет разногласия мнений, нет и точного понимания людей. Мы сами создали такую страну, но, используя достоинства единовластия, не должны забывать и о присущих единовластию пороках.

— А Фагуста? — возразил я. — А этот беспардонный демагог, которого вы почему-то опекаете, разве он не высказывает открыто мнения, отличные от наших?

— Рад, что вы, наконец, нашли пользу в деятельности редактора “Трибуны”, Семипалов. Фагуста — как бы узаконенный критик всего, что мы делаем. Он — крайность. А масса молчит. Только чрезвычайные события заставляют все население открыто заговорить.

— Информация методом провокации, — сострил Готлиб Бар. До министерского поста он считался мастером острословия, но сейчас и ему было не до острых словечек. Все же он повторил с удовольствием: — Информация методом провокации!

— Вы правы, Бар. В нашем обществе народ на откровенность надо провоцировать. Лишь чрезвычайность заставляет людей забыть о молчании. Вот почему так опасно ошибся наш друг Прищепа в оценке реальной мощи бандитов. И меня тревожит, что мы строим свою политику, не ведая реального настроения народа. Поразмыслите об этом.

После заседания я вышел вместе с Гонсалесом.

— Просьба, Гонсалес, — сказал я. — Только не спрашивайте, зачем мне нужно то, о чем попрошу. Пока это мой секрет. Не могли бы вы по одному моему требованию арестовать человека и держать его в заключении, пока я не прикажу его освободить или не предам вашему суду?

Гонсалес обиделся.

— Вы, кажется, забыли, Семипалов, что в моем подчинении вся полиция и все охранные войска? Могу арестовать любого. Даже вас самого!

— В своем аресте я пока не нуждаюсь. И постараюсь не забывать, что в ваших руках вся полиция и все охранные войска.

Я мог бы попросить об аресте и Павла Прищепу, отношения у меня с Павлом были иные, чем с Гонсалесом. Но я учитывал, что репутация у Черного суда куда грозней, чем у разведки.

3

Отношения с Войтюком развивались так, как и должны были развиваться. Он стал не только угодливо слушать, но и осторожно задавать вопросы. Следующей стадией должна была стать наглость. Надо было показать ему, что реальность иная: он в моих руках, а не я в его.

— Войтук, — сказал я после его доклада о новостях в международной жизни, — не кажется ли вам, что у нас утечка информации?

Он и глазом не моргнул.

— В каком смысле — утечка информации?

— В самом прямом. Передают врагам государственные тайны.

— Полученные у нас?

— Полученные от меня.

Ему стало изменять натренированное хладнокровие.

— Кто же мог передать секретные сведения, полученные от вас?

— Вы, Войтук. Вы передали их за рубеж.

Он все же еще не верил, что разоблачен. Он молчал, собираясь с мыслями. Я тоже молчал. Он решил, что лучшая оборона — не соглашаться с обвинениями. Таков, очевидно, был внушенный ему стандарт оправдания — для легких случаев.

— Не могу поверить, что вы серьезно, генерал! Мне — и такое обвинение! Это же чудовищно!

— Почему чудовищно? Нормальное явление, Войтук.

— Отказываюсь понимать! Немыслимое обвинение! Совершенно немыслимое!

— Серьезное, Войтук, только серьезное. В остальном, повторяю, вполне нормальное. Ибо вы делали лишь то, что должны были делать.

— Делал то, что и должен был делать?

— Именно. Раз вы профессиональный шпион...

— Генерал, я глубоко уважаю вас. Но это не значит, что я готов снести любые оскорбления. Я приму свои меры.

— Примете свои меры? Какие? Вздумали мне грозить?

Он постарался взять себя в руки. Вначале он сильно побледнел, теперь краска возвращалась на щеки.

— Чем я могу угрожать вам, генерал? Я знаю свое место. Но я потребую доказательств! Все обвинения только слова, если за ними не стоят факты.

— За ними стоят факты, Войтук. Вы понимаете, что любой начальник интересуется тайнами своих подчиненных, особенно занимающих такие ответственные посты, какой вы занимали сперва у Вудворта, а теперь у меня. Ваш покаянный лист меня разочаровал, Войтук. Вы забыли упомянуть в нем о полученном вами подарке — изумрудном колье, фамильной драгоценности старинного рода Шаров. И преподнес вам это кольцо сам Ширбай Шар, министр его величества Кнурки Девятого. Очень важные сведения надо было передать Ширбаю, чтобы он расстался с родовой драгоценностью.

Войтук не напрасно выбрал себе профессию, требующую не только проницательности, но и мужества. Он тревожился, пока сохранялась неизвестность, и шел в открытый бой, когда другого выхода не было.

— Вы не думаете, генерал, что для ценного подарка могли быть и иные причины, кроме политических?

— Бросьте, Войтук. Это дешевый прием — намекнуть на интимные связи между вашей женой и Ширбаем. И нет вам нужды обливаться грязью себя и жену. Не было у вашей жены связи с Ширбаем. И не могло быть. Во-первых, вы сами не допустили бы такой связи, для этого вы слишком любите свою жену, это мне известно. И во-вторых, развратник Ширбай настолько пресыщен связями с женщинами, что за еще одну связь, даже с такой красавицей, как ваша жена, не отдаст одну из фамильных драгоценностей. Другое дело — оплата важных государственных секретов. За некоторые из них и драгоценностей не жалко.

— Вы говорите так, будто знаете, какие государственные секреты я передавал Ширбаю Шару?

Войтук дошел до такого спокойствия, что закинул ногу на ногу. Еще ни разу он не позволял себе подобной вольности. Сознание, что против меня имеется убийственный козырь, продиктовало ему внешнюю развязанность.

— Вы сами скажете, что именно передавали Ширбаю.

— На допросах у вашего друга Прищепы? Уж не собираетесь ли вы меня арестовать?

— Во всяком случае, не исключая такой возможности.

— Она исключена. Советую меня не арестовывать.

Теперь я видел его насквозь. Он был слабее, чем я опасался. Такого можно брать голыми руками.

— Вот как — советуете не арестовывать? Не откажите в любезности объяснить, почему такой совет?

— Вот почему, взгляните получше!

Он с торжеством поднял вверх самопишущую ручку. Он всегда вынимал эту ручку, когда приходил ко мне — и вел ею записи в тетради. Я с первого взгляда на нее не сомневался, что это не только ручка, но одно из тех устройств для передачи информации, какими удивлял меня Павел, когда мы сражались в окружении.

Войтюк победно выложил свой главный козырь:

— Все наши разговоры, генерал, аккуратно записывались и сейчас хранятся в надежном месте. И если меня арестуют, весь мир узнает, что заместитель диктатора был источником сведений для шпиона!

— Значит, вы признаетесь, что шпион, Войтюк?

— С тем важным дополнением, генерал, что вы действительно помогали шпиону. И потому ответственность за успешно проведенный шпионаж ложится на вас. И вашей блистательной политической карьере грозит полный крах, если станет известно о вашей связи со мной.

Я сделал вид, что растерялся и предался трудному размышлению.

— Хорошо, арестовывать вас не буду. Вы думаете, дело ограничится только тем, что вы останетесь на свободе?

Он вообразил, что взял верх. И не удержался от торжества.

— Генерал, пора поставить все точки над і. Вы человек умный и смелый, это всем известно. И понимаете, что попали в опасную ситуацию. Но нет положения, из которого не было бы выхода. Выход предлагаю такой: мы продолжаем так удачно начатое сотрудничество.

— В смысле?

— Да, генерал. Вы будете снабжать меня ценными сведениями, я буду передавать их дальше.

— Вы предлагаете мне совершить измену?

— Вы уже совершили ее! Ваше сообщение, что Гамов в ярости готовит дикую расправу над целым народом, прибыло вовремя и было высоко оценено. Нордаги избежали грозившего им уничтожения. И донесение о том, что сражения на фронте прекращаются на всю зиму, а все оборонные силы бросаются на ликвидацию бандитизма, тоже было своевременным и важным. Правда, вы извещали, что с речью к народу выступит Гамов, а он такой речи не произнес.

— Гамов поручил ее Гонсалесу.

— Мы так и поняли — поручил. Между прочим, самому ужасному человеку в вашем правительстве! Итак, мы продолжаем сотрудничество, генерал. Только вместо хитрого выуживания из вас секретов, которыми вы и без того легко делитесь, я буду задавать вам осмысленные вопросы, а вы давать осмысленные ответы.

— Называйте ваши осмысленные вопросы.

Он на мгновение снова растерялся. Он все же не ожидал такого быстрого согласия на государственную измену.

— Так сразу, генерал?.. Ну, во-первых, новые дивизии... Сколько сформируете в течение зимы — из мобилизованных, амнистированных?.. И — сгущенная вода! Производство энергозаводы на новых заводах, расширение старых. Вы создаете свой водолетный флот, но каковы масштабы?.. Разрешите фиксировать ответы...

— Минуточку... Сперва проведем одно дело. — Я вызвал Гонсалеса. — Семипалов. Рад, что узнаете по голосу. Гонсалес, я просил вас, если понадобится, выполнить одну мою просьбу. Вот эта просьба. Немедленно арестуйте Анну Курсай, жену моего сотрудника Войтюка. Обвинение предъявлю потом. Режим — одиночная камера. И никаких послаблений! Позвоните, когда возьмете ее. Пока все.

Не знаю, понял ли Войтюк, как реально раскладывается игра, но побледнел он смертно. Он силился что-то сказать и не мог. Я встал и подошел к нему. Войтюк отшатнулся, не поднимаясь из кресла. Он глядел на меня белыми глазами.

— Подонок ты! — сказал я. — Дерьмо собачье! Вздумал командовать мной! Одному удивляюсь — неужели в Кортезии не нашлось ни одного толкового разведчика, что воспользовались таким ничтожеством, как ты?

Он пошевелил губами, но снова не сумел ничего сказать. Я воротился на свое место и заговорил спокойно. И постарался, чтобы металл в голосе звучал доходчиво.

— Слушай внимательно, слизняк! Ты надумал превратить меня в своего слугу. Мы поступим по-иному. Превращать тебя в простого слугу я не буду. Ты станешь моим рабом. Будешь выполнять все мои повеления — быстро, самозабвенно, энергично!.. Вот так будешь мне служить, проходимец! И только такое служение спасет тебя и твою жену. Что такое одиночная камера у Гонсалеса, наверное, догадываешься. Ты сказал, что Гонсалес — самый страшный человек в правительстве. Вполне согласен с тобой.

Он наконец выдавил трясущимся ртом:

— Почему Анна?.. Она невиновна!

— Она виновна! Виновна хотя бы в том, что выбрала в мужа такого остолопа, как ты, шпион-неудачник. Ее арест гарантирует твою верность и исполнительность. Наш дорогой диктатор Гамов бредит категорией, название которой — эффективность. Каждое действие должно давать эффект — и желательно максимальный. В этом я его верный последователь. Пока твоя жена в тюрьме, ты будешь мне рабски служить. А откажешься, что ж — и ее судьба, и твоя будут горестными. Дальнейших разъяснений не нужно?

С трудом, но он уяснил безвыходность своего положения.

— Служить — хорошо... Но разве я могу быть вам полезен?

Я решил, что пора переходить от угроз к нормальному тону, и сменил грозное “ты” на полупрезрительное “вы”.

— У вас возникли сомнения, Войтюк?

— Видите ли... Я могу передавать сведения отсюда в Кортезию. Но что я могу передавать из Кортезии сюда? Их секреты мне неизвестны... Простите, я не отказываюсь, но..

— Прощаю. Одобряю за искренность. Вы правы, каждый шпион — полупроводник. Данные, найденные им, текут только в одну сторону. Это меня устраивает. Вы будете моим личным шпионом не для того, чтобы получать секретные сведения из Кортезии, это гораздо лучше вас делают агенты Прищепы. Нет, вы останетесь источником секретнейших сведений для Кортезии, передатчиком того, о чем я захочу кортезов информировать.

Войтюк попался на том, что посчитал меня глупей, чем я был. Но и я совершил с ним такую же ошибку. Несмотря на то,

что чувства его были в смятении, он безошибочно уловил, к чему я клоню. Он медленно, словно вслушиваясь в каждое слово, проговорил:

— Генерал, если я правильно... Вы хотите дезинформировать кортезов?.. Передавать им через меня ложные сведения?

Я подтянулся внутренне. От того, поверит ли мне Войтюк, зависела удача задуманной операции — во всяком случае, первая ее стадия.

— Нет, Войтюк, не так. Я не стану пичкать вас ложью. Все, что я передам через вас, будет правдой. И не просто правдой, а важными государственными секретами. Разве не так было до сей поры? Я снабдил вас известием, что Гамов готовит нордагам жестокую кару. И разве то, как жестоко Гамов расправился с беззащитными пленными, не показывает, что было бы со всеми нордагами, не отведи они свои войска с нашей территории? А то, что мы прекращаем на фронте всякую активность до весны? Что не только полицию, но и армию бросаем на тотальное истребление преступности в стране? Я снабжал вас правдивой информацией, Войтюк. И впредь буду снабжать такой же.

Он постепенно отходил от потрясения.

— Но ведь это значит, генерал...

— Войтюк, вы опять ошиблись. Это значит совсем не то, о чем вы подумали. Я не предаю своей родины. Ни в одном факте, о котором вам сообщу, не будет ничего вредящего моей стране. И наоборот, всякую вредящую ей информацию, ставшую мне известной благодаря моему положению, я утаю от вас, Войтюк. Поэтому никаких данных о количестве дивизий, об энерговоде, о строящихся водолетах! Это будет правда, только правда, но правда, полезная для моей страны и для меня как одного из ее соправителей.

Искра разума, блеснувшая в его глазах, опять стала тускнеть.

— Не понимаю... Какой же тогда смысл?..

— Напрягите внимание, Войтюк. Повторяю: родине я не изменю, но это не значит, что я во всем согласен с диктатором. Иные его поступки вызывают раздражение — и не только у меня. Временами он своей резкостью, своим крутым нравом... Короче, правитель не столь жестокий нашел бы гораздо больше возможностей для соглашения с нашими противниками.

Он наконец уловил смысл предлагаемой игры. Но интерпретировал применительно к своему уровню — примитивно и грубо.

— Вы правы, генерал... Правительство, возглавляемое вами...

— Не обязательно мною. Но не Гамовым.

— Да, тогда откроются иные возможности в мировой политике. Гамов на мир не пойдет, пока не уступят его немыслимым требованиям. Уверен, что влиятельные круги в Кортезии поддержат ваше благородное стремление реорганизовать правительство.

— Надеюсь на это. Так вот — информация, которую буду передавать вам, должна помочь реорганизации нашего правительства. Оказать давление на Гамова в нужном направлении! И начну ее передавать немедленно.

— Слушаю, генерал. — Войтюк снова вынул ручку, разложил на коленях блокнот для видимости записи.

— Фиксируйте, Войтюк. Гамов намерен в скором времени обратиться ко всем воюющим с нами странам с официальным предложением. Он запросит условия, на которых враги согласятся замириться. Между прочим, диктатора тревожит, какова его истинная популярность в народе. Имеет ли он надежную поддержку в душах? Ему нужны чрезвычайные условия, чтобы люди высказались открыто — за или против него?

— Понял. Создадим такие чрезвычайные условия. Так ответят Гамову, что от него отшатнутся его сторонники! Можете считать, что союзники сделают все возможное, чтобы расчистить вам дорогу к власти.

Я сказал очень холодно — я ненавидел этого мелкотравчатого подонка, вдруг возомнившего, что он может вещать голосом всех правительств, соединившихся против нас:

— Войтюк, вы преувеличиваете свои возможности. Ваше дело — передавать информацию. И не сверх того. А что решат союзники, они решат, не советуясь с вами.

— Слушаюсь, — он мигом сбавил тон. — Будет еще информация?

— Будет. Профессиональные разведчики получают от хозяев плату. Я не спрашиваю, сколько вы получаете, Войтюк, и чем получаете — деньгами или драгоценностями для жены. Но что получаете, не сомневаюсь. Политики получают от дружественных правительств не плату, а финансовый кредит. Без денег политику вообще, а тайную тем более, не осуществить. Передайте, чтобы сумму, которую я потребую, положили секретно в один из банков Клуга мелкими порциями на безымянных предъявителей.

— Вы назовете эту сумму?

— Называю. Сто миллионов диданов в ста порциях по миллиону.

У Войтюка едва не выпала ручка.

— Простите, вы сказали — сто миллионов диданов?

— Сто миллионов — и в качестве первого взноса.

— Сто миллионов диданов! — бормотал он, еще не веря. — Это же десять чудов золота!

— Будем считать на банкноты, а не на золото. Бумажки легче металла. Сто миллионов мелкими порциями по миллиону диданов.

Он сумел усмехнуться.

— Мелкая порция в миллион диданов. Сто дин золота! Да такую мелкую порцию одному не унести.

— Повторяю — считайте на банкноты.

— А что передать — почему сто счетов, а не один?

— Для того, чтобы я мог сразу проверить, что деньги переведены и я могу ими пользоваться.

— Каким образом пользоваться, генерал?

— Самым простым — прийти в банк, назвать секретный шифр и получить числящуюся на этом счете сумму. Разумеется, не сам приду, а один из моих агентов, какому захочу вручить эту сумму. Так вот, ваши хозяева без промедления кладут в банк сто миллионов диданов, вы сообщаете мне секретные шифры ста счетов, а я поручаю своему агенту для проверки получить суммы, скажем, с двух-трех. И буду знать, если он эти деньги получит, что вступил с союзниками в тайную связь. Но если хоть один счет окажется пустым!.. И если вообще не будет уведомления, что созданы такие счета... В этом случае, Войтюк, нет нужды ни в тайной связи с кортезами через вас, ни в вас самом.

— Иначе говоря, если на связь с вами мои начальники не пойдут, мои дни можно считать сочтенными? — уточнил он спокойно. Классические правила тайной игры — уничтожение провалившихся агентов — он знал хорошо. Я дал понять, что дальнейшая игра будет отходить от классических канонов.

— Не только ваши, но и всех ваших близких, Войтюк. Но почему такой пессимизм? Во-первых, служба моего нового агента, каким вы теперь являетесь, может удался — и тогда будем заниматься подсчетом не оставшихся вам для жизни дней, а наград за удачу. А во-вторых, если не будет нужды в шпионе Войтюке, то, возможно, появится нужда в Войтюке —

знатоке международных отношений. И тогда ваша камуфляжная внешность станет вашей подлинностью. Вы не допускаете такого поворота событий?

Он смотрел на меня, пытаюсь оценить достоверность моих обещаний.

— Генерал, буду служить вам верой и правдой! Ибо вы на том месте, какое сегодня занимает Гамов, — самая отрадная возможность для улучшения международных отношений. Чтобы здраво судить об этом, мне не нужно быть тайным агентом, достаточно оставаться экспертом дипломатического ведомства.

Зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Слушаю, Гонсалес. Благодарю. Да, до дальнейших распоряжений, правильно. Дальнейшие распоряжения будут такие: освободите Анну Курсай. Скажите, что задержали по недоразумению. Дорогой Гонсалес, я же объяснил вам — особый мой секрет. Разве заместитель диктатора не может иметь свои политические секреты? Еще раз — благодарю!

Я выразительно посмотрел на Войтюка. У него кривилось лицо. Он еле удерживался от слез. Он любил свою жену, это было явно.

— Генерал, — сказал он. — Поверьте мне...

Я прервал его:

— Идите и выполняйте, что намечено. Анна не в курсе ваших... особых функций?

— Что вы! Разве я стал бы жертвовать ее благополучием?

— И впредь не жертвуйте. Идите. Идите!

Он ушел, а я задумался. И, как после встречи с пленными нордагами, снова чувствовал, что не понимаю себя. Все получалось по-иному, чем я рассчитывал. Никогда раньше я не подозревал в себе скрытого влечения к интригам, к обману, к рискованным политическим комбинациям, а сейчас занимался ими — и с охотой. Я усмехнулся, вспомнив собственные слова: “Буду передавать вам только правдивые сведения”. Говорить правду ради утверждения лжи! Великая ложь, которую я задумал, держится, как на незыблемом фундаменте, на тысячах мелких правд. Тут был парадокс, я не мог постичь его. Конечно, я мог сказать себе: командует внутренняя логика событий, действую по ее железным законам. И это тоже было правдой, одной из тех маленьких правд, на которых выросло грандиозное здание большой лжи. Но, впрочем, думал я, можно бы выразиться по-другому: меня вел рок, я попал под власть этой все объясняю-

щей причины мировых событий — того таинственного двигателя, что выше людей, выше богов. Выше самого времени. Я пожал плечами. Древний назвал бы рок и успокоился, против рока не попрешь. Но я не верил в существование высших сил, слово “рок” мне ничего не объясняло. Но в естественную логику событий я верил. А естественная логика событий вела меня по пути, какой я считал неестественным.

— Иду к вам, — сказал я Гамову по телефону.

В маленьком кабинете были Павел Прищепа и Вудворт. Гамов радостно протянул мне руку.

— Блестяще, Семипалов! Некоторые моменты — шедевр!

— Какие?

— Прежде всего — о том, что вы хотели бы сместить меня и стать главой государства. Очень убедительно! Они в это сразу поверят, это вполне в их духе — соперничество лидеров.

Я сказал очень серьезно:

— Гамов, а вам не приходило в голову, что я и вправду хотел бы занять ваше место?

Он знал, что превосходит всех нас, и не стеснялся — без оскорбления — это показывать.

— И не придет! Вы меня не замените, но и я вас не заменю. Каждый на своем месте, а в целом мы — стальное единство.

Это было, конечно, правдой. Вудворт спросил:

— Почему вы назначили такую огромную сумму за сотрудничество с Войтюком? Вряд ли Аментола согласится на столь баснословные выдачи.

— Он согласится, Вудворт, За сотрудничество с каким-то разведчиком Войтюком такие платы немыслимы, вы правы. Но я предложил политический союз, сотрудничество с Кортезией, а не с ее отдельными агентами. И, если Аментола не раскошелится, грош ему самому цена. Огромность запрошенной суммы корреспондирует огромности задуманного дела. И я предупредил, что на первом взносе не останавлиюсь. Тайный союз с тайными противниками Гамова обойдется кортезам дороже, чем их явные союзы с другими государствами.

— Вашим вдохновенным враньем, Семипалов, вы поставили передо мной неожиданные проблемы, — признался Гамов. — Например, обращение к врагам с вопросом о целях войны и возможностях мира. Вы передали, что я готовлюсь к такому обращению, а я и не думал о нем.

— Теперь подумайте. Не будет ничего плохого, если укажете условия, на которых возможно прекращение войны. А они обнародуют условия. Давно назрело время знать, во имя чего мы воюем.

Гамов слушал меня рассеянno. Уверен, что в его мозгу уже возникали те хлесткие формулировки, какими он вскоре поразил мир. Я придумал обращение Гамова ко всему миру, чтобы создать видимость передачи Войтюку секретных сведений. Но выдумка моя породила великую декларацию — поворот в мировой политике. Логика событий выше наших личных решений.

Рассеянность, овладевшая Гамовым, была так явна, что мы трое — Вудворт, Прищепа и я — сослались на неотложные дела и ушли.

4

Итак, Войтюк спровоцировал меня на придумывание государственного секрета. Я спровоцировал Гамова на “Декларацию о войне”, а “Декларация о войне” стала одной из вех, определяющих ход истории.

Будущий историк не найдет в “Декларации” ни единой идеи, которые не были бы уже Гамовым высказаны ранее. Он повторялся. Но повторялся так энергично и сжато, придавал идеям такую четкость, что они сразу врубались в память. Главным в декларации было то, что являлось главным во всех его прежних речах: война — преступление против человечества. Руководителей и пособников войны должен судить суд скорый и безжалостный. Я сотни раз слышал от Гамова такие речения, они носили скорее эмоциональный, чем политический характер. Даже в создании Черного суда все помощники Гамова, кроме одного — Гонсалеса — увидели нечто, помогающее победе, а вовсе не обвинение против всего человечества.

Я высказал возражения против слишком хлестких формулировок.

— Семипалов, вы раньше требовали, чтобы я изложил философию нашего правительства. Вот я и высказываю ее. Вы с ней не согласны?

— Недоумеваю. Вы объявили преступниками всех, кто ведет войну. Но ведь это означает, что и мы преступники?

— А разве вы сомневаетесь в том, что вы преступник?

Он сказал это так серьезно, что не я один запротестовал. Не мы начали войну, мы лишь ведем ее к победе, — нашей победе, разумеется. Мы не создатели, не организаторы военных ситуаций. И мы не можем собственным старанием прекратить войну. Если мы признаем себя преступниками и захотим перестать ими быть, нам это не удастся. Война — несчастье, а не преступление. В преступлении присутствует злая воля, в приказах командующего армией необходимость — защита своей страны. Командующий — слуга неизбежности, но не злодей.

— Вы пацифист. И доводите отрицание войны до крайних пределов, — поддержал меня Вудворт. — С вашей программой я не смогу проводить международной политики. Вы ставите меня в немыслимое положение, Гамов!

Наш министр внешних сношений так разволновался, что повысил голос. Гамов хранил хладнокровие, даже улыбался. Не так уж часто теперь выпадали случаи — видеть Гамова улыбающимся.

— Я не призываю вас соглашаться со мной. Лишь в очень простых случаях создается полное единомыслие. Проблема войны к таким случаям не относится. Я опубликую “Декларацию о войне” как мое личное обращение к народам мира. А вы сообщите о несогласии с отдельными формулировками редактору “Трибуны”. Фагуста создаст шум вокруг наших расхождений.

— Зачем вам шум господина Фагусты? — с раздражением спросил Вудворт. — Он повредит авторитету нашей монолитности.

— Нам важнее знать реальное настроение народов, чем добиваться насильственного единства в своем кругу. Тот факт, что в правительстве расхождения, заставит каждого составить собственное мнение, Фагуста шумихой будет способствовать этому.

— Снова получается информация методом провокации, — повторил Готлиб Бар полюбившуюся фразу.

Мне, уже наедине, Гамов обрисовал свой проект “Декларации” несколькими иными линиями. Разве я не внушил Войтюку, что он будет получать от меня только правдивую информацию? И разве не солгал, что сам выступаю против диктатора? А если враги дознаются, что Семипалов вовсе не соперник Гамова и вовсе не ведет против Гамова тайной войны? Ведь тогда начатая игра потеряет значение. А теперь они скажут се-

бе: нет, до чего же дошли у них распри, если не поостереглись открыто выставить на обзор свои разногласия! И окончательно уверятся, что Семипалов, точно, скрытый соперник, а не последователь Гамова.

Он выкладывал это радостно — восхищался собой и тем, что придумал удивительную ситуацию: все помощники возражают против его идей, но все сохраняют верность ему на практике. В нем непостижимо совмещались несовместимости — добиваться “эффективности” самого маленького поступка — и забывать о любой пользе ради идей, практически неосуществимых, но из разряда тех, что именуются высокими. Он понимал, что декларацией о войне вызывает раскол в своем окружении. Я сказал, что он предоставлял решение спора всему человечеству — и это не фраза. Он видел своим единственным серьезным партнером во всех спорах именно все человечество — и ни одним человеком меньше!

Я сказал ему, раздосадованный:

— Гамов, а не опасаетесь ли вы, что при накоплении разногласий я постепенно стану не только вашим соперником, но и противником? Во всяком случае, никогда не признаю себя преступником — ни обычным, ни даже военным, хоть я и военный министр.

Он весело отозвался:

— Предоставим решение истории. Не возражаете?

— Что еще остается? — буркнул я.

Вот такой был разговор, когда Гамов соединил свои разрозненные выпады против войны и военных в жесткие формулы “Декларации о войне”. А затем он опубликовал ее как обращение ко всем народам и правительствам. И первым на нее, естественно, отозвался Фагуста. Но вот что примечательно — неистовый редактор “Трибуны” на этот раз неистовствовать не захотел. Он сдержанно отозвался о признании всех политиков и идеологов, причастных к войне, преступниками перед человечеством. Правда, сдержанность Фагусты содержала в себе и яд: ради высшей справедливости, иронизировал Фагуста, в преступную коалицию определены не только враги, но и друзья, и сами творцы “Декларации о войне” — самокритика, граничащая с самобичеванием! Неудивительно, что не все члены правительства согласились объявить себя преступниками.

Все же шум вокруг “Декларации”, начатый “Трибуной”, был много меньше того шума, на какой надеялся Гамов. Внутри страны “Декларация” большого возбуждения не породила.

Зато за рубежом имя Гамова звучало повсеместно и повсечасно. И это были голоса возмущения и негодования. Слишком большую вину взвалил Гамов на слишком многих людей. Они не признали этой вины. И впали в ярость.

Гамов поставил перед враждебными правительствами вопрос, который я придумал для него в игре с Войтюком: каковы ваши условия мира? Правительства не торопились откликнуться. Они предоставляли арену спора ученым и журналистам. Двое деятелей из нейтрального Клуга, профессор философии Орест Бибер и писатель Арнольд Фальк, попросили Гамова о личной встрече. Орест Бибер написал, что намерен в беседе с Гамовым выяснить сущность того удивительного биологического образования, которое называется человеком. Арнольд Фальк объявил, что заранее не придумывает ни одного вопроса, но вопросов появится ровно сто, чуть он взглянет на живого диктатора Латании. Ибо у него мысли возникают не по рассуждению, а по наитию, и не организованно, а вдохновенно. Короче, не по программе, а по озарению.

Гамов выслал разрешение на приезд. Оба гостя скоро появились в Адане.

Гамов попросил всех членов Ядра присутствовать на беседе. Оба были люди известные. Орест Бибер числился в модных мыслителях, был автором десятка книг. Одну из них, “Сущность несущественного”, я прочитал, но не понял — она вся состояла из парадоксов, и каждый новый парадокс опровергал предыдущие. В моих мозговых извилинах они не умещались. Вторую книгу: “Сексуальные влечения в мертвой материи”, я подержал в руках, но читать не стал: меня уstraшили рисунки, иллюстрирующие текст. Готлиб Бар, любитель словесной эквилибристики и знаток учений, сконструированных по принципу: “Зайди ум за разум”, убеждал меня, что я много потерял, не познакомившись с этой книгой крупнейшего философа современности. Я ответил, что потерь не нахожу, а если, наоборот, чего-то не приобрел, то примирюсь с этим. Бар так и не понял меня. Его любимое присловье: “Любое неприобретение — это потеря”, правда, у него и голова много крупней моей.

Что же до Арнольда Фалька, то я прочитал два его романа. Но тоже не был очарован. Он пишет ломом, а не пером. Такому человеку, по-моему, небезопасно появляться перед Гамовым

после того, как тот объявил всех поклонников войны преступниками. У Гонсалеса Арнольд Фальк должен был числиться в еще не опубликованном списке — и против его фамилии, наверно, проставлена крупная сумма в награду за казнь, какой его когда-нибудь удостоит Черный суд. Я спросил Гонсалеса, верны ли мои предположения. Он ответил с многозначительной краткостью:

— Обвинен. Но еще не оценен.

Гости прибыли во дворец в сопровождении Готлиба Бара, наиболее эрудированного среди нас в философии и литературе. Поскольку о творчестве гостей разговора не началось, его эрудиция не пригодилась. Я сидел напротив гостей за длинным столом. Гамов восседал на председательском месте.

— Слушаю ваши вопросы, господа, — сказал Гамов.

Философ, высокий, белобрысый, узколицый, стал говорить, но писатель, темноволосый и темноглазый, длиннорукий и громкоголосый, вдруг прервал его.

Записываю беседу Гамова с гостями по памяти. И хоть не поручусь за отдельные слова, смысл передаю точно.

Б и б е р. Господин диктатор, ваше определение войны...

Ф а л ь к (*с негодованием прерывает философа*). Черт знает, что такое! Вы же герой, диктатор! От кого угодно. Но от вас? Нет!

Бибер подождал, не скажет ли Фальк чего-либо вразумительной, но тот выкрикнул и замолчал, лишь гневно таращил на Гамова красивые, почти синего белка, глаза — они выразительней слов передавали настроение. Насколько на бумаге этот человек был по-своему, по-тяжеловесному, красноречив, настолько же косноязычен в речи. Впрочем, смысл его речей был ясен по выкрикам.

Б и б е р. Я продолжаю, диктатор. Ваше определение войны как самого тяжкого из преступлений перед человечеством...

Г а м о в. Поправляю, философ: не война, а войны.

Б и б е р. Это имеет значение — войны или война? Единственное или множественное число?

Г а м о в. Решающее значение.

Б и б е р. Что именно решает?

Г а м о в. Не хочу равнять прошлые войны с нынешней. Именно о войне, которая идет сегодня, утверждаю, что она величайшее преступление людей перед людьми.

Ф а л ь к (*взрывается*). Все понял! Вы притворяетесь пацифистом.

Г а м о в. Почему притворяюсь?

Ф а л ь к. Потому! Ясно?

Г а м о в. Не ясно.

Ф а л ь к. Вы же кто, Гамов! Это я вам говорю. Можете мне поверить. В окружении!.. Маленьким отрядом в осколки полковника Парпа! Я же его лично знаю. Это пупырь!

Г а м о в. Простите, что такое пупырь?

Ф а л ь к. Как — что такое? Пупырь — это пупырь! Пупырь и все! А дальше? А дальше, я спрашиваю? С одной дивизией на армию — и всю армию!.. И не герой? А в Адане? Кучка товарищей и мигом переарестовать все правительство! Геройство же! В Клуре никто на такое не решится, а пора. Никудышное у нас правительство, можете мне поверить. Как же вы не герой?

Г а м о в. Не смею спорить.

Ф а л ь к. И не разрешу! Другого такого нет! Это я вам точно. И на тебе — декларация! Как это вытерпеть? Отвечайте прямо и бесстрашно — как это вытерпеть?

Г а м о в. Отвечаю прямо и бесстрашно: придется терпеть.

Ф а л ь к. Тогда молчу. Слова от меня не услышите!

Бибер перехватывает эстафету, брошенную его товарищем. Он знает, что писатель долго молчать не сможет. Слова в Фаль — ке — когда он в озарении, естественно, а сейчас оно на него находит приступами — быстро рождаются, вспучиваются внутри и неудержимо исторгаются наружу. Бибер стремится до новой спазмы фальковского озарения хотя бы поставить на обзор некоторые срочные проблемы фундаментальной философии, за прошедшие тысячелетия еще не решенные.

Б и б е р. Итак, война, которая ныне разгорелась в мире, — общечеловеческое преступление. И вы не хотите ее равнять с прежними войнами. Значит ли это, что прежние войны не относятся к преступным?

Г а м о в. Вопрос непростой. И ответить в двоичном коде — “да”, “нет” — не могу. Видимо, от проблемы войны нельзя отмахиваться, а надо вдуматься в ее сущность.

Б и б е р. Отлично! Категория сущности — важнейшая в той философской концепции, которую я имею честь представлять в науке. Будем анализировать сущность войны. Но сперва предварительный вопрос. Не кажется ли вам, что в “Декларации о войне” вы не анализировали ее сущность, а отмахнулись от анализа бранью? Ибо назвать войну преступлением...

Г а м о в. Это и значит определить ее сущность.

Б и б е р (*подчеркивая интонацией, что он не думает этого*). Вероятно, я просто не разбираюсь в том, что надо называть преступлением.

Г а м о в (*непреклонно*). Очень возможно, что и не разбираетесь.

Б и б е р. Тогда начнем с того, что продефинируем понятие преступления.

Г а м о в. Дефинируйте.

Б и б е р. Философски преступление есть понятие неоднозначное. То, что в одном случае является преступлением, в другом может рассматриваться как законный поступок. Но, во всяком случае, преступлением можно назвать акт, в котором присутствуют два момента: во-первых, злая воля, действующая по своей прихоти и ради своей личной цели; во-вторых, наличие объективных условий, при которых тех же целей можно было бы добиться более мягким способом. Конечно, это не точная дефиниция, а, так сказать, общий очерк, небольшой философский рисунок...

Г а м о в. Принимаю. Итак, преступление — это поступок, который вовсе не вызван неизбежностью объективных условий, а создан чьей-то злой волей. Эта злая воля и явится причиной преступления. Задавайте дальше вопросы, господин философ.

Б и б е р. Придерживаясь принятой дефиниции... Вы не всякую войну считаете преступлением? В смысле — не всякое убийство?

Г а м о в. Да, не всякую войну и не всякое убийство можно считать преступлением. На мой дом напали вражеские солдаты, один направил на моего ребенка штык. Убить этого солдата — не преступление. Ибо в защите ребенка нет моей злой воли, и мной командует неизбежность: только таким поступком я могу спасти ребенка.

Б и б е р. Но солдат, убивающий ребенка, совершает этот поступок по своей злой воле, и им не командует безвыходность, правда? Он ведь мог направить свой штык на вооруженного отца, а не на ребенка. И тогда это было бы не преступление, а схватка воюющих солдат. Вы согласны?

Г а м о в. В принципе — да.

Б и б е р. Перейдем теперь от частных человеческих поступков к общим категориям. Вы сказали, что прежние войны...

Г а м о в. Совершенно верно. Всякая война несла несчастья, горе и слезы какой-то части людей. Война неотделима от разо-

рения и страданий. Но назвать всякую войну преступной не берусь. Были и преступные войны — захватнические, по воле злых правителей, по религиозному или националистическому исступлению. Но были и войны освободительные, восстания против угнетателей. Войны ради спасения... Разве можно дефинировать их как преступления? Для них точней подходят другие эпитеты — благородные, героические, нравственные!..

Ф а л ь к (*в приступе нового наития*). Слышу речь не мальчика, но мужа! Героические!.. Благородство и отважность!.. Все мы солдаты. Все!

Б и б е р (*с досадой*). Дорогой Арнольд, вы сами ни разу не выступали в роли благородного и отважного солдата.

Ф а л ь к. Почему? Живу в дрянной стране, уже тридцать лет ни с кем не воюем. Танцы вместо маршей! Носовые платки в карманах вместо импульсаторов! Как жить хорошему человеку? Как жить, спрашиваю?

П е а н о (*ослепительно улыбается*). Попросились бы добровольцем.

Ф а л ь к. А то нет! Просился же! Маршал Ваксель, великая солдатская душа, — к нему. Нет, сказал, вы нужней словом, а не мечом. Вибраторами не владеете, в электроорудиях не разбираетесь. Я электричества не терплю, жуткая вещь! Диктатор, возьмите! Я бы у вас повоевал.

Г о н с а л е с (*зловеще*). Мы после войны всех военных будем судить. Добровольцев в первую голову.

Ф а л ь к. В голову не нужно! Не уеду, пока не отступитесь. Что такое, спрашиваю? Солдату платите за геройство золотом. А на весь мир объявили: война — преступление. Либо геройство. Либо преступление! Орест, вы поняли? Ученый, но ведь тоже ногу сломили на декларации, признавайтесь.

Б и б е р. Мы с вами, Арнольд, для того и приехали, чтобы прояснить темные места. А что до вашего вопроса, то нам могут ответить, что иное большое преступление можно осуществить посредством серии частных героических актов. Воротимся к проблеме современной войны. Итак, огульно называть преступными все прошлые войны вы не хотите, ибо среди них были и законные, и справедливые. И даже благородные. Я верно излагаю вашу мысль?

Г а м о в. Верно.

Б и б е р. А современную войну, в которой вы проявили себя таким выдающимся полководцем, вы считаете преступной. Так вы провозгласили в своей “Декларации о войне”. Верно?

Г а м о в. Уж чего верней!

Б и б е р. Но почему именно эта война — преступление? Где доказательства? Любое обвинение без доказательств либо клевет, либо ругань!

Профессор философии Орест Бибер победно оглядел нас всех. Он думал, что уже взял верх в споре. Мне стало весело. Я не соглашался с Гамовым, не признал себя ни военным преступником, ни иного типа злодеем. Но одно уже было в тот момент ясно: сошлись два борца разного веса. Итог схватки не вызывал сомнений.

Г а м о в. Господин философ, вы задали мне вопрос, но раньше ответьте на мой. Какова причина нынешней войны?

Б и б е р. В смысле — что вызвало войну?

Г а м о в. Да, именно в этом смысле.

Б и б е р. Причин было много. Прежние мыслители считали, что у каждого действия есть лишь одна вызывающая его причина. Современная философия отказалась от такой примитивной каузальности. В смысле: кауза — это причина, такая терминология. Мы предпочитаем говорить не о причинах, а о факторах, коллективно создающих данное явление.

Г а м о в. Пусть факторы. Называйте факторы, вызвавшие войну.

Б и б е р. О, их очень много.

Г а м о в. Если много, значит, есть главные и второстепенные. На второстепенных можно не останавливаться.

Б и б е р. И главных много. Одни, так сказать, носят характер причин, в смысле старой каузальности. Другие, наоборот, характер цели. В таком сложном явлении, как война, объединены причины и цели. Чтобы было проще и понятней, скажу, что в войне мы имеем симбиоз каузы и телеологии.

Г а м о в. Да, просто и понятно. Но вы не ответили на вопрос. Перечислите факторы, породившие войну. Простите за ненаучную терминологию.

Б и б е р. Не от всех можно требовать научных дефиниций. Даже от знаменитых политиков. Среди факторов, породивших войну, я назову экономические, политические и личные. Что же до целей войны...

Г а м о в. Поговорим сперва о причинах, потом перейдем к целям. Первая причина, вы сказали, экономическая. Расшифруйте экономические причины.

Б и б е р. С охотой. Кортесия и Латания — страны с различной экономической структурой. И каждая раздражается, что другая не похожа на нее.

Г а м о в. Разве наличие одной экономической структуры автоматически губит другую?

Б и б е р. Что вы, Гамов! Столько лет существуют разные структуры — и ничего. Каждая развивается. Но вместе с тем требует: живи, как я. Естественное стремление человека навязать свой образ быта, свой способ мышления.

Г а м о в. Естественное стремление обывателя, тупицы, а не человека вообще. Мы с вами, господин философ, установили очень важный факт. Существование одной системы не порождает гибели другой. Они могут спокойно сосуществовать, как сосуществуют в любом обществе, толстые и худые, высокие и низкие, юноши и старцы. В экономическом различии Кортесии и Латании я не вижу неизбежности их военного столкновения. Экономическая причина как военный фактор не работает. Слушаю дальше.

Б и б е р. Дальше политические факторы. Разная политика у кортезов и латанов.

Г а м о в. В чем ее различие?

Б и б е р (*не то озадачен, не то возмущен*). Вам это лучше знать, вы политик, а я философ.

Г а м о в. Но я как политик не вижу существенной разницы в политике воюющих стран.

Б и б е р. Тогда почему вы воюете?

Г а м о в. На это хочу вашего ответа. Почему мы воюем?

Б и б е р. Не знаю.

Г а м о в. Вот вы и высказали сущность наших отношений. Вам самому неизвестно, почему мы воюем.

Б и б е р (*спохватывается, что дал маху*). Господин диктатор, вы умелый софист. Вы заставили меня на миг растеряться. Я устанавливаю факт: вы воюете. Это значит, что есть причины и цели войны.

Г а м о в. Вы не ответили на мой вопрос, какая разница в политике воюющих стран?

Б и б е р. Думаю, что каждая страна преследует свои интересы. Как в жизни отдельных людей: один хочет одного, а другой — другого.

Г а м о в. Да. Один хочет стать музыкантом, а другой идет в конструкторы. Но музыкант не набрасывается с кулаками на конструктора за то, что тот не музыкант. Им нечего делить.

Б и б е р. А если оба влюбились в одну девушку? Сплошь да рядом предмет для соперничества и споров. И жестоких споров, диктатор.

Г а м о в. Вы мыслите категориями старины, философ. Раньше влюбленный мог покорить сердце девушки, принеся ей в дар отрубленную руку соперника. Раньше так было, раньше! Сегодня соперники будут добиваться успеха ласками, нежностью, щедростью, добрыми словами. Кулачные расправы ныне неэффективны, современные девушки не обожают мордобойцев.

Б и б е р. Любовный пример, пожалуй, неубедителен. Но государства — не озорные парни. И то, что каждое стремится заполучить, не девушка.

Г а м о в. А что каждое государство стремится заполучить?

Б и б е р. То самое, что разделило их.

Г а м о в. Что именно разделило их? Господин философ, прошу вас снизойти с небесных высот абстракций на земную конкретность. Мы установили, что есть нечто, чего жаждут оба враждующие государства. И ради обладания этим нечто ведут войну. Прошу точно сформулировать — в чем состоит это загадочное нечто, так трагически разделившее мир на два лагеря.

Б и б е р. Надо подумать, поискать...

Г а м о в. Но если его надо поискать, значит, оно не видно, скрыто, таится!.. Вам его еще нужно найти, и неизвестно, найдете ли. А оно, вам, мыслителю, неизвестное, уже такое могущественное, что бросает народ на народ, губит миллионы жизней, проливает реки крови... И вы хотите, чтобы я этому вздору поверил? Не кажется ли вам, дорогой философ, что вы собственный интеллект оскорбляете такими примитивными соображениями, такими недоказанными доказательствами?

Б и б е р (*пытается оправдаться*). Видите ли, я имел в виду приобретение союзников, раздел сфер влияния, распространение в других странах своей культуры...

Г а м о в. И прочее, столь же несущественное для проблемы жить или погибнуть, а только она, как в древних войнах, может

стать оправданием войны. Итак, мы приходим ко второму кардинальному выводу. Не существует ни одной политической концепции, ни одной политической акции одного государства, которые грозили бы гибелью государству другому. А раз так, то никакие политические разногласия не могут стать достаточным основанием для гибели миллионов людей, которые понятия не имеют об этих разногласиях и которые в любом случае не захотят отдать жизнь своих детей за то, чтобы эти разногласия исчезли. Слушаю дальше. Личные факторы.

Б и б е р. В данном случае я подразумеваю личные расхождения между руководителями государств. Их характеры. Влечения, жизненные цели... Не будете же вы отрицать, что личные свойства Амина Аментолы, либо вашего предшественника Артура Маруцзяна, тем более ваши собственные черты характера влияют на всю международную обстановку?

Г а м о в. Не буду отрицать. Как не буду отрицать того, что личные особенности преступника определяют характер его злодеяний. Но ведь наш спор о другом. Речь о факторах, вызывающих войну.

Б и б е р. О, личные особенности властителя не могут не влиять на возникновение войны. Или вы это отрицаете?

Г а м о в. И не подумаю. Но укажу сразу же, что вы неумолимо приближаетесь сами к моей концепции войны. А она состоит в том, что в современном мире, где так развито производство, где столько создается товаров и услуг и, стало быть, нет недостат, вызывающих черную нужду и голод, что в этом богатом современном мире нет объективных причин, порождающих неизбежность войны. Этим современная война и отличается от прежних, которые чаще всего возникали от желания приобрести что-то важное, чем-то обогатиться. Современная война не обогащает, а разоряет все воюющие стороны. Она не только не нужна, но вредна — со всех точек, под всеми углами зрения.

Б и б е р. Однако те политические и идеологические расхождения...

Г а м о в. Какие? Побойтесь Бога, философ, если уж логики, вашей богини, не боитесь. Впрочем, вы в Бога не веруете. Обращаю ваше внимание на такой удивительный факт. Вы все время говорите о разногласиях между воюющими странами в экономике, в политике, в идеологии, но говорите абстрактно — есть, мол, разногласия, очень, очень значительные разногласия. И все. А конкретно назвать их, ясно описать — нет, тут вы пас!

А почему? Интуитивно понимаете, что реальные разногласия ничтожно малы перед громадностью войны. Назови их, перечисли — и любой в ужасе воскликнет: “Из-за этого воевать? Да вы безумцы либо злотворцы!”

Б и б е р. По-вашему, у войны нет никаких причин?

Г а м о в. Не искажайте мои слова. Причины есть. И они в злой воле правителей, которые готовы использовать малейший повод для разжигания пожара. Что вы скажете о человеке, который подожжет дом только потому, что в руках у него спички? Преступник, правда? Или о том, кто с ножом нападет на вас, чтобы убить и отобрать кошелек? Злодей, иначе не назовете. Так вот, политики, развязывающие войну, когда объективной неизбежности в ней нет, когда вполне можно уладить разногласия без нее, преступники и злодеи. Ибо совершили страшный поступок только потому, что была власть его совершить. Власть — тот же импульсатор, жгущий карман и руки. Взяв власть, хочется немедленно показать всем, что ты властитель. И самый действенный способ представить себя властителем — послать подчиненных воевать. Но поскольку для войны нет реальных причин, ты используешь для своего престижа поводы незначительные, сознательно раздуваешь пузырь в исполинский шар, муху в слона — и твоя воля воевать становится основной причиной. А те политики, что в стороне, превращаются в пособников, ибо могли использовать свою власть для предотвращения войны — а не использовали. Вот почему я объявляю всех политиков в воюющих державах военными преступниками. А всех политиков в невоюющих странах преступниками потенциальными. Это относится также и к журналистам и к писателям.

Б и б е р. Страшно вас слушать, диктатор! По-вашему, каждый, добивающийся власти, тем самым потенциальный преступник.

Г а м о в. Может им стать — и должен это знать о себе. Должен знать, что в самом понятии власти — потенция преступления, как в бочке пороха — потенциал взрыва. Ответственность властителя должна постоянно напоминать об этом. Но если ответственность заглушается, наружу выступает злая воля — и становится горящей спичкой, брошенной в бочку с порохом.

Б и б е р. Вы эти идеи распространяете и на собственную власть?

Г а м о в. Разумеется. И после войны предам себя суду народов, чтобы суд разобрался, сколько в моих действиях было злой

воли, разжигавшей войну, и сколько доброй, старавшейся погасить военный пожар. И пусть установят — чего больше.

Б и б е р. Почему предадите себя суду после войны? Почему не сейчас? Разве не для того создан Черный суд? И разве он не выносит приговоры во время войны?

Г а м о в. Отличная идея! Могу лишь поблагодарить, что она вам явилась. И выполнить ее весьма просто. Черный суд — международная компания справедливости. Кортезам надо внести вступительный взнос — несколько миллиардов диданов — организовать свою секцию в этой акционерной компании, затем арестовать меня и передать Черному суду, который, возможно, вынесет мне суровый приговор. Могу вас уверить, что, если нам удастся арестовать Аментолу, мы ни минуты не станем колебаться, нужно ли его судить или не нужно. Почему бы не проделать того же со мной? Неужели богатейшая Кортезия разорится, отдав немного своих диданов на утверждение справедливости?

Б и б е р. Денег Кортезия бы не пожалела. Но ведь вы не дадите себя арестовать! Зачем же тратить попусту деньги? Кортезы расчетливы!

Г а м о в. Расчетливые люди часто просчитываются. Аментола тоже не даст себя арестовать. Но мы не теряем надежды заполучить его в свои руки. И хоть Латания много бедней Кортезии, ассигновали пять миллиардов золотых лат, чтобы укрепить фундамент у этой надежды.

Ф а л ь к (*снова встает из небытия*). Не приму! Черные суды! На кого замахиваетесь? Я спрашиваю: на кого?

Г а м о в (*очень вежливо*). Не понял — о чем вы?

Ф а л ь к. Как о чем? Сто раз говорил. Не говорил — кричал! Ведь война — что? Ведь война — это героизм, мужество, стойкость, изощренность... Бибер, что еще?

Б и б е р. Еще очень многое.

Ф а л ь к. Вот именно! Самые точные слова! Очень многое! И за это под суд? Да кто позволил? Не разрешу!

Г а м о в. Придется обойтись без вашего разрешения.

Ф а л ь к. Замолкаю! Сгинь, поэт мужества и героизма! Пропади! Герои осуждают героизм! Как жить, я вас спрашиваю?

Б и б е р. Между прочим, диктатор, в эмоциональном высказывании моего друга Арнольда Фалька таится и философская истина. Легко доказать, что воинственное желание разрушать в

самой природе человека. Не просто сражаться с противником, а изобретать противника, если его нет. Вы в своем неслыханном осуждении войны осуждаете саму природу человека. Ибо в нас заложено быть воином. Говорю о мужчинах, разумеется.

Г а м о в. Вы сказали — легко доказать. А можете ли доказать?

Б и б е р. Ну, как же! Подведите ребятшек к игрушкам. Девочки схватятся за куклы и платья, мальчики за оружие. Разве здесь не голос природы? А тот факт, что в истории человечества войны не переводятся? Каждому поколению нужна своя война. Вы сказали, что древние войны часто возникали от безысходности существования. Но ведь можно было и умереть от голода, если был голод, покориться завоевателю, если завоевывали, отдать имущество, если грабили. Нет, хватали оружие! В войне одни видели способ обогащения, другие — средство спасения. Не искали иных выходов из безвыходности, сразу принимали решение о войне. Вы в своей декларации приписали войне много скверного — и правы, не буду спорить. Но писатель Арнольд Фальк найдет в войне бездну хорошего, он отыщет в ней благороднейшие свойства — мужество, стойкость, верность друзьям и родным, самопожертвование... И тоже будет прав.

Ф а л ь к (*на мгновение возникает*). Не буду! Ужас! Молчать! Навеки молчать! (*Впадает в очередную горестную прострацию*).

Б и б е р. И самый поразительный пример — современная война. Вы утверждаете, что все несогласия воюющих сторон тысячекратно легче решить миром, а не войной. Готов согласиться, что вы правы. Но ведь ваша правота оборачивается против вас. Если правители мира пошли на войну не по объективной неизбежности, а по злой воле, раздувшей муху разногласий в слона раздора, то ведь они были заранее убеждены, что в их злой воле содержится объективная возможность совершить такое превращение ничтожной мирной мухи в грозного слона войны. Они не сомневались, что народы примут их решения и дружно отправятся на фронт. Конечно, люди потом устанут от тягот войны, истерзаются от ее страданий и проклянут ее — но не дольше, чем на оставшуюся жизнь своего поколения. И идут они на войну с музыкой, с песнями, не рвут на себе заранее волос, не кидаются с полученным оружием на своих командиров, чтоб не дать войне совершиться. Вам это ничего не говорит, диктатор?

Впервые — и в последний раз — за все время спора Гамов растерялся. Философ Орест Бибер нашел аргументы, от которых не отделаться легковесными возражениями. Я, впрочем, не услышал в аргументации Бибера чего — либо принципиально нового. Я не философ, но о том, что в душе человека изначально заложена воинственность, слышал много раз. Я мог бы сам опровергнуть Бибера, но Гамов сделал это сильнее. Когда Бибер закончил свою небольшую речь, Гамов был уже вооружен для отпора.

Г а м о в. Вы правы, философ, человек одарен способностью сражаться, когда в том нужда. И в нем возникает ярость разрушения, если нужно что-то разрушить. Но не делайте воинственность человеческой природы главным в человеке. Человек разнообразен. Да, он умеет разрушать — и временами делает это с охотой. Но он и создает — и в миллионы раз охотней создает, чем разрушает. Он может убить другого человека — и тоже порой с охотой. Но разве не дороже ему создание людей, создание своей семьи. Да и становится убийцей он чаще всего, чтобы охранить свое создание — свою любовь к жене, своих детей, свой дом, творение рук своих, своего ума, своего вдохновения. Он и разрушитель-то потому, что созидатель. Созидание — вот главное, вот сокровенное свойство человека. Всего тысячи лет назад жалкие стаи людей ютились в пещерах, защищая свое хрупкое существование от всего окружающего, ибо так много кругом было враждебного — разбушевавшаяся природа, дикие звери, соседи в другой пещере, болезни, голод. И как защищал? Чем защищался? Творчеством защищался, тем, что с первых лет своего бытия стал созидателем. История человечества — это история творца, вот где ищите истину истории. Поглядите кругом. Вы не увидите плодов войн, хотя они вспыхивали, вы справедливо сказали, при жизни каждого поколения. Но вы увидите миллионы людей вместо прежних тысяч, величественные города вместо пещер, богатые одежды вместо шкур, вкусную и сытную еду, прекрасное здоровье, долгую жизнь вместо короткого века! А наши книги, наши картины, наша музыка! Вся наша грандиозная культура! Наш непостижимо огромный интеллект! Все это плоды созидания, а не разрушения. Результат творчества, а не военных схваток. Да, воинственность дарована человеку, но как она ничтожна, как бесконечно мала сравнительно с другими его дарованиями. И сегодня — тем более. Воинственность была некогда необходима. Но сегодня в ней нет нужды. Сегодня нет ни одного расхождения между государствами, которое могло бы оправдать гибель хоть одного ребен-

ка. И кто в нынешних условиях богатства, процветания, интеллектуальной высоты возрождает древнюю воинственность, тот, глубоко убежден, ограниченный человек с низким умственным потолком, совершенно не понимающий истинной природы человека. И если люди пробираются к власти и приводят в движение могучие рычаги этой власти для своих атавистических желаний, то они самые подлые злодеи. И их надо судить судом беспощадным, тем свирепым судом, который единственно отвечает их собственной свирепости. Вот те идеи, какие я выразил в моей “Декларации о войне”. Надеюсь, я ясно разъяснил свою позицию?

Б и б е р. Вас надо понять так, что вы больше не хотите спорить?

Г а м о в. Больше не о чем спорить. Меня вы не переубедите. Боюсь, что и я вас не смогу переубедить.

Б и б е р. Тогда последний вопрос — и на несколько иную тему.

Г а м о в. На иную тему — пожалуйста.

Б и б е р. Диктатор, вы сказали, что Кортезия много богаче Латании. Вы разрешаете писать в “Трибуне”, что жизненный уровень в Кортезии выше, чем у вас в стране, что в ней много таких жизненных удобств, до каких Латании еще далеко. Но почему вы стали руководителем Латании? Почему не переселились в Кортезию? Вы ведь и там при ваших способностях могли добиться успеха. Не исключено, и власти.

Г а м о в. Латания — моя родина.

Б и б е р. Простите мою настойчивость, но я космополит. Общечеловеческое для меня выше национального. При таких преимуществах Кортезии...

Г а м о в. Хвалить Кортезию, по-вашему, равнозначно восхвалению общечеловеческого перед национальным? Вы просто превозносите одну нацию перед другой. Вы тоже националист, только хуже обычного — восхваляете не свою родину, а чужую. Ведь вы клур, а не кортез?

Б и б е р. Да, я клур. Хорошо, сформулирую свой вопрос по-иному. У вас имеется своя философия истории и система методов, доказывающих правоту этой философии. Но в Кортезии вы могли бы с большим успехом реализовать свою философию. Такие материальные возможности...

Г а м о в. Слушайте меня, философ, и можете на весь мир опубликовывать. Только в Латании я могу выполнить свою

общечеловеческую задачу — навечно ликвидировать межгосударственные войны. В Кортезии это невозможно.

Б и б е р. Не объясните, почему?

Г а м о в. Объясню. Кортезия — старая страна. Она дошла до предела своих возможностей! Богата, индустриально могуча, обеспечила высокий жизненный уровень... Ну, и что? Она не способна развиваться дальше. Она остановилась. Ей остается либо заостенеть, либо взрывом менять свою структуру. Она разжирела — и ее душит жир. А Латания — молодая страна, в ней еще не накопилось жира, она вся в движении. Она бедней Кортезии, но уже совершенней. Кортезия — венец старого могучего развития. Латания — начало нового. Ни в одной стране я не мог бы осуществить того, что смогу здесь.

Б и б е р. Вряд ли в Кортезии согласятся с такой оценкой ее перспектив. Кортезы обожают свою страну.

Г а м о в. Не все. Проницательные кортезы уже понимают, что Кортезия завершает свою роль руководителя прогресса и передает эстафету Латании. Вам нужен пример? Перед вами наш министр внешних сношений Джон Вудворт. Он по происхождению кортез. И он любит свою страну, ценит ее успехи, бытовые удобства — и не раз ставил нам ее в пример, критикуя наши недостатки. Но он добровольно перебрался к нам. И сделал это потому, что понял — общественное развитие в его стране зашло в тупик, оно может лишь консервировать уже достигнутые успехи. А Латания начинает новый виток великого человеческого развития, он хочет быть первопроходцем на этом пути. У вас больше нет вопросов?

Б и б е р. Тысячи! Но меня предупредили, что на аудиенцию отведено два часа. Мы разговариваем уже третий час. Фальк, вы заснули? Почему вы молчите?

Ф а л ь к. Я думаю. Я так думаю, что костенею. Ужас, о чем я думаю!

Б и б е р. О чем вы все-таки думаете?

Ф а л ь к. Величайший герой нашего времени, знаменитый полководец объявил геройство преступлением. Как это пережить, я спрашиваю?

Б и б е р. Как-нибудь переживем. Что еще нам остается?

Константин Фагуста не преминул воспользоваться приездом двух гостей из Клура для новых нападок. Гамова он обвинил в противоречивости, его помощников в том, что они либо настолько тупы, что не видят этих противоречий, либо настолько трусливы, что не смеют ему возражать. “Где логика? — грозно спрашивал Фагуста в передовой статье. — С одной стороны, диктатор осыпает денежными наградами и орденами всех отличившихся на войне, а в своей “Декларации о войне” и в беседе с гостями из Клура объявляет всех воюющих преступниками и грозит после войны предать Черному суду тех солдат и офицеров, каких сам же удостоивал награды. И с такой программой наш правитель собирается выиграть войну?”

Мне лохматый редактор “Трибуны” временами внушал возмущение, но я не мог с ним не согласиться: последовательностью программа Гамова не блистала. Временами казалось, что его стратегия одновременно преследует две разные цели — и одна мешает другой. Я высказал это Гамову. Он возразил с неудовольствием:

— Фагуста многого не понимает и не должен понимать, но вы, Семипалов, вряд ли меньше ответственны за нашу политику, чем я. А она стремится к двум разным целям. Во-первых, выиграть эту войну, а во-вторых, воспользоваться победой, чтобы уничтожить саму возможность войны. И я заранее примиряюсь с тем, что после победы мы не будем восхвалять те военные действия, какие привели нас к победе.

В общем, это были те идеи, что он повторял и до “Декларации”. Но они все больше вызывали во мне сомнения. Вначале я склонен был считать их эмоциональными выплесками, но теперь стало ясно, что здесь продуманная концепция. Вызывающая фраза: “В мире нет ни одного разногласия между государствами, которое могло бы оправдать гибель хотя бы одного ребенка” — была подобна внезапному залпу среди настроенной тишины. Удивляюсь, что Фагуста не сыграл на этой фразе.

Очередное заседание Ядра отвели докладу Гонсалеса о стараниях Черного суда во враждебных странах. У меня было впечатление, что разрекламированная частная война выдохлась, еще не начавшись. “Вестник Террора и Милосердия” в каждом номере печатал заочные смертные приговоры и награды за их

выполнение. Но несколько террористических актов против малозначительных лиц погоды не делали.

Прищепа доложил о подготовке весеннего наступления кортезов. Через океан движутся суда с людьми и снаряжением. К весне Фердинанд Ваксель будет иметь в пять раз больше войска, чем имел, когда пошел на Забон, и начнет он с гигантского метеоудара. На побережье Кортезии переоборудуются метеостанции, их генераторы способны контролировать весь океан. На заводах сгущенной воды работают в три смены. Впервые в истории Кортезии введено ограничение на электроэнергию, основная масса ее канализируется на заводы энерговоды.

— Поняли, что имеют дело не с правительством моего дядюшки, — весело заметил Пеано. И на этот раз его радостная улыбка не камуфлировала унылое настроение. Он гордился, что его оценивают выше, чем маршала Комлина, и готовятся к битве с ним серьезней.

Гамов смотрел на весеннюю кампанию другими глазами:

— Открытый удар Вакселя меня не страшит. Но если он зальет наши поля и не даст отсеяться... Штупа, как с контрциклонной борьбой? Что вам потребуется, чтобы обеспечить весну и лето?

— Уверенное противодействие метеонаступлению врага гарантирую лишь при двойном расходе энерговоды, — ответил Штупа.

Гамов поглядел на меня. Я высоко поднял брови. Это означало, что я возражаю против удвоенного снабжения Штупы энерговодой. Была одна тайна в производстве энерговоды — и ее пока Штупа не знал. Гамов сказал:

— Увеличим поставки энерговоды. Но о двойном снабжении не мечтайте. Прищепа, есть еще сведения о враге?

Важных сообщений о врагах Прищепа больше не имел. Но о союзниках они были. Ширбай Шар прибыл в Кортезию и ведет там переговоры. Кир Кирун, брат Лона Чудина, президента Великого Лепиня, зачастил с визитами в Конду, а там полно кортезов — с некоторыми он встречается. А Мгобо Мордоба, президент Собраны, молчаливый, улыбчивый, невозмутимый, со всеми одинаково вежливый, в парламенте обвинил нас в измене союзному долгу и в отречении от идеалов дружбы с малыми нациями. “Такое идейное предательство не может остаться неотомщенным!” — грозил он. Вероятно, Собрана первая отка-

жется от формального союза с нами и вступит в активный союз с Кортезией.

— Пусть вступает. А как в Кортезии относятся к идее новых союзов?

В Кортезии приобретение новых союзников приветствуется. Только один против — Леонард Бернулли. Яростный оратор, лидер независимых, фермер в молодости, ныне профессор, он доказывает, что приятельство с бывшими союзниками Латании лишь отягчит Кортезию. Вот выдержка из его речи в сенате: “Гамов отделяется от швали, чтобы облегчить свою тележку, а мы эту шваль перегружаем себе”. Он за концентрацию всех сил Кортезии против нас. Кстати, Бернулли — личный недруг Амина Аментолы. При встречах они не здороваются.

— Бернулли вообще мало с кем здоровается, — заметил Вудворт. — Мы с ним учились на одном курсе университета. Леонард был из тех студентов, которые плохо действовали на печень профессоров. Служить под его начальством еще можно, но иметь его в подчиненных — не дай бог!

Гамов, отпустив министров, попросил остаться меня, Вудворта и Прищепу. Если десять человек составляли Ядро, то мы четверо являлись его центром. Я сказал, когда остальные ушли:

— Прищепа, вы жаловались, что финансовые возможности разведки малы. Могу предложить вам подспорье — сто миллионов золотых диданов.

И я вручил ему бумажку, усыпанную семизначными цифрами.

— Войтюк? — догадался Гамов.

— Войтюк. Сегодня передал мне шифры ста счетов. Вклады в банке “Орион” в Клуре.

— Вы сейчас самый богатый человек в Латании. Сто миллионов диданов! Голова кружится! — сказал Вудворт. Кортезианское уважение к богатству не было вытравлено в нем десятилетием службы в Латании.

Гамов спросил:

— Значит, кортезы пошли на игру? И что внесли нового?

— Войтюк порадовал, что Аментола согласен на тайный союз со мной, чтобы способствовать падению Гамова и моему вступлению на престол Латании.

— Почему на престол? — удивился Гамов. — Разве я на престоле?

— Так сказал Войтюк. Слово “престол” в полученной им шифровке.

— Не удивляйтесь, — сказал Вудворт. — Аментола — человек умный и деловой. Но в истории осведомлен не больше, чем слепец в живописи. Диктатор для него лишь синоним императора. Кортезов такие ошибки не возмущают. Они не требуют у своих президентов учености.

— Хорошо, пусть престол. А дальше?

— Дальше Войтюк сообщил: к моей оговорке, что не буду передавать сведений, приносящих вред моей родине, отнеслись с уважением. От меня ждут не предательства Латании, а сотрудничества на благо моей несчастной родины, угнетенной жестоким и мрачным диктатором. Жестокий и мрачный, именно такая формулировка в шифровке.

— Шифровку он вам не передавал? — поинтересовался Прищепа.

— Он уничтожил ее. Он сказал, что с первого чтения запоминает наизусть любые тексты, а бумагу можно потерять. Деньги, мне предоставленные, — не плата за шпионаж, вероятно, и кортезам такая плата представляется неслыханно огромной, а ассигнования на политическую борьбу с Гамовым. Кортезия достаточно богата, чтобы выделить столько средств, сколько понадобится, чтобы свергнуть ненавистного диктатора. Вот такое отношение к вам, Гамов.

— Иного я и не ждал. Было еще что интересное?

— Было. Кортезия, Родер и Нордаг в ответ на вашу “Декларацию о войне” готовят “Декларацию о мире”. И эта декларация расчистит противникам Гамова дорогу к власти. Он не уточнил, кто они, но думаю, речь обо мне, а не о Маруцзяне с Комлиным.

— Согласен. Расчищать дорогу будут вам. Когда обнародуют декларацию?

— В шифровке об этом ни слова.

В разговор вступил Прищепа:

— Войтюк получает шифровки, которые потом уничтожает. Значит, у него есть какой-то агент, сносящийся с кортезами. Рано или поздно мы обнаружим его и перехватим зашифрованные депеши.

— Ни в коем случае! — воскликнул Гамов. — Я уже говорил, что любой разоблаченный шпион — бесценное сокровище, и его надо оберегать от провала. А крупную игру с Войтюком может сорвать подозрение, что за ним следят. Надо вообще снять с него все формы наблюдения.

— Исполню, — без воодушевления пообещал Прищепу.

Гамов предложил мне и Прищепе поехать на военный завод. Вудворт удалился в свое министерство.

Ко дворцу подошел личный водород Гамова — бронированная машина на двух баллонах сжатой воды. Впереди сели водитель и два охранника, в задней кабине мы трое. По городу водород ехал не торопясь, за городом припустил. Снега еще не сошли с полей, но разрыхлились и потемнели. По небу тащились тучи, метеогенераторы Штупы гнали их на восток, в далекие горы, к Лепиню, там накапливались водные резервы страны. Близилась весна — холодная, неровная. Я боялся подхлывшей все ближе весны. Мы не обеспечили ее надежной защитой, и в том была моя немалая вина. Продукция того завода, куда мы ехали, должна была решить участь войны. Но Штупа, не снабженный в достатке энергосилой, мог уступить врагу в предстоящих сражениях. И я все глядел в небо и все прикидывал, хватит ли у Штупы энергосилы, чтобы в грозный час повернуть эти куболиги туч, несущиеся на восток, обратно на запад — на головы наступающего врага. Солнце уже неделю не показывалось над землей, так густо шли тучи. Но хватит ли их? Океан весь в распоряжении кортезов, а воды в нем — неисчерпаемо.

Водород углубился в лес. Здесь снегу было больше, он еще висел на кронах сосен. И в лесу, естественном, разнорослом — старые высокие деревья глушили выдиравшийся к солнцу молодняк, — с залысынами полей, с багровыми пятнами болот, давно поглотивших снег, потянуло хвоей и прелью.

А затем машина ушла в ущелье, и ее остановили. Три солдата с излучателями заглянули в кабины — проверить документы, но узнали Прищепу и дали дорогу. Я иронически заметил:

— Хороший актер может загримироваться и под Прищепу, и даже под Гамова.

На следующем посту, уже у горы — в недрах ее был смонтирован завод — дежурный не ограничился тем, что кивнул Прищепе и прочел пропуск, но и приставил к нему приборчик, похожий на ручку. От пропуска исходило излучение, удовлетворившее дежурного. Нам открыли въезд в гору.

Это был секретный завод, один из тех, какие мы стали спешно строить, захватив власть. Секрет был, конечно, не в том, что мы создаем водолеты. И при Маруцзяне их строили. Но мало. Первый наш водолет я увидел, когда на нем прибыл Данило

Мордасов отбирать трофейные деньги. Величайший секрет новых заводов был в том, что мы создавали на них водолетный флот таких размеров и такой мощности, какой еще не знала планета.

Нас сопровождал дежурный инженер — четкий, немногословный. Когда Гамов спросил его, сколько машин цех монтирует за неделю, он сделал вид, что не расслышал вопроса. Я шепнул Гамову:

— Не искушайте его. Выйдем, объясню, почему он не может ответить на ваш вопрос.

Гамов осматривал оснащенные водолеты, а я прошелся по сборочному цеху. Вдоль стен высились штабеля баллонов со сгущенной водой. Их были тысячи — новеньких, сияющих полировкой. Насколько легче было бы Штупе, отдай мы ему энергобогатство, размещенное хоть в одном этом цехе! Насколько радостней стала бы весна, наступления которой мы все боялись. Но если бы даже надо мной занесли меч и приказали: “Отдай или умри!”, я не отдал бы моему другу Штупе, защитнику неба нашей страны, ни одного из этих баллонов энерговоды.

— Семипалов, подойдите! — крикнул Гамов.

Он радостно наблюдал, как рабочие вставляют энергобаллоны в корпуса водолетов: сперва донные, отрывающие тяжелую машину от земли, потом кормовые, создающие своей реактивной тягой движение вперед, а под конец тормозные на носу. Гамова восхищали все производственные операции.

— Как все просто, Семипалов! Водяной пар, в который вдруг превращается стекло в баллонах, бросает вверх тяжелую машину, мчит ее в воздухе наперегонки с птицами, потом плавно опускает на землю. Совершенство. Абсолютное совершенство!

— Конечно, совершенство! С маленькой поправкой. Даже двумя. Стекло в баллонах, называемое сгущенной водой или энерговодой, весит в двадцать раз больше обыкновенного стекла: маленький баллон с трудом несут четверо дюжих рабочих. И нет такой птицы, что могла бы посоревноваться в воздухе с водолетом: самый сильный ураган, генерируемый метеостанциями Штупы, отстает от боевого водолета.

Ни я, ни Павел не стали посвящать Гамова в самой сложной операции — как обыкновенная вода превращается в сгущенную и становится аккумулятором исполинской энергии. В технологические детали он не вникал.

На обратном пути он сказал:

— Теперь объясните, почему инженер завода не мог рассказать, сколько водолетов выпущено в последнюю неделю?

— Это лучше меня объяснит Прищепа.

— Дело в том, что мы присвоили заводу шифр “три”, — сказал Прищепа. — Что на заводе разведчиков врага не имеется, мы уверены. Но исключить наличие шпионов в столице было бы рискованно. В сводках этого завода военному министерству число водолетов уменьшается в три раза. На иных заводах коэффициент сокрытия доходит до девяти. Это значит, что если в сводке значится по такому заводу десять водолетов, то реально их произведено девяносто. И инженер растерялся — называть ли запретную истинную цифру или преуменьшенную в три раза.

Я поехал домой. Дома Елена что-то готовила на кухне.

— Ужинал? Я привезла немного вкусных вещей.

— Ужинал, но вкусное вкушу. В нашей столовой насыщаются, а не едят. Готлиб Бар придумал для правительственных порций формулу: “Во-первых, дрянь, во-вторых, мало!”

— Ты уже передавал эту глупую остроту Бара. Зато в народе с уважением отзывались о продовольственных самоограничениях в правительстве во время осады Забона.

— Ограничения, введенные во время борьбы за Забон, сняты. Мы снова на нормальном снабжении, хоть товаров из “золотых магазинов” нам не возят.

— Тогда угощайся снедями из “золотого магазина”. На одном заводе я внедрила свою технологию. Премия в латах. Твоя жена, Андрей, сейчас зарабатывает больше тебя.

Я не такой гурман, как Готлиб Бар, но с удовольствием поглощал все, что Елена накладывала на тарелку. А то, что роскошный ужин происходил сразу после скудного ужина в нашей столовой, позволило не просто насыщаться, а смаковать “золотые” снеди.

Елена снова заговорила:

— Я тоже член правительства, как и ты. Правда не такого высокого ранга. Но в столице почти не бываю, на ваши заседания не хожу, а непрерывно меняю одну дальнюю командировку на другую.

— Другие заместители министров тоже редко посещают наши заседания. Их вызывают, если нужны.

— Стало быть, во мне нет нужды?

— Ты недовольна?

— А почему мне быть довольной? Мне предложили играть важную роль. Но спектакль отменили.

Я сделал усилие, чтобы голос не звучал сухо:

— Отложили, а не отменили. Наберись терпения, Елена. Гамов не бросает слов на ветер.

6

“Декларацию о мире” наши враги обнародовали, когда над Аданом прогремела первая весенняя гроза — естественная гроза, а не старания Штупы. Я читал “Декларацию”, пораженный и недоумевающий. Какой-то древний писатель заметил, что хитрость — это ум глупого человека, а лукавство — хитрость умного. Так вот, в “Декларации о мире” не было и попытки лукавства, а была одна хитрость, к тому же неумело скроенная. Амин Аментола все же казался мне умней. Правда, ему были свойственны и высокомерие, и наглость, когда он чувствовал удачу. Словно схватил бога за бороду, издевался над ним Леонард Бернулли. “Декларация о мире”, составленная из трех разделов, была написана так, словно Кортесия уже торжествовала победу. В первом разделе говорились хорошие слова о значении Латании в современном мире и о той огромной роли, какую еще сыграет Латания, когда сложит оружие и вступит в братство с державами, ныне с ней воюющими. И это была та хитрость, что создается умом неумного человека. Хорошие слова о Латании не прикрывали требования: быть ей отныне придатком к руководительнице мира Кортесии. Зловещую тень отбрасывала каждая строка декларации!

Во втором разделе Латанию обвиняли, что она организовала войну, и требовали, чтобы ее новое правительство признало свою ответственность за страдания от ее агрессии.

Амин Аментола выдвигал еще одно условие: правительство Латании должно освободиться от трех своих членов — диктатора Алексея Гамова, председателя Черного суда Аркадия Гонсалеса и министра внешних сношений Джона Вудворта. Что до остальных правителей Латании, то их судьбу решат сами латаны — авторы “Декларации” убеждены, что великий народ Латании каждому воздаст в меру его заслуг и преступлений.

“Мир в мире невозможен без урегулирования политических, идеологических, экономических и территориальных разногласий”, — так завершалась “Декларация о мире”.

Ко мне вошел Прищепа. Наедине мы разговаривали с прежней дружеской простотой.

— Твое мнение, Андрей?

— Какие глупцы! Выискивали только то, что делает мирные переговоры невозможными. Если это дипломатия, то что называется идиотизмом?

— Тебя не упоминают в декларации. “Остальным членам правительства народ должен воздать в меру их заслуг и преступлений”! Гамова, Гонсалеса и Вудворта сразу отвергают, признавая за ними одни преступления. А вместо них — тех, у кого и заслуги. Очевидно — тебя.

— Пожалуй, ты прав. Ты уже видел Гамова?

— Он согласен, что скрытый смысл декларации — стимулирование твоей борьбы с ним. Он созывает Ядро. Хочу с тобой посоветоваться.

— Почему не вместе с Гамовым ?

— Потому, что о нем лично. Меня удивляет его состояние.

— Разгневался? В ярости? Подавлен?

— Трудно найти точные фразы. Всего ближе такая: впал в восторженное состояние.

— Вот уж непохоже на Гамова!

— О чем и речь! Учти это.

— Спасибо. Учту.

Мы пошли к Гамову. Он выглядел необычно — слишком резко двигал руками, глаза слишком блестели, голос звучал слишком громко.

— Мы все здесь единомышленники, — сказал он. — Не будем терять времени на анализ вражеского обращения. Ставлю на обсуждение: как ответим?

— Отвергнуть официальной нотой, — предложил Вудворт и его поддержали Бар, Штупа и Пустовойт.

— Ответить презрительным молчанием, — сказал Пеано и радостно заулыбался. С ним согласились Прищепа и Гонсалес.

— Вы, Семипалов?

— Давайте не играть в прятки, Гамов, — ответил я. — У вас уже имеется готовое решение. Высказывайте его.

— Предлагаю референдум на тему — согласиться с “Декларацией о мире” или отвергнуть ее. Помните, я говорил, как мало возможностей точно узнать настроение народа. “Трибуна” высказывает взгляды крайние. Она — голос лишь части народа. Нужны чрезвычайные обстоятельства, чтобы весь

народ заговорил открыто и громко. Сегодня наши враги создают чрезвычайные обстоятельства. Мы совершим величайшую ошибку, если не воспользуемся этим.

— А если народ выскажется против нас, Гамов? Или расколется в оценке “Декларации о мире”? Если он будет против, нам надо уйти. А если расколется? На треснутом фундаменте зданий не возводят.

— Выборы будем контролировать мы сами, — сказал Прищепа. — Голоса в урнах можно организовать.

— Нет! — резко сказал Гамов. — Маруцзян организовывал мнения, подтасовывал цифры. Но мы ведем политику честную. Не только для себя, но для народа важно знать, что он думает о нас. Ибо каждый знает, каков он сам, а каковы все, знает еще меньше, чем знаем мы.

Я подвел итоги:

— Итак, референдум. Как сформулируем вопросы к народу?

— Предлагаю на голосование четыре вопроса.

И Гамов продиктовал Омару Исиро:

1. Согласны ли вы признать Латанию виновницей агрессивной войны?

2. Одобряете ли вы отставку правительства Гамова?

3. Согласны ли вы после заключения мира выплачивать денежные и товарные репарации странам, с которыми мы ныне воюем?

4. Согласны ли вы удовлетворить территориальные претензии соседних с нами государств?

Ясные вопросы требовали ответов в двоичном коде: “да” — “нет”.

— Исиро, как будете проводить референдум? — спросил Гамов.

Мы уже почти полгода работали вместе, но я так и не уяснил себе, что это за человек, наш вечно молчаливый министр информации Омар Исиро. Информация и молчание исключают одно другое, сочетание было типа лед и пламень, глина и железо, газ и камень. Но были в Исиро, очевидно, какие-то достоинства, если Гамов выбрал этого человека в министры.

— Выполню все те условия общенародных референдумов, какие вы предписали мне два месяца назад, — ответил Исиро — и я отметил про себя многозначительное “два месяца назад”.

Распустив Ядро, Гамов позвал меня в маленький кабинет, я как всегда уселся на диванчике.

— Слушаю ваши удивления и сомнения, — сказал Гамов.

— Угадали: и удивления, и сомнения.

— Первое удивление, наверно, по поводу того, что референдум технически подготовлен давно? Мы с Исиро часто размышляли, что неплохо бы прямо обратиться к народу с вопросом о его отношении к войне и к руководителям страны. Враги дают нам такую возможность. Та самая информация методом провокации, которую придумал Бар. Слушаю дальше.

— Мы надеемся, что враги погодят с наступлением до ответа на “Декларацию о мире”, но если они начнут раннее наступление, чтобы воздействовать на настроение людей, идущих к урнам?

— Аментола — не глупец. Латаны — народ мужественный, гордый, ценят достоинство своей страны. Наступление до референдума вызовет возмущение. Зачем это врагу? И ведь есть возможность, что население Латании добровольно осудит нас и признает неизбежность нашего поражения. В этом случае Кортесия вообще обойдется без сражений. Практичные кортезы не будут тратить больших средств там, где можно обойтись малыми. Я опроверг ваши удивления и сомнения?

— Не все. Вы поставили народу четыре вопроса. Мы получим четыре ответа. И они могут оказаться очень разными. На одни большинство ответят “нет”, а в других в большинстве могут быть “да”. Говорю о вас лично. Что, если на один этот вопрос народ ответит “да”? Вы правитель суровый, Гамов, это не всем нравится. Благополучием родины не пожертвуют, навесить на себя позорную кличку “агрессор” мало кто осмелится. Но почему не пожертвовать одним человеком, если это облегчит замирение? Вы пошли на страшный риск, поставив на референдуме вопрос о себе!

— Больше половины населения проголосует за меня.

— Гамов! Больше половины — это мало! Вы не наследный монарх, даже не Маруцзян, ставший президентом волей большинства на выборах. Маруцзян сказал о нас: “Узурпаторы!” Вы захватили власть, не спрашивая ни у кого, правите жестко. Ваша власть имеет силу, если вас поддерживает не менее трех четвертей народа. А если он откажет вам в такой доверии?

Гамов менялся в лице. Павел точно охарактеризовал его состояние — восторженность. Я бы еще добавил — умиление. Он впал в умиленную восторженность. Он чем-то в себе восторгался, чему-то умилялся — и даже растрогался от умиления своей

восторженностью. Глаза его влажно светились, на щеках выступила краска. Все это было так невероятно, что я не поверил бы своим глазам, если бы не знал, что глаза мои всегда видят верно.

— Вы правы. Половина голосов — катастрофа. Это еще годилось бы для Маруцзяна, для Аментолы, для Вилькомира Торбы... Их правление — заполнение промежутка истории. Мое правление — перемена хода истории. Я должен опираться на весь народ.

— Тогда еще раз спрашиваю — зачем вы рискуете?

— Надо знать настроение народа. О самом себе знать, что я — это я! Без этого моя миссия бессмысленна.

— Миссия? Хорошо, пусть миссия. Но если не будет того большинства, которого желаем?

— Тогда уйду. И меня замените вы.

— Глупости, Гамов! Вас можно сменить, заменить вас невозможно. Наша сила — в нашем единстве. Аментола поэтому так обрадовался призраку нашей с вами вражды.

— Вы замените меня, — повторил Гамов. Его лицо сияло дурацкой светлой покорностью. На это трудно было смотреть. Мне захотелось грубо выругаться. — Если меня не поддержат, значит, мое время еще не пришло. А пока вы совершите свою часть нашего общего дела.

Я все-таки выругался, но души не облегчил. Такие речи приличествовали фанатичному пророку, а не трезвому политику. Гамов почувствовал, что перешел межу. Он сказал уже без пророческой напыщенности:

— Подождем. Уже не так далеко до вердикта народа.

7

Хоть это и удивило меня, “Трибуна” не подняла грохота в связи с опубликованием наглых требований Кортезии и ее союзников. Разумеется, я не ожидал, что неистовый Фагуста поддерживает наших врагов, но “Трибуна” по-деловому освещала подготовку к референдуму, печатала о нас сносные статьи.

Свое удивление я высказал самому Фагусте, когда повстречал его в нашей столовой. Он питался в своей редакции, но, появляясь у Исиро или у Гамова, прихватывал еду и у нас — такой туше нормального пайка не хватало.

Он вышел из раздаточной с подносом, направился ко мне и бесцеремонно поставил поднос на мой стол. Воспитанностью этот газетный деятель, лидер мирно скончавшейся партии оптиматов, никого не восхищал.

— Хочу составить приятную компанию, разрешите? — И, не ожидая разрешения, уселся.

— Компанию составить можете, но вряд ли приятную.

— Почему вы меня не терпите? — поинтересовался он, набрасываясь на борщ. Он был близорук и низко наклонял лицо над столом — чудовищная его шевелюра, так похожая на аистиное гнездо, чуть не мела по тарелке. И он чавкал громче того, что я мог спокойно снести.

— Терплю. Уж если не встал и не перехожу за другой столик...

— Не терпите, — повторил он. — Между прочим, напрасно. Я вам не враг, только критик ваших недостатков. Если хотите, ваш помощник.

Он покончил с борщом и принялся за “жеванные котлеты”, так называл это блюдо Готлиб Бар. Теперь Фагуста не чавкал, только глотал.

— О моем отношении к вам видно по последним номерам газеты. Признайтесь, вас удивило, что я не начинаю новой кампании против правительства в связи с “Декларацией о мире”?

— Признаюсь: удивило. Уж не сам ли Гамов попросил вас не осложнять внутреннего положения перед референдумом?

— Ха, Гамов! Ваш Гамов единственный человек, которого я отказываюсь понимать. Но вы правы, Семипалов: “Трибуна” взяла смирный тон, чтобы не перевозбуждать народ перед трудным испытанием его духа.

— Рад, что вы этого хотите. Не исключено, что в будущем станете сторонником нашего правительства.

— Исключено. И знаете почему? Потому что я с самого начала ваш искренний сторонник. Вы правительство плохое, делаете массу ошибок и глупостей, не устану это повторять. Но любое правительство, которое может вас сменить, будет хуже.

— Даже если нас сменит правительство, возглавляемое вами?

— Семипалов, остроты вам не к лицу! Оптиматы как сильное политическое движение давно перестали существовать. Но если бы случилось чудо, было бы не лучше, а хуже. Могу критиковать ваши просчеты и глупости, но сам бы наделал глупо-

стей куда больше, просчеты были бы серьезней. Прикидываю дела Гамова на себя и вижу — не по плечу! Удивлены? Удивляйтесь. Еще не раз удивитесь.

Он проглотил кофе и понес опустошенный поднос в раздаточную.

Гамов дал Исиро две недели на подготовку референдума. Исиро уложился в десять дней. Пеано предпочел бы, чтобы он протянул лишнюю неделю. Исиро пожал плечами, когда узнал его просьбу.

— Разве я не сделал этого? Голосование могло начаться уже в тот день, когда вы решились на референдум.

Пеано старался оттянуть референдум, чтобы выиграть лишь несколько дней до наступления кортезов. И опасался, что им надоеет наша проволочка и они начнут весеннюю кампанию до референдума. Грозные признаки этого имелись.

Прищепа узнал, что маршал Ваксель направил протест Амину Аментоле против задержки наступления. Командующий армией кортезов рвался в бой, игнорируя дипломатов. Но среди многочисленных прерогатив президента была и та, что окончательное решение военных вопросов он оставлял за собой. Он приказал Вакселю ждать.

— Зато на президента ополчился Леонард Бернулли, — докладывал Прищепа. — Бернулли доказывает, что задержка наступления уменьшает шансы на успех, так как мы усиливаем оборону. К счастью, Бернулли назвал Аментолу самым некомпетентным президентом в истории Кортезии. Уверен, что впредь любые предложения сенатора будут встречаться в штыки только потому, что они исходят от него.

— Что еще говорил этот буйный сенатор?

— Помните его слова, что Аментола перегружает свою тележку швалью, которую выбрасывает Гамов? Он пошел дальше. Он внес в сенат резолюцию, запрещающую всякие поставки бывшим союзникам. Ни денег, ни товаров этим болтунам и лежебокам! — возгласил он. И потребовал, чтобы все средства страны направлялись Вакселю, не разбрызгиваясь. На заболоченных полях Патины совершается мировая история, и глупцы те, кто этого не понимает. Вот так он закончил свою речь в сенате.

— Много у Бернулли союзников?

— Немного, но становится больше. Если Бернулли продолжит свою агитацию, Аментола может потерять прочное большинство в сенате.

— А способен ли Бернулли стать президентом Кортезии? Если он возглавит страну, это ухудшит наши позиции.

В разговор вступил Вудворт, хорошо знавший Бернулли.

— Ни при каком падении популярности Аментолы Бернулли президентом не будет. Путь к президентскому креслу ему заказан из-за его внешности. Бернулли урод. Короткие ноги, огромная голова... Невероятная грудь при маленьком росте... Кортезия мирится с президентами красавцами, хотя предпочитает людей среднего облика. Пример — тот же Аментола, ведь красивый мужчина. Они скорее предпочтут президента глупого, но не уродливого. И Бернулли это знает. Он не выставлял своей кандидатуры ни на одних президентских выборах.

— Но навредить нам он может сильно и в сенате, — сказал Гамов.

Голосование по всей стране началось на рассвете и закончилось в полночь. На востоке уже шло к новому рассвету, когда на западе оно еще продолжалось.

На Ядре Исиро огласил средние цифры по стране:

Первый вопрос. Согласны ли вы признать Латанию виновницей агрессивной войны? “Да” ответили 7% голосовавших, “нет” — 93%.

Второй вопрос. Одобряете ли вы отставку правительства, возглавляемого Гамовым? “Да” — 13%, “нет” — 87%.

Третий вопрос. Согласны ли вы после заключения мира выплачивать денежные и товарные репарации странам, с которыми мы ныне воюем? “Да” — 1%, “нет” — 99%.

Четвертый вопрос. Согласны ли вы удовлетворить территориальные претензии соседних с нами государств? “Да” — 4%, “нет” — 96%.

Исиро сказал, что голосовали по разным регионам примерно одинаково. Единственное исключение — Флория, западный автономный край, примыкающий к Патине. Флоры, народ с древними традициями и обычаями, патинов не любили, но еще меньше любили латанов. В других краях нет такого отстаивания своей национальной замкнутости, такого пренебрежения ко всем “не нашей крови”, как во Флории. И сейчас 32% флоров признали Латанию агрессором, 37% пожелали отставки нашего правительства, 18% согласились на территориальные уступки

соседям, но только 6% пожелали выплаты репараций врагам — флоры понимали, что часть репараций придется выплачивать и им.

Готлиб Бар так оценил голосование во Флории:

— Эффект коммунальной квартиры. Сосед не враг, но всегда неприятен, когда с ним непрерывно сталкиваешься в коридоре или делишь плиту на кухне. Голосование флоров неприятно, но не опасно.

— Я предпочел бы, чтобы “эффект коммунальной квартиры” проявился где-нибудь на востоке, а не во Флории, — сказал Пеано. — Через Флорию проходят коммуникации нашей армии.

Гамов подвел итоги. Большинство населения за нас. Мы на крепком фундаменте. Ответим теперь “нет” на все требования врагов. Предстоит тяжелое лето, зато надежды на зиму — если выстоим летом — благоприятней.

— Два обстоятельства особо радуют меня. Нас лично поддерживали больше трех четвертей населения. И второе — за правительство везде меньше людей, чем за независимость нашей страны и волю к победе над врагом. Не удивляйтесь, я рад этому. Рад, ибо мы с вами приходим и уходим, а народ остается. Страна поставила честь родины выше нас, правящих ею ныне. Вижу в этом не наш с вами недочет, а великую гарантию успеха.

Вудворт зачитал ответ на “Декларацию о мире”. На все предварительные условия категорическое — нет. Одновременно предлагались мирные переговоры — и до их результатов никаких военных действий.

Мы с Пеано из дворца пошли в его штаб.

Всю эту ночь я провел в ставке. Я еще не догадывался, что отныне на долгие недели вся моя жизнь распадется на три части — штаб Пеано, кабинет в военном министерстве, совещания у Гамова, — другой жизни уже не будет. Елена, когда появлялась в столице, звонила мне ежедневно, но я не всегда мог ей отвечать, тем более встретиться. Она, впрочем, была занята вряд ли меньше моего.

Утром Ваксель открыл военные действия на всем фронте.

Удар был такой силы, что сразу опрокинул первую линию обороны. Машины кортезов ринулись вглубь. Пеано предвидел мощь первого удара и отдал своевременные приказы об отступлении. Если Ваксель надеялся захватить большое количество пленных, то ему пришлось разочароваться. Люди укрылись за

главной линией обороны. Война пошла отнюдь не по росписи Вакселя.

Пеано оценил первую фазу забушевавшего сражения как наш успех, несмотря на потерю территории.

— При Комлине мы теряли больше людей и техники, чем противник. Сейчас кортезы с родерами теряют больше, чем мы. И еще одно преимущество. Ваксель сейчас шагает по земле, нашпигованной датчиками Прищепы. Что делается у нас, он вряд ли знает точно. А мы его видим, как на ладони. Сейчас это облегчает нам оборону, завтра обеспечит наступление.

Все это было верно, конечно. Видимость военного успеха кортезов превосходила реальную удачу. Но мир видел только видимое. Наши прошлогодние успехи, когда мы прорывались из окружения, легкая смена правительства, трусливое отступление нордагов после их наглого броска к Забону, воцарение порядка в охваченной бандитизмом стране — все это породило впечатление, что Латания стала неизмеримо сильнее. А Ваксель прорвал нашу оборону как деревянный забор и показал, что возможности Кортезии выше наших, поэтому тому, кто хочет извлечь выгоду из борьбы двух гигантов, нужно не терять времени.

Спустя неделю нам объявили войну бывшие союзники: Великий Лепинь и Собрана, а к ним присоединились нейтралы: Кондук, Клур и Кори́на. И так как все объявили войну в один день, то это значило, что был предварительный сговор. Мы оказались в одиночестве. И не в “блестящем одиночестве”, как гордо объявил один древний правитель Корины, когда она стояла против коалиции, но чувствовала себя могущественней своих врагов, вместе взятых.

Только Торбаш не примкнул открыто к Кортезии. Хитрый Кнурка Девятый провозгласил временное неучастие в войне. Он потребовал мирного разрешения пограничных претензий, о которых, замечу, раньше никто и слыхом не слыхивал, — “для извлечения навару из закипевшего котла”, сказал Готлиб Бар. Король известил, что для переговоров высылает своего личного представителя Ширбая Шара, и потребовал, чтобы его приняли незамедлительно. Гамов велел Вудворту чрезвычайного посла его величества Кнурки Девятого принять с почетом, но переговоры вести с замедлением, — пока не прояснится военная обстановка.

А затем произошли два события, едва не опрокинувшие всю нашу хитроумную стратегию.

Первым стало покушение на Гамова.

Он поехал на завод электроорудий и вибраторов. Его сопровождал Готлиб Бар. На площади между цехами завода Гамов обрисовал военную ситуацию, пообещал победу. Бар тоже добавил хороших обещаний, потом оба пошли сквозь расступившуюся толпу к своим водходам. И тут из толпы вырвались трое мужчин с оружием в руках.

Преступники не раз репетировали нападение и продумывали борьбу с охраной. Два импульсатора полоснули по толпе: кто отшатнулся, кто упал сраженный. Но едва сверкнули синие молнии импульсаторов, а над толпой пронесся вопль возмущения и ярости, как один из преступников сам рухнул от ударов кинувшихся на него рабочих, а второй отчаянно забился в руках охранников. Только третий, без импульсатора, успел подскочить к Гамову и нанес удар кинжалом. И, вероятно, в этот момент закончилась бы политическая карьера диктатора — он остановился безоружный, с открытой грудью, перед сверкнувшим в глаза лезвием, — если бы его не заслонил охранник Семен Сербин. Сербин каким-то поистине молниеносным движением оттолкнул Гамова, и убийца пронзил кинжалом не диктатора, а солдата. Гамов, отброшенный Сербиным, еще покачивался, стремясь устоять на ногах, раненый солдат еще медленно оседал на землю, а на убийцу уже нахлынула толпа, повалила наземь и топтала ногами. Над толпой пронесся вопль Григория Вареллы — Прищепа назначил своего любимца начальником охраны Гамова:

— Братъ живьем! Братъ живьем!

Его приказ запоздал. Один из преступников валялся на земле с пробитым черепом. Убийцу, кинувшегося с кинжалом на Гамова, подняли — еще до того, как донесли до машины, он скончался. В живых остался только третий, схваченный охраной. Его одного Варелла уберег от самосуда, но, истерзанный, с окровавленным лицом, искалеченной правой рукой, он еле двигался и почти не шевелил языком.

Стерео сохранило нам кадры, как Гамов подоспел к Сербину и не дал ему упасть. И поддерживая залитого кровью солдата, все спрашивал:

— Сербин, вы живы? Отвечайте, вы живы?

Потом в окружении все той же толпы все разместились в машинах: Гамов посадил Сербина рядом с собой и обнимал его за плечи, троих убийц — два трупа и один полутруп — кинули в машину Бара, сам он перебрался к Гамову. Обе машины проследовали к выходу под крики толпы, торжествовавшей спасение диктатора.

Получив известие о покушении на Гамова, я поспешил к нему. Он раньше завез Сербина в больницу, потом поехал к себе. Почти тотчас в его кабинете появился хмурый Прищепа.

— Поздравляю вас с благополучным избавлением от несчастья, которое мы собственной глупостью организовали! — сказал я Гамову, а Прищепе добавил: — Павел, мы все виноваты, но ты больше всех. Это твоя собачья обязанность — охранять главу государства. И ты ее не выполнил!

По случаю чрезвычайного события я пренебрег запретом Гамова и обратился к Прищепе без предписанной официальности.

— Полковник Прищепа свои обязанности выполнил хорошо, — возразил Гамов. — Я жив, и даже не ранен — чего еще желать? И спас меня охранник, назначенный Прищепой.

У меня было другое мнение о виновности моего друга Павла Прищепы, но я только сказал Гамову:

— Вы не находите, что это очередной парадокс? Сербин, которого вы так жестоко унизили перед товарищами, кинулся отдавать свою жизнь, чтобы спасти вашу.

— Сперва унизил, но потом обнимал перед той же толпой его товарищей, — напомнил Гамов.

— Возвращаюсь к Пеано, — сказал я. — Понадоблюсь, вызывайте.

В ставке Пеано переключал обзорный экран с одного района на другой. О покушении на Гамова он уже знал и не стал спрашивать, как тот себя чувствует: были новости важнее самочувствия спасенного диктатора. На общем обзоре западного фронта небо затягивали спрессованные тучи. Два циклона крутились над Восточной Патиной и Западной Флорией. Вращались они одинаково против часовой стрелки, но в линии встречи гнали тучи в противоположные стороны: левый край циклона, генерированного нашими метеоустановками, мчался на юг, правый край циклона, возбужденного кортежами, несся на север. Противоположные ветви воздушных вихрей сталкивались, и одна другую оттесняла. Ваксель гнал громады туч на восток,

Штупа выталкивал их на запад. На линии противоборства неистовствовала гроза. От южных пустынь до северного моря весь экран прозмеила огненная полоса. Молнии вспыхивали непрерывно, их было так много, что весь экран озарялся, как на пожаре. Мне вдруг представилось, что сам я где-то там, в непрочном укрытии, и стало жутко — гроза была много грозней той, что я видел под Забоном.

— Грозовая линия не перемещается вот уже час, — сказал я Пеано.

— К сожалению, перемещается. За час не увидеть, а за сутки смещение отчетливо. Гроза идет на восток, Ваксель пересиливает Штупу. Теперь переключаю на границу с Кондуком.

Границу с Кондуком всю заволокло темной пылью. У нас разворачивалась весна, там уже было лето. Лето в пустыне, разделявшей нас и Кондук, всегда начиналось с песчаных бурь. Они поднимали такую массу песка и так высоко над землей, что желто-оранжевая пустыня на экране виделась окутанной в черное одеяло. Поначалу я подумал, что Пеано демонстрирует мне одну из таких весенних песчаных бурь. Но потом разглядел, что вдоль пограничных дорог чернота поглощавшего свет покрова особенно густа: к естественной пыли, взметенной горячим ветром, добавляется еще пыль от множества машин, торопящихся к нашим рубежам. Самих машин не было видно в тучах песка.

— Мы этого ожидали, Пеано. Кондук в своей истории не раз поражал нечестными поступками.

— Посмотрите тогда на бесчестие, какого не ожидали даже от Кондука.

Пеано сфокусировал экран на городок Сорбас. Я бывал в этом маленьком мирном поселении, там испытывались водоходы для пустынь с новинками моей лаборатории. Сорбас возникал среди желто-оранжевой пустыни цепью невысоких холмов, уютно уместившейся меж их склонов долиной, обширными садами, пересеченными искусственными каналами, и сотней домов в глубине садов. Я узнал окрестности города, дороги, сходящиеся к нему из пустыни. Но города не узнал. В долине стояло темное облако дыма и пыли, из него то там, то тут вырывались столбы огня. Город пылал.

Я смотрел во все глаза на страшную картину.

— Пеано! Они сошли с ума! Ведь мы объявили Сорбас мирным городом. Там нет войск, нет укреплений, нет военных предприятий. Фабрика сушеных фруктов — и все!

— Именно потому кондуки и напали на него. Раз Сорбас — мирный город, значит, отпора не будет.

Я все не мог оторвать глаз от жуткой картины города, пылающего под мощным куполом дыма и пыли.

— Но как кондуки могли прорваться к городу? Ведь им надо было преодолеть наши пограничные укрепления!

— Они пролетели над ними. Своих водолетов у них нет, но Кортезия прислала пятнадцать летательных машин.

В штаб вошел Прищепа. Я показал ему экран.

— Видел, Павел?

— Только сейчас вижу, но уже знаю подробности.

Сведения Прищепы мы с Пеано выслушали, сжимая кулаки. Водолеты кондуков преодолели границу еще ночью и подошли к Сорбасу на рассвете. На город бросали вибрационные бомбы такой мощности, что стены домов рушились от резонанса. По первым донесениям, погибла половина населения города. Другая половина прорвалась сквозь запылавшие сады в пустыню. Нужно срочно организовать помощь этим несчастным.

— Я выслал туда наши подвижные части, — сказал Пеано. — К вечеру они подберут спасшихся.

— Ты допрашивал человека, напавшего на Гамова? — спросил я Прищепу.

— Он еще плохо говорит, но угадывается заговор. Во главе его маршал Комлин, трое парней — исполнители приказа маршала. Я арестовал маршала и Маруцзяна и еще десяток их друзей, отказавшихся в свое время заполнить покаянные листы и отстраненных нами от должностей.

— Ты передал арестованных Гонсалесу?

— Пусть это решит сам Гамов. Пойдемте к нему.

Неожиданное нападение Кондука на мирный городок было вторым важным событием недели.

8

Гамов впал в неистовство. В то холодное бешенство, которое было страшней открытых приступов ярости. Он сказал:

— Прищепа, подготовьте доклад о внутреннем состоянии Кондука и о планах его военного командования. Пеано, подработайте ответ на воздушный удар по беззащитному городу.

Это было, вероятно, самое важное наше Ядро после решения о референдуме. Прищепа доложил, что власть в Кондуке держат

религиозные вожди. Главный — Тархун-хор, живой наместник древнего пророка Мамуна. Тархун-хор — фанатик, аскет, проповедник. В парламенте правит Мараван-хор. Противоборствующих партий нет. Провинции разобщены. Борьба провинций между собой заменяет борьбу партий.

Народ, продолжал Прищепа, покóрен священникам и помещикам. Промышленность служит земледелию. Зерна, фруктов и мяса производится очень много. Этому способствует плодородная почва, ухоженные сады, тепло и обилие влаги. Экспорт продовольствия — главный источник доходов. Вместе с тем бедность населения — одна из самых высоких в мире.

Прищепа закончил свой доклад так:

— Решение о войне было принято по предложению Мараван-хора, но многие провинциальные делегаты проголосовали против, были и воздержавшиеся. Страх перед Латанией исконен в народе. Налет на Сорбас совершен Мараван-хором без обсуждения в парламенте. Возможно, Мараван-хор опасался сопротивления обычно малоактивных депутатов: Сорбас — древняя столица пустыни, откуда, по преданию, вышел пророк Мамун, это могло повлиять на религиозных депутатов. Больше трети парламента выразило одобрение Мараван-хору, когда он высокопарно известил о победе в пустыне, но две трети промолчали.

Гамов обратился к молчаливому Омару Исиро:

— Итак, основная сила в Кондуке — религия. Подготовьте доклад о деяниях пророка Мамуна и о религиозном управлении в стране. Теперь вы, Пеано.

Пеано военных операций в южной пустыне не предпринимал. Резервов для наступления в глубь Кондука нет. Метеогенераторные станции не оборудованы — лишь передвижные метеоустановки для местных дождей на сады. Да и за ливни в жарком Кондуке поблагодарят, а не проклянут.

— Пеано, меня не удовлетворяет оборона против Кондука, — сказал Гамов. — Уничтожен мирный город. Сожжены женщины, дети... Это наша вина! Дети молили о защите, не было защиты! Матери проклинали нас! — Гамов побледнел, голос его дрожал. — Каждое их проклятье — святая правда! Этого нельзя простить ни Кондуку, ни нам! И я не прощу!

Он помолчал, сдерживая волнение. Человек бурных эмоций совмещался в нем с холодным политиком. Немало времени должно было пройти, чтобы все поняли, что такое совмещение противоположностей было их содружеством, а не совражест-

вом. Эмоции оплодотворяли рассудок, холодный разум стимулировал эмоции. Теперь Гамов говорил как политик, задумавший эффективную операцию.

— Уничтожение Сорбаса, если за него не покарать, может и других противников соблазнить на такие же преступления. Война даже в честных людях порождает бесчестность. Беснаказанность приводит к наглости. Надо перенести войну в Кондук, быстро завоевать страну и жестоко покарать и правительство, и народ, выбравший такое правительство.

Он с вызовом обводил нас гневными глазами. В его больших сверкающих глазах временами появлялась такая сила, что действовала убедительней слов. Это не были испуганные глаза фанатика, нет, но меня они порой покоряли больше, чем рассуждения. Пеано меньше моего подчинялся магии взгляда и весь осветился такой радостной улыбкой, что стало ясно — у него масса возражений.

— Отличный план, диктатор! Захватить Кондук, нагнать страху на бывших неверных союзников! Одна беда: армии через пустыню не перебросить, тяжелого оружия не подвести...

— Предвидел ваши возражения, Пеано. Мы создаем могучий водолетный флот, а Кондук получил пятнадцать машин — и вот к чему привел один их вылет. Бросить против Кондука сто машин! Что он может противопоставить такой силе?

Я запротестовал. Наш флот предназначен, чтобы, внезапно появившись, всей мощью в воздухе добиться полной победы в войне. Сто машин — это не весь флот, но они раскроют величайший наш военный секрет — создание флота, равного которому нет в мире.

Гамов слушал, наклонив голову. Глаза потухали, в лице появилась почти мольба. И он посмотрел на меня так, словно я, а не он был диктатором, и от меня, а не от него надо ожидать решения.

— Семипалов, вы правы. Опасно даже немного приоткрывать нашу стратегию... Не знаю... Эти дети... Они мертвы, но кричат во мне, я слышу их голоса... Я ничего не могу с собой поделать, Семипалов, я слышу их голоса!..

Я с гневом крикнул:

— Перестаньте, Гамов! Мы не только ваши помощники, но и просто люди. Давайте же говорить как стратеги.

Ему понадобилась почти минута, чтобы справиться с волнением.

— Оценим все за и против. Против одно — частично расшифровываем наши силы. Даем проницательному политику возможность проникнуть в наш тайный замысел. Все остальное — за. В окружении Аментолы мало проницательных политиков, сам он тоже не блещет интеллектом. Второе. Мы хотим отвлечь ресурсы Кортезии на помощь их новым союзникам. И это уже частично достигнуто — она прислала в Кондук водолеты, хотя и у нее каждый на счету. Но большой помощи союзникам Аментола все же не окажет, пока над ним не грянет гром. А если мы захватим Кондук, Кортезия должна будет либо колоссально увеличить ему помощь, либо прослыть предательницей. Аментола — по-своему честный человек, он держит слово. Но ведь, решаясь на разрыв с союзниками, мы планировали, что они станут мощным насосом, высасывающим из Кортезии ее жизненные соки, а нам, даже насыщенные дарами Кортезии, большого вреда не принесут. Если мы страшно покараем Кондук, то это лишь увеличит страх у Лепиня, у Торбаша, у Собраны. И увеличит те выгоды, которые мы предугадывали, разрывая с союзниками — и их пассивность, и их ненасытную жажду подачек от Кортезии.

Мы заранее знали, что Гамов настоит на своем. Но я хотел, чтобы его решения диктовались не яростью, а несли в себе тот ясный расчет, каким он всегда пересиливал нас в споре. Негодование он сдержать не мог, но показал, что не теряет ясности ума. Я сказал:

— Пеано, выделяю вам сто водолетов. Когда ждать приказа о вылете машин со своих баз?

— Завтра диспозиция будет готова. Утром следующего дня водолеты смогут стартовать.

Пеано, как всегда, был педантично точен. Этот человек, став главнокомандующим, сохранил высокое искусство штабиста. Он почти мгновенно оценивал все материальные возможности любой операции — масштабы предварительной штабной работы, техническую подготовку сражений, создание уверенного перевеса собственных сил над неприятельскими. Ход сражения зависел больше от мастерства командиров, чем от Пеано, но все, что можно было предварительно сделать для успеха, Пеано делал.

Не знаю, сколько имелось в нашей стране разведчиков Кортезии, но они все проморгали вторжение в Кондук. Ни сам Мараван-хор, ни его военные и понятия не имели, что им уготова-

но до той минуты, когда наши водолеты, гудя донными дюзами, стали опускаться на площади столицы страны Кондины. На границе с нами стояли все армии Кондука. Там еще гремели электроорудия, шипели вибраторы, сверкали импульсные молнии — кондуки ввязывались в серьезную операцию, — а наши десантники уже вели под конвоем и Мараван-хора, и всех членов парламента, и весь генералитет, а после них и самого Тархун-хора, семьдесят четвертое живое воплощение древнего пророка Мамуна. Бой на границе не прекращался, пока Мараван-хор не показался на стереозэкране и, вконец потерявшийся, не прошамкал побелевшими губами приказ сложить оружие. Наши войска перешли границу. Поразительно легко совершился захват воинственной страны, полторы тысячи лет не разрешавшей ни одному иностранному солдату появиться в ней с оружием в руках.

Гамов послал в захваченную страну Омара Исиро, Аркадия Гонсалеса и Николая Пустовойта. Председателем оккупационной комиссии он назначил Омара Исиро — ни я, ни Пеано не поняли, зачем понадобился на такую роль самый незаметный член Ядра, к тому же министр информации — пропагандист, а не правитель.

В здании парламента за столом председателя — за ним еще несколько дней назад восседал напыщенный Мараван-хор — сидели Аркадий Гонсалес и Николай Пустовойт, а перед ними по одному проходили члены парламента, и секретарь называл фамилию каждого и как тот голосовал — за войну, против или воздержался. Иногда то Гонсалес, то Пустовойт задавали вопросы. Гонсалес, поворачиваясь к Пустовойту, выносил свой приговор, тот утверждал его кивком головы либо возражал, и они спорили, а вызванный член парламента стоял, молчаливо ожидая решения. Оба судьи, Черный и Белый, соглашались в чем-то и отправляли вызванного, а перед ними вытягивался другой член парламента.

Гамов показал на этом судилище всему миру, как собирается расправляться с “организаторами войны”, такой термин впервые прозвучал в Кондине, столице государства, еще не выветрившего из себя духа средневековья. Все нормы судебной процедуры, создававшейся сотни лет в цивилизованном обществе, были отвергнуты. И продемонстрирован новый суд — скорый и беспощадный. Говорю так не от возмущения, мне ли возмущаться, заместителю Гамова, всячески укреплявшему его неог-

раниченную власть? Просто констатирую факт. Вода течет вниз, деревья растут вверх, Гамов вводит новый суд — таковы факты. Не мне осуждать Гамова.

Приговоры Черного суда Исиро огласил по стерео — как министр информации и привел в исполнение — как наместник Гамова в завоеванной стране. Все парламентарии, проголосовавшие за войну, приговаривались к смертной казни на виселице, их имущество конфисковывалось, их семьи высылались на север Латании. У воздержавшихся при голосовании конфисковывали половину достояния, они осуждались на принудительные работы внутри своей страны до конца войны. Проголосовавшие против войны — всего 17% в парламенте — награждались предприятиями, конфискованными у казненных. Правительство конструировалось из парламентариев, проголосовавших против войны, но подчинялось командующему оккупационными войсками.

Если бы население Кондука было однородно, Гамов, возможно, не осмелился бы применить ко всей стране репрессии. Но между провинциями в Кондуке тлело недоброжелательство. И Гамов — устами Омара Исиро — разделил Кондук на три части. К первой, самой крупной, Исиро отнес провинции, где делегаты проголосовали за войну. Все население там облагалось конфискацией трети имущества. Солдаты из этих провинций объявлялись военнопленными и вывозились в Латанию — восстанавливать Сорбас. Провинции, чьи делегаты воздержались при голосовании, выплачивали репарации, а парни из них сводились в трудовую армию для внутренних работ. Провинции, пославшие в парламент противников войны, не только освобождались от штрафов и репараций, но им вручалась часть конфискованного в других провинциях имущества, их солдаты распускались по домам.

Политику “кнута и пряника” изобрел не Гамов, но он внес в нее свои неклассические черты: в завоеванной стране превратил маленький пряник в солидный каравай, а кнут в обух; и продемонстрировал миру, что даже худой мир порождает добрые плоды, а война, даже несущая временные победы, кончается либо смертью, либо разорением.

Стерео вскоре донесло до всего мира пейзаж ухоженного сада перед парламентом, а по аллеям на виселицах мертвецов с перекошенными лицами. А на острие сходящихся трех аллей,

отделенный от всех, толстый, коротконогий Мараван-хор. И над ним надпись: “Расплата за войну”.

Среди приговоренных Гонсалесом к казни не было ни одного священника, хотя многие благославляли полки, уходившие к границе. Гонсалес во время суда даже не упомянул Тархун-хора. Я поинтересовался у Гамова, почему для грешной церкви — такое отпущение грехов.

— Отпущения грехов нет. Но к служителям церкви подхожу иначе, чем к гражданским и военным преступникам. Священники не берут в руки импульсаторов.

— Не понимаю вас, Гамов. Журналисты и писатели тоже не берут в руки импульсаторов, проливают чернила, а не кровь. Но вы приговорили их к казням за пособничество войне. Гамов, сомной не надо лукавить! Вы что-то задумали с Тархун-хором и его присными.

Он не ответил откровенно. Но это я узнал впоследствии. А пока пришлось удовлетвориться странными рассуждениями о том, что религия не правительство, не журналистика, не военное командование, а особое настроение души — и требует к себе особого отношения. Он-де пытается перетянуть Тархун-хора на свою сторону, это миссия деликатная. В общем, надеется, что священнослужители Кондука из противников станут помощниками. И это повлияет на все страны, исповедующие учение Мамуна.

— И совершать этот неслыханный переворот в религии назначено нашему великому молчальнику Исиро?

— Вы напрасно посмеиваетесь, Семипалов. Омар большой знаток книги песен Мамуна. Кстати, я тоже знаю эти песни.

— Вы? Да вы же западник, Гамов. Любитель музыки Патины, литературы Клура и Корины, архитектуры Родера. Духовно вы родной брат нашего Готлиба Бара, притворяющегося, что он чистокровный латан, но по всем вкусам истинного родера.

— Именно потому, что я воспитывался среди поклонников Мамуна, я и стал западником. Это, впрочем, длинная история...

— Оставим длинные истории на время, которого будет больше. Меня интересует международная реакция на захват Кондука.

— Это нам обрисует Прищепа, я его вызвал.

Прищепа в общем подтвердил то, что мы предвидели. Новые союзники Кортезии ошеломлены. Великий Лепинь остановил продвижение войск к границе, осторожный Лон Чудин остере-

гается вторгаться в наши пределы. Кир Кирун, его брат, ныне главнокомандующий, настаивает на военных действиях, но разрешения на них пока не получил. Мгобо Мордоба, президент Собраны, уже не произносит против нас хулительных речей, но концентрирует войска вдоль границы с Кондуком — война опасно приблизила нас к его стране. Клур снарядил две дивизии и влил их в армию Ваксея. Маршал заявил прессе и эфиру, что ждет от клуров чудес. Чудес клуры пока не совершают, но будут отважно сражаться, в том сомнений нет. Корина послала в Нордаг одну дивизию. Боевые качества коринов общеизвестны — хладнокровные, стойкие солдаты, высокий уровень национальной гордости. С таким подкреплением и при успехе Ваксея нордаги могут начать второе наступление на Забон.

— При успехе маршала Ваксея? — переспросил Гамов. — А у него успех! Штупа предупреждает, что пересилить циклоны с запада уже не может. Наши равнины вскоре потонут в ливнях. Что в Кортезии?

В Кортезии внезапное крушение Кондука прибавило активности журналистам. В эфире оплакивают повешенных парламентариев. Аментола заявил, что захват почти беззащитной страны ярко рисует, что ожидает другие страны, если в них вторгнутся свирепые полчища Гамова. Появление водолетного флота у латанов неожиданно, мы проглядели его создание, признался он. Водолетов у Гамова, похоже, больше сотни, но мы пошлем в сопредельные с Латанией страны двести наших водолетов — удары с воздуха безжалостному диктатору больше не удадутся.

— Леонард Бернулли, вероятно, критиковал Аментолу за то, что тот допустил захват Кондука?

— Уничтожал! Но не за Кондук. Он доказывал в сенате, что Кондук — ничтожная страна, что его нападение на Сорбас вызывает негодование своей ненужностью и что захват Кондука тоже не имеет большого военного значения. Никакой помощи союзникам, не воюющим на западных границах Латании! — вот так он кричал с трибуны. Преступление, что мы обираем нашу заокеанскую армию ради расточительной помощи глупцам, как Мараван-хор, либо трусам, как Лон Чудин, либо болтунам, как Мгобо Мордоба.

— Как приняли его речи в сенате?

— Большинство за Аментолу, но прислушиваются и к Бернулли.

— Снова повторяю: опасный человек! Он проник в наши тайные планы. Прищепка, как нейтрализовать этого нашего злого гения?

— Обдумаю и доложу.

Гамов обратился ко мне:

— Семипалов, вам снова надо выйти на передний край в нашей тайной игре. Говорю о Войтюке. Первая стадия прошла блестяще. Вам перевели огромную сумму на борьбу со мной. Так надо показать, что такая борьба ведется. После того, как большинство народа в референдуме поддержало меня, они еще охотнее будут стимулировать наше противоборство. Посоветуйтесь с Войтюком о расколе нашего правительственного единства. Главное убедить Аментолу, что он прав, направляя ресурсы союзникам, а не своей армии, которая и без них одерживает победы. И опорочить Бернулли — этот урод действует мне на нервы. А теперь посмотрим два разговора Вудворта с послом его величества Кнурки Девятого.

У Гамова на отдельном столе стоял стереоэкран. Гамов набрал шифр, и мы увидели кабинет министра внешних сношений.

— За день до нашего нападения на Кондук, — пояснил Гамов.

Вудворт стоял, а к нему приближался Ширбай Шар. Не знаю, как этот человек выполнял свои тайные шпионские дела, но лицедействовал он превосходно. Если бы художнику понадобилось написать образ надменного высокомерия, то он мог бы просто срисовать Ширбая. Я потом еще рассматривал эту сцену и не переставал удивляться, как мог Ширбай Шар так высоко поднимать голову над плечами, так далеко перегибать массивную шею, чтобы грудь выпячивалась вперед. Это было рискованное гимнастическое упражнение, а не дипломатическая поза.

— Господин министр, я передал вам ноту своего повелителя, его величества короля Кнурки Девятого, — заговорил Ширбай Шар первым. — И надеюсь, что вы изучили ее с вниманием и уважением.

— Да, с вниманием и уважением, господин посол, — вежливо подтвердил Вудворт. — Повторяю те три пункта, на которые вы требуете незамедлительных ответов. Первый: передать вам пограничную область на глубину до ста лиг, чтобы исправить ту великую несправедливость, что 217 лет назад эта торбашская область была присоединена к Латании.

Ширбай важным кивком массивной головы подтвердил, что пришло время исправить несправедливость, совершенную два столетия назад.

— Второй пункт. Срочно предоставить вам давно обещанный заем в сто миллионов калонов. При этом пересчитать калоны в латы и выдать заем в золоте.

Новый кивок головы.

— Третий пункт. Был разработан план безвозмездной помощи Торбашу оборудованием, вооружением и специалистами. Смена власти в Латании задержала выполнение этого плана. Его величество уверен, что новое правительство без замедления развернет поставки. Я все перечислил, господин посол?

Ширбай Шар надменно проговорил:

— Вы не упомянули заключительной части ноты, господин министр. Его величество надеется, что ответ будет абсолютно благоприятен и сообщен не позднее трех дней со времени вручения ноты, чтобы избежать нежелательных осложнений в отношениях между нашими державами.

— Да, чтобы избежать осложнений... Итак, вы дали нам три дня. Послезавтра, господин посол, прошу прибыть для получения ответа.

Экран погас. Гамов сказал:

— На другой день после оккупации Кондука.

Похожая картина: стоящий Вудворт, входящий Ширбай Шар. Посол стал ощутимо ниже ростом, голова не откидывалась назад, открывая могучую грудь, а чуть ли не падала на нее, прежнюю надменность в лице сменила угодливость. И Вудворт держался с послом по-иному, чем при первой встрече. Тогда оба стояли, Вудворт говорил сухо, чуть не цедил слова сквозь зубы. Теперь пригласил Ширбая на диван, сам сел рядом, заговорил почти дружески:

— Итак, можем подвести итоги нашим переговорам. Вы уже знаете о несчастье с неразумными правителями Кондука? Вероятно, Мараван-хор будет повешен за глупую политику. Глупость рядового человека — его личное несчастье. Глупость политика — государственное преступление. Воротимся к вашей ноте. Мне кажется, ваши требования нужно подкорректировать, чтобы не произошло тех осложнений в наших отношениях, о которых вы так проницательно упомянули. Начнем с пункта первого. С передачей вам пограничного района пока погодим. Несправедливость совершена 217 лет назад, можно еще сотню

лет потерпеть. Вместо этого просим выделить нам две ваших дороги для переброски войск к границам Собраны, которая направляет в этот район целую армию. Будем оборонять вашу страну от возможного вторжения с юга. Плату за оборону вашей безопасности мы не требуем. Пункт второй. Заем в золоте. К сожалению, наш банк не располагает избытком золота — а где ничего нет, там и король теряет права. Говорю не о высокоуважаемом короле Кнурке Девятом, а о королях, теряющих ощущение реальности. Пункт третий тоже скорректируем. Учитывая, что Латания воюет и ресурсы ее напряжены, а также то, что вы сохраняете мир, а это в наше время недешево стоит...

— Вы издеваетесь! — воскликнул Ширбай Шар, но тихим криком. Его массивное краснощекое лицо побледнело.

— Что вы, господин посол, разве бы я осмелился? Ищу простые выходы из непростой ситуации... Итак, пункт третий — безвозмездная помощь материалами, товарами, снаряжением. Этот пункт сохраним, но переменим адрес поставок. Не мы вам, а вы нам. У вас хороший урожай, поделитесь им. И вторая корректировка: не безвозмездные поставки, а за плату. Часть выплатим сразу, часть — после войны. Таков наш ответ на вашу ноту. Поверьте мне, господин посол Шар, мы предусмотрели все, чтобы не допустить беспокоящих вас нежеланных осложнений между нашими державами.

Ширбай знал, что разговор с министром после наглых требований Кнурки Девятого будет тяжким. Но что в ответ Вудворт предъявит требования, еще более наглые, он, пожалуй, не ожидал. Страшный пример Кондука гудел в его мозгу дюзами водолетов — он не мог не считаться с ситуацией. Но еще пытался бороться.

— Господин министр, вы предъявляете нам ультиматум?

— Ультиматум предъявили вы: три дня на ответ — и ни часу больше. Мы не ограничиваем вас сроками. Можете обдумывать ответ даже неделю.

Ширбай Шар с горечью проговорил:

— Кондук всегда был вам врагом. А мы — всегда ваши союзники. Почему же вы не делаете меж нами различия?

Вудворту отказала его издевательская вежливость. И он слишком не любил Ширбая Шара, чтобы долго сдерживаться.

— Ширбай, по вашей ноте не видно, что вы наш союзник. Она написана рукой врага. Вы не одержали над нами военной

победы, но диктовали свои требования, как если бы она уже была. С вами обошлись мягче, чем вы хотели обойтись с нами.

Ширбай еще ниже опустил голову.

— Сегодня утром я связался с его величеством. Он догадался, что вы предъявите встречные требования. Но такие!.. Его величество поручил мне узнать, как стать членом Белого суда.

Впервые во время этой до мелочей продуманной беседы Вудворт встретил что-то непредвиденное и растерялся.

— Господин посол, вы говорите о Черном и о Белом суде?

Ширбая Шара король Кнурка Девятый все же не даром назначил своим дипломатическим советником.

— Да, о них. Вы объявили, что оба суда представляют собой международные организации с уставом акционерных компаний и что в них может вступить любое государство, заплатив денежный взнос. Мы хотели бы приобрести пакет акций на милосердие.

— Странное пожелание, Ширбай...

— Законное, господин министр. Не знаю, какие решения вынесет Черный суд в Кондине, но вы сами сказали — будут повешены... Но если бы представители этого маленького государства — тот же Мараван-хор — заседали в качестве акционеров этих судилищ... Его величество сегодня поручил передать вам, что, находясь в соседстве с такой могущественной державой, он претендует на законное участие в тех судах, какие, он не исключает этой печальной возможности, будут заниматься им самим. Он хотел бы в случае нужды сам, облеченный в судейскую мантию, решать свою судьбу.

Вудворт взял себя в руки и ответил с привычной холодной сухостью:

— Я не эксперт в делах обоих судилищ. Но постараюсь узнать о процедуре членства в них.

Гамов выключил экран. Радостно смеясь, он повторял:

— Нет, каков же хитрюга! Этот маленький король заслуживает большого уважения. В безнадежной ситуации находит единственный верный ход. Я начинаю менять о нем мнение к лучшему.

Я с упреком сказал:

— Я тоже меняю мнение, но к худшему. Говорю о созданных вами судах. Кнурка открыл их внутреннюю слабость. Мне и раньше не нравилось превращение этих учреждений в международные акционерные компании. Приговор по количеству

оплаченных акций! Ведь стань они воистину международными, обвиненным придется судить самих себя, а не только защищаться от суда. И тогда ядовитый Кнурка будет абсолютно прав.

— Он и сейчас абсолютно прав. Говорю вам, он умница! Не вижу ничего плохого, если обвиняемый станет собственным судьей.

— Опять неклассические методы! А если когда-нибудь и вам в роли судьи, решения которого обжалованию не подлежат, придется самому себе выносить суровый приговор?

Гамов сверкнул на меня большими черными глазами.

— Не исключаю этой возможности, Семипалов.

9

Фердинанд Ваксель ждал.

Маршал воевал методично — не спешил, но и не медлил. День за днем, неделю за неделей он прогрызал нашу оборону. Он терял и людей, и вооружений больше нас и знал, что если мощным ударом вырвется на простор, то потери не уменьшатся, а увеличатся: позади укреплений маневренные войска, Ваксель не торопился встречаться с ними — подвижная борьба грозила нарастанием потерь. Зато оборона укреплений истощала наши материальные ресурсы. На это и рассчитывал маршал. Рано или поздно он должен был прорвать оборону и схватиться с подвижными войсками — он хотел, чтобы к этому времени мы потеряли значительную долю техники.

Пеано оставлял позиции, когда их становилось невыгодно оборонять, и переходил на новые. И нигде не наносил контр-ударов, чтобы не умножать потерь. Нордаги снова перешли границу и блокировали Забон с севера и востока. К полному окружению города они на этот раз не стремились и остановились, поджидая подхода Вакселя с юго-запада. Фронт все дальше передвигался в глубь страны — зловещая красная линия на карте отодвинулась за последние области Патины, стала вдаваться во Флорию...

Над Аданом не утихали искусственные грозы. Возделанные поля были залиты, взбесившиеся реки смывали берега, сносили мосты. Всех резервов энерговоды хватало лишь на то, чтобы несколько ослабить ливни. О хорошем урожае не приходилось и мечтать. Ко мне явился Прищепа, чтобы поговорить наедине.

— Андрей, я подготовил несколько вариантов проблемы Бернулли, Гамов предоставляет выбор тебе.

— Этот поганец Бернулли что-нибудь новое вытворил?

— Продолжает старое, это хуже. Доказывает, что не надо обольщаться успехами Вакселя, тот выдыхается, а прорвав нашу оборону, потерпит поражение от маневренных войск Пеано. Его лозунг: все — Вакселю! У Аментолы появились трудности в снабжении союзников оружием, настолько сильна агитация Бернулли.

— Слушаю твои варианты, Павел.

— Вижу три возможности. Первая — убить Бернулли. Это несложно. Он часто выступает перед своими избирателями.

— Мне этот проект не нравится.

— Гамову тоже. Достоинства — убираем опасного противника, расшифровывающего наши тайны. Недостатки: поймут, что это совершено нами. Убийством подтвердим его правоту.

— Второй вариант?

— Похитить Бернулли. Достоинства и недостатки те же.

— Значит, и это отпадает. Гамов хочет опорочить Бернулли. Это твой третий вариант?

— Да. Пустить слух, что Бернулли — наш агент и его агитация продиктована нами, чтобы поссорить Кортезию с союзниками.

— Кто этому слуху поверит?

— Бернулли недавно создал “Фонд в пользу Вакселя”. В одной из его поездок к нему явится наш человек и вручит крупную сумму от “Общества сочувствующих промышленников”. Если он примет взнос, нетрудно будет доказать, что такого общества не существует, деньги вручил ему наш агент и, стало быть, сам он является нашим агентом. Установление этого факта предоставим полиции Аментолы, она постарается угодить президенту.

— А если Бернулли оправдается?

— На это потребуется время.

— Повторяю, Павел, а если он оправдается? Ведь это усилит его позиции в стране.

— Еще до того, как он оправдается, мы его похитим. Вот тут похищение сработает в нашу пользу. Изобразим исчезновение Бернулли как побег от наказания за предательство. Кстати, Павел, деньги на обман Бернулли я возьму из твоего фонда в Клу-

ре. И в дальнейшем буду черпать из сумм, предназначенных на борьбу с Гамовым.

— Не возражаю. Итак, дело за мной. Я должен внушить Войтюку, что у нас важный агент в Кортезии. А когда ты исполнишь провокацию с деньгами, Аментола догадается, что таинственный агент, о котором туманно доносил Войтюк, и есть его злой враг Бернулли. Так?

— Примерно. Когда будешь говорить с Войтюком?

— Сегодня. Ты не узнал, встречался ли Ширбай Шар с Войтюком?

— Дважды. Вскоре после приезда, разговор был долгим. И вторично, на другой день после нашего вторжения в Кондук. Ширбай, пренебрегая осторожностью, кинулся к Войтюку, и они на полчаса заперлись. От Войтюка Ширбай направился к Вудворту. Какой там совершился разговор, мы видели на экране.

Павел ушел, и я вызвал Войтюка.

— Садитесь! — Я показал на кресло, сам сел в другое. — Передайте вашим хозяевам благодарность за сто миллионов диданов. Я уже воспользовался частью этой суммы.

— Можно поинтересоваться — для каких надобностей? — Он спрашивал осторожно, но это не маскировало наглости вопроса. Видимо, то был прием — начинать с наглости, авось сойдет, и откроется что-то важное.

— Нельзя. Вы для меня, а не я для вас. Я борюсь с Гамовым для блага Латании, а не против нее.

— А можно спросить о борьбе с диктатором?

— Можно.

— Вам не кажется, что вы проигрываете эту борьбу? Референдум очень укрепил власть Гамова. Мы, — он сделал ударение на “мы” — тонкое, чтобы его не сочли за наглость, и достаточное, чтобы я понял его значение, — вывели вас из зоны неприемлемости для коалиции... В “Декларации о мире” упомянули только Гамова, Гонсалеса, Вудворта... Каждый мог понять — с вами коалиция поведет переговоры... А результат?

— Результат в пользу Гамова. К сожалению, “Декларацию” составляли люди, не сведущие ни в истории, ни в психологии латанов. Ограниченность этих людей равнозначна глупости. Даже многие недоброжелатели Гамова проголосовали за него, он в ореоле лидера сопротивления, защитника чести родины. Я сам проголосовал за него. Что же говорить о других?

— Вы разрешите мне передать эти ваши высказывания? — Войтюк даже не старался скрыть иронии. — Подразумеваю, глупость авторов “Декларации”, их невежество в вопросах истории и психологии...

— А для чего я вас вызвал? Передайте и не стесняйтесь в выражениях. Один древний дипломат, человек тонкий, сказал послу вражеской державы: “Ваши пушки внушают ужас, ваша дипломатия — смех!”. Это тоже передайте. И не как историческую цитату, а как мои слова.

— Слушаюсь. А если я добавлю, что “Декларация о мире” не облегчила вам путь к власти, а затруднила?

— Вот так и передавайте.

— И что в результате просчетов заокеанских политиков вы отказываетесь от борьбы за власть?

— А вот это — нет! Именно потому, что популярность Гамова так возросла, нужно активней бороться с ним. Он способен своими экстравагантными действиями — он называет их неклассическими — привести Латанию к поражению. Я приведу ее к процветанию.

Войтюк осторожно нащупывал тропку к нужной информации.

— Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы подорвать авторитет Гамова? Подразумеваю действия, вредящие лично ему, а не Латании...

— Отвечаю. Нужно, чтобы за океаном точно уяснили себе планы Гамова — те планы, против которых я восстаю.

— Вы считаете, что за океаном не видят этих планов? Либо не способны их понять в силу... скажем, интеллектуальной ограниченности?

— Точная причина! Не поняли стратегии Гамова, и сами способствуют ее успеху. Гамов поворачивает на юг и восток, там государства послабей.

— А зачем ему поворачивать на юг и восток?

— Поглядите на карту. Фронт продвигается в глубь Латании, одну область за другой захватывает противник. Вакселя надо остановить, ибо мы можем потерять всю промышленность центра, а Гамов строит запасные помещения в тылу — принимать эвакуированные заводы. Наши поля затопляются, урожая не собрать. Разве это политика? Гамов скоро завоюет и Торбаш, и Лепинь, и Собрану... Пример — Кондук. Для захвата этой несчастной страны Гамов не побоялся показать, что мы построили

воздушный флот — и весь, до последнего исправного водолета, бросил в бой. Я протестовал против авантюры с Кондуком, он отверг мои протесты. Он сказал: Ваксель губит наш урожай, мы конфискуем урожай у его союзников, там огромные продовольственные ресурсы. Но разве это разумная политика? Ввергнуть собственную страну в страдания — и лечить их ценой страданий других народов. Никогда с этим не примирюсь!

Войтюк слушал меня с таким напряжением, что перестал дышать. А во мне нарастало странное состояние. Я честно выполнял свою задачу — снабжал врага информацией, полезной нам, а не ему. Но я не лгал, я обманывал врага тем, что не обманывал его. Я вдруг ощутил, что и вправду, будь я на месте Гамова, принудил бы историю шагать по другой дорожке.

Я помолчал, стараясь разобраться в самом себе — не порчу ли игру? Войтюк заговорил сам:

— Вы считаете, что коалиция сама способствует успеху Гамова?

Я сказал с горечью — и удивился, горечь была актерским ходом, я ее не должен был испытывать, но что-то похожее на горечь испытал:

— А у вас сомнения? Аментола перетянул наших бывших союзников на свою сторону, прихватил и колеблющихся нейтралов. Но ограничился незначительной помощью им. А что получилось на деле? Кондук завоеван, к концу лета мы завоюем Торбаш, Собрану и Лепинь, все ресурсы этих стран, все их продовольственные запасы будут в нашем распоряжении. Тогда всей мощью на запад — и горе Вакселю!

— Вы говорите так, словно поддерживаете Гамова в его политике завоевания соседних стран.

— Нет, я против завоевания стран, изменивших союзу с нами. Они должны поплатиться за измену. Тут я с Гамовым. Но я и против того, чтобы победа достигалась ценой страданий моих соплеменников. Будь я у власти, я бы этого не допустил.

— Но пока допускаете?

Я сделал вид, что впадаю в раздражение.

— Войтюк, вы не понимаете главного: Гамов — диктатор, а Аментола — только президент. Аментола встречает не только критику, но и сопротивление. Гамов не допустит организованного противоборства у себя, но с радостью стимулирует любую оппозицию Аментоле.

— Вы сказали — стимулирует?

— Удивляюсь вашей наивности! Неужели вам не ясно, что такой умный политик, как Гамов, имеет своих агентов в Кортесии? Как-то он намекнул, что один влиятельный политик — тайный его сторонник.

— Он не назвал его фамилии?

— Естественно. А если бы и назвал, я бы вам не сообщил. Будущее темно. Если мне удастся заменить Гамова, этот его приверженец может перейти на службу ко мне.

Я помолчал. Опять заговорил он:

— Простите, вы мне еще?.. В смысле указаний? Или информации?

— Разве вам мало? По-моему, я сказал все, что надо было. И боюсь, даже больше того, что надо. Вы ловкий человек., Войтук. Временами я забываю, что вы агент наших врагов и, следовательно, мой личный враг, и делюсь с вами, как с другом. У вас природное мастерство задуривать собеседников и развязывать им языки. Идите, Войтук.

Не знаю, принял ли он всерьез похвалу его шпионским умениям, но удалился с поспешностью. Видимо, не терпелось передать новость, что захват Кондука — не импульсивный ответ на уничтожение мирного городка Сорбаса, а обдуманная стратегия поворота военных усилий на юг и восток, трагедия Кондука — лишь начальный акт новой стратегии.

Меня вызвал Гамов. Он выглядел очень хмурым.

— Вам не понравилась беседа? Считаете, что я сделал ошибки?

Он с усилием усмехнулся.

— Игра, как всегда, проведена отлично. Был один момент... Я почти поверил сам, что вы восстаете против меня... Когда говорили, что несогласны с отвлечением наших сил с западного фронта на союзников. Очень правдоподобно звучало. Но если так подействовало на меня, то еще сильнее должно подействовать на того подонка.

Я снова убедился, что Гамов обладает дьявольской интуицией. Он усомнился во мне в момент, когда я сам в себе усомнился.

— Что с вами, Гамов? У вас похоронный вид. Случилось новое несчастье? Ваксель прорвал нашу оборону?

— Случилось то, что ни вы, ни я вообразить не могли. Восстание в тылу.

— Восстание? Кто восстал? Где восстали?

— Восстали водолетчики. Арестовали командиров, нагрузили боевыми снарядами водолеты и пригрозили, что открывают военные действия.

— Что собираетесь делать?

— Лечу с вами и Прищепой усмирять бунт.

10

Водолетные базы размещались в горных и лесистых районах, далеко от населенных пунктов. Не было у нас объектов, более засекреченных, чем эти базы. Если бы враг дознался о количестве размещенных на них водолетов, если бы он хотя бы отдаленно представил себе, какой уже создан воздушный флот и как он непрестанно умножается, рухнули бы наши надежды на скорую победу. Ни одна база не имела ни номера, ни названия; люди, призванные туда служить, теряли право переписки с родными, встреч с посторонними людьми, ни телефонные, ни телеграфные линии на базы не шли. Территория окружалась частоколом непроходимых и непролазных насаждений, и в гуще кустов таились датчики Прищепы, фиксировавшие каждого, кто приближался, — отдельно человека, отдельно зверя. Прищепы по передатчику, настроенному на его индивидуальное излучение, принимал информацию с баз и передавал в штаб. Ни перехватить такие передачи, ни скопировать передатчики — каждый выпускался лишь в двух экземплярах, — ни практически, ни теоретически было невозможно, как невозможно полностью, до каждой клетки, скопировать человека, как невозможна пока и задача проще — повторить на своем живом пальце линии пальца другого человека.

В водолетчики мы подбирали парней, не обремененных семьей, здоровых, сильных, проверенных на выносливость, на быстроту реакций, даже на смелость и самоотверженность — и для таких испытаний имелись тесты. Эти ребята были элитой нашей военной молодежи. И вот на крупной водолетной базе они арестовали своих командиров, захватили водолеты и готовятся к каким-то военным действиям. Поверить в это было невозможно!

— Мой связной вчера передал по своему каналу, что среди ребят волнение, — в водолете рассказывал мне Прищепы то, о чем раньше информировал Гамова. — Сообщил, что идет выяснять причины смуты. Часа два никаких сообщений, затем торо-

пливое: “За мной гонятся, командиры арестованы, склады взломаны, водолеты захвачены, готовятся к военным действиям...” И связь прервалась. Очевидно, связного арестовали.

— Передавал ли раньше ваш связной о готовящихся выступлениях? Хотя бы о том, что у ребят скверное настроение?

— Передавал только, что ребята горячо обсуждают положение на фронте. Еще передал, что всех взволновало вторжение в Кондук. Но он не нашел ничего предосудительного в высказываниях.

— Под арест дурака! — гневно сказал Гамов. — Заметить волнение, услышать горячие разговоры — и не установить, по какому случаю горячатся, что волнует! Никудышные у вас сотрудники!

Прищепка промолчал.

Водолет опустился на площадь, окаймленную торцами обширных двухэтажных казарм. Всего казарм, уходящих в глубину леса, было шесть. С востока базу защищали горы, со всех остальных сторон — леса. Где-то в чащобе высоких деревьев таились и склады с боеприпасами, и подземные ангары на сто двадцать водолетов — такова была мощность этой базы, уже полностью укомплектованной, — по первому же приказу можно поднять все машины в бой.

Наш водолет окружили беспорядочной толпой вооруженные водолетчики. Ни у одного я не заметил ни почтительности, ни простой приветливости. От нас не ожидали одобрения и нам не обещали доброго приема.

Гамов обратился сразу ко всем:

— Вы меня узнаете?

Ему ответило несколько голосов:

— Узнаем. Вы Гамов! Еще бы не узнать! Вы наш диктатор!

— Правильно — я ваш диктатор. Вы меня знаете. Я вас не знаю, вас слишком много. Кто зачинщики бунта, выходите вперед.

Никто не двинулся. Гамов нехорошо засмеялся.

— Думал, вы похрабрей. Как же вас выпускать в бой, если вы и поговорить страшитесь?

Из толпы выдвинулись четверо.

— Называйте свои фамилии, если хватит храбрости.

Они отчеканили:

— Альфред Пальман! Иван Кордобин! Сергей Скрипник! Жан Вильта!

— Пальман, Кордобин, Скрипник и Вильта — так? Слушайте мой приказ: немедленно освободите арестованных командиров и доставьте их сюда. — Зачинщики переглянулись, в толпе пронесся угрожающий шепот. Гамов возвысил голос: — Вы и мне отказываетесь подчиниться?

Иван Кордобин вытянулся перед Гамовым.

— Вам подчиняемся. Пилоты, за мной!

Четверо ушли. Оставшиеся подтягивались, беспорядочная куча превращалась во что-то похожее на строй. Водолетчики не вытянулись в ряд, не разместились по ранжиру, но каждый — кто позади, кто спереди — старался стать плечом к плечу с другим. Все это совершалось в полном молчании, они, видимо, поняли, что держались не по-военному, и теперь старались выправиться. Гамов повернулся к ним спиной и сказал мне:

— Не желают усугублять вины командиров, допустивших такое нарушение дисциплины, и хотят хоть внешне показать, что те их чему-то научили.

— Учили, учили... И доучили до того, что были схвачены и посажены под арест. Не командиры, а кислое тесто. Я посоветую Пеано всех отозвать в столицу, а там разжаловать и отдать под суд.

Прищеп, молчавший с момента выхода из водолета, подал голос:

— И расшифруете, что у нас имеются особо засекреченные части. Уж не думаете ли, что в столице не заинтересуются, что это за новые офицеры и за какие провинности их отдают под суд? Разведка врага не ограничивается одним Войтюком, Семипалов.

Это было верно, конечно. Я пожал плечами. Гамов сказал:

— Наказать командиров надо, но за что и как? Пока не узнали, почему затеяли бунт, нельзя выносить решений.

Командиры, в отличие от водолетчиков, чеканили шаг. Они выстроились, отдали по форме честь. Гамов только кивнул им, а я и Прищеп тоже отдали честь. Явное неуважение Гамова подействовало на командиров, все опустили головы. Четверо зачинщиков воротились к своим, теперь это был настоящий строй, к такому и старые служаки не могли бы придраться. В рядах, как волна, пробежал шепот и замер, когда Гамов вдруг стал прохаживаться перед строем.

Он прошелся в одну сторону, там стояли отдельно от пилотов командиры. Гамов всматривался в водолетчиков, словно хотел запомнить каждое лицо, на освобожденных офицеров не

бросил и взгляда, словно их не существовало. Потом, встав перед серединой строя, намеренно негромко заговорил:

— Взбунтовались... Арестовали всех офицеров... Подготовили машины к боевым вылетам... теперь докладывайте — почему? Считалось — лучшая летная часть, знатоки воздушных машин, будущие герои. А вы?.. Отвечайте!

И ему мгновенно ответил общий гул. Каждый выкрикивал что-то свое, тянулся, отталкивал соседей, чтобы быть слышней. Молчащий строй мгновенно превратился в орущую толпу.

Гамов обводил глазами кричащих людей — сперва повернул голову направо, побежал глазами назад — до крайнего левого. Потом поднял руку. И почти так же мгновенно, как раздались крики, установилась каменная тишина. Я видел, что пилоты даже дыхание задерживают, чтобы отчетливо слышать Гамова.

— Ясно, — сказал Гамов. — Ни одного молчальника. Все кричали, все признаются в соучастии... Никто не отстраняется... Заговорщики! Но все же у меня два уха, а не полтысячи — по паре на каждого, чтобы слышать только его. Иван Кордобин! Выходи и говори за всех.

И опять Гамова не обманула интуиция. Возможно, среди других зачинщиков тоже были хорошие ораторы, но что Иван Кордобин умеет зажигать товарищей сильным словом, стало ясно сразу. Он не кричал, не нажимал на выигрышные слова — просто говорил, как если бы раскрывал душу товарищу. И я, вникая в признания и сетования Кордобина, отмечал про себя, как жадно его слушает вся толпа, как одним молчаливым вниманием подтверждает и усиливает все, что он говорил. Он точно высказывался интегральным голосом всех.

А говорил он о том, как их, отобранных в полках и привезенных сюда без объяснения, куда и зачем, наполнило гордостью то, что они определены в водолетчики и что им вручаются самые совершенные воздушные машины, какие знает сегодня мир. И как они зимние месяцы осваивали технику, изучали летное искусство, наизусть заучивали инструкции, не только старались хорошо отвечать на экзаменах, но и сами экзаменовали друг друга, в казармах даже после отбоя всюду слышался шепот: "Ты спроси меня, а потом я тебя спрошу, ну, давай". И спрашивали, и отвечали, и снова спрашивали. Одна была мысль: скоро весна, их отряд перебросят в самый горячий район, там они докажут, что не напрасно они с таким рвением осваивали науку воздушной войны.

Но вот пришла весна, а мы не покидаем базы, все снова и снова отрабатываем давно отработанные приемы. Враги крушат оборону, армии тяжело, а мы, способные разнести любого врага, опять отсиживаемся и отлеживаемся. Враг подвел метеогенераторы к нашим границам, заливает наши поля, гибнет урожай, а мы бездействуем, хотя одним хорошим налетом могли бы уничтожить все метеогенераторные станции кортезов! Нет, говорят нам, нельзя, отдыхайте, насыщайтесь завтраками и обедами, вас кормят по усиленной норме, надо этим пользоваться. Наконец сверкнул просвет. Какую-то воздушную базу призвали к действию, отряд водолетов атаковал Кондук, показал всему миру, какая сила в водолетном флоте, следующая очередь, так мы понимали, наша. И опять — ничего! Враг наступает, а мы отсиживаемся, а мы бездействуем!

До того дошло, что перестали говорить друг с другом. Сходимся в столовой, один на другого не смотрит, еда в рот не лезет. А когда враг оттеснил нас из Патины, вступил на нашу территорию, поняли — дальше терпеть нельзя. Мы пошли к командованию с просьбой поднять боевые машины — и летом на фронт! Без нас там дольше не могут! А в ответ — не смейте об этом и думать! Поступит приказ выступить — выступим. Мы настаивали, мы требовали — пригрозили зачинщиков посадить за решетку, остальным — наряды за нарушение дисциплины. Стало ясно — кто-то вверху саботирует победу, искусственно отстраняет нас от сражений, а командиры выполняют преступные указания. Тогда решили арестовать командиров и самим срочно готовить вылет на фронт. И посадили их, и стали вооружать отряд. А тут сообщение о вашем прилете... Рапортую, диктатор: готовы нести всю ответственность за самовольные действия. И готовы немедленно вылететь на любой участок фронта для боевых действий.

Кордобин отступил назад. И встал в строй в первом ряду.

Гамов не торопился с ответом. Он с тем же непонятным вниманием оглядывал водолетчиков, всматривался в каждое лицо, словно о каждом размышлял. Не только эти провинившиеся парни в военной форме, не только их командиры, ожидавшие наказания за недопустимое происшествие, но и сам я с нетерпением ожидал, что скажет Гамов. Я часто ошибался, прикидывая, что Гамов решит, он умел быть непредсказуемым. Но здесь решение было одно — так мне представлялось: зачинщиков наказать — не слишком жестоко, они ведь нужны для поле-

тов, а не для гауптвахт; вынести выговоры и командирам, кого-то отстранить от командования, остальных простить, но обязать впредь терпеливо ждать приказов.

Гамов поступил по-иному.

— Дайте-ка мне что-нибудь под ноги, я низенький, а вы вон какие высокие, — сказал он будничным голосом.

Несколько водолетчиков проворно подтащили деревянный ящик, в каких перевозят вибрационные снаряды. Гамов теперь возвышался на голову над строем. И снова он долго осматривал всех, не начиная речи, а сотни глаз впивались в него.

— Спасибо! — сказал он вдруг. — Спасибо вам, друзья, за то, что вы такие! — В строю пронесся и быстро замер шум. Гамов повысил голос: — Спасибо вам за то, что вы понимаете, как тяжело на фронте, чувствуете, что нужны родине, что она нетерпеливо ждет вашего появления на полях сражений! Спасибо за то, что вы не только своим боевым умением, но и жизнью готовы встать на защиту нашей общей матери! От всей души, от всего сердца — благодарю! — Он быстро поднял руку, чтобы не дать вырваться крику изо всех глоток. — Конечно, выбрали вы неправильный путь — арестовывать своих командиров, заслуженных офицеров, благородных патриотов. Такие поступки недостойны вас. Вы уже сами понимаете, как жестоко, как несправедливо оскорбили своих офицеров неповиновением, незаслуженным арестом. Но прощаю — вы скоро искупите свою вину в воздухе над армиями нашего врага. — Он опять поднял руку, требуя молчания, и повернулся к командирам. — А вам, офицеры, я строго выговариваю, что допустили такой беспорядок в дивизии. Печальный факт — позволили арестовать себя — требует, чтобы всех вас повторно арестовали, потом понизили в должности. Однако прощаю и вас, время не такое, чтобы томить за решеткой боевых командиров. Но это не все, с чем хочу обратиться к вам. Не самое главное, что допустили безобразное нарушение дисциплины. Главное в том, что вы воспитали в дивизии истинных патриотов, верных сынов родины! Главное в том, что они рвутся в бой, что у каждого одна мысль — прервать вторжение врага. Спасибо вам за это, офицеры, спасибо!

Если бы Гамов в этот момент поднял не одну, а обе руки, настаивая на молчании, никто бы не увидел поднятых рук: все повернулось к командирам, восторженно орали. Не сомневаюсь, что водолетчиков, когда первая горячность спала, томило

не так опасение кары за собственное бунтарство, как страх, что командиров, опозоренных незаслуженным арестом, еще и накажут за то, что допустили самоуправство. И ни один офицер не ждал, что сам строгий диктатор, вместо того, чтобы понизить в воинских званиях, отстранить от должности, будет благодарить их. Впереди своих офицеров стоял командир дивизии, старый летчик, он прилетел когда-то к нам в окружение с Данило Мордасовым. Корней Каплин, так его звали, тогда он был майором, теперь полковник. И он кривил лицо, стараясь удержать слезы, опускал голову, чтобы их не видели, а их видели все, и летчики орали и махали руками, ликуя, что он прощен за их проступок против него и что он их тоже прощает, и эти его слезы — знак любви к ним, а также и глубокого уважения к нему и самого Гамова, и всех их, его питомцев, — благодарили старого командира за то, что он плакал.

Нет, Гамов знал, как покорять души людей!

Прошло не меньше двух-трех минут, прежде чем весь строй опять повернулся к нему. Гамов снова поднял руку, восстанавливая тишину. И когда тишина, накаляясь от ожидания, стала почти бездыханной, он заговорил так, что стал отчетливо слышен самым дальним в строю.

— Друзья мои, один из зачинщиков вашего патриотического бунта сказал, что у вас подозрение — а не сидит ли где-то вверху человек, сознательно отстраняющий вас от участия в военных операциях. Открыто объявляю вам — да, есть человек, отстраняющий вас от сражений. Этот человек — я. Но не потому, что саботирую победу, а потому, что подготавливаю ее. Здесь скрыт один из величайших государственных секретов. Но я расскажу его, чтобы укрепить ваши растерявшиеся чувства, чтобы внести твердость в ваши души. Даже не все министры знают то, что я вам сейчас открою. Да, на фронте плохо. Армия отступает, урожай гибнет под потоками, которые мы не можем отразить. Наши бывшие союзники мобилизуются против нас, наш главный враг — Кортесия — вооружает их армии. Плохо сегодня, очень плохо! А завтра будет хуже. Это надо с беспощадной правдивостью, со всей мукой сознания понимать — завтра будет хуже! Что же, признать наше поражение, оплевать себя позорной кличкой “агрессоры”, склонить шею под сапог победителя, выскребывать у наших семей последние деньги на репарации? Нет! Тысячи раз — нет! Мы не побеждены и не будем побеждены. Ибо у нас могучий резерв, способный повер-

нуть весь ход войны, способный принести нам окончательную победу. Этот могучий резерв — вы! Открываю вам величайшую тайну нашей стратегии. Мы создали грандиозный воздушный флот, вы лишь одна из многих дивизий этого флота. Дивизия, одним ударом поставившая Кондук на колени, такая же, как ваша, даже слабее вашей. Вот такая у вас мощь! Враг и не догадывается о наличии у нас подобного флота, не ожидает, что над полями сражения скоро появится новая сила, которой он ничего не сможет противопоставить. Но мы не должны использовать преждевременно вашу ударную силу. Еще не все дивизии укомплектованы, заводы выпускают все новые водолеты, их надо вооружить и освоить. Было бы преступлением пускать вас в бой по частям. Да, плохо сегодня, плохо, но завтра начнется спасительный перелом. И его создадите вы — самый крупный наш резерв, самая твердая наша уверенность в победе. Не было бы вас, мы давно прекратили бы войну, признали свое поражение. Но вы есть — и вы величайшая надежда родины! Сегодня армия еще сдерживает врага, наносит ему огромные потери. Но завтра, мы это знаем, он прорвет последнюю линию нашей обороны — и ринется исполинской тушей в глубь страны. И тогда ваша мать, родина ваша, воззовет к вам: “Дети мои, погибаю! Идите спасать меня, только вы одни способны меня спасти. И если понадобится, умрите за меня, за ваших матерей и отцов, за вас самих, чтобы не попасть в унижение и позор.” Вот так она скажет вам, своим верным спасителям, своим верным сынам. И тогда идите и умирайте!

... Я часто думал потом — что было бы, если бы Гамов закончил свою речь к взбунтовавшимся водолетчикам не патетическим призывом умирать, а скромней, по-деловому. Как поначалу завел эту удивительную речь, как обычно говорил на заседаниях правительства — назвал бы количество водолетов, боевую мощь полков, открыл секреты комплектования воздушных соединений, доказал бы, что перевес будет непременно у нас. Убедительных доказательств было бы больше, он смог бы гарантировать победу, а не пророчить гибель. Наверное, он с такой речью и собирался обратиться к взволнованным парням — и смог бы и убедить их в своей правоте, и укрепить их уверенность в нашей победе, и доказать, что делает все нужное для нее и что в ней они станут решающей силой. Так бы поступил и я. Но он увидел раскрасневшиеся лица, горящие глаза, почти не дышащие от напряжения рты — и мигом перестроил речь. И

призвал их к величайшей чести — умереть за родину, если родина того потребует. И добился неопишуемого эффекта!

Едва он почти выкрикнул последние слова, как строй, каменевший в исступленном молчании, всей массой ринулся к нему. Десятки рук взметнули его вверх. Толпа ликовала, в ней не было слышно отдельных голосов, она обрела свой собственный голос, один восторженный голос из сотен голосов. Теперь Гамов возвышался над нами уже не на голову, а на все туловище, и смеялся, и что-то говорил, и показывал жестами, что ему неудобно на руках, что он хочет спуститься на землю. Но его несли вдоль всех шести длинных, как бараки, двухэтажных казарм, обнесли по всему периметру площади и начали новый круг. У меня заложило уши от восторженного ора молодых глоток, от топота сапог, от шума теснящихся к Гамову тел. Сперва я глядел только на водолетчиков, любовался ликующими юными лицами, распахнутыми восторженными глазами. Потом присмотрелся к Гамову и понял, что ему нужно срочно помочь. Он посерел, сжимал губы. Я вспомнил, что он плохо переносит тряску, и, огибая радостно беснующуюся толпу, подобрался к офицерам. Они все так же стояли в сторонке и, хоть внутренне чувство дисциплины не позволяло им неистовствовать, на лицах читалось, что они сейчас испытывают те же чувства, что и их разбушевавшиеся питомцы.

— Надо выручать диктатора, — сказал я Корнею Каплину. — Он еле держался на ногах, а тут такие волнения... У него закружилась голова...

Каплин что-то сказал одному из офицеров. Тот выдвинулся вперед и пронзительно засвистел. Три раза он дунул изо всех сил в рожок, вынутый из кармана. Сперва задние обернулись, потом и те, что были поближе к Гамову. Его опустили на землю, он пошатнулся, но устоял на ногах. Два первых свистка, похоже, означали призыв к вниманию, а последний, с переливами, приказ строиться. Все кинулись на свои места. Не прошло и минуты, как перед нами стояла четкая шеренга. Вперед вышел полковник и молча оглядел построившихся водолетчиков. И в его молчании, и в том взгляде, каким он обводил их, была благодарность за то, что после беспорядков, они, усмиренные, показали, что не утратили дисциплины и послушания командирам — и быстрота построения, и четкость строя свидетельствуют именно о послушании и вернувшейся дисциплине, и сам он

видит, и глава государства видит, что впредь не будет ни своеволия, ни беспорядков.

Офицер с рожком скомандовал:

— В казармы, на учения!

Спустя минуту на площади оставались только полковник и несколько офицеров. Водолетчики не шли, а бежали в казармы — демонстрировали скорость исполнения приказов. Гамов с улыбкой пожаловался:

— Так закружили, что чуть не потерял сознание.

Полковник спросил:

— Какие будут распоряжения, диктатор?

— Сперва вопрос: эти зачинщики?.. Пальман, Кордобин, Скрипник, Вильта... Они как в учении и казарменном быту?

Полковник посмотрел на помощников и, видимо, понял, что они заранее согласны с тем, что он собирается доложить.

— Отличники! Считали их первыми кандидатами на повышение, даже рапорты заготовили. Теперь, конечно...

Гамов не дал ему договорить:

— Семипалов, какую вы утвердили структуру у воздушных дивизий?

— Как в пехотных и артиллерийских: восемь полков.

— Промежуточных соединений нет?

— Не создавали.

— Теперь создадим промежуточные соединения — бригады. Каждая воздушная бригада из двух полков. Полковник, разбейте вашу дивизию на четыре бригады и командирами назначьте этих отчаянных... Альфред Пальман, Иван Кордобин, Сергей Скрипник, Жан Вильта. Я не ошибся? — Гамов любил демонстрировать память.

Вряд ли офицерам могло понравиться неожиданное решение Гамова. Корней Каплин сохранил спокойствие, но у остальных лица вытянулись. Гамов умел переломить любое настроение в свою пользу. Он дружески сказал:

— Вас покорило, что ваши подчиненные, к тому же прощтрафившиеся, вдруг станут начальствовать над вами? Есть здесь обида, есть. Но есть и гордость! И не за них гордость — за себя! Ибо вы воспитали и научили так, что они даже вами могут командовать. Ученик должен превзойти учителя, если учитель хорош, ибо иначе нет движения вперед. И если они окажутся на своем месте, если хорошо будут командовать бригадами, то в этом прежде всего ваша заслуга. И чем выше они, молодые,

поднимутся над вами, тем значительней ваша собственная заслуга, тем больше вам чести и благодарности. Поздравляю вас, командиры, с успехом в подготовке новых офицеров! Ни я этого не забуду, ни родина не забудет. Вопросы есть? Нет? Тогда мы отбываем.

В водолете я не удержался от упрека:

— Гамов, не слишком ли вы рискуете? Назначить в командиры бригад юнцов! Ни разу не были в сражениях, успехи только в учениях... А если спасуют в первом же бою?

— Не похоже на них, Семипалов. Пришлите им приказ о присвоении четверем бригадирам бригад приличествующих воинских званий. Прищепка, что вы хохочете?

Прищепка не хохотал, только улыбался. На площади он молчал, только профессионально во всех всматривался. Но в водолете им овладело веселье. Он восстановил на лице серьезность и ответил:

— Представил себе, как выглядит со стороны сегодняшняя сцена на площади. Солдаты взбунтовались, посадили в тюрьму командиров. А их за это благодарят, повышают в званиях, назначают на офицерские должности. И командиров благодарят, что воспитали солдат, способных на нарушение дисциплины. Хвалят офицеров за то, что дали себя арестовать! Прочитал бы о таком событии в книге, никогда бы не поверил!

— Неклассическая трактовка дисциплины, — заметил я.

— Надеюсь, теперь я могу не выполнять приказа посадить под арест моего связного? — продолжал Прищепка. — Он проштрафился не больше, чем другие офицеры. Правда, благодарить его за это не буду.

Гамов огрызнулся:

— Приказа об аресте вашего связного не отменяю. Офицеры воспитывали патриотизм в своих солдатах и не заметили, что патриотизм вдруг вступил в противоречие с дисциплиной. А связной должен непрерывно информировать о состоянии дивизии и проглядел, что в ней творится. Он не выполнил своего профессионального долга. Дайте ему работу попроще. Для серьезных дел он не годится.

Я сказал:

— Вы пообещали водолетчикам, что скоро отправите их на фронт. Я удивлен. Пеано не собирается в ближайшее время поднимать авиацию.

Гамов покачал головой.

— Вы меня неправильно поняли. Авиация будет задействована, когда в ней возникнет необходимость, а не по требованию водолетчиков. Единичные происшествия не могут отменить большой стратегии.

11

Фердинанд Ваксель продолжал свое неторопливое — и неотразимое — наступление в глубь Латании, а в Кортезии гремел скандал. Лидера оппозиции в сенате Леонарда Бернулли уличили в подозрительной связи с враждебными элементами. Некое “Общество сочувствующих промышленников” внесло в избирательный фонд сенатора пять миллионов диданов, он сам торжественно объявил, что пользуется поддержкой этого общества, перечислил приношения от других организаций. Полиция проверила источники доходов сенатора и не обнаружила “Общества промышленников”. Человек, назвавшийся его представителем, как в воду канул. Бернулли помнил фамилию, внешние приметы. Поиски полиции были безрезультатны — такого человека в Кортезии не существовало.

В сенате сам Амин Аментола обвинил Леонарда Бернулли в общении с подозрительными людьми и намекнул, что не удивится, если в деятельности сенатора вскроются факты, о каких сегодня никто не подозревает. Разъяренный сенатор обвинил президента в клевете. Глава государства, применяющий нечестные методы борьбы с политическими противниками, недостойн руководить великой страной. Я буду добиваться досрочного смещения Аментолы! — страстно кричал он. Сенат предписал расследовать неприятный инцидент и доложить о результатах.

Прищепа попросил срочного приема у Гамова. Гамов вызвал меня и Вудворта.

— Первая фаза игры прошла удачно, — докладывал Прищепа. — Сомнения в деятельности Бернулли посеяны. Аментола с радостью ухватился за информацию от Войтюка. Но дальше — осложнения. В честность Бернулли верят не только его друзья. Он один из немногих сенаторов, не запятнанных неблагоприятными поступками. И он так горячо уверял в своей невиновности, что мысль о провокации показалась многим убедительной. Правда, в ней подозревают не нас, а самого Аментолу. У президента много противников. Они рады сделать и ему политическую пакость, как он — они все больше в том уверяются —

сделал такую пакость сенатору. Пока результат нашей игры довольно неопределенный. Аментола ждет расследования и осторожничают. Вместо того, чтобы разбазаривать резервы по союзным странам, он стал их придерживать — ни им не посылает, ни Вакселю.

— Уже то хорошо, что он не усиливает Вакселя, — сказал Гамов. — Но если наступит кризис, Аментола без промедления перебросит накопленные резервы через океан. Надо все-таки постараться, чтобы он расплескал их по союзникам, у них ни при каком кризисе он подачки обратно не выдернет.

— Операция с Бернулли планировалась в несколько стадий, — заметил Вудворт. — И последней стадией было...

— Совершенно верно — похищение сенатора. Вы приступили к последней стадии, Прищепа?

— Бернулли уже похищен. Сейчас он в нейтральной стране. Через три дня я вас познакомлю в этом кабинете с ним — живым, невредимым и ошалевшим от ярости.

— Буду рад встретиться с бывшим моим приятелем, — сказал Вудворт. — Не уверен, что это доставит ему такую же радость.

— Я подготовил правительственное сообщение о том, что наш агент в Кортезии, сенатор Леонард Бернулли, попал под подозрение, — продолжал Прищепа. — И чтобы спасти жизнь этого ценного сотрудника, мы переправили его в Латанию, где он в настоящее время и находится. И второе сообщение — указ о награждении Бернулли, бывшего сенатора Кортезии, ныне консультанта министерства внешних сношений Латании, орденами и денежной премией. Вот эти два документа.

Гамов положил оба извещения в стол и задумался.

— Доказательны ли эти бумажки? Ведь написать можно все, что захочется. Будут ли за газетными строчками веские аргументы?

— Они уже есть. Можете полюбоваться.

Прищепа разложил на столе несколько фотографий. На одной Гамов, улыбаясь, обнимал смеющегося Бернулли. На другой два старых друга, Вудворт и Бернулли, обменивались крепким рукопожатием. Была и общая фотография — Бернулли среди членов правительства Латании, и у всех были смеющиеся лица. Прищепа сказал:

— Чудеса фотомонтажа. Лица и фигуры скомпонованы из подлинных фотографий. Анализ негатива показал бы подлог, но

в газетных снимках он совершенно невидим. Теперь просьба к вам, Вудворт. Вы учились вместе с Бернулли в университете, какое-то время приятельствовали. Для удачного завершения операции хорошо бы напечатать ваше интервью о прежней дружбе с Бернулли. И в нем сказать, что вы оба с юношеских лет — враги общественного строя Кортезии и дали тайную клятву с этим строем бороться. Вы для этого переехали в Латанию, а Бернулли подрывал Кортезию изнутри. Убедительно бы прозвучало...

— Не могу сказать, чтобы мне была приятна такая ложь... Хорошо, я напишу что-то вроде того, о чем вы просите.

Гамов сказал со вздохом:

— Не знаю, не знаю... Не один же Бернулли умный человек в Кортезии. Мы построили расчеты на том, что Кортезия переоценит свою мощь, разбазарит свои резервы и понадеется на распрю в нашем правительстве. Один обман, другой, третий... Можно ли построить большую политику на непрерывных обманах?

— Большую политику — нельзя, а большую стратегию — можно, — сказал я. — Военные действия основаны не только на силе, но и на том, чтобы перехитрить противника. Не понимаю, почему вы вдруг засомневались?

— Слишком уж гигантские ожидания строятся на таком небольшом камешке, как сенатор Бернулли. Нужно что-то еще, более крупное, более впечатляющее...

— Вы знаете, что нужно еще?

— Не знаю. Думаю. И вас всех прошу подумать. Аментола осторожничают с отправкой своих резервов союзникам, так вы сказали, Прищепе? Очень тревожный признак! Повторяю: успех нашего будущего наступления гарантирован только в том случае, если мощные резервы Кортезии будут разбрызганы по союзникам.

— Будем думать, — сказал я за всех.

На третий день мне позвонил Прищепе:

— Приходите в маленький кабинет. Наш заокеанский друг прибыл.

У Гамова уже находился Вудворт, вскоре пришел и Прищепе.

— Усыпленного пленника оживили, он приходит в себя, но еще не вполне соображает, что к чему, — сказал он. — И не верит, что похитили его мы. Он предполагает, что это козни Аментолы и что он еще где-то в Кортезии.

— Поверит, когда поглядит на меня. — Вудворт усмехнулся. Насмешливая улыбка на его аскетическом лице выглядела зловеще.

Похищенного сенатора ввели агенты Прищепы и сразу вышли.

— Добро пожаловать, сенатор, — доброжелательно произнес Гамов.

Бернулли растерянно оглядывался. На фотографиях он выглядел пристойно, а в жизни был форменным уродом — низкорослый, широкоплечий — туловище бочкой, с огромной головой, приличествующей великану, а не карлику. На широкощекотом сером лице светили выцветающие глазки, пронизательные до колючести, над ними нависали широкие полосы седеющих бровей, а все увенчивала копна сивых волос. Внешность была незаурядная. Он был лишь на два-три года старше Вудворта, но выглядел старше лет на двадцать.

Он уставился на Гамова, видимо, признал, что этот человек похож на диктатора Латании, чьи портреты часто появлялись в газетах Кортезии. Затем перевел взгляд на меня и Прищепу, но наши лица ничего ему не сказали. Поглядев на Вудворта, Бернулли передернулся.

— Джон, вы? — прохрипел он. — Значит, правда?

— Узнали все-таки! Сколько лет мы не виделись, Леонард? Четырнадцать? Должен констатировать, что вы очень постарели за этот срок. Нелегко быть лидером оппозиции при таком ярком президенте, как Амин Аментола. Он одним своим существованием обрекал вас на второзначность, дорогой Леонард.

Бернулли повернулся спиной к Вудворту.

— Чего от меня хотите? — спросил он Гамова. — Зачем похитили?

— Хочу познакомиться с таким замечательным политиком, как вы, — без тени насмешки сказал Гамов. — Поглядеть, как вы пожмете руку своему старому другу Джону Вудворту.

Ярость исказила уродливое лицо Бернулли.

— Даже если будете пытаться меня, не пожму руки предателю!

— Вы уже сделали это. — Прищепка положил на стол фотографию, где Бернулли крепко стискивал руку улыбающемуся Вудворту.

Бернулли схватил фотографию, жадно ее рассматривал, потом прикрыл тяжелыми веками запавшие глаза — и несколько секунд размышлял.

— Неплохо. Что еще заготовили?

— Кое-что есть. — Прищепа разложил снимки.

Бернулли покачал головой.

— Фотограф — мастер, но для политики не годится. В этот вздор никто всерьез не поверит. Эксперты докажут, что для монтажа использованы старые снимки, где я совсем в другом окружении, разговариваю с другими людьми. Достаточно перелистать старые газеты.

— Предусмотрено, сенатор. На наших снимках не использовались фотографии из газет. Их делали наши агенты на ваших митингах. Ни один эксперт не докажет, что это монтаж, а не реальность.

Бернулли снова посмотрел на свое дружеское рукопожатие с Вудвортом и с отвращением швырнул фото на стол.

— Все-таки несолидно, — изрек он и даже изобразил на лице издевательскую усмешку. — Я был высокого мнения о вашей политике, Гамов. Мне думалось, она основывается на широких концепциях. Одно это решение разделаться с ненадежными союзниками, чтобы взвалить их содержание на Кортезию... Ни одной минуты не сомневался, что вы преследуете одну цель — ослабить Вакселя, поистрепать его армию, а потом нанести губительный удар. Аментола вас недооценивает, я понимал вашу силу. А вы фальсифицируете фотографии! — Сенатор вдруг впал во вдохновение, глаза его засверкали, голос из хрипловатого зазвучал металлом — так, наверно, этот карлик вещал с трибун, покоряя слушателей жарким красноречием. — Диктатор, я вам открою, какую страшную ошибку вы совершаете. Вы меня похитили во вред, а не на пользу себе. Аментолу не обманут ваши дурацкие фотографии. Он в этом открыто не признается, но про себя задумается и поймет, что я был прав, нападая на его политику, и политику эту нужно менять. Раз вы похитили меня, значит, вам страшны были мои требования, вот к чему он неминуемо придет. И тогда — и одного дидана не стоят ваши фотографии!

— У нас не только фотографии, — возразил ему Прищепа.

Бернулли стремительно повернулся к нему.

— Еще другой вздор придумали? Наградите меня публично орденом за секретную службу вашей стране? Найдете для этого актера, похожего на меня, будет на стерео выглядеть убедительно для идиотов. Выплатите мне единовременно внушительную сумму, это уж вовсе не сложно, простое объявление в газе-

тах. И, конечно, назначите мне пожизненную пенсию, да такую, чтобы в Кортезии ахнули, — вот же какие были заслуги, что враги так щедро его одарили.

— О пенсии не думали, — признался Прищепа. — Спасибо за подсказку.

— Дешевка! — злорадно объявил Бернулли. — Политика для дебилов. Узнаю почерк моего университетского друга. Никогда не понимал, почему этого человека так высоко оценивали. Ординарнейшая личность! — Он говорил это, по-прежнему стоя спиной к Вудворту. — Для чего вы его взяли, диктатор? Вашему предшественнику Маруцзяну он подходил, у Аментолы он бы сделал карьеру, эти оба ему по росту. А вам зачем? Видите, как я вас высоко ставлю! Ничего крупней фальшивки с награждениями и фотографиями он вам не придумает. Сам предатель, дважды изменник — своей стране и своему покровителю Маруцзяну, — он просто неспособен подняться выше лжи и предательства.

— Вы считаете себя политиком более высокого ранга, чем Вудворт? — спросил Гамов.

Лицо Бернулли изобразило возмущение.

— Вы в этом сомневаетесь? Тогда зачем похитили меня? Зачем шельмуете наградами и радостными улыбками на фальшивых фотографиях? Вудворта никто не собирается похищать. И ни Маруцзян, принявший его первое предательство, ни вы, использовавший второе, ни Аментола, если Вудворт надумает стать трижды предателем, ни один из вас троих не наградит его так, как вы собираетесь награждать меня за одно то, что никого и ничто не предавал. Разница все-таки!

— Да, разница существенная! — согласился Гамов. Я видел, что сейчас он нанесет этому самоуверенному заносчивому карлику неотразимый удар. — И я очень рад, что разницу между вами и Вудвортом все понимают, как вы объявили. Тогда и все поймут, что именно такой человек, как вы, нужен такому человеку, как я. Вы правы, фотографии и награды — дешевка. Серьезные люди усомнятся. А ведь нам важно мнение серьезных людей, не так ли, сенатор? Но если я объявлю себя счастливым, что такой глубокий, такой во всех отношениях выдающийся человек, как вы, стал моим консультантом, моим помощником, моим — и такого слова не побоюсь — дружеским наставником? Не поверят ли тогда в ваше предательство самые верные ваши друзья? Не услышат ли они в похвалах вам, так щедро мной

расточаемых, ваших собственных оценок самого себя? Не поймут ли они, что наконец оценили по достоинству все ваши удивительные способности, над которыми издевались в Кортезии? И что такое глубокое понимание вашего таланта само является убедительнейшим оправданием измены?

Думаю, только теперь Леонард Бернулли впервые по-серьезному осознал, что встретился с противником иного веса, чем были для него Амин Аментола и другие враги. Лицо, только что выражавшее сарказм и презрение, перекосилось. Он с трудом выдавил из себя:

— Вы этого не сделаете!

Гамов подошел вплотную к Бернулли. Как всегда, когда он встречал большое сопротивление, Гамовым овладевало бешенство. Он уже не говорил, а шипел:

— Сенатор, вы будете мне служить! Вы разгадали мои тайные планы — за это поплатитесь тем, что поможете претворить их в жизнь.

Леонард Бернулли не отвел глаз от бешеного лица Гамова.

— Позвольте дать вам один совет, диктатор.

— Говорите.

— Прикажете тайно меня расстрелять. Если я останусь в живых, я рано или поздно разоблачу ваши фальшивки и испорчу вам игру.

Гамов воротился на свое место и вызвал охрану.

— Спасибо за предупреждение. Постараюсь, чтобы разоблачение было поздно, а не рано, тогда оно не испортит игры. А пока вы нужны мне живым. Труп ваш бесполезен, а живым вы еще пригодитесь.

Охранники увели сенатора Леонарда Бернулли.

Гамов сидел за столом задумавшись. Вудворт, побледневший, еще не отошел от оскорблений, нанесенных ему бывшим другом. Прищепка осторожно заговорил:

— У меня новость. Арестованные Маруцзян и маршал Комлин дали показания о покушении на вас. Разрешите доложить?

Гамов раздраженно отмахнулся.

— Не к спеху. Покушение не удалось — это единственно важное. И Сербин, прикрывший меня от кинжала, выздоравливает. Будем опубликовывать фальшивки о Бернулли? Ваше мнение, Вудворт?

— У нас просто нет другого выхода, Гамов. Бернулли человек умный и злой, но преувеличивает не только свои дарования, но и то, что в его честность так уж все верят.

— Главное, чтобы Аментола поверил в его нечестность, — добавил я. — Прищепя собрал такой букет данных против Бернулли, что их трудно опровергнуть. Да и кто захочет опровергать? Не Аментола же.

Гамов весело проговорил:

— И Бернулли соглашается, что Аментола публично не усомнится, что его враг — изменник. Но он предупреждает, что наша хитрость не обманет президента, а заставит задуматься, верна ли его политика. Аментола уже в нерешительности, как держаться. Если он изменит своим обещаниям союзникам, вся наша операция с Бернулли станет пустышкой. Нужно что-то еще придумать — и поубедительней похищения сенатора.

Вудворт сказал, что у него нет никаких новых предложений. Я промолчал. У меня появилась одна идея. Но нужно было время, чтобы самому в ней утвердиться.

12

Теперь каждую свободную минуту я возвращался мыслью к этой идее — рассматривал ее со всех сторон, оценивал ее эффективность. И все снова и снова вспоминал сцену у водолетчиков, когда Гамов призывал молодых парней умирать за родину. В чем была сила его призыва? Да именно в том, что он призывал их не к славе, не к наградам, не к почестям, а к величайшей человеческой жертве. Он знал главную цель, главную задачу человека — быть нужным. Мера нужности есть истинная мера собственной высоты. Так мать бесконечно нужна своему ребенку — в том и значение матери, величие ее творящей функции в человечестве. Так и отец нужен семье, так и дети нужны стареющим родителям. Нет, как часто путали собственную пользу с нужностью себя для других! Ибо пользу может принести любой, носитель пользы заменяем, а нужность незаменима. Нельзя заменить отца, нельзя заменить мать, можно лишь воспользоваться пользой от других, мать и отец единственны. И Гамов, глядя в распахнутые глаза юнцов, самым высоким пониманием понял, чего от него ждут и на что он вправе рассчитывать. И он приписал им великую нужность для родины, одарил их величайшей честью: без вас, сказал он, мы не

сможем. Мы готовим вас на грозный час — спасти нас всех, ибо только вы одни, только вы и никто другой способны нас спасти. Так будьте достойны самого священного — самих себя будьте достойны! Вот так он воззвал к ним, и они ответили на призыв восторгом и благодарностью. Ибо всей душой поняли, какая в них видится великая нужность, какой их одарили честью — и ликовали, что так огромно оценены!

Теперь и я знал, как поступать.

Я попросил у Гамова совещания с Вудвортом и Прищепой.

— Вы потребовали придумать что-то новое, гарантирующее успех игры с Войтюком, потому что похищение и лжеобвинение Бернулли может не дать такой гарантии, — так начал я. — Я предлагаю объявить меня изменником родины в пользу Кортезии и приговорить к смертной казни.

— Изменником? — вскричал Прищепка.

— К смертной казни? — еще громче крикнул никогда не повышающий голоса Вудворт.

— Изменником и к смертной казни, — повторил я.

Гамов не выговорил ни слова, только смотрел округлившимися глазами. И по его молчанию, по взгляду, полному напряженной мысли, я вдруг понял, что именно такого предложения — или чего-то близкого к нему — он и ожидал от меня. Он довольно спокойно произнес:

— Обоснуйте свою идею, Семипалов: она все же парадоксальна.

— Все очень просто и очень логично. Какая была главная задача операции с Войтюком? Уверить Аментолу, что разыгралась тайная борьба за власть между Гамовым и Семипаловым и что Аментоле надо делать ставку на Семипалова, ибо мир с Гамовым невозможен. И что сил у Гамова хватит отразить наступление на одном фронте, но удара со всех сторон, натиска на Латанию ее бывших союзников ему не преодолеть. В это Аментолу удалось убедить, но яростное сопротивление Бернулли заставило президента заколебаться. Мы объявили Бернулли своим агентом, но самого его не заставим публично признаться в предательстве — и это сохраняет почву для сомнений. Если же объявить всему миру, что я передавал Кортезии важнейшие государственные секреты, места для сомнений не останется. Таким образом достигнем двух успехов: подтвердим истинность сведений, которые передал Войтюк, и окончательно опроверчим Бернулли, подвергавшего сомнению эти сведения.

— И ради этого вы соглашаетесь добровольно предать себя смертной казни? — Вудворт еще не отошел от потрясения.

— Соглашаюсь быть осужденным на смертную казнь, Вудворт. Не более того.

Гамов задумчиво проговорил:

— Логика в идее есть. И хорош повод — похищение Бернулли. Сенатор мог и услышать, что в нашем правительстве имеется высокопоставленный предатель, на которого делают ставку. И информировал нас об этом.

Я прервал его:

— Итак, суд и смертная казнь. Предлагаю публичное повешение, оно более впечатляюще. Кому поручим казнь — Гонсалесу, которого я не люблю, или моему душевному другу Павле Прищепе?

— Семипалов, иронизировать еще не пора. Раньше решим — принимаем ли ваше предложение о публичном обвинении?

— Очень дельное предложение, — спокойно сказал Прищепе.

— Принимаем, — почти с отвращением подтвердил Вудворт.

— И я согласен. Судья — Гонсалес. Тайну ему не раскрывать, он должен думать, что судит настоящего преступника. Но казнь выполнят специалисты Пустовойта. Пустовойта введем в тайну, без этого, Семипалов, вас просто повесят, а не инсценируют казнь.

— Вы верите в способность Пустовойта сохранять тайны?

— Больше, чем в самого себя. Пустовойт обеспечит вашу смертную казнь без смерти. И хорошо позаботится о вашей недолгой жизни после смерти. — Гамов разрешил себе улыбнуться. — Недолгой только в том смысле, что ваше посмертное существование продлится лишь до начала нашего контрнаступления. Разгром маршала Вакселя проведете вы сами. Вы откроете жене тайну осуждения и казни?

Я уже имел готовый ответ.

— Ни в коем случае. Елена не способна что-либо скрывать. Если и не словами, то выражением лица она выдаст, что не предается горю. Нельзя рисковать таким опасным фактором, как настроение моей жены.

— Согласен. Сколько вам нужно времени до разоблачения?

— Хватит двадцати четырех часов.

— Отлично. Завтра днем вас арестуют. Желаю успеха!

Я ушел к себе. Почему Гамов без возражения принял мое самопожертвование, я понимал — он строил на нем нужный нам всем расчет. Но спокойствие Прищепы меня обидело. Мы были друзьями, он мог найти слова и потеплей хладнокровного согласия. Я поклонился всем без рукопожатий, мне трудно было пожать в эту минуту руку Прищепы.

Главным в предоставленных мне двадцати четырех часах была подготовка к новой обманной операции. Я вызвал Войтюка.

Он переменился в лице, когда посмотрел на меня. Настроение у меня, и вправду, было не из радостных. Самооплевывание, даже обманное, не принадлежит к числу дел, вызывающих во мне восторг.

— Что с вами, генерал? Вы нездоровы?

— Гораздо хуже, Войтюк. Нам грозит разоблачение.

С тайной радостью я увидел, что он перепугался до бледности. В этом человеке объединялись смелость и трусость, наглость и способность к искренней любви — к жене, а не родине, естественно. Впрочем, философы утверждают, что наглость есть выражение трусости, а предательство соседствует со способностью к любви. Так что с позиции философии характер Войтюка был сконструирован удовлетворительно.

— Как вас понимать, генерал?

— Вы уже слыхали о разоблачении сенатора Бернулли? Он был нашим агентом, о чем вы меня, между прочим, не информировали.

Войтюк напомнил, что он информирует своих хозяев о наших секретах, но что происходит в самой Кортезии, ему не сообщают.

— Верно. Вы могли этого не знать. Но разведка Аментолы дозналась, что Бернулли — изменник. Чтобы избавить его от казни, Прищепа вывез его тайно к нам. Скоро состоится спектакль его торжественного награждения за услуги нашей стране. Вы уверены, что Бернулли не знает о вас?

— Надеюсь на это.

— Не надейтесь. Вудворт, ваш недавний начальник, а также давний друг Бернулли, информировал меня о своем первом, после долгой разлуки, разговоре с сенатором. Тот сказал, что в нашей среде имеется какой-то предатель на высокой должности. Бернулли узнал это от приятеля-банкира, который перевел в один из банков Клуга огромную сумму для этого высокооплачиваемого предателя.

— Владелец счета — анонимный! — Войтюк все больше бледнел. — Им будет трудно дознаться, что это вы.

— Трудно, но возможно. И еще один тревожный сигнал. Разговоры с Бернулли ведутся без меня. Формально я занимаюсь военной стратегией, а не политическими проходимцами. Но мой друг Прищепа вдруг перестал пожимать мне руку и старается со мной пореже встречаться. И Гамов в последние дни не вызывает к себе. Если это не признак беды, то не знаю, какие вообще у беды предварительные признаки.

— Очень тревожный знак! Что вы собираетесь предпринять?

— Хладнокровно ждать.

— Простите за вопрос... Чего ждать?

— Либо снятия подозрений, либо ареста. Третьего не дано.

Войтюк размышлял несколько секунд.

— А если я предложу вам третье?

— Что именно, Войтюк?

— Бегство в Кортезию.

— Вы считаете это возможным?

— Завтра буду знать.

— Почему завтра?

— Сегодня ночью передам, что узнал от вас. Попрошу убежища для вас и для себя. Хотя не ставлю нас вровень, но все же и мне не хочется попадать в клещи Гонсалеса... Завтра мне ответят — возможна ли и какова, так сказать, техника бегства.

Этого мне как раз и хотелось — чтобы он поскорей передал информацию о моем возможном аресте.

— Согласен. Действуйте.

После ухода Войтюка я связался с Гамовым.

— Вы слышали наш разговор. Надо уменьшить отпущенный мне срок свободы. Хорошо бы арестовать меня за час до возведения плана бегства.

— Вы не хотели бы узнать, каким образом вас спасут?

— Грубый ход. Хорош для политика, притворяющегося предателем, но не для настоящего предателя. Ведь пришлось бы сделать попытку реально бежать. Схватите потом Войтюка и узнаете, что он называл “техникой бегства”.

— Убедительно. Арестуем вас не днем, а утром.

Арестовали меня, когда я проводил заседание директоров военных заводов. Сам Прищепа явился брать меня под стражу. Среди конвойных я увидел и Семена Сербина, когда-то оскорбленного и прощенного Гамовым, а потом заслонившего Гамова

от кинжала собственной грудью. На меня Сербин смотрел с ненавистью, словно я нанес ему непрощаемое оскорбление.

— В чем дело, полковник? — спросил я с возмущением. — Почему вы являетесь без предупреждения, да еще с дивизией охранников?

Он показал мне какую-то бумагу.

— Приказ диктатора арестовать вас, Семипалов.

— Да вы с ума сошли, Прищепа! Меня арестовать?

— Прочтите приказ о вашем аресте.

— Возмутительное недоразумение! Чей-то гнусный поклеп! — воскликнул я, прочитав приказ Гамова.

— Это вы объясните Черному суду А пока следуйте за мной.

Собравшиеся в моем кабинете зашумели, переговаривались, переглядывались, то возмущенно, то удивленно. Конвойные отстранили всех, кто встал на дороге. Сербин грубо толкнул меня в плечо. Я обернулся.

— Сербин, есть мера всякой наглости!

Он зло засмеялся.

— Шире шаг! Торопись на казнь. Остановишься, еще наддам!

Это уже выходило за границы законного ареста! Я с укором посмотрел на Прищепу. Он прикрикнул на Сербина. Солдат отстал, но я чувствовал спиной его ненавидящий взгляд. У дворца стояла зарешеченная машина. Набежавшая толпа молча наблюдала, как меня усаживали в нее и как рядом разместился вооруженный конвой. В последний момент Прищепа отстранил Сербина и тот сел во вторую — сопровождающую — машину.

Спустя десять минут я уже находился в одиночной камере. Дежурный офицер тюремного корпуса объяснил мне, что пища дважды в день, что бумагу и ручку для заявлений я могу получить у него, что крики, ругань и прочий шум воспрещены.

— Обещаю головой о стены не биться, — сердито заверил я.

Прищепа сухо добавил:

— Я вас арестовал, Семипалов, и на этом мои обязанности кончились. Отныне вы в ведении Черного суда. Можете вызвать прокурора, либо работников министерства Милосердия.

— Я требую встречи с Гамовым.

— Требовать от диктатора, чтобы он явился к вам, вы не можете. Но просить не возбраняется.

— Тогда передайте диктатору, что прошу свидания с ним.

Оставшись один, я сел на койку и засмеялся. Смех превращался в истерический хохот. Я только постарался, чтобы неожиданное веселье не прозвучало чрезмерно громко — по коридору, наверное, ходили тюремщики, им незачем задумываться, почему я хохочу. А смеялся я оттого, что осознал непредсказуемость своей судьбы. Все, что делал, я делал по своему свободному решению. Но мной, я видел это все ясней, командовала высшая сила, логика обстоятельств. Она, эта высшая логика, и принуждала меня принимать те неизбежные решения, которые становились свободными моими хотениями. Сказал бы кто-нибудь мне неделю назад, что я сам засажу себя в тюрьму и потребую над собой жестокого суда! Я бы вместо хохота выдал такому провидцу оплеуху. Но вот я в тюрьме, жажду суда и могу только хохотать, что так нежеланно поступить со мной потребовало мое собственное свободное желание.

Отворилась дверь, и дежурный сообщил, что моя просьба о встрече диктатору передана, но он во встрече отказал.

Я лег на койку и приказал себе уснуть. Много дней я уже не высыпался по-хорошему. Я закрыл глаза, но сон не шел. Я вскочил и зашагал по камере — семь шагов от двери до наружной стены, семь шагов обратно. Я все больше чувствовал себя настоящим заключенным. Даже моим собственным решением — ходить либо лежать — командовала высшая сила: тюремная неотвратимость.

Вечером меня посетил Николай Пустовойт.

Он вошел, и просторная камера вдруг стала тесной, так заполнил он ее своим массивным телом. Если он тоже попадет в тюрьму, ему надо будет требовать другой камеры, в моей он не поместится. Он сел и горестно покачал головой. И я снова поразился как чему-то впервые увиденному, как мала его голова на мощных плечах, как коротки толстые пальцы на длинных руках и как чрезмерно велики нос и губы на маленьком — не в тело — лице.

— Андрей, зачем ты это? — простонал он и жалко покривился — так он выражал сочувствие. Между прочим, он никогда не был со мной на “ты”.

— Вот уж не ожидал, чтобы ты!..

Меня охватил страх, что его не ввели в тайну моего ареста и что он не знает, какая ему отведена роль в спектакле моей казни.

— Разве вы, Пустовойт?.. — Мне не хотелось в такой момент переходить на “ты”.

Он сообразил, что меня встревожило.

— Не волнуйся. Повесим по первому классу. Будешь на веревке крутиться и дергаться, но даже на секунду не прервешь дыхания. Вешать будем мешок, а не человека в мешке. Новая модель, испытаем ее надежность на тебе.

Он упорно не хотел восстанавливать прежнего “вы”. Я не удержался от уточнения:

— А если надежность новой модели не на высоте?

— Почему не на высоте? Восемь лан над землей, чтобы даже издали в толпе хорошо видели повешенного. Разве мало? Нет, все гарантировано, у меня отличные конструкторы.

Я постарался говорить сколько мог вежливо:

— Рад, что в министерстве Милосердия работают выдающиеся инженерные силы. Я раньше почему-то думал, что процессы Милосердия больше нуждаются в юристах. Но юристы в деле милосердия — это, конечно, рутина... Механик милосердия, конструктор машинного прощения преступников, инженерное вызволение убийц и предателей... Звучит свежо и вдохновляюще!

До него, наконец, дошла ирония. Его прежняя область — бухгалтерия — относилась к профессиям, принципиально отвергающим насмешки. Он привык мыслить категориями арифметики, но на улыбку мою ответил смехом.

— Верно: милосердие и инженерная техника! Но ведь раньше и такого органа — министерства Милосердия — не было. Министерству Милосердия приходится создавать свою милосердную технологию.

Против этого я возразить не мог.

— А ваши инженеры милосердия?.. Тайну сохраняют?

— Все проверены на умение молчать. Но я пришел не с тем, чтобы уверять тебя в их скромности, и даже не с тем, чтобы убеждать в безопасности казни... Это было условием твоего страшного самопоклепа...

— Тогда зачем вы стали чуть ли не оплакивать мою горькую участь?

— Ну, как же? Кто другой бы придумал, только не ты!.. Семипалов — изменник! Ну, Вудворт, ну, Бар, даже я... Но Семипалов!

Он сделал усилие, чтобы перейти от сетований к делу.

— Пришел выполнить три задания. А — газеты. Вот “Вестник Террора и Милосердия”, также “Трибуна” — послед-

ние номера. Б — Гонсалес. Против открытого суда я категорически возражал. Я сказал Гамову: “Семипалов не терпит Гонсалеса, предстать перед этим выродком, — простите, Гамов, ведь он выродок, так я прямо сказал, — для Семипалова излишнее оскорбление. Можно объявить, что был суд, но из-за важных государственных секретов опубликовать стенограмму судебного разбирательства до окончания войны нельзя.” Вот так я сказал Гамову, и он согласился. Надеюсь, я угадал твоё желание?

Растроганный, я крепко пожал руку Пустовойта — ладонь с садовую лопату, увенчанную короткими пальцами. Я готов был обнять его, но воздержался — моя голова еле дотягивалась до его шеи, а руки не смогли бы охватить необъятное туловище. И я почувствовал, что больше не имею права говорить ему отстраняющее “вы”.

— Спасибо, Николай. Ты угадал мое сокровенное желание. Итак, пункты А и Б разъяснены. Слушаю пункт В.

Пустовойт немного замялся.

— Пункт В — твоя жена. Она потребовала у Гамова свидания с тобой. Гамов отослал ее ко мне. Он предупредил, что ты опасаясь увидеть ее. Я хотел отказать, но она так просила... Плакала в моем кабинете. Не сердись, не сумел... Завтра утром она придет.

Я постарался не показать волнения.

— Что же теперь поделаешь? Раз свидание разрешено — свидимся.

До полуночи я читал газеты. “Вестник Террора и Милосердия” был деловит и скучен. На первой странице напечатано извещение министра государственной охраны Прищепы о том, что заместитель диктатора, министр обороны Андрей Семипалов уличен в тайных сношениях с врагами и предается Черному суду за передачу государственных секретов. Затем шло объявление Гонсалеса — дело Семипалова будет заслушиваться в закрытом заседании, о результатах судебного рассмотрения сообщат по вынесении приговора. И в заключение сам тощий Пимен Георгиу, редактор “Вестника”, предавался короткому горестному размышлению о том, что сильны происки врага, велики его средства обольщения, если такой выдающийся государственный деятель, как Семипалов, попал в тенета вражеских разведок. И в конце своей заметки он потребовал усилить нетерпимость к нетерпимому и ужесточить жестокость. В общем, в “Вестнике” я прочел лишь то, что и ожидал прочесть.

Зато “Трибуна” удивила. Самый раз было бешеному Фагусте напасть на все правительство Гамова, такое близорукое, что допустило в свой круг платного агента врагов. А он вдруг углубился в философские размышления о том, что нет ничего по-настоящему святого в современном мире. Вдуматься в двойную измену — за океаном и у нас! Одна полностью опровергает другую — политически, идейно, морально и психологически! Какие антилогические следствия надо сделать из обнаруженного двойного предательства! Видный сенатор Кортезии, возможный претендент в президенты Леонард Бернулли изменяет своей стране в пользу Латании. Что ж, все ясно: умный политик понял, что историческая справедливость на стороне Латании и нужно помочь победе этой страны, а не своей. А в Латании второй человек в правительстве изменяет Латании в пользу Кортезии. Тоже ясно: он увидел историческую справедливость в стане врагов, а не в собственной своей деятельности. Но сложите эти две ясности, и они погасят одна другую. И будет темно и необъяснимо там, где только что было светло. И станет понятно, что полностью непонятно, почему один изменяет своему символу веры ради противоположного, а другой — противоположному, и нет морального преимущества ни у одной из борющихся сторон.

Вот такую странную статью за своей подписью поместил в газете редактор “Трибуны”.

Утром вошла Елена. На столике еще стояла миска с похлебкой, я отодвинул ее и предложил Елене стул.

Она с отвращением вдохнула запах варева.

— И ты эту гадость ел?

— В тюрьме ресторана нет, Елена.

Она села спиной к столу. Гурманом она не была, но плохо приготовленную пищу не терпела. Ее мучило от любой несвежей еды.

— Почему ты в тюрьме, Андрей?

Я вглядывался в нее. За один день она постарела лет на пять. И эту ночь, похоже, не спала. Покрасневшие глаза, припухшие веки — наверно, много плакала.

Не дождавшись ответа, она повторила:

— Почему ты в тюрьме, Андрей?

— Спроси об этом Гамова. Он приказал меня арестовать.

— Я спрашивала. Еще не время говорить о делах вашего мужа, они пока составляют государственную тайну, — так он ответил мне.

— Удовлетворись ответом Гамова.

— Не могу! Не хочу! Я должна знать, что случилось! Я твоя жена, я имею право знать, что с моим мужем.

Иногда на нее хорошо действовало, если я перемежал серьезный разговор легкой шуткой. Я попытался использовать этот прием.

— По-моему, ты сама видишь, что со мной. Арестован, сижу в тюрьме, поел дурно пахнущее хлебобово. Скоро предстану перед судом. Мой друг Гонсалес постарается показать, как велика его приязнь ко мне...

Она отмахнулась от моих слов, как от надоедливой мухи.

— Андрей, я хочу знать: ты виновен? Скажи одно, только одно — виновен ты или невиновен?

— Об этом тебе скажет приговор Черного суда.

— Ненавижу Гонсалеса с его жестоким судом! Хочу слышать ответ от тебя, Андрей!

Я начал волноваться. Она могла бы говорить со мной по-иному. Мы прожили вместе не один год. И хоть неровно шла наша совместная жизнь, зато не было случая, чтобы мы что-то таили друг от друга. Я зло произнес:

— Удивляюсь тебе, Елена! Ты знаешь меня как никто другой. Тебе этого мало? Ты требуешь, чтобы я открыл государственные тайны?

Она сжала виски. На висках пульсировали синие жилки.

— Не нужны мне ваши тайны! Виновен ты или невиновен? Этот вопрос стучит в моей голове! Пожалей меня, скажи правду!

— Правду о людях история говорит после их смерти. А при их жизни правду только чувствуют. Сердцем чувствуют, Елена!

— Ах, мое сердце ничего не открывает! Я так любила тебя, так гордилась тобой! Ты замечательный человек, ты выше меня, но так предан своей работе, своим успехам, что очень часто тебе вовсе не до меня. И я должна это терпеть — вот так мне говорило сердце, и я верила. А сейчас не знаю, чему верить, не знаю даже, кто ты на самом деле...

— Не знаешь, кто я на самом деле? Так я переменялся?

— Не переменялся, нет. Прости, у меня путаются мысли... Ты поднялся на такую высоту, второй человек в стране... И я видела — тебя мучает, что второй, ты раньше, на старой своей

работе, всегда был первым. Кто-то значительней тебя, ты переживаешь, только сдерживаешься... Я так сочувствовала тебе, Андрей! А теперь эти страшные обвинения...

— Елена! Прекратим этот разговор.

— Не прекращу! Скажи мне правду! Что ты ненавидишь Гамова, я знала. Но неужели из-за соперничества с ним пошел на предательство? Отвечай, это правда — твоя измена?

— Елена, снова прошу — прекрати!

— Отвечай! Да или нет? Почему не отвечаешь! Значит, правда?

Тогда я сорвался. Я был в отчаянии.

— Дура! Столько лет прожила со мной, столько твердила о понимании. О восхищении!.. “Всюду пойду за тобой! Где ни будешь, будем вместе!” — не твои слова? Что осталось? Где восхищение, где понимание? Простая вера в мою порядочность — где она? Какая тупость!

Она снова приложила руку к пульсирующей жилке на виске.

— Андрей! Ты заменяешь объяснение оскорблениями. Раньше ты не обращался со мной так грубо. Не хочешь ответить — сама скажу. Ты не тот, которого я знала столько лет, которым так восхищалась, которого так уважала. Ты переродился, Андрей. Тебя отравила власть, ты захотел еще большей власти... Эти чудовищные обвинения... Они непереносимы!.. Но сам ты, сам ты!.. Почему сам не признаешься? Стыдишься, что обманул мою любовь, мою веру в тебя?

— Мне нечего стыдиться, Елена! Я действовал так, как велит моя совесть и мой долг. И знай: я больше не дорожу любовью, что рухнет при первом ударе. “Где б ни был ты, я буду везде с тобой”. Я в тюрьме, а ты? Ты рядом со мной?

— У меня нет твоей вины...

— Да, моей вины на тебе нет. И поэтому ты не заслужила тюрьмы. Можешь гордиться этим. Гордись, что не давишься вонючим хлебом, что не предстанешь перед ангелоподобным дьяволом Гонсалесом... Столько причин для гордости!

— Признался! — с мучением произнесла она. — Во всем признался!

— Признался, но не во всем! До полного признания еще не скоро. Пока признаюсь только в том, что передавал врагам государственные секреты и получал за это деньги, огромные деньги, они на моих счетах в иностранных банках. Признаюсь, что вел тайную борьбу с Гамовым и мечтал захватить его трон. И

приму за эти мои поступки всю тяжесть ответственности. Но это еще не полное признание, Елена, хотя оно так ужасает тебя. Придет время, и каждому откроется сущность моей вины. И ты только тогда по-настоящему ужаснешься! Безмерно, неизбежно, непрощаемо ужаснешься! А теперь уходи! Мне тяжело смотреть на тебя.

Она поднялась и пошла к двери. Она пошатывалась. У двери она остановилась и обернулась. В лице ее не было ни кровинки.

— Последнее слово, Андрей. Ты сказал, что не дорожишь любовью, которая рушится от первого удара. Твое право — дорожить, не дорожить. Я дорожила нашей любовью. Мы ссорились оттого, что мне ее временами не хватало, тебя не хватало. А твоя любовь была мне так бесконечно дорога... Рушится от первого удара... Не просто рушится, Андрей. Есть удары, которые не только уничтожают, но и выворачивают все наизнанку. Ненавижу тебя! Ненавижу за то, что так долго, так искренно любила, так верила в тебя... Ненавижу и презираю!

Она рванула незапертую дверь. Я пересел с койки на стул — поближе к открытому окну. Сквозь густую решетку проскользнуло солнце, и на полу обрисовалась решетка из света. Камера была полна теней и призраков. У меня так болело в груди, что было больно дышать.

13

Меня казнили в полдень при полном сиянии солнца. Штупа мобилизовал все ресурсы метеогенераторов, чтобы ни одна шальная тучка не приблизилась к Адану. Толпа на площади стала собираться с утра. Тюремная машина шла посередине — две охранные впереди, две позади. Из первой машины вылезли Гонсалес и Пустовойт, с ними их прокуроры и судьи. Палачи в траурных мундирах Черного суда уже ждали на площадке, где смонтировали виселицу. Я прикинул на глаз — Пустовойт не обманул, от перекладины, на которой висела веревка, до земли было точно восемь лан. В стороне стоял оркестр — заглушать мои прощальные вопли, если начну кричать. Все шло по росписи.

Я поднялся на площадку и оглядел площадь. Тысячи глаз сходились на мне, как в фокусе. Толпа безмолствовала. Вдали в машине я увидел Пеано. Впервые на его лице не сияла улыбка, он плакал обыкновенными человеческими слезами. “Не зна-

ет!” — подумал я и отвернулся. Ни один из членов правительства — кроме торжественных Гонсалеса и Пустовойта и плачущего Пеано — не пожелал украсить своим присутствием мое прощание с жизнью. Я поискал глазами Елену, ее тоже не было. Я стал под виселицей. Один из сотрудников Гонсалеса зачитал приговор, поворачась ко мне лицом, потом поклонился мне и пропал позади. Ни одним голосом толпа не одобрила и не осудила приговор. Мне показалось, что от меня ждут прощальной речи. Я сказал палачам:

— Не будем терять времени.

На меня накинута кожаный мешок, стянули его в ногах и талии ремнями, набросили на шею петлю, стали ее прилаживать. На площади свободно светило солнце, в мешке был душный мрак. В этот миг я понял, почему плакал Пеано. Он плакал не потому, что не знал, а потому, что знал! Он пришел реально прощаться со мной! На площади совершалась реальная драма, а не красочный спектакль. Меня обманули, меня казнили по-настоящему! Я дернулся от внезапно ударившего испуга. Тело мое взлетело вверх и стало невесомым. И всего меня охватил мрак — уже навеки.

Часть четвертая
НАСТУПЛЕНИЕ



1

Мое тело грохотало. Это не метафора, а физика. Все во мне надрывалось — ноги хрипели, руки лопотали, сердце барабанно било, шея скрипела, ресницы тонко звенели, уши визжали, волосы по-змеиному шипели и судорожно шевелились — и все эти звуки складывались во всепоглощающий гуд. И ничего больше не было в мире, кроме моего безмерно гудящего, ставшего всей вселенной тела. И я уже знал, что надо открыть глаза, чтобы оборвать этот терзающий гуд, пока сам я не рассыпался на тысячи камертонающих частей. Я вобрал в себя воздух — и он тоже что-то свое тихо и зло просвистел — и разорвал себя воздухом на тысячи осколков. Я чувствовал, что мчусь во все стороны, что меня больше нет, а есть лишь куски, уносящиеся в темную пустоту. Меня пронзил ужас небытия. Я раскрыл глаза.

Я лежал на кровати. Рядом на скамеечке сидел Павел Прищепа. У кровати громоздился Николай Пустовойт.

— Наконец-то! — воскликнул Пустовойт и повторил с облегчением: — Наконец-то!..

У Павла подрагивали губы. Он наклонился ко мне.

— Андрей, ты меня понимаешь? Как ты себя чувствуешь?

Я ответил с трудом — ничто во мне уже не звучало, язык больше не дребезжал, как жестяной лист на ветру, но речь не давалась:

— Понимаю. Как чувствую — не знаю. Говори, Павел.

— Я прилетел на твое пробуждение и должен сразу же улететь. Новостей пока немного. Главная — что ты очнулся. Почему-то ты пробыл без сознания дольше, чем ожидалось. Гамов тревожился.

— Что на фронте?

— На фронте по-прежнему плохо — Флория наполовину потеряна. Там мятежники стреляли в спину нашим отступающим солдатам. Аментола собирает конференцию своих союзников, наши бывшие союзники колеблются — не поехать ли на сбор к

нему? Пример Кондука их пугает, но Аментола щедро усилил подачи... В общем, все по плану, Андрей. Твоя казнь наделала много шума. Аментола теперь уверен, что стратегия у него правильная. Гамов просил передать поклон. Все остальное скажет Николай.

Он удалился. Я закрыл глаза, отдыхая. Каждая клетка тела возвращалась к жизни. Я снова открыл глаза. На скамеечку, где сидел Павел, примостился Пустовойт. Скамейки его громоздкому телу не хватало, он переливался сидалищем по обе стороны ее и покачивался — крепко спал в своей неудобной позе, даже присвистывал носом. Я слез с кровати и потянул Пустовойта за руку. Он сонно забормотал:

— Ты чего? Если что надо, я мигом...

— Ложись на мою кровать, — сказал я. — Тебя же сон валит с ног.

Он мощно потянулся всем телом, захрустев чуть ли не десятком суставов.

— Двое суток не спим около тебя, такое долгое непробуждение. Павел стожильный, а я без сна не могу.

— Повторяю: ложись на мою кровать и отоспись.

— Нельзя, Андрей. Не у одного Павла дела. Вот уверюсь, что ты ничего, ознакомлю с обстановкой — и улечу.

— Я уже ничего. Можешь знакомить с обстановкой.

— Тогда выйдем из палаты, погляжу, как ты на ногу.

Мы вышли наружу. Дом, куда меня поместили, был одноэтажный, на полдюжины окон по фасаду. На веранде сидел вооруженный любимец Павла Варелла.

— Охраняю вас, генерал, — сказал он, здороваясь.

— Почему ты? Где мои охранники?

Он ухмыльнулся. Я уже говорил, что у этого лихого парня, Григория Вареллы, улыбка такая заразительная, что на нее хотелось отвечать такой же улыбкой или смехом. И я засмеялся, хоть причин для смеха не было.

— Ваши охранники не годятся, генерал. Они охраняли вас от пули, кинжала и электроимпульса. А я охраняю от дурного глаза.

— В колдуны записался, Григорий?

— Вас нельзя видеть. Вот и стараюсь не допускать...

Домик был окружен густым садом. Мы с Пустовойтом сели на скамейку. Варелла прохаживался неподалеку. Я сказал:

— Николай, ты так сопишь от бессонницы, что надо поскорей тебя отпускать. Вводи в обстановку.

— Ходишь ты вполне, — сказал он одобрительно. — Мы ведь чего опасались? Хоть и камуфляж, а страх — что-либо откажет в смертном мешке либо в проводах... Ноги слабей головы, могли отреагировать...

— Не тяни! Итак, обстановка?

— Обстановка? Одиночное пребывание до специального приказа диктатора. Ну, не совсем одиночное... Варелла, другие охранники. Прямая связь с Прищепой.

— С Гамовым тоже?

— С Гамовым, извини, нет. Все же многие его видят, могут сообразить, с кем разговоры. А у Павла такая защита от глаза и уха...

— Знаю его защиту. Долго мне здесь пребывать? И что делать?

— Основная твоя забота — ждать вызова... Можешь познакомиться с соседями.

— Здесь есть соседи? Что за народ?

Пустовойт вдруг стал путаться и мекать.

— Видишь ли, Андрей... Если откровенно, так оба не гении, а сумасшедшие... Разгребание навоза, в котором заведомо нет жемчужного зерна. В общем, понимаешь...

— И в общем, и в частности ничего не понимаю. Сделаем так. Я буду задавать вопросы, ты отвечай.

— Задавай, — сказал он с облегчением.

Я задал десяток вопросов. Кто мои соседи? Чем они занимаются? Кто их считает гениями? Почему Пустовойт думает, что они сумасшедшие? И зачем мне знакомиться не то с гениями, не то с сумасшедшими?

На ясные вопросы Пустовойт отвечал ясно. Неподалеку, в этом же бдительно охраняемом парке, Прищепка завел какую-то сверхсекретную лабораторию. В ней двое ученых с одинаковыми именами, но разными фамилиями. Один старается извлечь из материи скрытую в ней чудовищную энергию, другой ищет шоссейные дороги в иные миры. Ну, не шоссейные, но достаточно удобные, чтобы добраться до инобытия. Он полагает о себе, что гражданин других миров, попал в наше мироздание случайно и не теряет надежды воротиться на свою истинную родину. И так рассказывает о ней, что уши вянут.

Я непроизвольно поглядел на уши Пустовойта. На маленькой голове массивного министра Милосердия уши, как и нос, и рот, были заметной деталью, мочки их свешивались до подбородка.

Думаю, он мог бы и хлопать такими ушами, как крыльями, если бы постарался. Он перехватил мой взгляд и улыбнулся — понял, о чем я подумал, но не обиделся.

— Нет, у меня не завяли. Я с ними двумя разговариваю мало. Не моя епархия, а Павел ревнив к своим секретам. Но в этих двух души не чают. Тучку с неба потребуют, стянет на землю без метеогенераторов!

— Странно. Павел не говорил мне о лаборатории иномиров.

— Ничего странного! Как с тобой поговорить? Даже министры записываются на прием. К Гамову легче попасть, чем к тебе. И безопасней.

— Безопасней? Что за чушь, Николай!

— Безопасней! С Гамовым можно поспорить. А с тобой? Докладывать тебе можно, а спорить — нет! Гамов, если надо отказать, а обидеть не хочется, говорит: “Хорошо бы вам получить санкцию Семипалова”. А ты спокойно отказываешь.

— Интересные вещи узнаю о себе. Ладно, воротимся к двум безумным гениям. Для чего ты рассказал о них?

— Павел просил. Лаборатория иномиров — дело от войны далекое. Но если тебе в нынешнем одиночестве станет скучно, и ты вспомнишь, что создал когда-то свою лабораторию, то почему бы тебе не познакомиться и с работами этих двух инженеров, может, найдешь в них что интересное.

— Что у тебя еще, Николай?

— Пока все. Если понадобится, вызывай через Павла.

Я смотрел на небо. Небо, чахоточно бледное, проступало сквозь кроны больших темных деревьев. Ни отблеска склоняющегося солнца, ни единой звездочки, вышедшей на вечернее дежурство, ни даже намека на тучки. То ли Ваксель не нагонял сюда свои циклоны, то ли Штупа охранял этот край бдительней, чем саму столицу... Я нащупал в кармане интердатчик, совмещенный с видеоскопом, приборчик вроде того, каким снабдил меня Павел во время нашего прорыва из тыла. Я набрал код Павла. На экранчике засветилась какая-то многокрасочная схема, а из центра схемы донесся бесполоый машинный голос:

— Министр в командировке. Что записать?

— Запишите, что я чувствую себя хорошо.

Я спрятал интердатчик и задумался. Сперва о снабжении армии водолетами, трудностях у Штупы — резервы энерговоды у него таяли. И утешился — скоро, скоро последний водолет перелетит на свою базу, и тогда все энергозаводы будут работать

на Штупу — и горе Вакселю! И еще я думал, удалась ли наша хитрая маскировка — объявить Бернулли и меня предателями своих стран? Павел сказал, что Аментола открыл шлюзы помощи нашим изменившим союзникам. Значит, удалась! А надолго ли? Аментола может потребовать от них срочного выступления. Пример Кондука для них страшен, но и требования президента не отринуть. Если южные соседи ринутся на нас раньше, чем мы на Вакселя, удар наш много потеряет в эффективности.

Вскоре я устал от политики. Переход в небытие, даже обманный, дался нелегко, мысли быстро теряли остроту. Я стал думать о Елене.

Я видел, как она стояла в камере в ту последнюю минуту нашего свидания. Ее лицо исказилось, глаза сверкали, она вдруг стала очень некрасивой. “Ненавижу тебя! — говорила она. — Боже, как я тебя ненавижу!” Это нелегко пережить.

— Хватит! — крикнул я на себя. — Все идет, как и должно идти!

Я сделал несколько шагов по дорожке. Ноги все же не обрели прежней крепости, в икрах скоро заныло. Я был один, если не считать деревьев, кустов, оставленной позади скамейки да какой-то тусклой звездочки, выбравшейся на темнеющий небосклон. Вот так бдительная охрана, подумал я и негромко проговорил:

— Григорий, вы где?

Он мигом возник из кустика, как демон из бутылки.

— Вы меня звали, генерал?

— Звал. Но как вы слышали, я не кричал.

Ухмыляясь, он показал на кругляшок, приклеенный возле уха.

— Настроен на ваш голос. Как бы ни сказали, услышу.

— Спасибо, что предупредили, Григорий. А как сделать, чтобы вы не слышали моих бесед с другими?

— На открытом воздухе нельзя, — сказал он честно. — Если специально не выключить приемник. А у себя в кабинете вы экранированы. Там вызываете меня нажатием кнопок на столе или видеоскопе. Разрешите вопрос. Вы меня позвали? Что я должен сделать?

— Знаете ли вы двух ученых, работающих поблизости?

— Два чудака. Невообразимые люди!

— Нельзя ли попросить их ко мне?

— Когда доставить обоих?

— Попросить, — повторил я. — В мою комнату, чтобы вы нас не подслушивали.

Он проводил меня до дома и уселся на веранде. Не было заметно, чтобы он торопился выполнить мою просьбу. Вероятно, он незаметно для меня передал ее другим охранникам.

2

В комнате стояло несколько спальных кресел и диван. Спальными я назвал их потому, что погружение в их просторные недра быстро вызывало сон. Диван был жестким, как скамья, ко сну он никого не клонил. Я погрузился в кресло и задремал. Меня разбудил шелест. Передо мной стояли двое мужчин, один водил ногой по паркету — деликатно создавал пробудивший меня шум. Они дружно заулыбались, чуть я открыл глаза.

— Бертольд Швурц, ядрофизик, — сказал один и поклонился, не приближаясь и не протягивая руки.

— Бертольд Козюра, хронофизик, — и этот поклонился без рукопожатия.

С полминуты я рассматривал обоих, забыв, что сам вызывал их. Они терпеливо ждали моего вопроса.

— Метафизиков среди вас нет? — спросил я.

— Мы даже не мистики, — отверг подозрение Бертольд Швурц, — мы ученые.

— Экспериментаторы, — дополнил Бертольд Козюра. — это, знаете...

— Знаю. Сам работал в лаборатории. Но о вашей услышал только здесь. Давно вы существуете и что изучаете?

— Мы очень секретные, о нас не сообщают, — разъяснил Бертольд Швурц.

— Мы очень важные, — дополнил Бертольд Козюра. — В смысле перспектив наших исследований.

— Нас создал маршал Комлин, — продолжал Швурц. — Он считал, что наш успех может изменить весь ход истории. Мы тоже так считаем.

— Нас финансирует полковник Прищепа, — дополнил Козюра. — Он уверен, что наша работа оправдывает любые затраты. Мы с ним согласны.

— Очень рады ввести вас в курс наших великих открытий, — это сказал Бертольд Швурц.

— Счастливы не откладывать этого дела, — возгласил Бертольд Козюра.

— Начинайте вы, — предложил я Швурцу. — Ядрофизик, не ошибаюсь?

— Да, физика ядра. Новая наука, у нас о ней еще никто не знает. Кроме нас двоих, конечно.

— Никто не знает у нас? Где же тогда знают?

— Об этом скажет мой друг Козюра, он хорошо изучил заповедье нашего мира. Начать ему?

— Я уже сказал — начинайте вы.

Кроме имен, у обоих физиков было еще одно общее свойство — и оно первое привлекало глаз: ни одна волосинка не омрачала их сияющих черепов, даже цвет кожи на головах был одинаков — голубовато-желтоватый, резко отличный от розоватости лбов и щек. В остальном оба физика были люди как люди: один непомерно высок и худ, другой столь же непомерно низок и толст, один длинно — и узкорук, другой короткорук и широкопал.

— Осмелюсь доложить, генерал, — излагал толстый ядрофизик, — что на нашей планете основной источник энергии — молекулярные превращения. Вот, например, энерговода: натуральная вода, только переменившая свою структуру. В энерговоде молекулы вползают одна в другую — и обычная вода превращается в сгущенную, а освобождаясь от неестественного сгущения, выдает накопленную в ней энергию. Это, конечно, отличный энергетический материал, но мы открыли тысячекратно мощнейший источник энергии. Не уродовать молекулы сжатием, а дробить либо начисто уничтожать ядра их атомов. И тогда исчезающее ядро превращается в энергогенератор. Если бы, генерал, вас самого... нет, лучше вашего охранника, либо моего друга Бертольда, либо даже меня самого, готов и на такое самопожертвование... Короче, если бы вдруг разбрызгать ядра всех атомов одного человеческого тела, то чудовищный взрыв даже нашу славную столицу Адан, огромный город, мгновенно превратил бы в шар огня, в гору пепла, в ураган раскаленной плазмы.

— Очаровательная перспектива! А если бы всех жителей Адана?..

— О, еще восхитительней! Погибла бы вся планета, все стало бы на ней пламенем, испепеляющим сиянием... Вспыхнула бы новая звезда! И если наша работа завершится удачно, такой эксперимент...

— Надеюсь, удачи у вас не будет! Мне бы не хотелось превратиться в пламя и так губительно засиять. Ваше яркое описание пока доказывает мне лишь то, что вы, во-первых, занимаетесь крайне опасным экспериментом. И, во-вторых, экспериментом ненужным, ибо немыслимо заставить материю самоуничтожиться. Я в школе учил, что материя неуничтожаема.

Швурц с мольбой поглядел на друга. Настал черед второго Бертольда, худого хронофизика Козюры, переубеждать меня. В его речи звучали скорбные нотки.

— Генерал, вы трагически ошибаетесь! Высвобождение внутриядерной энергии происходит чаще, чем можно вообразить. И приводит к уничтожению городов со всем их населением. Не исключено и распыление целых континентов, даже всей планеты. Правда, уничтожение целых стран, тем более всей планеты, нам пока...

— Значит, уничтожение городов вы наблюдали?

— Наблюдали, генерал.

Мне стало ясно, что оба физики — психи. Было только непонятно, буйные или тихие? Они сидели рядом на жестком диване. Ядрофизика. Я спросил хронофизика: Поза выражала не угрозу, а уважение. Почти угодливость. Так держатся обычно только просители. Правда, в следующую минуту они могли вскочить, завопить и броситься меня душить. Я подсадовал, что запретил Варелле тайно прислушиваться к беседе в моей комнате. И сказал с большей вежливостью, чем они того заслуживали:

— Наблюдали уничтожение городов на нашей планете? Что-то никогда об этом не слышал.

— И не могли слышать. Распыление городов происходило в ином мире.

— На других планетах?

— Не на других, а на иных планетах.

— Разве это не одно и то же — другие и иные?

— Совершенно разные понятия! Иные планеты — это не наши планеты, а планеты в ином мире. Или, проще, в иной вселенной, соседствующей с нашей, но закрытой для нас.

Пока он говорил, я думал, что Павел, конечно, сознательно скрыл от меня существование их лаборатории. Я бы не разрешил тратить государственные деньги на исследование каких-то иномиров. Теперь надо было проверить сообщение Пустовойта, что один из этих физиков — и, кажется, именно хронофизик — счи-

тает себя выходцем из соседней вселенной. Признание в таком факте стало бы достаточным аргументом для его перемещения из лаборатории иномиров в палату для психов, а заодно и его друга

— Вы не из соседней вселенной прибыли к нам, Козюра?

Он так обрадовался, словно я похвалил его за подвиг, а не обвинил в слабоумии.

— Вы уже знаете об этом, генерал? Да, я оттуда. И так все было не подготовлено, что только удивляться, что я живой, в противоположность другим...

— Другим, Козюра? Вас много совершило такой... межвселенский перелет, можно так выразиться?

— Точное выражение! Думаю, много. Вероятно, мои родители взяли меня с собой в ядерную лабораторию, они занимались искривлением времени внутри ядер. Это меня и спасло. Взрыв еще не завершился, лаборатория еще не превратилась в клубок плазмы и сияния, а меня вынесло в искривление времени на какие-то микро-микросекунды до того, как я должен был превратиться в плазму. И выбросило на хронолинию вашего мира, в пустыню около города Сорбаса. Там вначале сочли меня сумасшедшим, но, подлечив, убедились, что я разумен, только странный — с их точки зрения, конечно.

— Какая катастрофа! Я хотел сказать, какая удача, что вы остались живы. Но я не вижу на вас шрамов от ран.

Он притронулся рукой к лысой голове.

— А это? К сожалению, переход из одного временного потока в другой часто приводит к потере волос.

Я перевел взгляд с головы Козюры на голову Шворца. Тот, я уже говорил об этом, был столь же лыс.

— Вы тоже пришелец из параллельной вселенной?

— Нет, генерал, я не пришелец, а ушелец. В смысле — пытался уйти из нашего мира в сопряженный. Между прочим, термин “сопряженный мир” мне кажется более точным, чем соседний или параллельный.

— Не сумели проникнуть в сопряженный мир?

— Как видите, генерал, ибо нахожусь в нашем мире и стою перед вами. Но попытка стоила и мне потери волос. Первая конструкция аппарата для перехода из одной вселенной в другую была весьма недоработанной. Сейчас мы монтируем более надежную.

— Ясно, друзья. Сейчас скажу вам, что думаю о вашей лаборатории и о производимых в ней экспериментах.

— Вы этого не сделаете! — пылко воскликнул Бертольд Козюра. Он соображал быстрее своего друга. — Знаю, знаю ваши мысли! Так вот, они необоснованны. Раньше посетите нашу лабораторию и познакомьтесь с аппаратами. Они убедительней слов. Так сказал сам полковник Прищепа и предоставил все средства для хроно— и ядроработ.

— Мой друг Прищепа добрей меня. Показывайте вашу лабораторию. Она далеко?

— Рядом, рядом! Десять минут ходьбы.

Прыткий хронофизик шел впереди. Я за ним. Позади плелся толстый Швурц. Он все же очень отличался от своего приятеля. Швурц и говорил медленнее, и соображал неспешно. А шагал с таким усилием, словно его тащили на невидимой веревке.

Варелла, сидевший на веранде, встал и так ухмыльнулся, что я догадался: если он и выполнил запрет включать свой подслушивающий аппарат, то старым человеческим способом — наострив уши — хорошо уловил смысл моей беседы с двумя физиками. Он пристроился позади.

Мы шли по парку не десять минут, как пообещал Козюра, а не меньше получаса, и я отвлекся. Я всем в себе вдруг ощутил, что много лет не общался с природой — сперва работа в лаборатории заполняла все время, потом была война, государственные обязанности... Конечно, насаженный по чертежу парк еще не истинная природа, не природа сама для себя. Но все же это были настоящие деревья, настоящая трава, настоящие кусты, покрытые настоящими цветами. И над деревьями, в просветах их крон, нависало настоящее небо, бледное, смирное, но небо, а не арена противоборствующих искусственных циклонов, небо, а не сшибка стратегических туч, созданных могучими метеогенераторами. И я всей душой погрузился в краски листьев и травы, цветов и коры, в запахи парка, в шелест его ветвей, в глухое бормотание высоких — на свободном ветру — вершин. Ко мне, обогнав неповоротливого Швурца, подобрался Варелла.

— Генерал, вы пошатываетесь. Обопритесь на меня.

Я отвел его протянутую руку.

— Мне хорошо, Варелла. Давно, очень давно не было так легко.

На повороте аллеи открылся двухэтажный дом на два десятка окон в каждом этаже. Бертольд Козюра торжественно произнес:

— Лаборатория хронофизики, генерал. Я говорю о втором этаже, где аппараты, искривляющие наше унылое однолинейное время.

Бертольд Швурц с некоторым опозданием добавил:

— А на первом раскалываем тяжелые ядра атомов, чтобы извлечь их внутреннюю энергию. А также соединяем маленькие ядра в ядра побольше. Это трудней, зато выход энергии еще больше.

Первый этаж — помещение с заводской цех — было заполнено механизмами, а людей я не увидел: Швурц объяснил, что лаборатория автоматизирована. В закрытых механизмах что-то не то вываривалось, не то неслышно взрывалось, не то вообще нацело исчезало, а конечным результатом становилась зарядка больших аккумуляторов в подвале. Аккумуляторы обеспечивали энергопитание и самих лабораторий, и домика, в котором я жил.

На верхнем этаже механизмов было поменьше. В углу лаборатории высился экран в два человеческих роста и на всю ширь межоконного проема. Он походил на наши стереоэкраны, но вместо отчетливых картин по нему плыли клочья синего тумана, из синих клочьев вырывались оранжевые пламена, накаливались, рассыпались по экрану и гасли.

— Пейзаж иномира! — торжественно возгласил хронофизик. — Самый близкий наш сосед, такая же планета, моя далекая родина.

— Пока я вижу только туманные пятна. Если это и пейзаж, то не предметный, а иллюзорный. Не думаю, чтобы реально существовали планеты из смеси тумана и вспышек.

Козюра подошел к столу рядом с экраном. На столе покоился другой экран, маленький, мутный. Козюра нажал какие-то кнопки, потрогал какие-то рычажки и повернулся ко мне.

— Фокусировка во времени требует не только знаний, но и искусства. Сейчас вы видите на большом экране облик одного района инопланеты, суммированный за сто лет. Вам неясно? Поясню. Если взять ваше лицо, каким оно было, скажем, тридцать лет назад, и наложить на него все изображения вашего лица за последующие годы, то вряд ли вы получите отчетливый образ. Изменившиеся черты будут смазывать прежние, вместо четкой фотографии получится что-то расплывчатое. Сейчас я сфокусирую столетие инопланеты в месяц, даже в день, даже в минуту — иногда и до секунды удастся — и тогда вы увидите нашего соседа в сопряженном мире.

Хронофизик произвел еще какие-то манипуляции кнопками и рычагами, и на малом экране появилось фиолетовое пятно. Сперва оно захватывало почти весь экран, потом стало сжиматься, накалялось. Я отвел глаза и не уследил превращения пятна в точку, слишком уж нестерпимым стало сияние. Зато на большом экране пропал туман и выступили дома, мачты, столбы и — вдалеке — деревья. А по центру экрана в мою сторону пролегла широкая каменная дорога. На дорогу вдруг рухнула с неба исполинская машина с крыльями и с ревом понеслась на меня. Мне показалось, что она сейчас раздавит меня своим чудовищным корпусом, проедется по мне целым кустом колес. Но машина остановилась, с одного бока у нее открылись дверки, из дверок высунулись лестницы, по лестницам сбегали люди с чемоданами и пакетами — много людей, мужчин и женщин. Я не мог охватить глазом эту толпу. Она была слишком большой для моих двух глаз.

— Да это водолет! — воскликнул я. — Но какой огромный! И на колесах, без кормовых и тормозных дюз. Как может двигаться такое страшилище?

— На моей старой родине такие машины назывались не водолетами, а самолетами, — отозвался хронофизик. — Ручаться не могу, у меня при переброске из одной вселенной в другую так повредило память... Одно помню: на той планете и понятия не имеют о сгущенной воде. Двигатели там используют дерево, уголь, нефть...

— Как же они обеспечивают полив своих полей? Без энерговоды даже дохленького циклона не создать.

— Там вообще не создают своих циклонов. Ограничиваются влагой, поставляемой самой природой. И дожди идут не по программе, а от случая к случаю.

И летящий на экране самолет, в десяток раз превышающий самые большие наши водолеты, был маловероятен. Но то, о чем повествовал хронофизик, было не маловероятно, а немыслимо.

— Подумайте о своих словах, Козюра! Цивилизованное общество не может существовать, если полагается только на милости природы. То засуха, то наводнение, то голод, то изобилие. С этим нельзя примириться!

— Не смею возражать, господин заместитель... Разрешите продолжить? Фокусирование во времени оставляю, буду передвигать стереоглаз в пространстве.

— Разрешаю. Передвигайте.

Картина на экране переменилась. Из огромного самолета еще выбирались пассажиры, но сам он быстро отдалялся, будто я мчался не то в самолете, не то в водолете и оглядывал окрестности... Сперва это были засеянные поля, потом квадратики лесов, деревья как деревья. А затем стереоглаз приблизился к городу и помчался над ним. Я закричал Козюре:

— Помедленней, черт вас возьми! Не успеваю разглядеть.

Город меня потряс, только этим могу объяснить ругань: я не из любителей брани. Город был удивителен. Скажу сильнее — он был невероятен. Но он был, я видел его улицы, его площади, его здания. Стереоглаз показывал его с высоты, но куда ни хватал луч, всюду виднелись дома, только дома, одни дома, лишь кое-где раздвинутые островками парков. В этом городе могло бы поместиться с десятков наших городов, даже таких, как Адан или Забон. Поверить в это было невозможно, но глаза утверждали, что это так.

И вторым, что потрясло меня, стал облик зданий непостижимого города. Они были чрезвычайно высоки, нет, не чрезвычайно, это тусклое слово не описывает их невероятности — они были недопустимо высоки, безжалостно высоки. Недопустимо физически, безжалостно для жителей — лишь такие оценки соответствуют тому, что я увидел. Я попросил хронофизика задержать телеглаз и стал прикидывать, сколько этажей в здании на одной из улиц. В нем было девяносто этажей, а рядом, на границе экрана, еще на десяток этажей выше вздымалось другое здание. И в Адане, и в Забоне, да и во всех городах богатой Кортезии дома не превосходили пяти этажей, но многие жители жаловались, что и пятиэтажность трудна. Как же обитатели городов в ином мире взбирались на свои чудовищные высоты? Или они изобрели машины для подъема? Что-нибудь вроде антигравитаторов? Либо портативных водометов, отталкивающих от грунта? Но Бертольд Козюра уверял, что в ином мире не изобретено сгущенной воды!

Хронофизик погнал стереоглаз дальше. По улицам мчались водоходы, великое множество водоходов, сотни, если не тысячи машин. Наверно, это были все же не водоходы, за каждым тянулся синий газовый шлейф, а выбросы воды, ставшей из сгущенной обычной, всегда бесцветны.

— Впечатление, будто каждый житель здесь имеет свою машину, — сказал я хронофизику. — Богато живут в параллель-

ной, или соседней, или сопряженной вселенной — договоритесь между собой о правильном названии.

— Договоримся. Вы видите теперь, что реально существует иная вселенная и что, стало быть, мы вовсе не безумцы.

— Иную вселенную я теперь вижу сам. И готов признать, что вы не безумцы. Но к иномиру это не относится. В нем ощущается что-то безумное. Вы не заметили, происходят ли там войны?

— Войны случаются. Но на наши мало похожи.

— Разве в иномире людей не убивают и крепости не разрушают?

— Там крепости и людей превращают в пламя и плазму. Побежденные государства не покоряют, а распыляют. От побежденных народов остается тонкая взвесь, развеивающаяся по всей планете.

— И существует оружие, способное совершить такое злодеяние?

— Да, генерал. Это оружие — та скрытая энергия атомных ядер, которую мой друг Бертольд Швурц пытается высвободить. Разрешите показать вам мощь ядра в войне. Меняю фокусировку на другой отрезок времени и другой район.

Погасший было экран снова озарился. Появился другой город — и здания пониже, и улицы поуже, и машин, похожих на наши водороды, поменьше. Зато людей было, пожалуй, еще больше — лишь малая толика ехала в машинах, большинство шагало пешком. А на город карабкалось солнце. Оно именно карабкалось, выползало из-за невысоких зданий, лезло на крыши зданий повыше — было утро, солнце только начало свой торпливый подъем и еще не приобрело ту величавую неспешность, с какой плывет вблизи зенита. И оно, еще не полуденное, уже было покоряюще прекрасно. Я любовался солнцем неизвестного мне мира, оно было красивей бледно-зеленоватого светила, ежедневно подымавшегося надо мной. Чужое солнце, ярко-оранжевое, горячее, гляделось шаром расплавленного золота — из него исторгались горячие, золотые лучи.

И оно внезапно погасло! В какие-то доли секунды в центре картины вдруг вспыхнуло сияние, затмившее солнце. Я подбираю слова, чтобы точнее описать это сияние, и ничего не могу подобрать, кроме самых предельных, они единственно точные — невероятное, немыслимое, чудовищное... И я сказал, что солнце погасло. Это тоже неверно. Солнце не погасло, а из золотого стало черным. Я закрываю глаза и все снова и снова ви-

жу эту страшную картину — на бледно-прозрачном небе виснет черное солнце, совершенно черный, зловещий диск, только что он был пленительно золотым! Возможно, событие надо описать как-то по-другому, чтобы звучало объективней, но для моего глаза оно совершалось именно так — вспыхнуло чудовищное сияние и в нем солнце из золото-оранжевого мгновенно превратилось в черное.

Сияние бурно взметнулось вверх, вытянулось в сверкающий столб, на вершине столба раздулся огненный шар — исполинский гриб закачался над городом... И здания под грибом стали расплываться. Сперва верхние этажи осели и поползли вниз, потом и нижние превратились в огненное тесто. И то, что еще несколько секунд раньше казалось несокрушимым каменным сооружением, теперь, пылая, исторгая протуберанцы, огненным потоком плыло по улице, которой уже не было. Какая-то девочка в миг, когда возникло ужасное сияние, зачернившее солнце, маленькая девчушка с косичками, перебегала еще существующую улицу. И она вдруг вспыхнула, превратилась в узкий факел, устремившийся ввысь, и уже не было девочки, даже скелета ее не было, даже пепла не осталось, было только пламя, летящее вверх, узкий факел пламени, клубок раскаленных сияющих газов... Я вскрикнул и схватился за сердце.

Бертольд Козюра, услышав мое восклицание, поспешно отвел телеглаз от страшной картины. Но новое зрелище было еще ужасней. На этот раз только разрушенные, а не расплавленные дома — остов недавней улицы, а не поток разбрызгивающейся лавы. Разрушение еще не закончилось, верхние этажи еще с грохотом падали вниз, а по каменной мостовой бежали, тащились и ползли люди, израненные, окровавленные, дико орущие... В углу экрана сверкала исполосованная волнами река, они, кто еще остался в живых, стремились в реку — остудить нестерпимые ожоги. И не доползали, не добежали, а замирали без сил, либо крутились на мостовой, срывая с себя тлеющие одежды, обнажая изуродованные, кровавые тела. И прямо на меня полз человек, на нем пылали брюки, дымился пиджак, он исступленно хватался за камни, подтягивая руками свое тело. И я вдруг увидел, что отвалилась одна нога, а за ней другая. Ноги в еще горячей одежде остались позади, а сам он, не чувствуя, что уже безногий, все полз и полз, и кричал, не переставая, кричал, а из глаз его стекали не слезы, а струйки крови. Он уставил на меня дикие глаза, рыдающие кровью, и протянул руки и еще сильнее

закричал. И я понял истошный крик: “Помоги! Помоги же!” — взывал он...

Я вскочил и кричал на хронофизика:

— Перестаньте! Это же невозможно вынести!

Козюра выключил экран. Меня мутило, мне хотелось кричать от ярости и негодования. Ко мне метнулся Варелла:

— Генерал, я проведу вас домой. Вам надо в постель.

Я оперся на кресло. Тошнота отходила, сердце успокаивалось.

— Простите нас, — сказал Козюра. — Я не ожидал, что эти картины так подействуют на вас. Мы с Бертольдом часто рассматриваем их. И вроде ничего.

— Вроде ничего? И у вас не тряслись ноги? Не отказывал голос? Не пропадало сознание? Не становилось тошно жить? Кто же вы тогда? Люди или лишенные чувств автоматы? И вы хотите эти ядерные ужасы перенести в наш мир?

Хронофизик стал оправдываться и за себя, и за ядрофизика.

— Энергия ядра приносит не только ужас, но и пользу. Я покажу вам, как ядерные силы водят поезда, создают электричество, выравнивают горы...

В разговор вмешался молчавший до того Бертольд Швурц:

— Генерал, зло не от атомного ядра, а от людей, получивших его в руки. Разрешите вам напомнить, что наша энерговода обеспечивает полям урожаи, водолетам двигатели, электричество городам. Но она же питает нашу артиллерию, наши метеоатаки. Вы сами с таким непревзойденным искусством...

— Хватит! Не хочу больше слышать об иных планетах. Ваш иномир, Бертольд Козюра, — отвратительное, уродливое отражение в другом пространстве нашего собственного мира. Преступный мир!

— Вы ошибаетесь, генерал! — спокойно возразил Козюра.

— Ошибаюсь? Вы хотите сказать, что мир, где превращают детей в возносящиеся к небу факелы, не преступен?

— Я не это хочу сказать. Тот мир не отражение нашего. Наоборот, мы сами лишь бледно отражаем его. Ибо он главный в главном потоке времени, он единственный оригинал, а мы обедненная его копия в боковушке мирового времени. Он один, а копий столько, сколько маленьких потоков времени бегут рядом с величавым руслом времени основного.

Я отвернулся от него. Я сказал Варелле:

— Григорий, мне и вправду плохо. Проводите меня в домик.

Я все снова и снова видел девочку, превращающуюся в огненный факел, и раненого, ползущего по земле без ног. Я сжимал кулаки от гнева. Я ненавидел людей из неведомого мира в иной вселенной, тот мир был хуже, тысячекратно хуже моего родного, тоже полного преступлений, но все же не таких страшных. Ибо мы не сжигали детей, не превращали города в огненную лаву. Черное солнце не вставало над нашими полями. Я сам воевал, командовал отделением, батальоном, дивизией, теперь все военные силы страны подчинены мне, я готовлю решающее сражение, я сейчас, возможно, главная фигура войны, но это иная война, твердил я себе, — нет этого страшного черного солнца. Всего лишь солдат на солдата, оружие на оружие!.. И я опровергал себя: а Кондук? А свирепый террор Гонсалеса в тылу? А ливни, захлестывающие поля и лишаящие детей и женщин куска хлеба, стакана молока? Кто определит меру, до которой зверство еще не преступление, а после которой — наказуемое злодеяние? Тысячу сразить в бою — подвиг? А десять тысяч? А миллион?

Мучительные эти мысли истерзали меня. Я вскакивал. Бегал по комнате, ругался, ненавидел себя. В комнату входил Варелла, спрашивал, не нужно ли чего. Я прогонял его, он уходил, спустя короткое время снова появлялся, я снова прогонял его. Мне не было спокойствия, не было утешения, никакое лекарство не могло помочь. Меня преследовало черное, как уголь, солнце! Лишь под утро удалось забыться мутным сном.

Утром я вызвал Вареллу.

— Григорий, вы были со мной у физиков. Вы видели все, что видел я. Варелла, можете ли вы жить после того, как узнали, что где-то в мире бушует такая ужасная, нечеловеческая война?

Варелла всегда разговаривал легко и свободно — и непременно с ухмылкой. Сейчас он подбирал слова.

— Как сказать, генерал?.. Войны — они разные. Где ничего, а где — похуже. От войны не ждать хорошего... Война же!..

— Война против детей — это война? Это подлое преступление!

— И полковник так говорил. Мы слушали его, генерал, когда он насчет Сорбаса... Убивать детей не военная операция, а преступление, прощать нельзя ни исполнителям, ни организаторам. За душу хватало, так говорил. Точно эти слова!

— Те самые слова, — сказал я в отчаянии.

Я знал, что солдаты между собой называют Гамова полковником. Мы с Пеано были теперь для них генералами, они в разное время называли нас и майорами, и полковниками, а если завтра станем маршалами, будут именовать и маршалами. Но Гамова они узнали полковником, он и остался для них навсегда полковником. Он назвал себя диктатором, это было несравненно выше, но если он даже назовет себя императором, он останется для них в прежнем звании. “Его величество полковник приказывает...” — скажет о нем тогда тот же Варелла.

— Вы верите в реальность того, что вчера показали физики?

И на это он ответил без обычной прямоты:

— Ученые люди... Всякое продемонстрируют... А так чтобы — не очень. С другой стороны, а почему и не быть? Человек на все способный! В большом деле у него — черт на пару с Богом... Совместные трудяги... Всюду партнеры — Бог да черт!

— Черт с Богом — совместные трудяги? Интересная мысль! Но можно ли доверять оптическим модуляциям наших ученых?

— Проверить бы надо, генерал. Вызвать обоих?

— Сами пойдем к ним.

Теперь я шагал к физикам уверенней, чем вчера, — не останавливался, не заглядывался на парк, не давал ногам передохнуть — упадок сил после воскрешения быстро проходил. И картины неба, свободного от метеопротивоборства, больше не захватывали. Меня томили проблемы, больше приличествующие философскому уму Гамова, чем моему практическому, — реально ли существуют иные миры и реальна ли безграничность царящего в них зла и бесчеловечности? И точно ли мы только боковое ответвление, только отражение, только слабое воспроизводство другого, основного, куда могущественней и преступней, мира?

Оба физика так растерялись, словно мы явились арестовывать их.

— Успокойтесь, — сказал я. — Вы не виноваты, что миры во всех вселенных полны злодейства. Но я еще не убежден, что иномир реально существует. Продемонстрируйте его снова — и не ужасные войны, а мирную жизнь, если она существует в том мире.

Бертольд Козюра опять уселся за столик с маленьким пультом и вывел на экран картины иного мира. И вскоре я уже не сомневался, что чужой мир — не оптический фокус хронофизика, а реальность во всей своей невероятности.

Хронофизик повторил вчерашний вопрос, верю ли я теперь, что они не безумцы.

— Да, вы не безумцы. Но тайна иномиров, открытая вами, ужасна. В связи с этим несколько вопросов. Первый: вы уверяли, что вы пришелец из того мира, пейзажи которого демонстрировали. Можете это доказать? Вы так похожи на человека... хочу сказать — на человека нашей планеты. Ваша сияющая лысина — не доказательство.

Нет, он не мог точно доказать, что иномирянин. Для всех, знающих его детство, он подкидыш в отрочестве, случайно обнаруженный почти умирающим в пустынной степи и начисто забывший, кто он, кто родители, откуда родом, как его зовут. Даже языка той местности, где его нашли, не знал, что-то лопотал незнакомо и невнятно. Но быстро освоил язык, отлично учился и еще в университете создал первые хронотрансформаторы, меняющие внутриатомное течение времени. А когда сконструировал большие хронотелескопы, то обнаружил, что, кроме нашей вселенной, существуют вселенные иные, текущие в соседних потоках времени, а некоторые так физически сопряжены с нашей, что можно наблюдать, что в них происходит, и даже устанавливать проходы из одной вселенной в другую. И вот тогда, к своему великому смятению, узнал в первых изображениях сопряженного с нами мира знакомые пейзажи и зрелища. Вдруг возникли воспоминания детства — и они совпадали с образами на хроноэкране. Он задумался — как же все-таки очутился в чужом мире? Один ли это случай — только для него — или такие переброски часты? И если неоднократно, то нельзя ли возвратиться на утраченную родину? Открыв, что в сопряженном мире раскована внутриядерная энергия, он поделился новостью с другом еще со студенчества, Бертольдом Швурцем. С того дня они работают вместе. Им удалось заинтересовать маршала Комлина. Маршал предвидел, что использование фантастических новшеств из чужого мира гарантирует успех в войне с Кортезией. Полковник Прищепа тоже высоко оценивает их труд.

— Знает ли диктатор о ваших исследованиях?

— Полковник Прищепа ждал удачного времени, чтобы информировать диктатора и вас.

— Значит, Гамов не знает, потому что удачи пока не вижу никакой, а вижу одни ужасы. Запрещать вашу лабораторию не буду, но и не радуюсь тому, что вы в ней открыли.

Воротившись в домик, я набрал код Прищепы. На этот раз он был у себя.

— Павел, я познакомился с хронолабораторией. Я ошеломлен, это единственное пока ясное ощущение. Что нового в мире?

— Скоро прибуду и подробно информирую. Отдыхай, набирайся сил.

Прошла неделя, прежде чем Прищепа приехал.

— Пеано без твоей помощи изнемогает, — порадовал он меня. — Пора вернуться к руководству. Все цели твоей камуфляжной измены достигнуты, передает Гамов. Я в этом не полностью уверен и хочу, чтобы ты сам решал, как быть.

— Для этого я должен знать политическую и военную ситуацию.

Ваксель двигался с прежней железной неторопливостью. Вся Флория в его руках, он вступает на землю латанов. Флоры встречают кортезов как освободителей — митинги, музыка, в городах гулянья и танцы... Правда, переметнулись к кортезам не более трети флоров. Но эта треть — молодежь и все, кому надоело прежнее существование в Латании.

— В общем, все, кто жаждет перемен. Такие имеются в каждом цивилизованном государстве. Что на других фронтах?

Наши бывшие союзники, после разгрома Кондука поутихшие, снова показали клыки. Их армии по-прежнему придвигаются к границам. Готовятся все разом к броску, когда поступит сигнал. Сигнал даст Аментола на конференции в Клуре.

— Что за конференция?

— Сбор всех союзников Кортезии, а также всех наших бывших союзников, которых Кортезия взяла на содержание. Поедут все, кроме Торбаша, — хитрый Кнурка Девятый первый в пекло не полезет. Он торжественно провозгласил, что спор двух гигантов, то есть Кортезии и Латании, решит сам Высший Судия. А когда Судия объявит свою волю на полях сражений, великий грех тогда не присоединиться к тем, кого он назначит в победители.

— Кривоногий карлик-король уже вступил в Акционерные компании Террора и Милосердия?

— Торгуется насчет вступительного взноса. Предлагает заменить золото сушеными фруктами и вяленой бараниной, этого добра у него навалом. Также и дублеными шубами, у них ведь зимы не бывает, а овец избыток. Готлиб Бар не торопит переговоры.

— Пусть тянет их. Когда конференция в Клуре?

— Через десять дней. И ее откроет не президент Клуре, а сам Амин Аментола. Основные идеи его речи мне известны. Самовосхваление, обожествление Кортезии, претензии на руководство всем миром. После устранения Бернулли ему легко произносить такие речи. Что передать Гамову?

— Что я возвращусь после речи Аментолы.

— Гамов ожидает, что ты именно так и решишь.

— Почему ты раньше не говорил мне о работе своих физиков?

Павел молчал о физиках потому, что поначалу не очень верил в их серьезность. У него много секретных учреждений, информировать правительство о каждом невозможно. Но сейчас он склоняется к тому, что эти физики, и вправду, проникли в тайны мироздания.

— Я поверил, что параллельные миры реально существуют, когда рассматривал их пейзажи на хроноэкране. Физики уверяют, что найденный ими иномир в мироздании основной, а наш лишь его далекое отражение. Звучит убедительно, когда видишь чудовищные стоэтажные дома или летательные машины в десятки раз крупнее наших. Но какой это грозный и мрачный мир! Уничтожают за какие-то минуты огромные города со всем населением!..

— Мир страшный, ты прав. И далеко опередил нас, так что можно счесть его и основным, а нас побочным. Но, между прочим, до сгущенной воды там не додумались и обеспечивать урожай искусственными циклонами не умеют. Если оба Бертольда найдут выходы в тот мир, мы пошлем туда разведывательную экспедицию. Секретную, конечно.

— Какой-то проход они открыли — один вылетел по нему к нам, другой пытался пройти обратной дорогой, но его вышвырнули назад. И единственный результат — приобрели лысины.

— Принимая лабораторию, я подверг их самих проверке. Они даже покаянные листки заполняли...

— И что же необычайного, кроме лысин?

— А то, что тайна появления Козюры — именно тайна: абсолютно непонятно, почему он там оказался, да не ребенком, а подростком, да еще забыв свою предыдущую жизнь. У Шворца, наоборот, в прошлом все ясно, чего нельзя сказать о настоящем. У них изменен состав крови, есть ненормальности в зрении и слухе, нет обычных влечений к веселью, еде, заигрыванию с

женщинами. У Швурца была подруга, он ее бросил. И оба они, хотя еще молодые, и не помышляют о семьях, на женщин смотрят равнодушно.

... Я часто потом удивлялся, почему не сделал ясных выводов из важной информации Павла Прищепы, прирожденного разведчика, всей душой, а не только глазами и ушами улавливающего странности людей.

Впрочем, и сам Павел не дошел до естественных выводов из своих наблюдений.

4

Все, что недавно захватывало меня в моем одиночестве — парк, не нарушенный схватками искусственных метеоураганов, диковинные пейзажи потустороннего мира, — ничего этого для меня больше не существовало, только четырехугольник стерео и фигуры, проплывающие в его свете.

Фермор, столица Клура, ощущал себя центром планеты, столько в нем собралось знатных персон, так они были важны и властительны. И сами клуры, народ незаурядного ума и красочной внешности, терялись среди своих роскошных гостей. Я много раз видал Амина Аментолу и на стерео, и на газетных страницах, он мужчина красивый, но что способен принимать столько актерских поз, переодеваться по десятку раз на день, так долго и так напыщенно ораторствовать, и не подозревал. Конференция наших противников и колеблющихся нейтралов была задумана как вселенское деловое совещание. Вероятно, оно и было таким — где-то в закрытых комнатах. А на экране блистал нарядный спектакль — услада глаз, а не торжество ума.

— Возвращаюсь, — сообщил я Прищепе, когда Аментола произнес свою, заранее расхваленную, речь. — Завтра присылай водолет.

Утром водолет стоял у домика. До этого утра я видел одного охранявшего меня Вареллу. Но охранников было два десятка, они все высыпали провожать. Варелла отобрал несколько человек, другие остались. В полете я задремал и проснулся только на площади у дворца. В заседательском зале дворца меня ожидало все Ядро, министры и редакторы газет, Пимен Георгиу и Константин Фагуста. Деятели стерео отсутствовали, еще не настало время демонстрировать в эфире мое возвращение. Гамов радостно сказал:

— С возрождением, Семипалов!

Он один оценил мое появление как возрождение, остальные поздравляли только с возвращением. Но радовались все — большинство лишь сегодня узнало, что я не казнен. Я вспомнил, как плакал Пеано на моей казни, и спросил, знал ли он, что я вовсе не уйду в небытие. Он засиял обычной широкозахватной — на обе щеки — улыбкой.

— Вообще-то Прищепа меня предупредил, но в последнюю минуту я как-то усомнился, уж слишком все было правдоподобно.

Я вспомнил, что тоже усомнился в минуту казни, мистификация ли это или реальная расправа.

Сердечней всех меня поздравил лохматый Фагуста. Он так тряс своей чудовищной шевелюрой, так сжимал мою руку, его глаза так растроганно блестели, что можно было подумать, будто он радуется возвращению в жизнь любимого друга. Впрочем, говорил он в своей обычной манере:

— Семипалов, я душевно рад, что вы ногами на земле, а не в гробу. И нетерпеливо надеюсь, что мы вскоре будем с еще большим усердием портить друг другу кровь.

Пимен Георгиу ограничился поклоном и поздравлением.

Гамов показал на председательское место:

— Семипалов, ведите Ядро. Сегодня вы глава нашего праздника.

— Отлично. Для начала — информация о положении в стране и на фронте.

Один за другим каждый сообщал о делах в своем ведомстве. Все происходило так, как и должно было происходить. Периодические разговоры с Прищепой по интердатчику обеспечили меня достаточной информацией. Я закрыл Ядро.

— Теперь я пойду в Ставку. Прошу со мной Пеано, Прищепу и Штупу.

— Я тоже поеду с вами, — объявил Гамов.

Когда мы пошли во флигель дворца, где размещалась Ставка, Прищепа тихо спросил:

— Андрей, проинформировать Елену о твоём возвращении? Она пока не знает, что ты живой.

— И пусть не знает, пока все не узнают. Мне не до нее, Павел. Сейчас надо готовить наше главное наступление.

В Ставке я сказал:

— Итак, приступаем ко второй части стратегического плана. Вторая часть — внезапный переход от затянувшегося отступления к атаке на врага. Формирование водолетней армии закончено. Все воздушные дивизии должны передислоцироваться на боевые позиции. Сделано ли это, Пеано?

Был один из редких случаев, когда Пеано не маскировал истинное настроение улыбкой. Он волновался. Зато улыбался Гамов. Гамову нравилось, что я так решительно восстанавливаю свои функции военного министра и заместителя диктатора.

— Буду показывать, а не рассказывать, — Пеано поднял деревянную указку. — Все наши воздушные дивизии уже на стартовых площадках. Сейчас вы увидите, как они реально выглядят. Но раньше обзор с воздуха, какой могут дать аэроразведчики Вакселя.

Обзор с воздуха живописал сплошные леса, дикие скалы, ни малейшего намека на дороги, сооружения, машины. А наши датчики показали под кронами деревьев, в чащобах леса, в искусственных пещерах и обширных ангарах новенькие водолеты — десятки машин в каждом укрытии. Сотни машин на всех стартовых базах. Я мог гордиться — этот могущественный флот, моя задумка, был главной нашей ставкой в борьбе со всем миром, не с одной Кортезией.

Пеано переключил экран на театр военных действий — карту оставленной нами Ламарии, изменившей нам Патины и наших западных областей, по полям которых двигались соединенные армии Вакселя, родеров и патинов. Ваксель воевал головой, а не одними мускулами. Его собственные дивизии напирали впереди, патины только поддерживали, а воинственные родеры замыкали движение — должны были довершать последним ударом битву с нами, а в случае нашего неожиданного прорыва разгромить прорвавшиеся войска.

— Не просочились ли к Вакселю слухи о нашем готовящемся наступлении? — спросил я Пеано.

— Он учитывает возможность нашего наступления. Но считает его маловероятным. Просто он воюет по всей строгости своих военных уставов.

С этим, конечно, можно было согласиться. Я сказал:

— Итак, вторая фаза войны — атака всеми водолетными кораблями. Но не открывает ли конференция в Клуре новые возможности? Вы об этом не думали, Пеано?

— Думали. И предлагаем такое дополнение. Основные воздушные дивизии высаживают десанты у Вакселя в тылу, захватывают лагеря наших военнопленных. Но одна нападает на Клур, чтобы захватить в плен всю конференцию. Эту десантную дивизию сопровождают еще две. Их задача — навязать сражение водолетам противника, прикрывающим небо Клуро, и обеспечить свободу десантникам.

— Вы догадываетесь, Семипалов, какой воздушной дивизии мы поручим захват столицы Клуро? — спросил улыбающийся Гамов.

— Конечно, полковника Корнея Каплина!

— Да, ей. Недавние мятежники, рвавшиеся на войну, покажут теперь на деле, чего стоят. — И Гамов не удержался от похвалы своей памятью: — Говорю, в частности, о четырех командирах бригад — об Альфреде Пальмане, Иване Кордобине, Сергее Скрипнике, Жане Вильте.

— Следующий вопрос — метеобеспечение, — сказал я.

Штупа доложил:

— Тучи будут там и на такой высоте, как вы укажете. Ураганы прикроют воздушные пути наших водолетов. Резервы энерговоды для метеонаступления подготовлены.

— Последний вопрос: когда выступаем? — спросил Пеано.

— Завтра, — сказал я.

5

Штупа начинал операцию и сделал это отлично. Впервые он не экономил энерговоду. Передвижные метеогенераторы придвинули к районам сражений, тыловые метеостанции перевели на усиленный режим. Запасенные на горных вершинах тучи — масса в тысячи лиг шириной, десятков лиг высотой — пустились в ошалелый бег на запад. Миллиарды чудов воды готовились топить континент, густой облачный покров затянул сопредельные страны. Теперь мы хорошо знаем, как растерялись кортезы в штабе Вакселя от такой неожиданности. Даже умный маршал не поверил, что началось наше генеральное контрнаступление. Прищепка доставил мне запись его переговоров с начальниками метеовойск.

— Это несерьезно! — кричал маршал. — Что за вздор! Еще никому не удавалось сгустить облачную массу толще трех лиг. Даже над океаном такой высоты не достигнуть, а вы доклады-

ваете о десяти лигах! Слушайте меня, генерал. Гамов для впечатления на конференцию в Ферморе решился на отчаянный шаг, это в его духе. Он бросил в бой всю свою сгущенку, ливень будет сильный, но не дольше нескольких часов. Немедленно откройте противоциклонную борьбу. Завтра над нами засияет жаркое солнце, я гарантирую это!

Вот так воспринял атаку Штупы маршал Фердинанд Ваксель, ни разу до того не ошибавшийся в стратегических прогнозах. И лишь когда наскоро созданные его метеогенераторами противоциклоны были буквально разметены неистовой бурей с востока, только когда не ливень, а целый океан воды обрушился на его армии, он понял, каковы истинные масштабы нашего метеоудара. Он сделал два распоряжения, вполне разумные в той обстановке, какая ему рисовалась, — и одно из них стало воистину гибельным для его армии. Он велел прекратить метеосопротивление разразившемуся урагану — и это было, конечно, правильно, сохранялась “сгущенка” на тот случай, когда Штупа исчерпает свои запасы энерговоды. И вторым распоряжением он велел всем своим армиям, всем городам в тылу, всему населению Патины, Ламарии, Родера и даже Клуга укрыться в убежищах и домах и не показываться наружу, пока метеобешенство не стихнет.

Не могу отказать себе в удовольствии воспроизвести запись этого второго приказа Фердинанда Вакселя. У Прищепы оказались и стереоснимки штаба противника. Высокий генерал, с седеющей головой, с жесткими короткими усиками, в одной рубашке и форменных брюках на босу ногу, ходил по комнате и выкрикивал свой приказ дежурному генералу-секретарю, карандаш того рысью бежал по бумаге:

— Ни одной машины не выводить на дороги, не поднимать в воздух! — орал маршал. — Латаны сошли с ума, не будем препятствовать их безумию! Пусть они тратят свои запасы, вода утечет с полей, а запасы им не возобновить. Буря кончится, и тогда мы возьмем их голенькими! Не покидать казарм и укрытий до моего следующего приказа!

Я часто думал, как бы он поступил, если бы ему в эту минуту сообщили, что наш водолетный флот многократно превышает его собственные воздушные силы и что весь этот флот уже мчится поверх облачного покрова на заранее расписанные для каждого отряда цели. Наверно бы — не поверил! А если бы и поверил, и поднял свои водолеты навстречу нашей воздушной

армаде, то все равно не смог бы ни погнать наши машины назад, ни даже остановить их. Конечно, мы понесли бы немалые потери, но победа была заранее обеспечена. Губительный приказ маршала Вакселя, казавшийся ему самому таким рациональным, дал нам возможность действовать практически без потерь. Ваксель выкрикивал генералу-секретарю свои последние слова об уходе в укрытия, — а в это время передовые дивизии наших водолетов пролетали над ним на Родер и Клур — и ни один водолет врага не сразился с ними, ни один аэроразведчик не пробил несущиеся толщи туч, чтобы хоть зафиксировать, как мчатся наши машины: и люди, и животные, и разведывательные аппараты — все укрылись в своих казармах, конюшнях, ангарах и сараях.

И только когда наши водолеты стали садиться на затопленную землю и десантники кинулись захватывать казармы, только тогда Ваксель понял, какую совершил непоправимую ошибку. Две серии стереокартин изображают жалкий вид командования кортезов, постигшего истинную мощь нашего удара. Первую серию стереоснимков мы увидели потом, когда их главный штаб был захвачен нашим десантом и в наших руках оказались и они сами, и документы, и стереоаппаратура. А вторая серия была наша, зафиксированная десантниками, вторгшимися в помещение штаба. На первых стереоснимках — мы их рассматривали впоследствии — тот же Ваксель, в том же легкомысленном полуодеянии, орал на своих офицеров в микрофон:

— Какие десанты? Вы слетели с ума! А если правда, так захватите всех и доставьте сюда. Хочу посмотреть на этих безумцев!

Это было всего за пять-шесть минут до того, как “эти безумцы” ворвались в штаб маршала. И эту операцию мы видели в тот момент, когда она совершалась. Мы с Гамовым сидели в помещении разведки, куда Прищепа вывел экраны своих главных датчиков. И мы увидели, как отшатнулся маршал Ваксель от ворвавшихся десантников, как, мгновенно обретя мужество, выхватил из брюк импульсатор и выпустил синюю молнию в первого, кто выбежал на него. И как другие — был приказ брать в штабе Вакселя только живых — выбили у него импульсатор, а самого опрокинули на землю и стали вязать. И как Ваксель вырвался и сам повалил двух десантников, а у одного даже вырвал ручной вибратор. И как снова завязалась борьба одного человека с десятком противников. А в это время штабные генералы,

отогнанные в угол, теснились под дулами наставленных на них вибраторов, ни один не рискнул кинуться на выручку своему сражающемуся командиру. Несколько секунд нам казалось, что десантники не одолеют отчаянно отбивающегося маршала. Он несколько раз отбрасывал нападающих. Могло случиться, что кто-то из наших в азарте схватки пустит в дело оружие. Конечно, вибратор — не импульсатор, немедленной смертью он не грозит, но при такой близости он мог надолго вывести из строя и даже парализовать маршала. Гамов сказал об этом Прищепе. Прищепка пожал плечами.

— В этом десанте мои разведчики. Они знают, какая добыча бьется в их руках. Больше увесистой оплеухи Вакселю не отпустят.

Десантники одолели маршала. Связанный, он стоял посередине комнаты. Мимо него выводили наружу пленных генералов. Командир десантников ткнул Вакселя в спину вибратором.

— Шагайте, маршал. Вас ждет воздушная карета.

Ваксель обернулся к командиру десантников.

— Дайте мне раньше одеться. Я без мундира и босой.

Командир был, видимо, одарен мрачноватым юмором.

— Тем красочней глядитесь, маршал. Ваша ночная рубашка и босые ноги многим, кто страшился звезд на вашем мундире, доставит удовольствие в стереопередачах. Шагайте, говорят вам!

Ваксель высоко поднял голову. Он понимал, что на него нацелены стереодатчики Прищепы, и знал, как этим воспользоваться.

— Гамов и Пеано! — сказал он отчетливо и спокойно. — Не сомневаюсь, что вы наблюдаете, как меня арестовывают. Вы долго страшились меня, мое наступление вгоняло вас в ужас. Сейчас вы наслаждаетесь унижением, вами заранее спланированным. Да будет стыдно вам за такое невоинское поведение! Вечный позор вам, Гамов!

И высказав это, Ваксель сделал резкий рывок назад. Не ожидавший удара командир десантников отшатнулся, не удержался на ногах и рухнул. На связанного по рукам маршала навалились со всех сторон десантники, он разметал их. Он снова отчаянно дрался — головой, плечами, ногами, всем туловищем. Борьба не могла продолжаться, но Ваксель все же сам в плен не пошел, его понесли на руках. И, висая на десанниках, он ухитрился двух пихнуть ногами с такой силой, что те отлетели. Только когда и ноги опутали веревками, маршал прекратил сопротивление.

Я повернулся к Гамову, Гамов хохотал.

— Маршал Ваксель не похож на маршала Комлина! — сказал я. — А мы поступили с ним еще хуже, чем с Комлиным. Вам не стыдно, Гамов?

— Не похож, не похож! Настоящий солдат! И какая физическая сила! — весело отозвался Гамов. — Нет, не стыдно, Семипалов. Одобряю все действия десантников.

Он говорил, посмеиваясь, но глаза его помрачнели. Даже с Вакселем, настоящим солдатом, он не захотел вести себя с традиционным воинским благородством. Он ненавидел военных и войну и не отказывался от веры, что только позор — справедливая награда тем, кто воюет. Меньше всего я мог вообразить тогда, что в это свое понимание войны он обратит после и нас, своих помощников. Мы были слишком задурены “денежным ценником” подвигов на поле сражения, чтобы проникнуть в его дальние планы.

— Воздушные дивизии подлетают к Фермору, — прервал Прищепа наш молчаливый спор с Гамовым.

К чести командования Родера, их водолетчики все же полностью не потеряли бдительности, несмотря на категорический приказ Вакселя затаиться на все время бушевания урагана. Правда, в небе Родера, тем более в небе Клуга, Штупа не сумел создать такой толщины облаков, как над линией фронта. Аэро-разведчикам Родера удалось засечь в надгрозовой высоте машины, несущиеся на Фермор. Родеры подняли все свои водолеты, то же сделали и клуги. Стереодатчики Прищепы показывали вспыхивавшие воздушные схватки. Они совершались по росписи Пеано. Он знал, что незамеченными к Фермору не подобраться, но дислоцированные в далеком тылу охранные водолетные соединения серьезной преграды нашим мощным дивизиям не составят. Взлетали наперерез лишь одинокие водолеты и малые группы воздушных сторожей и после короткого боя либо бежали, либо рушились на полузатопленную землю. Бригады Корнея Каплина на полной скорости неслись все дальше, ни одна машина дивизии не отвлекалась на сражение с водолетами врага. Сопровождающие, вступая в бои, расчищали свободную дорогу недавним “мятежникам”, а их машины, не сворачивая с прямой, все мчались и мчались к столице Клуга Фермору.

И вскоре мы увидели катастрофические — для врага, конечно, — последствия приказа Вакселя. Ураган только приблизился к Фермору, а все, кому маршал предписывал укрыться, уже схо-

ронились в убежищах. И когда стало известно, что к столице приближаются огромные воздушные силы, а родеры пытаются их остановить и гибнут, не останавливая, и что надо, несмотря на темень и дикий ливень, бежать из обреченной столицы, мало кто подумал о таком разумном шаге. Клурь, мастера воздушных полетов, обладали неплохой водолетней силой. Но хоть водолетов у них было больше, чем у родеров, и они все свои машины быстро подняли в бой, разница была слишком велика, чтобы они могли отбросить нас. И мы трое, Гамов, Прищепка и я, с восторгом увидели, с каким воинским изяществом, с какой штабной дотошностью Пеано спланировал решающую воздушную операцию той бурной ночи. Обе сопровождающие дивизии, больше двухсот пятидесяти водолетов, ярко высвечивая прожекторами, сбивали отчаянно атаковавшие водолеты клуров — всего около сорока машин подняли те в воздух. Только храбрость вражеских пилотов, их яростное стремление защитить свою столицу затянули этот воздушный бой — результат его был заранее предрешиен. А машины Каплина, не втягиваясь в схватку, плавно опускались на площади и улицы Фермора. Из них вырывались десантники и захватывали намеченные объекты.

— Гамов, главные враги в наших руках, — сказал я. На экране отряд десантников под командованием Ивана Кордобина — я сразу узнал его в сиянии корабельных прожекторов — ворвался в самую роскошную гостиницу Фермора, пятиэтажный “Светоч”, здесь разместились все знатные участники конференции, включая и Аментолу.

— Будем надеяться! — с волнением отозвался Гамов и встал. — Семипалов, вы пойдете к себе?

— Куда к себе? Домой? У меня нет дома, Гамов. И в своем кабинете мне сейчас нечего делать. Я останусь здесь.

На экране возникали полураздетые пленные — жалкие, на смерть перепуганные, каждый был знаком по тысячам изображений, — знаменитые правители государств, важные дипломаты, носители древних фамилий и высоких званий. Аментолы среди них я не увидел. Прищепка, переключая экран с одного датчика на другой, все выискивал в толпе пленных мужчину средних лет, седовласого, высокого, изящного, с темными густыми бровями над черными глазами — таким мы всегда видели Аментолу.

— Да брось ты свой поиск, Павел, — с досадой сказал я. — Никуда этот державный подонок не денется. Если он в Ферморе,

то его найдут. И сообщат тебе первому. Завтра мы будем знать точно, в наших ли он руках или скрылся.

— Ты чего-то хочешь, Андрей?

— Хочу. Не любоваться перепуганным президентом, а поглядеть захват лагерей военнопленных.

Захват лагерей военнопленных был главным в нашем плане, а вовсе не рейд на Фермор или пленение вражеского командования. И то, и другое — десант в столице Клуга и разгром штаба Вакселя — были очень важны, но мы не могли не считаться с возможными неудачами — Ваксель с генералами мог перед атакой куда-то переместиться, участники конференции в Ферморе могли разъехаться по домам, или совершать массовые экскурсии по гостеприимной стране, или в последний момент бежать из столицы, узнав, что на нее идут водолеты. Подобные неудачи были бы прискорбны, но не катастрофичны. Мы и мечтать не могли, что умный маршал издаст идиотский приказ всем затаиться, пока бушует напущенный на них ураган. Я хочу подчеркнуть здесь: на глупость врага мы ставки не делали, мы исходили из того, что в критической ситуации он примет самые рациональные решения. Но и в этом случае мы должны были победить.

Так вот, повторяю — главным в моем и Пеано плане являлся захват всех лагерей военнопленных в Патине, Ламарии и Роде-ре, освобождение пленных, быстрое снаряжение их в новое бое-способное войско и последующая атака на Вакселя не только с фронта, но и с тыла. Он должен очутиться между молотом и наковальней, между плитами стального пресса. Атака с двух сторон — вот что должно прикончить Вакселя, таков был замысел. Мы собирались повторить в несравненно крупнейшем масштабе то, что так удалось нам, когда из тыла врага пробивались к себе, а целая армия не смогла сдержать своим перевернутым фронтом отчаянного удара наших двух дивизий. Кортезы, хвастающиеся количеством захваченных пленных, упивающиеся перечислени-ем сдавшихся дивизий, теперь должны горько пожалеть, что пленных так много. Ни Гамов, ни я и не помышляли, что можно разгромить неприятельскую армию кратковременными урага-нами и потопами, как бы они ни были сильны, а также и напа-дениями с воздуха, сколько бы мощны ни были наши водолет-ные войска, какой бы неожиданностью ни стало для врага, что мы вообще создали такие войска. Но что кортезы, выдержав любой односторонний удар, даже разрывающий их фронт, мощ-

ного сдавливания с двух сторон не снесут — на это рассчитывали.

Прищепа тоже это понимал, но — натура разведчика — стремился к сенсациям.

— Фермор один, и его можно хорошо разглядеть, а лагерей так много, Андрей.

— Покажи два-три любых. По тому, как дело идет в них, мы составим картину совершающегося в остальных.

Прищепа выбрал большой лагерь в Ламарии. На экране высветился обширный четырехугольник, отгороженный двойным рядом колючей проволоки, с восьмью вышками по периметру, с двумя десятками бараков внутри. На центральной площадке уже стояли два наших водолета, у лагерных ворот, запирая выход, опускался третий. Территорию заливали светом лампы на вышках, к ним добавляли сияния прожекторы водолетов. Уши резал вопль сирен, их жерла были настроены на боевую частоту звука, терзавшего нервы ненамного слабей вибраторов. Десантники в шлемах, прикрывавших уши от режущего визга сирен и глаза от слепящего сияния прожекторов, с импульсаторами и вибраторами, схватывались на лагерных улочках, у входов в бараки с охраной, захваченной врасплох, но еще пытавшейся сопротивляться. На вышках охранники тоже дрались с лезущими вверх десанниками. Но везде — и на земле, и на вышках — один за другим охранники поднимали руки, какой-то лагерный офицер даже опустился на колени с поднятыми руками, а рядом с ним синяя молния импульсатора располосовала офицера, не пожелавшего сдаться. Этот, коленопреклоненный, видимо, ценил жизнь выше воинской доблести. Пленные выбегали из бараков, кричали, махали руками, обнимали освободителей.

— Какие скелеты! — воскликнул Прищепа.

— Ты ожидал разжиревших щек? Лагерь — не санаторий.

— Но и не камера пыток! Доводить людей до такого состояния — преступление. За это кортезы ответят!

— Предоставь кары Гонсалесу. Показывай другой лагерь.

Прищепа перевел обзор из Ламарии в Патину. Здесь лагеря были не такие крупные, как в далеком тылу. Их создавали наско-ро — по мере того, как Ваксель продвигался по нашей территории. И в лагере, что попал под стереолуч, не было и намека на сражение. Здесь опустились два водолета, и охрана сдалась без сопротивления. Тюремщики стояли в четком строю около одного из бараков, похоже, назначенного им в местожительство, потом

по команде зашагали внутрь, на нары, освобожденные военнопленными. А на площади — крики, объятия, толкотня. И еще мы с Павлом увидели танцы — освобожденные и освободители кружились и пели на очищенном клочке земли. Я сжимал губы, чтобы не расплакаться и не разразиться ругательствами. Ужасен был этот веселый танец! Ничего страшней я не видел, хотя нагляделся на раненых и умирающих. Люди в лохмотьях, кожа и кости, живые призраки — нашли в себе силы кружиться с десантниками, здоровыми, сильными, торжествующими, что спасли товарищей. То один, то другой валился и его подхватывал партнер-освободитель, а к ним поспешал сосед, и оба выносили потерявшего все силы пленного подальше от танцев. А на арену выбирался новый живой скелет и изливал свое счастье в попытке танца с бережно поддерживающим его крепышом-освободителем.

— Переключимся на третий лагерь? — спросил Прищепа.

— Хватит! Слишком много горя в радостных картинах на твоих экранах, Павел!

6

Не один день должен был пройти, чтобы мы точно установили размер наших удач и потерь. Но главное мы узнали уже на другой день. Успехи были огромны, потери ничтожны. Даже в самых оптимистических прогнозах мы не планировали такую удачу. Правда, Аментола бежал из Фермора еще до того, как наши водолеты пересекли границу Родера и Клуга — не поверил советам своего командующего укрыться и переждать метеонападение. Где сейчас находится беглый президент, наша разведка не дозналась, а сам он не подавал сведений. И многих других важных особ мы недосчитались среди захваченных в плен — кто убрался в свои страны, не дождавшись закрытия конференции, кто успел бежать, кто, известив мир об участии в форуме, не сумел прибыть на его открытие. Сейчас они радовались, что оказались столь нерасторопными. Как бы там ни было, десятки властительных фигур, сотни наблюдателей и журналистов были в наших руках — и Пеано заполнял ими возвращающиеся водолеты. Он не собирался удерживать захваченный Фермор. К столице Клуга спешили войска из других городов страны, к ним присоединялись высаженные в портах еще до нашего авианападения полки кортезов, прибывшие из-за океана для пополнения армии Ваксея. Спустя неделю ни одного нашего водолета не было видно в небе Клуга, ни один наш солдат не

попирал ухоженную землю этой страны, лучшей страны на нашем континенте. И Гамов строго запретил Пеано, оставляя Клур, производить разрушения, даже крепости велел не трогать. Не могу сказать, чтобы Пеано такая категоричность порадовала, я тоже высказал сомнения. Но Гамов предугадывал будущее проницательнее нас.

Только одно темное пятно мы увидели в сиянии нашего успеха. На второй день, воротившись в Ставку, я снова просматривал захват лагерей военнопленных, и снова радовался счастью освобожденных людей, и снова впадал в ярость, видя изможденные лица, худые руки, с трудом передвигающиеся ноги.

— В нашем плане появились серьезные изъяны, — сказал я Гамову. — Мы можем переодеть этих людей в хорошую одежду, снова кормить досыта. Но бросать их в бой нельзя, сражения им пока непосильны.

Гамов оценивал положение одинаково со мной.

— Продовольствие перебросим на водолетах?

— Возражаю, — сказал я. — В тылу у Ваксея гигантские склады продовольствия. Нужно срочно овладеть ими, пока их не эвакуировали и не сожгли. У кортезов недостатка в продовольствии не было. Захватив тыловые склады, мы заставим их почувствовать, что такое лишения в еде и боеприпасах: кортезы не из тех, кто хорошо сражается голодным.

Пеано с обычной своей энергией переориентировал десанты на интендантские базы. Гонсалес порадовался, что больших передвижений войск в тылу врага в ближайшие недели не предвидится.

— Военнопленные временно остаются на своих местах, — объявил он. — И не потому, что их надо подкормить и подлечить. Это забота Пеано. Я преследую собственные цели. Злодеяния требуют отмщения. Отмщение справедливей совершать там, где злодеяния творились. То есть в лагерях военнопленных. В каждый захваченный лагерь я командирую работников Черного суда. Они и будут решать, кто из охранников достоин жестокой кары, а кого освободить от дополнительного наказания, кроме плена.

Пустовойт потребовал, чтобы и его представитель был в судах над охранниками лагерей и имел право отменять решения своего “черного” коллеги, если найдет их несправедливыми. Ибо милосердие выше кары, он просит философскую эту истину утвердить в качестве закона политики. Гонсалес запальчиво возражал. Еще никогда я не видел нашего робкого министра

Милосердия в таком огне, а министра Террора, жестокого по должности и по душе, в таком негодовании. Красавец Аркадий Гонсалес так изменился, что стал почти уродлив, а уродливый Николай Пустовойт засветился и похорошел. Вел Ядро, как обычно, я. Я дал им накричаться вволю, а потом обратился к Гамову:

— Я поддерживаю Милосердие. Наш добрый друг Гонсалес отлично исполняет свои обязанности, но постоянно грозить карой — политика не из лучших. И на справедливый террор нужна узда, чтобы он не превратился из политики в злобу.

Гонсалес метнул в меня гневный взгляд — как бы предупреждая, что не забудет противодействия. А Гамов не захотел поддерживать одного спорщика против другого: оба ведут одно дело, только разными средствами. На присутствие Белого судьи на Черных судах он согласился.

Забегая вперед, расскажу об одном из судилищ в крупном лагере в Родере. Омар Исиро подробно высветил этот суд по стерео. В нашей стране его видели, наверно, все, но и за рубежом он демонстрировался. В лагере на тысячи три заключенных охранников было свыше двух сотен. Оба судьи — Белый и Черный — сидели рядом, по бокам разместились шесть помощников судей, бывшие пленные. Суд совершался в гараже, где раньше стояли боевые машины, обвиняемые и публика — недавние военнопленные — стояли. Обвинитель, тоже из пленных, перечислил преступления охранников, в общем, стандартные — избиения, ругань, карцер за нарушения режима, кража продуктов. Начальник лагеря Ишим Самино, высокорослый, краснощекий кортез, отвечал на вопросы судей угодливо — понимал, что заплатит своей головой, если не оправдается.

— Обвиняемый, почему у вас в личном сейфе оказалось так много денег — и наши калоны, и кортезские диданы, и родерские доны — состояние, тысячекратно превышающее ваше жалование? — так начал допрос Черный судья — фамилии его не помню, облик тоже не сохранился в памяти: Гонсалес умел подбирать внешне маловыразительных сотрудников, зато грозно выражавших себя в приговорах. И продолжал: — Начнем с калонов, это, очевидно, отобранное достояние пленных. Верно?

— Так точно. Все пленные обыскиваются. Их деньги доставляли мне.

— Что вы собирались делать с отобранными деньгами?

— Ну, как что? Деньги же! Если бы оккупировали вашу страну, там эта валюта в ходу...

— А диданы, а доны? У пленных вы их отобрать не могли. Откуда они?

— Копил понемногу...

— И понемногу накопили много? А точнее?

— Точней не припомню...

— Разрешите справку, — заявил обвинитель. — В лагерь часто прибывали машины с продовольствием, лекарствами, вещами — всем, что отпускалось для пленных. И это скудное добро разворовывалось охраной, львиная доля доставалась майору Самино, но и каждый охранник получал премию за службу. В котлы закладывалось меньше половины нормы, хотя и полная норма гарантировала лишь выживание, а не здоровье. Что же до лекарств, то две трети их продавались на сторону.

Майор Самино пытался защищаться.

— Мы лечили раненых и больных. Многие выздоравливали.

— Очень немногие, — возразил обвинитель. — Вот справка за полгода. Поступило в госпиталь 120 человек, 45 выжили, 75 погибли.

Майор молчал, опустив голову.

— В разных палатах госпиталя неодинаковые результаты лечения. В палатах врача Габла Хоты было 48 больных, выздоровело 32, умерло 16. В палатах врача Попа Барвелла лечилось 72 человека, выжило всего 13.

— У Барвелла были тяжелые больные, — сказал начальник лагеря.

— Ложь, — установил обвинитель. — По записям те же болезни и ранения. Зато у врача Габла Хоты не найдено лекарств, кроме занесенных в запас, а у врача Барвелла масса лекарств, записанных как уже использованные. В том числе и консервированная кровь, переливания которой Барвелл ни разу не делал, но аккуратно вписывал в расход.

Черный судья вызвал врача Попа Барвелла.

— Для чего вы сохраняли лекарства, записывая их в расход?

— Хотелось иметь запас на случай, когда лекарства реально могли помочь, кому они были уже бесполезны, не давал. А записывать надо было в расход, чтобы лечение выглядело по форме. Мы часто тратим дорогие лекарства, зная, что они не помогут. Зато иным больным отпускал лекарств больше положенного, если верил, что они подействуют.

— Почему такой высокий процент смертности в ваших палатах?

Барвелл пожал плечами.

Судья вызвал Габла Хоту, молодого человека с худым лицом.

— Хотя, в вашей палате умирала треть поступивших пленных. Почему такой высокий процент смертности?

— У нас не хватало лекарств, питание было недостаточным.

— Оно было недостаточным, потому что в лагере разрывали продукты. Вы использовали все отпущенные вам лекарства?

— Все, конечно. Нормы лекарств были скудны. Особенно не хватало консервированной крови.

— Вы не просили кровь у вашего коллеги Попа Барвелла? У него обнаружено много склянок крови.

— Он говорил, что всю кровь тратит.

— По документам вашей палаты, вы произвели на десяток инъекций крови больше, чем получили ее. Откуда избыток?

— Я воспользовался собственной кровью. Некоторым больным требовалось крови больше, чем я мог официально отпустить.

— Вы могли воспользоваться кровью других пленных.

— Я не мог ею воспользоваться. Все пленные прибывали очень слабыми. Каждая капля их крови была на вес их жизни.

— Почему вы не записывали, что вводите собственную кровь?

— Это вызвало бы выговоры. Я не хотел, чтобы меня выгнали.

В допрос вмешался молчавший до того Белый судья:

— Сколько вы отпустили больным своей крови в динах?

— Примерно две дины. Некоторым моя кровь помогла, двух спасти не удалось.

После врачей допрашивали охранников, вещевых и продовольственных каптеров, стражников карцера, похоронную команду. Лагерь был как лагерь — отвратительное учреждение, куда людей привозили страдать и где охрана прирабатывала тем, что принуждала пленных страдать сверх узаконенной нормы мучений. Этот лагерный процесс был первым, переданным на весь мир, — Гонсалес постарался ужаснуть зрителей. Он предварил приговор личным появлением на экране и предупредил охранников всех еще не захваченных нами лагерей наших пленных, что сейчас они увидят собственное будущее — пусть сообразовывают отныне свое поведение с тем, какую оно заслужит

кару. Еще недавно по велению Гамова штабист Аркадий Гонсалес расписывал “Ценник подвигов” в сражениях, сейчас со зловещим увлечением творил ценник кар за воинские преступления, цена теперь обозначалась не в деньгах, а в казнях, унижениях и страданиях. Древнего принципа “Око за око, зуб за зуб” министр Террора не признавал, у него кары десятикратно умножались: все страдания, причиненные военным преступником многим людям, суммировались, и страшная их сумма обрушивалась на него самого. Какая б ни была вина, ужасно было наказание! Иного от Гонсалеса я не ждал, но для вражеских стран его предваряющая приговор речь прозвучала вряд ли приятней похоронного звона.

Оба офицера и врач приговаривались к публичной казни, издевательски повторявшей их преступления: коменданту лагеря Ишиму Самино насильно вбивать в желудок деньги, украденные у пленных, пока он не задохнется; его помощника Пурпа Горгона, истязавшего плеткой потерявших силы на лагерных работах, бить его же плеткой на площади, пока он не испустит дух; врачу Попу Барвеллу, воровавшему лекарства, ввести их все: мучительная смерть от лекарств, ставших в таком количестве ядами, была гарантирована. Палачами назначались охранники — и если кто отказывался, сам приговаривался к немедленной казни. Впрочем, отказников не было, охранники, приученные к исполнению, не нарушили дисциплину.

Зато неожиданно прозвучало постановление Белого судьи о враче Габле Хоте. Судья Милосердия, не показавший и тени милосердия к трем приговоренным, высказался о враче так, что я должен привести его речь: она прорезонировала в мире гораздо громче приговора о казни.

— Врач Габл Хота исполнял свой профессиональный долг так тщательно и благородно, что я освобождаю его от плена и разрешаю свободно удалиться, куда он пожелает. Особо отмечаю великодушие Хоты, добровольно, к тому же тайно, отдававшего собственную кровь больным военнопленным. Всего он пожертвовал около двух дин своей крови, то есть треть количества, содержавшегося в его теле. Две дины — это две тысячи кор, каждая кора содержит двадцать капель, каждая капля — сияющая красная жемчужина в венке благородства, отныне украшающем голову врача Габла Хоты. Оцениваю каждую каплю его крови в один золотой лат. Итого объявляю награду подвигу

врача Габла Хоты — два миллиона лат. Врач Габл Хота может получить их в золоте либо в банкнотах.

Наверно, не один я ахнул, услышав, какая награда присуждена врачу. Я пошел к Гамову, он сидел перед стереовизором. Давно я не видел его в таком великолепном настроении. Я показал на экран.

— Вам это нравится, Гамов?

— Восхищен! То самое, что нужно.

— И все эти неслыханные формы казни — убийство деньгами, избиение собственной плеткой, отравление украденными лекарствами — придумали вы сами?

— У меня не хватило бы фантазии на подобные изобретения. Вам не кажется, что Гонсалес больше всех наших министров отвечает избранной для него роли?

— Да, не простой палач, а изощренный, палач с фантазией.

Я мог наговорить Гамову и побольше того, что сказал. И не сделал этого потому, что знал: горячее осуждение Гонсалеса вызовет у Гамова лишь удовлетворение. Он скажет мне: “Отлично, Семипалов! Если у вас эти казни вызывают такой ужас и отвращение, какой же силой ужаса, какой мерой отвращения они подействуют на врагов. Уверен, в лагерях, которые мы еще не захватили, коменданты и врачи теперь поостерегутся наживаться на краже продуктов и утаивании лекарств”. И нечего возразить! Гамов вел свою линию и не стеснялся показывать, что Гонсалес — только орудие его воли. Впрочем, и я, и Пустовойт, разрешивший исполинские награды за акт нормального благородства, и все остальные министры были не больше чем исполнителями.

— Семипалов, вам нужно легализоваться. — сказал Гамов.

— Разве я еще не воротился в должность?

— Об этом знают несколько человек. А должен знать весь мир. Пусть Аментола убедится, что его не только заставили бегством спасаться из Фермора, но и провели перед этим за нос, заставив поверить, что он нашел в нашей среде влиятельного предателя. Пусть у самоуверенного президента убудет самоуверенности, а его поклонники обнаружат, что поклонялись напыщенному трусу и чурбану, а не проницательному политику, каким он казался. Сегодня вечером вдвоем покажемся на стерео.

— Кстати, что с моим помощником по шпионажу Войтюком?

— Мерзавцу удалось сбежать. И так ловко укрылся, что сыщики Прищепы не могут обнаружить его убежище.

— Вы не арестовали его жену Анну Курсай? Он, кажется, сильно любит ее. Если он узнает, что ей грозит жестокое наказание, а его явка с повинной может ее вызволить, он сдастся добровольно.

— Отличная идея, Семипалов. Нет, Анну мы не арестовывали. И не арестуем. Войтюк — слишком мелкая сошка, чтобы выманивать его из норы таким сильнодействующим средством. Но вашу идею мы реализуем в случае более важном, чем арест Войтюка.

Уверен, что и тогда он уже провидел, как применить придуманный мной шантаж для реализации важного политического замысла.

Мое появление на экране Омар Исиро подал торжественно. Сперва появился Гамов. Я уже говорил, что каждое выступление Гамова по стерео становилось значительным государственным событием. Он счел мое возвращение к власти заслуживавшим его речи к народу. Он рассказал о Войтюке и о том, как успешно проходил обман шпиона, и о том, как президент Кортезии поддался на обман и ассигновал огромные деньги на подрывные действия против самого себя. Не скрыл Гамов и того, что противник Аментолы сенатор Леонард Бернулли вовсе не был платным агентом Латании, а, напротив, яростно боролся против нас. И эта его опасная борьба, грозившая разоблачением наших секретных планов, заставила похитить сенатора и объявить нашим агентом, чтобы опорочить все его высказывания и предложения. Но скоро стало ясно, что далеко не все, знающие Бернулли, верят в его предательство, как поверил сам президент Кортезии. И, чтобы большой стратегический обман стал неотвержаемым, Семипалов предложил, чтобы и с ним сыграли ту же обманную игру, что была разыграна с сенатором: объявить всему миру, что он, Андрей Семипалов, второе лицо в правительстве, является скрытым врагом диктатора, что он надеялся захватить власть, что ради этого пошел на сговор с врагами и что измена его была оплачена огромной суммой правительством Кортезии. Семипалова осудили и публично повесили. И теперь я, продолжал Гамов, счастлив сообщить миру, что казни не было и быть не могло, а сам Семипалов после хорошо разыгранного спектакля жил в отведенной ему резиденции, отдыхал и лечился. И все, чего мы ждали от мнимого предательства, точно исполнилось — враги поверили во все, в чем их уверяли, совершали одно за другим подсказанные им действия — и теперь пожидают плоды своей слепоты.

— И я бесконечно рад, что Семипалов воротился в Адан и возобновил работу, — так закончил Гамов свою речь. — Под его председательством прошли очередные заседания Ядра. Он организовал захват маршала Вакселя и его генералов, освобождение наших военнопленных, арест конференции в Ферморе. Великий водолетный флот, любимое детище генерала Семипалова, поднялся в воздух по его команде и совершил великий поворот в войне. А теперь я попрошу творца нашей водолетней мощи, организатора наших военных побед, моего друга Андрея Семипалова показаться перед вами.

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что слушал Гамова спокойно. Он с такой искренностью, так горячо говорил обо мне, что я разволновался до потери голоса. Еще долго потом обсуждалось, почему после приглашения мне появиться на экране, экран вдруг погас и минут пять ничего не показывал. И я начал именно с этого, всякое другое начало было бы неискренним.

— Друзья мои, простите, что заставил вас ждать, нужно было успокоиться. И не сердитесь, что не произнесу даже малой речи, еще не могу. Одно скажу: спасибо всем тем, кто радуется моему воскрешению из небытия. Сейчас я снова в строю — для вас, вместе с вами.

Павел Прищепа попенял мне потом, что надо было выступить посolidней — не просто эмоционально, а политически весомо. У Гамова эмоции всегда сопровождают политику — было с кого брать пример.

Впрочем, и Прищепа понимал, что подражать Гамову можно, а равняться с ним трудно — даже при кратковременном появлении на экране.

7

Кортезы оправились от удара быстрее, чем мы рассчитывали. Появился новый командующий армией кортезов и примкнувшими к ней войсками родеров, ламаров и патинов. Им стал не кортез, а родер — корпусной генерал Март Троншке. Он соединил в своих руках общее командование союзными армиями. Он сразу понял, что нельзя рассчитывать ни на нашу слабость, ни, тем более, на нашу глупость, и начал с того, чем закончил Ваксель. Он испугался нас. Он понял, что если не принять чрезвычайных мер, то и ему уготована участь предшественника. А когда пугается умный и храбрый генерал, то никакое действие ему

не кажется чрезвычайным. Март Троншке внезапно обрушил на нас сосредоточенный удар своих объединенных армий.

И нанес его не нашим основным силам, не по фронту, оттесненному в глубь страны, а по собственному тылу, где мы концентрировали освобожденных военнопленных, превращая их беспорядочные толпы в боевую силу. Троншке понял, почему мы не стремимся перебросить на родину освобожденных солдат и вывозим лишь больных и раненых, а в бывшие лагеря доставляем одежду и оружие. Он хорошо изучил нашу боевую биографию, этот новый главнокомандующий, корпусной генерал Март Троншке. Он запомнил, как мы — всего две дивизии — свирепствовали в тылу у тех же кортезов, как заставили целую их армию принять сражение повернутым фронтом и прорезали ту армию, как острый нож прорезает парусину. Троншке понимал, что если промедлит, то скоро на него навалятся и с фронта, и с тыла — и натиск с обеих сторон будет тысячекратно жесточе того, какой когда-то помог нам вырваться из окружения. И оставив на фронте лишь оборону, он быстро двигался назад, в захваченные нами с воздуха районы — на центры создаваемой нами новой армии.

Пеано потребовал срочного созыва Ядра.

— Наша разведка оскандалилась, нашему штабу отказала проницательность. Наше командование показало нерасторопность! — так сурово оценил все наши действия — и свои в первую очередь — наш обычно улыбчивый командующий: даже тень улыбки не озаряла его посуровевшего лица. Был тот редчайший случай, когда Пеано считал недопустимым скрывать свое плохое настроение. — Без немедленных энергичных действий создание в тылу врага боеспособной армии обречено на провал.

— Откроем наступление на фронте? — спросил Гамов.

— Троншке учитывает такую возможность. Он будет отчаянно обороняться на фронте, но не снимет ни одной дивизии из тех, что движутся на повторный захват освобожденных пленных.

— Надо вывозить пленных, — подал голос Пустовойт.

— Самое неудачное решение! — отрезал Пеано — и опять без своей обычной вежливости. — Равносильное отказу от создания в тылу врага боеспособной армии.

— Согласен, Пеано, — сказал я. — Наши освобожденные пленные страшны Троншке в его тылу, а на родине они лишь немного увеличат число мобилизованных в армию.

— Вы говорили, Пеано, о действиях чрезвычайной энергичности? — сказал Гамов.

— Да, энергичных и решительных. Я наметил шесть городов для сосредоточения бывших пленных. В каждый направляются освобожденные из ближних лагерей, продовольствие и снаряжение с захваченных баз, по воздуху к ним перебрасывают оружие и боевые пополнения. “Закольцеваться!” — вот единственная команда, которую я отдаю нашим войскам в тылу врага. Преимущество в воздухе у нас абсолютное. Мы сможем непрерывно усиливать оборону этих центров — до поры, пока они сами не смогут выйти в поле как мобильная армия. Это произойдет в день, когда мы двинем на врага весь западный фронт.

— Разведку сегодня критиковали справедливо, — сказал Гамов. — Но я хотел бы посмотреть на нового командующего вражескими войсками. У вас нет фотографии Троншке, Прищепа?

На фотографии корпусной генерал Март Троншке выглядел точно таким, какими рисуют родеров: худой, голубоглазый, носатый, тонкогубый. Я мог бы поручиться, что у этого человека резкий, металлического звона, чуть-чуть с хрипкой, очень повелительный голос — нечто громкое, без полутонов и обертонов. Он и был таким, это я узнал потом. В общем, голос для командования, а не для дружеских споров, тем более — не для интимных объяснений с женщинами. Люди с такими обличьями и голосами хорошо воюют.

— Этот орешек будет подтверже Вакселя, — сказал я Пеано, когда мы расходились.

Пеано рассеянно посмотрел на меня.

— Да нет, мы хорошо закольцуемся, — отвистил он своим мыслям, а не мне. И поправился: — Буду исходить из того, что в любой ситуации Троншке примет самое разумное решение. Он предельно насторожен.

У выхода меня задержал Прищепа.

— Ты приказал секретарю не соединять тебя ни с кем?

— К тебе это не относится, Павел. Для тебя я всегда открыт.

— Я говорю не о себе. После появления на экране тебе уже не надо таиться от тех, кому нужно с тобой встретиться.

— Буду и дальше таиться, Павел. Военная обстановка не дает отвлекаться на иные дела. За кого ты ходатайствуешь?

— Твоя жена бесконечно счастлива, что не было никакой измены и казни, что ты жив и здоров и снова ведешь государст-

венные дела. Она должна высказать тебе свою радость, но секретари отказывают ей в свидании. Она мучается, Андрей!

Я ответил не сразу. Павла нельзя было резко отстранять от моих личных дел. Когда-то он казался влюбленным в Елену, но она предпочла меня, а не его. Он не показывал, глубока ли рана у него в сердце либо ее вовсе нет. Он был ровен с нами — истинный друг. Не заведя себе подруги, он часто подшучивал, что не создан для семейной жизни. Впрочем, не созданными для семьи были и сам Гамов, и Пеано с Гонсалесом, Павел не составлял в нашем кругу исключения. Исключением был я, меня связывало с Еленой не только то, что она скоро двенадцать лет моя жена, с женами часто расстаются, к женам охлаждаются, — тут была связь крепче супружеской.

— Нет, Павел, — сказал я. — Не могу сейчас встречаться с Еленой. Ты не знаешь, какой у нас был разговор в камере.

— Елена мне рассказала после твоей казни, что произошло в камере смертников. И она уже тогда раскаивалась в своей резкости.

— А ты не объяснил ей, что реально происходит совсем не то, что ей...

— Разве я имел право выдавать такие тайны? Ее горе от твоей гибели, негодование на твою измену были рассчитанными элементами нашей игры. Но можешь быть уверен: если бы мне предложили отдать год жизни...

— То ты отдал бы год жизни, даже пять, чтобы иметь возможность сказать ей правду. Но сейчас она знает правду, ей стало легче. Павел, пойми меня, я не могу, не хочу, не должен сейчас с ней встречаться! Поговори с Еленой. Успокой ее. Можешь говорить все, что захочешь, заранее одобряю каждое твое слово.

Он долго не отрывал от меня хмурого взгляда.

— Ты очень переменился, Андрей.

Я пытался закончить разговор шуткой:

— Переменишься, если повесят... Считай, что я возродился ко второй жизни несколько ушибленным или покоренным... Все же побыл на том свете, без последствий это не обходится.

Он не поддержал шутки.

Я немного поработал в своем кабинете, потом пошел к Пеано.

Он сидел на своем обычном месте под аппаратами связи и экраном. Его вызывали коменданты захваченных во вражеском тылу городов. Я не всегда отчетливо слышал, что они докладывают и чего просят. Но его ответную на все просьбы категори-

ческую команду: “Закольцуйтесь! Немедленно закольцуйтесь! Самым крепким, самым надежным способом — закольцуйтесь!” и сейчас отчетливо слышу, как будто она долго продолжается. А на экране сменялись одчобразные картины. К захваченным городам по всем дорогам двигались освобожденные пленные, уже в новой форме, с оружием в руках и боеприпасами в ящиках на спине. Их обгоняли тяжелые водоходы с электроорудиями и стационарными вибраторами, снарядами и взрывчаткой, мешками с мукой, ящиками с консервами, тушами быков и свиней — со всем тем, что нельзя таскать на плечах и держать в руках. На площадях опускались водолеты, из них выпрыгивали наши солдаты, переброшенные через фронт, выгружались механизмы переносных метеогенераторов. На глазах, буквально на глазах мирные тыловые городки ламаров и родеров превращались в оснащенные крепости.

— Этот долговязый голубоглазый Троншке непременно разобьет свою белокурую голову о ваши заслоны, Пеано, — сказал я.

Пеано вздохнул и осветился радостной улыбкой. Это новое сочетание было забавным — унылый вздох и сияющая улыбка одновременно.

— Надеюсь на это. Но он слишком быстро движется, проклятый Троншке. Он может приблизиться раньше, чем мы закончим оборону.

— Он не только быстро движется, но и далеко отходит от фронта. Надо наказать его за такую оперативность. Этим займусь я.

У себя я вызвал Готлиба Бара. Отступление наших войск на фронте было прекращено, на огромной линии, прорезавшей всю страну с юга на север, установилось спокойствие.

— Готлиб, будешь теперь показывать, чего реально стоишь. В смысле, соответствуешь ли своему высокому посту, — приветствовал я старого друга. В отсутствие Гамова с Готлибом, как и с Павлом, я не соблюдал предписанной чинности.

— Вполне соответствую и стою не меньше, чем заплатил за тебя одураченный Аментола, — весело отпарировал Готлиб. Он узнал об игре с Войтюком только из речи Гамова по стерео и не переставал удивляться, что хитрая операция прошла в тайне от него. Не меньше он удивлялся и тому, что я не был казнен, очень уж правдоподобно выглядела сцена повешения. И сказал мне об этом при первой же встрече на Ядре не только с радостью, но и

с некоторой завистью — министра организации восхитила блестящая организация спектакля казни. Готлиб положил передо мной схемы, чертежи с колонками цифр. — Можешь сам убедиться в моей реальной цене.

Он, конечно, был на своем месте и стоил даже больше того, во что сам оценил себя. На душе у меня становилось легче. Все, что мы предварительно намечали, планируя поворот от отступления к атаке, было выполнено с превышением. Я боялся, что, форсируя производство сгущенной воды для большого метеонаступления и флота, Бар ослабит производство на других военных заводах — возможности его небеспредельны. К тому же пришли к концу запасы, созданные Маруцзяном. И хотя золотая валюта выдавалась, валютные магазины уже не соблазняли роскошью редких товаров. Готлиб Бар справился с затруднениями. Документы показывали, что поток снаряжения не только не ослабел с началом воздушной войны, но даже усилился.

— Через неделю развернем наступление, — сказал я.

Он с нарочитым сокрушением пожал плечами.

— Удивляюсь вам, великие военачальники. Внутри ваших смелых ударов всегда затаенная трусость. Наступление можно начинать уже завтра — людей и боеприпасов хватит. Нет, вы все колеблетесь.

Он был превосходным организатором промышленности, но в стратегии не разбирался.

— Можем ударить и завтра, ты прав. Но глупо, Готлиб. Генерал Троншке разделил армию на две части. Если мы начнем завтра, он успеет воротить ушедшие войска и будет отбиваться сосредоточенной массой — зачем нам это? Пусть он ввяжется в бой с нашей новой армией в своем тылу, а мы тогда грянем на фронте.

Март Троншке в несколько дней достиг первого из наших тыловых “колец” и ударил по нему с такой силой, что сразу овладел всеми наружными укреплениями. Но в городе его натиск ослаб — завяз в уличных схватках, распылится в боях за дома. Вероятно, ни в одной из прежних битв не было такой концентрации людей и оружия на малой площади, как в сражении у этого первого из шести “колец”. И если бы мы не обладали абсолютным превосходством в воздухе, Троншке выбил бы нас из города — и вторичный плен для тех, кто остался в живых, стал бы неизбежен. Но десанты с водолетов снова захватывали укрепления, оставляемые нами, — битва для каждого отряда Трон-

шке шла впереди и позади, справа и слева, боевые уставы кортезов и родеров таких хаотических сражений не предусматривали, воины им не обучались: Пеано мастерски использовал затруднения противника. И это дало возможность подготовить большое наступление.

Теперь всем известно, что разведка кортезов не смогла даже приблизительно оценить реальную мощь наших сил. Уже в первый день фронт противника был прорван в двух местах, а потом весь покатился на запад. Территория, с таким трудом завоеванная Вакселем за год войны, возвращалась за дни. Март Троншке срочно снял осаду “колец” и погнал войска назад, на поддержку рушащемуся фронту. И тут ему пришлось до дна выпить горькую чашу, приготовленную для него Альбертом Пеано: все шесть “колец” одновременно раскрылись, из каждого выступили заново оснащенные дивизии бывших пленных, усиленные по воздуху пополнениями. Дивизии на марше соединялись в корпуса — новая армия, стремящаяся к отмщению за пережитые унижения и страдания, яростно бросилась на повернувшие на восток вражеские войска. О том, чтобы выдержать битву с повернутым фронтом, не могло быть и речи. Лучше всех это понимал сам Троншке. Прищепка перехватил его отчаянную радиограмму Аментоле. Президент Кортезии вновь возник из небытия — подхалимы уже славили Аментолу за очень предусмотрительное, очень удачное бегство от хищных вражеских рук, — так вот, Аментола, к чести его скажу, понимал, что поражение Троншке равнозначно катастрофе. Он потребовал от Клур и Корины, еще не участвовавших в сражениях, срочного выступления. Оба союзных государства отреагировали — Корина собрала небольшую армию и перебросила ее на материк, Клур вторгся несколькими дивизиями в Родер и преследовал наши войска, оставившие свои “кольца”. Я смотрел на карту и пожимал плечами, так невероятна была картина. Дивизии Клур наступали на восток, навязывая битву нашим отступающим “кольцевикам”, дивизии Троншке, отбиваясь от наших главных сил, отступали на запад, навстречу своим же дивизиям, сражавшимся с “кольцевиками”.

Финал мог быть только один, и он закономерно совершался. Разрозненные дивизии Троншке соединялись, но теперь сами были в жестком кольце. Клуров, уставших от маршброска через весь Родер и добрую половину Ламарии, легко отбросили назад. Пеано послал Троншке ультиматум. Заранее оговариваюсь, что к тексту ультиматума я руки не приложил, его сочинил сам Гамов.

Вот точный текст:

“Генералу Марту Троншке, командующему соединенными армиями Кортезии, Родера, Ламарии и Патины.

Ваше положение безнадежно. Вы окружены и отрезаны от баз снабжения. Три четверти боеприпасов вами израсходовано, число раненых и больных почти равно числу еще боеспособных. Ни один водолет не может прорваться к вам, наше господство в воздухе абсолютно. Дальнейшее сопротивление самоистребительно.

Наши предложения:

1. Вы отдаете приказ своим армиям сложить оружие и сдаться в плен. Срок — 24 часа с момента объявления настоящего ультиматума.

В случае капитуляции все пленные солдаты и офицеры поселяются в специальных лагерях, где им обеспечат благоприятный быт, не идущий ни в какое сравнение с трагическими условиями жизни военнопленных в ваших лагерях.

2. В случае продолжения войны все военнопленные, захваченные в ходе последующих битв, будут содержаться в лагерях карательного режима, ухудшенного даже по сравнению с вашими лагерями для военнопленных.

3. Если какие-то соединения ваших армий, отчетливо сознавая свое безнадежное положение, будут исступленно сражаться ради накопления трупов и лживых традиций “воинской доблести”, офицеры и солдаты, виновные в таком преступлении, по захвате их будут предаваться суду Священного Террора для выполнения унижительно-позорной их казни, без права апелляции к суду Милосердия.

Командующий армией Латании
Альберт Пеано”

Разведчикам Прищепы удалось раздобыть стереозапись кортезов, изображавшую, как в штабе Троншке отнеслись к ультиматуму Пеано. Я впервые — и в последний раз — увидел живого Троншке, нервно шагающего по комнате, нервно разговаривающего со своими генералами — голос то повышался до крика, то спадал до шепота:

— Картина ясна, — говорил Троншке. Генералов собралось в небольшой комнате до двух десятков. — Проклятый Пеано точно описывает ситуацию. Возможно, какая-то наша часть прорвется на запад, но с чудовищными потерями. Всей

армии не прорваться. Маршал Ваксель совершил непоправимый просчет, преуменьшив реальные силы противника, и позором плена заплатил за свою ошибку. Наша разведка катастрофически проглядела создание вражеского огромного водолетного флота. Нас не только обманули. Нас пересилили. За это надо платить. Хорошие военные платят за ошибки собственными головами. Мы доказали, что плохие военные, поэтому не требую в уплату ваших голов. Даю вам свободу командовать собой. Противник предоставил нам выбор: бесчестье и премия за него; воинская доблесть и отвратительная казнь за верность воинским традициям. Есть еще третий выход, я воспользуюсь им. Я написал завещание. Прощайте! Выхожу из борьбы, которую дальше не вправе вести!

Вот такую речь произнес Март Троншке перед своими генералами. А затем удалился в другую комнату и прошил свое сердце молнией из ручного импульсатора. Пеано распорядился похоронить Троншке с музыкой, играли сдавшиеся в плен родеры, в традициях этого народа все события жизни сопровождать хорошей музыкой.

А после смерти командующего началась капитуляция его армии. Я сказал “началась”, а не “совершилась”, потому что она стала процессом, а не одновременным актом. Никто из вражеских генералов не последовал — с помощью карманного импульсатора — за Троншке. Зато несколько командиров продолжали бессмысленное сопротивление. Понадобилось две недели жестоких боев, чтобы и этих строптивых генералов привести в смирение.

Клуры, оставшись в одиночестве в Родере и Ламарии — дальше они не продвинулись, — с неделю топтались на месте. А потом повернули назад.

Не прошло и месяца после водолетного рейда на Фермор, как наши войска остановились на границе Клур и Родера. Вторгаться в Клур Гамов не захотел. Кроме Клур на западе и Корины с Нордагом на севере, все соседние державы были завоеваны — Патина, Ламария и Родер. Надо было позаботиться хотя бы о временном успокоении этой территории.

Приближалась зима. Война на полях замерла до весны, так мы планировали. Действительность, как всегда, оказалась сложнее нашего представления о ней.

Осень выдалась отменная. Война отдыхала после диких вспышек огня и ливней. Это открыло возможность отдохнуть и природе. Океан, безмерно обираемый кортезами и нами, замер, ни одна искусственная буря не вздыбливала его. Даже естественных больше не было. Боевые циклоны, свирепо раздиравшие атмосферу, прекратили не только мы, но и кортезы — каждая враждующая сторона накапливала энерговоду для грядущих схваток. И оказалось — ни один ученый метеоролог не предвидел этого, — что природа, освобожденная от искусственных ураганов, так устала от них, что уже неспособна была породить свои собственные. По обе стороны океана установилась давно не виданная — Фагуста написал даже в своем злом листке “неслыханная” — тишина. На сбор урожая это уже повлиять не могло, урожай у нас и воюющих соседей практически погиб, зато население этих стран, не только мы в Латании, снова могло без опасения выходить из домов, снова могло любоваться безоблачным небом.

А в Латанию возвращались военнопленные. Они ехали в поездах, шли строем по городам, растекались мелкими группами по районам. Население высыпало на улицы — кричали, обнимались, целовались... Еще в лагерях, где томились военнопленные, расписали, куда каждому возвращаться. И каждый эшелон имел свой особый маршрут, пленные получили свою особую форму, свидетельство перенесенных страданий. И в кармане у каждого лежало сто золотых лат и разрешение на отпуск от военной службы — праздник свободы в тридцать радостных дней.

Но одновременно с эшелонами освобожденных по тем же дорогам, в таких же вагонах, в таком же пешем строю двигались и пленные — кортезы и родеры, ламары и патины. Этих не встречали криками радости, всюду, где они появлялись, устанавливалось ненавидящее безмолвие. На них только смотрели — и если бы гневными взглядами убивали, половина не добрела бы до конечной цели своего пути — заблаговременно выстроенных лагерей в далеком тылу. До самого прихода в те лагеря эшелоны находились в бесконтрольном распоряжении Бара, а на месте их принимала новая охрана — министерства Милосердия. Я долго не понимал, почему Гамов так распорядился, ведь охрана врагов, даже захваченных в плен, отнюдь не милосердная операция. Но смысл в таком повелении Гамова имелся, позже я это понял — и не я один.

В мой кабинет вошел Павел Прищепа.

— Есть важные новости, Павел? — любопытствовал я.

Он ответил с холодностью, еще не случавшейся между нами.

— Когда исполнишь свое обещание? Ты знаешь, о чем я говорю.

— Знаю! Я обещал встретиться с Еленой, когда на фронте полегчает.

— Она в твоей приемной. Что ты ей скажешь?

— Ты очень переменилась, Елена, — сказал я.

— Ты очень переменился, Андрей, — сказала она.

Я засмеялся, так было удивительно, что мы одинаково увидели изменения друг в друге и сказали о них одинаковыми словами. Она сделала порывистое движение, я испугался, что она бро— Что я могу сказать? Пусть входит.

Павел ушел, и появилась Елена. Я пошел навстречу. Вид ее поразил меня. Вероятно, и мой вид показался ей неожиданным. Мы одновременно сказали одно и то же: ситя мне на шею, и поспешно показал на кресло. Она села. Я сел напротив.

— Я думала, наша встреча будет иной, — сказала она с болью.

Я знал, что она начнет не с поздравлений, что я не казнен, а жив и здоров, а с жалобы на холодность, и подготовил ответ.

— Встреча соответствует расставанию, — я даже улыбнулся.

Она всматривалась в меня большими глазами. Она как бы не верила, что это я.

— Так и будем молчать, Елена? — сказал я мягко.

Она встрепенулась и притушила распахнутые глаза.

— Андрей, ты уже много дней на свободе... то есть на прежней работе, а мне хоть бы слово, хоть бы намек! Павел сказал, что ты запретил говорить мне, что воротился в Адан. Даже что ты жив, что сцена твоей казни была выдумкой — даже это запретил сказать!

— Никто до поры не должен был знать, что казни не было.

— Никто — да! Но я, я!

— И ты, Елена! Я не мог сделать для тебя исключения.

— Для Павла сделал! Для Бара, для Штупы, для какого-то Иси́ро! Только не для меня.

— Они — мои сотрудники. Я не мог оставаться для них бес-телесной тенью.

— Для меня, значит, мог оставаться тенью? Больше, чем тенью! Страшным воспоминанием об изменнике, казненном за

преступления! Почему такая безжалостность? Со своей женой ты обошелся суровей, чем с сослуживцами!

— Бывшей женой, Елена, — сказал я.

У нее перехватило дух. Она страшно побледнела. “Держи себя в руках!” — мысленно приказал я себе.

— Ты сказал: “бывшей женой”, Андрей?

— Я сказал — бывшей женой, Елена.

Она прижала руки к лицу, на висках пульсировали жилки.

— Прости, я не поняла. Разве мы уже не супруги?

— Мы были ими до моей казни...

— Но ведь не было казни! Ты ведь не умер, Андрей!

— В каком-то смысле все-таки умер.

— В каком-то смысле? В каком же? Больше не любишь меня? Почему ты опускаешь лицо? Ты не любишь меня? Говори всю правду!

Я не мог сказать ей всю правду. Я любил ее — так же крепко, как любил прежде, еще крепче. В далеком изгнании, в домике по соседству с двумя физиками, я часто вспоминал об Елене, но охладевшей памятью. Она ушла не от меня, но из меня, она была в постороннем мире, тот мир больше не соприкасался со мной. И, воротившись, я не пожелал ее видеть. Меня волновала удача военных действий, а не встреча с ней. Я морщился и поживался, воображая, как она будет оправдываться в недоверии ко мне, как будет радоваться, что никакой казни не было, как будет ласкаться, какие строить надежды на будущую жизнь...

Но вот она не оправдывается в нанесенных мне оскорблениях, не уверяет в неизменности своей любви, только допытывается, люблю ли я ее. Какой удачный случай для последней фразы задуманного расставания. “Да, не люблю!”, либо: “Нет, не люблю!” — и все завершено. Но именно эти два слова: “не люблю” — были единственными, какие я не мог произнести.

— Ты спрашиваешь о любви, — сказал я горько. — А кто бросил мне в лицо: “Ненавижу тебя! Боже, как я ненавижу тебя!..” Любить ненавидящего тебя! Не слишком ли многого ты требуешь от меня?

— Нет! — крикнула она. — Это ложь! Я не говорила, что ненавижу...

— Не говорила? Придется обратиться к Павлу. Наверно, он поставил в моей камере регистрирующие аппараты. Может, услышав свой голос, ты перестанешь отрицать, что этот голос говорил.

— И тогда буду отрицать! Тысячу раз услышу свой голос, тысячу раз услышу слова о ненависти к тебе, все равно буду отрицать, что говорила их. Не было этих слов, Андрей!

— Не было, хотя были? Повторяю: ты слишком многого требуешь от меня! Я все-таки еще в добром сознании. И в роду моем, ты это знаешь, не водились сумасшедшие.

— И в моем роду тоже их не водилось. И я, как и ты, в ясном сознании. Именно потому, что ты в ясном сознании и способен понять правду, как бы неправдоподобно она ни выглядела, я и говорю тебе: не было этих слов о ненависти к тебе!

— Елена! Я потребую у Павла пленку!..

— Пленка меня не опровергнет. Слушай меня, а не пленку.

Я сделал усилие, чтобы не дать вырваться негодованию. Гамов временами впадал в ярость. Нечто похожее могло произойти и со мной.

— В школах Корины есть забавный обычай, Елена. Учитель за проступок ученика может его высечь в классе, но потом должен получить у попечителя школ официальное подтверждение порки. И вот однажды учитель с огорчением сказал ученику: “Питер, я на прошлой неделе вздул тебя за нехорошие слова. Наказание не утверждено, так что можешь считать себя несеченным. Но поскольку твой проступок остается, то в следующий раз, когда нужно будет тебя пороть за другую вину, я добавлю к новым розгам и эти, неутвержденные, и высеку вдвойне!”

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.

— Только то, что сказал. Ты безжалостно выпорола меня словами, а теперь просишь считать порку как бы не бывшей.

Она опять прижала пальцы к вискам.

— Не так, Андрей, совсем не так! Я не отрекаюсь от тех слов о ненависти. И если бы создалась та страшная ситуация, что была в тюрьме, я снова и снова повторила бы их без колебаний. Те слова были, всё так. Но тебе я их не говорила. Они были адресованы другому человеку.

— В тюрьме был один я!..

— Нет! Тебя не было! Был изменивший родине государственный деятель, был предатель, променявший честь на деньги, благородство на мечту об единоличной власти, был актер, мастерски разыгравший комедию, гениальный фигляр в отвратительной маске. К ним, предателю и актеру, я обращала слова ненависти, не к тебе!

— На мне была маска, но под маской оставался я.

— Я видела лишь маску, а не тебя. Я забыла о тебе, такой была маска! Актер гениально разыграл свою роль, я ненавидела того, кого он играл. Зритель негодует, когда видит злодея на сцене, но, встретив актера на улице, он с уважением, с благодарностью за игру кланяется, а не кидается на него. Почему ты требуешь от меня другого отношения, чем актер от зрителя? Ты разыгрывал роль преступника — и великой твоей неудачей, человеческой и государственной, было бы, если бы я не поверила. Ты не простил бы самому себе, если бы не убедил меня, что ты негодяй. Зачем же теперь укоряешь меня за то, что ты сам самозабвенно внушал мне? Я поверила твоей игре, поддалась твоему внушению! Себя вини, себя, не меня!

У нее снова перехватило дух, она замолкла. У меня не было защиты ни от ее слов, ни от молящих глаз, ни от страстного голоса, вторгающегося в глубь души. Я не мог опровергнуть ни одного ее слова. Я только сказал:

— Логика, Елена! Все так стройно в словах... А чувства? А та любовь, которая связывала нас двоих в одно целое?

— Любовь, ты сказал? Ты сомневаешься в моей любви? А что ты знаешь о моих чувствах после казни? О том, как я рыдала дома, как целовала подушку, на которой лежала твоя голова, как в ярости била ее кулаками, потому что это была голова предателя? О том, как я ненавидела себя за то, что любила тебя, как в неистовстве мечтала отомстить тебе, уже не существующему, за то, что ты был мне так бесконечно дорог и так осквернил мое поклонение перед тобой, самой себе отомстить, памяти нашей любви отомстить, так горько было вспоминать, что она была, наша любовь! Я думала о самоубийстве, вот так я приняла твои признания в тюрьме, твою публичную казнь. Мерой моих страданий измерь мою любовь к тебе — это единственная мера, Андрей! Все остальное — ложь!

Она опустилась на колени, обхватила руками мои ноги, прижалась лицом к моим коленям. Я хотел оттолкнуть ее, но она не разжала рук.

— А когда я увидела тебя на экране, Андрей, что было со мной, ты знаешь? Я думала, что умру от радости, что ты жив, что все эти предательства и казни лишь страшный кошмар. Я повалилась на пол и рыдала. Я целовала ковер, как будто то был не ковер, а ты сам, твое лицо, твои руки. Боже мой, боже мой, как я была счастлива, как бесконечно счастлива! Как бесконечно

благодарна тебе за то, что ты не совершал преступлений, что ты чист и честен, как был раньше, как был всегда, как будешь всегда, ибо иным ты и не можешь быть. А все иное о тебе — лишь ужасный сон, наваждение злых демонов политики!

— И тогда ты раскаялась, что говорила мне при расставании те страшные слова о ненависти, ведь так? — Я еще думал, что вымученной иронией смогу отстраниться от ее признаний.

— Нет! — закричала она, вскакивая. — Не было этого! Не раскаивалась и никогда не раскаюсь! Той маске, которую я хлестала ненавистью, я говорила искренно. И рыдала от счастья я не потому, что раскаялась, а потому, что ты отделился от своей ужасной маски, что ты жив, истинный, прежний, неизменный, что я снова могу любить тебя, гордиться тобой. Гордиться собой, что выпало мне такое счастье — любить тебя, поклоняться тебе!

Она все же не справилась с нервами. Она стояла передо мной и плакала, закрыв лицо руками. Меня терзало отчаяние. Я сам был готов зарыдать, кричать и ругаться, а еще лучше схватиться бы с кем-нибудь в дикой драке — кулаками и зубами. Еще никогда я так не любил Елену, как любил ее сейчас. И еще никогда между нами не было такого барьера, такой стены непонимания и ошибок. Я готов был биться головой в эту непроницаемую стену отчуждения, но голова не могла пробить ее, требовались слова, только я не находил таких слов. Я был иной, чем всегда думал о себе. Я чувствовал, что если она не перестанет плакать, я сам упаду перед ней на колени и буду губами пить ее слезы, и просить прощения, и обещать все, что она пожелает. И с ужасом понимал, что делать этого нельзя, так бы мог сделать я прежний — тот человек, каким я ныне стал и какого еще не понимал в себе, ни ей, ни себе потом не простит такой слабости.

— Садись, Елена! — приказал я. — Не нужно противостояний. Поговорим спокойно.

— Поговорим спокойно, — покорно повторила она и села. В ней совершилась перемена. Она слишком много сил отдала борьбе с тем невидимым барьером, что останавливал меня. Она тоже чувствовала его и тоже не имела сил преодолеть. А я не знал, о чем говорить. Все, что я мог сказать, было мало в сравнении с тем единственно важным, о чем говорила она.

Я ухватился за подвернувшуюся мысль.

— Ты хотела мне отомстить, да? Памяти моей отомстить, ибо я уже не существовал, ты думала так...

— Ах, это! — сказала она устало. — Да, хотела. Памяти о нашей любви отомстить, вот такое было желание.

— Как же ты намеревалась мстить?

— Ну, как? У женщины есть только один путь. Изменить тебе, предать тебя, как ты изменил и предал...

— Стать подругой Гамова? — спросил я прямо.

Я знал, что она лгать не умеет. Все же какую-то минуту она колебалась, прежде чем ответить так же прямо, как спрашивал я.

— Думала и об этом. Возможно, и стала бы его подругой, если бы он проявил склонность. Но он дал понять, что я ему не нужна. Он не отделял меня от всех остальных женщин — и ко всем был одинаково равнодушен.

— Он старался ввести тебя в правительство, приблизить к себе...

— Как пешку в политической игре. Я это поняла еще до того, как тебя казнили. Ты ревновал, я видела это. Я не разубеждала тебя, мне была приятна твоя ревность.

— Ты могла отомстить с другими мужчинами.

— Андрей! — в ее голосе снова зазвенели слезы. — У тебя есть право бичевать меня за те слова при прощании, хотя виноват в них ты сам, твой обман, твоя игра, такая игра, что и теперь — вспомню — сердце останавливается. Но зачем меня унижать? Все же ты — это ты... Даже вымышленное тобой предательство... Оно было твоего масштаба... Да, с Гамовым я могла бы тебе изменить в те дни исступления. Он не захотел... Но других мужчин я бы сама не захотела — даже ради самой яростной мести. У меня нет дороги от тебя, Андрей. Одной навсегда остаться — да, могу. Сама уйти — нет, никогда!

Мы помолчали. Я старался не смотреть на нее. Я знал, что глаза ее полны слез и она сдерживается, чтобы они не хлынули. Видеть это было свыше моих сил. Я сказал:

— Поговорили, Елена... Чего ты хочешь?

— Хочу, чтобы ты вернулся ко мне, чтобы простил мне оскорбления, брошенные актеру в твоём облике... Вот чего я хочу! — И добавила с горечью: — А ты этого не хочешь.

— Неправда! — Дрожь сводила мне руки. — Я хочу того же, что и ты. Ты сказала: вернуться, стереть недоразумения и ошибки... Давай изменим последовательность. Подари мне время, чтобы стерлись во мне и твои, и мои ошибки. И тогда я вернусь. В наш общий дом вернусь. Повторю твои же слова: у меня нет пути от тебя, Елена!

Она порывисто схватила руками мои плечи, поцеловала меня в щеку и молча вышла.

Я не поднялся из кресла, только смотрел ей вслед. Я был так истерзан, словно меня били палками. Вдруг засветился экран. На экране возник Павел — он хмуро всматривался в меня. Я ничего ему не сказал, он ничего не спросил. Экран погас.

9

Гамов созвал Ядро. Проблем накопилось много, одна требовала немедленного решения. Флория волновалась. Недавно в ней с восторгом встретили армию Ваксея, а наших отступавших солдат кое-где исподтишка импульсировали. Пеано требовал от тыловых властей свободных дорог для войск, в мятежной Флории, крае болотистом и лесистом, обеспечить надежность было непросто.

— Прищеп, докладывайте обстановку у флоров, — предложил я.

Доклад не утешал. Флоры никогда не дружили с латанами, еще меньше приязни они испытывают к патицам. Этот замкнутый народец ревниво дорожит своей особостью, с презрением отвергает все чужое. Хмурые флоры незаурядны — талантливые поэты, художники, архитекторы, в последние годы появились неплохие ученые и инженеры, в воинской храбрости тоже не из последних. Но все достоинства флоров стираются перед их нетерпимостью к другим нациям, несовместимостью с теми, кто волей истории внедрился в поры их общества. Раньше это были патины — и распри доходили до войны. Сейчас это латаны — и вражда перенесена на них. Маруцзян пытался ослабить недовольство флоров большими подачками из государственного бюджета. Доход флоров мизерен, земля скудна, и ее не хватает, нет своего угля, нефти, газов, металлических руд, хлопка и прочего. Только трудолюбие флоров поддерживает их существование, но до бюджетных подачек Маруцзяна скудость была типична — деревянные лачуги, свечи, примитивные орудия труда, примитивные больницы, кустарные мастерские. Сейчас Флория, пожалуй, самый благоустроенный регион страны, но доброты к латанам государственная щедрость не добавила, даже наоборот. Раньше они просто недолюбливали латанов, сейчас исполнены к ним пренебрежения — вот, мол, как мы живем, а как вы живете? Ибо мы не чета вам! Не благодарность, а высокомерие —

такие черты порождены у флоров щедротами Маруцзяна. Возможны нападения на дороги, диверсии в городах. Во Флорию нужно ввести охранные войска, чтобы сохранить спокойствие.

— Флоры — самая малочисленная народность в государстве, — сказал Аркадий Гонсалес. — Почему бы нам не переселить их всех куда-нибудь вглубь, а сюда передвинуть верное население? А после войны разрешить возвращение на родные глины и пески.

— Побойтесь Бога, Гонсалес, если не истории, которая вам не простит такого самоуправства. Вы не боитесь? — воскликнул Пустовойт. — Выселять целый народ! И без серьезных причин!

— А что к нам недоброжелательны, это не причина?

— У меня к вам тоже нет доброжелательства, Гонсалес. Достаточно, чтобы вы меня арестовали и выслали?

— Вы восстания не поднимаете, министр Милосердия. А они могут разжечь восстание.

— Могут сделать — не значит — “сделают”. Ежели бы да кабы, да во рту бы росли грибы... Охранные войска защитят дороги, это их работа. А если прохожие бросают на наших солдат недружественные взгляды — переживем. Возражаю против переселения флоров.

Слово взял я.

— Недобрые взгляды не страшны, вы правы, Пустовойт. Но в них историческая несправедливость. И она беспокоит меня не меньше, чем спокойствие на коммуникациях. Ведь мы ведем эту войну во имя восстановления справедливости во всем человечестве. Мы объявили себя гонителями неправды, карателями зла, всемирными рыцарями справедливости. Я верно толкую вашу политическую программу, диктатор?

— Хорошая формула —рыцарь справедливости. — Гамов с интересом ждал продолжения.

А я говорил о том, что не только отдельные люди эксплуатируют чужой труд и талант, приписывают себе чужие успехи и находки, но и целые народы не чужды такого захватничества. И если между людьми единственная мера справедливости — оценивать каждого по его заслугам, то и для государств нужно внедрить этот принцип: каждый стоит того, чего он реально стоит. Сами флоры должны установить для себя, что они заслуживают реально, а что приписывают себе из бахвальства и высокомерия.

Готлиб Бар не удержался от насмешки:

— Ценник подвигов на войне уже ввели, ценник преступлений используем в судах, теперь введем ценник стоимости народов и государств. Я правильно понял, Семипалов?

— Совершенно правильно, — опроверг я его иронию. — Я предлагаю предоставить Флории быть полностью самой собой.

Джон Вудворт высоко поднял брови.

— Предоставить Флории государственную независимость?

— Именно это — вывести Флорию из состава нашего государства.

— Навеки потерять Флорию?

— Не навеки, а на то время, какое понадобится флорам, чтобы понять, что их высокомерие держится на даровой помощи всего государства. На время, за какое они сумеют разобраться в своей реальной величине. А для этого Флории предоставляется независимость и нейтралитет в схватке мировых держав. Зато все, что флоры захотят приобрести вне своих границ, они должны оплачивать своими товарами. Так как их окружаем мы и Патина, в которой наши войска, то практически только мы сможем продать им все, в чем они нуждаются, — уголь, нефть, металлы, шерсть, хлопок, лес, энерговоду для электростанций, даже хлеб, ибо его у них не хватает. Цены на их и наши товары установим на уровне среднемировых. И если Флория не впадет быстро в прежнюю бедность, если все в ней не поймут, что высокомерие их создается не собственным их преимуществом перед нами, а нашим доброхотством, то, значит, я ничего не понимаю в политике. Они запросятся обратно в нашу государственную семью, уверен в этом.

— Во Флории проживает много латанов, — сказал Пустовойт. — Флоры захотят выместить на них падение своего благосостояния.

— Согласен — захотят выместить... Что ж, предложим латанам срочно покинуть Флорию. И наоборот, всех флоров из других регионов страны вернем на родину. И выдадим компенсацию за оставленное имущество: при переселении продемонстрируем щедрость и благородство. Тем унижительней будет отрезвление для этого небольшого, но зазнавшегося народа. — Я повернулся к Гамову. — Диктатор, я заговорил вашими словами — высокомерие наказывается унижением, а не арестами, тем более не казнями, а казней не избежать, если мы останемся во Флории и произойдут диверсии на магистралях. Флория невелика, военные маршруты проложим в обход ее.

— Хороший план, Семипалов! — сказал Гамов. — Ваше мнение, Вудворт?

— Я подчиняюсь, — сухо ответил министр внешних сношений. Все согласились, что изоляцию Флории надо ввести без промедления, а для того выпустить манифест, честно объясняющий, почему возникла необходимость в таких переменах.

— В освобожденной Патине чертовски сложное положение, — так начал свое новое сообщение Павел Прищепа. — Страна расколота на враждующие группы. Вилькомир Торба, лидер максималистов, в бегах, еще не разыскан. Усилилась партия оптиматов, из друзей нашего Константина Фагусты. Взаимная борьба, уличные схватки, речи, речи, речи... Одновременно пустые магазины и остановившиеся заводы. В нынешней Патине есть один хозяин — слово. Гневное, воинственное, безумное, рычащее, свистящее — на улицах, в комнатах, в бывших концертных залах, на все вкусы и все чувства. Но точного смысла не установить. У самых опытных разведчиков заходит ум за разум. Слова заменяют мысли, а не выражают их.

— Но ведь есть же у враждующих максималистов и оптиматов программа. У нас Фагуста очень отличался от Маруцзяна.

— Программа персонифицируется в лицах, а не в идеях. Одни орут: “Да здравствует Торба!”, а другие: “Слава Понсию Маркварду!”, третьи: “Люда Милошевская — наша мать!” Мои люди часто спрашивают, а к чему призывают, скажем, Понсий Марквард или Вилькомир Торба? Их сторонники отвечают: “Чтобы было хорошо, вот к чему зовут!”, а противники столь же однозначно режут: “К черту их, дерьмо — вот их программа!”

— Вилькомира мы знаем, он нам крови попортил. А кто такие Марквард и Милошевская? Ориентироваться на этих двух, как на врагов нашего врага?

— Марквард и Милошевская нам еще больше крови попортят. Надо ориентироваться на себя, а всех остальных терпеть, а не поддерживать.

— Плохая программа, полковник Прищепа! Хоть Патина и завоеванная страна, но война еще продолжается. Без искренней поддержки будет трудно.

Павел только пожал плечами.

— Милошевскую называют матерью. Она старуха? — спросил Гамов.

— Молодая женщина, и красоты иконной! Пианистка — и выдающаяся. Но характера — на дюжину злых старух. Когда

она выступает на митинге, вражеские ораторы потихоньку сбегают: вдруг покажет на кого пальцем — ведь накинута!

— Будем разбираться на месте, — сказал Гамов. — Мне, Семипалову, Прищепе, Исиро надо появиться в Лайне, столице Патины. Хорошо бы прихватить с собой и Константина Фагусту. Его связи с оптиматами Патины будут полезны.

— Едем завтра, — сказал я.

В Лайну мы прибыли в полдень. Все утро ехали по местам, где некогда попали в окружение и откуда с такими муками вырывались. Но я почти не узнавал этих мест. Уже после нас по этим холмам и равнинам прополз миллионолапый, тысячеголовый дракон большой войны — и все перемешал, перекорежил, повалил и вздыбил. Только Барту я узнал, тот крутой бережок, где смонтировал свои тяжелые электроорудия — остатки брустверов промелькнули в окне вагона. Но воспоминание, даже воскрешенное в своей яркости, показалось мне сценой из иного мира и иной жизни. “Быстро старишься!” — вслух сказал я себе.

В гостинице мой номер был рядом с номером Гамова. Я зашел к нему. У Гамова сидел Прищепка.

— Вечером заседание с оптиматами, — сказал Прищепка. — Исиро готовит экран на главной площади, чтобы транслировать переговоры на толпу. На площади уже собираются.

— Митингуют? — Гамов насмешливо улыбнулся.

— Ждут нашего слова. Народ шептливой, но, в общем, умный. Понимают, что реальное дело делаем мы.

По дороге в зал заседаний меня перехватил Фагуста. Он кривил лицо и страшно потрясал чудовищной шевелюрой.

— Поздравляю, Семипалов! — выпалил он. — Исиро передал мне возмутительный манифест относительно Флории. Подписан Гамовым и Вудвортом, но, сказал Исиро, это увесистое полено вашей рубки.

Я холодно отпарировал:

— Полено? Моей рубки? Может, объяснитесь по-человечески?

— Не смешите, Семипалов! Разве можно по-человечески объяснить нечеловеческие поступки? Раньше вы наказывали отдельных людей, теперь караете целые народы. Разрешите полюбопытствовать, заместитель диктатора: когда вы приметесь за все человечество? Стоит ли тратить карательное вдохновение на крохотных людишек и маленькие народы, когда можно сразу жахнуть по всем головам в мире? Подумайте об этом!

— Благодарю за добрый совет, Фагуста. Но замечу, что вы потеряли так свойственную вам раньше проницательность. Мы уже давно идем походом на человечество. В смысле — воюем против многих отвратительных черт, свойственных всем людям, вам в особенности. Пожелайте нам успеха и в этой благородной войне.

— Я не такой дурак, чтобы торопить собственные похороны. Вы очень изменились после возникновения из недолгого небытия, Семипалов.

— Даже кратковременная казнь делает человека иным. Вы не проверяли это, Фагуста?

— К счастью, меня еще не казнили! — буркнул он и отстал.

В зале заседания уже находились Прищепа и Пимен Георгиу, он тоже приехал в Патину. В зале стояли два стола, длинный и покорооче. У короткого стола — его предназначали для Гамова — солдаты, среди них охранник Гамова Семен Сербин и бывший мой охранник Григорий Варелла. Варелла широко улыбнулся мне большим — на пол-лица — ртом, Сербин отвернулся — этот человек меня почему-то ненавидел, впрочем, и я его не выносил. На столе Гамова были смонтированы два экранчика, пульт с какими-то кнопками, другой пульт с лампочками. Я уселся рядом с Павлом за длинный стол. С другой стороны Павла разместился Пимен Георгиу — сжал старческое, преждевременно износившееся личико в умильный комочек и не отрывал мутновато-бесцветных глазок от разложенного на столе широкого блокнота. В зал вошел Фагуста, направился к нам, но увидел, что придется сидеть рядом с Георгиу, обошел его и уселся рядом со мной. Пимена Георгиу он не терпел еще больше, чем меня.

Появились оптиматы — Понсий Марквард и Людмила Милошевская, а с ними Омар Исиро. Наш министр информации в этот день взвалил на себя еще и функции распорядителя торжества: указал оптиматам их места, даже отодвинул каждому стул — наверно, чтобы кто из своих не уселся на чужое место. Понсий, высокий, тощий, прямой — палку проглотил, — с массивным носом, мощным ртом и крохотными глазками без цвета и света, пропадавшими где-то в колодце глазниц, уселся напротив Павла. Я шепнул Павлу:

— Не рот, а пропасть. Из такой ямины могут исторгаться только громовые звуки.

— Ты недалек от истины, — прошептал Павел и засмеялся.

Напротив меня села Милошевская. О ней я должен поговорить особо. Собственно, достаточно сказать о ней главное, и все остальное окажется следствием. Главным в Людмиле Милошевской было то, что она необыкновенно красива. В этой оценке важно, что она красива и что красота эта необыкновенна. Если я скажу, что еще никогда в своей жизни — ни в личных знакомствах, ни на экранах стерео — еще не встречал столь красивых женщин, то это будет правдой, но не всей, только половинкой ее. А полную правду составит то, что красота Милошевской была демонической. Еще не разглядев ее лица, только уловив, как она двигается, я уловил необычайность. Она была высока, стройна, линии ее фигуры, вероятно, восхитили бы художника, пишущего красавиц. Такие женщины не просто ходят, а шествуют, величаво передвигают тело, выпрямив торс, отбросив изысканно голову над линией округлых плеч — каждого как бы приглашают полюбоваться собой: я хороша, не правда ли? А она вошла быстро, по-мужски протопала к столу и бесцеремонно отстранила шагавшего впереди Понсия Маркварда, тот даже качнулся, но не обернулся, видимо, привык к поведению своего коллеги по руководству оптиматами. Женщины, я уверен в этом, всегда знают, как выглядят, эта не думала о своем облике. Наверно, ей никогда не приходила в голову такая вздорная мысль — нравиться. И от этого одного она не могла не нравиться.

Я взглянул на ее лицо и почувствовал, что мне хочется любоваться им. Все было противоречиво в прекрасном лице — глубокие темные глаза не вязались с лохматой щетиной рыжих ресниц, слишком длинных, чтобы их счесть парикмахерской поделкой; на висках локоны путались с золотистой шерсткой — еще бы немного им быть подлинней, и можно сказать: “Женщина с бакенбардами”; такая же золотая поросль покрывала верхнюю губу, отчеркивая яркую малиновость — и тоже природную, а не парфюмерную — самих губ. Все стандарты женской красоты отвергало это лицо, таково было второе значение облика Людмилы Милошевской. Сказать только об отдельных чертах этого лица — значило признать, что оно чуть ли не уродливо. А всмотревшись, каждый видел лицо не просто красивое — прекрасное!

— Вам она нравится? — вдруг тихо спросил Фагуста.

— Не знаю, — честно признался я. — Пока скажу одно — поражен.

— Вот, вот — поражает, — хмуро проговорил Фагуста. — Внешность по характеру. Сколько я с ней натерпелся, когда приехала в Адан поднимать меня на восстание против Маруцзяна.

— Вы все же не подняли восстания, несмотря на ее чары.

— Подняли вы — и независимо от ее чар. Я не сторонник восстаний. Даже против вас не разжигаю бунта, хотя временами — ох, надо! Я ведь оптимат, то есть ищу оптимальных, а не радикальных решений.

— Очень жаль.

— Чего жаль? Что не поднимаю бунта против вашей диктатуры?

— Именно это. Запалили бы вы бунт, засадили бы мы вас в тюрьму — и точка с вами! Пока же приходится читать ваши ядовитые статьи. От любой схватывает желудок.

Фагуста сказал очень серьезно:

— Когда прохватит несварение мозгов, буду считать свою задачу выполненной.

Понсий Марквард, усевшись, запрокинул голову и уперся глазами в лепной карниз над нашими головами, как бы показывая, что не собирается удостаивать нас вниманием. Мы четверо — я, Прищепа, Фагуста и Георгиу — его не интересовали. Он ждал Гамова. Мы лишь пешки в руках диктатора, он будет беседовать с ним, вот так говорила нам его надменная замкнутость. Только с Омаром Исиро он перекинулся несколькими словами — так хозяин иногда удостаивает слугу требованием справки и пустячного разъяснения.

Зато Милошевская внимательно оглядела нас всех. Она начала с конца, где сидел Пимен Георгиу — ничего не выражающий, равнодушный взгляд. На Павла она поглядела внимательней, знала, кто он в правительстве, — буду, буду с тобой считаться, вот так она сказала взглядом. А со мной она сразилась глазами. Не знаю, что выражало мое лицо, могло ли вообще что-либо выражать, я никогда не изучал себя в зеркале. Но Милошевская что-то увидела и вспыхнула. У нее озарились щеки, гневно блеснули глаза. Уверен, если бы в это мгновение можно было провести рукой по ее голове, то ладонь обожгло бы снопом вылетевших электрических искр. И глазами, и всей охватившей ее ошетиненностью она донесла до меня безмолвную информацию: “Ты враг, я это вижу, но погоди, я еще с тобой поговорю!” Закончив молчаливую схватку со мной, она посмотре-

ла на Фагусту и успокоила взгляд и лицо — глаза приугасли, а гневный румянец на щеках потускнел.

— И вы здесь, Фагуста? — сказала она мелодичным голосом — что-то вроде нежной мелодии кларнета при гуле отдаленных колоколов. — Пошли в слуги к новым господам, Константин? Верой и правдой?

— Как я служу новым господам моей страны, можете спросить у них, Людмила, — спокойно отразил ее выпад Фагуста. — Особенно восхищен моей деятельностью заместитель диктатора генерал Семипалов. Он охотно расскажет о своем благорасположении ко мне.

Она снова перевела глаза на меня, сейчас во взгляде было сомнение — уловила иронию Фагусты. В зал вошел Гамов и уселся за свой отдельный стол. Охранники отступили назад.

— Начнем обсуждение, — сказал Гамов. — Вы, друзья оптиматы, потребовали передать вам всю внутреннюю власть в стране. Вы согласны возобновить союз с Латанией, разорванный вашим бывшим президентом Вилькомиром Торбой. Вы предлагаете провести новую мобилизацию и сформировать для нас армию из трех корпусов. Ваши предложения очень ценны, конечно, но, между прочим, мы можем претворить их в жизнь и без вас — приказами нашего командования. Зачем же нам делать ставку на вашу партию в раздираемой партийными распрями стране? Я хотел бы получить объяснение. Кто будет говорить?

Говорить пожелал Понсий Марквард. Он по-прежнему ни на кого из нас не обращал внимания, но смотрел уже не на лепной карниз, а на Гамова. Голоса не всегда отвечают облику, у Понсия Маркварда он отвечал — такой же надменный, замедленный, скрипучий, как будто в горле сидела палка и поскрипывала, когда он разевал рот. Со стороны могло показаться, что лидер оптиматов Патины отчитывает за что-то Гамова и предупреждает, что надо вести себя лучше. Выговор не было, но предупреждение прозвучало. В Патине они, оптиматы, единственная реальная сила, и оккупационные власти жестоко просчитаются, если не учтут это. Он протягивает руку союза, берите эту дружескую руку.

Гамов с любопытством глядел на лидера оптиматов.

— Понсий, а как вы отнесетесь, если вдруг появится Вилькомир Торба, лидер ваших максималистов, и тоже предложит нам союз?

Понсий Марквард покривился, будто ему в рот попала муха.

— Он уже был с вами в союзе и изменил вам. Я решительно предостерегаю вас от неумного союза с эти ничтожеством.

— Неумного? Неумные действия нехороши, вы правы. Но все-таки... Вдруг он объявится и попросит прощения? Как нам быть тогда?

— Немедленно арестовать! — резко бросила Милошевская.

— Арестуем. А дальше?

— Передать в наши руки! — отрубила она с решительностью, какую не всякий мужчина способен показать.

— Передадим. А дальше?

— Повесим его! — Понсий Марквард был еще категоричней. Дальше разговор пошел почти исключительно с ним, Милошевская только слушала, лишь гневными вспышками глаз поддерживая его требования.

— Хорошо — повесите... Попросите услуг нашего Черного суда?

— Судей, которые умеют выносить смертные приговоры, и у нас хватает. Намыленная петля давно тоскует по шее Торбы. Его надо было повесить лет пятнадцать назад, когда он только начинал свою карьеру. Это был бы дельный политический акт.

— Почему же не повесили его, раз была такая потребность?

Понсий Марквард раздражался — худые щеки побагровели, грохот в голосе стал басовитей.

— Меня удивляют ваши вопросы, диктатор! Чтобы повесить Торбу, надо было иметь власть. А ведь власть была у него.

— Между прочим, имея власть, он вас не вешал. Впрочем, это несущественно. Итак, чтобы вешать противников, нужно иметь власть. Но власти и сейчас у вас нет.

— Вы нам ее вручите — значит, будем иметь. Это же просто!

— Очень просто! Раз передадим вам власть, значит, будете ее иметь. Безупречное рассуждение! Итак, повесите Торбу, но предварительно надо доказать его вину. Какие преступления за ним числите?

— Многие, диктатор.

— Я бы хотел конкретней...

— Я же объяснил — многие. Расшифровываю: очень многие! А точный список его вин установит суд. Судей мы выберем квалифицированных.

— Вообразите себе такую ситуацию, Понсий Марквард. Вилькомир Торба на суде разнесет в щепы все возведенные на него обвинения.

— И воображать не буду. Ненавижу воображение. Мы реальные политики. Если Торбу найдут, его повесят. Вам придется с этим примириться.

— Что же, если уж придется... Никто не хочет задать вопросы вождю оптиматов Понсию Маркварду?

Вопросы хотел задать я. Понсию Маркварду пришлось повернуться ко мне. Он сделал поворот с вызывающим недовольством.

— Где вы были, Марквард, когда Торба изменил нам, а Ваксель победным маршем продвигался по Патине?

— Меня допрашивают? Я думал, мы как равнозначные политики...

— Все же я хотел бы получить ясный ответ.

Марквард возмущенно обернулся к Гамову. Гамов ласково сказал:

— Понсий, у нас задают любые вопросы и получают точные ответы.

Марквард с усилием сдерживал негодование.

— Семипалов, вы и сами понимаете, где я мог быть. Скрывался от ищеек Торбы и военных шпионов Вакселя.

— Зачем вы это делали, Марквард?

— И это вы знаете не хуже меня. Чтобы меня не схватили!

— Вы так боялись Торбы и солдат Вакселя?

— Солдат Вакселя вы тоже боялись и отступали перед ними.

— Зато потом разбили их. Сейчас свободно ходим по вашей стране.

— Я тоже свободно хожу по своей стране, генерал!

— Да, выползли из норы, где бесславно прятались.

Милошевская закричала:

— Протестую, диктатор! Генерал Семипалов переходит все границы!

— Согласен и с вами, как раньше соглашался с вашим другом Понсием, что обсуждение становится недопустимым, — вежливо произнес Гамов. Если бы Милошевская лучше знала Гамова, она бы испугалась его грозной вежливости. — Разрешите задать и вам тот же вопрос, Людмила: и вы хотите повесить Вилькомира Торбу, если он попадет вам в руки?

— Раньше надо его поймать, диктатор. Пока же ваша прославленная разведка...

— Отвечайте прямо! Допустим, случилось так, что Торба у вас в руках. Повесите вы его своими руками?

— Почему своими? Я пианистка, мои руки играют на клавишах рояля, а не свивают петли... Но за смертный приговор проголосую. Надо же решить в конце концов эту проклятую проблему, которая называется вождем максималистов Вилькомиром...

Гамов опять прервал ее:

— С вами ясно. Полковник Прищеп, у вас все в порядке?

— Конечно! Нажмите правую крайнюю кнопку на втором пульте.

Гамов поискал глазами нужную кнопку и нажал ее. В зал вошли два конвоира, между ними двигался Вилькомир Торба. Я часто видел портреты президента Патины. У меня в памяти отложился образ импозантного, невысокого мужчины средних лет — холеное лицо, безукоризненный костюм, обаятельные манеры, хорошо поставленный — с шепелявинкой и грассинкой — голос. В общем, президент отлично исполненного образца. А в зал вошел бродяга — небритый, исхудавший, в грязной одежде... Гамов приподнялся и вежливо проговорил:

— Приветствую вас, президент! Как вы чувствуете себя?

Вилькомир Торба дико озирался. Гамова он, похоже, узнал сразу — по портретам, естественно, — на меня и Прищепу поглядел с недоумением, а при взгляде на Маркварда и Милошевскую глаза его вспыхнули. Проигнорировав Гамова, он обратился прямо к ним:

— И вы здесь, голубчики? Думаете, что на коне? Далеко не ускачете, не дадут. А дадут, сами свалитесь в грязь. Вы, глупцы, не понимаете: ваше счастье всегда было в том, что вам не давали власти. — Только после такого выпада против своих политических противников он счел возможным обратить внимание на нас: — Вы, вижу, Гамов — победитель кортезов и диктатор Латании? А свита на той стороне стола — ваши помощники? Отвечаю на ваш вопрос: чувствую себя отвратительно. Какие еще вопросы? Задавайте скорей, пока не потерял сознания — третий день ничего не ем, второй день ничего не пью.

— В таком случае, вам надо подкрепиться, Торба, — участливо сказал Гамов. — Не хотите ли чаю и печенья?

— А также пива и колбасы, если не поскупитесь кормить узника.

Исиро что-то сказал одному из солдат, солдат ушел. Исиро пододвинул президенту стул около Милошевской, Торба с громким вздохом облегчения опустился на него и вытянул ноги. Милошевская с возмущением отвернулась. Тот же солдат вошел с подносом, на подносе стояла бутылка пива, колбаса, чай и печенье. Торба жадно осушил стакан пива и накинулся на колбасу. Мы молча смотрели, с какой энергией он поглощает еду. Павел с улыбкой прошептал мне:

— Интересный тип. Он еще устроит нам спектакль.

Я догадывался, что спектакль уже начался, но не тот, какой бы мог устроить президент. Сценой руководил более опытный режиссер. Торба опорожнил второй стакан, с сожалением повертел в руке пустую бутылку и сказал — голос, вначале хриплый, от еды и питья посвежел:

— Отличное пойло! Не думал, Гамов, что ваши министры способны так улучшить напитки. Моему сердечному другу Артуру Маруцзяну промышленность не удавалась. Впрочем, война удалась еще меньше. Нельзя ли еще пива?

— Нельзя. Вы опьянеете. А предстоит выяснять отношения с лидерами оптиматов. Да и с нами тоже.

Вилькомир Торба пренебрежительно махнул рукой.

— Какие отношения? Все ясно без болтовни. Я бы их высек, если бы вернулся к власти. Они меня повесят, если вы дадите власть им. А вы со мной поступите, как пожелает ваша левая нога. Или правая? Не знаю пока, какая из ваших ног командная, хотя в подвале, где так долго прятался, предавался философским рассуждениям на тему ваших директивных ног. Но если пива нельзя, то можно еще колбасы и чая?

Гамов засмеялся.

— Колбасы с чаем можно. И вы так заразительно жуете, что и у меня разыгрался аппетит. Исиро, нельзя ли нам всем чаю с закуской? Перед трудным разговором неплохо подкрепиться.

Понсий Марквард поднялся. Его серое лицо побагровело от прилившей крови, в глубине глазниц зажглись злые огни.

— Диктатор, это нетерпимо! Объявляю вам торжественно, что с Вилькомиром Торбой я даже в некоем месте рядом не сяду, а вы заставляете нас вместе сидеть за столом.

Гамов кивнул, не стирая улыбки.

— В том месте нужно сидеть в одиночку, вы правы. Но поговорить придется вместе. У меня нет времени беседовать с каж-

дым особо. А за чаем — чего лучше? Учтите мои затруднения, Марквард, и держитесь спокойно.

Солдаты обносили нас чаем, каждый брал свой поднос. Понсий Марквард с отвращением отодвинул поднос на середину стола. Милошевская не отодвинула, но откинулась на спинку стула, она лучше Понсия поняла обстановку. Я заметил, что она дотронулась рукой до плеча Понсия, тот даже не обернулся — так внутренне кипел, что боялся выплеснуть ярость при любом движении.

Гамов ел почти с таким же аппетитом, как и Вилькомир Торба. Константин Фагуста в очередной раз продемонстрировал, что способен есть где угодно, что угодно и сколько дадут. Мы с Павлом выпили по стакану чая.

— Хорошо! — сказал Торба. — Мало, конечно, да ведь даровое. В том проклятом подвале, где я больше суток простоял на ногах между стояками отопления, я уже не надеялся, что когда-нибудь вкушу колбасы и печенья, да еще с горячим чаем. Совершенно отчаялся.

— Отчаялись?

— А что еще оставалось, кроме отчаяния? Уверен был, что вы уже передали власть остолопам оптиматам, а их солдаты отыщут меня и мигом прихлопнут. Ваших солдат я боялся меньше. Вы любите эффекты, а не только эффективность, даже глупые эффекты, лишь бы выглядели красочно.

— Какого же красочного эффекта вы ожидаете от меня? И даже заранее объявляете его глупым.

— А каким его объявлять? Предадите меня Черному суду, глупейшему учреждению, доложу вам, суд объявит меня изменником, что еще глупее, а палачи бросят в яму с нечистотами, ваш любимый способ расправы, а что в нем умного? Вам так нравятся запахи выгребных ям, что вы неспособны отказать себе в таком удовольствии.

Понсий Марквард вообразил, что теперь можно без опасений взорваться.

— Вы слышите, диктатор? Этот негодяй осмеливается нападать на вас лично. Я настаиваю — немедленно в тюрьму его, а не угощать пивом и колбасой! А завтра пусть суд поставит последнюю точку в карьере этого...

— Садитесь! — приказал Гамов Маркварду. Не сомневаюсь, что злые насмешки Торбы больно задела Гамова, но он вел свою линию, в ней было место и для издевательств над собой. А

мне Вилькомир Торба начал нравиться. Этот человек не праздновал труса. Он понял, что расправы не избежать, и мольбами не отделялся от гибели, а в последний раз постарался ублажить тело и дух: вкусно поел, громко поиронизировал над своими врагами. — Садитесь, Марквард! Обсуждение продолжается. — Понсий сел. Гамов продолжал: — Насколько слышу, Торба, любимым вашим аргументом против противников является обвинение в глупости. Очень обидное обвинение. В политике глупость горше преступления. Начнем с меня и моих товарищей. В чем вы открыли нашу политическую глупость?

— Философских проблем вашей политики сейчас касаться не буду... А конкретно — в отношении ко мне. Объявили розыск, заставили прятаться черт знает где, собираетесь отдать меня в руки моих врагов либо в жуткие когти ваших гонсалесов... Чем не глупость?

— А чем глупость? Вы изменник...

— Вот это и есть глупость — считать, что я изменник. Кому я изменил? Собственному народу изменил? Даже такой олигофрен, как мой уважаемый оппонент Понсий Марквард, не обвинит меня в измене народу, на это и его глупости не хватит. Он скажет то, что уже тысячекратно твердил, — что его программа лучше. Что она отвечает воле большинства, что я опираюсь на меньшинство — интеллигенцию, всяких там художников, изобретателей... А я отвечу, что народ голосует всегда за меня, а не за него. Видеть что-либо другое в наших с ним взаимоотношениях — это и есть глупость.

— Вы изменили союзу Патины и Латании, хотя сами же спровоцировали войну с Ламарией и Родером, а за ними и с Кортезией.

— Правильно, спровоцировал. Патина нуждалась в возвращении западных земель, населенных патинами, а не ламарами. Это вековая мечта нашего народа. Я выразил волю народа, а не изменил ей. Меня тогда поддержали и Марквард, и Милошевская. Нет здесь измены, диктатор.

— А то, что вы перешли к кортезам, ударили в спину нашей армии? Не забывайте, что я командовал корпусом, который по вашей вине оказался во вражеском окружении и потом с тяжелыми боями прорывался к своим.

— Гамов! Давайте рассуждать честно. Я изменил тем, с кем подписал договор о союзе, — президенту Латании Артуру Маруцзяну и маршалу Антону Комлину. Изменил потому, что они

оказались в военном смысле бездарностями, вели к гибели и мою родину, и свою страну. Сохранять союз с такими типами было больше чем глупостью! Именно потому, что я не изменник, я изменил союзу с Маруцзяном. И в этом качестве оказался не один. Нашлись у меня умные и бесстрашные последователи, они повторили мое решение.

— Кто они, эти ваши последователи?

— Вы, диктатор! Вы и ваши друзья. Именно вы изменили Маруцзяну. И не только изменили своему правительству, но и посадили его в тюрьму.

Впервые в этой дискуссии Гамов сразу не подыскал ответа. Торба спокойно продолжал:

— Вот вы и сами видите, диктатор, что мы с вами едины в наших действиях, только вы пошли дальше, чем я, и оказались счастливей. Как же теперь не назвать ваше поведение глупостью? Не объявлять розыск преступника и предавать в руки врагов, а пригласить меня вернуться, снова вручить мне власть, снова восстановить наш разорванный союз — вот единственно умная линия... Дружба патинов и латанов — историческая необходимость, это понимает каждый патин. Я мог разорвать с Маруцзяном и Комлиным, потому что они катились в пропасть, но зачем мне рвать с вами, победителями? Только с вами я могу исполнить нашу мечту — объединить всех патинов. Это понимаю я, этого не понимаете вы. Поэтому вы повесите меня или утопите в навозе. Чем не глупость?

Гамов уже справился с минутным замешательством.

— Вы так уверены, что вас повесят или утопят, Торба?

— Был бы рад, если бы этого не случилось. Но одно то, что вы пригласили с почетом за свой стол моих врагов, а меня, не дав переодеться и умыться...

— Вы тоже сидите за одним столом со мной и с ними. Хотя и довольно грязный, не отрицаю...

Понсий Марквард не вынес урагана в душе и вскочил. Он органически не мог говорить сидя — видимо, не хватало воздуха на крик. И сейчас он заорал во всю мощь своего гигантского рта:

— Хватит, диктатор! Мало того, что насильно за один стол... Еще выслушивать клеветнические бредни! Прекратите недостойный спектакль! Под стражу этого человека и немедленно передать его нам. На меньшее мы не согласимся. Ясно?

Гамов уже достаточно “нагрелся”, этого вспыльчивый Понсий решительно не понимал. Мы с Прищепой переглянулись. У

Гамова было точно такое лицо, как в конце разговора с Данилой Мордасовым. И ситуация складывалась похожая. Но Гамов за-проектировал другой финал. Он властно скомандовал:

— Марквард! В последний раз предупреждаю — не смей подниматься без моего разрешения! Ненавижу, когда передо мной торчат чурбанами!

Но Марквард не сел. Он готовился еще что-то прокричать, но его остановила Милошевская. Бледная, разъяренная, она тоже вскочила, низкий ее голос звучал на самых низких нотах.

— Стыдитесь, диктатор! Мы надеялись на сотрудничество, а вы организовали комедию дружеской встречи с изменником! Объявляю, что, если вы отвергнете наши требования, мы немедленно удалимся.

— И обратимся к народу с сообщением, что вы отвергаете сотрудничество с нами — и потому мы отвергаем сотрудничество с вами, — вызывающе добавил Марквард.

— Это ультиматум? — холодно уточнил Гамов.

— Ультиматум! — бросил ему в лицо вождь оптиматов.

Взрыва ярости, так обычного у Гамова в трудных спорах, все же не произошло. Ярость не была запланирована в программе беседы Гамова с вождями патинов. И хотя приступ бешенства уже подкатывал к горлу, Гамов не дал ему выхода. Он обратился ко мне и Прищепе:

— Помогите, не понимают меня! Говорим как бы на разных языках.

Павел, наверно, был заранее посвящен в сценарий беседы.

— Ваш язык им непонятен, диктатор. Надо найти человека, язык которого был бы уважаемым оптиматам более доступен.

— Отличная мысль! — Гамов повернулся к своей охране. — Старшина Варелла, переведите на свой язык мою просьбу лидеру оптиматов Понсию Маркварду не вскакивать и спокойно участвовать в общей беседе.

Варелла четким шагом, как на параде, пошел на Маркварда и встал перед ним. Тощий Марквард был выше солдата, но от Вареллы, плотного, массивного, шло излучение почти звериной силы. Руки Вареллы сжались в кулаки.

— Садись, не то усажу! — грозно произнес Варелла, и его рука стала медленно подниматься. И в такт вздымающемуся кулаку Понсий Марквард столь же медленно опускался на стул. Несколько секунд Варелла постоял над поникшим лидером оп-

тиматов, потом обернулся к Гамову и доложил: — Все понимает! Каждое слово доходит.

Все это совершалось в мертвом оцепенении зала. Понсий Марквард сидел, морально уничтоженный, Вилькомир Торба изобразил на лице удовлетворение. Людмила Милошевская, гневная, непреклонная, не отрывала пылающих глаз от Гамова. Женщин, я замечал часто, ярость уродует, но эту, ведьминской породы, женщину бешенство украшало. Самая лучшая поза для нее, подумал я с уважением. Взвиться бы сейчас в ступе и дворницкой метлой смести нас всех. Вместо этого естественного поступка она только сказала:

— Диктатор, я стою, как видите. Почему не разговариваете со мной на своем солдатском языке?

Гамов сделал знак Варелле, чтобы тот воротился на свое место.

— Можете стоять, если хотите. Только поза эта смешная, подумайте об этом. И еще вам скажу. Политика доныне область бесполоая. И поэтому я спокойно мог бы, как противника в политике, принудить вас к повиновению и на солдатском языке. Но я хочу в бесполоую политику ввести женское начало. И начну с того, что не на политическом языке, тем более — не на солдатском, а просто как мужчина женщину попрошу: сядьте, пожалуйста, Людмила Милошевская, и примите участие в дальнейшей беседе — будем решать очень важные вопросы.

Милошевская, не проговорив больше ни слова, уселась на свое место. Торба, ни к кому не обращаясь, но достаточно внятно сказал:

— Что посадили их — хорошо. Но лучше бы выгнали вон.

Гамов гневно повернулся к нему.

— Вилькомир Торба, еще одно выражение в таком духе, и вам придется разговаривать с солдатом, а не со мной.

— Понял. Слушаюсь! — бодро отозвался Торба.

Гамов обвел глазами зал, вглядываясь в каждого.

— В вашей стране смута, — начал он. — Смуты в вашей истории были нередки, но сейчас особенно сильна и особенно опасна. Пока продолжается война, ваши партийные раздоры для наших армий представляют ненужные трудности. Есть много способов обеспечить для нас безопасность в Патине. Самый простой — арестовать всех видных оптиматов и максималистов и ввести комендантское правление. Способ надежный, но не идеальный, можно ждать партизанских нападений. Второй —

передать власть в ваши собственные руки — конечно, дружественные нам, а не враждебные. Но вас две партии, и каждая уверяет, что дружественна. Значит, надо сконструировать правительство из двух партий.

— Это невозможно, — твердо заявила Милошевская. Понсий Марквард, еще не отошедший от унижения, молчал. — Мы на это не пойдем!

— Это вполне возможно, и вы на это пойдете, — невозмутимо продолжал Гамов. — В правительстве создадим верховное Ядро над министрами. В Ядре — четыре человека, два максималиста и два оптимата. Максималисты — Вилькомир Торба и человек, которого он подберет себе в помощники. То же и с оптиматами — Понсий Марквард и его помощник. Для оптиматов предписываю единственное ограничение — Милошевская в Ядро не входит.

— Очевидно, для обещанного вами включения в политику женского начала, — иронически заметила Милошевская.

— И вы думаете, что будет плодотворная работа? — с сомнением спросил Торба.

— Не будет работы, — поддержал его обретший голос Марквард.

— Будет, и очень плодотворная! Верховным управляющим вашей страной на все время войны назначаю командующего нашими войсками в Патине генерала Леонида Прищепу, отца присутствующего здесь полковника Павла Прищепы. Он заинтересован, чтобы все важнейшие вопросы народного существования решались единогласно. Четное количество максималистов и оптиматов не даст одной стороне перевеса над другой. Это и будет гарантией полного согласия при решении государственных вопросов.

— Не будет согласия! — одинаково воскликнули Марквард и Торба.

— Оно уже есть. Вы согласно заявляете, что согласия не будет. Значит, может у вас быть единое мнение. Слушайте и запоминайте, будущие дружные правители государства. Вам будут передаваться только вопросы первостепенной важности, ответ на них возможен лишь в двоичном коде — “да” либо “нет”. И если вы дружно не ответите “да” либо “нет”, военный командующий на площади подвергнет вас порке, как школьников, не усвоивших задания — по десять плеток каждому из четверых. Теперь вы понимаете, Милошевская, почему я не включил вас в

правительственную четверку, хотя эта причина и не главная? Порка не означает отстранения от поста. Такого отстранения вообще не будет, чтобы не дать вам легкого пути избежать согласований — членство в Ядре сохранится до конца войны. После публичного наказания за нежелание согласия вам снова поставят тот же вопрос. Если в течение суток, проведенных за охраняемыми дверьми, вы снова не найдете единого решения, вас вторично выведут на площадь и повесят как саботажников, поставивших свои личные маленькие амбиции выше государственных. Вам ясна дальнейшая ваша судьба, непримиримые соперники?

Гамов излагал свою конституцию для Патины очень спокойно, но я предпочел бы увольнение от всех своих прежних должностей, даже арест, положению двух лидеров Патины, выслушавших такой странный приговор. Какую-то минуту все молчали, ошеломленные, — говорю о патилах, а не о нас, — только Марквард прошептал что-то вроде “Неслыханно! Неслыханно!”. И он был прав, конечно: Гамов отказался в данном случае от всякой классики правительственной неприкосновенности и свободы мнений. Его конституция для Патины писалась не чернилами, а розгами.

Первым очнулся от ошеломления Вилькомир Торба и задал вопрос, показавшийся мне уместным и умным:

— Диктатор, а вы не допускаете, что мы с Марквардом в отчаянии от безысходности либо от злости за унижение согласимся давать несообразные ответы на все вопросы? Скажем “да” вместо “нет”, или наоборот. Кто нас будет контролировать? Ваш военный командующий?

Гамов предвидел такую ситуацию.

— Он будет интересоваться вашими ответами и осуществлять наказания, если вы их заслужите. Но над вами будет поставлен и другой орган, имеющий право принимать или отвергать ваши решения. Этот орган — Контрольный женский Комитет. В нем будет несколько самых известных женщин страны. Почему женский Комитет, спросите вы? Потому что женщины не только разумом, но и сердцем ощущают, что воистину полезно стране, что ей вредно, хоть, как и мы, и прикрываются порой звучными словечками о чести, благородстве, высоких традициях и прочем. И чтобы избавить членов Контрольного Комитета от мужского воздействия, ни один мужчина не будет допущен на их заседания, а сами заседания будут тайными, и отчеты о них объ-

являться не будут. И больше того — военный командующий страны не получит права отменять решения Контрольного Комитета, хотя до конца войны он у вас в стране — истина в последней инстанции. — Гамов повернулся к Милошевской. — Возглавлять Контрольный женский Комитет я попрошу вас. Вы согласны?

Милошевская сверкнула глазами. Было что-то колдовское в том, как умела она менять их выражение.

— Принимаю должность председателя Контрольного женского Комитета. Уведомляю вас, что командующий вашими оккупационными войсками генерал Леонид Прищепа не раз проклянет судьбу, столкнувшую его со мной.

— Это уже его личное дело — проклинать или благословлять судьбу, — добродушно сказал Гамов.

Он встал. Заседание закончилось.

10

Как ни странно, но диктаторское решение Гамова — принудить Патину к придуманной им удивительной конституции — не только не вызвало возмущения, но было принято со злорадным удовольствием. Этот народ готов был примириться с любой несообразностью, лишь бы она поражала воображение, да еще ущемляла тех, кого они объявляли своими противниками. На улицах оптиматы с хохотом кричали максималистам: "Болтать не будете, зарядит ваш Понсий речь в три лиги длиной — потащат под розги!" А максималисты возражали: "И вашему Вилькомиру, что не войдет сразу в мозги, введут публично через задницу". И оба противника тут же приходили к согласию: "Теперь мама Люда всему голова!". Милошевская вскоре после нашей встречи появилась на стерео. На нее трудно было смотреть, до того она была зловеще красива. Ничего важного она, естественно, не сказала — пригрозила, что и Вилькомиру Торбе, и Понсию Маркварду придется держать ушки на макушке, как бы они ни оправдывали свои действия военными обстоятельствами. Гамов хохотал и бил себя ладонями по коленям — любимый его жест.

— Семипалов, вы не находите, что она почувствовала себя выше партий? Не представительницей, а выразительницей народа. Именно на это я и рассчитывал, когда придумывал патинам конституцию.

— А также на то, что у патинов культ женщины. От мужчины они не потерпели бы внепартийности, но женщина может встать надо всеми. Особенно если она так красива, да еще хорошая пианистка — ведь у патинов, как и у родеров, музыка возвышается над всеми искусствами.

— У вас нет желания послушать ее игру, Семипалов?

— Боюсь, что частые встречи с Людмилой, как бы она хорошо ни играла, не обойдутся без политических ссор. Патина умиротворена — и ладно. Будем думать об Аментоле.

Аментола быстро оправился от позора в Клуре. Ему удалось бежать на своих кораблях в Кордазу, столицу Кортезии. Павел Прищепа доложил, что Аментола концентрирует в окрестностях столицы весь свой воздушный флот и что водолетные заводы страны получили гигантские задания. Президент Кортезии понял, что поворот в войне произошел благодаря появлению у нас огромного водолетного флота — и энергично преодолевал свое отставание.

— Если данные Прищепы верны, то мы скоро лишимся нашего воздушного преимущества, — высказался Пеано на Ядре. — Нужно оккупировать весь Клур и Родер! Промышленность этих стран усилит нашу, а кортезы не смогут использовать их базы для нападения на нас.

Против военных решений Пеано восстал Готлиб Бар. Мы упоены военной победой, но в ней и грозные осложнения. Урожай так плох, что придется ввести нормирование. А к своим родным ртам добавляются и чужие: военнопленных родеров, кортезов и патинов. И хоть все продовольственные склады врага в наших руках и все оккупированные страны обложены продовольственной контрибуцией, но брать можно только там, где есть, что брать. Сперва Ваксель заливал наши поля, потом Штупа разверз на Западе хляби небесные. В западных странах урожай не выше нашего. Оккупация Родера и Клур поставит нас перед катастрофой: ведь кормить эти страны придется нам!

Гамов решил:

— Военнопленных будем кормить их продовольствием, но не захваченными в Родере запасами. Надо, чтобы и Кортезия участвовала в спасении своих сынов от истощения. Урожай за океаном пока не страдают от военных действий. Предлагаю Бару, Пустовойту и Гонсалесу разработать план, в котором суровая кара соединялась бы со щедрым милосердием, а цель их едине-

ния — избавить наш народ от собственных жертв в пользу врагов.

Хочу оговориться: в создании плана обращения с военнопленными, сыгравшего огромную роль в дальнейшем ходе войны, я не участвовал. Эта работа прошла мимо меня. Пустовойт мне потом говорил, что совещания трех министров шли тяжело, он временами был готов задушить Гонсалеса, Гонсалес чуть не выламывал ему руки, а Бар стучал кулаком на обоих. Зато в проекте, какой они предложили Ядру, совмещались, как и было велено, и кара, и милосердие.

Лагеря военнопленных делились на три категории. Самая многочисленная — солдаты и офицеры. Во второй — обвиненные в воинских преступлениях стражники и жандармы. Третью категорию образовывали генералы, воинские прокуроры, командиры карательных отрядов.

Питание военнопленных устанавливалось такое же, как для наших солдат во вражеском плену. Но не та провизия, что значилась в отчетах, а та, что реально шла в котлы. В лагерях второй категории эта норма уменьшалась на треть, а в лагерях третьей категории на половину.

Я возразил Бару:

— Да ведь это равносильно истреблению военнопленных! Недоедание в общих лагерях, голод в остальных. В третьей категории военнопленных через месяц начнется массовое вымирание. И это министр Милосердия называет милосердием?

Пустовойт хотел что-то сказать, но Гамов сам ответил:

— Не торопитесь, Семипалов. Будет и милосердие!

Бар продолжал свой доклад. Да, при запланированном питании массовой гибели военнопленных не отворотить. И об этом прямо объявим всему миру, чтобы родственники знали, на что обрекла их близких война. Наши поля, беспощадно затопленные кортезами, не могут обеспечить нормальное питание тем, кто уничтожал их плодородие. Военнопленные получают плоды своих преступных действий — и в этом высшая справедливость. А милосердие явится в том, что мы разрешаем Кортезии принять участие в спасении своих попавших в плен людей от голода и деградации. Мы согласны принять из Кортезии продовольствие для пленных. Но в лагерях первой категории будет изъята половина поступившего, в лагерях второй категории изыдем четыре пятых, а в лагерях третьего типа, как особо штрафных, военнопленным достанется лишь одна десятая посылок.

Все конфискованные продукты — половина, четыре пятых и девять десятых — направляются в наши детские дома и госпитали. Будет актом высокой справедливости, что Кортезия, виновная в бедствиях наших детей и раненых, хотя бы частично возьмет на себя заботы о них.

Мы предлагаем Кортезии организовать у себя Администрацию Помощи военнопленным, членами которой должно стать само государство, благотворительные товарищества и родственники пленных. В Администрацию Помощи войдет — без денежных и продовольственных взносов — и Министерство Милосердия Латании.

Чтобы не появились сомнения, что конфискованная часть помощи идет на детей и раненых, мы разрешаем инспекторам Администрации Помощи въезд в Латанию для контроля детских учреждений и госпиталей. Инспекторам разрешат и посещение лагерей военнопленных. Родителям, просящим о посещении своих детей в лагерях, а также женам, желающим свидания с мужьями, разрешения будут выдаваться лишь при нормальном функционировании Администрации Помощи.

Чтобы информация о пленных стала доступной каждому, инспекторам помощи разрешается производить снимки в лагерях, встречаться и беседовать с каждым пленником. Будут ежедневные передачи по стерео из лагерей на Кортезию и другие страны со снимками военнопленных и их краткими обращениями к родным.

Еще раз повторяю: ни одна моя мысль, ни одно мое пожелание не нашли выражения в проекте Бара, Гонсалеса и Пустовойта. Говорю это потому, что впоследствии это все связывали со мной, не как с вдохновителем — вдохновителем был Гамов, это все понимали, а как с главным исполнителем. Я сейчас жалею, что тройка создала план без моего участия, — я бы мог гордиться собой. Даже Гамов не представлял себе полностью грандиозное значение того, что мы предпринимали. Если можно датировать великие перемены в мировой психологии каким-либо определенным днем, то день декларации о военнопленных больше других для того годился. Миру открылись неведомые дороги, человечество повернуло на них.

Но еще были сомнения. Я обратился к Павлу:

— Полковник Прищепа, вы не опасаетесь, что среди кортезов, которые хлынут в лагеря военнопленных и госпитали, окажутся новые войтюки? И они могут быть удачливей.

Павел усмехнулся.

— Пусть приезжают. В армию их не пустим, заводы будут для них закрыты. Мы больше узнаем от приехавших кортезов об их секретах, чем они о наших.

— План пронизан духом мира и милосердия, это хорошо, — продолжал я. — Но примут ли его кортезы? Захотят ли спасти своих военнопленных ценой снабжения из-за океана наших госпиталей и детских домов? Интересы войны вступают в злое противоречие с заботой об уже потерянной армии. Наше милосердие для Аментолы хуже нового поражения на полях сражений. Он может пренебрежительно отвергнуть его.

— Не будет ни того, ни другого! — воскликнул Вудворт.

Я часто упоминал, что на заседаниях Ядра Вудворт обычно молчал. Вспоминая сейчас те дни, запоздало удивляюсь, как удавалось Вудворту выносить свое двойственное положение среди нас. Он изменил своей родине политически, а не потому, что возненавидел ее. Душа его страдала от разрыва. И не все у нас ему нравилось, он не раз об этом говорил. Прикидывая его положение на себя, поеживаюсь — я не хотел бы оказаться в его роли. Вероятно, поэтому он так редко высказывался на совещаниях — честно выполнял свои обязанности, но жара в пылающий огонь государственной вражды не добавлял.

Сейчас он говорил со страстью, редко звучавшей в спокойном голосе. Его землистые щеки охватил румянец. Он произнес панегирик своей родине, нашему нынешнему врагу. Да, Аментола сделал бы все возможное, чтобы не участвовать в спасении военнопленных от голода и болезней. Да, он предал бы свои разбитые армии, списал бы их в мертвый расход, этого требует непосредственная выгода продолжающейся войны. Но нет у Аментолы таких возможностей! Он примет наш план. Он знает свою страну. Кортезы — великодушный народ. Они не только могущественны, но добры, душевно отзывчивы. Могучая пропаганда десятилетия изображала Латанию гнездом вероломства и недоброжелательства. Они ждали от нас только зла и совершили великое зло нам и всему человечеству, чтобы предотвратить зло, которое могли бы совершить мы. История часто похожа на пляску теней в тумане — трудно определить, кто есть кто. Когда Кортезия услышит, что ее зовут спасти своих детей, всю страну охватит великий порыв помощи — и горе любой препоне. Аментола понимает, что спасение пленных кортезов руками самих кортезов усиливает латанов. Но он пойдет на этот воен-

ный вред своему государству, у него не будет иной возможности. Логика сердца часто уступает логике разума, в этом не только сила, но и беда истории. Но всенародный порыв сердца сметает любые доводы рассудка. Можете мне поверить — Аментола уступит.

Вот так говорил, взволнованно и убежденно, Джон Вудворт, наш немногословный министр внешних сношений. Мы понимали грандиозность задуманного дела, но видели и тысячи затруднений, он их игнорировал: он лучше знал свой народ, от которого отвернулся.

— Иси́ро, теперь вы главная пружина событий, — сказал Гамов. — От вашего стерео зависит, удастся ли поднять кортезов на ухудшение своей военной обстановки ради облегчения жизни военнопленных. Аментола ведь не считает войну завершенной.

Аментола вскоре показал нам, что отнюдь не потерял надежды на победу. Его сконцентрированные на островах у побережий Клуро водолетные дивизии нанесли жестокий удар по нашим прифронтовым городам. До Адана они не добрались, от Забона их отогнали, но несколько поселений превратились в развалины. И это были мирные города, не крепости, не промышленные центры. Но для Аментолы после катастрофы в Родере и Патине была не так важна серьезность победы, как ее красочность. Он добивался эффекта, а не эффективности.

Я сидел у Пеано, когда вошел Гамов. Мы рассматривали картины нападения на мирные города. Это были съемки кортезов, Аментола показывал, как кортезы мстят за позор поражения. И мы увидели, как неповоротливые машины тяжело отрываются от грунта, как уже в воздухе выстраиваются в треугольники и равносторонние углы и — не встречая сопротивления — летят, летят, летят на несколько городков, приговоренных к казни... На экране бежали обезумевшие женщины, пронзительные детские голоса заглушал гул водолетных дюзов, и все поглощало пламя, и надо всем вздымалась горячая, удушающая пыль — мы в отдалении от места казни ощущали эту огненную пыль ноздрями и глоткой.

— Пеано, покажите, что там теперь, — хрипло проговорил Гамов. Он побледнел, по лбу и щекам струились тонкие ручейки пота — он физически задыхался от пыли, бушевавшей на экране.

— Наше стерео, сегодняшнее утро, — хмуро сказал Пеано.

На экране догорали зажженные ночью дома. Водометные машины заливали пылающие улицы. За ними уже не было жара, только мертвые, исходящие синим паром строения. Раненых вносили в санитарные машины, одна за другой они уходили в другие города. Трупы рядами укладывали на площади — окровавленные, обожженные тела, кто без рук, кто без ног, кто с изуродованным лицом... Но всего страшней мне увиделась девочка лет восьми, ее положили на спину, отдельно ото всех. Она не была изуродована, даже не обгорела, ни одно пятнышко крови не загрязняло ее светлого, празднично нарядного платья... Она казалась только спящей, но судорога взметнула ее ручки вверх, она простирала их к небу, она молила о пощаде, она защищалась этими слабыми ручками от гибели, грянувшей с неба... Гамов скорчился рядом со мной, что-то шептал. По лицу его текли слезы. Он не стирал их.

— Семипалов, Пеано, это нельзя простить! — простонал он.

Я знал, что он воззовет ко мне и к Пеано о мщении. И ничего я так в жизни не жаждал, как мщения! Вечно будет в моей памяти эта девчонка простирать к небу окостеневшие ручки, вечно будет молить о пощаде, вечно будет умирать от внезапного ужаса, вечно, вечно не будет ей спасения, которое она так страстно, так беспомощно призывает!.. Это нельзя было оставить безнаказанным!

— Мы не простим, — мрачным эхом отозвался Пеано. — Напасть на водолетные базы кортезов и превратить их в груды камней и облака пепла!

— Нет! — сказал я. — Вы путаете военную операцию с актом справедливого мщения, Пеано. Нужно нанести удар не по военным базам, а по душе народа!

План мой был прост и жесток. Мы нападаем на водолетные базы врага, но не для их уничтожения, а для захвата водолетчиков. Гонсалес приговаривает пленных водолетчиков к смертной казни за террор против мирного населения. И не к простой казни — на плахе, в тюремных подвалах, расстрелам у стен зданий разрушенных ими городов. Они будут сброшены с водолетов — пусть кровь их зальет траву, деревья и камни!

— Принимается! Сбросим пленных водолетчиков на города, которые они разрушали. Заслуженная кара!

— Нет, Пеано, тысячу раз — нет! Казнь заслуженная, но она мала. Нужно впечатление ужасней. Наши водолеты должны прилететь в Кортезию и сбросить там осужденных на казнь.

Пусть убийцы детей и женщин рушатся на головы своих близких, на собственные дома, пусть их кровь, брызги их тел, их раздробленные кости падут на головы тех, кто их посылал на преступления!

Возбужденный Пеано на глазах остывал. Прирожденный военный, он мыслил естественными военными категориями, а надо было выйти за их пределы. Я уже стал настоящим учеником Гамова — самостоятельно выискивал неклассические решения.

— Семипалов, кортезы не допустят ни одного нашего водолета до своих границ! Они навалятся на каждую нашу машину десятками своих машин еще на подлете — и все, кого мы приговорили казнить, рухнут в океан, а с ними заодно погибнут и наши пилоты.

Гамов молча смотрел на меня, он догадывался, что я придумал что-то необычайное.

— Пеано, кортезы допустят наши водолеты к своим городам! В каждый водолет, куда усадим десяток осужденных на казнь, мы поместим еще два-три десятка пленных кортезов, не приговоренных к гибели. И постараемся, чтобы эти кортезы были хорошо известны, опубликуем их фамилии, передадим их фотографии. И объявим, что в случае благополучного возвращения наших водолетов всех заложников немедленно отпустят на свободу.

— Полностью принимаю ваш план, Семипалов! — воскликнул Гамов.

Пеано — он все же еще колебался — я сказал:

— А если генералы кортезов не посчитаются ни с чем и начнут сбивать на подлете все наши водолеты, то погибнут и заложники, которым обещано освобождение. Это будет террор против своих, Пеано. Вряд ли Аментола разрешит такие акции. Вспомните, что говорил Вудворт о психологии своего народа.

— Готовлю захват водолетных баз кортезов, — сказал Пеано.

11

В Кортезии еще продолжались ликования по случаю удачного нападения на наши незащищенные города, еще завершались у нас траурные захоронения жертв, а Пеано всей мощью нашего водолетного флота обрушился на островные базы кортезов. Он бил наотмашь, сжатым кулаком — еще полыхали не поднявшиеся с земли машины, когда наши десантники ринулись на захват казарм. Ни одному вражескому водолетчику не удалось

спастись. Да и куда было бежать? Вокруг океан, а в воздухе наши машины! Только клуры подняли свои аппараты на перехват возвращавшихся наших водолетов — отважное, но бессмысленное действие, клуры не раз в своей истории совершали такие героически-бездарные поступки.

Наше стерео — неоднократно и на весь мир — передавало репортаж о захвате островных баз. Десятки раз возникали одни и те же лица — генералы, скомандовавшие налеты на наши мирные города, пилоты, которые вели машины, механики, заправившие их сгущенной водой. Даже в Кортезии стали удивляться, зачем нашему министру информации понадобилось создавать такую особую популярность трем сотням пленных, когда у нас их были десятки тысяч, отнюдь не удостоенных подобной стереоизвестности. Только несколько человек знали, что миру показывают осужденных на позорную казнь — надо было, чтобы мир запомнил их лица.

Гонсалес на специальном заседании Черного суда огласил смертную казнь для всех водолетчиков, напавших на города, заведомо лишенные защиты с воздуха. Он закончил приговор словами:

— Наши враги обрушились на мирные поселения тайно, не дали женщинам и детям хотя бы спрятаться в подземельях. Такая подлость усугубляет вину подсудимых. Черный суд объявляет миру, что смертная казнь преступных водолетчиков будет совершена над их родными городами в заранее объявленный день и час.

После объявления приговора пилотам Кортезии во дворце состоялись две встречи. Расскажу о каждой.

Первая была с водолетчиками, отобранными в карательный рейд через океан. Гамов пожелал, чтобы честь этого скорее судейского, чем военного рейда, была поручена дивизии Корнея Каплина — после мятежа Гамов испытывал к ней приязнь. И мы увидели старых знакомых — Альфреда Пальмана, Ивана Кордобина, Сергея Скрипника, Жана Вильту — ныне командиров бригад, офицеров, отмеченных наградами за сражение над Родером, освобождение наших пленных и нападение на островные базы кортезов.

Гамов поблагодарил их за то, что в недавних боях они выполнили все, чего он ждал от них и что они обещали, — спасли нашу Родину от разгрома, создали предпосылки для победы. Но война не кончена. Кортезия собирает новые силы. Она попирает

все законы морали, нападая на мирные города. Нужно так покарать врагов, чтобы их охватил ужас от одной мысли о новых преступлениях. И эта благородная миссия — отбить у врага стремление к подлости, сделать подлость из выгодной акции роковой ошибкой — снова предоставляется людям, столь мужественно выручившим родину в дни величайших испытаний.

Пока Гамов говорил, я мысленно сравнивал его нынешнее выступление с тем, когда он усмирять мятеж на водолетной базе. Было много схожего, но больше различий. И там, и здесь его слушали те же люди. И там, и здесь он не утешал, не закрашивал опасности, прямо требовал — если понадобится — самопожертвования. Но дух речи был теперь иной, и слушали его по-иному. Там он поднимал юнцов на гибель для спасения родины — и поднял всех! Здесь излагал военно-нравственную задачу, упоминания о возможных жертвах звучали словесными фиоритурами. Только безумцы, сказал он, решатся напасть на вас и тем погубить своих сограждан, которым мы обещали свободу.

Случилось так, что после совещания я оказался с Корнеем Каплиным и двумя бывшими мятежниками — Иваном Кордобиним и Жаном Вильтой.

— Вы уверены, что рейд за океан сойдет благополучно? — обратился я к ним. — Допускаете возможность военного отпора?..

— Почему же не допустить безумства? — рассудительно сказал Корней Каплин. — Но, генерал, война ведь такая — надо рассчитывать силы свои и противника, наличную технику, запасы боеприпасов, воинское умение командиров... Чье-либо безумие при расчете обычно не учитывается.

— Так, — сказал я с волнением. — Безумие никем не планируется, только разумные поступки.

Для второй встречи во дворец доставили почти двести участников конференции в Клуре — журналистов, операторов стерео, бизнесменов, нажившихся на военных поставках, нескольких дипломатов. Все глядели смертно перепуганными. Их ужас еще усилился, когда к ним обратился Гонсалес.

— Приговор вам еще не вынесен, — сказал он. — Но ваша вина в преступной войне так велика, что я проголосую на суде за смертный приговор. Но суд Милосердия решил предоставить вам иные возможности. Впрочем, я ограничусь технической информацией.

И Гонсалес ввел пленных в суть операции, в которой им отводилась такая необычная роль. Затем говорил Николай Пустовойт. Я уже упоминал, что к ораторам он отнюдь не принадлежал, мрачное красноречие Гонсалеса было несравнимо с вялой речью Пустовойта. Но уже наступало время, когда любое слово министра Милосердия действовало куда сильнее целой речи Гонсалеса. Гамов заранее предвидел такую реальность, когда назначал Николая, а я долго сомневался, обладает ли он силой, достойной его министерского поста.

— Ваше спасение во многом зависит от вас самих, — говорил Пустовойт пленным. — Я знаю, это кажется чуть ли не насмешкой — как вы можете спасти себя, стиснутые в кабине водолета? Так вот — в обеих кабинах водолета поставят стереокамеры. Одна покажет, как ведут себя осужденные на казнь, мир услышит их последние пожелания. Их обращения к родным... Другие камеры демонстрируют вас. И если вы захотите что-либо сказать, все страны мира услышат вас так же отчетливо, как осужденных. Те будут нас проклинять. А вам советую заклинять своих, чтобы не причинили вам вреда, — это единственная гарантия спасения.

Это был, конечно, мудрый совет. Я непрерывно ставил себя на место командования кортезов. Продумывал за них ответные действия. Не сбивать приближающихся машин — погибнут только осужденные врагами на смерть водолетчики. Сбивать — все равно они погибнут, да с ними еще много своих же людей, невиновных в уничтожении городов — гражданских, а не военных. Простой расчет диктовал: из двух зол выбирать меньшее — не сбивать! Но над простым разумом могло возобладать безумие. И был еще резон, порождавший очень непростые расчеты. Да, сбить нападающие водолеты большее зло, чем пропустить их безнаказанно. Но последствия меньшего зла будут куда вредней, чем последствия зла большего. Ибо оно, меньшее, равнозначное новому поражению, внесет смятение в души. Враг коварно поставил нас перед выбором — меньшее ли принять зло или большее. И он хочет, чтобы мы действовали по элементарной выгоде — меньшее меньше большего. Но высший разум утверждает, что большая потеря даст потом больше выгоды, чем потеря меньшая. Гамов опасался безумия военачальников Кортезии. Но надо было опасаться не безумия, а ума наших врагов.

Я высказал эти мысли Гамову. Он ответил:

— Высший разум никогда не бывает самоочевиден, Семипалов. Он достояние немногих. Массы мыслят очевидностями, а не проникновениями. Вы были правы, когда предложили свой план. Аментола не осмелится бороться против мнения своего народа. Перебороть сознание масс он смог бы лишь длительным убеждением. А времени на это мы не дадим.

Стереостанции Исиро передавали на весь мир лица заложников. Кортезия клокотала. В ней и раньше не случалось полного согласия, сейчас одни проклинали нас за жестокость, другие уже признавали, что недавнее нападение на мирные города было преступлением, а не подвигом. И все одинаково требовали от правительства, чтобы объявленную казнь предотвратили, — вымогали срочные соглашения, сохраняющие жизнь осужденных. О том, что может совершиться еще более страшное, чем казнь преступных водолетчиков, — гибель людей, неповинных в их преступлении, никто и звука не подавал, это заранее исключалось. Аментоле и его генералам не оставляли вариантов выхода. Все происходило, как мы планировали.

В день старта наших водолетов я прошел к Пеано. Все члены Ядра собрались в тесном помещении Ставки, только Гонсалес и Пустовойт отсутствовали. Я уселся рядом с Прищепой.

На каждом карательном водолете были две кабины — верхняя, самая просторная, вмещала с полсотни заложников. В нижней, поменьше, для бомб и оружия, разместилось по двадцать осужденных. Стереопередачи с водолетов начались с того момента, когда заложники и осужденные заполнили свои помещения.

Вначале стереолуч показал картину старта — двадцать четыре водолета, целый полк, выстроились на летном поле. Лишь десять несли осужденных и заложников, остальные были загружены боеприпасами — на случай возможного воздушного сражения. Тяжелые машины взмывали, выстраивались в воздухе по трое в ряд — и двигались на запад. В те два часа, когда водолеты пересекали Патину, Ламарию и Родер — арену недавних сражений, — и в верхней, и в нижней кабинах заключенные на скамьях тихо переговаривались, хмуро ждали последующих событий. Тревога — и у нас, организаторов рейда, и у пленных началась, когда водолеты пересекли границу Клур. У клуров понятия военной чести, верности заветам зачастую пересиливают любую выгоду: мы не могли исключить нового сражения в небе клуров. Но военные водолеты не пересекли наши пути, все

двадцать машин пошли на океан, десять с “пассажирами”, десять охранных с оружием.

Стерео попеременно показывало осужденных и заложников. Гамов ожидал проклятий, призыва к мести, неистовства. Даже похожего не было! Осужденные ощущали веяние смерти, ожидали ее, уже наполовину мертвые. Я уже много раз замечал — с момента, когда Гамов объявил Священный Террор, — что люди, лишенные надежды на вызволение, деревенеют. Не то что на физическое сопротивление, даже на резкие жесты, даже на ругань недостает сил — сидят и ждут вызова на казнь, покорно бредут к смерти. Так и эти пленные водолетчики молчаливо приткнулись на скамьях, понутив головы, ни один не поднимал лица навстречу лучу стереокамеры, ни один не ругался, не кричал, не передавал в эфир просьбы, слов прощания с близкими — стадо, бредущее куда гонят. Не знаю, как другим, но мне это окостенение тела и души раньше реальной смерти показалось до того ужасным, что сам я еле удерживался от проклятий. В эти минуты я ненавидел себя за то, что предложил такой жестокий способ расправы.

Только один осужденный выпадал из этого скопища полумертвых тел, тупо ждущих предписанной гибели. Молодой парень плакал, охватив ладонями лицо, и сквозь рыдание слышалась не то мольба о пощаде, не то оправдание: “Я не виноват! Мне приказали! Я не хотел!” И по той же странности восприятия, его моления вызывали не сочувствие, а протест. Я вспомнил лежащую на спине девочку с ужасом в широко распахнутых глазах, с простертыми ручками, молившими грозное небо о пощаде. И эти глаза, эти ручки, окостеневшие в судороге над головой, перевешивали все моления, все оправдания людей, виновных в гибели девочки. Может быть, именно этот водолетчик, льющий сейчас слезы, пронесся над той девочкой, может быть, из брюха его водолета вывалились те бомбы, один грохот которых наполнил душу ребенка таким ужасом, что не стало жизни, могущей вместить этот ужас. Я не жалел пилота, исходящего слезами. В это мгновение я стал подобен Гонсалесу, превратившемуся за годы войны из красивого мужчины средних лет в свирепого дьявола мести.

И не я один испытал такое чувство. Исиро показал пейзаж разрушенных городов. И снова я увидел — уже глазами — мертвую девчонку, непроизвольно перед тем возобновившуюся в моем воображении. Прищепя яростно выругался. Я посмотрел

на Гамова. Гамов отвернулся — не захотел, чтобы мы увидели его лицо.

С приближением водолетов к Кортезии Исиро все чаще выводил на экран заложников. Так было заранее оговорено. Народ Кортезии должен был многократно увидеть, какие из его граждан живыми выйдут на свободу, если генералы сохранят благоразумие, но неминуемо погибнут, если разум генералам откажет. И вот среди них, поставленных равно перед гибелью и свободой, еще до подлета возникло волнение. Ничего похожего на безвольную подавленность, на апатию, равносильную полумертвости, и в помине не стало. В их кабинах выкрикивали просьбы и требования, даже завязывали споры. Какой-то представительный мужчина, по всему — преуспевающий бизнесмен, деловито твердил, когда экран в кабине показывал его: “Не сбивайте, мы вам нужны!” А другой, пожилой, в плаще священнослужителя, проникновенно возглашал: “Родина, я возвращаюсь! Прими меня живого!” Но всего впечатляющей была картина из водолета Жана Вильты, на экране мелькнуло и его юное лицо. В этой кабине миловидная девушка с роскошными темными волосами простирала к стереокамере руки и молила рыдающим голосом: “Отец, я не хочу умирать! Отец, пощади!” Не знаю, что чувствовал неведомый мне отец, но меня хватал за душу ее голос, таким он был нежным и страдающим, такие в нем слышались страх и боль. Я толкнул Прищепу рукой.

— Павел, ты всех в мире знаешь. Кто она и кто ее отец?

Но Павлу Прищепе девушка, так трогательно молившая отца о пощаде, была незнакома. Меня услышал Гамов.

— Это дочь авиационного генерала. Профессия — журналистка, писала очерки и статьи. Вполне заслуживает смертной казни за восхваление войны. Гонсалес рекомендовал ее в заложницы.

Исиро, видимо, знал, какого человека молит о пощаде пышноволосяя девушка: она через две-три другие сценки всё снова говорила о том, что не хочет умирать, слезы в ее голосе слышались все отчетливей. Одно скажу: ни за какие блага мира я не хотел бы в эту минуту быть на месте ее отца.

А затем на экране возникла береговая линия Кортезии. Широкие волны с грохотом бились о скалы. Наступал критический момент операции. Если генералы Кортезии решили сбивать наши воздушные машины, самый раз был им поднимать свои водолеты. Но только разорванные облака проплывали на высоте.

Ни один водолет противника не ринулся навстречу: все шло по самому оптимальному из наших вариантов.

Четыре наших водолета — два с осужденными и два охран-ных — пошли на Кордозу, столицу страны, остальные парами полетели на другие города. Экран показал и столицу, и эти города. Я ожидал, что жители всюду запрутся в домах, чтобы не подставлять голов под то, что обрушится с неба. Но улицы были полны, только детей не вывели, люди на улицах не сновали, бесцельно выглядывая наши близящиеся водолеты, а энергично натягивали над улицами, на площадях, на крышах домов сети и полотнища. Я и вообразить не мог, что за те несколько дней, что прошли от объявления Черного суда о каре преступных водолетчиков, кортезы успеют достать такую уйму сетей, такие массы полотнищ. Столица вся была так покрыта ими, что даже крыши с трудом проглядывали сквозь сети. Я снова толкнул Прищепу.

— Ты знал, как они готовятся к казни водолетчиков?

— Знал, что изо всех складов выгружают полотно. И что рыбакам велено сдавать все сети. Но до вчерашнего вечера натягивания сетей не происходило. Кортезы остереглись заблаговременно показать нам масштаб спасательных действий.

Я обратился к Гамову:

— Может, сменим города, над которыми назначены казни? Пеано успеет передать нашим пилотам приказы о других целях.

Гамов покачал головой.

— Семипалов, мы же заранее объявили города, где совершим казнь. Нечестно отказываться от своих слов.

— Гамов, вы негодуете против верности долгу, воинской чести, но они сильны и в вас, — сказал я с иронией и повернулся к экрану. Гамов промолчал.

Водолеты, направленные к провинциальным городам, почти одновременно освободились от своего трагического груза. Четыре водолета еще кружили над столицей, когда остальные уже выстраивались в обратный путь. Исиро показал, как рушились осужденные на смерть, как тела их подпрыгивали на сетках, как кровь заливала полотнища и мостовые... Уже на следующий день стало известно, что больше четверти сброшенных погибло сразу, а среди уцелевших больше половины стали вечными обитателями сумасшедшего дома.

А мы снова глядели на экран, а на экране показывался то беснующийся океан, то кабины водолетов. Здесь наконец насту-

пило успокоение. Нервное потрясение породило сонливость. Не было ни одного заложника, противостоявшего сонной одуре. Исиро снова высвечивал девушку, молившую отца о пощаде. Я упоминал, что она миловидна. Сейчас, откинув голову на спинку кресла, полуприкрывшая волосами лицо, она виделась очень красивой — той счастливой красотой, какую дает вызволение от страха смерти.

Водолеты пересекли океан и приблизились к Клуру. Двенадцать вооруженных машин пронеслись над ним, не встретив противодействия. Десять водолетов с заложниками приземлились. Клур валили на аэродром как на праздник. Из воздушных машин выбирались заложники, их осыпали цветами, подхватывали на руки. Я еще раз увидел ту пышноволосую девушку, ее водрузили на деревянный щит и несли не меньше десятка дико орущих парней. Она смеялась и плакала, размахивала цветами. А затем загудели дюзы наших пустых водолетов, толпа расступилась. Одна за другой машины взмывали. И им махали с земли руками, платками, цветами — как будто удалялись восвояси не враги, совершившие жестокую казнь, а друзья, осчастливившие кратковременным посещением.

— Даже в бреду не вообразил бы такого! — сказал я. — Какое-то массовое безумие, Гамов!

— Возвращение ясного мысля, — сказал он. — Я так надеялся на это, Семипалов! Наступает перелом в войне. Не на полях пока, в душах — это безмерно важнее!

— Не преувеличивайте! Клур — народ, легко поддающийся эмоциям...

— Нет! Эмоциями тоже командует разум. Внутренний, который не всегда можно выразить логическими категориями. Рассудок, примитивный здравый смысл легко высказывается в силлогизмах. Но в каких силлогизмах выразить озарение? В какую формулу уложить ясновидение? Верую в перелом войны, верую, Семипалов!

— Рад за вас, Гамов, — сказал я сдержанно. Я не верил.

12

Перелома в войне не наступило. Клур побушевал и затих. Освобожденные заложники разъехались по домам. Военные водолеты, затаившиеся во время пролета наших машин в Кортезию на своих базах в Клуру, снова маневрировали в воздухе, снова несли охрану границ с Родером. А в Кортезии глубинные

разумы с их озарениями и ясновидениями верх не взяли, ее действиями по-прежнему командовал практический рассудок, твердо знавший, что такое выгода и где ее больше. Всей своей гигантской промышленной мощью Кортезия подготавливала новые сражения. Наши бывшие союзники, поторопившиеся нам изменить, раньше всех почуяли изменение военной обстановки.

Джон Вудворт сделал Ядру тревожное сообщение:

— Во время сражений в Родере и Лон Чудин, и Мгобо Мордоба, и хитрый Кнурка Девятый основательно приутихли. Пленение армии Вакселя нагнало на них страха. Теперь они поднимают голову. Мы провоцировали Аментолу на богатые дары нашим неверным соседям, чтобы ослабить поток вооружения Вакселю. Но армии Вакселя больше не существует, и нет признаков, чтобы кортезы снова собирались вторгнуться на континент. Они усиливают теперь наших недоброжелателей: и тех, с кем мы уже воюем — Родер, Клур, Корину, Нордаг, — и отколовшихся от нас соседей — Торбаш, Лепинь Великий, Собрану... То, на что мы их спровоцировали, теперь станет основой их собственной стратегии. То, что недавно нас выручало, теперь будет нас топить. Мы разбили Кортезию и родеров на одном театре войны. Но если враги навалятся со всех сторон?

— Тогда мы будем разбиты, Вудворт, — спокойно сказал Гамов. — Бороться против всего мира у нас нет сил.

Вудворт хмуро всматривался в Гамова. Гамов откинулся на спинку кресла, лицо у него было спокойным. Мы понимали, что он собирается предложить что-то новое. Но он не торопился. Вудворт прервал затянувшееся молчание:

— После такой блистательной победы, после разгрома лучшей армии врага вы готовы признать, что дальнейшая борьба бесперспективна?

— А вот это нет! Просто ныне ее нужно вести по-иному. Для Аментолы успех на войне определяется количеством дивизий, мощностью вооружений, густотой ливневых туч над равнинами врага... Но настало время перенести битву с затопленных полей, с воздушных просторов на решающий театр сражений — в души людей. Мы уже подготовили арену психологических сражений, нужно их решительно повести, пока Аментола и на этом театре не разработал контрборьбы.

Конечно, Гамов не отвергал полностью старых методов. Удар по Кондуку показал, что вполне возможно бить соседей поодиночке, пока они прочно не объединились.

Но главное не в частных удачных ударах, продолжал Гамов. Традиционная стратегия доказывает, что есть лишь два военных решения: либо нам захватить всю Кортезию — тогда война завершится нашей победой; либо кортезам с союзниками оккупировать Латанию.

— Но что значит — завершить войну в свою пользу? — развивал свою новую концепцию Гамов. — Нужно ли для этого, чтобы твои солдаты утапывали сапогами вражескую землю? Можно и так, но можно и по-иному. Оккупировать души врага, если нет возможности оккупировать его территорию! Если мы захватим их души, руки их опустятся. Оружие поражает тело, разрушает здания, но чтобы оно приступило к делу, нужно раньше отдать приказание словами. Если душа не захочет истребления, язык не произнесет приказа, оружие не будет стрелять. Вы говорите, нами командует политика, то есть интересы государства, законы стратегии, вековые обычаи? Но с высоты истинной нравственности — плевать мне на политику, на стратегию, на замшелые обычаи. Иду на души! Буду поднимать глубинное, вечно нетленное в каждом — высокое стремление человека быть человеческим. И если удастся пробудить к действию воистину божественное свойство в каждом из нас, то единственное, что делает каждого человека равнозначным Богу, — его внутреннюю человечность, тогда и только тогда конец досель бесконечным войнам. Вижу в этом суть своей миссии диктатора, то, ради чего я вообще появился на свет!

Гамов взволновался от собственной страстной речи. И мы взволновались, как это уже не раз бывало, когда он поднимался до пафоса. И в очаровании от силы его слова до меня не дошли некоторые странности его речи — они стали ясны лишь впоследствии.

— Кое-что для психологической войны мы уже сделали, — продолжал Гамов. — Подразумеваю и жестокие, оскорбительные кары за гражданские и военные преступления; и несуразно высокие награды за частные расправы с теми виновниками войны, до которых наши руки не дотягиваются; и поражающие воображение дары за добрые поступки, как в случае врача Габла Хота, тайно спасавшего наших пленных своей собственной кровью; и голодный режим, назначенный вражеским пленным в отместку за то, что они морили голодом наших солдат и офицеров; и милосердие, какое мы оказываем врагам, попавшим к нам в руки, позволяя их близким взять на себя их питание и лечение;

и то, что будем передавать на весь мир картины их жизни в лагерях, что разрешим их матерям, их женам прибыть самим на свидания с сынами и мужьями. Да и тысячи других актов и действий, потрясающих воображение, — мы их уже начали, мы их будем умножать.

— Самый очевидный пример нашей психологической войны — казнь захваченных в плен водолетчиков, — говорил Гамов. — Мы с вами понимаем, весь мир это понял — не было военной необходимости в смертной каре какой-то жалкой сотне пилотов, их смерть не ослабила водолетной мощи Кортезии, не усилила наши воздушные силы. Но она потрясла врагов больше любого проигранного ими воздушного сражения. Смерть везде жестока и отвратительна, на поле боя десятки тысяч мучительных умираний искалеченных солдат еще страшней, еще преступней быстрой гибели сотни пилотов, сброшенных на крыши своих домов. Но погибшие на поле только пополняют статистику потерь, о них не исходят кровью собственной души — кроме родных, разумеется. А гибель всего одной сотни пилотов поразила всю Кортезию — и не ее одну! Миллионы людей, и слыхом до того не слыхавшие об этих пилотах, возмущались, негодовали, страдали за каждого. И бурно ликовали, если кому-то удавалось спасительно запутаться в сетях.

— А добавьте к счастью спасения нескольких десятков пилотов, падавших с высоты на камни, ликование клуров, кинувшихся обнимать заложников, — продолжал Гамов. — Какая выигранная битва могла породить такой всеобщий восторг? И кара преступникам, и милость к спасенным — две стороны одной психологической атаки! И хочу обратить ваше внимание, Гонсалес и Пустовойт, на разный эффект этих двух сторон. Кара за преступление очень действенна, мы будем и впредь применять кары. Но милосердие еще действенней. Мы это увидели и в городах Кортезии, на которые валились тела их преступных сынов, и на аэродроме Клуре: спасение сильнее наказания! Будем твердо помнить это в новой фазе войны.

Гонсалес хмуро поинтересовался:

— Следует ли понимать так, диктатор, что захваченных в плен участников союзной конференции в Клуре уже не предадим Черному суду? Или не будем выносить суровые приговоры?

— Ни в коем случае, Гонсалес! Черный суд должен судить их сурово. Но если министр Милосердия найдет пути для смягче-

ния кар, то он должен это сделать. Почему вы смеетесь, Семипалов?

Я только усмехнулся. Чары вдохновенных слов перестали действовать сразу, как Гамов перешел от пафоса к выводам.

— Гамов, вы, кажется, решили заменить кровавые схватки на реальной земле красочными спектаклями на театральных подмостках?

Гамов обладал удивительной способностью наносить ответные удары тем же оружием, с каким на него нападали.

— Правильно! Именно театральные спектакли! Ибо схватка десятка актеров на театре поражает воображение тысячекратно сильнее, чем схватка того же десятка на грязной почве. Реальную борьбу видят только борющиеся, о ней газеты и стерео лишь упоминают. А поединок актеров на сцене видят тысячи глаз, тысячи душ захвачены им, тысячи людей сопереживают схватке — кто победит, какова участь побежденного? Страшная сила — театр! Мы будем бить противников глубокими театральными спектаклями. Только играть в них будут не актеры, а политики, военные, палачи и судьи Милосердия.

— Вы ставите искусство выше жизни?

— А разве искусство не важнейший элемент жизни? Три тысячи лет назад наши предки осадили какой-то городишко Тон, захватили и разорили его, жителей кого поубивали, кого увели в рабство. Что бы мы знали о той маленькой битве у стен крохотного Тона, если бы вдохновенный рапсод не поведал о ней в звучных стихах? Битва у Тона три тысячи лет волнует наши чувства! Искусство сделало эту битву нетленной. Рассказ о событиях много действенней самого события, если рассказано хорошо. Наша обязанность сегодня — поставить на мировом театре спектакли такой силы, чтобы их действие заполнило все души.

И считая, что спор со мной завершен, Гамов обратился к своим двухцветным судьям.

— Гонсалес и Пустовойт, вам ясно ваше задание?

Им все было ясно.

И Павлу Прищепе с Готлибом Баром, и Казимиру Штупе с Джоном Вудвортом тоже все было ясно — они продолжали свои обычные занятия. И Омар Исиро не испытывал сомнений, он тоже совершал привычное дело, только расширял его — политические спектакли должен был наблюдать весь мир. Мне и Пеано выпала самая трудная задача — готовить нападение на

Нордаг и Корину, противодействие южным соседям — и бес­срочно откладывать уже подготовленные срочные удары. Быть в постоянной боевой готовности и не начинать боя — формулируется спокойно только на бумаге, в жизни это мучительно. Мы ждали результата спектакля, который назывался судом над участниками конференции союзников в Клуре — до него нельзя было начинать реальные сражения.

Аркадий Гонсалес заполнял собою — своей гибкой фигурой, своим красивым лицом, своими злыми репликами и речами, своими сердитыми жестами — все пространство и все часы судилища. Массивный Николай Пустовойт находился на суде физически, но не функционально — ни одной речи не произнес, почти не подавал реплик. Вероятно, так задумал Гамов — на суде объявлялись одни кары, милосердие приберегалось для другого случая.

Участники конференции в Клуре не обвинялись в бандитских действиях, там не было и профессиональных военных. Дипломаты, журналисты газет и стерео, бизнесмены, даже писатели и ученые — вот кого захватили наши водолетчики в Ферморе. Среди пленников я увидел и наших старых знакомых — философа Ореста Бибера и писателя Арнольда Фалька. На стандартных преступников люди эти не походили. И хоть все они читали “Декларацию о войне”, и хоть все знали о жестокой расправе в Кондуке, ни одному, думаю, и в голову не приходило, что с ними поступят не милосердней, чем с парламентариями.

Гонсалес сразу объявил: суд не нуждается в адвокатах и обвинителях. Важно лишь то, чем занимался обвиняемый, содействовала или мешала войне его профессия. И наказания выдавались по профессиям — одни дипломатам, другие — промышленникам, третьи — журналистам. Пустовойт потребовал, чтобы каждый написал в записке на его имя, совершил ли он в дипломатических спорах, в производстве военных товаров, в статьях и передачах по стерео что-либо мешающее войне, хотя бы словесно затрудняющее войну. Только такие поступки могут гарантировать милосердие.

Все Ядро заранее высказало свое согласие на запланированные жестокости. Но это не значило, что все решения суда были нам по душе. Что до меня, то я испытал омерзение, когда Гонсалес объявил первую серию кар за словесные восхваления войны: смертный приговор журналистам, пропагандирующим войну, и не простую смерть, а удушение путем вталкивания в горло

их военных статей. Впрочем, и кара военным промышленникам была не легче — смерть от проглатывания акций их предприятий. И только в одном случае министр Милосердия все-таки потребовал милосердия: изобретатель витаминных галет и сухого супа представил доказательство, что его галеты и супы охотно поедают дети, а не только солдаты. Пустовойт настоял на его освобождении и выдал на расширение его фабрики ассигнования из фондов Акционерной компании Милосердия. Один акт милосердия немного стоил перед сотней кар. Я высказал это самому Пустовойту. У него жалко исказилось лицо.

— Андрей, я делал все, что мне приказал Гамов.

— Гамов приказал тебе не поддакивать Гонсалесу, а выискивать возможности милосердия. Какое же милосердие — визировать смертные приговоры мелким газетчикам?

Гонсалес уже назначил исполнение приговоров. Но президент Аментола обратился к Гамову с личным посланием. Это было так непредвиденно, что я не поверил, пока не включил стереовизор, — Аментола сам зачитывал свое обращение к диктатору Латании.

Президент Кортезии предложил задержать кары, пока в Латанию не прибудет некий Том Торкин, посол по особым поручениям. Задание Торкина — согласовать с правительством Латании условия освобождения дипломатов, журналистов и прочих известных людей, захваченных на конференции в Клуре.

Гамов созвал Ядро.

— Что значит такое послание? Только забота о сотне людей, среди которых большинство даже не кортезы? Не кроется ли в приезде Торкина прощупывание условий мира? Ваше мнение, Вудворт!

Худое лицо Вудворта выразило отвращение, когда он заговорил о Томе Торкине.

— Если бы Аментола реально задумывался о мире, он не послал бы жирную бестию Тома Торкина. Этот человек для серьезных переговоров не годится. Торкин приезжает обвести нас вокруг пальца, обдуривание людей — его призвание.

— Исполнение приговоров отложим, — решил Гамов. — Тем более, что новый член Белого суда подал протест на все решения Гонсалеса и Пустовойта.

— Новый член Белого суда? — Ни о каких переменах в судилище мне не докладывали.

— Он прилетел сегодня — и сразу запротестовал. Это ваш старый знакомый, Семипалов, — посол Ширбай Шар. Бар, доложите о своих новостях.

Готлиб Бар вчера вечером получил телеграмму от Кнурки Девятого: король Торбаша согласился внести вступительный взнос в Акционерную компанию Белого суда, деньги везет его представитель. Шар вылетел на единственном водолете, имеющемся в Торбаше, он доставит также официальный протест на все приговоры Объединенного суда.

— И вы об этом ничего не знали? — спросил я Вудворта.

— Ни меня, ни Гамова король не информировал.

— Он вел переговоры со мной, — разъяснил Бар. — Считает членство в Белом суде коммерческим делом, а коммерция — моя область.

— И одновременно мстит мне за те унижения, каким подвергся не так давно его посол, — спокойно добавил Вудворт. — Такие язвительные уколы в духе его величества короля Торбаша.

— Мщение или забывчивость от спешки, но приезд нового члена суда приветствуем, — сказал Гамов. — Еще на подлете к нашим границам Ширбай попросил двух аудиенций — у Вудворта и у Семипалова. Исправляет оплошность своего короля.

— Прием послов — дело Вудворта, — заметил я.

— У него к вам личное дело. Прищепка, что у вас?

Прищепка сообщил, что в Кортезии создана Администрация Помощи военнопленным с фондом в несколько миллиардов диданов — рассчитывают на взносы родственников. Спешно готовятся списки лиц, желающих посетить наши лагеря, первая партия уже готова, одни женщины.

— Отлично, — сказал Гамов. — Еще новости?

— Одна заслуживает внимания. Среди военнопленных обнаружены обманы. С полсотни из страха наказания прикинулись другими людьми. Среди них две женщины, объявившие себя медсестрами: Луиза Путрамент, дочь президента Нордага, и Жанна Торкин, падчерица того Тома Торкина, что летит к нам эмиссаром Аментолы. Жанна захвачена на конференции.

— Путрамент и Торкин знают, что их дочери у нас?

— Должны знать. Но живые или мертвые — вряд ли им известно. Я велел тайно перевести обеих пленниц в Адан.

Ширбай Шар так радостно осклабился во всю губастую пасть, словно приветствовал дорогого друга.

— Рад! Безмерно рад! Подставить шею петле, несколько минут подрыгать ногами в воздухе — и ни одной морщины! Вы выглядите помолодевшим, генерал!

— Успех молодит! — холодно объяснил я. Этого развязного человека, шпиона по призванию и ремеслу, камуфлирующегося под дипломата, надо было осадить. Он портил мне нервы — и ухмылкой, и слишком громким голосом, и непозволительно дружеским обращением. — Вы просили у меня приема. Слушаю вас, Ширбай Шар.

Дипломатическая натасканность все же в нем имелась. Он мигом перестроился.

— Собственно говоря, я хочу... Я ведь теперь член Белого суда и могу как-то влиять на его решения...

— Знаю. Но я не член ни Белого, ни Черного суда и на их решения не влияю.

Он усмехнулся. Он не был глупцом.

— Думаю, ваше влияние на оба суда гораздо больше моего. Хочу обратиться к вам с просьбой. Но раньше вопрос — ваш сотрудник и мой друг Жан Войтюк не схвачен?

— Мне об этом не докладывали.

— Эта бестия умеет замечать следы. Но прошу не о нем, а о его жене. Анна Курсай исчезла.

— А какое я имею отношение к женщине, которую лишь один раз видел на каком-то приеме?

— Самое прямое, генерал. Анна думает, что Жан погиб. Она вам этого не простит, вам удалось его перехитрить с дьявольской ловкостью... простите, генерал, с блестящим мастерством.

Я не понимал, куда он клонит.

— По-вашему, я должен просить прощения у Анны Курсай? Вашей любовницы, если не ошибаюсь? Вы ведь подарили ей фамильную драгоценность. Мы с пониманием оценили ценность подарка.

Самообладание на миг изменило ему.

— Ничего вы не могли оценить! И понимания не было. Ваша разведка примитивна. Скажите полковнику Прищепе, чтобы он не пребывал в заблуждении: Анна владела бы не одной, а всеми драгоценностями моего рода, если бы была моей любовницей.

А вам признаюсь — единственным ее даром была пощечина, когда ей показалось, что я перехожу границы.

— Зачем мне подробности ваших любовных неудач и успехов?

— Повторяю: Анна исчезла! У меня тоже есть разведка, хотя и не столь оснащенная, как у Прищепы. Анна задумала что-то плохое. И если она попадет в тенета Прищепы или в тюрьмы Гонсалеса... Будьте к ней снисходительны, генерал! Не все же люди только пешки в политической игре, каким был мой бывший друг, этот умный глупец Войтюк.

Я вглядывался в Ширбая Шара. Он волновался.

— Ширбай, ответьте мне со всей искренностью: вы придумали эту комедию с членством в Белом суде? И убедили короля заплатить солидный взнос за бесполезное участие в Акционерной компании Милосердия, не сказав ему, что единственное ваше желание — приехать в страну любимой женщины, чтобы выручить ее из гипотетических неприятностей? Я правильно формулирую ваши тайные намерения, посол короля Кнурки Девятого и член Белого суда Ширбай Шар?

Это был прямой удар в лицо. И Ширбай не только стерпел, но и нанес ответный удар. И должно было пройти немало времени и отгреметь немало событий, прежде чем я ощутил всю силу его удара. Я недооценивал Ширбая Шара.

— Абсолютно правильно, генерал. Эта женщина, которую мне ни разу не удалось поцеловать, мне дороже всех моих успехов на дипломатической арене, дороже всего, что мой король считает пользой для нашего государства. Вы угадали: я уговорил короля войти с вами в дружбу, чтобы иметь свободный въезд в вашу страну. А здесь я для того, чтобы разыскать Анну, отговорить от безумных мыслей, которые ее, уверен, одолевают. Я здесь, чтобы спасти ее, вы правы! Но теперь и вы, Семипалов, ответьте со всей искренностью: знает ли ваш диктатор о том, что вы считаете членство в Белом суде комедией, а не важной политической акцией? А большие взносы ради такого членства бесполезными тратами денег? И не покажется ли ему, что расхождение ваших политических программ, которое вы демонстрировали Войтюку, вовсе не обманная игра, а реальное несходство взглядов? И не усомнится ли ваш умный диктатор, точно ли вы верный его последователь, каким он вас афиширует? И не верней ли признать вас потенциальным противником,

еще не осознавшим, что расхождение взглядов неминуемо приведет к распаду единства?

— Вас это интересует как разведчика? — гневно осведомился я. — И разведчика в чью пользу? Короля Кнурки, которого, несмотря на всю его хитрость, вы водите за нос? Или президента Аментолы? Вас соблазнила профессия вашего друга Войтюка? Но тогда призадумайтесь и о его судьбе.

Он понял, что распахнул руки шире, чем мог захватить, и навел на широкощекое, краснокожее, губастое лицо мину вежливого раскаяния.

— Генерал, я не был настоящим разведчиком! И поддавался настояниям Войтюка потому лишь, что это давало возможность видеть его жену. Надеюсь, вы не используете моих искренних признаний мне во вред? Кнурка верит мне, но вера не продлится дальше первого обнаруженного обмана. А из сегодняшней нашей беседы разрешите запомнить только два момента: что я просил вас быть снисходительным к Анне, если она совершит наказуемый поступок, и что вы обещали мне эту снисходительность. Все остальное не заслуживает запоминания.

— Меня устраивает такая память о нашем разговоре, — сказал я.

После его ухода я проверил, включен ли датчик, соединявший меня с Гамовым. К счастью, я позабыл о нем перед приходом Ширбая Шара. Я ничего не сказал против Гамова, но не хотелось, чтобы он слышал мою беседу с Ширбаем: тот изощренно выворачивал наизнанку простые слова. Можно было лишь удивляться, что у такого прожженного политикана сохранялись человеческие чувства, вроде неугасающей любви к женщине, отказавшейся быть его любовницей. Об Анне Курсай я, естественно, сразу же забыл, чуть Ширбай Шар прикрыл за собой дверь.

Встреча посланца Аментолы состоялась в зале заседаний дворца. Присутствовало все Ядро, а также Пимен Георгиу и Константин Фагуста. Георгиу опубликовал в “Вестнике Террора и Милосердия” восторженную статью о том, что наступили времена высшей справедливости. Преступления против человечества больше не маскируются под военные успехи, дипломатические удачи, журналистское красноречие и экономические достижения, а называются просто и исчерпывающе злодействами. И соответственно приносят их творцам не выгоды, а кары. Я

удивился, что Пимен Георгиу мог так горячо написать, у этого скучного человека и перо было скучное.

Для истины, впрочем, упомяну, что противоположная статья Фагусты была написана с не меньшим жаром. Лохматый лидер оптиматов построил ее на парадоксе: злая кара за преступление тоже разновидность преступления, ибо оставляет зловещую возможность кары за кару. Вина обвиняемых доказана, соглашался Фагуста, но соразмерно ли наказание? “Какая б ни была вина, ужасно было наказание”, повторял он где-то вычитанную стихотворную строчку. И вопрошал, а будет ли суд над судьями? Некий философ назвал однообразное повторение одних и тех же явлений дурной бесконечностью. Не станет ли непрерывное чередование преступлений и кар такой дурной бесконечностью?

Том Торкин вошел вместе с Вудвортом, министру Внешних сношений по ритуалу полагался первый визит. Визит прошел без удачи — Вудворт хмурился, сжимал губы. Впрочем, голос его звучал бесстрастно, голосом он владел лучше, чем лицом.

Торкин обошел нас всех, каждому улыбался, каждому говорил что-нибудь равноценное комплименту, но с той нахальной развязанностью, что свойственна лихим парням Кортезии, волею случайности либо содействием родителей вскарабкавшихся на высшие этажи общества. Гамова Торкин чуть не обнял и при этом воскликнул с пафосом: “Счастливы приветствовать великого полководца и политика!”, мне небрежно бросил: “Вы хорошо выглядите, дорогой генерал!” Бару он протянул руку низом, будто хотел похлопать по объемистому животу: “Мы с вами, господин Бар, малость перебрали, вы не находите?” Только для красавца Гонсалеса у него не хватило развязности, тот слишком стиснул его руку, Гонсалес любил поражать людей неожиданной для такого стройного человека силой, приличествующей скорее штангисту или боксеру, — Торкин побледнел, прикусил непроизвольно рвущийся из груди ох и поспешно отошел. Внешне он выглядел массивной тушей на двух столбах. А руки у него были так коротки, что вряд ли он мог свести их над головой. Готлиб Бар, которого он радостно упрекнул в чрезмерной толщине, рядом с Торкиным выглядел почти изящным.

Гамов показал Торкину на стул против себя.

— Господин посол, мы готовы вас слушать.

И Торкин сразу завел тягомотину. Он свято держался канонов дипломатии — то самое, чего Гамов не терпел. Если бы он не

принадлежал к кортезам, противникам латанов, а был нейтралом, то непременно поздравил бы господина диктатора с блестящим успехом — тайным созданием воздушного флота. Господин диктатор, конечно, не сомневается, что если бы разведка Кортезии своевременно донесла о глухо затаенных заводах Латании, то для могучей промышленности Кортезии не составило бы труда построить в короткое время флот еще мощней — и тогда в плену сегодня находились бы не члены мирной конференции в Клуре, а многие уважаемые господа, сидящие в данную минуту за данным столом.

Гамов с раздражением прервал его:

— Господин посол, кто же все-таки победил, вы или мы?

Торкин почти благодушно отозвался:

— Не победили, нет, только выиграли одно сражение. Говорю о вашем успехе, как он того заслуживает. Поверьте, Гамов, я больше всех ценю ловкость, с какой вы подготовили обманный удар. Но на обмане не выиграть войну. Промышленная мощь моей страны трижды превосходит мощь Латании. А в длительной войне решают промышленные возможности, а не ловкие обманы.

Пеано, обычно умело скрывающий свои эмоции, благостно улыбался — плохая примета для тех, с кем собирался спорить.

— Так в чем же дело, господин посол? Давайте еще разок встретимся на поле боя. Почему бы вам не пересечь океан и снова не высадиться в прекрасных гаванях Клуре?

Торкин держал себя как победитель, а не как проситель.

— Нет, мы пока не будем высаживаться в Клуре. Есть иные возможности показать нашу силу. Второй город вашей страны, ваш знаменитый Забон, с трех сторон обложен, только узкая полоска соединяет его с остальной страной. И на юге и востоке с вами соседствуют государства, которые ждут лишь нашего пожелания, чтобы выступить.

Гамов проговорил с холодной насмешкой:

— Не пойму, чего вы добиваетесь? Или в связи с нашей победой над вами в Патине и Родере вы приехали требовать нашей капитуляции? Я верно понял вашу миссию?

Торкин гнул свою линию.

— Я изложил объективное состояние мировых сил, чтобы не было, так сказать, головокружения от успехов...

— Повторяю: требуете нашей капитуляции? И думаете, что если этого не достиг маршал Ваксель, то сможете добиться вы своими хвастливыми речами?

Том Торкин, хоть и был информирован о характере Гамова, прямой грубости не ожидал. Справившись с минутным замешательством, он продолжал:

— Нет, не о капитуляции... Просто — вы освобождаете всех преданных Черному суду и передаете их мне.

— Посол, кто из ваших начальников так глуп, что поручил вам выполнить столь глупое задание? Никогда не считал президента идиотом. Или он уже не властен у вас?

Посол Аментолы вдруг увидел, что миссия его провалилась и что сам он перед разверзшейся пропастью. Он судорожно отпрянул от бездны.

— Не даром, нет! Услуга за услугу — вот такое предложение. Вы освобождаете наших пленных, а мы уговариваем нордагов снять окружение Забона. Такой великий город! И какая плата — всего сто человек выпустить на свободу!

— Полуокружение, а не окружение, — поправил Гамов. — Это уже похоже на политический ход — тоже неумно, но внешне логично. Торговля союзниками ради своих интересов.

— И их интересов тоже. Среди преданных суду и нордаги — журналисты, промышленники, двое священников. С президентом Путраментом все согласовано, можете не беспокоиться.

— Не буду беспокоиться. Побеспокоюсь о другом. Ни вам, ни вашим начальникам не приходила в головы мысль, что мы и не нуждаемся в благоволении Путраменты, чтобы снять полуокружение Забона? Мы уже раз отгоняли его армию от города, отгоним опять.

Тяжкое положение создалось у толстяка Тома Торкина. Он сперва запугивал нас потенциальным могуществом своей страны, потом растерялся от грозных насмешек Гамова. А когда совершенно упал духом, вдруг замерцал свет удачи — Гамов заинтересовался сделкой: бескровное освобождение города ценой освобождения кучки пленных. Посол сделал худший ход, какой мог сделать в этой рискованной игре — снова грозил.

— Диктатор! Вы пленник иллюзий. Сумели однажды отогнать неподготовленных нордагов. Больше и не мечтайте о такой удаче. Несчастный Ваксель так их оснастил! Как раз отданных нордагам запасов не хватило маршалу, чтобы отразить ваш внезапный удар.

— Вы правы — именно этих запасов. И еще тех, которые вы бездарно расплескали по своим союзникам, так и не выступившим на помощь маршалу. Нордаги — тоже, хоть их вы оснасти-

ли лучше других. Путрамент должен был, захватив Забон, участвовать с маршалом в победном марше на нашу столицу. А что сделал?

Каждый новый ход посла был все хуже.

— Падение Забона ныне может изменить течение всей войны. И потому мое предложение...

— Да, проблему Забона надо решать, — прервал Гамов посла. — Но мы решим ее собственными средствами. Скажите, Торкин, что вам известно о вашей падчерице Жанне?

Торкин впился глазами в Гамова. У него перехватило горло. Гамов вежливо произнес:

— Вы не расслышали? Тогда повторю.

Торкин справился с растерянностью.

— Жанна уехала на конференцию в Клуре. В списке привлеченных к суду я ее не увидел. Может, она в лагере военнопленных? После благополучного завершения наших переговоров...

— Переговоры завершены. Вы не привезли умных предложений. Но сведения о вашей дочери могу дать и сейчас. Она назвалась другой фамилией. Ее зовут ныне Гармиш, Жанна Гармиш. Вам что-нибудь говорит эта фамилия?

— Это фамилия ее жениха. У меня с ней были нелады, но чтобы отказаться от моей фамилии!.. Диктатор, что ждет мою дочь?

— Казнь, — холодно сказал Гамов. — Завтра утром. Ваша падчерица открестилась от вас, но у нее хватает своих преступлений. Суду предъявлена ее поэма о подвиге мужчин, сражающихся во имя чести и геройства. Гонсалес, вы читали поэму Жанны Гармиш?

— Очень сильные стихи! — Гонсалес одобрительно кивнул. — Такие рифмы! Аллитерации, гармония и композиция — выше всех похвал! Сотни юнцов, прочитав эти строчки, побегут за оружием. Единогласно осуждена на смерть.

Гамов вызвал охрану и приказал проводить потерявшего голос Торкина. Посол все же нашел силы обвести нас ненавидящим взглядом. И шел он спокойно, ровно шагал по ковровой дорожке. За дверью он потерял сознание. После его ухода я заговорил первый:

— Гамов, мы привыкли подчиняться вам, хоть порой это и трудно. Но зачем такая торопливая казнь? Аментола может найти иные пути, кроме предательства своих союзников...

И тени колебаний мы не услышали в голосе Гамова:

— Нам не нужны соглашения с Аментолой по мелким поводам. Мелким, Семипалов, мелким — ежедневно на фронтах неизвестно гибнут сотни людей, а чем они хуже этих, осужденных? Но казнь этих потрясет весь мир. Ради спасения неизвестных, ежедневно гибнущих, нужна гибель всем известных и сановитых, самых виновных, самых ответственных за войну. Нам нужен мир, только мир, все остальное, как бы оно ни было важно, неудача.

Спорить больше было не о чем. Война — не предмет торга, это понимал не один я. Я посмотрел на Пустовойта. Он имел право возгласить милосердие. Он молчал, ни на кого не глядя. Гамов закрыл заседание.

14

Казнь совершилась на рассвете на плацу городской тюрьмы. Зрелище было слишком тягостным, даже Исиро не захотел передавать его в эфир, лишь объявил о казни и о том, что некоторые из казненных наговорили на пленку свои прощальные слова миру. Только высылку Исиро показал — толпу понурых людей, еще недавно знаменитых деятелей, под крики конвойных усаживали в зарешеченные машины. Там были и женщины, но Жанны Торкин, скрывшейся под псевдонимом Жанны Гармиш, я не увидел, ее казнили. В тот же день улетел и неудачливый эмиссар Аментолы. Я увидел его по стерео, за одну ночь он постарел на десяток лет.

А спустя несколько дней мир облетело известие, что жена Тома Торкина, известная эстрадная певица Радон Торкин, застрелила своего мужа.

Весть о неудаче миссии Торкина опередила его возвращение. Он еще летел через океан, а в Кортезии уже бушевали. Торкина обвинили в дипломатической бездарности и даже в том, что он намеренно сорвал переговоры с нами, так как среди осужденных были его личные соперники. А жених Жанны Ричард Гармиш заявил, что оплакивает смерть своей возлюбленной и горд, что перед смертью она приняла его фамилию.

Полиции и журналистам Радон Торкин объяснила, что муж не сделал ничего, что бы могло спасти ее дочь, и потому больше не заслуживал жизни. И еще сказала эта решительная особа, что в гибели ее дочери президент Аментола виноват больше ее мужа. И потому, если ее оставят на свободе, она прикончит и Аментолу. Многие газеты выступили в ее защиту — не в части

угроз Аментоле, а как страдающей матери. Появился комитет, требующий ее судебного оправдания.

Все это доложил нам Прищепа.

— В общем, шум, — задумчиво сказал Гамов.

— Огромный! Передачи из лагерей военнопленных уже смотрели миллионы кортезов. Не меньше трети населения Кортезии усаживается перед стереовизорами, когда Исиро объявляет выход в эфир военнопленных.

Прищепа вдруг засмеялся.

— Я забыл сказать, что Торкин соответствует кругу политических преступников, за смерть которых Черный суд обещал награду в сто тысяч диданов. Журналисты поинтересовались у Радон, не желает ли она затребовать гонорар за убийство — сумма все же побольше ее артистических гонораров. Она ответила, что не думала об этом, но если истребует черный гонорар, то это будет самым ценным подарком от мужа за всю их супружескую жизнь. Две адвокатские конторы предложили услуги для переговоров с Акционерной компанией Террора. Теперь о поездке первой делегации женщин Кортезии в лагеря военнопленных. Бар поставил условие — раньше продукты, потом делегации. Продукты для пленных уже пришли. На этой неделе и женщины придут в Адан. Готовьте пламенную речь, диктатор.

— За речью дело не станет, — сказал Гамов и, помолчав, добавил: — Возможно, я излишне много надежд возлагаю на этих женщин, но поскорей бы покончить с войной...

Если бы Гамов не признался в так несвойственных для него сомнениях, я и не подумал бы идти на встречу с делегатками Администрации Помощи. Скажу о ней несколько слов. Она не только была создана поразительно быстро, но и в считанные дни свезла в порты массу продовольствия, Аментола не осмелился запретить помощь своим пленным воинам, хотя в Сенате признал грабежом колоссальные изъятия из продовольствия, которые планирует Бар, на что со скамей оппозиции ему возразили: в войне бывают потери и покрупней, чем часть посылок: даже если одна десятая дойдет до голодающих парней, то и на это надо соглашаться, ибо без этой десятой они наверняка погибнут.

Чтобы самому увидеть, как могут действовать на кортезов передачи Исиро из лагерей военнопленных, я всю ночь просидел перед стереовизором. Стереосеансы стали частью не только психологической, но и экономической борьбы: многие кортезы

пренебрегали даже службой, если появлялась надежда увидеть среди пленных сына, мужа или брата. Я посмотрел три северных лагеря, из самых режимных: бревенчатые бараки, длинные столы, исхудавшие, ослабевшие люди, мало похожие на тех бравых солдат и офицеров, что еще недавно сдавались нам в плен, жадно хлебали варево. Один за другим пленные возникали на экране и что-нибудь — в пределах одной минуты, дабы высказалось побольше людей — говорили в эфир, надеясь, что их в эту минуту видят близкие.

— Мама, я здоров! — кричал какой-то юноша. — И скажи Кэт, что я все время думаю о ней, она мне часто снится.

— Пока неплохо, — говорил другой, тоже из молодых, — но очень хочется есть. Надеюсь, вы не забыли, что у вас есть несчастный брат и что он вас помнит и любит?

Один пленный средних лет напоминал семье за океаном:

— Долги надо платить! Столько я сделал для вас! А вы? Если хотите когда-нибудь увидеть меня, раскошелитесь, пока я не погиб, как голодная собака. Здесь не райский уголок.

А высокий, очень красивый человек резким приказным голосом выговаривал всей своей стране — вероятно, не было родственников, на которых мог бы излить злость:

— Над нами поставили бездарных генералов, ими командовали бездарные политики. Я требую, чтобы тех, кто виноват в нашем поражении, отдали под суд. Вы готовите нам жалкие подачки, мы знаем об этом. Но подачками не загладить государственных преступлений. Мы требуем возмездия, а не милостыни.

Этот сердитый пленный был все же исключением — во всяком случае, в ту ночь, когда я смотрел передачи из лагерей. Большинство извещало о своем здоровье, просило их не забывать. В общем все передачи, как и задумывалось, возбуждали волнение у родных, призывали к действиям для мира, а не для войны. Эту психологическую атаку Гамов мог считать победной. А я, отправляясь на встречу с первой делегацией из Администрации Помощи, уже представлял себе, что они знают о наших лагерях, чего сами ждут от нас и чего мы можем ждать от них.

Их было двадцать — все женщины. Мы с Павлом Прищепой и Вудвортом явились раньше Гамова. Женщины встали, когда мы вошли в зал, но я попросил их сесть: мы здесь только зрители и слушатели. Они сидели в молчании, пока из своего бокового помещения не появился Гамов. Женщины снова дружно

встали и приветствовали его — вероятно, заранее репетировали сцену свидания с диктатором Латании.

— Рад вас видеть, дорогие гости! — ласково сказал Гамов. — Я знаю: вы родственницы тех, от которых мы недавно отбивались с оружием в руках. Но сейчас ваши родные в нашем плену, они для нас уже не враги, просто несчастные жертвы преступной войны. И вы для нас не посланцы враждебной державы, а страдающие женщины — и горю, и заботам вашим мы сочувствуем. Теперь я слушаю вас. Кто будет говорить?

И Прищепа, и Вудворт, и я понимали, что Гамов готовился разыграть один из возвещенных им спектаклей — и сюжетом спектакля станет милосердие. Но ни один из нас не догадывался, как он поведет действие. Гамов умел быть непредсказуемым, а в данном случае непредсказуемость планировалась. Что до меня, то, не затрудняясь предугадыванием беседы Гамова, я только рассматривал деятельниц Администрации Помощи. И в очередной раз я убедился, что не физиономист. Женщины были как женщины, немного различались возрастом, ни старух, ни девчонок не было — что-то между тридцатью и пятьюдесятью годами, так я определил. Если бы меня заставили описать характеры этих женщин по их внешности, я сразу бы спасовал: только такие яркие, как Людмила Милошевская, Анна Курсай или моя жена могут при одном взгляде на них поведать что-то важное о себе. Вероятно, предвидя их безликость, Гамов и потребовал подробных сведений о каждой — задумал сразиться с каждой индивидуально, а не воздействовать на безликую массу. В трех местах по залу Исиро разместил стереопередатчики, они высвечивали каждое лицо, выносили в эфир каждое слово. Спектакль был срежиссирован опытной рукой, мы только не знали, как он реализуется.

Начать беседу вызвалась одна из женщин постарше. Она церемонно представилась — Норма Фриз, профессор математики, автор двух учебников, член совета Администрации Помощи, мать Армана Фриза, студента, ныне военнопленного. Она с радостью пользуется случаем, чтобы воздать хвалу диктатору Латании за его великодушное разрешение помогать солдатам и офицерам, попавшим в плен. От имени всех женщин, чьи дети и мужья находятся сегодня в плену, она благодарит диктатора — всей своей женской душой, всем своим материнским сердцем признательна, бесконечно признательна!

Выговорив признательность ораторским голосом, таким она, наверно, читала лекции своим студентам, Норма Фриз поклонилась и села. И сразу вскочила ее соседка и повторила, только похуже, те же благодарности, а за ней третья и четвертая одинаково уверяли в признательности диктатору Латании. Гамов хмурился, напускная ласковость быстро исчезла, в глазах появился холодный блеск — верный знак сгущавшегося гнева. Гнева у Гамова я никак не ожидал. Для гнева не было причин, он обычно появлялся, когда Гамов наталкивался на сопротивление, сейчас даже намек на противодействие не возникло: унижение, лесть, боязнь рассердить всемогущего властителя — только это слышали мои уши и видели мои глаза, — отнюдь не причина для ярости. Воистину Гамов был непредсказуем!

Он вдруг резко прервал очередную делегатку и сам поднялся. Невысокий, Гамов совещался и спорил сидя, произносить речи он мог лишь стоя. Сейчас он заводил себя на сильную речь.

— Итак, вы меня благодарите, — сказал он. — Восхваляете мое великодушие, мою доброту, мое великое милосердие... На такие лестные признания я должен ответить, как они того заслуживают. И я отвечаю: мне стыдно за вас, женщины! Мне неприятно слушать вас! И я жалею, что не имею права крикнуть вам: подите прочь, отвратительно мне, как вы говорите, как держите себя со мной!

Он помолчал, чтобы усилить эффект. И Вудворт, и Прищепа, и я ожидали неожиданностей, но все же не таких. Прищепа потом признался, что рассчитывал на неслыханные послабления, может быть, даже амнистию для военнопленных, перевод из лагерей строгого режима на вольные поселения и работы. Такие действия обычный рассудок не смог бы счесть удачными в условиях продолжающейся войны, но они отвечали бы возвещенному курсу на милосердие. Гневное нападение на женщин, явившихся вестниками практического милосердия, не могло возникнуть в воображении Павла — и моем тоже. А Гамов продолжал, стоя у торца длинного стола:

— Кого вы благодарите, за что благодарите, женщины? Вы благодарите человека, приказавшего убивать ваших мужей и детей, брать их в плен, бросать в каторжные лагеря на голод, на физические и нравственные страдания. Именно я своим приказом осудил их на муки и унижения, а вы восхваляете меня, готовы на колени пасть передо мной из благодарности... Как это

принять? Как это вытерпеть? Неужели в вас не осталось ничего истинно человеческого?

Он уже не говорил, а выкрикивал обвинения. Он вдруг вышел из-за стола и стал обходить женщин, гневно всматриваясь в каждую. И каждая со страхом обращала к нему лицо, и было видно, что она не знает, какое оскорбление — еще страшней уже произнесенных — на нее обрушится, то ли прямая пощечина, то ли угроза ареста и заключения: всё казавшееся несколько минут назад абсолютно немыслимым вдруг стало реально ожидаемым... У меня перехватило дыхание, такого Гамова я еще не видел.

Гамов остановился перед худенькой, светловолосой женщиной с почти бескровным лицом, она с ужасом подняла руку — защищалась от грозящих слов, как от летящего в нее камня.

— Элиза Паур, вспомните, как вы выхаживали своего маленького Курта, — произнес Гамов каким-то свистящим голосом, этот необычный голос пронзал все тело, а не только проникал в уши. — Вспомните, как он болел, какими муками, бессонными ночами, слезами, мольбами вы спасали его — и спасли! Вспомните, как вы плакали, когда выздоровевший Курт обнял своей худенькой ручонкой вашу шею, как вы были счастливы, что он выжил, что быть ему здоровым и веселым. Вспомните, как вы радовались его успехам в школе, его мастерству в студии, вы знали, вы верили, что он станет великим скульптором... Ваш Курт потерял в бою правую руку, он навеки калека, никогда ему не быть скульптором, жизнь исчерпала для него половину своей ценности... Почему вы не проклинаете тех, кто довел его до такой горькой участи? Почему благодарите меня, одного из виновников трагедии вашего несчастного Курта? Где ваша материнская любовь, ваше женское, ваше человеческое достоинство, Элиза Паур? Столько сил, столько души потратить на благополучие его жизни — и благодарить за великодушные того, кто сделал эту жизнь навеки несчастной! Можно ли уважать вас после такого недостойного поступка, Элиза Паур, мать-предательница собственного сына?

Элиза Паур разрыдалась, уронив голову на стол. Я не видел ее лица, плечи ее тряслись, светлые волосы разметались по столу. Гамов постоял над ней и отошел к Норме Фриз. Руководительница делегации безвольно поднялась, страшно бледная, губы ее подрагивали — ни одного слова не могла она произнести. Даже тени недавнего достоинства, уверенности в себе не оста-

лось в этой сгорбившейся, мгновенно постаревшей женщине. Гамов говорил со страшной силой:

— Профессор, учитель молодежи, наставник юных душ, вы гнали своих учеников на смерть, на увечья, Норма Фриз! Вы называли это благословением, мать двоих детей! Вы благословили своих сыновей на подвиг, так вы называли то преступление, которое им предписали — идти и убивать таких же юношей, как они сами! Один из ваших сыновей, прекрасный мальчик Петр Фриз гниет сейчас в смрадной яме, где сотни разорванных тел так смешались, что только головы можно отделить одну от другой, не ноги, не руки, не распавшиеся ребра. За что вы судили своему ребенку такую страшную участь? Для чего вы столько лет холили своего Петра, доброго и нежного, ответьте мне, Норма Фриз! Для того, чтобы одна молния импульсатора, один заряд вибратора превратили его стройное тело в месиво кровоточащих тканей, в бесформенный мешок костей, над которым еще какую-то секунду возносилась последняя частица его живого существа, последний отчаянный вопль: “Мама! Мама!”

Норма Фриз закрыла лицо руками, холеные пальцы до крови впились в лоб и щеки. Она простонала:

— Пожалейте! Молю вас, пожалейте!

— Жалеть вас? — с негодованием переспросил Гамов. — Жалеть женщину, которая собственных детей не пожалела? Не вижу для этого оснований, профессор Норма Фриз! Вас надо наказывать и мучить. А не жалеть! И все ваши страдания будут, знайте это, несравнимо меньше мук ваших детей, мук, вызванных вашими преступными словами о подвигах на поле брани. Нет, вы неспособны понять меру своего падения, мать-изменница! Наказать бы вас единственным наказанием, какое может сравниться с вашей виной, — вызвать вашего второго сына Армана из лагеря военнопленных и казнить его перед вами, на ваших глазах, чтобы вы во всей силе почувствовали, что такое война, которую восхваляли в своей прошлогодней речи в Академии, чтобы вы, уже не профессор, просто мать, услышали предсмертный крик Армана: “Мама, мама, пожалей меня!”

Норма Фриз протянула к Гамову руки, отчаянно выкрикнула:

— Вы не сделаете этого! Не сделаете!

— Не сделаю? Вы уверены в этом? — Гамов уже не играл заранее обдуманной спектакль, а реально жил порожденной им сценой укора и обвинений. Я содрогнулся, я вдруг понял, что Гамов и впрямь может исполнить все, чем грозит жалкой групп-

ке испуганных женщин. — А почему бы мне не сделать? Арман — ваш сын, самое дорогое вам существо в мире, и вы лживой, преступной речью послали его на гибель, его и другого вашего сына, уже погибшего Петра, назвав их горькую участь подвигом. А для меня ваши сыновья — враги, явившиеся в мою страну с оружием губить моих собственных детей, тысячи, сотни тысяч дорогих мне детей. Месть вашему сыну — акт спасения моих парней. Как же мне отказаться от мести, в которой хоть крохотное, но реальное зерно вызволения моих сыновей? Казнить вашего Армана, сделать его навеки безвредным для моих юношей, одновременно наказать вас, чтобы всем матерям стала со всей жестокостью ясна преступность восхваления воинских подвигов — разве это не справедливое действие политика, восстанавливающего справедливость в нашем извращенном мире?

Каждое его слово било как обухом — оглушало, путало мысли, терзало сердце каждой из двух десятков женщин, рассеявшихся за нашим правительственным столом. И как я сейчас понимаю, сила этих слов была даже не так в содержании обвинений, как в том, что меньше всего женщины готовились их услышать. В конце концов, ни одной новой мысли Гамов не высказал. Десятки раз он твердил в своих речах о преступности современной войны, блестяще обосновал свою концепцию справедливости в споре с философом Орестом Бибером, все это было широко распространено газетами и стерео. Но если не было нового, то было неожиданное — и оно поразило не только женщин из Администрации Помощи, но и нас, помощников Гамова. Женщины надеялись в ответ на благодарности за великодушные услышать признание того, что их Администрация Помощи — самое благородное, самое милосердное, самое человеческое действие из всех, ныне совершаемых в воюющем мире. Вероятно, Гамов так бы и поступил, если бы не увидел в них не авторитетных деятельниц общественного движения, им же к свету вызванного, а обычных женщин, просто женщин. И, обрушив на их головы обвинения в предательстве своих детей и мужей, не обратился поверх их казнимых голов ко всем женщинам мира с теми же злыми, горячими обвинениями. Великая задача — поднять половину человечества, женщин, против воинственности второй половины, мужчин, — отменила другую, маленькую, тоже справедливую задачку — поблагодарить группку женщин за их немалые усилия по оказанию посильной помощи

военнопленным. Это было в духе Гамова — пренебречь маленькой справедливостью, если она противоречила справедливости высшей и большей. И уже по этому одному поступки Гамова представляли столь парадоксальными в мире, где жили мелкими делами, мыслили мелкими мыслями, ставили себе только мелкие цели.

А бледная Норма Фриз все так же протягивала руки к Гамову и молила рыдающим голосом:

— Диктатор, пощадите моего последнего сына! Я так раскаиваюсь, я так раскаиваюсь!

Теперь мы видели, как он тщательно готовился к беседе с женщинами из Администрации Помощи. Павел Прищепа доставил ему опись жизни каждой гостыи — и он называл их по имени, знал имена их детей и мужей, их занятия, их влечения. И словно вычитывая факты жизни в глазах и лицах, называл важные и малозначительные события — и каждое вдруг становилось как бы прозрением, как бы внезапно открывшимся почти мистическим постижением тайны существования. Он называл обычные факты, естественные в каждой жизни. “Вспомните, как вы ждали рождения сына, как оно трудно, как бесконечно трудно шло, как вы сами чуть не умерли, помните? Для чего вы так мучились — чтобы все кончилось для него общей могилой?” И молоденькой женщине: “А ваш жених Павел, ваш нежный Павел, как вы радовались его лейтенантским погонам, гордились его служебными удачами — неужели лишь для того, чтобы он сейчас погибал от ран, от тоски, от жестокого недоедания?” И эти стандартные события звучали откровениями — те, к кому он обращался, отвечали на них тихими слезами либо громким плачем. Как умелый дирижер, командующий любым музыкантом в своем оркестре, он расковывал в каждой душу, плач и крики становились естественней спокойных слов. Было что-то магнетическое в каждом его шаге от одной женщины к другой, в каждом его гневном слове — и только бурный выплеск раскованных страстей мог стать единственным ответом. Потом беседу с женщинами в правительственном зале Константин Фагуста презрительно объявил сеансом массового психоза. И многие соглашались. Но я не соглашусь. Даже скучный Пимен Георгиу в своей газете верней уловил суть совершавшегося на наших глазах действия. “Сокровенное слияние диктатора с собеседницами!” — так он назвал встречу Гамова с женщинами

из Кортезии. И это был тот редкий случай, когда высокопарность являлась точным изображением фактов.

Операторы Омара Исиро трудились усердно. И вскоре мы узнали, что “сеанс массового психоза” стал воистину массовым. Тысячи женщин и у нас, и в Кортезии, и в других воюющих странах так же вскрикивали перед стереовизорами, так же начинали рыдать, так же отчаянно сжимали руки, как и те двадцать в зале.

Эффект, которого добивался Гамов, был достигнут еще до того, как он закончил обходить стол и порождать у очередной собеседницы бессвязные оправдания и моления, заливаемые слезами.

Но Гамов целил дальше того, что мы поначалу увидели. Он бил по не обнаруженной нами цели. Он воротился к своему столу. Женщины утирали слезы. Он молча смотрел на них, сумрачно ожидая, что они будут говорить теперь. Снова поднялась Норма Фриз. Она уже справилась с нервами, она была все же женщиной сильной воли.

— Диктатор, мы выслушали тяжкие обвинения. У меня нет сил опровергать их, нет возможности оправдаться. Но нам надо знать, что должны и что можем делать. Администрация Помощи военнопленным возникла по вашему слову. Условия помощи показались многим такими жестокими, что наш президент отказался их принять. Мы пошли против своего президента. Собрана масса продовольствия и одежды, загружаются океанские суда... Неужели все наши старания — впустую?..

Гамов выдержал достаточно зловещую паузу, чтобы она поразила и тех, кто находился в зале, и тех, кто сидел перед стереовизором. Совершившиеся уже неожиданности грозно предупреждали о возможности новых. Даже мне показалось, что Гамов может поднять руку на план Готлиба Бара. Но он сказал:

— Понимаю ваши сомнения, Норма Фриз. Для человечества было бы лучше, если бы я отказался от своих предложений...

— Отказаться от помощи голодающим военнопленным? Лишить ваших собственных детей и раненых того продовольствия, которое вы оговорили для себя? И это лучше для всего человечества?

Если раньше женщина и мать Норма Фриз ответила отчаянием на обвинения в предательстве своих детей, то сейчас ответа требовал ученый, старающийся понять смысл дела, а не отвечать эмоциями на эмоцию. Она доискивалась логики в планах Гамова. Но в этой области он был сильнее, чем она.

— Да, лучше для всего человечества! — повторил Гамов. — Ибо человечество ужаснется тому, что совершает, увидев максимальные следствия своих поступков. Только безмерным страданием, только зрелищем неслыханных мук можно отвратить сразу всех людей, не одних разумных и достойных, от войны как чего-то допустимого, даже естественного. Сотни тысяч умирающих в плену парней, миллионы голодающих детей — это и есть чудовищный облик войны, способный быстро пробудить всеобщий ужас, первую клеточку, первую искорку всеобщего разума. А ваши благодеяния смягчают ужасы войны, камуфлируют благородными одеждами ее омерзительное обличье. Администрация Помощи работает на войну, а не против нее.

Норма Фриз не верила своим ушам.

— Диктатор! Неужели вас надо так понимать?..

Гамов прервал ее:

— Нет! Не так надо меня понимать! Истинное благодеяние человечеству требует сегодня нечеловеческой, божественной жестокости. Но я человек, а не божество, кем бы оно не называлось — господом или сатаной. Есть мера и моей жестокости. План Готлиба Бара остается в силе. Вы встретитесь с военнопленными. Все предназначенное для них будет им вручено.

После тягостного напряжения за вспышками того, что Фагуста поименовал “массовым психозом”, в зале обозначилась разрядка. Женщины задвигались, зашумели, заговорили одна за другой. Но Гамов еще не считал действие законченным. Он знал, что должна сказать Норма Фриз либо другая женщина, и, выжидая нужной фразы, заготовил на нее последний безжалостный ответ.

Фриз снова рассыпалась в благодарностях. И среди прочих уверений сказала:

— Диктатор, мы сделаем абсолютно все, что могут наши слабые силы...

Гамов ждал именно этой фразы.

— Ваши слабые силы? Ваши силы огромны — вы половина человечества. Та половина, что порождает жизнь! Мужчины еще не научились рожать детей, это ваше творческое дело — обеспечивать продолжение человеческого рода. Что может быть почетней вашей роли? Что сильнее вашего великого инстинкта возобновлять людей? Но вы не знаете собственной мощи, не способны ею воспользоваться. Вы слабы духом, а не возможно-

стями. Вы трусливы, вот ваша беда! Любое животное даст в силе духа огромную фору самой смелой женщине.

Норма Фриз разразилась слезами, когда Гамов обвинил ее в предательстве собственного сына, против личных укоров она не нашла защиты. Но с возмущением встала на защиту всех женщин мира.

— Диктатор, вы непрерывно оскорбляете нас! И я, и мои подруги из Администрации Помощи делаем многое из того, что вы сами посчитали нужным... А вы ставите нас ниже животных!..

— Да, ниже животных! — повторил оскорбление Гамов. — Ибо животное действует по законам естественного своего существования, а вами сильней инстинкта командует извращенная идеология — понятия о родовом, классовом, религиозном, государственном достоинстве, преступное пренебрежение жизнью ради скверных идей превосходства крови, нации, веры в того или другого бога. Сколько раз поклонники Мамуна бросались на слуг Кабина — и женщины благословляли своих детей на отвратительное взаимное истребление. А животные не верят в Бога, не прельщаются званиями и орденами, не чтут мистику особого цвета крови. И когда опасность грозит выводку, любая тварь зубами и когтями бросается на обидчика. От уличного разбойника вы еще попытаетесь спасти своего ребенка, а если того разбойника зовут министром, президентом либо диктатором? Если он зовется кардиналом или пророком и разжигает самую мерзкую из войн — религиозную? Певица Радон Торкин застрелила мужа за то, что он не вызволил ее дочь, свою падчерицу Жанну Гармиш, и объявила, что намерена так же поступить с президентом Аментолой, если доберется до него. Но кто поддержал эту решительную женщину? Она одна в вашей среде. Даже обещанные министерством Священного Террора гигантские награды за казнь организаторов войны не побуждают женщин, теряющих мужей и детей, к смелым поступкам.

— Мы не террористки, диктатор...

— Радон Торкин тоже не террористка. Но она подняла руку на подлинных террористов — дипломатов вроде ее мужа и государственных деятелей типа Аментолы. Истинно благородный поступок!

— Вы тоже государственный деятель, господин Гамов.

И этого возражения ожидал Гамов.

— Правильно — я государственный деятель, и меня сегодня можно обвинить в терроризме — и обвинение будет справедливым. Но обвинение это и против вас, профессор Норма Фриз. Ибо Радон Торкин пригрозила убить Аментолу, если доберется до него. Она до него не доберется, потому что охрана Аментолы непробиваема. Но я — вот он, вы до меня добрались. Радон Торкин, будь она на вашем месте, ни минуты бы не поколебалась разрядить свой крохотный импульсатор в меня, приказавшего казнить ее дочь, журналистку Жанну Гармиш, забывшую, что она женщина, творец жизни, и ставшую агитатором смерти, призывавшую в своих стихах на бой, не уточняя, ради чего воевать. Жанна заслужила свою казнь, я тысячу раз буду повторять приказы о казнях, если еще встретятся такие журналистки. Но ее мать, Радон Торкин, мигом пристрелила бы меня, явись ей такая возможность. А вы, сидящие за этим столом? Я главный виновник бед ваших близких в нашем плену, с меня не снять ответственности за тех, кто уже погиб в сражениях, а среди погибших — ваши родные! И что же, хоть одна пытается мне отомстить за принесенное ей горе? Да, импульсаторов в этот зал вам не пронести. Но вас двадцать женщин! Разве вы не могли разом броситься на меня? Разве вы разучились царапаться и кусаться? Разве ногти на ваших холеных пальцах, Норма, не заменят когтей кошки или львицы, защищающей свой помет? И разве не могли вы затаить убийственные порошки и, напав, забросать меня ядом? Все это вы могли сделать — и не сделали!

Норма Фриз сказала с удивлением:

— Вы желаете нападения на себя?

— Нет! — с гневом воскликнул Гамов. — Нападения на себя я не жажду! И моя охрана позаботилась, чтобы нападения не было. Я говорю о том, что счел бы такое нападение на себя естественным поступком. Защищаясь от него заранее, я этим заранее признаю его закономерную возможность, его нравственную обоснованность. И то, что вы не помыслили о нападении на меня, вызывает мое возмущение. У меня нет причин высказывать уважение к вам, активистки помощи военнопленным. То, что вы реально делаете, безмерно меньше того, что вы должны и можете делать. И через ваши головы я обращаюсь к великой женщине Радон Торкин, так мужественно защищающей если не жизнь, жизнь уже не вернуть, то хотя бы достоинство своей дочери. Вас осудят, Радон, за убийство мужа и угрозы президенту, но я глу-

боко уважаю вас, ценю и ваши высокие мысли, и ваши мужественные поступки. И если к угрозе расправиться с президентом вы добавите и обещание убить меня, если нам доведется встретиться, то мое уважение к вам, моя высокая оценка вашего духа станут и глубже, и искренней.

Гамов помолчал, чтобы дать двадцати женщинам в зале и миллионам стереозрителей осознать свое невероятное обращение к арестованной в Кортезии Радон Торкин, и закончил:

— Наша беседа исчерпана. Обсуждение дальнейших действий вы проведете с министрами Готлибом Баром и Николаем Пустовойтом, оба присутствуют здесь.

Он вышел из зала. За ним удалились мы трое — Прищепа, Вудворт и я. Впереди нас рядком торопились в свои газеты оба редактора — массивный Фагуста и крохотный Георгиу. Фагуста размашисто шагал, в каждом его шаге укладывался лаг, половина его исполинского роста, а крохотный Георгиу проворно семенил ножками, отвечая двумя шажками на один шаг Фагусты — и не отставал от соперника даже на толщину листа своей газеты. И шли они в одном направлении, но Фагуста смотрел вправо, а Георгиу влево, и получалось, что двигаются они одинаково вперед, но все время спиной один к другому.

Меня толкнул локтем Прищепа.

— Какая беседа, Андрей! Я начинаю думать, что наш диктатор — страшный человек.

Вудворт засмеялся. Я уже говорил, что даже улыбка у этого человека появлялась очень редко, а смеха я не слыхал — и это добавило впечатления к тому, что он сказал:

— Для разведчика у вас не очень зоркий взгляд, Прищепа. Я давно уже знаю, что Гамов страшен...

Павел Прищепа возразил:

— Напомню вам, Вудворт, что в вагоне литерного поезда вы первый предложили Гамову взять власть. Очевидно, вы тогда еще не разглядели характера человека, которого прочили нам в лидеры.

Теперь Вудворт только улыбнулся. В его улыбке было что-то вроде покорной печали.

— О характере Гамова я составил себе представление после необыкновенной драки на улице, которую затеяли он и Семипалов. А после его военных побед я понял, что такой человек может стать лидером. Надеюсь, не будем спорить, что лишь Гамов

может провести такую беседу, опровергающую и дипломатический этикет, и обычные формы человеческого общения.

Прищепка задумчиво сказал:

— Но зачем Гамов чуть ли не выпрашивал покушения на себя? А если бы женщины и вправду бросились?

И Вудворт, и я согласились с Павлом. Мы трое судили Гамова по своим меркам — и думали, что его сегодня, как то бывало и раньше, занесла горячность собственной речи: блестящий оратор пересилил рассудочного политика. Уже недалеко было время, когда мы, его помощники и сподвижники, кто с ужасом, кто с невольным восхищением убедились, что плохо знаем своего руководителя. И распознали — задним умом — в любом его эмоциональном всплеске ту самую железно армированную политику, которая командовала всем и которую мы не всегда улавливали.

Когда я возвратился в свой кабинет, на засветившемся экране появился Гамов.

— Семипалов, надо кончать с Нордагом, промедление становится нетерпимым, — сказал он почти сердито. — Если у вас с Пеано готов план захвата этой страны, идите с ним ко мне.

— План захвата Нордага готов, иду с Пеано к вам.

Экран погас. Ни одной черточкой лица Гамов не показывал, что в нем сохранилось что-то от страстей, бушевавших при встрече с женщинами. Встреча эта была уже отработанной политической акцией, срок ее завершился: одолевали новые заботы.

15

Есть старинное изречение: генералы хорошо готовятся к прошедшей войне, каждая новая застаёт их врасплох. Генералы Нордага, рабы военной классики, блестяще повторяли зады теории, они предвидели наше нападение и хорошо готовились, но лишь к тому, что мы могли произвести год назад, а не к тому, что реально планировалось.

Нет, я не хочу сказать, что они проглядели появление нашего могучего водолетного флота. Глупцов среди генералов Нордага не числилось. Они оценили и высадку десантов в тылу маршала Ваксея, и ту роль, какую водолеты сыграли в разгроме Марта Троншке. Но они видели также, что на полях Патины, Ламарии, Родера и даже Клуре конечный успех обеспечивали полевые войска, водолетный флот лишь содействовал их удаче. И увери-

ли себя, что мы бросим полевые армии на штурм пограничных укреплений, а водолеты будут бомбить города и пытаться захватить их хорошо оснащенными десантами, как в Родере и Патине.

И они великолепно подготовились к войне, какую Пеано и не думал разворачивать. Я потом объезжал все районы возможных — в планах генералов Нордага — боевых действий и поражался, как умело они готовили сопротивление нам, если бы мы действовали по их росписи. Обложив Забон полукружьем своих полевых укреплений, они позаботились о силе бастионов, глубине рвов, мощи электроорудий, удачном расположении батарей... И о противодействии водолетам постарались — на всех аэродромах смонтировали зенитные электробатареи, подготовили истребительные группы, на улицах и площадях городов возвели заграждения, вооружили ополчения — захват с воздуха крупных центров, так нам удавшийся в Патине и Родере, здесь бы не сработал. Но мы задумали войну, им еще не известную.

Всей мощью нашего водолетного флота мы обрушились на эту небольшую страну, но не на города, не на крепости, не на аэродромы. Наши воздушные машины садились вдали от поселений, десантники захватывали дороги, мосты, линии электропередач, водопроводы, газовые магистрали. И уже на следующий день после начала атаки торжествующий Пеано доложил на Ядре:

— Все значительные города Нордага полностью лишены воды, тепла и света. На дорогах парализовано всякое передвижение машин, кроме наших. Полевые армии потеряли связь с тылом. Склады врага полны снаряжения, но не воды. Еще до того, как они израсходуют десятую часть своих боезапасов, солдаты будут валиться от жажды на землю.

— Они будут рыть колодцы, — заметил Готлиб Бар, — либо превратят баллоны со сгущенной водой в воду обыкновенную.

— Воды из колодцев на всю армию не хватит, да мы и не дадим им нарыть много колодцев. А без запасов сгущенной воды для орудий армии мало чего стоят.

— И Корина, сосед Нордага, и сама Кортезия окажут Нордагу метеоподдержку, — продолжал возражать Готлиб Бар. — Погонят с океана циклоны, и будет вода.

Готлиба Бара опроверг Казимир Штупа.

— Победа на фронте и последующее затишье дали мне возможность усилить метеоресурсы. Я отгоню от Нордага любой циклон с океана. Над этой страной будет сиять безоблачное небо.

Толстый Пустовойт покачал маленькой головой, столь не гармонирующей с массивным телом.

— Дети в городах погибнут первыми, когда иссякнет вода.

Все мы уже знали, что Гамов, способный на любую жестокость в борьбе, сразу смягчается, когда речь заходит о детях.

— Пустовойт и Гонсалес, подготовьте совместную декларацию для жителей блокированных городов Нордага, — сказал он. — В ней — угроза выморить жаждой всех жителей, если они не сдадутся. Это по вашей части, Гонсалес. И совет выводить из городов женщин и детей, чтобы не подвергать их мукам. Это ваше дело, Пустовойт.

Декларация Гонсалеса и Пустовойта в тот же день вышла в эфир.

Неделя прошла без больших происшествий. Мы умножали десанты, Штупа энергично отгонял в океан напирающие оттуда дождевые облака, войска нордагов бездеятельно таились в своих укреплениях — еще не верили, что никаких сражений не будет. А на исходе недели Павел Прищепа потребовал срочного Ядра.

— Франц Путрамент выпустил обращение к нации. Этот северный президент схватился за ум. Признает, что недооценил врага. Берет на себя всю вину за неизбежное поражение и предлагает армии сдаться на волю победителя, а мирному населению предаться нашей милости. Он особо подчеркивает эти разные позиции: волю победителя — для армии и нашу милость — для мирного населения.

— Сам он тоже сдается? — спросил Гамов.

— О себе он говорит, что переберется в Кортезию и там продолжит войну с нами. А когда война переломится в их пользу — он в таком переломе уверен, — вернется на родину освободителем.

— Он уже пробрался в Кортезию?

— Затаился где-то в лесах Нордага и ждет случая махнуть через океан.

— Он такого случая не дожидается, — заверил Пеано. — Наши водолеты контролируют побережье. Мы не пропустим ни одного судна к Нордагу, и ни одно их судно не выйдет в океан.

Гамов возразил:

— Защита побережья ненадежна. А появление Путрамента в Кортезии нежелательно. Прищепа, надо захватить президента.

Павел Прищепа ответил с большой осторожностью:

— Страна незнакомая, обширные леса... И Путрамента любят. Вряд ли его выдадут, если и знают, где он затаился.

Гонсалес, как и Вудворт, редко брал слово на Ядре, разве что испрашивал разрешения на очередные жестокости.

— Надо использовать дочь Путрамента Луизу как подсадную утку. Черный суд приговорил ее к смерти, но приговор, по вашему желанию, Гамов, пока не исполнен. Что нам мешает предложить Путраменту сдаться в обмен на жизнь его дочери?

Гамов размышлял недолго.

— Принимаю, Гонсалес. Но исполнять вы будете с Пустовойтом — каждый свой раздел плана.

Сотрудничество с Пустовойтом не вызывало энтузиазма у Гонсалеса, но возражать он не осмелился.

Дела в Нордаге шли, как мы их заранее наметили, но не с такой интенсивностью, как ожидали. Все, что относилось к нашим действиям, выполнялось точно: уже на второй день вторжения во всех городах ввели нормирование воды. Вряд ли даже в армии суточная выдача превышала три-четыре глотка. Не только были сразу закрыты все столовые и рестораны, но и воинские кухни потушили свои топки. И солдаты, и мирное население довольствовались бутербродами и консервами. И высокое небо не омрачало ни одно облачко, великолепное солнце днем, ясные звезды ночью могли в иных условиях порадовать самого придирчивого поклонника хорошей погоды. Но и жаркое солнце, и блестяще иллюминированные небеса создавали ощущение безысходности. А запущенные из Кортезии циклоны бушевали, не добираясь до побережья Нордага, над океаном и над Кориной и Клуром, — в этих странах за одну неделю выпала почти годовая норма осадков. Только когда Кориная сама прекратила перенапрягать свои метеогенераторы, а возмущенный Клур двумя нотами, одна другой решительней, заявил Кортезии, что выйдет из союза, если великая заокеанская держава не перестанет превращать его плодородные поля в болота, кортезы поняли, что пришла пора оставить своих союзников на произвол судьбы, в смысле — предоставить воле назначенных нами комендантов. И вынужденный отказ Корины в метеопомощи, и решительный протест Клур против напущенных

на него потоков в дальнейшем оказали исключительное влияние на весь ход мировых событий, но в те дни даже Гамов, временами достигавший политического ясновидения, не смог и отдаленно предугадать, какие следствия породит энергичная метеорологическая контратака нашего скромного друга Казимира Штупы.

Этот удивительный народ, нордаги, и осознав абсолютную невозможность сопротивления, не спешил поднять руки. Даже то, что мы встречали выходящих из городов женщин с детьми не как семьи врагов, а чуть ли не как дорогих гостей — Гамов отдал в этом смысле строжайшие указания Николаю Пустовойту и Готлибу Бару, — не произвело смягчающего действия на призванных к оружию нордагов. Поручить свои семьи нашей милости они решились, но отдаться самим воле победителя, не испробовав импульсатор против импульсатора и вибратор против вибратора — нет, это многим показалось горше смерти: Пустовойт не случайно разделил эти два понятия — воля победителя и милость его. Да и слишком долго каждому нордагу внушали, что ему вручено самое мощное оружие, какое знает сегодня человечество, — было безмерно тяжело сдавать это оружие врагу, не попробовав, так ли оно грозно. Несколько отрядов выбрались из своих укреплений и нападали на наши блокирующие посты. С опухшими от жажды губами, неспособные не только кричать, но даже шептать, они тем не менее завязывали настоящие сражения. Зато помощи своих тяжелых электроорудий эти отряды смертников получить не могли — ни один наш блокирующий пост не приближался к зоне их досягаемости, это тоже было предусмотрено. В общем, можно было спокойно ожидать неизбежного завершения событий. Гамов так и вел себя, он выглядел на редкость уравновешенным. Но я злился — план захвата Нордага был все же моей задумкой.

И когда столица Нордага Парко объявила о капитуляции, а полевые войска, складывая оружие, стали выходить из укреплений, я вылетел туда. Военной необходимости в этом не было, с хозяйственными делами отлично справлялся Готлиб Бар, он первым прибыл в Парко. Но унять тревогу о поведении среди нордагов Аркадия Гонсалеса я не мог. Я чувствовал себя лично ответственным за Нордаг и не желал предоставить всевластие Гонсалесу. Именно так — намеренно резко — я обосновал Гамову необходимость поездки в Парко — и Гамов только молча

кивнул. Я получил полномочие на умиротворение Нордага. Лишь на прощание Гамов заметил:

— Собственно, и Гонсалес, и Пустовойт действуют по моим инструкциям. Но если они не найдут согласованных решений, вы сами продиктуете им, что найдете нужным. Последнее слово за вами.

В Парко меня встретила охрана, высланная Гонсалесом, — два десятка “черных воротников”, это был отличительный знак солдат министерства Террора. Сам Гонсалес приветствовал меня — ничего худшего он не мог бы придумать. И я сразу дал ему понять, что играть его музыку не намерен. Я не забыл, как он расправился в Забоне с пленными генералами.

— Почему нет полевых солдат, Гонсалес? Я министр обороны, а не чиновник вашего ведомства.

Он невозмутимо выслушал. Было что-то зловещее в удивительной красоте его лица. И он не сомневался, что я помню кровавую расправу с Сумо Париона и Кинзой Вардантом.

— В вашей воле, Семипалов, заменить охрану. Диктатор потребовал от меня обеспечить вашу безопасность. Других солдат у меня нет.

Я молча прошел к машине. Споры надо было начинать с более важных дел, чем цвет мундиров охраны. Гонсалес сел со мной. Я сделал вид, что погружен в рассматривание Парко. Город был как город — дома, улицы, площади, люди на улицах. На перекрестках висели щиты с портретами Франца Путрамент. Все проходили мимо, будто и не замечали их. Я показал на один из щитов.

— Ваша работа, Гонсалес?

— Моя. Хотите посмотреть?

Я вышел из машины. На щите красовался Путрамент — средних лет мужчина, усатое лицо, на голове военная фуражка, на груди набор орденов. Под щитом — большими буквами — объявление: “Франц Путрамент, сорок три года, генерал кавалерии, президент Нордага. Развязал преступную войну против Латании. Трусливо сбежал и скрывается. За поимку его — награда в миллион золотых лат. За укрытие — смертная казнь. Если президент добровольно не предаст себя военным властям Латании, будет казнена его дочь Луиза. Казнь Луизы Путрамент совершится в первый день месяца листопада в 12 часов дня. Председатель Акционерной компании Черного суда полковник Аркадий Гонсалес”.

— Логика у вас отменная, Гонсалес, — сказал я, возвращаясь в машину. — Казнить уже казненную! Ведь вы объявили, что приговоренные к казни все казнены, и забыли оговорить, что для Луизы сделано исключение. Вам могут не поверить, Гонсалес. И тогда Путрамент и не подумает выбираться из своего логова.

— Вы поддержали мое предложение о подсадной утке, — напомнил Гонсалес. — И не вспомнили сами, что Луиза уже объявлена казненной. Важно, что она жива и потеряет свою жизнь уже всерьез, если отец не вылезет наружу.

— А если Путрамент не поверит, что Луиза жива? Так ли трудно подобрать актрису, имитирующую ее облик?

— Очень трудно, вы это сами увидите. И Пустовойт разрешил ей показываться в эфире, даже произносить короткие речи. Лично я считаю, что она за каждую такую речь заслуживает особой казни. Свобода вражеской агитации — не синоним милосердия к сдавшемуся врагу.

— Посмотрим, — ответил я.

В президентском дворце меня встретили Пустовойт, Бар и Прищепа. Павла я не ожидал, его присутствие в Нордаге не оговаривалось. Впрочем, по роду своей службы он мог появляться в любом месте, не спрашивая разрешения ни у меня, ни у Гамова. Я обратился к нему:

— Рад тебя видеть. Что скажешь?

Он развел руками.

— Даже отдаленно не представляю себе, где Путрамент. Боюсь, миллион лат за его выдачу и смерть за его укрытие только умножат жаждущих его спасти.

— Итак, завтра казнь, — сказал я министрам. — Будет большим просчетом казнить женщину, хоть и осужденную Черным судом.

— Путрамент явится, — поспешно сказал Пустовойт. — В эфир третий день передается обращение к нему и народу.

— К нему и к народу... Народ слышит, народ не в тайных укрытиях. Но слышит ли Путрамент? А если в его логове нет стереовизора? Вспомните, как скрывался Вилькомир Торба в переполненном водою подвале, — даже присесть не мог, ни куска хлеба, дрожал, прижавшись к грязному стояку... Что сообщают твои профессора разведки в Нордаге, Павел?

— В нынешнем логове Путрамента, возможно, и нет стереовизоров. Но вряд ли он брошен на произвол случая, как Вилькомир Торба. И если он уверится, что Луиза и вправду Луиза...

— Если уверится... А если не поверит?..

— Поговорите сами с Луизой, — посоветовал Пустовойт. — И решите, можно ли подделать такую натуру. Пока Путрамент не отозвался, но у нас еще полные сутки...

За стол бывшего президента я попросил сесть Пустовойта, чтобы не придавать своей особе чрезмерного значения. Но Луиза сразу определила меня.

— И вы тут, Семипалов, — значит, предстоит серьезный разговор, — объявила она и уселась на диван.

Я сказал сколько мог вежливо:

— Рад, что вы оцениваете меня как серьезного человека, Луиза. Но разве мои товарищи не вели с вами серьезных разговоров?

Она огрызнулась:

— Я не сказала, что вы серьезный человек, генерал. Я имела в виду, что с вами пойдет серьезный разговор. Вы умней своих товарищей, исключая лишь вашего диктатора. И как умный человек, постараетесь исправить то идиотство, что они нагородили. Впрочем, заранее уверяю, исправить не сумеете.

Пока она выпаливала свою тираду, я вдумывался в ее внешность. У женщин внешность гораздо больше, чем у мужчин, отражает натуру — простое любование лицом, манерой причесываться, стилем одежды дает не меньше, чем вслушивание в их слова. Слова могут зависеть от настроения, от реплик спорщика, возникать случайно, но ни одна женщина без раздумья не сделает праздничной прически, не выберет без предварительной прикидки губной помады, без зеркала не наденет платья. Луиза Путрамент давала достаточно внешних поводов, чтобы определить ее характер до того, как выкажет его.

Она была некрасива — очень важный определитель женского характера. Худое, малокрасочное — белесое, я так бы сказал — лицо усеивали мальчишечьи веснушки. Кстати, она во всем смахивала на мальчишку — курносая, быстроглазая, с острыми локтями, еще более острыми коленками и руками, ни минуты не пребывавшими в покое: если она и не жестикулировала, то пальцы все равно непрерывно шевелились — и не от нервности души, а от желания самих пальцев пребывать в постоянной живости. Не знаю, был ли у нее женский бюст, она это скрыла под костюмом,

но то, что бедра скорее подходят для парня, и костюм скрыть не мог. И она была ярко-рыжей, волосы почти пламенели. Мне вдруг почудилось, что тот, кто обнимет эту голову, обожжет пальцы. Луиза, похоже, недолюбливала гребенки, ее дикие по цвету волосы были так же дико спутаны. “Капризна, решительна, упряма, привыкла командовать, легко вспыхивает, уговорам не поддается, а на удар отвечает двумя. В солдаты подошла бы, в жены — не дай бог!” — вот так я мысленно нарисовал себе ее характер. И не очень ошибся, говорю это почти с гордостью.

Она возмутилась моим пристальным взглядом и пошла в атаку:

— Генерал, вы слишком любуетесь человеком, приговоренным вами к завтрашней казни. Я начинаю думать о вас плохо.

— Не надо думать обо мне плохо, Луиза. И я не люблюсь вами, а прикидываю, как вести с вами разговор. Кстати, к смертной казни приговорил вас не я, а Черный суд.

Она мгновенно перестроилась.

— Но тогда вы подтверждаете другое мое наблюдение, генерал. Ваши помощники — глупцы, особенно этот красавец с талией девицы и плечами штангиста-тяжеловеса, которого вы возвели в верховные палачи. Объявить на весь мир о моей казни и потом предъявить всему миру живой! Так опозориться! И такому человеку вы поручили переговоры со мной. Он провалил их одним тем, что вторично приговорил меня к казни.

Я старался не смотреть на Гонсалеса, так он был одновременно и страшен, и жалок.

— О каких переговорах вы говорите, Луиза?

— О том, чтобы упросить отца добровольно сдаться. Вы тоже будете убеждать меня пойти на это? Я была лучшего мнения о вашем уме, Семипалов! Вы так жестоко и эффективно расправились с собственной высокомерной Флорией — поступок незаурядный, акт большой политики... Неужели я ошиблась в вас? Вы и вправду повторите все идиотства Гонсалеса?

Я уже знал, как держать себя.

— Ничего я не буду повторять, Луиза. Хотел посмотреть, какая вы и правильно ли вам присудили завтрашнюю казнь?

— И как? Посмотрели и поняли, что гожусь для петли?

— Завтра перед виселицей вам предоставят слово, и вы сами объявите миру, считаете ли петлю достойным украшением своей шеи.

Она поднялась с дивана, глаза ее горели.

— Семипалов, вы прогадаете, как и ваш неумный красавец. Завтра я снова объявлю миру, что вы тираны и захватчики. Я попрошу отца не поддаваться на уговоры, а бежать в Кортезию. И если завтра меня повесите, то возбудите во всем мире лишь негодование против себя — и долго вам расхлебывать заваренную Гонсалесом кашу! А мой отец ускользнет из ваших мохнатых лап и потом жестоко отомстит за меня. Вот так я завтра скажу, если допустите меня к эфиру.

— Буду внимательным слушателем вашей пламенной завтрашней речи, — холодно уверил я и приказал увести ее.

У всех были такие смущенные лица, что я невольно рассмеялся, когда Луиза исчезла за дверью.

— Бестия, а не девка! — с ненавистью произнес Гонсалес. — Вот уж кого повешу с радостью!

— Такую отчаянную вешать жалко, — высказался Прищепа.

— Верю в появление ее отца, — повторил Пустовойт.

Я прямо спросил:

— Вы не придумали для нее такой же казни, какую проделали со мной? Она не менее достойна ее.

Пустовойт вздохнул.

— Такую операцию трудно подготовить в чужой стране. Вот отложить бы казнь...

— Возражаю! — гневно воскликнул Гонсалес.

Я попросил Прищепу остаться, остальных отпустил. С Павлом я мог разговаривать как с другом, а не только как с министром. Я со злостью сказал:

— Я поддержал идею Гонсалеса о подсадной утке. А сейчас раскаиваюсь. Что за чертенок эта женщина! Казнь ее вызовет возмущение в мире. Между прочим, Гамов ее уже раз пощадил. Почему он это сделал? Тебе не говорил?

— Это ведает только Гонсалес. Но от него не узнать, о чем Гамов совещался с ним. Может, прямо позвонишь Гамову?

— Не буду. У меня с ним не такие отношения, чтобы нарываться на новый отказ.

Утро было ясное и теплое. Корина и Кортезия недавно гнали столько циклонов на Нордаг, а Штупа так энергично поворачивал их на океан и на несчастный Клур, что на севере планеты исчерпались все водные ресурсы. Уже к десяти часам жара установилась как в середине лета. На площадь прибывали нордаги, вскоре весь город, и мужчины, и женщины с детьми, заполнил обширное пространство перед помостом.

Я спросил Прищепу:

— Новостей нет?

— Никаких.

— То, о чем я говорил. До Путрамента не доходят вести о его дочери...

На помосте появилась Луиза. Ради торжественного случая она надела нарядное платье, но оно лишь подчеркивало ее некрасивость. Впрочем, решительность в каждом движении — ни намек на подавленность и уныние — заставляли видеть ее именно такой, какой ей хотелось: она была хороша и без красоты. Пустовойт сам поднес ей микрофон. Она звонко прокричала в него:

— Отец, мне разрешили сказать последнее слово. Если слышишь меня, то знай — я не хочу, чтобы ты вызволял меня. Моя жизнь не стоит твоей, ты нужен нашему народу, а не только мне. Скрывайся и готовь борьбу, только ты сумеешь ее возглавить. Я верю в тебя, отец! Прощай!

Толпа ответила на ее обращение к отцу смутным гулом. Мужчины кричали, женщины плакали. С покрасневшимся лицом, с горящими глазами, она возвратила микрофон. Теперь она стояла, выпрямившись и закинув голову, рыжепламенная копна волос закрыла половину лица, — поза гордой мученицы очень шла ей. Я с отвращением сказал Прищепе:

— В палачи я не нанимался, Павел. И если наш министр Милосердия смиряется перед Гонсалесом, я собственной властью освобожу ее от виселицы, что бы потом Гамов ни говорил.

— Я поддержу тебя перед Гамовым! Что там за смятение, посмотри!

В той стороне толпы, что замыкала выход с площади на главную улицу, возникло движение. Наши солдаты держали все дороги к площади открытыми, но сгущавшаяся толпа суживала просветы, переливалась с тротуаров на мостовые. Но на главной улице люди вдруг стали раздаваться, валили обратно на тротуары, жались к домам — не прошло и минуты, как полностью раскрылась перспектива центрального городского проспекта. И мы увидели вдали трех всадников, скачущих на площадь. Впереди, картинно прижимаясь к шее коня, мчался сам Путрамент.

— Он! Он! — закричал Пустовойт. Он плакал, вытирая слезы с толстых щек. Он все же не верил, что президент Нордага явится выручать дочь ценой своей гибели, хотя уверял нас, что будет так.

Путрамент вырвался на площадь и помчался к помосту. Два всадника, его охрана, неслись за ним. Гул, не стихавший в толпе, превратился в тысячеголосый вопль. И я увидел преобразование толпы. Только что это было море голов, собрание разномастных шляп, фуражек, пышных волос и лысин, теперь же все вдруг обернулось лесом рук, взметнувшихся над головами. Руки отталкивались, сплетались — своя со своей, своя с чужой — и не было уже видно ни голов, ни тел. Вся толпа, сгрудившаяся у помоста, вмиг превратилась в лес восторженных рук. Вся столица, завоеванная, но не покоренная, ликующе приветствовала своего руководителя, явившегося обменять жизнь дочери на собственную.

Путрамент соскочил с коня и взбежал на помост. Только теперь Луиза выдала себя — разрыдалась и упала отцу на грудь. Он обнимал ее, прижимался губами к ее огненным волосам, что-то нежно говорил. Потом он отстранил ее и оглянулся. Сперва его взгляд упал на Гонсалеса, потом он перевел его на Пустовойта, потом на меня с Прищепой (мы стояли рядом). И лицо Путрамента выразило, что он знает каждого и к каждому у него свое отношение. От Гонсалеса он отвернулся с отвращением, к Пустовойту не показал интереса, так же он отнесся и к Прищепе. А на мне его глаза задержались.

— Семипалов, так? — У него был низкий глуховатый голос. — Очень неприятно с вами познакомиться, генерал. — Он подчеркнул словечко “неприятно”, чтобы показать, что сознательно заменил им традиционное “приятно познакомиться”. — Вы уже раз обыграли меня, заставив поспешно отступать от собственных границ — поверил тогда в лживые заверения вашего агента Войтюка. И сейчас ваша игра сильнее моей — вы завоеватель моей страны! Каковы ваши следующие шаги? Сейчас будете меня вешать или разрешите немного побыть с дочерью?

В толпе произошла новая перемена. Помост основательно возвышался над мостовой, и грохочущая толпа видела, что Путрамент заговорил со мной. Всем сразу захотелось услышать президента. Переход от неистового рева и гула был так неожиданен, что внезапно наступившая мертвая тишина оглушила меня чуть ли не больше, чем прежний грохот голосов. Услышать Путрамента могли только ближние зрители. Но дыхание затаили все.

Гонсалес обычно не захватывал разговора, он довольствовался репликами — страшная должность наделяла значением любое его слово. Но сейчас, обиженный пренебрежением Путраменты, он заговорил первый:

— Президент, если вы настаиваете на немедленной казни...

— Нет! — сказал Пустовойт и рукой отстранил стоящего рядом Гонсалеса, словно тот был опасен уже тем, что выдвинулся вперед. И жест Пустовойта, и то, что он, всегда смиренно молчащий и только горестно вздыхающий, если что было не по нему, так вдруг заявил о своей роли, заставило меня с Прищепой переглянуться: наш министр Милосердия становился иным, чем мы его всегда знали. — О немедленной казни не может идти и речи. И будет ли вообще казнь, решит суд. Пока же, господин президент, мне велено доставить вас к диктатору для разговора о вашей дальнейшей судьбе.

Пустовойт говорил в микрофон, и его решение разнеслось по всей площади. В ответ толпа вторично впала в неистовство. Снова над морем голов вздыбились валы качающихся рук, снова вопли сотрясли всю площадь. Если раньше нордаги ликовали от того, что их президент добровольно предает себя казни, то сейчас они торжествовали, что казни не будет. Воистину нордаги были непостижимы для людей с нормальным мышлением!

Пустовойт обратился к Путраменту, подчеркивая голосом почтительность:

— Соблаговолите, господин президент, пройти в ваш дворец.

— В мой бывший дворец, — возразил Путрамент и, обняв дочь за плечи, проследовал с ней за Пустовойтом. Гонсалес не отставал от них, а мы с Прищепой замыкали шествие.

В зале, где мы недавно старались угадать, что нас ждет в сцене объявленной казни Луизы, и где за столом президента сидел Николай Пустовойт, произошла новая неожиданность. Пустовойт показал Путраменту на его прежнее кресло:

— Прошу вас сюда.

Путрамент не удержался от насмешки.

— Зачем такая честь человеку, которого собираетесь казнить?

— Ваша дальнейшая судьба будет зависеть от ваших дальнейших действий, — спокойно сказал Пустовойт.

— А также, и от действий, которые вы совершили в прошлом, — внес свою мрачную поправку Гонсалес.

Путрамент снова обратился непосредственно ко мне, он не уставал подчеркивать, что одного меня считает ответственным за трагедию его народа и его самого:

— Вы собираетесь вести переговоры со мной, генерал?

— Нет. Переговоры — или разговоры — у вас будут с нашим диктатором, намерения его мне неизвестны. Пока же я рад, что вашей дочери больше не грозит казнь и что избавлением ее от гибели, какая ни будет дальнейшая судьба, вы показали нам, что способны на неожиданное благородство.

— Неожиданное? — иронически переспросил Путрамент. — Какая же неожиданность, если вы трижды в день передавали мне приглашение явиться на выручку дочери. Если бы я раньше узнал об этих передачах по стерео и если бы мои охранники раньше раздобыли лошадей, я сдался бы вашим палачам еще до того, как они вывели Луизу на помост с виселицей.

— Мы этого не знали, — холодно возразил я. — Но мы хорошо помнили, что вы предали на казнь ваших же генералов, когда сочли, что выручать их будет вам невыгодно. Мы не могли исключить, что собственную жизнь вы сочтете более важной, чем жизнь дочери. Она ведь не генерал, как те, вами преданные. И она страстно умоляла вас не выручать ее. Возможно, хотела украсить своим самопожертвованием ту участь, которую вы ей уже уготовили.

Это был, конечно, жестокий удар. Луиза вскрикнула от возмущения, Путрамент побелел. Он еле выговорил трясущимися губами:

— Что вы еще скажете, генерал Семипалов?

— Только то, что вы отличный всадник. Это тоже для меня неожиданно.

Я сделал знак Прищепе, мы вместе вышли. Я сказал Павлу, что хочу на аэродром. Он вызвал машину. Толпа на площади еще не разошлась, но прежней толкотни уже не было. Когда мы подошли к машине, мимо выстроившейся охраны быстро прошла какая-то женщина. Она резко взмахнула рукой, синяя молния сверкнула мне в глаза. Я услышал отчаянный крик Прищепы:

— На помощь! Семипалова убили!

Часть пятая
ЧЁРТ НЕ НАШЕГО БОГА



1

Павел Прищепа ошибался редко, но сейчас ошибся. Я успел отшатнуться, молния лишь опалила одежду. Меня подхватили и посадили в машину. Все же я потерял сознание, очнулся только в кабине водолета. Рядом сидел Прищепа.

— Как чувствуешь себя? — в его голосе звучала тревога.

Я постарался, чтобы улыбка получилась достаточно веселой.

— Надеюсь, лучше моей несостоявшейся убийцы. Сумели ее схватить? Где она? И за что этой особе понадобилось меня прикончить?

— Она за нами во второй машине. Она не пыталась скрыться, только расстроилась, что покушение не удалось. Это Анна Курсай.

— Жена Войтюка? Мстила за мужа?

— Она пообещала рассказать при личной встрече, почему так на тебя обозлилась. Будешь с ней разговаривать?

— Вторично напасть на меня она не обещала?

— Этого мы не допустим.

К посадке в Адане я уже двигался без посторонней помощи. Во дворце я пошел к Гамову — отчитаться о делах в Нордаге. Он слушал без особого интереса. Мне показалось, что он недоволен мной.

— Нет, вы действовали правильно, — ответил он. — У меня две просьбы, Семипалов. Поговорите с Анной Курсай и решите сами, как ее наказать. И вторая просьба. В Корине плохо, нужны срочные меры.

— В Корине все, как мы планировали. Штупа отразил удар их циклонов, поднятая с океана вода добавила сырости в их болота. Не вижу в этом плохого.

— В Корине эпидемия, — хмуро сказал Гамов. — И она особенно поражает детей. Эпидемия может перекинуться на Нордаг, а оттуда к нам... Ваша жена вам доложит.

— Что раньше сделать — выслушать собственную жену или допросить мою убийцу?

— Начните с того, что вам приятней.

— Начну с того, что неприятней. Вызову Анну Курсай.

Я прошел к себе. Один из “черных воротников” доложил, что Анна Курсай доставлена — что с ней делать? Я приказал привести ее. Вошли четверо — тот же “черный воротник”, молодой офицер, с типичной для стражей Гонсалеса значительной хмуростью в лице — оповещавшей о причастности к важнейшим делам и соответствии отпущенным правам и возложенным обязанностям, и двое конвоиров, рослых парней. Я приказал им оставить меня наедине с арестованной. Офицер побелел.

— Оставить вас наедине с государственной преступницей?

— Мы будем беседовать с ней о таких делах, что даже знать о них без особого разрешения... Впрочем, для успокоения... Анна, вы опять нападете на меня?

Она ответила очень спокойно, что хотела бы, но у нее отобрали оружие.

— А ногтей я не боюсь, капитан, — сказал я “черному воротнику”. — Надеюсь, вы не считаете, что заместитель диктатора не способен противостоять хрупкой женщине?

Офицер не осмелился подтвердить такое оскорбительное подозрение, только заверил, что при первом зове мигом возникнет.

— Начнем с наших государственных дел, — предложил я Анне Курсай, когда мы остались вдвоем. — Вас интересует судьба вашего бедного мужа — где он, каково здоровье, душевное состояние?.. Отвечаю — понятия не имею, что с ним. И даже руководитель нашей разведки полковник Прищепа знает о нем не больше моего. Считаю этот вопрос разъясненным. О чем теперь будем говорить, государственная преступница, мстительница за мужа, прекрасная террористка Анна Курсай?

Я выкладывал эти насмешки почти доброжелательно и одновременно любовался Анной. Так уж получилось, что все женщины, с какими в последнее время меня столкнули дела, были как на подбор красивы — и моя собственная жена Елена, и Людмила Милошевская, соединившая в себе мужланство походки и грубость общения с ангелоподобным лицом, и эта Анна Курсай, жена неудачливого шпиона. Только Луизу, дочь Путramenta, последнюю из женщин, пересекших мой политический путь, самый отъявленный льстец не причислил бы даже к мило-

видным. Зато некрасивая Луиза брала прелестью дикого зверька. И насмешливо созерцая женщину, пытавшуюся меня убить, я все больше убеждался, что если и была среди знакомых мне красивых женщин одна вполне безукоризненная красавица, то ее звали Анной Курсай. Я не сумел бы выразить это точное понимание столь же точными словами, но мне вспомнилось, что ради благосклонности этой женщины прожженный дипломат, циник и интриган, последний представитель знаменитого дворянского рода Ширбай Шар готов был пожертвовать и карьерой, и родовым богатством. А пока я любовался ею, она с каким-то мучением всматривалась в меня самого. У нее, как у ребенка, раскрылся от внимания рот, щеки вдруг запали, в любой женщине такое изменение облика означало бы уродливость. Но Анна осталась красивой.

— С чего онемели? — сказал я, не дождавшись ответа. — Импульсатором вы действовали активней, Анна.

— Зато неудачно. К сожалению, вы живы.

— Повторяю — о чем будете говорить со мной?

— Не я вас вызывала, а вы затребовали меня. Значит, вам надо со мной говорить. Мне хотелось убить вас — и только.

— Что ж, начало разговору положено. Итак, почему вам понадобилось рассправиться со мной?

Она зло усмехнулась.

— Разве вы сами не сказали причину? Мечь за обманутого мужа, за бедного супруга, так вы выразились.

— А честно ли горевать об обмане человека, профессией которого было обманывать других? Предателя предали, нормальный акт в схватке двух борцов. Вы умная женщина, Анна, и должны понимать, что судьба одного из многих шпионов наших врагов неравнозначна жизни главы правительства...

— Вы слишком много приписываете своей личности, Семипалов! Глава государства — Гамов.

— Государства, Анна! А глава правительства все же я. Кстати, если бы под дулом вашего импульсара оказался Гамов?..

— Отвечаю сразу — нет! Я хотела убить вас.

— Платить за неудачу одного шпиона актом государственного террора?

— Нет! — опять воскликнула она. Она сдерживала себя, но свойственная ее натуре страсть вырвалась. Она приподнялась, схватилась руками за стол. — Я мстила не за Жана! Я люблю мужа, но не преувеличиваю его значения.

— Садитесь! — приказал я. — И держите себя пристойно. Охрана может услышать ваш крик. Итак, вы мстили не за Войтюка. Перед кем же я так страшно провинился, что понадобилось хвататься слабыми женскими руками за боевой импульсатор?

— Я — флора! Неужели и это вам ничего не говорит?

— А что может сказать одно словечко? Флора так флора. Ну и что?

— Муж достаточно виноват сам, чтобы еще мстить за него. Я мщу за мою маленькую страну, над которой вы так поиздевались.

— Вот оно что! Флора — значит жительница Флории. Да, верно, мы выправили прежние ошибки в отношении с Флорией. Вы это имеете в виду, Анна?

— Именно это! Но не исправление ошибок, как вы это называете на своем лживом языке, а те ущемления, тот урон, то безмерное зверство... Все то, что вы обрушили на мою крохотную, мою несчастную страну!

— Ущемления, урон, зверство — даже безмерное! А бывают зверства в меру?

— Вы отлично понимаете меня!

— Если перейдете от ругани к фактам, наверно, пойму. В чем же я так провинился перед вашей страной, что понадобилось меня казнить?

Она уже не говорила, а захлебывалась гневными словами. Ее распирала ненависть. Ее страна внезапно выброшена из мира довольства, из царства относительного благосостояния в пучину бесправия и нищеты. Границы закрыты, на дорогах воинские посты, снабжение извне оборвано, даже электричество не поступает, даже тепло иссякло — целый народ вдруг ввергнут в мир холода, темноты и недоедания. И это чудовищно! Оборваны цивилизованные связи, только обмен товара на товар, примитивный порядок дикарства!.. А как произвести товары, если нет сырья для них? Заводы останавливаются от нехватки электричества и тепла, изделий на обмен все меньше и меньше — впереди мертвая остановка, паралич хозяйства. И вымирание людей! Вот на что нацеливается правительство! А чтобы ускорить деградацию народа, всем латанам приказано покинуть Флорию, а среди них мастера, инженеры, ученые — люди, без которых не функционировать хозяйству. Флоров, рассеянных по Латании, насильно выселяют на родину, а это либо молодые

солдаты, освобожденные от воинской службы, либо учащиеся институтов Адана и Забона. Что способны сделать для спасения своего края такие юнцы? Они лишь умножают жаждущие рты, лишь усиливают обнищание несчастной Флории. Террор, до того угрожавший лишь прямым преступникам, обрушился на целый народ! Как с этим примириться? На массовый террор против народа единственный ответ — террор против террористов!

Она говорила, а во мне сгущалось негодование. Результаты созданной мной политики были именно такими, каких я желал. Я ненавидел эту красивую женщину — не потому, что она пыталась меня убить, а по причине куда глубже — в ней сконцентрировалось все то, против чего восставала моя душа.

— Меня радует ваше объяснение, Анна! Вы раскрыли, как эффективны мои действия, как они справедливы, да, справедливы, это слово точно.

— Справедливо разорение целого народа?

— Нет, Анна, не разорение народа, а возвращение его в естественное состояние. Скажу это всему вашему народу! Попрошу у Исиро специальный стереочас для обращения к флорам. Теперь слушайте и не перебивайте — вам первой выскажу то, что завтра услышат все.

И я сказал, что Флория — страна, изначально обиженная природой. В ее недрах и на поверхности нет нормального фундамента благосостояния общества. Она лишена угля, нефти, газа, энергоносителей — все тепло и весь свет должна получать извне. В ней не растет хлопок, нет пастбищ для овец и верблюдов — все ткани она ввозит, а не производит. В ней нет металлов, она не способна на своем сырье наладить самое примитивное машиностроение, даже кухонной посудой не обеспечит свои семьи. В ней не хватает лесов, чтобы создать химию, бумажное производство, мебель. И скудная ее земля родит мало хлеба — на завтраки еще хватает, а на обед и ужин надо ввозить. Даже животноводство дает слишком мало для вывоза, оно не обеспечит и четверти нужд в тепле и свете, одежде и хлебе, цементе и асфальте...

— Я и без вас знаю, что моя родина не одарена природой.

— Можно знать и не понимать. Вы не понимаете, что Флория может цивилизованно существовать лишь как часть другого общества.

— Сотни лет жили самостоятельно — и не гибли!

— Как жили? При свечах и коптилках, в грязи, в рваньё, с тараканами и клопами! И никакое трудолюбие не давало выхода из нищеты.

— Зато мы сами распоряжались собой. Так было до того, как нас покорила Латания! И никакие поблажки Маруцзяна!..

— Вот, вот — поблажки Маруцзяна! Вы подходите к сути, Анна. Нет, Латания не покорила вас, а ввела равноправным членом в свою общую семью. Я враг Маруцзяна, но не одно же плохое он делал! И то, что вы назвали поблажками, было естественным распределением общих семейных благ. А в семье ведь каждому выдается не то, что сам он заработал, а то, что ему может выделить вся семья. И ребенок, ничего не зарабатывающий, получает зачастую больше главы семейства, на трудах которого оно держится. Слабосильному выделяется лучший кусок, а вовсе не то, что он реально мог бы сам произвести. Таковы семейные обычаи! И каждый член семьи чтит эти священные обычаи, ибо в них высшая справедливость!

— Еще раз спрашиваю — зачем вы мне рассказываете прописи?

— Вы преступно нарушаете их, вот почему надо напоминать. Вдумайтесь в чудовищность событий! Может ли в семье слабосильный возгордиться, что зарабатывает меньше, а получает больше, чем его братья и сестры? Может ли он сказать им: “Вы ничтожества, ибо я ем фрукты и колбасы, а вы пробавляетесь кашей и супом?” Потерпели бы такого братца в семье? А ведь вы, флоры, именно такой слабосильный братец, который, получая не заработанные им блага, задрал нос перед отрывающими эти блага от себя. Вы вообразили, что вам выделяется самое лучшее из-за вашего превосходства над всеми. Не просто зазнались, а преисполнились национальной спесью. Не благодарили одаряющих вас, а возненавидели их за то, что они вас одаряют. И если в мирное время такую неблагодарность еще можно как-то терпеть, то в час войны она превращается в государственную опасность. Каждый должен знать, чего он сам реально стоит. Мы не издеваемся, на каждый полученный от вас продукт выдаем равноценный — где же здесь притеснение? Но мы не позволим вам плевать нам в лицо за то, что мы облагодетельствовали вас.

— Не было семейных отношений у наших народов, вы придумали их. Дайте нам уйти от вас. Самостоятельные, мы пре-

одолеем скудость природных ресурсов. Нам помогут зарубежные друзья.

— Хотите получить от наших врагов займы, снова благоденствовать за чужой счет? Вас одарят за одно то, что вы объявите себя нашими врагами. Превратиться в политических паразитов — этой участи жаждете? А ведь наступит мир — и по военным займам придется платить. И что тогда? Снова клопы и тараканы, коптилки и свечи, рвань на плечах? Вы можете жить только в большой семье и только при семейном обхождении. Другой судьбы вам не дала сама природа.

— В одной семье с вами мы жить не хотим, генерал! Еще Маруцзяна мы терпели. Вас — никогда! Вам ясно?

— Вполне. Для вас тоже не должно быть тайной, что мы продолжим политику, побуждающую вас к правдивой оценке самих себя.

Я велел охране увести Анну Курсай, потом вызвал Гонсалеса.

— Как идет следствие по делу о заговоре Маруцзяна и Комлина против нашего правительства?

— Скоро объявим открытое заседание Черного суда.

— Присоедините к обвиняемым Анну Курсай. Она опаснейшая преступница. И не потому, что покушалась на меня, а потому, что фанатичная сторонница политики Маруцзяна.

— Гамов знает о вашем решении?

— Можете сами информировать его.

2

Теперь надо было увидеть жену. Я поехал домой. После возвращения с “того света” я обещал ей, что мы восстановим старые связи, надо только терпеливо дожидаться, пока освобожусь от неотложных дел. Дел становилось все больше, и дела были все неотложней. Елена ждала, ничего из старых отношений не восстанавливалось. Я не забывал о ней, но к старому не влекло. А сейчас, определив Анну Курсай на казнь — и мысли не появлялось, что человек, отданный Гонсалесу, избежит гибели — и уже протянув руку к телефону — вызвать Елену, я вдруг почувствовал, что не смогу говорить с ней о государственных делах в кабинете, где только что ради нужд государства велел лишиться жизни другую женщину. Вероятно, это было состояние, недостойное политического деятеля, но оно было, и от него хотелось отделаться.

Я сказал, что поехал домой — и удивился. Слова пребывают неизменными в веках, переходят, не меняя ни звучания, ни значения, из одного столетия в другое, от одного народа к другому. И они же ветшают — у каждого человека за короткое его человеческое существование. Я поехал домой, но у меня не было дома. Уже давно я не посещал той квартиры, той скудной комбинации из трех небольших комнат в Забоне, которую так долго именовал своим домом. А нынешняя моя квартира в Адане была домом лишь по названию — я в ней не жил. И та комнатуха, вернее тот закоулочек во дворце, какой я отвел себе для сна и туалета, тоже не был моим домом. Я не убегал туда от дел и людей, не уединялся, чтобы поразмыслить на воле, — да и воли не могло быть в этом скверном сарайчике с единственной крупной мебелью — диваном; на него я валился, от усталости не всегда раздеваясь. Даже бедная квартира Гамова, столь потом прославленная как свидетельство его выдающейся, почти нескромной скромности, была сравнительно с моим помещением чуть ли не барскими апартаментами, только я это не афишировал. Не дом, не квартира, не убежище, не келья, не каморка, — ни одно из этих словечек не годилось. Прибежище — вот единственно точное название.

Итак, я появился в моей квартире, не предупредив Елену о приходе. Ее не было. Я разделся, вошел в гостиную, потом в спальню, потом в рабочую комнату, воротился в гостиную, сел на диван. У меня ослабели ноги, как после долгого перехода, болезненно билось сердце. Елена вернула в мою новую комнату все, что было в той прежней, в Забоне. Она сделала это после моего повешения, она хотела, чтобы я, и казненный, оставался с ней прежним в прежней обстановке. Комната была совершенно такой, какой я оставил ее, уходя на войну. Все менялось в нашем мире, люди и города, сама природа, исхлестанная молниями искусственных циклонов, залитая куболигами искусственных потопов, изуродованная машинами и солдатскими сапогами, не узнала бы себя, имей глаза. Я сам ничем не напоминал того веселого инженера, молодого руководителя лаборатории автоматики, каким ушел из своей комнаты, а она осталась той же. Я сидел в правом углу дивана, на старом месте, там была созданная мной ложбинка, в ней всегда было как-то теплей сидеть — она сохранилась, я ощутил ее прежнюю теплоту. А на стене висела фотография моего школьного друга, Альберт Лоскин, так его звали, утонул, спасая девчонку, упавшую с моста в

реку. Мы прыгнули с ним одновременно, он первый схватил ее, но не удержал на воде ни ее, ни себя, я ее вытащил, его — не смог. Как часто я с болью и восхищением смотрел на милое лицо погибшего друга, с болью, ибо ему нельзя было бросаться в холодную воду, он плохо плавал и плохо выносил холод, с восхищением, ибо порыв к зовущему на помощь был в нем всегда сильнее самозащиты. А рядом с фотографией Альберта в деревянной рамочке висело мое авторское свидетельство на изобретение, первая моя конструкторская разработка, авторитетное доказательство, что в мире родился новый талантливый техник, ему предстоит великое будущее. Не стало будущего у изобретателя и инженера Андрея Семипалова, совсем другая повела его дорога — на славу или проклятье, я еще не знал.

Ни единой пылинки не лежало на вещах, все было вытерто, выметено, вымыто — придирчивая, строжайшая чистота, всегда свойственная Елене, не фон жизни, а неустанный труд чистоты, культ. Только такими словами можно означить отношение Елены к нашей квартире прежде — таким оно было и сейчас.

И еще одно сразу приковывало взгляд. Я стал вторым человеком в государстве, мои портреты печатались, я наводнял собой телепередачи, газеты, журналы, я устал от непрерывного поминания своей фамилии и должности, от лицезрения своего лица на уличных плакатах. Только я сам разрешил себе не вывешивать своей фотографии в собственной каморке — зато там висел портрет Гамова, а Гамов водрузил мое обличье над своим столом. И если бы я увидел здесь свои новые портреты, я, наверно, только скользнул бы по ним безразличным глазом, до того мне приелись мои изображения — я не из людей, внешнестью которых можно любоваться. Но меня нового в старой комнате не было. Я ушел из нее собственными ногами и не вернулся обратно ни парадными портретами, ни групповыми снимками Ядра. Елена чуть не со слезами молила меня вернуться домой, но моим изображениям вход сюда не разрешила. Я понял это сразу — Елена не позволила себе восхищаться моим возвышением, не гордилась моими успехами, мой нынешний блеск ее не ослеплял. Она любила не вельможу, не воплощенную во мне власть, а простого инженера — вероятно, будущую крупную величину в технике, но отнюдь не на бурных просторах мировой политики. И потому так свято, так нежно, так строго хранила в неприкосновенности уголок, где двенадцать трудных

лет — отнюдь не в райском блаженстве — совершалась наша любовь.

Я долго сидел на диване, не шевелясь и не зажигая света, — в моей голове, как облачки в безветренный день, медленно проплывали хорошие мысли.

Потом звякнул замок. Елена вошла, разделась, зажгла свет и открыла дверь в мою комнату.

— Ты! — вскрикнула она, остановившись на пороге.

Я встал, подошел к ней, хотел весело сказать, что, конечно, это я, разве она сама не видит, потом радостно обнять ее, поцеловать, подать руку и торжественно ввести в комнату. Но она бросилась мне на грудь, я схватил ее и задохнулся, не хватило вдруг воздуха на самое крохотное словечко, я мог только все крепче обнимать ее, все сильнее прижимать к себе. Мы так и стояли на пороге, обнимаясь и задыхаясь, даже не целовались, чтобы не оторвать прижатые одна к другой наши головы.

Она первая нашла в себе силы разомкнуть объятья.

— Боже мой, это ты! — повторила она.

Мы вошли в комнату. Она снова прижалась ко мне. И я опять начал задышаться. Я сказал незначащие словечки, чтобы хоть ими прервать молчание — радость его становилась слишком трудной:

— Вижу, вижу — не ожидала!

Она ответила, зная, что я пойму странное сочетание слов:

— Не ожидала, нет. Но всегда ждала, всегда ждала!

Мы сидели на диване и молчали, обнявшись. Я засмеялся. Она отстранилась. Никогда она не была такой красивой, как в эту минуту.

— Чему ты смеешься?

— Тому, что мы только обмениваемся стуком наших сердец и что раньше у нас не было столь красноречивого разговора.

Она считала, что стука сердец все же мало.

— Ты прощаешь меня, Андрей? Я потеряла тогда веру в тебя...

— Ты возвратила ее, с меня хватит.

Она вскочила с дивана. Глаза ее сияли.

— Ты голоден? Подожди здесь, я быстро приготовлю ужин.

— Не буду ждать даже быстрого ужина. Хочу быть с тобой.

— Тогда идем на кухню.

Она готовила ужин, я смотрел, как она двигается, как зажигает газ, как ставит на огонь то одну, то другую кастрюльку, как режет хлеб, размещает на столе тарелки и вилки. Она попросила:

— Не молчи, скажи что-нибудь.

Я удивился:

— Разве я молчу? Мне казалось, что я без умолку болтаю.

— Нет, ты только смотришь на меня.

— Но ведь это и есть самое важное дело. Я так мало вижу тебя...

— Твоя вина.

— Хорошо, будем говорить. Знаешь, зачем я пришел к тебе?

— Ты пришел к себе. Все остальное не так важно.

— Вот видишь. Ты просишь, чтобы я говорил, и тут же объявляешь, что тебе неважно все, о чем мы будем беседовать.

Мы хохотали. Давно я уже не чувствовал себя так легко.

— Говори, о чем хочешь, — объявила она, ставя передо мной тарелку. Готлиб Бар, великий ценитель яств, облизнулся бы от одного аромата приготовленного Еленой ужина. — Но раньше я спрошу. По стерео передавали, что жена твоего бывшего сотрудника...

— Неудавшееся покушение. Гонсалес разберется, почему эта Анна Курсай подняла на меня руку.

— Ее будет судить Гонсалес? Это казнь!

— Уж не хочешь ли ты, чтобы человека, пытавшегося убить твоего мужа, поблагодарили и отпустили на волю?

— Я хочу понять, что произошло. Она ведь направила на тебя импульсатор не потому, что ты мой муж. Этого я бы ей никогда не простила.

— А если бы она убила меня по другой причине, ты бы ей простила? Впрочем, ты права — она мстила мне за нашу политику.

— Твою или Гамова?

— Ты хорошо знаешь, что Гамов душа всех наших дел.

— Да, я тоже так считаю. Но многие говорят, что Гамов вдохновитель, а ты исполнитель. И стреляла она в тебя.

Я вспомнил, как сама Анна Курсай призналась, что на Гамова она и не думала бы покушаться и считает меня одного ответственным за то, что происходит сегодня во Флории. Я с улыбкой сказал:

— Теоретики религий считают, что у каждого бога свой чёрт. Двуединство божества и дьявола создает действительность

религии. Дьявол выполняет предначертания своего бога, но с видимостью борьбы между ними. Мне порой кажется, что я и вправду личный доверенный дьявол у верховного божества — Гамова.

— Не смей так думать! — сказала она, начиная сердиться. Это была хорошо знакомая мне черта: не соглашаясь, она не опровергала, а выговаривала тому, с кем расходилась во мнении. — Ты не дьявол, это недостойно тебя. Дьявол Гамова — Гонсалес. Вот уж воистину чёрт своего бога. Ты не просто при Гамове, а с ним. Ты самостоятелен.

— Самостоятельный второй божок при верховном божестве! Ты видишь меня более крупным, чем я есть реально. Это от любви.

— Анна тоже увидела тебя таким, потому и подняла на тебя руку, только произошло это не от любви, а от ненависти.

— Что подтверждает старую истину: любовь с ненавистью сходятся. Но раз уж мы заговорили на государственные, а не на семейные темы, то перейдем к более важной, чем покушение неопытной террористки. Гамов предупредил, что ты доложишь о каких-то неприятностях в Корине. До сих пор я считал, что любые несчастья во вражеской стране нам полезны. Но он иного мнения. Как поведешь доклад — в моем служебном кабинете или у нас на кухне?

— Можно и на кухне.

В Корине, сказала она, вдруг возникла новая эпидемия. Заболевшие задыхались от воды. Не от обычной воды, этого не замечалось, больные пили воду с той же охотой, как и здоровые, и не хватались после питья за горло. Но водяные пары вызывали кашель, рвоту и обмороки. Аллергия к водяным парам, вот такой диагноз установили врачи Корины. В принципе эта болезнь на островах Корины постоянна — чего-чего, а на нехватку воды там не жалуются. Но раньше к водяной аллергии там относились как к другим хворям сырого климата, — кто-то болел, кто-то сохранял здоровье. А сейчас грозное недомогание охватывает все большее число людей, и течение его все тяжелее. И детей оно поражает много сильнее, чем взрослых.

— Установили, отчего такая вспышка водной аллергии?

— Видимо, результат циклонных схваток, разыгранных Кориной и нашим Штупой. В Корине уже требуют предать суду всех метеогенералов. Своих генералов, разумеется. Штупа для коринов недоступен.

— Но циклоны больше не обрушиваются на Корину и Клур — и, стало быть, эпидемия должна пойти на убыль. Кстати, в Клуре не возникло похожих заболеваний?

— Прибрежные города Клуре под подозрением. Но эпидемии пока нет.

— Значит, и не будет.

— Ты ошибаешься, Андрей. Эпидемия может и перекинуться на Клур, и усиливаться в Корине. Установлено, что ее вызывает вирус, чувствовавший себя очень слабым до потопов, обрушившихся на Корину, но сильно окрепший, когда в воздухе было больше молекул воды, чем молекул кислорода. Сырость спала, а пробудившийся от вялости вирус энергично набирает силу. Следующий его прорыв — в Клур, в Нордаг и дальше к нам.

— И нет средств борьбы с этим новым врагом?

— Есть, конечно. Но способы уничтожения вируса водной аллергии либо сами вредны, либо осуществимы очень трудно. К первым я отношу полное прекращение дождей в районах, куда движется эпидемия. Но ведь тогда погибнет урожай!

— Какие лекарства против эпидемии? Мы мобилизуем всю нашу промышленность.

— Нет, Андрей. На заводах эти лекарства не изготовить. В Корине заметили, что у кормящих матерей дети водной аллергией не заболевают, сами матери тоже от нее защищены. А когда эпидемия разразилась, многие молодые матери разделяли свое спасительное молоко между младенцами и мужьями — спасение и тех и других гарантируется, если молока много.

— Так изготовим искусственное грудное молоко с теми же свойствами, что и материнское.

— Для кормления детей искусственного молока сколько угодно. Оно даже лучше, чем материнское. Добрая треть человечества выращена на таком молоке. Но против водной аллергии оно не годится. Зато молоко от самой истощенной женщины может спасти даже умирающего. Правда, нужно длительное — недели и месяцы — лечение.

Теперь я понимал, почему так странно звучал голос Гамова, когда он известил меня об эпидемии в Корине. Появился враг, не предусмотренный нашими стратегическими планами, с ним будет трудней, чем с маршалом Вакселем или Францем Путраментом. У меня вдруг заболела голова — оттого, что в ней не появлялось ни единой дельной мысли. Я сказал:

— Перенесем обсуждение в мой служебный кабинет. А сегодня подведем итоги затянувшейся разлуки.

Было уже поздно, когда, устав от долгой беседы, Елена заснула, прижавшись головой к моему плечу. А я не спал и думал о том, что выбрал себе неправильную линию жизни. На кухне из крана мерно капала вода, Елена все еще не удосужилась вызвать слесаря. Что-то шелестело за окном: кроны уличных деревьев качались на легком ветру и отталкивали друг дружку — в тихой комнате пробегали их тени, отбрасываемые фонарями. Из туч выскользнула луна, зеркало сбоку нашей кровати призрачно засияло, в нем вдруг отразился многоцветный ковер на полу. Я засмеялся. Мне было хорошо. Я понял то главное, до чего не доходил ни чувством, ни мыслью, — здесь, в этой комнате, рядом с самым близким мне человеком, мне надо быть всегда, здесь моя жизненная среда, здесь мой жизненный ареал. Ибо только здесь я — истинный я, сам по себе, сам для себя! А все то, что я делаю, моя власть, мои устремления, это уже не я, это внешние силы, поселившиеся во мне, — гонят, куда надобно им, а не мне. Нет, я не игрушка на волне разбушевавшейся стихии! Но и не больше, чем молот в неведомых мне руках. Пора, пора понять, что не там ты, где должен быть. Вот твоя истинная жизненная сфера: маленькая квартира, маленькое дело, любящая жена — и ничего больше! И никого больше! Сейчас и навеки!

Я осторожно приподнял со своего плеча голову Елены, не зажигая света, перешел в гостиную и набрал шифр дворца. На экране засветился Гамов.

— Вы не спали, Гамов?

— Я ждал вашего вызова. Что будем делать?

— Есть две идеи, надо бы обсудить.

— В таком случае, с утра — Ядро. Будем слушать вас.

3

Гамов обычно появлялся, когда все были в сборе. Сегодня он пришел первым — показывал, что предстоит обсудить проблемы трудные и принять решения необычные. Я предупредил Гамова, что приглашаю Елену. Она пришла ко мне, мы отправились в зал. Гамов сидел на своем постоянном месте сбоку от меня. Я открыл заседание.

— Министр здравоохранения доложит нам об эпидемии в странах наших противников. К сожалению, эпидемия грозит и нам.

Елена изложила те же сведения, что вчера вечером, только оснастила их цифрами — картина стала еще безрадостней. После нее говорил Омар Исиро. У этого человека для всех случаев жизни имелись сообщения из печати и отчетов журналистов, они тоже не скупились на грозные прогнозы. Один из наездников пера даже живописал скорую гибель всего человечества, ибо против водной аллергии нет реальной защиты, кроме полного запрещения воды — а хрен редьки не слаще. Информаторы Прищепы докладывали о панике у врагов: Корина шлет Кортезии мольбы о помощи, Аментола трижды созывал секретные совещания. Клурь ввели медицинский контроль в портах, уже обнаружено несколько случаев водной аллергии.

— Что-то похожее на водную аллергию открыто и в наших оккупационных войсках в Патине и Нордаге, — сообщил Пеано. И хотя он улыбался иногда и при сообщениях о поражении своих войск, даже отдаленной улыбки не было на его жизнерадостном лице.

Толстяк Готлиб Бар не изменил своему природному оптимизму. Он считал, что правительства стран, пораженных эпидемией, примут свои меры, нам надо посмотреть, что им удастся.

— Мне отвратительно безмятежно ожидать, пока чудовищная гибель обрушится на нас, — с волнением сказал Гамов. — Эпидемия поражает прежде всего детей. Если станут гибнуть дети Латании, мы будем навечно опозорены. Никакие победы на фронтах войны не оправдают нашей вины перед собственными детьми. Семипалов, вы ночью говорили мне, что у вас возникли две идеи борьбы с водной аллергией. Слушаем вас.

Гамов редко высказывался с такой категоричностью. Я внутренне даже восторжествовал. То, чего я хотел потребовать от Ядра, шло гораздо дальше любых требований Гамова — но шло в том направлении, какого он ожидал. Я все же был хорошим его учеником.

— Нет, Гамов, вы ошибаетесь, — сказал я. — Нельзя отгородиться от подползающей к границам эпидемии, она преодолет любые запоры и заслоны. Не отгородиться, не отогнать, а истребить ее в тех гнездовьях, где она зародилась и откуда нагло выползла, — вот мой план. Но для этого придется презреть все государственные границы, не посчитаться даже с собствен-

ными военными выгодами. Ибо речь о судьбах мира, а не отдельных стран — наших или чужих.

Я знал, какие тяжкие требования предъявляю, и не был уверен, что все согласятся.

— Они просты, мои предложения, — продолжал я. — Водные пары в атмосфере — вот что стимулирует ярость эпидемии. Переселить весь Клур, всю Корину, а также Родер, Ламарию, Патину и Нордаг, к которым эпидемия подползает, в знойные пустыни Торбаша, Собраны или Лепиня Великого вне человеческих возможностей. А почему бы не превратить эти страны хотя бы на год в подобие степей Собраны и Лепиня? Если Штупа перебросит все свои метеогенераторы в Патину, Ламарию, в Нордаг и если его не ограничивать в расходах энерговодоудаления, то ни одна туча не пересечет берегов тех стран, где уже свирепствует эпидемия. Я верно излагаю ситуацию, генерал Штупа?

Даже наш главнокомандующий Альберт Пеано не утруждал себя вставанием, когда говорил речи на Ядре. Но Штупа вставал, даже подавая реплики.

— Мощь наших метеогенераторов достаточна для отражения любого циклона с океана, если не будет могучего противодействия. Такого противодействия ни Клур, ни Корина не окажут. Устроить знойное лето в приокеанских странах могу.

Единственным, кто высказал сомнение в эффективности моего плана, был наш министр Милосердия.

— Нет, я не против, нет, — высказался он. — Но такая огромная метеоакция погубит урожай в Клуру и Корине, они воспротивятся. Вы не опасаетесь этого, Семипалов?

— Всего, что делают воюющие с нами страны, надо опасаться, без этого не одержать победы, — возразил я. — Но и уступать противнику ведь тоже не принято, правда? И я рассчитываю на их разум. Им придется выбирать: либо полные полки в магазинах и заваленные гробами кладбища, либо опустевшие магазины и спасенные дети. Не сомневаюсь в их выборе.

— Пустые магазины и спасенные дети... Но разве одно знойное лето истребит эпидемию? А если она притихнет, а на другой год возродится? Сколько лет она в Корине таилась! Вот чего я боюсь.

— Правильно, бойтесь! — сказал я. Многое зависело от действий Пустовойта — и была удача в том, что он высказал те опасения, какие именно ему потом практически рассеивать. — Ночью я сказал Гамову, что у меня две идеи по борьбе с эпиде-

мией. Одну я высказал — насильственное сухое лето в пораженных эпидемией странах. Теперь слушайте вторую. Искусственных лекарств против водной аллергии нет. Но натуральное женское молоко обрывает аллергию — значит, нужно снабдить грудным молоком всех больных.

Дальше я предложил объявить у нас в стране женское молоко государственным достоянием. Каждой кормящей матери сдавать его полностью в больницы, а детей своих кормить молоком искусственным, для здорового ребенка оно не хуже естественного. Часть собираемого молока оставлять как резерв, препятствующий вторжению эпидемии в наши рубежи, а большую часть передавать в страны, захваченные эпидемией. И оплачивать женщинам молоко многократно выше искусственного, предоставить матерям заодно и льготное продовольствие. У Пустовойта огромные средства, пусть он истратит часть своих миллиардов на подлинный акт всемирного милосердия. И пусть закупает грудное молоко не только у нас, но и во всех странах мира, особенно в тех, где эпидемия уже сражает детей и взрослых.

— Вы оплатили целым состоянием несколько литров крови, тайно отданной врачом Габлом Хотой нашим раненым пленным, — обратился я к Пустовойту. — Столько денег за женское молоко вы платить не сможете, молока потребуется много больше, чем было крови в теле Хоты. Но почему не платить за него столько, чтобы это стало для рядовой женщины экономически выгодно? Наши противники не введут монополии на женское молоко, препятствовать его закупкам не будут, оно ведь пойдет на спасение их граждан, маленьких и больших.

— Облагодетельствовать своих врагов! — презрительно бросил Гонсалес.

— И их, — холодно парировал я. — Но прежде всего нас самих. Наши дети, все мы под угрозой, Гонсалес. Спасая детей врага, мы спасаем наших детей. Ведомство, возглавляемое Пустовойтом, называется международной компанией Милосердия. И если оно не сможет организовать международное милосердие, то грош ему цена. И грош цена нам самим, ибо мы станем лгунами и лицемерами, мастерами лишь обещать добро, но не делать его, когда в нем нужда! Мне стыдно будет глядеть на себя в зеркало!

Показывая, что споры исчерпаны, Гамов объявил:

— Предложения принимаем, будем их выполнять. Вудворт, ваше мнение о реакции противников.

Я всегда с интересом слушал Вудворта. И не потому, что он не принадлежал к говорунам и каждая его речь становилась маленьким событием. Просто он находился в особом положении. Я не смог бы исполнять его нынешней должности — быть министром державы, воюющей с его родиной. Он в родной Кортезии искал некой высшей справедливости, но обрел ли он ее у нас? И он не переставал любить Кортезию, очень многое в ней ценил — и не раз, я уже писал об этом, ставил нам в пример ее деловитость, высокий уровень жизни. Мы стали для него образом творимого будущего, Кортезия отодвигалась в прошлое, она исчерпала свои творческие возможности, он видел это со скорбью. Но будущее еще только будет, а прошлое еще пребывало в настоящем. Я бы сказал о нем и так: он сделал ставку на ребенка против созревшего мужчины. Значит ли это, что ребенок во всем превосходит зрелого мужа?

Разумеется, я не сомневался, что Вудворт мой план примет, в нем не было вреда его народу. Но глубинная польза людей и непосредственная выгода правительств не всегда взаимно корреспондируют: у дипломатии свои законы.

Вудворт ответил, как я надеялся, но по-иному, чем я ожидал:

— Диктатор, вы объявили, что поведете войну, отвергающую все общепринятые обычаи и законы. То, что предлагается сейчас, больше, чем простая неклассичность. Помочь нашим врагам остаться живыми и здоровыми, насильно им помочь, если добровольно не примут помощи — отход от классики превращается в парадоксальность. Парадокс насильственного вызволения врагов из беды ошеломит их сознание, взволнует все души — таков первый мой вывод.

Он обращался к одному Гамову, хотя внес предложение я, а не Гамов, и хотя я, а не Гамов, председательствовал на Ядре. Все это были пустяки, каждый из нас знал о себе, что он не больше, чем высокий чиновник в аппарате диктатора. И если бы не присутствовала Елена, я и не заметил бы некорректного поведения Вудворта. Но Гамов угадал мое недовольство.

— Очень рад, что вы одобряете идеи Семипалова, — сказал он. — Я тоже их одобряю. Но вы не ответили на мой вопрос. Какой реакции ждать от наших противников?

— Не враги же они своего народа! И я согласен с Семипаловым, что министру Милосердия после раскрытия лагерей воен-

нопленных для посещений родных и продовольственной помощи предоставляется новая возможность большого милосердия.

— Подведем итог, — сказал Гамов. — Вудворту оповестить все страны о начале массовой борьбы с эпидемией. Пустовойту установить самые высокие цены в латах и золоте на грудное молоко. Срочно наладить сбор молока и его транспортировку в опасные районы. Пустовойт, вы согласны?

Пустовойт только заметил, что сбор молока надо поручить энергичным женщинам — добавить бы их в его аппарат. Гамов вспомнил о заокеанской Администрации Помощи военнопленным. Она целиком из женщин. И каких! Эта Норма Фриз, профессор математики, ведь такая дама, пусти ее, любому быку рога свернет. Идеальный председатель для женского Комитета Спасения от водной аллергии. И та удивительная женщина, застрелившая своего дурака мужа и пригрозившая прикончить Аментолу, если ее оправдают! Аментолу застрелить не дадут, но почему ей не возглавить Комитет по сбору женского молока в Кортезии? Перевести из фондов Пустовойта деньги, она и в своей Кортезии соберет еще не меньше — и хлынет поток спасительного молока из-за океана! И еще одну замечательную женщину привлечем. Людмила Милошевская поярче и поэнергичней всех остальных. Сейчас она примиряет двух политических петухов — вождя своей партии Понсия Маркварда и его заклятого друга в новом правительстве Вилькомира Торбу. И чаще становится на сторону врага своей партии Вилькомира, тот все же умней Понсия. Чего вы смеетесь, Семипалов?

— Вспомнил спектакль, который вы разыграли в Патине. Зрелище было впечатляющее. Хочу предложить еще одну женщину в проектируемый вами Верховный женский совет, который станет чем-то вроде зародыша Объединенного международного женского правительства — звучит сильно, не правда ли? Я говорю о дочери Путрамента. Не знаю, сколько в этом диком зверьке натуральной женственности, но что она не уступит всем перечисленным вами дамам в бурной энергии, поручусь головой. Во всяком случае, я поостерегся бы безоружным встретиться один на один с этим рыжекудырым, веснушчатым, диким представителем так называемого слабого пола. А если вооружить ее правом приказывать целой армии подчиненных женщин? В Нордаге она перемешает небо с землей — им ведь близость с Кориной в нынешней обстановке особенно грозна.

Никто не возражал против участия Луизы Путрамент в проектируемом Международном женском Комитете Спасения.

Я назначил короткий перерыв и проводил Елену.

— Все было так интересно и так важно! — сказала она восторженно.

— Да, ты вся замерла от восхищения, когда Гамов говорил.

— Я очень рада, что ты это заметил. Он диктатор и, стало быть, тиран, но временами поражает такой человечностью... Но ты не заметил другого, Андрей. Ты не увидел, как я слушала тебя, тебе в эти минуты было не до меня. А я любовалась тобой, ты был прекрасен, ты был проникновенно глубок! Я еще не знала тебя такого и так рада, что довелось узнать! Что Гамов! Он всегда хорош. А ты сегодня был выше Гамова — так бесконечно важно все, что ты предлагал.

— Ты преувеличиваешь. В тебе говорит любовь, — я смутился, восторженность раньше не была свойственна Елене.

— Да, и любовь! Разве это плохо? Скажи... Ты вчера случайно появился в своей квартире или решил воротиться? Я могу ждать тебя сегодня?

Я сказал очень серьезно:

— Елена, вчерашний день сохранится в моей памяти как один из лучших дней моей жизни. Я буду мечтать о повторении наших встреч. Не сердись, Елена, я сегодня не приду. И не знаю, когда сумею прийти.

4

История движется неровно, ее шествие — не праздничная прогулка по укатанной дороге. Но я не уставал поражаться, как сумбурно, судорожными толчками совершается то, что потом историки назовут плавным ходом исторического процесса. В общем, все происходило, как мы планировали, если говорить о результате. Но совсем по другому образу, чем представлялось заранее.

Увлеченные страстной уверенностью Гамова, мы ожидали немедленного политического эффекта, когда создавали две диковинные международные компании — Террора и Милосердия, — и даже объявили их акционерными: вступай, любое государство, в такую компанию, казни и милуй своих сограждан и плати огромные деньги за свои казни и милосердия. Именно такой издевательской формулой описал наше новое предприятие язвительный лохмач Фагуста. У меня было серьезное опасение,

что “точно по Фагусте” воспримут наши акционерные предприятия за рубежом — и враги, и союзники, и нейтралы. Но было недоуменное молчание. Даже ретивые журналисты — кроме Фагусты, разумеется, — ограничивались сухой информацией. Никто и не подумал вступать в Акционерные компании Террора и Милосердия, только проницательный карлик Кнурка Девятый захотел местечка в Белом суде — на всякий случай. И массовые расправы за высокую плату с нашими врагами — большие надежды Гонсалеса — их тоже не было. Как будто за рубежом повывелись мафии и вольные гангстеры, даже обычных преступлений совершалось меньше — недоумевали, присматривались, готовились, так я это теперь понимаю.

И вдруг прорвалось!

Яростный выстрел одуревшей от горя женщины, ее угрозы прикончить Аментолу, если она останется на свободе, пролетели искрой в набитом взрывчаткой складе. В своей стране она предстала героиней. Аментолу не перестали уважать, он оставался одним из самых популярных президентов в истории Кортезии, но ее мужеством восхищались. Возникло движение в ее защиту, на митингах требовали ее оправдания. И почти одновременно с шумом вокруг нее возникло то, на что мы надеялись и что провоцировали: террор против политиков и военных, объявленных в зловещем списке Гонсалеса. Министры и генералы опасались без охраны показываться на людях. Гонсалес разработал способы оплаты террористов, но полиция Аментолы не бездействовала — вознаграждение не всегда доходило до тех, кто предъявлял на него права, оплата откладывалась. “Террор в долг, убийства в кредит!” — зло оценил вспыхнувшую в Кортезии вакханалию Фагуста. И что бывало не часто, я согласился с ним в такой жестокой оценке.

Но вот что интересно — и тоже неклассично, если не просто парадоксально. О гневном приеме Гамовым женщин из Кортезии широко оповещали печать и стерео. Не только Исиро, не только неусмиряемый Фагуста и его антипод Георгиу, но и все нейтралы сладостно смаковали суровые обвинения, брошенные активисткам помощи. В Кортезии получили богатую пищу для изображения Гамова женоненавистником и хулиганом и, разумеется, были вдохновенны в обвинительной живописи. А результат вышел обратный. Норма Фриз в Кортезии объявила, что в мире есть один мужчина, понимающий естественное назначение женщин в мире, — и этот единственный настоящий мужчи-

на — диктатор Латании. Мгновенно отозвалась Людмила Милошевская. На стерео во всем блеске своей необыкновенной красоты она вещала, что Гамов открыл ей глаза на то, что женщины могут совершить в государстве, и что только теперь она постигла свое истинное назначение — быть высшей силой, умиряющей ребяческие схватки мужчин-руководителей. “Мужчины тешатся красочными пустяками, они, как павлины, распускают роскошные хвосты обещаний, фантазий и угроз, вся их деятельность — красивая игра на государственных подмостках, — сурово выговаривала она политикам. — Мужчины незаменимы в творении фантазий, но надо их сдерживать и направлять”. И Прищепа докладывал, что в Патине эта удивительная речь новой правительницы страны вызвала у мужчин не возмущение, а веселое одобрение. “Ну, мама Люда! Вот голова на плечах!” — такими восторженными восклицаниями повсеместно сопровождалось появление Людмилы на экране. И мужчины сочувствовали обоим враждующим вождям: “Теперь и Понсий, и Вилькомир покрутятся, мама им спуска не даст!” О том, что реальная власть вовсе не у Милошевской и не у Маркварда с Торбой, а у отца Павла Прищепы, генерала Леонида Прищепы, в Патине как бы забыли. Оба врага и их верховная примирительница заслонили собой командующего нашими оккупационными войсками. Я обратил внимание Гамова на этот любопытный факт. Он усмехнулся.

— То самое, что нам нужно.

Не убежден, что понял в тот момент все огромное значение, какое Гамов вкладывал в ответ.

Объективности ради должен сказать, что в общей вспышке активности женщин некоторую роль сыграло и мое поведение в Нордаге. И то, что я разрешил стерео показывать, как Луиза вела себя у виселицы и как осыпала меня упреками и обвинениями, а я терпел; и как я немедленно освободил ее после появления отца, а самого Франца Путрамента не послал на виселицу, но дал ему побыть с дочерью, а потом отправил обоих в Адан — все это поразило воображение и у нас, и у врагов гораздо больше, чем мог сам по себе подействовать простой факт поимки неудачного политика. Гамов не ошибался — яркие спектакли на видимой всем политической сцене куда эффективней невидимых трагедий на залитых кровью полях сражений.

И сейчас я вижу, что психологически мир уже был подготовлен к великим действиям, когда Омар Исиро обнародовал кампанию против водной аллергии. Конечно, умные люди сразу отметили, что Гамов в еще большей степени, чем прежде, когда создавал международные компании Террора и Милосердия, присваивает себе отнюдь не завоеванные права мирового правителя. Но была важная разница в том, как встретили его планы тогда и теперь. Тогда Латания виделась обреченной на поражение, пытающейся в предсмертный час экстравагантными средствами отсрочить гибель. Сейчас к миру обращалась страна, одержавшая победу в схватке с самой могучей коалицией держав, страна, открыто высказавшая претензии на полную победу. И если раньше она пеклась лишь о собственной выгоде, то сейчас, пренебрегая сиюминутной пользой, предлагала помощь врагам — еще не слыханное действие: объединение всех, воюющих и нейтральных, во имя общего дела — спасения больных детей. Дружеское пожатие рук над еще пылающими очагами сражений — так прозвучал на весь мир призыв Омара Исиро.

Ответ был быстрым. Норма Фриз, председательница компании Помощи военнопленным, призвала создать Комитет Борьбы с водной аллергией, а всех кормящих матерей продавать свое грудное молоко, наметила сеть приемных пунктов молока, его консервации и пути транспортировки в места эпидемий. Аментола разрешил Комитету Борьбы и нашему Пустовойту перевести в Кортезию любые суммы, какие они выделяют для закупок спасительного молока.

Все это было хорошо, конечно. Но главная проблема еще была темна. Кориная известила мир, что примет любую помощь для спасения своих детей, даже если эта помощь из страны, с которой она сейчас воюет. “Дети вне войны!” — объявила королева Корины. Но Клур молчал. Эпидемия еще не вторглась в границы Клуров. И древняя гордость клуров не позволяла безропотно соглашаться на наши суровые условия — гнать обратно океанические циклоны, создать в цветущей стране искусственную засуху. Мощности метеостанций Штупы хватило бы справиться с противодействием Клуров, но это означало бы продолжение войны в самой свирепой форме, а мы все же делали попытку к примирению.

Ночью звонок Гамова поднял меня с постели.

— Вышло! — кричал он. — Семипалов, я так счастлив! Клутры не будут препятствовать Штупе! Они сообщили об этом по стерео.

Я был обрадован не меньше Гамова.

— Теперь наши дети спасены! Теперь им ничего не грозит, Гамов.

— Все дети спасены! И наши, и наших противников! Всех больных вылечим, всех здоровых предохраним!

И на другой день Штупа стал передвигать на запад свои подвижные метеогенераторы, а Пустовойт готовить золото за рубеж для закупаемого там молока. Елена формировала отряды медиков для десантов в Патину и Родер. Я не погрешу против истины, если скажу, что всех нас охватил энтузиазм. Впервые за годы войны мы совершали что-то мирное, даже выше просто мирного — акт общечеловеческого великодушия.

И эти дни Аркадий Гонсалес выбрал, чтобы объявить о начале суда над Артуром Маруцзяном и его сообщниками!

Процесс можно было начать и раньше. Со дня покушения на Гамова прошло столько времени, что хватило бы расследовать десяток и более запутанных преступлений. Гонсалес уже спустя несколько дней торжественно извещил, что убийцы — офицеры из бывшей охраны маршала Комлина, но затем надолго замолчал.

— Наш Черный судья выбрал поразительно неудачное время, — сказал я Гамову. — Мы начинаем во время войны самое антивоенное дело, демонстрируем и друзьям и врагам образец настоящего благородства. А Гонсалес задумал наводить страх новыми расправами. Прикажете ему хотя бы отложить суд.

— Процесс нельзя откладывать, — ответил Гамов.

Я не понимал его упорства. Он человек и, естественно, натерпелся страха, когда трое ринулись на него с импульсаторами. Но он был политиком. Он не мог не понимать, как навредят нам зверские спектакли Гонсалеса. Какой взрыв восторга вызвало во всем мире освобождение заложников, летевших в водолетах Каплина вместе с осужденными на казнь пилотами! А волна облегчения, пронесшаяся по всей Кортезии, когда мы объявили раскрытие лагерей военнопленных! Каждая такая акция равновелика выигранному сражению. Маленькое судебское действие Гонсалеса могло погасить огоньки доброго отношения к нам.

— Процесс будет на руку Аментоле, — доказывал я Гамову. — Он готовит силы для новой схватки. Зачем облегчать ему работу?

— Ничего Аментола не выиграет от процесса. Пусть Гонсалес занимается своими делами, а мы с вами своими.

Тон Гамова был слишком категоричен, чтобы продолжать спор. Я предупредил Гамова, что на процесс не пойду, даже если Гонсалес вызовет меня как свидетеля.

Зато в день процесса я освободил себя от текущих дел и уселся перед стереотелевизором. Вначале на экране появились Елена и Пустовойт. Она рассказывала, как идет сбор целительного молока, он извещал кормящих женщин — наверное, уже в десятый раз — о льготах в питании и плате за каждую порцию молока. Плата была такая, что, вероятно, самым высокооплачиваемым делом в стране стало сцеживание молока. Ни сам Гамов, ни его министры, ни директора военных заводов и мечтать не могли о зарботке молодой матери, отдающей свое молоко на борьбу с эпидемией.

Константин Фагуста не удержался от карикатуры на нашу новую акцию. “Молодая семья нашего времени!” — гласил рисунок: женщина, невероятно худая, но с мощным бюстом, нацеленным на встречных, как двухорудийная батарея, плавно — будто боясь расплескать себя — шествовала на сдаточный молочный пункт, а позади ухмыляющийся муж сгибался под тяжестью двух переполненных корзин — платой за недельную сдачу молока. А в стороне небритый крестьянин почесывал голову: “Мои молочные коровы тоже худые, а молоко я честно сдаю, но дополнительного пайка ни им, ни мне!”

Омар Исиро предварил показ Черного суда краткой сводкой картин приезда Гамова на завод, его речи, выхода сквозь толпу и нападения убийц. Гамов, пошатываясь, брел к машине, а разъяренная толпа топтала ногами двух убийц, третьего, истерзанного, окровавленного, охрана защищала от расправы. На тех снимках захваченный выглядел типичным злодеем — уродливым, с перекошенным ртом, с вытаращенными глазами. Но на суде рядом с главными обвиняемыми сидел совсем другой — по виду — скромный, красивый юноша, бывший капитан гвардии, племянник маршала Комлина. Гонсалес поместил его на краю скамьи, центр ее заняли Артур Маруцзян и Антон Комлин, еще несколько человек сидели по бокам — бывшие министры, особенно приближенные, и среди них единственная женщина, Анна

Курсай. Я сразу не узнал ни Маруцзяна, ни Комлина. Маруцзян и в свои юношеские годы не выглядел молодым, он слишком рано пришел к власти — искусственно развил в себе солидность не по годам. Но стариком он не был, когда мы согнали его с президентского престола. А сейчас на деревянной скамье сидел старик с одутловатым лицом, уродливым зобом, потухшими глазами. У Комлина висели серые щеки, тряслась голова. Я не отводил от них глаз, остальные мало меня интересовали, но в судьбе этих я принимал участие, я сам создал план их падения — моя судьба пересеклась с судьбой бывшего президента и бывшего маршала.

Гонсалес выглядел удачно на фоне двух угасших стариков. Он сидел в черной мантии, под ней широкие плечи казались еще шире, а бледное лицо виделось почти бескровным. Я бы сказал, что это лицо мертвеца, если бы оно было обычным человеческим. Но лицо Гонсалеса, я уже много раз упоминал об этом, было больше чем красивым, оно было прекрасно, с таких лиц художники пишут ангелов, а он и по должности, и по натуре был дьяволом — чудовищное противоречие вида и сущности!

За отдельным столиком уселся Константин Фагуста — бывший лидер оптиматов вызвался защищать своих прежних противников максималистов. Я знал, что Фагусту Гонсалес попросил в общественные обвинители — в былых схватках с обвиняемыми он накопил много порочащих их сведений, и что Фагуста идти в обвинители отказался — незачем лягать копытами упавших, и неожиданно предложил себя в защитники. От Фагусты, конечно, можно было ожидать любых поступков. Меня удивило одно: Пустовойт не прислал своего представителя, а мог бы. В функции представителей Министерства Милосердия входило и присутствие на Черном суде, чтобы оспаривать его решения. Пустовойт уже не раз пренебрегал своими обязанностями. “Поговорим на Ядре, — решил я. — Милосердие должно быть не слезливым, а столь же решительным, как и наказание”.

Секретарь зачитал обвинение. Гонсалес опросил подсудимых: признают ли они себя виновными в организации преступных покушений на руководителей правительства? И Маруцзян, и Комлин, и их приближенные ответили: “Нет!”. Племянник Комлина, капитан Конрад Комлин, виновным себя признал. Анна Курсай взмахнула головой, пышная грива каштановых волос закрыла ее лицо, и отчеканила:

— Признаю, что покушалась на Семипалова. Преступницей себя не считаю. Это был акт политической борьбы.

Гонсалес, видимо, решил, что допрос единственного признавшегося в своей вине человека даст улики, изобличающие всех остальных. Он подверг Конрада Комлина двухчасовому терзанию. Тот упорно не поддавался на каверзные вопросы и коварные подказы. Нет, ни дядя маршал, ни свергнутый президент не уговаривали трех офицеров дворцовой гвардии брать оружие и подстерегать диктатора. И слова о таком акте не было. Но и дядя, и президент негодовали, что с ними поступили как с отщепенцами — схватили за шиворот и выбросили, к тому же конфисковали имущество, отказали в пенсии. Президент говорил, что судебный процесс был бы лучше нынешнего безрадостного существования, на процессе он мог обвинить весь народ в неблагодарности. Дальше таких разговоров не шло.

На этом месте Гонсалес прервал капитана Комлина.

— Маруцзян, вы сейчас на процессе, которого жаждали. Это вас радует? Встаньте, когда с вами разговаривает председатель суда!

Маруцзян с трудом поднялся.

— Нет, не радует, господин Черный судья. Меня сейчас ничто не радует. Я устал от жизни. Мне хочется отдыха, того простого человеческого отдыха, которого вы мне не дадите.

— Почему же не дадим? Будет вам отдых, Маруцзян. Долгий и нетревожимый!

Капитан рассказал, как они, трое друзей, возмущались расправой с президентом и маршалом, их внезапным падением из роскоши в нищету. Потом добавился протест против новых порядков. Лучшие люди должны были приносить повинную, признаваться в отвратительных “покаянных листах” в преступлениях, ошибках молодости, служебных просчетах — без таких унижительных признаний нельзя и мечтать остаться на службе. Свирепый Священный Террор исчерпал терпение. Миловать преступников нельзя, но публично издеваться над ними, унижать их человеческое достоинство, жестоко карать всех близких...

— Мы поняли, что потеряем уважение к себе, если смиримся с преступниками, захватившими власть, — закончил молодой офицер. — И решили убить диктатора. Прошу суд принять мое заявление: снисхождения не прошу, в содеянном не раскаиваюсь.

Гонсалес вызвал свидетелей покушения. Это была скучная сцена — рабочие и охранники, среди них и Сербин, описывали — и довольно путано — события, какие гораздо лучше показывало стерео.

Гонсалес объявил перерыв. Во время перерыва я вызвал Гамова.

— Вам нравится то жалкое зрелище, какое устраивает Гонсалес?

— Гонсалес делает то, что может. Интересно, что скажет Фагуста?

— Заранее знаю, что скажет этот лохматый, вечно голодный пророк справедливости. Постарается оправдать убийц и обвинить вас, что сделали себя заслуживающим убийства.

— До этого он все же не дойдет, — сказал Гамов с улыбкой.

После перерыва я снова убедился, что лучше знаю этого человека и что необъяснимая симпатия Гамова к Фагусте когда-нибудь принесет нам непоправимый вред. Если бы от меня зависело, в любой статье Фагусты я нашел бы достаточно поводов предать его Черному суду. И было бы сразу же покончено со всеми его нападка на все наши политические акции — лишь кампанию сбора грудного молока он одобрил, — впрочем, об этом я уже упоминал.

Фагуста не призывал посадить Гамова и меня на скамью подсудимых, а Маруцзяна с его свитой немедленно освободить: на это ему хватило ума. И он даже признавал, что в принципе наш Священный Террор дал полезные результаты по очистке общества от преступников. “Террор правосудия просто превзошел террор преступления”, — сказал он вполне рассудительно. Но затем он красочно описал все излишества кар, все жестокости наказаний:

— Даже у меня, мирного гражданина, замирало сердце и выворачивало нутро, когда наш уважаемый министр информации показывал по стерео, как выполняются приговоры нашего не менее уважаемого сегодняшнего председателя. Не привлечете же вы меня за это к суду! Почему же попали под суд бывшие руководители страны? Они тоже возмущались, как и я. Даже меньше — я писал статьи против террора, а они только шептались в своих домах.

— Они на скамье подсудимых не за разговоры дома, — прервал Фагусту Гонсалес. — Они виновны в злодейском покушении на нашего диктатора.

— А вот это не доказано! Нет данных, что они вкладывали импульсаторы в руки молодых офицеров, что прямо говорили им: “Идите и убивайте!” Давайте не сочинять фантастических сюжетов, это дело писателей, а не правосудия.

Фагуста потребовал вызова на суд свидетеля — диктатора Гамова, на которого совершил покушение Конрад Комлин.

— Жду вопросов, председатель, — сказал Гамов, заняв место свидетеля.

— Вопросы вам поставит защитник, он просил вас сюда.

— Слушаю вас, Фагуста, — сказал Гамов, поворачиваясь к редактору.

Фагуста помедлил, прежде чем задавать вопросы. Даже для этого бесцеремонного человека было непросто допрашивать диктатора.

— Не буду выпрашивать про ваши переживания в связи с покушением, — начал он. — Но считаете ли вы виновным Маруцзяна, Комлина и всех подсудимых в тех преступлениях, которые им инкриминирует Черный суд?

— Да, считаю, — ответил Гамов.

— Значит, их арестовали правильно?

— Разумеется.

— Диктатор!.. Вы, наверное, слышали, как я признался, что вел такие же разговоры, что и они? И даже писал статьи против вас. Не значит ли это, что я еще более виновен, чем они?

— Вы сомневаетесь в своей вине? Да, вы виновней их всех.

— Но я не сижу на скамье подсудимых!

— Пока, Фагуста.

— Что значит “пока”, диктатор? Это угроза?

— Просто деловое предупреждение.

Фагуста казался до того ошарашенным, что я засмеялся. Он еще не схватывался с Гамовым открыто и не знал, что схватка будет очень неравная.

Гамов спокойно ждал других вопросов. Фагуста преодолел замешательство.

— Итак, я пока на свободе. Благодарю! Но речь все же не обо мне, а о тех, кто уже потерял свободу. Вы согласились, что они и я одинаково виновны в несогласии с вашей политикой. Но меня вы не арестовываете — пока... А их отдали Черному суду. Почему же такое неравенство?

— Потому, Фагуста, что ваши несогласия и протесты еще никого не воодушевили схватить импульсатор. Они будоражат

мысли, но не вызывают зуда в руках. И до того, как ваши статьи не погонят кого-нибудь расправляться со мной, можете чувствовать себя в безопасности.

— Ненадежная безопасность, диктатор... Подсудимых, стало быть, судят не за мысли, а за действия? За то, что шепотком произнесенные проклятья вызвали ярость в юнцах, а юность всегда предпочитает действия, а не пересуды. Я верно излагаю вашу позицию?

— Абсолютно. Добавлю только, что сила зловредного шепота определяется тем, что шептали они, а не другие. Их мнению придавалось слишком большое значение.

— Отлично! Итак, их судят не за слова, а за тот правительственный ореол, какой они еще сохранили и какой придавал особое значение их речам? Других бы за такие поступки не судили?

— Другие такими словами не подняли бы трех юнцов на убийство.

— И это принимаю. Теперь скажите мне, что важнее для политики — прошлое, настоящее или будущее? Политик ведь не историк, углубленный в былое, не фотограф, фиксирующий одно настоящее, политик что-то конструирует, добивается чего-то, что пока еще в будущем.

— Вы сами ответили на свой вопрос. Хороший политик ставит себе цели на завтра или дальше того. Он создает будущее, а не консервирует настоящее.

— Гамов, вы хороший политик?

— Надеюсь на это. Окончательный ответ даст история.

— Итак, вы признаете, Гамов, что ваша основная задача — конструировать будущее. Прошлое для архивариусов и историков. А теперь поглядите на обвиняемых. Они ведь полностью в прошлом, которое вас уже не тревожит.

— Эти люди существуют сегодня, Фагуста...

— Существуют, но как? Еще раз прошу — взгляните в эти призрачные лики давно погибшей империи, — Фагуста властным жестом обвел скамью подсудимых. Операторы Исиро переводили стереоглаз с одного подсудимого на другого. Не знаю, от презрительных ли слов Фагусты или от духовного и физического истощения, но их тусклые лица совсем погасли — жалкие старики уныло опускали глаза перед миллионами зрителей. Только капитан Комлин да Анна Курсай выглядели пристойно, ее мрачная красота перед стереоглазом стала еще более впечатляющей, я невольно залюбовался. Фагуста с силой продол-

жал: — Что ждало бы этих людей в будущем вольном их бытии, в том будущем, которое вы конструируете и в котором они тоже могли бы быть? Да ничего их там не ждет! Они не для будущего, эти обломки, эти силуэты прошлого. И болтовня их уже никого не поднимет на бунт, и сами они ни на что не способны, кроме как тускло доживать свой век. А ведь вы собираетесь их казнить! Как вы оправдаете такое логическое противоречие, такую политическую несообразность, диктатор Латании?

— Вы отличный софист, Фагуста, — сказал Гамов, улыбаясь. Он с явным удовольствием слушал речь Фагусты, из защитительной вдруг ставшей обвинительной. — Вы фехтуете словом, как шпагой.

— Ваш ученик, диктатор! Но вы не ответили на мой вопрос — зачем в конструируемом вами будущем нужна казнь этих людей, провинившихся в прошлом?

— Почему казнь? Возможны и не такие страшные наказания.

— Не для Гонсалеса! Председатель Черного суда знает одно воздаяние — смерть. Правда, он варьирует формы смерти — простое отнятие жизни, с мучениями, с унижением...

— В важных случаях он представляет приговор на утверждение мне. Будем считать этот случай важным.

— Вы утвердите его смертный приговор?

— Он еще не вынес его, рано говорить об утверждении или отмене.

— Гамов! Отвечайте со всей прямоотой, которой вы так часто поражали не одного меня. Вы утвердите смертный приговор, вынесенный Гонсалесом этим несчастным людям?

Гамов молчал и улыбался. Он, казалось, любовался Фагустой. Тот, и вправду, представлял собой в эту минуту занимательное зрелище — огромный, лохматый, он вздыбился над невысокой трибуной, выбросил вперед мощные ручки — очень впечатляющая ораторская поза. Но я смотрел не на Фагусту, даже не на Гамова, а на Гонсалеса. Такого Гонсалеса я еще не знал. Он смеялся. Он откинулся в кресле и молчаливо хохотал. Его приводила в восторг перепалка между Гамовым и Фагустой. И он ничем не показывал, что оскорблен выпадами против него самого.

— Вы не отвечаете, диктатор! — мощно прогремел Фагуста.

— Получайте ответ! Я отменю смертный приговор обвиняемым. Ни один не будет казнен. Вас это устраивает?

— Вполне. И подсудимых еще больше, чем меня. — Фагуста еще не кончил борьбу за жизнь обвиняемых. — У меня появились новые вопросы — и на этот раз к председателю Черного суда. Уважаемый Гонсалес, вам не кажется, что дальнейшее судебное заседание будет смахивать скорее на спектакль, чем на дело? Вы будете еще допрашивать, выяснять, потом вынесете суровый приговор, а диктатор все ваши постановления перечеркнет. Так зачем тратить попусту время? Может, сразу отпустить всех обвиняемых?

— Вы правы, Фагуста, — ответил Гонсалес. — Раз диктатор не утвердит смертного приговора, а я, вы и в этом правы, иного бы не вынес, то незачем продолжать судебное следствие. Но есть одно затруднение. Вы утверждали, что обвиняемые — фигуры прошлого и уже не могут быть опасны. Но это не может относиться к тем двум, — он показал на Конрада Комлина и Анну Курсай. — Как же быть с ними? Можете ли гарантировать, что они снова не схватятся за импульсаторы? Против нас, а не против наших врагов, уважаемый Фагуста.

— Спросите их, — посоветовал Фагуста.

— Капитан Комлин, как собираетесь строить будущую жизнь? — обратился Гонсалес к племяннику маршала.

Тот встал, но не сразу нашел нужные слова — по всему, и помыслить не мог, что события обернутся так странно. Он ожидал казни, и от недавней решимости стать мучеником за идею не осталось и следа.

— Не знаю... Уже сказал — не раскаиваюсь и не жду снисхождения... Нет, пожалуй, немного раскаиваюсь... Может быть, мы очень ошиблись, что так опрометчиво... Не знаю... Нет, не могу ответить.

— Анна Курсай, вы!

Она не встала, а вскочила. Ее лицо горело. Она шла в бой — во всяком случае, ей самой так казалось.

— Я ни в чем не раскаиваюсь. Какой была, такой и останусь. Вам лучше не выпускать меня на волю!

Гонсалес обратился к Гамову:

— Вы слышали ее ответ. Я все же думаю — пусть не казнь, но...

— Нет, — прервал его Гамов. — Она воображает себя опасной — для самоутверждения. Но опасности в ней не больше, чем в разъяренной кошке, нужно только следить за ее когтями. От нее пострадал генерал Семипалов, пусть он сам решает, что

ей делать после освобождения. А вас, юноша, я сам накажу, — он повернулся к капитану. — Вы пытались меня убить. Так вот, я беру вас в свою охрану. Теперь вы будете охранять меня от других безрассудных убийц. И если потом искренне не обрадуетесь, что ваше покушение не удалось, значит, сам я мало чего стою. Гонсалес, разрешите удалиться?

И не ожидая ответа Гонсалеса, Гамов вышел из зала. Гонсалес, встав и расправив мантию на широченных плечах, объявил:

— Заседание закончено. Все подсудимые освобождены.

— Оправданы, Гонсалес, — подал реплику Фагуста. Он торжествовал.

— Не оправданы, а освобождены, — зло отпарировал Гонсалес. — Надеюсь, Фагуста, вы объясните в своей лихой газетке, какая в этих двух понятиях разница.

Я ждал вызова Гамова, он не мог не понимать, что меня поразило его выступление на суде и нужно объяснение. Он сам появился в моем кабинете.

— Как вам понравился наш судебный спектакль? — весело поинтересовался он, присаживаясь у стола.

— Вы всегда мыслите спектаклями, Гамов.

Он продолжал улыбаться.

— Мы об этом уже говорили, Семипалов. Даже незначительные политические сценки, разыгранные на открытых подмостках, действуют на души людей много сильнее страшных дел в закрытых подвалах. А эта сценка, по-моему, удалась. Сегодня о ней толкуют во всей стране, завтра прокричат по стерео во всех странах, будут обсуждать во всех газетах. Вы недовольны?

— Недоволен — и даже очень!

Он отлично знал, чем я недоволен, но притворился, что не понимает.

— Вас рассердило, что арестованные освобождены?

— Бросьте, Гамов! Вы знаете, что я никогда не одобрял зверств Гонсалеса. Освобождение клики Маруцзяна могу только приветствовать.

— Значит, вас сердит освобождение Анны Курсай? Вы сами передали ее Черному суду...

— Я не испытываю расположения к тем, кто пытается меня убить. И я бы не определил покушавшегося на меня в свою личную охрану. Об этом вашем парадоксальном поступке больше, чем о любом другом, будут орать во всем мире по сте-

рео и расталдыкивать в газетах. Очень, очень впечатляюще... Нет, я не восхищаюсь освобождением Анны, но и не буду горевать, что она на свободе, постараюсь лишь впредь остерегаться когтей этой взбесившейся кошки, как вы изящно живописали ее характер. Дело в другом.

— Объяснитесь, Семипалов.

— Вы сами знаете. Провести такую драматическую сцену без подготовки невозможно. Почему вы скрыли от меня, что готовите спектакль, а не свирепый суд? Почему поделились своим планами с Гонсалесом и Фагустой, а меня игнорировали? Не скрою — я очень обижен. Больше, чем обижен, — оскорблен!

Гамов обдумывал, как ответить, чтобы мое раздражение не превратилось в гнев. Он не желал даже маленькой ссоры со мной.

— Да, я предварительно говорил с Гонсалесом, он знал, что я предложу освободить всех, для этого и вызвал меня в суд. И если бы я не объяснил Гонсалесу, что задумал, сценка бы не удалась. Но с Фагустой я не разговаривал.

— Он так отлично подыгрывал вам, Гамов!

— Не подыгрывал, а играл. Самого себя играл, а уж я подстраивался под его игру. Когда он вызвался в защитники, я рассчитал все его вопросы и то, как буду отвечать на них. Разве вы не заметили, что он растерялся, когда начал меня допрашивать?

— Он растерялся, когда вы пригрозили, что и он сможет угодить на скамью подсудимых. Его ошеломило ваше “пока свободен”. Вы это “пока” тоже придумали для спектакля?

— Конечно. Я знал, что Фагуста непременно сравнит себя с арестованными. Угроза ему самому только усилит его настояния освободить заключенных. Он мигом вник в обстановку и блистательно сыграл подсунутый ему текст. Я знаю характер Фагусти.

— С Фагустой понятно. Характер, угрозы, отпор... А я? Почему вы молчали со мной? Оттого, что знаете мой характер?

Гамов всегда принимал брошенный ему вызов.

— Именно поэтому! Вами нельзя просто командовать, вас надо убеждать. Поэтому вы мой заместитель, а не подчиненный, выполняющий приказы. В падении Маруцзяна вы были главной фигурой дела, оно совершалось по вашей росписи. И вы гордитесь, что так блестяще провели эту операцию. Не могло ли вам

показаться, что событие мирового значения я ныне собираюсь завершить балаганом?

— Балаган! Вы нашли точное слово, Гамов!

— Вы подтверждаете мою правоту: вас нельзя было ставить в известность о том, как я собираюсь поступить с обвиненными.

Он сказал это очень холодно. Я, разумеется, возражал бы. Расчет Гамова был безошибочен. Он помолчал, ожидая моей новой реплики и, не дождавшись, завершил беседу:

— Надеюсь, эта небольшая размолвка не подействует на нашу дружбу? Без прочной опоры на вас мне трудно вести политику.

— Будем надеяться, — буркнул я, и он ушел.

На столе лежали важные бумаги, они требовали срочного решения. Я не мог прикоснуться ни к одной. Я думал, как буду дальше общаться с Гамовым. Что-то изменилось в наших отношениях. Что-то переменилось во мне. И раньше накатывались сомнения, и раньше охватывало раздражение, и раньше я вступал с Гамовым в споры, резко возражал. Но я всегда был верен ему. Он был творцом политики, я — исполнителем. Он вел, я следовал за ним. “Самый верный мой ученик”, — так однажды он назвал меня. Какое он ни проводил парадоксальное действие, какую ни предпринимал необыкновенную акцию, я всегда находил в них далекую рациональную цель, он просто видел дальше всех нас, и помощников, и противников, и в хаосе бездорожья отыскивал к той далекой цели верные пути. На этой незыблемой основе держалась моя вера в Гамова, но сейчас она пошатнулась. Уж не актер ли он, вышедший на мировую сцену? — хмуро думал я. — Что ему важней — реальная победа в войне или красочные спектакли сражений и отступлений, зла и благотворения — лишь бы он играл в каждом событии главную роль? Что составляет глубинную цель — реально облагодетельствовать человечество или изобразить блестящую фигуру вселенского благотворителя? Что важней — конечная победа или ослепительное шествие к ней? Он появился так неожиданно! Что мы знали о нем до войны? Да ничего толкового! Не исчезнет ли он так же внезапно, как появился?

Впервые мне явились такие кощунственные мысли. Обругав себя за чудовищные фантазии, я зашагал по кабинету, чтобы успокоиться, и приказал привести Анну Курсай.

— Садитесь, Анна, — сказал я, когда она показалась. — Надеюсь, вы без импульсатора?

— На глупые вопросы не отвечаю. — она спокойно присела против меня.

— А кто будет определять, глупый вопрос или умный? Если вы, то любой мой вопрос вы объявите глупым и откажетесь отвечать.

— Надеюсь, вопрос, пришла ли я с импульсатором, вы сами не относите к разряду умных?

— Глуп, глуп! Кстати я вызвал вас не для разговора об импульсаторах. Дело это старое, не стоит к нему возвращаться.

Она сказала очень медленно:

— Причины, заставившие меня схватить импульсатор, не устарели. Что вы так странно на меня смотрите?

— Любуюсь вами, Анна, вы очень красивы, — сказал я искренно. — В вас противоречие — божественная внешность и свирепая душа. Вы схожи с Гонсалесом — он тоже красив. Слишком красив для своих страшных дел.

— Надо ли понимать ваши слова, генерал, как робкое признание в любви или как нахальную попытку ухаживания?

Я захохотал. С умными женщинами, особенно если они красивы, разговаривать приятно.

— Ни то, ни другое, Анна. У меня красивая жена. Шило на швайку не меняют. И я страшусь бесперспективных дел. Если уж Ширбаю Шару не повезло с вами, где уж мне? Не сверкайте глазами, Ширбай сам признавался мне, что вы ему всех дороже, почему и молил о пощаде.

— Молить о пощаде вас, самого бессердечного в правительстве?

— И я ему так же ответил — что просить пощады у меня бесполезно. Рад, что сходимся во взаимных оценках. Но я позвал вас не обсуждать наши характеры. Я хочу потолковать о той причине вашей ненависти ко мне, которая, как вы сказали, не устаревает.

Кровь окрасила ее щеки.

— Вы говорите о Флории, генерал? Хотите смягчить ее судьбу?

— Ваша страна заслужила свою судьбу, только она сама и может ее изменить. Но появилась одна проблема, в решении которой флоры могут принять активное участие. Вы слышали об эпидемии водной аллергии?

— Откуда же? В тюрьме стереопередачами не балуют.

Тогда я рассказал ей все, что знал о страшной болезни и о мерах борьбы с ней. И о том, что в Международный женский Комитет Спасения введены моя жена Елена Семипалова, государственная деятельница Патины Людмила Милошевская, дочь президента Нордага Луиза Путрамент. И что хочу ввести в этот Комитет и Анну Курсай.

— Как вы отнесетесь к такому предложению, Анна?

Она горячо сказала:

— Генерал! Все, что смогу!

— Да, все, что вы сможете. Меньшего не жду. У каждой из руководительниц Комитетов Спасения будут свои функции. Намечаю их и для вас, Анна. Во Флории сейчас особая обстановка. Мы возвратили домой всех флоров, рассыпанных по Латании. Сейчас во Флории преобладание мужчин над женщинами, возвращались ведь в основном мужчины. И кормящих матерей у вас, наверное, больше либо скоро будет больше, чем в любом регионе. И если молока мы получим...

— Вы его получите больше, чем от женщин в других областях Латании! Вы не знаете флоров, генерал! Вы рисуете их надменными и неблагодарными, а они только полны достоинства. Именно из высокой самооценки они пойдут и на любое самопожертвование. Во всем благородном будут благородней всех.

— Хотел бы поверить вам. Можете идти. Будете работать с моей женой.

Анна Курсай встала, но не торопилась покинуть кабинет. Я с удивлением смотрел на нее, она медленно краснела.

— Вы чем-нибудь недовольны?

— Нет, не то... Так все неожиданно... Я даже после освобождения опасалась преследований, думала, куда бы мне теперь скрыться. А вы — такое доверие!.. Не знаю, как благодарить...

— Зато я знаю, — сказал я с улыбкой. — Когда-нибудь вы придете ко мне и скажете: генерал Семипалов, я так счастлива, что молния моего импульсатора лишь скользнула по вашей груди, а не пронзила ее. И это будет мне лучшей благодарностью!

Она пошла к двери. Я смотрел ей вслед. Я не понимал себя. Еще несколько часов назад я сердился на Гамова за то, что он поставил служить в свою охрану офицера, пытавшегося его убить. В этом поступке была такая уверенность в своем абсолютном возвышении над всеми, что любой приближенный к нему человек, уже друг или еще враг, не мог не проникнуться

сознанием его превосходства. И вот, негодуя на Гамова за театральный поступок, я сам совершил точно такой же. И даже его словами говорил о покушении на меня. Во мне уже назревало несогласие с Гамовым, но во всех действиях я еще подражал ему как ученик. И его ослепительное актерство командовало пока и моими поступками.

Я чувствовал, как велика моя зависимость от Гамова и как она из недавно радостной и легкой становится все больше нежеланной и тягостной.

Забыв об Анне Курсай, как только она вышла, я думал о себе и о Гамове, и весь внутренне сжимался — я страшился хода событий...

5

Прошло несколько месяцев.

Это были трудные и радостные месяцы. Два главных события заполнили их — нигде не велось военных действий, нигде не проливалась кровь; и страшная эпидемия не дошла до наших границ. Правда, в Нордаге гибли дети и наши оккупационные солдаты; и прибрежные города Клур подверглись опустошению — из них в панике бежало население; в Родере вводили строгие карантинны, даже в Патине были смертельные случаи. Штупа действовал: от Адана до океана за все лето не выпало ни одного дождя, даже вечные болота пересыхали. Великие трудности сулила потом такая мобилизация метеоэнергии, но Гамов и слышать не желал об ослаблении: на его столе ежедневно возобновлялась сводка заболевших в соседних странах детей, она определяла поступки. И если раньше его редко можно было увидеть вне дворца, то сейчас посещение больниц стало важным делом — он вылетал для этого в Родер и Нордаг, ближе просто не было больниц для лечения водной аллергии. Я как-то хмуро заметил, что он слетал бы даже в Клур и Корину, там больниц побольше. Он не уловил иронии — да, слетал бы, но ведь это воюющие с нами страны, а мира пока нет. Боюсь, что ему порой казалось, что мир вот-вот как-то сам наступит. И он сердился на Пустовойта, что сбор грудного молока идет медленней, чем требовали врачи. Добряк Пустовойт огрызаться не научился, но оправдывался уже красноречиво — у нас, говорил он, в связи с войной огромное падение рождаемости, то же и в других воюющих странах, а женщины нейтралов даже за высокую плату неохотно расстаются со своим молоком. Нужно, про-

сил он, поэнергичней тормозить женские Комитеты. И Гамову, и ему мерещился в них прообраз будущего мирового правительства. Я не разделял их увлечений. Эту женскую самодеятельность власти в любой стране только терпят. А чуть обстановка изменится, мигом прихлопнут.

Однажды у меня попросили конфиденциального приема Павел Прищепа, Готлиб Бар и Альберт Пеано.

— Конфиденциальное — значит тайное, — сказал я, когда они разом явились. — От кого же будем таиться? От товарищей по Ядру? Или от диктатора?

— От Гамова, — ответил за всех Прищепа.

— Кто будет говорить первый? — спросил я. — Готлиб Бар, вы?

По Бару, в стране назревала новая катастрофа. Штупа в борьбе за сухое лето на континенте исчерпал все запасы энерговоды. Урожай этого года невелик — результат все тех же действий Штупы по спасению больных в Корине и Клуре. От накопленных Маруцзяном богатств давно ничего не осталось. Скоро золотой лат будет стоить не больше старого калона. Еще хуже со средствами Акционерной компании Милосердия. Они казались огромными, сейчас они мизерны — Пустовойт назначал фантастические цены за грудное молоко. Отчисления от передач военнопленным, вначале значительные, сейчас поубавились — много вражеских пленных обменено на наших, лагеря сократились. И только одно государство, королевство Торбаш, вступило в ведомство Пустовойта, притока иностранной валюты нет. У Гонсалеса с финансами не лучше, чем у Пустовойта, но он скрывает свои расходы. Общий вывод: экономика страны очень ослабла.

— Твое мнение о новой военной кампании? — обратился я к Прищепе.

Он был настроен мрачнее Бара. Военная передышка была выгодней Аментоле, чем нам. Он быстро оправился от поражения, мы ресурсы потратили на борьбу с эпидемией. Кортезия все свои возможности подчинила усилению военной экономики. Сейчас у нее водолетный флот, превосходящий наш. Запасы энерговоды колоссальны. Оснащенность армий Фердинанда Ваксея и Марта Троншке покажется просто жалкой в сравнении с тем, как вооружает Кортезия свои новые армии. Если мы весной ринемся на Клур, чтобы завершить войну на континенте, мы встретим армию гораздо мощней армии Ваксея.

— А если не ринемся? — спросил я. — Если удовлетворимся тем, что война замерла без решения в чью-то пользу, как на это надеется Гамов?

— Тогда военные действия начнет Аментола, — ответил Пеано. — И начнет в Клуре. К весне у него там будут такие силы, что он легко пройдет Родер и Ламарию и снова захватит Патину. А из Корины, которую мы сейчас спасли, высадится в Нордаге экспедиционная армия кортезов. Не забывайте, что у нас нет своего океанского флота, а у кортезов он огромен. Но это еще не все. Аментола восстановил поставки вооружения отколовшимся от нас союзникам. Великий Лепинь превращается в первоклассную военную державу. Лона Чудина вы знаете, Семипалов. Он мечтает о владычестве над половиной континента. А его братец Кир Кирун дышит гарью сражений, как мы свежим воздухом. Весной на нас набросятся со всех сторон. Победитель зазнаётся и успокаивается, побежденные хорошо учатся. Гамов, боюсь, слишком увлечен величием одной нашей победы. Мы должны первые начать военные действия. И не весной, а сейчас. Пока я могу гарантировать известное военное превосходство над врагом и неожиданность, которая так часто помогала нам. Враги наблюдают психологические атаки Гамова и уверены, что мы и не помышляем поднять войска.

Я спросил сразу всех:

— Вы докладывали Гамову о своих оценках положения?

— Только поодиночке — каждый по своему ведомству, — ответил Прищепа. — Он отвергает наши опасения, даже когда соглашается с оценками. Он убежден, что война исчерпала себя, что ныне эффективны только сражения в душах. Меня он уверял, что Аментола склоняется к такому же пониманию, а нагромождают вооружения его генералы, они ничего другого не умеют.

— Значит, поставить вопрос о возобновлении военных действий на Ядре? Вы уверены, что нас поддержат все члены Ядра?

— Нет, Андрей, мы уверены в обратном, — сказал Прищепа. — Пустовойт поддержит Гамова, если тот не согласится с нами. Гонсалес будет за Гамова, потому что он всегда за него, чтобы наш диктатор ни совершил. Вудворт будет против нас, ибо мечтает о замирении со своей бывшей родиной. Штупа израсходовал слишком много средств и потребует отсрочки, чтобы набрать запасов. Исиро склонится к Гамову, потому что привык перед ним преклоняться.

— Невеселая раскладка, — сказал я. — Если Гамов не согласится с нами, то шестеро против четырех. Наше поражение гарантировано.

— Постарайтесь его убедить, — сказал Пеано. — Он считается с вами больше, чем с любым из нас.

— Это естественно, я его заместитель. Но замещать его я могу, лишь пока продолжаю его политику. Он не потерпит заместителя, который не продолжает, а отвергает его. Все должности при Гамове — лишь служебные функции. Подумайте о другом, друзья. До сих пор мы верной стайкой шли за ним. Мы воистину были прочным Ядром, в котором он играл роль одухотворяющего керна. Но если расстроится согласие, то это раскол.

Мы помолчали.

— Хорошо, — сказал я и поправился: — Плохо, а не хорошо. Созываю Ядро и ставлю наш общий доклад о возобновлении военных действий. Докладывать буду я, вы меня поддержите.

Я дал себе два дня на размышление и ничего не сказал Гамову до того, как все заняли свои места за правительственным столом.

Ядро закончилось, как я и предполагал, нашим поражением. Гамов отказался возобновлять военные действия, его поддержали пятеро. Предсказанное мной соотношение шести к четырем означало раскол правительственной верхушки. Гамов перед голосованием произнес очередную блестящую речь. Передам основные его идеи — они показывают, как мыслилось в тот день Гамову ближайшее течение мировой политики.

— Мы дошли до такого момента, когда можно избежать войны, если сами окажемся на достойной нас высоте! — вдохновенно описывал он ближайшие перспективы. — Война уже исчерпала себя, хотя армии лишь ждут приказа, чтобы ринуться друг на друга. Я намеренно употребляю формулу “друг на друга”, а не “враг на врага” — и не потому, что таков словесный шаблон, а по той причине, что в этом сочетании она уже не шаблон, а новое явление, ныне определяющее весь ход истории. И если продолжится война, то воевать будут уже не враги, а друзья, ибо мы, еще не заключив мира, уже совершали акции, немыслимые на войне — помогали своим врагам спасти их детей. Появились новые органы, пока не оснащенные формальными атрибутами власти, но уже располагающие властью реальной. Вдумайтесь, друзья, ведь женские Комитеты Помощи и Спасения — организации национальные, но они возглашают

международное единство. Они не дадут правительствам двинуть на нас весной свои армии. А вы хотите сами начать военные действия. Вы хотите погубить все то, что мы с таким трудом растим в душах, — сознание абсолютной ненужности войны, а это даже больше, чем уже доказанная нами преступность ее. Нет, друзья, пока вы не лишили меня власти, я не отдам приказа на военное наступление! Это была бы измена себе, нам всем, всем народам мира.

Вот такая речь — яркая, впечатляющая, как и все вдохновенные речи Гамова. Она не убедила ни меня, ни Бара, ни Прищепу, ни Пеано, но остальные проголосовали против нас. Я коротко объявил от имени нашей группы, что мы остаемся при прежних убеждениях, но покоряемся большинству.

Гамов попросил меня остаться, когда все поднялись со своих мест. Он с тревогой смотрел на меня.

— Семипалов, вы ничего не хотите сказать мне дополнительно?

— А чего вы ждете, Гамов?

— Опасаюсь... Политики, не получившие поддержки правительства, подают в отставку.

Я невесело засмеялся.

— Можете этого не опасаться, Гамов. Я ваш ученик — отвергаю классические методы. Добровольно в отставку не подам.

Он повторил то, что уже говорил мне:

— Не представляю себе, как бы мне работалось без вас.

6

Слишком знойное лето кончилось. Осень пришла естественная, а не метеогенераторного производства — тучи, холод, дожди. Прищепа, раньше спешивший с докладами к Гамову, теперь засиживался у меня. Пеано тоже посещал меня без приглашения. Я с тревогой изучал сводки разведки, ответные действия Пеано. Гамов — это становилось все очевидней — переоценивал свое психологическое наступление. Жена Торкина, оправданная судом присяжных, разъезжала по всей Кортезии, кляла и своего застреленного мужа, и Аментолу, грозила новыми выстрелами. Но Прищепа докладывал, что ни одного солдата не добавилось в охрану президента, который игнорировал угрозы полубезумной женщины. И женские Комитеты, вместо того, чтобы сталкивать правительства, стали терять популярность. Эпидемия водной аллергии была задушена. Нужда отталкивать

мужчин и брать на себя государственные заботы у женщин слаба. Женская революция не совершилась.

Зато все очевидней виделось, что после тяжких поражений противники планируют победу. На всех границах воздвигалась такая сила, что, приди она разом в движение, противостоять ей мы не сумеем. И не было больше сомнений, что эта сила ударит не позже весны.

Я сказал Прищепе, Пеано и Бару, что попытаюсь снова убедить Гамова в том, что немедленные военные действия станут единственной гарантией сохранения наших побед.

Но в то утро, когда я собрался к Гамову, произошло нечто, изменившее весь ход событий. Аментола объявил, что прекращает экспорт продовольствия. Сто лет Кортезия снабжала своими продуктами половину мира. Главная промышленная держава, она наводняла своими машинами все страны. Но главной статьей ее экспорта оставались сельскохозяйственные продукты. Село, а не могучая индустрия образовали благосостояние этой страны, село, а не заводы, питало ту широкую реку денег, что непрерывно лилась в Кортезию. И вот Кортезия прекращала этот благотворящий поток — закрывала свои порты для вывоза продовольствия. И не только для нейтралов, но и для своих союзников — Корины и Клуре.

Омар Исиро через каждые четыре часа передавал обращение Аментолы к миру.

Он, конечно, обвинил нас во всех своих новых бедах. Это мы принудили Кортезию сконцентрировать все средства в военной промышленности и на время ослабить заботы о сельском хозяйстве. Это мы, разрешая помощь попавшим в плен, грабили три четверти помощи — он не мог противодействовать такому наглому грабежу, ибо тогда погибли бы от голода и болезней его солдаты. Это мы, очищая от туч небо над союзниками Кортезии, нагоняли на Кортезию массу циклонов, и он не мог отбросить их обратно, ибо это привело бы к ливням в Клуре и Корине и буйству эпидемии, губившей детей. Он, Аментола, ныне решил остановить разбой, прикрываемый помощью. Знойное лето в Корине и Клуре наполовину снизило урожай в этом году — такова цена внешне бескорыстной помощи детям. Дождливое лето в Кортезии на треть уменьшило хлебные сборы — такова цена Кортезии за непротодействие метеопиратству Латании. Дальнейшее пособничество нам способно серьезно ослабить военное могущество Кортезии. Он понимает, что и Клур, и Ко-

рина без энтузиазма воспримут прекращение экспорта продовольствия. Но они не могут не знать, что в этом повинно и то, что они поддались на шантаж врага. Война вступила в окончательный период. Он готовит победу Кортезии и ее союзников. Победа без жертв не бывает. Надо с жертвами примириться.

Вот такую речь произнес президент Кортезии.

Я поспешил к Гамову. Он был в чрезвычайном волнении, у него даже нервно дергалась щека — я впервые видел это.

— Аментола признает свое поражение! — чуть не закричал Гамов. — Он объявил, что силы его слабеют.

— Наоборот, он возвещает, что нанесет удар гораздо мощней прежних. И что ради такого удара готов кое-чем и пожертвовать. Вижу здесь не признание в военном поражении, а уверенность в военной победе.

— Я говорю о новом психологическом поражении Аментолы.

— А я говорю о том, что мы в последние месяцы одержали излишне много психологических побед, но ослабили свои военные возможности. Гамов, мы упускаем уже завоеванные победы! Аментола прекращает экспорт продовольствия, но экспорт военной техники не прекратил.

— Вы слишком малое значение придаете борьбе за души, Семипалов.

— А вы слишком малое значение придаете борьбе армий. А ведь вы были еще недавно первоклассным военным.

— Давайте разберемся в ситуации объективно, Семипалов.

— Только об этом и прошу.

У Гамова была хорошая особенность — приступая к объективному анализу обстановки, он превращался из оратора в ученого. Никаких воодушевляющих речей, пафоса и актерства! С Гамовым анализирующим мне было легче, чем с Гамовым ораторствующим. Оратора Гамова приходилось только слушать, не споря.

И он начал анализ с повторения, что признание в неурожае не бахвальство, а жалоба. Прежде Аментола не призывал к жертвам ради победы, он спокойно уверял свой народ и союзников, что все для окончательного успеха уже есть — и это даже после гибели армии Ваксея и Троншке. Упоминание о жертвах — исповедь в слабости. Каковы же эти жертвы? Первая — предательство военнопленных. Раз экспорт продовольствия запрещен, значит, они не получают посылок из Кортезии, а

живут на нашем пайке. Тут две возможности: мы не меняем пайка, военнопленные быстро худеют, растет смертность. Мы терпим материальный убыток от прекращения конфискации части посылок и несем психологический урон от негодования против нашего обращения с пленными. Вторая возможность — мы увеличиваем пайки до международных. Новый материальный урон, зато жестокость Аментолы противостоит нашему великодушию. Какой вариант выгодней?

— Вы, конечно, выберете увеличение пайка пленным.

— А разве вы сделаете другое? Я продолжаю, Семипалов.

Вторая жертва Аментолы — он предает союзников. У них плохой урожай, но он отказывает им в продовольствии, которое они всегда получали, а сейчас должны бы получить в увеличенном объеме. И клуры, и корины возмущены, они обвиняют кортезов в эгоизме. Тут все политические козыри в нашу пользу. Но война не прекращена, и слово военных веско. Сейчас военные за Аментолу — еще больше, чем раньше. Они ощутили силу и подняли голову. Вот груз на политических качелях — на одном конце негодование на Аментолу за отказ в продовольствии и благодарность нам за защиту их детей от эпидемии, а на другом — обвинение, что мы виновны в их неурожае, и растущая мощь военных, их стремление очистить себя от позора недавнего поражения. Что пересилит?

— Клуры — воинственный народ, у них и в Корине сильны традиции воинской чести, — сказал я. — Боюсь, не только у военных, но и у населения немалая жажда реванша. И они потребуют от Аментолы отменить его запрет.

— Наверное, так. И если Аментола настоящий политик, он восстановит экспорт продовольствия.

В тот вечер я вызвал к себе Готлиба Бара и Павла Прищепу.

— Второе конфиденциальное совещание, — сказал я. — Мне срочно нужны две справки: какой точно урожай у нас и какой в Клуре и Корине. Карточная система там уже введена. Что урожай плох, об этом упомянул и Аментола, но я не верю его цифрам.

Готлиб Бар принес справку на другой день. Наша сводка показывала средний урожай. Хотя Штупа энергично отгонял все циклоны с запада, но этим открыл дорогу северным ветрам, они нагнали достаточно воды, чтобы растения зрели нормально.

Прищепка принес свои данные только на третий день.

Как я и ожидал, сведения Аментолы были неверны. Он сильно приукрасил положение союзников. Клур собрал не половину, а только четверть обычного урожая, в Корине он приближался к трети. Прищепа прибавил еще две сводки — резервы продовольствия в обеих странах. До войны там склады распирали от запасов. Война внесла свои жестокие коррективы. Поражения в Патине и Родере и забота о своих в плену сделали склады в обеих странах почти пустыми.

— В принципе надо радоваться: раз у врага положение плохо, это на пользу нам, — сказал Прищепа, но улыбнулся сумрачно, а не радостно.

— Не тот случай, чтобы искать себе выгоду в голоде врага, Павел. Мы так часто и так крупно играли в неклассические игры, что и сами оказались в неклассическом положении. Боюсь, нам не придется радоваться беде наших врагов.

И Клур, и Корина долго не решались признаться в катастрофе. Возможно, шли тайные переговоры между ними и Кортезией, но даже разведчики Прищепы ничего не разузнали. И только с приближением зимы в Клуре и Корине в один и тот же день объявили о снижении карточных выдач, о конфискации всех частных хлебных запасов, чтобы предотвратить спекуляцию. А на другой день мы слышали новое извещение обоих правительств: Клур и Корина обращались ко всем странам мира с просьбой помочь продовольствием — за наличные деньги либо займы.

Гамов созвал Ядро.

— Заметьте, что оба правительства обращаются не к союзникам, а ко всему миру, то есть также и к воюющим с ними. Еще год назад мы и помыслить не могли о таком повороте дел.

— Вполне неклассическая ситуация, — согласился я. — Но какая нам польза от этого? Они ведь не предлагают нам мира. Без предложения о мире не может быть и разговора о помощи.

— Запросим, не связывают ли они просьбу о помощи с предложением мира? Вудворт, как это сделать?

Вудворт напомнил, что дипломатических связей с враждебными государствами у него нет, но можно обратиться к стерео. В этом случае наше предложение узнает все их население.

— Тогда — по стерео. Подготовьте наш запрос — и в эфир!

Обращение к клурам и коринам передавалось по несколько раз в день. Из печати и стерео этих двух стран мы быстро узнали, что оно вызвало большое волнение. Одни твердили, что

пора объявить мир и принять помощь, другие восставали против измены союзному долгу. Это было то самое, о чем я говорил Гамову — спасение своих детей клуры и корины приняли сразу, но мир после тягостного поражения противоречил традициям и национальной гордости.

А затем оба правительства в холодной ноте, одинаковой у обоих, известили, что предложение о мире должно быть адресовано союзной коалиции, а не отдельным державам. Сепаратный мир — оскорбление для них. Немедленно за их нотами Аментола по стерео объявил миру, что противники задумали расколоть коалицию, шантажируя ее продовольственными трудностями в некоторых странах. Он согласен на переговоры о мире, если Латания предварительно объявит себя виновницей кровавой бойни, незамедлительно выведет войска из оккупированных Родера, Ламарии, Патины и Нордага, согласится выплатить репарации за разрушения городов и гибель людей и произведет чистку своего правительства, исключив одиозные фигуры.

С тяжелым чувством выслушали мы ноты Клура и Корины и обращение Аментолы. Вудворт сказал, что иного ответа от Клура и Корины не ждал и что Аментола верен себе — наглый, когда ему везет, и вежливый, когда его бьют. Таким он был в молодости, когда Вудворт общался с ним в Кортезии, характер его с тех пор не переменился.

— Значит бить его — и покрепче! — подал реплику Пеано.

— Он просто политик классической формации, — сказал я, ирония была предназначена для Гамова. — Он мыслит силовыми категориями. По части психологии и нравственности он не мастак. И он согласен проиграть десяток психологических битв, лишь бы выиграть одну военную схватку. В общем, просвета к миру мы не увидели. Противники готовы на лишения, лишь бы одержать военную победу. — И еще добавил для Пеано: — Грохот победы хорошо заглушает стоны голода. Не берусь исключить и то, что они ринутся на нас на всех фронтах, не дожидаясь весны.

— Для отпора я предпочитаю зиму, а не весну, — сказал Пеано.

В эти дни мы часто общались с Гамовым — то у него, то у меня. Он тяжело переживал, что его политические прогнозы не сбылись. Особенно огорчало затухание женского движения. Комитеты Помощи военнопленным закрылись сразу же, как Аментола запретил вывоз продовольствия. Комитеты Спасения

рассыпались после подавления эпидемии. Потускнели надежды на образование неофициального женского правительства, параллельного законному, но обладающего немалой властью — даже мне такая надежда виделась почти реальной.

— Мне страшно от мысли, что возобновится истребление людей, — признался Гамов однажды. — Я ненавижу войну. Я стал руководителем военного правительства лишь ради того, чтобы побыстрее покончить с войной.

Я не мог его утешить. Про себя я отмечал, что Гамов в депрессии, еще никогда он не был столь пассивен и вял, как в эти месяцы поздней осени. Он давно уже взвалил на меня текущие дела, теперь поручал и стратегию. Я решал за него — в его стиле, разумеется. Лишь потом я понял, что у него не депрессия духа, а подкрадывающаяся болезнь тела — только причиной ее было разочарование от политических неудач.

А перед новым годом произошла неожиданность, в которую он втайне продолжал верить.

Я уже говорил, что политические движения неравномерны, они то замирают, свиваются в закоснелые узлы, то, словно вырываясь из тенет, бросаются вскачь. Скажу точнее: политический процесс подобен болезни. Сперва общество чем-то заражается, потом латентная стадия, когда болезнь незримо зреет, и, наконец, она вырывается наружу тяжелой хворью. Именно так мне представляется тот процесс, что долго назревал в недрах Кортезии, а потом взорвался новым пробуждением духовных сил. Объявилась опять Норма Фриз с ее активистками — возник Комитет “Женщины Кортезии за немедленный мир”, а к нему присоединилась жена Торкина со своим движением: “Президента Аментолу — на мыло!”. До сих пор не понимаю, почему взбалмошная женщина для выражения ненависти к президенту выбрала этот клич футбольных фанатиков, требовавших расправы с неугодными им судьями, но на воображение женщин он действовал не меньше, чем на футбольных хулиганов.

И сразу грянуло событие, вначале тоже показавшееся хулиганской акцией, но, как мы теперь знаем, повлиявшее на судьбы всего мира. В Клуре в ответ на женское движение в Кортезии возникло свое. “Мир и помощь!” — так обозначили свои требования женщины Клуре, заполонившие улицы. Это было стихийное буйство, какая-то дикая волна, вдруг выплеснувшаяся на улицы, — вождей там не было, главарем становилась всякая

женщина, взбравшаяся на импровизированные трибуны — крыши уличных ларьков, платформы водохранилищ, а одна даже взгромоздилась на электроорудие и оттуда проклинала все орудия мира. Правительство запретило в столице Клура Ферморе все митинги, но в ответ женщины хлынули на главную площадь города. В этот день правительство обнародовало очередной декрет, что продовольственные пайки сокращаются еще на треть, и тем предрешило свой конец. Разъяренные женщины ворвались во дворец, министры разбежались кто куда. Женщины двинулись на стереостанцию, их становилось все больше, они все яростней орали. Мужчины не присоединялись к ним, только из домов, с тротуаров сочувственно наблюдали за ошалелым натиском своих подруг.

Но ни один солдат не встал наперерез потоку женщин, ни один офицер не отдал приказа к сопротивлению. Потом стало известно, что директор станции кричал начальнику охраны: “Остановите этих безумных! У вас же оружие в руках!” А начальник охраны презрительно бросил: “Я воюю только с вооруженными мужчинами, а не с безоружными женщинами!” И приказал своим солдатам отойти от ворот, чтобы женщины по оплошке сами не набросились на них.

Толпа ворвалась в операционный зал. Перед камерами одна из женщин вышла вперед и прокричала:

— Латаны! Вы помогли нам спасти детей. Помогите нам и теперь! Помогите нам!

Женщины одна за другой взывали перед камерами о помощи. И обращались только к нам, только к Латании, ни одна не потребовала благодеяний от кортезов, ни одна не помянула Аментолу. И я с замиранием сердца смотрел на их исхудавшие лица, на знаки жестокой нужды, сделавшей серыми их щеки, костлявыми их плечи — еще недавно женщины клуров слыли красавицами! А из толпы вытолкнули худого мальчишку лет восьми, и мальчик плакал, протягивал тонкие ручонки и молил:

— Дедушка Гамов, помоги! Дедушка, помоги!

Я уже говорил, что навеки запечатлелся во мне облик несчастной девочки, погибшей во время нападения воздушных пиратов Кортезии на наш мирный городок — опрокинутое на спину тельце, ужас в личике, руки, протянутые к небу, молящие грозное небо о пощаде... Много дней преследовало меня лицо ребенка, просившего у неба спасения и не получившего его. И я знаю, что в той жестокой каре, что судили мы убийцам-

пилотам, немаловажную, может быть, даже главную роль сыграл образ этой молящей о пощаде девчонки, вечно возобновлявшийся в памяти, вечно пронзавший болью сердце...

И еще не кончил этот плачущий мальчик простирать ко мне с экрана свои ручонки и взывать со слезами о помощи, как я уже знал, что никогда не забуду его и никогда не перестанет звучать во мне его милый, его жалкий голосок. И еще я знал, что на Гамова, смотревшего, как и я, в эти минуты передачу из Клура, призыв мальчика подействует еще сильнее, ибо обращен непосредственно к нему. И выбор Гамова уже сделан — он пойдет по единственно возможному для него пути.

Женщины еще не завершили свои призывы, когда на стереостанцию ворвались солдаты. И это были не охранные войска, а жандармерия. Солдаты выбрасывали женщин из зала. И я увидел, как дюжий солдат схватил мальчишку, умолявшего о помощи, донес его до двери и вышвырнул вон — оператор заснял эту сценку от начала до конца. Мальчик вырывался, кричал: “Пустите меня!”, а жандарм гоготал, ему было весело оттого, что он сильнее. А затем появились водометы и на толпившихся женщин обрушилась вода — валила с ног, заставляла бежать не глядя куда...

Всего десять минут понадобилось, чтобы погасить женский бунт...

В завершение на стереозэкране появился командующий столичным корпусом Арман Плисс. Он объявил, что гражданское правительство страны проявило полную неспособность справиться с ситуацией. Министры разбежались. Он не собирается разыскивать этих трусов и возвращать им власть. Армия берет всю власть в стране. Он назначает себя временным правителем и предупреждает, что не подумает ограничиваться слюнтяйскими запретами. Воспрепятствуются всякие собрания, протесты, митинги, болтовня и выкрики, мешающие порядку. И он имеет честь сообщить народу очень важную весть. Он только что беседовал по телефону с Амином Аментолой. Великодушный президент великой Кортезии возобновляет продовольственную помощь Клуру и Корине. Скоро в наши порты придут нагруженные доверху суда. В связи с таким поворотом событий всякие тайные либо публичные обращения за помощью к коварной Латании будут расцениваться как государственное преступление. Клур никогда не предавал и не предаст своих союзников. Война с Латанией продолжается до победы.

Он говорил, я рассматривал его. Он был импозантен, этот корпусной генерал Арман Плисс: высокая фигура, узкие плечи, непомерная голова — если бы стоячий воротник не подпирал ее, она качалась бы на длинной и тощей шее, как чугунный шар на резиновой палке. А на краснощеком лице нос такой величины, что его хватило бы на троих. И в довершение картины мощные усы, концы их подбирались к мочкам ушей. В общем, фигура и физиономия для карикатуры. С него и рисовались карикатуры в либеральных газетах, там его дружно не терпели.

И я знал об Армане Плиссе, что в армии он из самых непримиримых, воинский долг ставит выше политики. Он возражал и против пропуска наших водолетов в Кортезию для казни пилотов-пиратов. И даже объявил, что, будь его власть, он сбил бы наши водолеты еще на подходах к границе, ибо если при этом погибнет с сотню заложников, то зато не совершится позор свободного пролета машин над территорией их страны.

Вот таков был этот узкоплечий, большеголовый, усатый корпусной генерал Арман Плисс. И то, что он пришел к власти в Клуре, меняло всю ситуацию. Образ молящего о еде ребенка стушевывался перед ликом фанатика войны. Я думал уже не о мальчике, а о том, какое изменение в нашей политике вызовет появление этой усатой бестии.

Гамов думал о том же и созвал Ядро. Против обыкновения, он сел за председательский стол, а я сбоку от него.

— Вы все слушали речь нового правителя Клур, — начал Гамов. — Аментола согласился на экспорт продовольствия в Клур и Корину. Правда это или вранье, чтобы успокоить народ? Вы, Прищепа?

— Аментола и вправду отказался от прежнего решения заморозить экспорт, — сказал Прищепа. В порты уже прибывают товары на вывоз. Плисс не очень интеллектуален, зато прямолинеен и честен. Он ненавидит ложь и лжецов. Такого человека Аментола не стал бы обманывать, опытный политик прекрасно сознает, с кем имеет дело.

— Штупа, какая вероятность, что обещанное продовольствие достигнет Клур?

— Никакой! — ответил Штупа. — Аментола властен над своими складами, но не над зимней погодой в океане. Весной и летом мы с двух сторон насильовали океан, сейчас он временно получил покой. Покой океана зимой — это бури, дикая круго-

верть на воде и в воздухе. Там сейчас все ходит ходуном. Ни одно судно в такую погоду не выйдет на водные просторы.

— Разве Аментола не может метеонасилием принудить океан к спокойствию и зимой?

— Может. Но тогда израсходуются все запасы энерговоды. С чем он начнет весеннее наступление?

— Ясно. Продовольствие либо вообще не поступит через океан, либо его будет так мало, что в голодающих странах ничего не изменится. Третий вопрос. Как будем действовать мы?

Он не назвал, кому отвечать. Я сказал:

— Гамов, у вас ведь уже есть готовое решение.

— Да, есть. Хочу предложить его на ваше рассмотрение.

Он все же помедлил, — оглядывал нас, молча прикидывал, кто будет сразу за, кто выскажет сомнения, кто встанет против. Что до меня, то впервые в нашей совместной работе я решил ему сопротивляться. Он тоже догадывался об этом и волновался. Даже голос его вдруг стал другим — глухим и сдавленным.

Потом он сказал, что от того, как мы поведем себя в создавшейся ситуации, зависит не только перспектива войны, но и дальнейшая жизнь человечества. Он раньше не прибегал к таким высоким словам, хотя бывали очень сложные положения и принимались очень трудные решения. Но сегодня только такие чрезвычайные слова точно отвечают чрезвычайности момента. Возникла возможность совершить еще не слыханный в истории поступок — спасти от голода тех, кто держит против нас оружие. Он повторяет — история еще не знала, чтобы протягивали руку помощи тому, кто поднимает на тебя меч. Все совершалось по-иному — радовались беде врага, ликовали, когда он погибал, такова обычность войны. И ему могут сказать — а разве у нас не война? Так будем действовать по-военному! На войне как на войне! Но он возразит — а разве обычность войн предотвращала их? Если один пересиливал и побеждал, то другой замыкался и копил силы для реванша. Всякая война, даже начавшаяся из-за пустяков, порождает страшное дитя — взаимную ненависть. Но ненависть — это не только политика государств, это рак души. Ненависть не рождает дружбы, даже примитивного сотрудничества, даже равнодушного сосуществования. Ненависть побуждает ненавидящего все снова и снова бросаться на своего врага. Вдумайтесь, как мы планируем победу в войне? Мы видим ее в том, чтобы одолеть в новом сражении, в “решающей битве”, так это называется на военном языке. Победа для нас в

одном — настолько ослабить врага, чтобы он поднял руки. Это, конечно, победа, но настоящая ли? Руки враг поднял, а что творится в его душе? Появилась ли в ней любовь к нам, нет, не любовь, простая дружба, нет, не дружба, обычное благожелательство, простенькое добрососедство? Говорю и снова говорю: ненависть не тот фундамент, на котором строят благополучие! И вот появилась уникальная возможность нанести удар в глубину души врага, в тот глухо замурованный тайник, где клокочет ненависть к нам. Ударить по ненависти любовью, сразить нетерпимость великодушием, преодолеть отвращение приязнью — да ведь это сражение не в уже возникшей войне, а сражение с самим понятием войны, выжигание того болота, где кишат и плодятся, постоянно возобновляясь, отвратительные миазмы вражды, подозренья, ненависти. Вот такая появилась у нас необыкновенная возможность! Неужели мы окажемся недостойны великой миссии, открывшейся нам? Да, мы можем проиграть — и вместо объятий с недавним врагом увидеть у него, усиленного нашей же помощью, импульсатор, наставленный нам в грудь. Я и этого варианта не исключаю, я вижу его так же отчетливо, как вы. Но если ненависть, злое сердце войны, бросит наши армии на взаимное истребление, то ведь негодование в наших душах на коварство врага не ослабит, а усилит нас. И при любой черствости граждан его страны, при любой слепой преданности его солдат приказам своих командиров, какая-то часть его людей будет все же покорена нашим великодушием, а это не усилит, а ослабит его армии — тоже факт в нашу пользу. Я предлагаю ответить согласием на просьбу женщин Клуга, захвативших на несколько часов стереостанцию. Я слышу в их призывах глубинный голос народа этой страны. Я прошу оказать продовольственную помощь населению Клуга и Корины!

Он говорил эту речь стоя, как и почти все свои речи. Когда он сел, все уставились на меня. И Гамов смотрел на меня и ждал, что я отвечу. И Пустовойт, и Бар, и Вудворт, и Пеано, и Гонсалес, и Штупа, и Прищепа, и Исиро не отводили от меня глаз. Я понимал, что должен первый ответить на призыв Гамова, но мне было трудно. До сих пор, то сразу соглашаясь, то споря и возражая, в конечном итоге я следовал за Гамовым. Сейчас такому покорству пришел конец — не один Гамов догадывался, что я скажу.

— Вы объявили, Гамов, что видите неудачу помощи нашим врагам так же отчетливо, как все мы. Нет, Гамов, вы видите мир по-иному, чем мы. Вы мерите всех людей по той высокой мерке, какую положили себе, а люди, в общем, мельче вас. Вы надеетесь, что враги исполнятся благодарностью за дары, сочтут помощь продовольствием чуть ли не манной небесной, по веле-
нию Бога внезапно посыпавшейся на них с небес. Нет, Гамов, нет, они решат, что мы ослабели, что наши дары — это попытка задобрить их, что в предвидении своей гибели мы уже лебезим перед ними. И военные их сделают такой вывод: раз уж мы так обессилены, что унижаем себя предварительными дарами, то надо дожать этих трусов военной мощью. Эти люди, латаны, вероломно выиграли у нас одно большое сражение, теперь коварной помощью выигрывают выгодные условия мира. Поиграем в коварство и мы — примем их помощь, а потом расколотим их. Вы видели нового правителя Клура, Гамов? Он же солдафон, этот Арман Плисс, он же тупой вояка! Пусть он честный человек, но еще недавно предлагал пожертвовать заложниками, которых мы собирались отпускать на свободу, лишь бы оказать видимость сопротивления нашим водолетам. Он разогнал несчастных женщин, моливших о хлебе. Для него военная победа — единственный смысл его существования. Вы хотели бы вытравить ненависть из его души. Но в ней та ее разновидность, гораздо более страшная, чем простая ненависть, которая не вытравливается никакими подарками и благодеяниями — воинская честь. Нет, Гамов, только поражение на поле боя может привести этого человека в нормальное состояние — поражение ведь не противоречит воинской чести, как это ни парадоксально. “Все погибло, государыня, кроме чести!” — писал один король королеве после проигранного сражения. Но если бы он не принял битвы, которую заведомо должен был проиграть, то он счел бы, что произошло нечто куда страшней проигранного сражения — потеря его воинской чести.

— Я не отрицаю, что наша помощь может оказаться безрезультатной...

— Нет, почему же безрезультатной? Она будет иметь результат, только катастрофический для нас. Помощь Клуру и Корине, если мы ее окажем, совершится не от избытков наших, ибо избытков нет. Готлиб Бар, можем ли мы выделить продовольствие для двух голодающих стран, не меняя норм снабжения в собственной стране?

Готлиб Бар встал.

— Ни в коем случае! Вывоз продовольствия в существенных объемах немыслим без сокращения выдач по карточкам.

— Вы слышали, Гамов? Если помощь Клуру и Корине не приведет к миру, а весной разразится наступление врага, то следующей зимой мы будем сами голодать. И люто голодать, враг ведь позаботится о том, чтобы погубить наш урожай. И на то, чтобы затопить наши хлеба либо сжечь их яростным солнцем, у него энергоресурсов хватит, не надо хоть в этом заблуждаться. И тогда наши собственные дети будут простирать к нам ручонки и молить со слезами: “Кусочек хлеба, я умираю!” Неужели вы ответите такому ребенку: “Ты умираешь во имя высшей цели, только она не удалась”? Вот какая реальная перспектива грозит нам, если ваша высокая миссия помощи окажется мыльным пузырем. Мы станем преступниками перед собственным народом! Вы просите помощи воюющим с нами странам. На ваше “да” я отвечаю категорически — нет!

Гамов то оглядывал нас всех, то опускал голову и что-то рассеянно чертил на листке. Мне казалось, что он прикидывает, сколько будет за него, сколько против. Сейчас я уверен, что он уже не думал о наших голосах, а шел мыслью дальше — намечал, что делать после того, как мы отвергнем его предложение. Но молчание становилось нестерпимым, и он прервал его:

— Будем голосовать. Пустовойт, ваше мнение?

— Я говорю — да! — У Пустовойта дрожал голос, тряслись мясистые щеки. Он понимал, какой страшный риск содержится в этом коротком “да”, но министр Милосердия не мог отвергнуть миссию милосердия.

— Вудворт, вы лучше всех знаете лично наших политических противников, поэтому ваш ответ особенно важен.

— Именно потому, что я лично знаю многих наших противников, я отвечаю — нет! — холодно сказал Вудворт.

— Пеано?

— Мое мнение — нет. Могу обосновать свой ответ.

— Не надо. Гонсалес?

— Я отвечаю — да! — Гонсалес бросил это “да”, словно пощечину нам.

Милосердие к врагам так не походило на все, что делал Гонсалес, что я не удержался от иронии:

— Пытаетесь добросердечным поступком замолить грехи перед теми, кто прошел ваши застенки, Гонсалес?

Его ответ показался мне тогда очень странным.

— Мои грехи не замолить никакими добрыми делами. И я отдам отчет в своих поступках и попрошу кары за них у высшего суда — самого себя.

— Вы, Бар? — продолжал опрос Гамов.

— Нет, — коротко сказал Готлиб Бар.

— Вы, Штупа?

— Вынужден тоже ответить — нет! Гарантировать хороший урожай при большом наступлении врага не берусь.

— Прищепа?

— И мое мнение — нет, — сказал Павел Прищепа, не поднимая головы. Он стыдился, что вынужден выступать против человека, которому во всем верил. Я сочувствовал ему, я сам испытывал нечто похожее.

— Остаются вы, Исиро, — продолжал Гамов. — Вы единственный среди нас, кто держит руку на пульсе общественного настроения.

Омар Исиро так растерялся, что минуту то открывал, то закрывал рот, не выдавливая из него ни звука. Вообще, замечу, что для роли министра информации можно было подобрать человека, лучше владеющего словом. Уж не знаю, почему Гамов так благоволил к нему. Громогласный Константин Фагуста подошел бы больше, чем Исиро, на должность министра информации — если бы не его антигамовские настроения.

Наконец Исиро собрался с силами.

— Конечно, если бы помощь удалась... Но Семипалов так убедительно... Да, я тоже — нет!

— Подведем итоги, — сказал Гамов. — Три за, семь против. Ядро отвергает помощь голодающим в Клуре и Корине.

— Можно считать этот проект похороненным? — спросил я. Гамов зло усмехнулся.

— Нет, почему же? Всего семь человек отвергли помощь голодающим врагам. Даже не все правительство, а только его часть. Не слишком ли мы много берем на себя, решая за всю страну? Надо вынести наши разногласия на суд всего народа.

— Устроить референдум вроде тех, что уже проводили?

— Очень хорошая мысль. Так и поступим.

— И в обращении к народу вы, конечно, скажете о высоком благородстве помощи врагам, но забудете упомянуть, что враг может не понять нашего благородства и нам тогда придется расплачиваться страданиями за свое великодушие.

Гамов долго смотрел на меня. И я снова увидел то, чего не замечал в толчее ежедневности. Гамов сильно сдал — постарел, осунулся, под глазами легли черные полукружья, щеки посеребрились. Он, однако, сказал, не отвечая язвительностью на язвительность:

— Вы сами напишете обращение к народу, которое я оглашу.

— Тогда записывайте вопрос, выносимый на референдум.

И я громко продиктовал: “Согласны ли вы ценой сокращения своего продовольственного пайка оказать благородную и великодушную помощь голодающему населению тех стран, которые воюют с нами и солдаты которых завтра, возможно, используют эту помощь для того, чтобы нанести нам поражение в бою?”

Гамов записал и усмехнулся.

— Хитро! Ответ предполагается только один, такова нормальная логика. Но я принимаю ваш вызов, Семипалов. Именно на такой прямой вопрос нужно получить прямой ответ. Вскрыть самое глубинное в каждом, не только то мелкое, то близорукое, что на поверхности.

Я спросил:

— Вы хотите узнать, соответствует ли дух народа вашему высокому духу? Даже так: достоин ли наш народ своего руководителя?

Гамов не уклонился и от этого удара.

— История навалила на меня груз ответственности. Я могу вытянуть его только совместно с моим народом. Если между нами возникнет пропасть, мне нечего делать на моем посту.

Я вдруг сказал то, о чем секунду назад и не думал говорить:

— Гамов, вы плохо выглядите. Вы не заболели? Может, отложим референдум, чтобы вы подлечились? Еще никогда не видел вас таким усталым.

Он покачал головой.

— Еще никогда судьба не ввергала нас в такие сложности. Все мы, от министров до чистильщиков сапог, должны показать, чего реально стоим. Я чувствую себя неважно, но мне не до лечения.

Нет, не баловала нас судьба в ту осень спокойствием! И если на полях молчали батареи, то в душах вибрировали страсти не

слабей тех, какими терзали тела электровибраторы. Гамов, заранее все предугадывающий, и отдаленно не подозревал, как закончится заседание правительства Латании с правительством наших союзников, руководителями Комитетов Помощи и Спасения, редакторами газет и стерео.

Заседание открылось в самом обширном зале столицы. Гамов не поднимался на трибуну, а говорил, лишь незначительно возвышаясь над столом, — очень невыгодное для оратора положение. На сцену он пригласил всех членов Ядра, я разместился по правую руку от него, Вудворт — слева. Гамов говорил, а я рассматривал зал. И я увидел людей, с которыми сто лет не встречался, даже забыл о существовании многих, а они существовали, работали, даже занимали видные посты. В первом ряду уселись рядом два злых врага, всячески поносивших один другого и при встречах взаимно воротивших носы, — огромный Константин Фагуста и почти пигмей Пимен Георгиу. Кроме этого противоестественного соседства, все разместились по строгому чину — отдельной кучкой министры и их заместители, военные высоких рангов, руководители заводов и институтов. В общем, каждый, вызванный сюда, теснился к своей группе, заражаясь общим для нее мнением. Особо во втором ряду сидели женщины — высокая Людмила Милошевская, она, я догадывался, выбрала это место, чтобы стерео показывало лишь ее лицо, а сидящие впереди экранировали ноги, отнюдь не бравшие “совершенством обточки”, как называл красивые женские ноги Готлиб Бар в те довоенные годы, когда слыл остряком и женопоклонником. К Людмиле приткнулась Анна Курсай — не побоялась показать зрителям свою красоту рядом с красотой Людмилы. Женщины, сколько я раньше знал, на такие рискованные сравнения не решаются. Впрочем, теперь они числили себя не так женщинами, как деятельницами: Людмила появилась в этом зале по праву высокой должности, а Анна Курсай совершила если и не подвиг, то выдающийся акт: подняла своими объездами сел и городов всю Флорию, женскую ее часть, естественно, — выдача целебного молока “на одну женскую голову”, как это, наверно, формулировалось у статистиков, вышла точно такой, как Анна пообещала мне во время нашего объяснения во взаимной ненависти — выше, чем в других регионах страны. Не ценить такое старание я не мог и, хотя на всех дорогах Флории по-прежнему висели красочные плакаты с грозным предупреждением: “Генералу Семипалову въезд во

Флорию воспрещен!", уже не впадал в раздражение при одном слове "флор".

Но если красавица Анна не побоялась сесть рядом с красавицей Людмилой, то еще отважней поступила дурнушка Луиза Путрамент. Ее тоже пригласили на совещание, она активно включилась в "молочную кампанию" в своей стране и, хоть в Нордаге — вероятно, особенность всех северных стран — женщины не хвастаются плодovitостью, но выдача молока "на голову" уступала лишь выдаче во Флории. Так вот, Луиза тоже села рядом с Людмилой, и сравнение — для мужского глаза — было до того не в ее пользу, что, уверен, на нее заглядывались даже больше, чем на Людмилу: необычное покоряет.

И два политических противника, вожди Патины, оптимат Понсий Марквард и максималист Вилькомир Торба сидели в одном ряду, за женщинами. Но они все же постарались, чтобы их разделил какой-то мужчина внушительного телосложения и, вероятно, внушительной должности, иначе не заслужил бы входа сюда — впрочем, я того мужчину не знал.

А Гамов повторял для правительственного собрания речь, какую уже произнес на Ядре, но повторял ее более бледно и невыразительно. Нас он убеждал вдохновенно, в каждом слове звучала страсть, он понимал, какие необычайные идеи ставит нам в исполнение и, стало быть, надо, чтобы даже голос подчеркивал эту необычайность: убеждал не только логикой, но и голосом, и мимикой, и блеском глаз — он это умел, он был мастером на такие приемы. А сейчас правительственному собранию он докладывал тускло, не зажигал, а словно бы читал по бумажке скучнейший текст — даже временами путался в словах, чего с ним еще не бывало.

— Он никого не убедит, — тихо сказал я сидевшему рядом Прищепе. — Мы выиграем спор с ним без особых усилий.

— Впечатление такое, будто он заранее уверился в поражении, — шепнул ответно Прищепе. — Но ведь этого не может быть!

— Не может быть, но будет, — предсказал я.

Гамов в это время зачитывал вопрос, вынесенный на референдум, — сообщил, какие споры были на Ядре, как он оказался в меньшинстве и как без возражений принял мою формулировку.

— Она составлена так, что предусматривает только один ответ, — сказал он. — Вы спросите, почему я согласился? Воз-

можно, заподозрите, что внутренне сам жажду отрицательного ответа. Нет, я жду только положительного ответа, я верю, что он... И если даже на такой ответ, если даже... Значит, мой народ способен на самое высокое, на то, что единственно полно... Ради чего само человечество... Я верю в божественную миссию человека, я верю...

С ним совершалось что-то необъяснимое: он вдруг стал терять нить речи, совсем не справлялся с языком. Уже не предложения, а какие-то вскрики, остановки между словами, много продолжительней самих слов. Я видел ясней всех — вероятно, единственный ясно видел, ибо сидел рядом, что он судорожно вцепился руками в край стола, что пальцы его от усилия побелели, он словно бы почувствовал, что может упасть и силой удерживал себя на ногах. Я вскочил, отбросил свой стул, метнулся к нему. Он зашатался, схватил меня за плечо, стал оседать. Зал вскрикнул. Я услышал единый крик, в нем выделялись женские голоса, тенора и баритоны мужчин, чьи-то потрясенные басы, но я, повторяю, слышал крик зала, многоголосый, но единый вопль...

Должен сделать здесь отступление. Уже с первых слов Гамова стало очевидно, что согласия с собравшимися у него не будет. Мне трудно объяснить, как возникло такое понимание. Никто не подавал протестующих реплик, никто даже смутным шумом не нарушал его вялой речи, зал пребывал в молчании, но то было молчание неодобрения. Наверно, когда-нибудь научно, в физических величинах, оценят характеристику молчания, как уже умеют оценивать характеристики шума. Я не знаю таких физических единиц молчания, но уверен, что оно куда разнообразней шума. Я тысячи раз слышал молчание пустое и глубоко насыщенное, молчание насмешливое и уважительное, настороженное и безразличное, молчание сочувствующее и протестующее, молчание, жадно внимающее слову, и подавленное молчание безнадежности и отчаяния... Я мог бы далеко продолжить этот список, ибо, повторяю, нет ничего в мире звуков, что было бы столь разнообразно, как их отсутствие, как то удивительное явление, что называется молчанием. Один древний поэт радостно утверждал: “Тишина, ты лучшее из всего, что слышал” — и я понимаю его, хотя тишина и молчание — явления разные. А другой написал: “Молчание — всеобщий знак несогласия”. До чего же он мало слышал в молчании!

Так вот, зал отвечал на речь Гамова неодобрительным молчанием. Гамов не мог этого не услышать. Он был чуток на все звуки, а еще больше на их отсутствие. Он понял, что поддержки здесь не встретит. Если уж я и Прищепа, Пеано и Вудворт, ученики из вернейших, помощники из активнейших, если уж мы дружно отринули его, если мы сочли его великодушные планы не только фантастическими, но и реально опасными, то что он мог встретить от государственных чиновников, выполнявших практические дела, где заоблачные полеты благородных идей воспрещены по условиям работы. Не сомневаюсь, что им овладел внезапный приступ отчаяния — и столь же внезапный сердечный приступ.

Но сознания он сразу не потерял. Он еще продолжал безнадежную борьбу. Но уже не агитировал, а приказывал — на это пока хватало сил. Он продолжал цепляться за мое плечо, я поддерживал его обеими руками. Он отрывисто выкрикивал, силясь справиться с болью, пронзившей сердце:

— Семипалов, погодите!.. Бар, где вы? Бар, это приказ, надо немедленно... Пока проголосуем, пока вся страна... Бар, все запасы из складов на транспорт... И когда референдум... в тот же день эшелоны... Бар, я не слышу вас, почему вы молчите?

— Слушаюсь, исполню, — отозвался Готлиб Бар, но так тихо, что, наверно, только Гамов да я услышали его ответ.

Гамов продолжал говорить — боль в сердце столь усилилась, что слова звучали не государственными приказами диктатора страны, а мучительными выкриками человека, пораженного острой сердечной схваткой:

— Пеано! Весь транспорт, все вездеходы, все водолеты... Всё Бару, всё Бару!.. Подготовиться, чтоб ни одну минуту... Пеано!.. Слышите, в час, когда референдум... В тот же час... Семипалов, вы здесь?.. Семипалов, в Клуре умирают дети!.. Прошу, всех прошу!..

На этом силы его пришли к концу. Он рухнул мне на руки. Прищепа, Бар и Гонсалес подскочили на подмогу. Мы осторожно вынесли его из зала... В зале стояло мертвое, мучительное молчание — совсем не такое, что сопровождало речь Гамова. У входа стояла дежурная машина скорой помощи с врачом. Мы привезли Гамова в овальный зал, внесли в его комнатку, положили на кровать. Он не приходил в сознание, но врач сказал, что угроза немедленной смерти миновала и это главное, в остальном положимся на железную натуру больного и медицин-

ский уход. Мой разговор с врачами слушал Семен Сербин, не-
сменяемый не то охранник, не то слуга, не то наперсник Гамова.
Я уже говорил, что этот неприятный человек почему-то невз-
любил меня. И сейчас он смотрел с таким недоброжелательст-
вом, что я резко спросил:

— Чего так вызверился, Сербин?

В его ответе слышалась ненависть:

— Я-то ничего, а вы чего добиваетесь? Доводите человека
до смерти.

— Сербин, вы понимаете, что говорите? — от неожиданно-
сти я не нашел лучшего ответа.

— А чего не понимать? Хотите занять место полковника! Не
выйдет, генерал, не по росту вам. Не дадим!

Выслушивать такие оскорбления без отпора я не мог.

— Сербин, еще когда-нибудь скажете что-то подобное, и я
прикажу вас арестовать. В подвалах Гонсалеса быстро научают-
ся уму-разуму.

Он, конечно, был не из тех, кто празднует труса, доказывал
это и раньше. Он так оскалился на меня, словно хотел укусить.

— Не пугай, пуганый уже не раз! И на суде твоего Гонсалеса
скажу, на всю армию крикну: губят полковника, куда же это,
ребята!

Он, как и все солдаты из охраны Гамова, называл его только
полковником. Кстати, воинского звания Гамов не имел. Нас он
превращал в генералов, а себя повышать не хотел — он был
щепетилен в таких делах. Да и не нужно ему было воинское
звание выше нашего — он и без него был выше.

Мне крикнули, что Гамов пришел в сознание и зовет меня.
Он улыбнулся виноватой улыбкой, словно извинялся за сердеч-
ный приступ. И прошептал:

— Неожиданно...

— Ожиданно, — возразил я. — У вас уже давно сдало здо-
ровье, Гамов. И моя вина, что я недоглядел. Нельзя вам в таком
состоянии выходить на народ с речами. Не прощу себе этой
ошибки.

— Не вы, нервы... Семипалов, не помню... Сказал ли?

— Все сказали! Немедленно приступаем к делу. Бар и Пеано
готовят транспорты с продовольствием. Как вы велели. Я орга-
низую референдум. Еще что надо?

Его голос угасал, я почти уже не слышал слов:

— Спасибо...

Он бессильно закрыл глаза. Я смотрел на его вдруг страшно похудевшее лицо и думал, что отвечал так, будто верил, что референдум пройдет по его желанию и население выскажется за опасную помощь своим врагам. А ведь я не только не верил в это, но был убежден в обратном результате опроса. Отдельные выдающиеся люди могут обольщаться возвышенными иллюзиями, но народ в целом сохраняет трезвость мысли. Даже в переполненном зале, где сидели одни помощники и сторонники Гамова, даже на этом собрании избранных я слышал в молчании трезвость, а не опьянение грезами. Но говорить об этом я не мог. Он бы не вынес правды, которую я так отчетливо ощущал, предвидел — почти физически — всеми чувствами тела. Я должен был притвориться, что все идет по его желанию, чтобы он — на все время болезни — знал, что наш спор завершен в его пользу, мы снова, как всегда было раньше, верные исполнители, а не противники. Так это мне в тот момент представлялось.

И именно так я объяснил свое поведение Прищепе, Бару и Гонсалесу, когда мы возвращались в зал. Прищепе и Бар похвалили, Гонсалес хмуро молчал — наверно, внес неискренность в общий синодик моих прегрешений, копящийся в его памяти.

В зале почти никого не было, но фойе и коридоры гудели. Увидев, что мы возвращаемся, все повалили обратно. Я выждал, пока рассядутся, и попросил на трибуну врача. Врач объяснил, что болезнь из опасных, но течение ее в медицине хорошо изучено. В данном случае можно надеяться на благополучное выздоровление, если не вмешаются непредвиденные факторы, вроде серьезных нервных потрясений.

— Вы слышали диагноз — выздоровление, если не случится больших нервных потрясений, — сказал я. — Предстоящий референдум в этом смысле может оказаться опасным. Но тут мы ничего не сумеем изменить. Речь пойдет о судьбе народа, народ будет решать свою судьбу, как сочтет для себя полезным, хотя бы это было и неприятно отдельным его гражданам. Зато во всем остальном мы выполним волю диктатора. Вы слышали ее: немедленная подготовка продовольствия к отправке, с тем чтобы ко дню референдума все эшелоны могли пересечь границу военного противостояния армий, если на то будет санкция народа. На время болезни Гамова его правительственные функции переходят ко мне. О состоянии диктатора стерео будет сообщать дважды в сутки. Остальные новости в обычное время.

Вначале я думал, что референдум можно устроить уже на третий день Но Готлиб Бар восстал против такой торопливости. Сбор и погрузка продовольствия в вагоны и вагоходы, даже если задействовать армию и военнопленных, должна была занять не меньше месяца, еще неделю Бар потребовал на передвижение всех грузов к границе. Я рассердился.

— Будем откровенны, друзья, — доказывал я на Ядре. — Только двое из нас — Пустовойт и Гонсалес — проголосовали за помощь врагам. Но и они, думаю, не верят, что народ поддержит эту операцию. Уж если мы, помощники Гамова, отказали ему в согласии... Зачем же нам сразу опустошать все склады, сразу продвигать эшелоны к границе? Ведь ни один вагон, ни одна машина реально границы не пересечет. Мы обещали Гамову немедленно начать подготовку операции, мы и начнем ее. Мы даже покажем по стерео эшелоны, выстроенные у границы, он увидит их и поймет, что его воля действует. Но воля народа отменит его волю, сомнений в том нет. И придется возвращать обратно огромные массы грузов, гнать по перегруженным дорогам тысячи машин. Зачем эта романтика? Мы же серьезные люди, Готлиб! Неделя, одна неделя — вот все, что можете иметь.

Бару дали семь дней. Референдум назначили на конец недели.

Утром следующего дня Гонсалес известил меня, что ко мне на прием просится президент Нордага Франц Путрамент.

— Вы его не судили, Гонсалес? — удивился я.

— Гамов хотел с ним о чем-то переговорить, но не нашел времени. Путрамент узнал о болезни Гамова и запросился к вам. “Все же старый знакомый!” — сказал он о вас.

— Доставьте его ко мне вечером. И попозже.

Путрамент показался в дверях, когда в здании остались одни сторожа. Почти час перед этим я смотрел последние известия. Омар Исиро передавал на весь мир о сердечном приступе Гамова. Я увидел со стороны, как Гамов хватался рукой за мое плечо, как к нам спешили Прищепа и Гонсалес, как мы четверо медленно — чтобы не трясти — несли Гамова, а вокруг кричали, сновали разные люди — приглашенные на заседания, охрана, выскочивший из толпы врач... А за рубежом пока только обсуждалось происшествие в Адане — правда, уже собирались на улицах кучки людей, но дальше не шло: буря, разразившаяся

в следующие дни, еще не чувствовала, она только скрытно набирала силы. Помню, что я даже рассердился — все же произошли события мирового масштаба: назначен референдум, подобного которому еще не было в истории, и временно вышел из строя самый властительный в мире человек, не президент, даже не король, а диктатор. На такое происшествие должны были откликнуться политики, общественные деятели, оно должно было породить волнение, собирать толпы на площадях...

Уже спустя два дня я еще больше поражаюсь тому возбуждению, которое произвела драма в Адане, но по-иному — оно было больше всего, что я мог вообразить...

В дверь вошли два охранника, за ними Франц Путрамент.

— Разрешите войти, генерал? — вежливо осведомился президент Нордага.

— Вы уже вошли, зачем же спрашивать разрешения? — сказал я.

— Я еще могу повернуть обратно, если не получу разрешения.

— Вряд ли это позволят ваши сторожа. Входите и располагайтесь в кресле, Путрамент. Вы свободны, — сказал я охранникам и снова обратился к Путраменту: — Вы сильно изменились, президент. Когда я увидел вас лихо скачущим на площадь, вы показались мне не солидным мужчиной, а лихим парнем, кем-то вроде кортезских ковбоев, те ведь стариками не бывают, то ли вообще бессмертны, то ли погибают задолго до естественной смерти.

— Я и был ковбоем, генерал. И как раз в юности. И как раз в столь нелюбимой вами Кортезии. И даже считался хорошим загонщиком скота. Иногда удивляюсь, зачем я променял лошадей на министров и генералов. С лошадьми мне проще общаться, чем с лидерами политических партий.

— Эти хорошие мысли вам стали являться после поражения в войне с нами? — сочувственно поинтересовался я.

— И до поражения. Но я хотел не о лошадях. Если позволите...

— Позволяю. Итак, вы хотите мне что-то сообщить? Или попросить?

— И сообщить, и попросить.

Он вдруг стал смущаться. Вероятно, он доселе только требовал и командовал, а сейчас явился просить — дар слова такая

ситуация не умножала. Я слушал и рассматривал его. Конечно, внешности он был незаурядной — высокий, стройный, по-военному четкий, с хорошо вылепленной головой, рыжие кудри, рыжие усики, почти белесая короткая борода, яркие голубые глаза... Но он уже старел, об этом свидетельствовали морщины на шее и склеротическая прозрачность кожи на руках. Я часто замечал, что многие люди начинают стареть не лицом, а руками и шеей, лицо еще свежее, а шея дрябнет и кожа рук становится восковой. Франц Путрамент принадлежал к этому типу людей.

А говорил он о том, что его зачем-то хотел видеть диктатор Латании. У него не было никакого желания встречаться с Гамовым, а пуще того — с его помощниками. Но он понимал, что теперь не волен в своих действиях, и терпеливо ждал. Но диктатор все не вызывал его, и это стало раздражать. Ну, не раздражать, словечко не для нынешнего его лексикона, а вызывать недоумение. А затем совершились события, какие не только его, всякого человека в мире должны были взволновать. Он подразумевает эпидемию водной аллергии. И буквально измучила мысль, что страшная болезнь вот-вот перекочет из соседней Корины в родной Нордаг и дети его страны станут погибать, а он ничем, ничем не сможет помочь!.. “Генерал Семипалов, в эти дни я мечтал о смерти, смерть в такие минуты куда легче бездействия, да еще бездействия, отягченного сознанием, что ты всех больше виноват в приближающейся беде, ибо оно результат войны, а ты войны желал, ты ее планировал, ты ее вел!.. Но совершилось чудо, только это слово выразит внезапно произошедшее. Ваша страна, столько лет являвшаяся пугалом агрессии, образом коварства и предательства, страна, которую я всей душой ненавидел, вдруг выступила спасительницей гибнущих детей. И каких детей? Не своих, нет, — всех! Детей своих врагов, моих детей! И жертвовала ради чужих детей всем, что имела — золотом своих банков, молоком своих юных матерей, молоком, отнимаемых от собственных детей!.. Я не мог в это поверить, это было немыслимо. Я не отрывался от стерео, искал в каждой картине опровержения объявленной программы спасения. Но стерео показывало пункты сбора грудного молока, очереди молодых матерей с детьми на руках — отдать то, что было так нужно этим, на их руках... У меня разваливалась голова от пылающих мыслей! И потом я увидел свою Луизу, свободную, она вела митинг в толпе женщин в моей стране, она

призывала их внести свой вклад в дело помощи. И я снова и снова видел ее на машинах, на лошадях, на водоходах, полных собранным ею молоком, — не в тюрьме, не в глухой ссылке, а в моей столице, на площадке моего дома. Она возглавляла самое благородное, самое великодушное дело — дело помощи людям. И я любовался ею, я радовался и плакал от счастья”.

Он вдруг разрыдался. Опустил голову, обхватил ее руками, старался удержать себя от слез — и не мог. Я подал ему стакан воды, он жадно отпил глоток и успокоился. Он был мой враг, врагов надо ненавидеть, я, наверно, и ненавидел его, но сейчас сочувствовал. Я понимал его. Он потерпел поражение, добровольно пошел на виселицу, он ведь не догадывался тогда, что минует виселица его, потом томился в тюрьме и не знал, что ждет его дальше. И тревога о дочери: где она, что с ней, жива ли, не попала ли под тот страшный пресс, что в этой враждебной стране зовется Священным Террором? И вдруг увидел ее не только свободной, но и чтимой, возглавившей в своей стране благородное женское движение... Было от чего потерять контроль над собой.

Так я тогда думал о нем — и это была правда. Но лишь маленькая частица правды.

— Итак, вы хотели меня о чем-то попросить, Путрамент? — спросил я, когда он немного успокоился.

— Вы начали новую кампанию, генерал. Самую удивительную кампанию, еще никто о такой не слышал.. Идет подготовка к референдуму. Я прошу разрешить и в моей стране провести такой же референдум. В Нордаге в этом году неплохой урожай. Мы должны принять участие в помощи Корине и Клуру.

В прежние времена о таких предложениях говорили: “Не мог поверить своим ушам”.

— Путрамент, вы серьезно?

— Для несерьезного разговора я бы не искал свидания с вами. Думаю, я имею право от имени своего народа... Ведь и Корина, и Клур вам враги, а вы задумали облегчить их страдания от голода. А для нордагов они старые друзья. Как же мы можем отстраниться, когда они молят о помощи? В этом случае — только в этом одном случае! — Нордаг всей душой с Латанией.

— Вы заблуждаетесь, Путрамент, — я понял, что с этим человеком надо говорить откровенно. — Вы думаете, что Латания уже решила помогать своим врагам. Но ведь готовится лишь референдум о помощи.

— Вы не уверены, что на референдуме скажут “да”?

— Уверен в обратном.

Он долго смотрел на меня, озадаченный, потом сказал:

— Но ведь ваш диктатор...

Я прервал его:

— У Гамова может быть свое мнение, у народа другое. Даже в правительстве его поддерживают не все. Если бы Гамов был уверен в своей победе на референдуме, с ним не случился бы сердечный приступ.

С Путраментом происходила новая перемена. Он пришел ко мне потрясенным и измученным, впавшим почти в фанатизм от сверкнувшей в глаза нежданной картины событий, почти уверенным, что история сворачивает на невероятные дороги. Сейчас в нем восстанавливался реальный политик. Логика невероятного отказывала. Но логика обычной политики — непосредственных выгод — еще не действовала.

— Допускаю, что вы правы и прозвучит “нет”, а не “да”. Хотя мне думается — взгляд со стороны, — что единение вашего народа с диктатором глубже, чем вы это себе представляете. Впрочем, это ваши заботы. Я повторяю свое предложение о референдуме в Нордаге. Я уверен, что нордаги ответят “да”, ибо будут помогать долголетним друзьям и союзникам, а не противникам, как вы. И это “да”, если Латания отвергнет помощь, будет тогда и для вас выгодно.

— Объясните.

— Это же проще простого, генерал. Еще до референдума вы начали подготовку к вывозу продовольствия: целые эшелоны движутся к границе. Вы уже опустошаете склады, хотя волшебное “да” еще не прозвучало. Но если и Нордаг объявит референдум, то и его склады будут раскрыты, чтобы заблаговременно подготовиться.

— Мы не разрешим вывоз продовольствия из Нордага в Клур и Корину! Это ведь та помощь нашим врагам, которую народ на референдуме отвергнет.

— Уверен, что вы так и поступите, — холодно сказал президент Нордага. — Уверен и в другом — вы не возвратите уже отобранное из складов продовольствие. Вы конфискуете его для нужд вашей войны, или в счет репараций, или в долг с оплатой после войны — удобную формулировку найдете. Разве не будет выгодным для министра Бара без хлопот получить то, что в противном случае надо добывать лишь оружием? Вы стараетесь

не насильничать в моей стране — и вот, без насилия, без террора, само плывет в руки добро — не просто выгода, удача! Разве не так?

— Так. Готлиб Бар обрадуется. Но теперь ответьте — какая вам выгода от того, что собранное вашими гражданами добро попадет не коринам и клурам, а в наши руки?

— Прежде всего, я не верю в ваши прогнозы, генерал. Я убежден, что Латания пойдет за своим лидером, как она шла за ним раньше. А если этого не случится, что ж... Останется утешение, что в трудный момент нашей истории мы не изменили страдающим друзьям, не спрятали скаречно и трусливо собственную пищу, куски изо рта своих детей!.. Генерал, что может быть выше такого утешения? И если я хоть чем-то смогу...

Его голос прервался, он сдерживал слезы. Я ненавидел его. Он говорил голосом Гамова, он повторял по-своему те же слова. Реальный политик снова превращался в фантаста. И не было защиты от высоких слов, они опутывали мозг паутиной. От ругани, от угроз, от любой хулы есть действенная защита, от доброго чувства, от самопожертвования — нет! Это хорошо знал Гамов, этим он подчинял людей, подчинил и этого, одного из самых злых врагов. Но мной командовала ответственность перед государством. Я не был сражен неистовством фантастической доброты.

— Очень хорошо, Путрамент. Принимаю ваше предложение. Дарую вам свободу. Вы возвращаетесь в Нордаг, готовите референдум, заблаговременно собираете продовольствие. Но предупреждаю вас, президент Нордага, — я повысил голос, — что в тот день, когда мой народ скажет “нет”, именно в этот день я прикажу конфисковать всё собранное вами добро!

Он вскочил до того, как я кончил говорить. Его лицо кривилось, он хотел что-то выговорить, но не смог — только протянул руку. Я холодно пожал ее и вызвал охрану. Путрамента увели на свободу.

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что разговор с Путраментом мало тронул меня. Я сам взволновался и хоть плакать, как он, не собирался, зато выругал и себя и его — на это причины имелись. Нет, я не раскаивался, только сердился, что совершил важный политический акт, не обдумав хорошенько последствий. Потом я спросил себя — а как отнесется к моему самоуправству Гамов? И засмеялся, ибо сам Гамов поступил бы так же, произойди этот разговор с ним, а не со мной. Даже со-

противляясь ему в иных начинаниях, почти во всех остальных я шел по его тропе. Это меня несколько успокоило.

Было уже поздно. Надо было поспать. Перед уходом в свою каморку я включил стерео — не случилось ли чего интересного за рубежом? Стерео передавало беседу с Семеном Сербиным. И говорил он не из обширного зала стереоцентра, а из своей маленькой комнатки, где его поселил Гамов, одной из трех комнат квартиры, боковушки с ходом через гостиную, если можно назвать гостиной ту первую комнатку, смежную с его спальней, где Гамов иногда принимал близких помощников. Нормальную стереоаппаратуру в комнатке Сербина не разместить, Омар Исиро, очевидно, применил микрокамеры, приспособленные для таких крохотных помещений.

— Значит, так, — говорил Сербин невидимому мне оператору. — До вечера полковнику было худо, все метался на кровати, стонал, как дитя, а глаз ни разу не открыл. Две сестры, доктор возле, я в сторонке. А под вечер открыл глаза, посмотрел, потом мне: “Сеня, ты?” Отвечаю: “Я, кто же еще?” Он даже взволновался: “Что сказали на референдуме? Не скрывай!” Сестры засуетились, не знают как быть, ему надо лежать, а он вроде бы даже встает от беспокойства. Я легонько взбил подушку, чтоб удобней, положил его правым боком, лицом на меня. “Какой референдум, полковник, до референдума полная неделя”. Сестра, Сонечка, как зашипит на меня: “Что вы делаете, больному надо лежать на спине!” Да ведь я лучше знаю, как ему удобней, он спит всегда на левом боку. И он улыбнулся на ее шипенье и подмигнул, так, чуть-чуть, может, она и не поняла, а я все разобрал: “Ничего, пусть как Семен положил”. Слабый он, глаза снова закрыл, не говорит, только через минуту-другую все стонет — тихонечко так, еле-еле. И не ел еще ничего, и не пил, в туалет не просился... Сонечка опять на меня: “Это оттого он без сознания, что кладете по-своему, а не по науке”. Я повернул его на спину, пусть по науке, пока без сознания, а там воротимся к здоровому снанию. Сейчас вроде успокоился, не стонет, дышит спокойно. Соню сменила Матильда, эта постарше, поспокойней, да и я вышел по нужде, невтерпеж стало. А теперь до утра — до свиданья. Пойду к полковнику, подежурю там, все же спокойней, когда рядом...

Я достал программу передач. В ней не значилось появление Семена Сербина. Но это не могло быть самоуправством какого-то недисциплинированного оператора, Омар Исиро не позволял

своим людям распускаться. Я позвонил ему, он уже спал, спросили — будить ли? Дело было не к спеху, я тоже улегся.

Дело оказалось к спеху. Еще до завтрака я включил стерео. На экране снова возник Сербин. На этот раз он разглагольствовал покороче — Гамов не спал, Сербин не хотел долго отсутствовать. А сообщил он лишь то, что было доступно его взгляду и пониманию — сколько раз Гамов ворочался, как открывал и закрывал глаза, как стонал, как захотел пить и как, застеснявшись пожилой Матильды, попросил Семена провести его в туалет, в туалете все прошло нормально, а от завтрака полковник снова отказался...

Я даже плюнул от отвращения и потребовал Омара Исиро к себе.

— Что вы устраиваете, Исиро! — выговаривал я министру информации. — Чудовищная же отсебятина! Выпустили на экран этого болвана! Гамов держит его возле себя, но это еще не резон, чтобы малограмотный солдат докладывал миру о состоянии диктатора! Есть врачи, каждый день консилиум, дважды в день сводки здоровья — грамотные, правдивые сводки, только они дают истинную картину болезни. А что нес этот олух? Как Гамов стонет, как поворачивается в постели, как кашляет, как чешется, как ведет себя в туалете!.. Противно слушать! Прошу вас больше не выпускать Сербина на экран.

Вежливый и всегда согласный Омар Исиро вдруг показал клыки.

— К сожалению, не могу выполнить ваше приказание, Семипалов, — сказал он, впрочем, с обычной своей вежливостью. — Зрители требуют именно таких передач — масса писем и звонков... Ведь всем известно, что Сербин не просто охранник диктатора, а человек, постоянно находящийся рядом с ним.

— Понятно. Мои распоряжения для вас необязательны. А если Ядро единогласно запретит выпускать Сербина — подчинитесь?

— Единогласия не получится. Один голос будет против.

— Ваш?

— Мой.

— Хорошо — без одного голоса. Подчинитесь?

— Подчинюсь, но...

— Что за “но”?..

— Раньше, чем выносить на Ядро вопрос о Сербине, посмотрите, как слушают его рассказы. Вечером он появится ме-

жду семью и восемью, это время, когда врачи стараются обеспечить Гамову короткий сон. Может быть, у вас изменится мнение.

— Буду смотреть. Что за рубежом?

— Информация о том, как принимают там известия о референдуме и болезни Гамова, начнется в два часа дня.

До двух часов я успел управиться с неотложными делами, потом сел за стереовизор. И сразу понял, что за рубежом разразилась буря. Мы и раньше были избалованы вниманием врагов и нейтралов: и перемены в обществе, и события Священного Террора, и речи Гамова к народу, и, естественно, военные действия — все подробно излагалось, все шумно комментировалось, все вызывало споры на улицах. Когда Штупа энергично нагнетал в Клуре и Корине жару и сухость, весь мир только об этом и говорил — и впервые нас не проклинали и не осуждали, — о том, каким бедствием может обернуться спасение детей, никто и не думал — единственно важное было спасти их. Но то, что показал нам Омар Исиро сегодня, стократно превосходило все, что мы знали. Я увидел тысячные толпы на площадях перед огромными стереовизорами, снова увидел зал правительственных заседаний, Гамова, запутавшегося в своей речи, шатающегося и падающего. И на крик, вырвавшийся в зале из груди всех, толпы на площадях, показанных нам, отвечали таким же криком, может быть, более хаотичным, нестройным, но таким же единым голосом. И еще Исиро нам показал страницы зарубежных газет, все они были заполнены известиями из Ада-на, на всех полосах трактовалась только одна тема — серьезен ли план помощи Гамова, серьезна ли его болезнь, есть ли шанс, что Латания осуществит на практике то, чего требовал от своего народа диктатор.

И в заключение Исиро вынес на экран беседу корреспондента Клуре с правителем этой страны Арманом Плиссом. Генерал важно развалился в кресле, огромная его вислоухая голова покачивалась на тонкой шее, длинные широкие погоны выступали за края узких плеч. Генерал презрительным выражением лица показывал, что полагает сущим вздором все, о чем его спрашивает корреспондент. А тот, маленький, кругленький, розовощекий, настойчиво допытывался ответов, явно нежеланных генералу.

К о р р е с п о н д е н т. Вы слышали о новой акции диктатора Гамова?

П л и с с. Ничего не слышал. Я глух на то ухо, где звучат глупости.

К о р р. Вы считаете глупостью продовольственную помощь нашему голодающему населению?

П л и с с. Не помощь, которой нет, а бесконечные разговоры на темы помощи.

К о р р. Значит, все-таки слышали!.. Оно точно, то определение, что вы дали разговорам, которые слышали, хотя глухи на то ухо, что их слушало? Имею в виду ваше краткое словечко — глупость.

П л и с с (*начиная сердиться*). Не совсем точное, точным будет не глупость, а вздор.

К о р р. Вздор — помощь голодающим? Ценой сокращения своей продовольственной нормы спасти того, у кого и доли этой нормы нет? Ценой самопожертвования выручить погибающего?

П л и с с. Вот именно — совершенный вздор! В горячем описании благородства помощи вы забыли самое главное — помощь не соседу, не другу, а врагу. Врагам не помогают, если они в беде, врагов радостно добивают. Поступать иначе могут только спятившие с ума.

К о р р. Или святые.

П л и с с. Я военный. Я не могу проводить существенного различия между святостью и сумасшествием, по-моему, одно поразительно смахивает на другое. Святость даже хуже сумасшествия, она больше мешает воевать. Пусть этими опасными категориями занимаются философы, это их собачье дело. Простите, если обидел кого из философов, но по-честному — так они надоели! Когда Орест Бибер пропал где-то в застенках Гонсалеса, то я погоревал о его несчастной судьбе, но также и порадовался — не будет больше его статей о преступности этой войны и вообще всех войн. После беседы с Гамовым он только об этом и писал.

К о р р. Ваше мнение о референдуме, который должен состояться в Латании через несколько дней?

П л и с с. А какое может быть мнение? Чушь собачья! Отдельный человек может сойти с ума или впасть в святость, что, как мы выяснили, принципиально одно и то же. Но ведь народ с ума не свести. Весь народ в святость не обратить. Народ понимает, что ему выгодно, а что во вред. В этом смысле латаны не отличаются от других народов.

К о р р. Но они спасали наших детей! Польза от этого им была?

П л и с с. Еще бы! Они, спасая наших детей, преградили эпидемии дорогу к себе. Умело защитили свою безопасность. Отличная военная операция.

К о р р. Военная?

П л и с с. Разумеется. Латаны по натуре хорошие воины, а когда ими командуют прирожденные солдаты — Гамов, Семипалов, Пеано, — то это такая сила! Не говорю уже о поражении Ваксея и Троншке. Ваксель был надменный дурак, я с ним душевно дружил, а Троншке фатально не повезло... Но возьмите кампанию в Нордаге! Это же шедевр военного искусства. Семипалов с Пеано показали себя в Нордаге такими мастерами боя... Когда мы возьмем этих двух генералов в плен, я с уважением пожму им руки и скажу: “Ваш ученик, и только поэтому мне удалось победить вас!” Вешать их не буду, с почетом расстреляю!

К о р р. До победы еще не скоро. И не уверен, что уже отлиты пули для Семипалова и Пеано. Возвратимся к нашей теме, генерал. Вы сами подписали сокращение выдач. Уже есть случаи голода, больницы переполнены дистрофиками. Что ждет нас завтра?

П л и с с. Завтра придут водоходы из Кортезии. Неделя хорошей погоды в океане — и все наши трудности будут позади.

К о р р. Но хорошей погоды нет.

П л и с с. Не теряйте надежды, юноша. Аментола благородный солдат, он свои обещания выполняет.

К о р р. В нашей стране все больше людей возлагает надежды на референдум в Латании. Если это и безумие, то оно становится массовым.

П л и с с. Одно скажу: массовое безумие — заразительная болезнь. Добрых плодов от нее не ждать. Скорое разочарование будет хорошим лекарством от нее. Ждать осталось недолго.

К о р р. Ждать осталось недолго, генерал...

Вот такое было интервью бравого генерала с корреспондентом стереопрограмм Клура. К концу передачи ко мне подошел Павел Прищепа и молча присел рядом.

— Новости? — спросил я.

— Новости, — он протянул секретные донесения из Кортезии.

Информаторы Прищепы сообщали, что вести о болезни Гамова и предстоящем референдуме вызвали в Кортезии переполох. Аментола срочно созвал совещание помощников, оно продолжалось четыре часа — давно не было столь долгих обсуждений. О результатах совещания сообщений нет, но, по всему, Аментола хочет воздержаться от немедленных откликов на наши события. Весть о референдуме произвела меньшее впечатление, чем болезнь диктатора, в одобрение помощи никто не верит. Но ухода Гамова от власти опасаются.

— Опасаются? — переспросил я с удивлением.

— Считают, что Гамов человек неровный, действует часто импульсивно, но способен на компромиссы, на неожиданные повороты политики — и этим можно воспользоваться себе на пользу.

— Но ведь это вздор! Гамов любит красочные политические выбрыки, но при одном условии — чтобы работали на его основную линию.

— Они опасаются, что власть теперь возьмешь ты. Тебя считают твердокаменным, прямолинейным, неспособным на компромиссы. Вариант того же Армана Плисса, которого мы слушали, только поумней.

— Возможно, какая-то правда в этом есть, со стороны видней. Скоро Исиро покажет новый монолог Сербина. Этот солдат, вынырнувший из навозной кучи на политическую арену, действует мне на нервы.

— Мне тоже.

Исиро предварил разговор с Сербиным показом Главной площади с огромным экраном на ней. На площадь вышли чуть ли не все свободные от работ — тысяч тридцать-тридцать пять. Но не это меня поразило, обыватели, любители сплетен о великих людях всегда сбегутся на пикантное зрелище, а что может быть пикантней, чем рассказ о том, как ведет себя глава государства, когда он в подштанниках или пижаме, к тому же сильно болен. Но чем больше я вглядывался в собравшихся — стереоглаз медленно озирал всю площадь, — тем сильнее убеждался, что здесь собрались не любители сплетен, а люди, глубоко встревоженные здоровьем диктатора. Площадь молчала, ожидая показа — каменная тишина, лица, повернутые на возвышавшийся над площадью экран... Я вспомнил, что бесед с Сербиным от Исиро требует население, он не сам придумал эти рискованные спектакли. Ничего хорошего в этом не было.

А затем на экране появился Сербин. И опять говорил о том, как Гамов беспокойно спал, как ворочался, как кряхтел, сколько раз приходилось взбивать подушку, чтобы не отлежал ухо. Спал он, конечно, не по науке, а на левом боку. И как прошел с Сербиным в туалет, а после туалета изнемог и часок лежал, прикрыв глаза. Сонечка с Матильдой встревожились, засуетились, а Сербин прикрикнул на них: “Цыц, курицы, дайте полковнику поспать, видите — потянуло в дрему!” И как во время сна Гамова Сербин быстренько приготовил его любимую еду — гречневую кашу со свиными шкварками — и чуть не силком заставил немного пожевать, и как Гамов сердился: “Что ты мне всё шкварки подсовываешь, покажи, что у тебя в тарелке!” И как он, Сербин, отвечал: “Так я же в полном своем порядке, а вам здоровьё надо, ешьте, ешьте!” А после завтрака полковник задумался, полежал и поднял голову: “А как сам ты думаешь, Семен, поддержат меня на референдуме?” А он, Семен, отвечал: “Хорошие поддержат, а плохие сунут свое черное “нет”. И как Гамов стал сердиться: “Причем тут хорошие и плохие, вон в правительстве не все поддержали, а люди замечательные.” А Сербин увидел, что он начал волноваться из-за референдума, а волноваться ему — ни в коем случае, очень опасно, и замолчал. А полковник еще пуще сердится: “Почему молчишь?” И как тогда Сербин ему напрямик: “Много врагов у вас, полковник, среди генералов ваших.” И как он тогда засмеялся, впервые за болезнь рассмеялся, так удивился: “Чудный ты парень, Семен, а глуп: несогласных со мной много, без несогласий крупных дел не совершают, но не только что врагов, даже принципиальных противников нет среди помощников”. И как на это Сербин опять промолчал, у полковника голова шире плеч, он во всё проникает, а у Сербина мозги крохотные, только он им верит, редко обманывали. И знает: кто далеко заглядывает, тот, бывает, того, что у ног, не различает.

Экран погас. Я повернулся к Прищепе.

— Понимаешь, на что намекает этот подонок?

— Не подонок, — серьезно возразил Прищепе. — Что он может сказать, мы догадывались и раньше. Ни тебя, ни меня он не любит. Но как слушала его толпа! И ведь никакой не оратор.

— В том-то и опасность, что он никакой не оратор.

— Опасность? — Прищепе с удивлением смотрел на меня. Он был превосходным разведчиком, но посредственным психологом. Он раскрывал тайные дела, выводил на свет подспудные

события, быстро расшифровывал секретные планы. Никто, кроме самого Гамова, с такой легкостью не проникал в глубину логики разыгрывавшихся политических происшествий. Но именно — в логику их, а не в то внезапное и нелогичное, что, возникнув вдруг, путало любые планы. Среди помощников Гамова, приученных ко всему тому, что он называл “неклассическим ходом событий”, Прищепа был самым классическим по характеру и стилю работы. Появление на политической сцене полуграмотного и злого солдата он не сумел заранее правильно оценить.

— Ты опасаясь, что Сербин ведет хитрую операцию против нас? — спросил он. — В частности, против тебя, как заместителя и преемника Гамова? Но ведь это легко выяснить. Я могу расколоть Сербина, даже не прибегая к допросам. Я не Гонсалес, у меня свои методы. Сербин общается с другими солдатами, а среди них много моих людей.

— Нет, — сказал я. — Меньше всего меня тревожит, что Сербин подкапывается под меня. Другое меня волнует — и очень, заверяю тебя.

— Тогда объясни.

— Жаль, что сам не понимаешь. В нашу политическую деятельность, такую логичную, даже когда она строится на логических парадоксах, врывается нечто хаотическое, бесформенное, нечто почти мистическое...

— Воля твоя, Андрей...

— Подожди. Вспомни, как, почти не дыша, стояли эти толпы перед экранами Иси́ро! Что их так захватило? Какие политические новости? Что Га́мов стыдится показаться в кальсонах перед двумя санитарками? Что у него расстроен желудок и охранник сам ведет его в туалет? Что он любит гречневую кашу со свиными шкварками?! Чудовищно все это, чудовищно!

Павел пожал плечами.

— Весь мир интересуется состоянием Гамова. Это же естественно.

— Да, естественно! Состояние Гамова — проблема большой политики. Другое неестественно. В ряд важных мировых событий вдруг вторглись кальсоны, которых стыдятся, расстройство желудка, шкварки в каше... Это же страшно, пойми. Здесь и не пахнет политической логикой. Здесь мельчайшие личные факты, крохотки быта! Они способны воздействовать на примитивные эмоции, но должны быть вне политики, они путают ее ход.

Будущее становится непредсказуемым. Подразумеваю — политическое будущее.

До Прищепы моя тревога не дошла. А в вечерних новостях я снова услышал о шкварках и о расстройстве желудка. И все было, как я опасался, — маленький личный фактик умело вознесен на принципиальную высоту.

— С утра вроде было ничего, — говорил Сербин с экрана. — Проснулся он сам, сам пошел на оправку, я довел его до туалета. Почистил зубы, я стоял позади, вдруг пошатнулся от слабости. Ну, чай, одно печенье съел, другое надкусил и ослаб. Потом отдохнул, попросил “Вестник” и “Трибуну”, а в “Трибуне” тот мальчонка, что просил помощи, хорошенький мальчонка, только здорово худой, таким, когда заболеют, и не выздороветь. Долго, долго смотрел на него, положил газету, закрыл глаза, но не спал, чего-то думал. В обед я принес каши и сока. Сок он попил с четверть стакана, а от каши отказался. Говорит: “Не хочется что-то”. А сам на ту газету смотрит, на того худого мальчонку. “Да чего вы, полковник, говорю, малышу лучше не станет, если вы еще больше ослабнете. Да и люди, говорю, не без Бога в сердце, не дадут умереть с голоду”. А он мне: “Боюсь, Семен, люди ведь разные”. Так и не ел весь день, сейчас заснул, спит нехорошо, стонет во сне. — Сербин покривил лицо, стал рукой вытирать глаза, слезы потекли по щеке, он помолчал, потом закончил: — Вот такой день. И хоть бы скорей тот опрос делали, не выдержать полковнику долгого ожидания.

Весь он был тут, тот нелогичный, непредсказуемый заранее фактор, о каком я говорил Прищепе, — слезы, внезапно заскользившие по грубым щекам Сербина. Если бы я мог, я схватил бы этого солдата за шиворот, силком оттащил от экрана, еще нададал бы вдогонку! Меня сводило от ненависти. Я мог бороться против любого рассуждения, любой мысли противопоставить другую — еще разумнее, каждую идею погубить другой — еще доказательней. Против слез аргументов не было, они текли вне логики и действовали сильней логики. Николай Пустовойт, министр Милосердия, оплатил золотом — тысячекратно по весу — каждую каплю крови врача Габла Хоты, пожертвованную нашим военнопленным. Я предугадывал, что каждая слезинка, протекшая по щекам Семена Сербина, потащит за собой в миллионы раз больше того, что платил Пустовойт! Благополучие страны становилось зыбким, потому что неумный солдат, так позорно вывалянный по приказу Гамова в навозе и потом

потом обласканный тем же Гамовым, ныне плачет на экране от того, что у Гамова пропадает аппетит. Терпеть это было свыше моих сил!

Я пошел к Гамову.

В приемной два врача и пожилая сиделка, Матильда, тихо беседовали о состоянии больного, смотрели утреннюю сводку лабораторных анализов. Матильда и врачи встревожились — они не знают, можно ли пускать к больному, у них правительственный запрет — никаких встреч с Гамовым. Я объяснил им, что правительственный запрет подписывал сам и уже поэтому меня не причислить к посторонним. Оба врача заверили, что ухудшений нет, но и выздоровление не близко. Я прошел к Гамову. У его кровати сидел Сербин и что-то втолковывал, кажется, упрашивал выпить лекарства, — в руке у него было чашечка мутноватой бурды. Гамов приподнял голову, протянул мне руку. Рука была горячая, но вялая, рукопожатие вышло слабым, совсем не похожим на прежние гамовские.

— Семипалов, что случилось? — спросил он с тревогой.

— Ничего чрезвычайного. Хотел вас повидать, и нужно поговорить.

— Семен, посиди у себя, — приказал Гамов.

Сербин поставил чашечку на столик и вышел. Он сделал это так неохотно, словно раздумывал, нужно ли выполнить распоряжение Гамова или проигнорировать его. Странная свобода была во взаимоотношениях диктатора с его не то охранником, не то слугой, не то душевным другом. Помощники Гамова и мечтать не могли о подобной свободе. Уверен, что Сербин, выйдя в соседнюю комнату, и не подумал убираться к себе, а уселся у двери, чтобы хоть частично уловить наш разговор. Я говорил намеренно громко — Сербин должен был услышать, что я требую от Гамова.

— Прежде всего, как идет подготовка к референдуму, как загружаются вагоны и водоходы? — сказал Гамов.

— Прежде всего, как вы чувствуете себя? — отпарировал я. — Это меня беспокоит больше подготовки к референдуму. Там все нормально.

Гамов грустно улыбнулся. У него временами была удивительная улыбка — очень добрая, немного смущенная, как бы извиняющаяся, что он делает что-то не так.

— Мое состояние зависит от ваших действий, Семипалов.

— Мои действия определены вашими приказами. В них может внести изменения только результат референдума. Воля народа для каждого из нас выше нашей личной воли. Референдум назначен через три дня.

— Вы хотите говорить со мной о подготовке к референдуму?

— Да, Гамов. В подготовку к референдуму вмешался один не учтенный нами фактор. Я говорю об ежедневных, утром и вечером, появлениях на экране вашего... денщика, скажем так. Вы смотрите стерео?

— Врачи запретили мне смотреть стерео и читать газеты.

— Газеты вы все же читаете. Об этом нам сообщает Сербин. Итак, вы передач его не смотрели?

— Никаких передач не смотрел.

— Но догадываетесь, о чем Сербин говорит?

— Почему догадываюсь? Просто знаю. Он говорит обо мне, о моих желаниях, моих надеждах... О чем-либо другом он не способен говорить — и не только потому, что все иное не интересует зрителей, а по той причине, что его интересую я один. Он живет моими заботами. В меру своих интеллектуальных возможностей, конечно.

— Значит, содержание его бесед?..

— Нет, Семипалов. Я не подсказываю темы для его разговоров. И уверен, что не все его рассказы мне бы понравились. Он слишком близок к мелочам моего быта, мне это, наверное, показалось бы нетактичным. Но что он не скажет ничего, нарушающего мою политику, уверен абсолютно. Поэтому не хочу знать их конкретного содержания.

— Это запрет для меня касаться сейчас его выступлений?

— Для вас запретов нет. Все, что занимает вас, составляет предмет нашей большой политики. Мы можем в чем-то расходиться, но проблемы, по которым мы с вами не нашли согласия, всегда наши общие проблемы, наше общее дело. Чем же провинился мой верный Семен Сербин?

Гамов говорил свободно, хоть и без прежней живости. Врачи могли бы и выпустить его уже на стереоэкран. Возможно, он и не произнес бы блистательной речи, какими не раз поражал нас. Но что его речь была бы гораздо ясней той путаной, что завершилась сердечным приступом, уже не сомневался.

И вдруг я понял, что Гамов сознательно не встает с постели и столь же сознательно посылает выступать по стерео вместо себя малограмотного, боготворящего его солдата. Гамов разыг-

рывал очередную красочную сцену в политической драме. Он сделал свою болезнь фактором мировой политики. Я скажу больше — он поставил на свою болезнь крупнейшую ставку в своей яркой карьере. Он бил карты разума куда сильнее — тем, что лежал на кровати, что был слаб и что любое нежеланное известие могло его окончательно сокрушить. Нет, я не хочу сказать, что он притворялся, это была игра всерьез — на жизнь. И герольдом, извещающим о событиях, он избрал не кого-то из нас, его помощников, а Сербина — собственные, из души, речи солдата действовали острее. Я почувствовал себя обессиленным. На Ядре, на правительственном собрании, я мог одержать победу, за меня стоял разум. Но разум бессилен, когда арену захватывает чувство. Вести дискуссии с Сербиным я не мог, Гамов знал это и строил на этом свою борьбу.

Я пытался сохранить хотя бы внешнее достоинство.

— Все же описание вашей оправки, кальсон, туалета...

Он вспыхнул — все же он не знал, о чем распространялся Сербин.

— Безобразие, если он об этом. Я скажу ему. Что еще, Семипалов?

Я постарался, чтобы моя ирония полностью дошла до него:

— Ну, если время кальсон и гречневых каш со шкварками прошло, то больше претензий к Сербину у меня нет. Затыкать ему рот я не собираюсь. Да и наш тишайший Исиро этого не разрешит. Во время вашей болезни он стал непостижимо независим. Будут ли указания по текущим делам?

Гамов сказал почти враждебно:

— Полностью полагаюсь на вас. К делам врачи меня еще долго не допустят.

Сразу после возвращения к себе я вызвал Прищепу. Он сокрушенно качал головой.

— Значит, Гамов сознательно прибег к говорне Сербина. Но мы всегда относили сообщения о быте великих людей к сфере интересов обывателя. Гамов так презирал все, что увлекало мещанство!

— Голосовать на референдуме будут все взрослые жители. Сколько среди них мещан и обывателей? И такая драматическая ситуация — тяжело больной диктатор. Тут каждому внушается, что в его руках жизнь и здоровье этого удивительного человека. Это уже не мещанство, а призыв к жертве для поддержки дик-

татора: любой может стать его волшебным лекарем — вот о чем идет разговор.

— Андрей, не верю! Люди понимают: огромная масса продовольствия, все запасы страны отдать врагу — это же неравноценно жизни одного человека, даже такого, как Гамов. Достаточно только сравнить...

— Не это будут сравнивать! Гамов устами Сербина взывает к чувствам маленького человека, а не к его широкому пониманию политики. Гамов уже призывал к политическим жертвам — и потерпел крушение. Теперь он вторгается в тайники каждой души — и я боюсь, что здесь он одержит победу.

Прищепу я не убедил, но очередное появление Сербина на экране показало, что я пророчески предвидел новый шаг Гамова.

— Полковнику сегодня малость хуже, — докладывал Сербин зрителям. — Так вроде бы ничего, а был разговор с генералом Семипаловым. На разные дела, я в них не вхож, только полковник расстроился. Принес обед, полковник пожевал каши, половину оставил. Я, конечно: да вы чего, так не выздоровеете! А он: знаешь, Семен, вот эта половина той каши, что я не съел, и есть жертва, что требуется от меня, чтобы дети и женщины в других странах не умирали от голода. Как же так, спрашиваю, одной кашей не накормишь две страны, Клур этот и Корину? Накормлю, чуть не закричал, так рассердился. Тогда, объясняет, накормлю, если все мы от обеда отдадим половину, а от всего дневного пайка только четверть. Всего четверть нашего пайка добровольно отдать — и вся жертва. А миллионы голодных спасены! И побледнел, лег, меня выгнал, Матильда вошла, потом Сонечка — меня ругают: это ты больного расстроил, хуже ведь ему стало. Не я, говорю, да разве их убедишь? А я так вам скажу — не только четверть, половину пайка отдам, только бы полковнику стало лучше. Хороший он человек, ребята, стоит четверти пайка. Сейчас у него Сонечка дежурит. Мы с охраной посидели, потолковали, все согласились: стоит наш полковник части нашего пайка, так и проголосуем все до единого. И вам советую, если кто невпрожор жадный!

Это был, конечно, отлично рассчитанный удар! В каждом слове Семена Сербина выступала железная логика Гамова, она внутренним стальным прутком связала в одно целое куски расстрепанного рассказа. Как я объяснял Прищепе, Гамов круто менял направление своей агитации. Он понял, что высочайшие

истины нравственности, то глубокое благородство, почти равное святости, какое генерал Арман Плисс объявил равнозначным сумасшествию, — что все эти идеальные высоты не для реальной жизни. В лучшем случае, они преждевременны, человечество еще не созрело для благостности. И с пронзительной хитростью он повернул всю агитацию на себя. Великое благородство и столь же великая жестокость вдруг стерлись перед испугавшим всех известием: “Нашему вождю плохо, от каждого нужна маленькая жертва, чтобы он воспрянул”. И я уже слышал четко объявленную формулу этой жертвы: “Полковник стоит четверти нашего пайка!”. Я знал, что завтра эта фраза будет тысячекратно возобновляться в эфире, будет повторяться в каждом разговоре, будет звучать в каждой душе, как молитва: “Полковник стоит четверти моего пайка!” И я со всей остротой ощущал свое бессилие, свою полную неспособность противостоять этому новому повороту политической борьбы. В моих руках были все рычаги государственной власти, я мог двинуть армии, остановить движение на дорогах, закрыть заводы и учреждения, досрочно наслать на поля осенние ливни и первые зимние снега. Но полумистические нити, вдруг протянувшиеся из души диктатора в души всех людей, я не мог не только оборвать, но и ослабить.

Утром ко мне на прием попросились сразу четыре женщины — моя жена, Людмила Милошевская, Анна Курсай и Луиза Путрамент. Они уселись вокруг моего стола, разговор начала Милошевская.

— Генерал, хотим посоветоваться. Мы возглавляем женское движение в наших странах. Послезавтра — референдум. Ваше мнение — как он закончится? К каким действиям мы должны срочно готовиться?

— Вам известно все, что знаю я сам, — ответил я. — Вы смотрите стерео, имеете собственную информацию. Этого недостаточно, чтобы составить мнение?

— Недостаточно! — резко возразила Милошевская. — Вы держите власть в своих руках. Гамов недееспособен. Мы должны знать ваши намерения.

— Я не держу власти в своих руках, — сказал я с горечью. — В лучшем случае, у нас двоевластие. Гамов вполне дееспособен. Он только вещает свои желания устами малограмотного, безмерно преданного ему солдата. Сербину благоговейно внимают миллионы людей, он гипнотизирует их своими байка-

ми о состоянии Гамова. И я не уверен уже, у кого больше власти — у меня, командующего всей материальной мощью государства, или у тупого лакея Гамова, его именем вторгающегося в людские души.

— Себя вы, конечно, не считаете лакеем диктатора? — зло бросила Анна Курсай. — Хотя гордитесь, что верный исполнитель его решений!

Она покраснелась, глаза ее сверкали. Она была и осталась моим врагом. Я постарался ответить ей вежливо:

— Я последователь Гамова, Анна. Надеюсь, вам ясно различие этих понятий — лакей и последователь? За туалетом Гамова я не слежу.

Милошевская властно перевела разговор на другое.

— Генерал, скудные обеды и туалетные страдания диктатора меня не трогают. Но распространяющийся разброд тревожит. Моя страна бурлит. Я не уверена, что знаю, как патины поведут себя на референдуме. И Понсий, и Вилькомир растерялись, они перестали поносить один другого и притворяются, будто что-то решают втайне, а реально — ждут, что решат без них сами патины. Но я хочу знать, что будет завтра, то есть как вы поступите, если референдум опровергнет вас?

— Подчинюсь воле народа, какая она ни будет.

— Какая она будет — воля народа?

— Повторяю, это вы должны знать сами. И в этой связи сам задам вам несколько вопросов. С вами, Людмила, ясно — вы не знаете, как поведут себя патины на референдуме. Может быть, и не проводить у вас референдума? Это все-таки внутреннее дело Латании. Я уступил вашей просьбе, но могу и отменить наше решение...

— Я не возьму назад нашей просьбы! Вы наши союзники, мы разделим ваши тяготы. Если я привезу отказ в референдуме, мне не простят, что считаю свой народ недостойным решать великие проблемы мировой политики, даже если решение требует от нас жертв.

Я обратился к Луизе Путрамент:

— Ваш отец упросил меня присоединить и Нордаг к референдуму. Он уверен, что ваша страна не остановится перед жертвами, чтобы помочь свои друзьям коринам и клурам. Вы тоже убеждены в этом?

— Абсолютно! И пришла к вам, чтобы объявить: как бы ни ответили латаны на референдуме, наш ответ будет “да”! Планируя дальнейшие действия, вы должны заранее знать это.

— Буду знать. Теперь вы, Анна. Флория еще недавно была частью нашей страны, но сейчас отделилась. Она долго ставила свой национальный эгоизм выше других истин и добродетелей. Вы хотите сказать, что характер вашего народа переменился?

— Я хочу сказать, что вы ненавидите мой народ и потому извращаете наш характер. Флоры тоже не терпят вас, генерал. Но великие истины добра и справедливости ближе нам, чем вы думаете. По всей моей маленькой стране развешиваются плакаты: “Наш совет Латании — ДА, ДА, ДА!” Именно это трехкратное “да” и прозвучит на референдуме. Заранее исходите из этого.

— Буду из этого исходить. Ты, Елена?

Она слушала наш разговор, не поднимая головы. Она очень похудела и подурнела за то время, что прошло с нашего последнего свидания. Я внутренне грустно усмехнулся. Ничто уже не разделяло нас, кроме моей работы. Но мы, муж и жена, встречались еще реже, чем живущие в разных городах любовники. Я попросту забыл о ней в каждодневной хлопотне. Она переживала вынужденную разлуку острее, чем я. Я смотрел на ее вдруг постаревшее, но прекрасное лицо с чувством самоукора, мне хотелось оправдаться хоть добрым словом. Но подходящих слов не находилось. А она сказала, что в ее ведомстве подготовка к помощи врагам закончена, в нужный момент все лекарства, оборудование и врачи отправятся, куда я прикажу, либо будут возвращены по своим прежним местам. Она произнесла невероятную формулу “помощь врагам” так просто, как будто в ней все было естественно, как во фразе “помощь близким и родным”. Она даже не заметила дикой несообразности своих слов. Но я заметил — и это не улучшило моего настроения.

— Подведем итоги, друзья, — сказал я. — Главный итог такой: я не понимаю, зачем вы пришли ко мне.

И опять за всех ответила Милошевская. Они хотели знать, какова будет реакция правительства, если референдум не даст желаемого для него ответа. Мое заявление, что все совершится по воле народа, успокаивает их. Правда, остается неясность: как поведет себя правительство, если половина скажет “да”, половина “нет”.

— В этом случае будем искать новое решение, заранее его не предпрещаю, — сказал я. — Недавно я был твердо уверен, что ответ будет “нет”. Появление на политической арене Сербина вносит коррективы в настроение людей. Но и “да”, и “нет” означают одно: поражение самых высоких наших концепций, поражение главной философии Гамова.

Я не сомневался, что мой ответ поразит всех четырех и от меня потребуют объяснений. И я дал такие объяснения. В чем была великая мысль Гамова? Поразить весь мир — и врагов больше — еще неслыханным великодушием. Самопожертвование, равного которому еще не было в истории, помощь врагу, который, возможно, эту немыслимую помощь обратит ударом в твою собственную грудь. Разве не таково содержание вопроса, обращенного к народу? Но если народ скажет “нет”, это будет крушением всех планов Гамова оборвать войну не победой, не поражением, а неиспробованным методом — самопожертвованием. Великим добром перебороть великое зло — такова идея. И ответ “нет” похоронит эту идею. Мир ни с той, ни с другой воюющей стороны еще не дорос до абсолютного добра и зла — вот что будет означать крохотное словечко “нет”.

— Ответ “нет” будет характеризовать только наш народ, а не наших врагов, их возможная реакция нам неизвестна, — сказала Милошевская. — Но народ может ответить и “да”. И тогда это будет огромной победой Гамова.

— Даже в этом случае победа великой идеи будет сопряжена с поражением этой же великой идеи.

— Генерал, мне неясно... Даже если враги?..

— Даже если враги предложат мир! Ибо присмотритесь к аргументации Гамова. Он уже не верит, что огромная идея государственного самопожертвования способна воспламенить все души. Он перенес агитацию в иную плоскость. Он выставил самого себя решающим фактором политики — личность в качестве философского аргумента. Если вы меня любите, если хотите моего выздоровления, пожертвуйте четвертью своего продовольствия — вот что он потребовал от народа устами своего солдата Сербина. Гигантскую проблему мирового зла и добра он превращает в маленькую личную проблему — как ты относишься ко мне, ныне больному и беспомощному? Не поможешь ли мне кусочком своего хлеба? Вот как поворачивается ныне агитация Гамова. Вот какую исполинскую гирю — свою личность — он бросает на чашу мировых весов. Но разве это не

свидетельствует о крушении его философской концепции? Он уже не осмеливается развивать спор на полной высоте своих высоких идей, он уже не верит в их действительность. Туалетные страдания, плохой сон, плохой аппетит, скачущая температура — вот ныне главные аргументы его философии. И они действуют! Готлиб Бар докладывал вчера, что в магазинах многие отказываются от гречневой крупы и просят их месячный паек перечислить самому диктатору, которому может не хватить его пайка гречки.

Не знаю, дошла ли до женщин вся глубина моего негодования, но, когда я выговорился, Милошевская сказала:

— Будем думать о ваших словах. Но ведь из них вытекает, что вы уже не верите, что на референдуме народ скажет разумное “нет”.

— Не знаю, не знаю. Спор вышел за межи политической логики, за межи обычного благоразумия, он ныне в сфере эмоций. У меня нет аргументов, которые могли бы перебороть сетования Сербина об аппетите и слабостях его хозяина. Будем ждать референдума.

Женщины ушли. Я улыбнулся Елене, кивнул ей. Она поняла, что я прошу не сердиться на меня, нас продолжают разлучать обстоятельства, а не чувства. Она все понимала, она прощала — об этом сказали ее кивок и улыбка.

Они ушли, а я сидел один — никого не принимал, никого не хотел видеть. Я продолжал беседовать с ушедшими женщинами. Я говорил им то мысленно, то вслух: “Если Гамов потерпит поражение, то это станет поражением всех его главных идей. А если победит, то ценой все того же поражения идей. Он может победить, только потерпев крах.” У меня ум заходил за разум, все мыслительные извилины в голове сворачивались набекрень. Я натолкнулся на парадокс, на стену, на логический забор, я не мог перепрыгнуть через него: Гамов решил утвердить себя, отказываясь от себя, — и выбрал своим глашатаем тупого Сербина! Это было невероятно и немыслимо, и вместе с тем абсолютно явно!

Я часто не соглашался с Гамовым, но никогда его не боялся, хотя он концентрировал в своих руках воистину необъятную власть. Я знал, что Гамов выше меня, он был моим учителем, я любил его, даже восставая на него. Ничтожного Сербина я презирал, мы были не только разного уровня, но попросту существовали в разных мирах. Но мы оба, он и я, являлись лишь ору-

диями в руках более могущественных... Я, глава правительства, страшился солдата, — со всей честностью признаюсь в этом.

9

До референдума оставалось два дня, и решительно не помню, совершались ли в эти последние дни какие-либо государственные дела. Я имею в виду дела, требовавшие моего участия. Я сидел перед стерео и рассматривал картинки, какие изволил показывать миру Омар Исиро. Ко мне являлся Павел Прищепа, коротко информировал о новостях в его ведомстве и тоже замирал рядом со мной перед стереовизором. Это было сейчас и для меня, и для него самое важное — смотреть и думать о том, что увиделось, все снова смотреть, снова думать...

Прищепа сказал с удивлением:

— Я думал, Сербин открыто обрушится на тебя за противодействие Гамову. А он все талдычит о том, как Гамов спит, как варит его желудок, как он отказывается от своей любимой каши, как ворочается на кровати, как плохо выглядит... Абсолютная неспособность государственно мыслить у этого дурака.

Я невесело разъяснил Прищепе то, о чем недавно говорил четверем женщинам. Не дурак, а точный исполнитель нового плана Гамова. Я бы даже сказал — гениального по своей смелости плана. Гамов мог бы давно встать и властно командовать государством, но не хочет. Он заставляет себя болеть. Причем не притворяться, а реально болеть. Его болезнь ныне — величайший фактор мировых событий. И если он потерпит крах на референдуме, он умрет, принудит свою болезнь dokonать себя. Это будет, я уже не сомневаюсь в том — и Сербин без устали, непрестанно, доступными ему, а стало быть, и каждому словами предупреждает и о такой возможности. Он сближает Гамова с народом, делает каждого глупца, каждого эгоиста, каждого недотепу равновеликим диктатору. Ибо постигнуть идею неслыханного государственного великодушия могут только великие умы — даже мы с тобой сомневаемся, окажется ли эффективной планируемая Гамовым жертва. А болеют все, каждый знает, что такое болезнь и что нужны какие-то чрезвычайные усилия, чтобы быстро выздороветь. Так просто то, на что настраивает каждого Сербин: плохо нашему хозяину, может и концы отдать, а лекарство в твоих руках, не жадничай, отдай четверть своего пайка — и воспрянет наш полковник! У каждого кружится голова, когда он представит себе то огромное бо-

гатство, какое надо безвозмездно вручить жестокому врагу, такая страшная государственная ответственность придавливает любого, нас с тобой она придавила, Павел. А отдать четверть своего пайка, чтобы выздоровел дорогой тебе человек, да это же пустяк, да я плюну тому в глаза, кто скажет, что я не способен на такое маленькое самопожертвование! Вот на какую почву перенес наш спор Гамов, вот для чего ему нужен Сербин. И вот почему этот неумный фанатичный солдат вырос внезапно в такую политическую фигуру, что даже затемняет нас с тобой.

Прищепка хмуро глядел на меня.

— Ты, кажется, уже уверен в нашем поражении?

Я ответил не сразу:

— Во всяком случае, не удивлюсь, если референдум будет против нас.

Омар Исиро дни перед референдумом заполнял новостями из-за рубежа. Он делал это, конечно, с целью. На него самого действовали картинки, выводимые им в эфир. Они показывали, с какой надеждой, как страстно ждут в Корине и особенно в Клуре нашего благотворения, и не уставал разворачивать красочные собрания на площадях Фермора — толпы женщин и детей, крики, речи диких ораторов, выскакивающих на импровизированные трибуны, взбирающихся на столбы и деревья и орущих с высоты в толпу. Даже меня волновала та наивная вера в нашу доброту, какая охватывала толпу. Та необоснованная надежда на скорый мир и всеобщее благоволение, какое должен был принести референдум. И если эти стереомечты так сильно действовали на меня, то с какой же силой они должны были хватать за душу простого человека. В этом, похоже, и был план Исиро — показать каждому, чего от нас ждут, какие великие цели связывают с каждым голосом на референдуме. “Будь достоин самого себя!” — взывал Исиро к зрителю каждой своей картинкой из-за рубежа. И если я, взволнованный стереозрелищем, все же не покорялся полностью его чарам, то лишь потому, что знал: чары эти — иллюзия, реальная власть в том же Клуре не в шумящей толпе, а в костлявых руках усатого Армана Плисса, а Плисс объявил, что не верит ни в какие благотворительные референдумы и не позволит дурить подготовленную к сражениям армию благостной болтовней, ни святость, ни сума-шествование не прописаны в штатах его дивизий...

И всего чаще показывал Исиро те наши города и земли, где складывалась прочная оппозиция большинству Ядра, мне лич-

но. Особенно полюбилась ему Флория. Не было часа, чтобы в эфире не появлялись города и сельские дороги этой маленькой страны — и везде огромные плакаты с портретами Гамова, со злыми карикатурами на меня и истеричными призывами: “Да, да, да! Иного Семипалову от нас не услышать!”, “Семипалов, трижды “да”, вот наш ответ!”. Почему-то всюду это “да” объявлялось не раз, не два, а непременно в триединстве. То же “да” звучало и в передачах из Нордага. Путрамент без хлопот возобновил свое президентство и объявил о договоренности со мной — продовольствие в Корину собирается заранее, а если нордаги не подтвердят его передачу коринам, то оно все равно конфискуется военными властями латанов, но тогда в их пользу. Уверен, что такая перспектива делала немыслимым иное волеизъявление, кроме “да”, — нордаги охотней добровольно сожгли бы свои припасы, чем одарили бы ими нас, а корины были все же старые их друзья. Исиро, переходя к Нордагу, усердствовал в изображениях Луизы, дочери Путрамента. На уличных митингах и собраниях в залах эта рыжая веснушчатая чертовка была еще горячее в речах, чем ее отец, и на меньшую реакцию слушателей, чем неистовые овации, решительно не соглашалась. После несовершившейся казни на виселице она стала в своей стране не менее популярной, чем Людмила Милошевская в Патине, — та, правда, брала еще красотой. Зато в передачах Исиро почти не появлялось картинок из Кортезии и наших бывших союзников на юге. Я попросил у Исиро объяснений. Он ответил, что в Кортезии интересных событий не происходит, все ждут референдума в Латании, в газетах — дискуссии о раздорах между руководителями нашей страны, но для эфира рассуждения не так интересны, как события на площадях. Уступая мне, Исиро два раза выводил на экран оправданную судом Радон Торкин, бывшая певица своим еще сильным и звучным контральто страстно грозила добаться с оружием в руках до президента Аментолы, а Норма Фриз публично осуждала Аментолу за промедление с отправкой продовольствия. Все было, в общем, малоинтересно. Большое впечатление произвела на меня лишь публичная речь самого Аментолы — президент жаловался на природу: бури в океане не дают кораблям, доверху груженным провизией, выбираться из защищенных портов — положение точно такое, как нам изобразил его Казимир Штупа. Исиро подтвердил сетования Аментолы убедительными картинками — осенний океан из синего летом превратил-

ся в белую грохочущую пустыню, он весь вспучивался, выбрасывал вверх пенные валы, как протуберанцы: безумием было выпускать корабли в такой вулканизирующий океан. Бравый генерал Арман Плисс, пообещавший своим согражданам скорую за океанскую помощь, мог убедиться, что природа пока еще не подчиняется политикам и военным.

Эти картинки бушующего океана не могли не давить на чувства перед референдумом. Это понимал и я, и Омар Исиро. Я снова попенял ему, что он сознательно настраивает всех. Исиро огрызнулся, что его информация абсолютно правдива, а если она односторонне ориентирует людей, то таков ход самих мировых событий. Впрочем, я могу освободить его от министерства информации, если он не нравится. Исиро хорошо знал, что во время болезни Гамова я могу править, но не самоуправничать. Я дружески разъяснил, что охотно прогнал бы его, но это превышает мои возможности.

Референдум начался в шесть утра по местному времени. В Адане была еще ночь, когда на востоке страны уже пошли к урнам. Исиро отметил сутки перед референдумом двумя важными стереозрелищами. Одно продолжалось почти десять часов, другое не заняло и двух минут — не знаю, какое действовало острее. Первое — традиционный зарубежный стереообзор, второе — краткая речь Сербина. Обзор сводился к стереоинформации из Клуре и зарисовкам из Корины. В Клуре совет церковей объявил суточный молебен о смягчении сердец злых и равнодушных. И мы увидели заполненные площади городов, это были в массе женщины и дети, мужчины сохраняли традиционную “гордость Клуре”, их было вдесятеро меньше, но были и они, и не только старики, но и в цветущем возрасте, правда не цветущие, а худые, изможденные, желтая печать недоедания уже легла на все лица, истончила болезненной худобой шеи и руки. И все они опускались на колени, простирали к небу руки и громко молили вслед за торжественно возглашавшими молитву священниками на помостах: “Господи, смягчи души, воззри с высоты своей на нас, спаси наших невинных детей!” И тысячеголосый вопль, почти плач, сливался с гулом колоколов, медные голоса храмов несли и несли над землей свои скорбные звоны, они сливались воедино — молящие плачи людей и тяжкие голоса металла...

Я знал, твердо знал о себе, что до последней минуты все, от меня зависящее, сделаю, чтобы не выполнились просьбы и на-

дежды этих коленопреклоненных людей. Ибо государственные интересы восставали против человеческих чаяний — я не имел права помогать тем, кто направлял оружие против моей страны. Во мне схлестнулись в злой борьбе простой человек и политик, мне становилось тяжело смотреть на женщин и детей, молящихся о нашем великодушии, и я выключил передачу из Клуга.

Зато информацию из Корины я смотрел не с мукой человека, а с интересом политика. В Корине голод уже терзал население, но сдержанные корины не собирались на площадях для общественных молений. И стерео показывало, как они обсуждают вероятный исход референдума и как оценивают положение в океане. В общем, они здраво видели ситуацию: признавали, что нельзя заранее определить исход референдума в Латании, а что до океана, то корины, опытный морской народ, соглашались, что помощь из Кортесии невозможна: океан, начав осенью бушевать, не утихомирится, по крайней мере, до зимы. Все это было нормально, такие настроения и разговоры не хватали за горло, как площадные моления клугов — я отходил душой, когда Исиро переключал свой аппарат с Клуга на Корину.

А за два часа до начала референдума на востоке Исиро в последний раз вывел на экран Сербина. Самый раз было солдату обрушиться на меня, призвать к прямому восстанию. Он бы нашел тысячи слушателей, готовых немедленно откликнуться на такие призывы. Но Гамов, вещавший народу голосом Сербина, безошибочно рассчитал свою стратегию.

— Плохо, ребята, полковнику, — скорбно сказал Сербин. — Даже есть не может, только чаю с сухариком выпил. Лежит, смотрит в потолок, все молчит. Я ему слово сказал, он выгнал меня... Все ждет, как теперь вы, вот такое настроение... Так что знайте, ребята... — Сербин, заплакав, стал вытирать слезы со щек, потом махнул на операторов рукой — уберите, мол, больше говорить не буду.

Я в бешенстве стукнул кулаком по столу. Я знал, что Сербин в последнем своем явлении в эфире выкинет какое-нибудь непредвиденное коленце. Но слез я все-таки не ожидал, это была отсебятина, Гамов их не одобрит. Зато я не сомневался, что множество зрителей в ответ на его дорогие слезы сами громко зарыдадут. Он каждым своим выступлением подводил к массовой истерике. Я задыхался от ярости. Я мог возражать Гамову, мог бороться с Аментолой, мог и убедительным словом, и властным принуждением покорять подчиненных мне людей, но

против ограниченного фанатичного солдата у меня не было противодействия. Для борьбы надо иметь хоть несколько точек соприкосновения, их не было. Я не мог ни молчаливо игнорировать его слезы, ни гневно осмеять их, не мог со всей серьезностью их осудить. И в эти последние минуты перед референдумом я стал ощущать, как круто меняется настроение в народе. Публичные моления в Клуре и скупые слезы Сербина разбивали, опрокидывали, подмывали самые твердые бастионы логики, а на моей стороне была только логика, одна логика, умные рассуждения — и все они тонули в мутном хаосе бурных эмоций.

Восток проголосовал, когда в Адане кончалась ночь. Исиро показывал и наших людей, торопящихся к урнам, и молящихся на ферморских площадях женщин и детей. Только две одинаковые картинки сменяли теперь в эфире одна другую — мужчины и женщины, молчаливо заполняющие урны листочками, и тысячные толпы молящихся на коленях перед храмами и в храмах. Я отключил стерео и задремал.

Меня разбудил Пустовойт. Он был в таком возбуждении, что тряс студенистыми щеками, как пустыми мешками.

— Андрей, я протестую! — и он в отсутствие Гамова забывал о предписанном этикете разговора. — Готлиб не чешется, это возмутительно!

— А почему он должен чесаться? Сколько знаю, у него дома ванна. И противником воды он пока себя не объявлял.

Моя насмешка если и не успокоила Пустовойта, то дала ему понять, что разговаривать надо нормально. Он получил извещение с востока, что больше двух третей высказались за Гамова, немедленно связался с Баром и потребовал срочной отправки в Клур и Корину подготовленных эшелонов. Готлиб ответил, что пока не завершится голосование во всей стране и официально не опубликуют результатов, ни один водоход, ни один вагон, ни одна летательная машина не пересекут границы. Клур получит продовольствие на сутки позже, чем мог бы, негодовал Пустовойт. В Клуре умирают женщины и дети. Сколько смертей примет на свою совесть Бар промедлением в одни сутки? Как можно примириться с таким преступным равнодушием!

— Сейчас свяжусь с Готлибом, — сказал я.

Бар, в отличие от меня, всю эту ночь не спал. И, как Пустовойт, получал достаточно точные сведения о ходе голосования. Он не оспаривал информацию министра Милосердия о рефе-

рендуме на востоке, но не был уверен, что и на западе страны результаты будут такими же.

Мне было трудно так говорить, но я сказал:

— Готлиб, не ободряйтесь. На западе сторонников Гамова будет еще больше, чем на востоке. Я предвижу наше с вами поражение. И если помощь решена, не надо с ней медлить. Приводите в движение эшелоны.

— Семипалов, вы слишком быстро признаете поражение. Мы все шли за вами, и я хочу пройти до конца, то есть до завершения референдума. Удивляюсь вашей перемене! На вас это мало похоже!

Хоть было не до веселья, я рассмеялся.

— Никаких перемен, Готлиб. Просто я непрестанно думаю — с кем народ? С нами или с Гамовым? Что пересилит — логика разума или стихия чувств? Наше с вами дело — действовать по воле народа. Даже если его воля ему во вред. Так будем действовать исправно, Готлиб.

Теперь в передачах Исиро появились новые картинки. Бар объявил по стерео, что передвигает эшелоны помощи к границам Клура, чтобы не терять ни часа, если референдум утвердит помощь. И мы увидели огромные водоходы, доверху набитые продовольствием, продвигающиеся по полям Патины, по извилистым дорогам Ламарии, по горным шоссе Родера. Машины шли почти впритык, поезда вплотную двигались за поездами — десятками параллельных змей извивались по трем сопредельным странам эшелоны помощи. А потом движение замерло — передовые машины подошли к Клуру и остановились — результаты референдума еще не были объявлены. Глубоко убежден, что это не такая уж длительная остановка — чуть больше половины суток — была мучительна не для одного меня, не для одних моих помощников и друзей, даже не для одних клуров и коринов, страстно жаждущих спасения, нет, и за океаном, в далекой Кортезии, стерео отменило все иные показы, кроме непрерывно возобновляемого пейзажа замерших у границы Клура машин и срочных сообщений о том, как с востока на запад Латании катится волна референдума. Кортезия, затаив дыхание, ждала чрезвычайных событий, ибо только безнадежные глупцы не понимали, что в эти часы, возможно, решается судьба всего мира.

А на дорогах Патины, Ламарии и Родера, по которым сутки двигались, а потом замерли эшелоны помощи, выстроилось

чуть не все свободное от работ население. Я закрываю сейчас глаза и вижу, все снова вижу тысячи водохранилищ в людских стенах, сотни тысяч людей, женщин, детей, мужчин, молчаливо следящих за движением машин, столь же молчаливо стоящих у замерших эшелонов. Я уже писал, как выразительно бывает молчание. Каким удивительным содержанием наполнены разные оттенки тишины, но ничего равного молчанию тысяч людей, выстроившихся по дорогам трех стран, я раньше и вообразить себе не мог. Молчали и водители машин, и военная охрана, сопровождавшая эшелоны, и множество людей, превративших дороги в туннели без крыш. Всё молчало, ибо готовилось великое событие и никому не было известно, совершится ли оно.

Конечно, политики не молчали. В Патине, где слово ценится больше, чем в любой другой стране, по местному стерео являлись народу и Вилькомир Торба, и Понсий Марквард, и величественная Людмила Милошевская — и каждый что-то говорил о том, что завтра ожидать миру. И, наверно, в их речах было много умного и дельного, но Омар Исиро не доносил их речи до нас, это, он считал, были мелочи. Не донес он нам и обращение Путрамента к нордагам, а в нем были, я узнал потом, важные мысли о послевоенном устройстве, впрочем, они поглощались главной мольбой президента: “Дети мои, нордаги, наступил час величайшего испытания, пусть каждый станет достойным самого себя!” Призыв, по-моему, довольно туманный, но неопределенность, почти иллюзорность действует на иных гораздо сильнее четких, строго очерченных настояний — Путрамент хорошо знал свой народ.

В полдень я пошел на избирательный участок, подал свое “нет” и срочно созвал Ядро.

— Голосование еще не кончилось. — сказал я. — Но итог несомненен. Мы потерпели государственное поражение. Народ в массе за Гамова и готов совершить жертву в пользу врагов.

— Что до меня, то я поражения не потерпел. — подал реплику Гонсалес. Он холодно смотрел на меня. И я снова — в который раз — отметил чудовищное несоответствие внешности и сути у этого человека, и каждый раз оно поражало меня все сильнее — высокий, широкоплечий атлет с нежным лицом, почти ангельская доброта в глазах и черная ненависть в душе. Он, конечно, победил, он проголосовал за помощь, когда Гамов потребовал ее, но сейчас и он не радовался своей победе, это

было ясно. Он был холоден, отстраняюще холоден, почти печален.

Я обратился к министру информации:

— Исиро, результат голосования точно вы узнаете завтра?

— К полночи все голоса будут подсчитаны.

— Точность сейчас необязательна, важно не ошибиться в сути.

Омар Исиро ответил без раздумья, он ждал такого вопроса:

— Думаю, восемьдесят из ста высказались за помощь.

— Вы слышали, Готлиб Бар? — сказал я. — Не будем ждать окончательного подсчета. Прикажите эшелонам помощи переходить границы Клура.

Я редко видел Бара взволнованным. Сейчас он до того волновался, что не смог сразу ответить. Ответственность за великое политическое решение была ему не по плечу. Он не говорил, а мямлил:

— Понимаю... Но как объявить? Ваш приказ? Решение Ядра?

Я засмеялся — так он был смешон в своей запоздалой нерешительности.

— Решение народа, а Ядро только формулирует выводы из этого решения. Надеюсь, никто не против? Исиро, подготовьте мою передачу. Я больше всех сопротивлялся помощи, мне, стало быть, первому объявить, что мы подчиняемся воле народа. Готлиб, действуйте! Исиро, едем на студию.

Я пошел к выходу. Меня задержал Гонсалес, он выглядел так, словно обнаружил во мне что-то неожиданное.

— Семипалов, не хотите прежде посоветоваться с Гамовым?

Я пожал плечами.

— Зачем? Гамов болен. Если я пойду совещаться с ним, он подумает, что у меня сомнения. Все это лишние тревоги. Моя речь успокоит его.

Исиро ожидал в дверях. Но Гонсалес опять задержал меня.

— Семипалов, знаете, как вас называют среди сторонников Гамова?

— Вы имеете в виду Сербина и его приятелей? Они меня ненавидят. Черт не нашего Бога, вроде бы так?

— Именно так. Они не понимают вас. Я тоже не всегда вас понимаю, Семипалов.

— Спасибо за признание. Оно мне пригодится, когда я предстану перед судом вашего трибунала. А что до чертей, своих и чужих, то все мы верные дьяволы своего божества.

— Не так. Есть черти и есть ангелы. Хороший Господь достаточно широк, чтобы вместить в себя противоречие. Слуги ему нужны разные.

И ангелоподобный Гонсалес улыбнулся самой ангельской из своих улыбок. Среди всех помощников Гамова только этого страшного человека, Аркадия Гонсалеса, я искренне побаивался и открыто не любил.

10

Речь в многократных повторениях пошла в эфир. Теперь я был вправе спокойно идти к Гамову. Я пришел, не предупреждая заранее. Сербин в своем закутке зашивал что-то из одежды. Он вскочил, выкрикнул какое-то военное приветствие, я, не слушая и не здороваясь, прошел дальше. Гамов сидел на кровати, пожилая медсестра Матильда что-то втирала в его обнаженную руку. Он оттолкнул ее и поднялся. Лицо его излучало радость. Здоровым он, однако, не выглядел, я сразу отметил, что до настоящего восстановления еще далеко. Он, сразу стало ясно, сам не понимал в эти первые часы ликования, что ему не до работы, зато я определил: еще не время мне сдавать государственные дела. На нашем разговоре это, впрочем, не сказалось — я хорошо знал свое истинное место.

— Спасибо, Семипалов! — сказал он горячо и сделал знак Матильде, чтобы вышла. — Отличная речь! Вы сделали больше, чем я мог ожидать.

Я не хотел, чтобы у него создалось превратное представление о моем реальном отношении к собственным поступкам.

— Вынужденная речь, Гамов. По-прежнему считаю, что мы совершаем большую ошибку. Но что сделано, то сделано.

Он засмеялся. Он показал мне смехом, что понимает, как мне было нелегко, и надеется, что, отступив в споре, я и дальше буду идти по предписанному пути. Все же он уточнил:

— Не считаете ли вы, что я должен выступить по стерео? И возвратиться к делам? Вам сейчас очень трудно...

— Трудно, да. Но еще трудней будет, если вы, преждевременно вернувшись, вскоре опять свалитесь. Самые важные события впереди, они потребуют вашего непосредственного участия. А что до эфира... Поблагодарить народ за веру в вас, ко-

нечно, нужно. Но не дольше того, что разрешат врачи. Говорить будете из этой комнаты.

Он сказал с волнением, которого не мог сдержать:

— Я сделаю все, что вы прикажете. Я верю в вас.

— Гамов, мы все слуги рока. Нас ведут силы, много мощнее нас. Даже не выходя из этой комнаты, вы остаетесь нашим руководителем. Нас ждут бурные дни, очень важно, чтобы вы встретили их не таким желтолицым и качающимся на ногах, как сейчас. Я не терплю вашего Сербина, но в одном поддерживаю его: если он приказывает вам есть, ешьте, если приказывает спать, спите.

Он опять улыбался.

— Уж если вы заодно с Семеном!.. Буду исполнять любые его команды, зная, что в них также есть и ваше настояние. — Я встал, он задержал меня. — Вы сейчас будете смотреть стерео? Давайте посмотрим вместе, что за рубежом.

Мы прошли в его маленькую приемную. На стене, против стола, висел стереовизор. Это было новшество последних дней, раньше Гамов смотрел новости из зала заседаний, если — как я — не ходил к Пеано либо к Прищепе, смонтировавших у себя гигантские экраны. Перед стереовизором сидела Матильда, она, как все женщины, не могла оторваться от стереокартинок, что бы они ни показывали — любовную драму или военные трагедии. У стереовизора же сидел и Сербин, но лицом к двери к Гамову: прислушивался, что там совершается и не нужно ли ему спешить на вызов. И Матильда, и он вскочили, когда мы вышли из спальни Гамова.

— Сидите, сидите! — сказал Гамов. — Вы нам не мешаете.

— Пусть лучше уйдут, — сказал я. — Не все реплики, которыми мы будем обмениваться, годятся для широкого употребления. Понадобится, позовем их.

Матильда с сожалением бросила взгляд на экран и нехотя поднялась. Сербин понимающе кивнул — показывал, что после моего выступления вражды ко мне больше не имеет и согласен, что наши с Гамовым разговоры не для его ушей.

Исиро показывал вступление эшелонов помощи в Клур. Первая колонна машин проходила линию фронта. На пограничных валах, на брустверах батарей, на крышах домов, даже деревьях вдоль дороги везде были клуры, и военных среди них в этих прифронтовых местах было больше, чем гражданских. Меня беспокоила мысль, что генерал Арман Плисс сочтет появ-

ление эшелонов помощи равнозначным вторжению неприятельского десанта и встретит их не цветами, а огнем. Но я, видимо, преувеличивал глупость бравого генерала. Он хоть и отрицал публично самую возможность благотворительной помощи врага, но не отдал приказа отражать ее, буде она все-таки совершится. Солдаты цветов не держали, но зато орали во всю мощь глоток — и пересекающие границу машины отвечали ревом своих клаксонов. Я говорил, как мучительно давило на чувства то молчание, с которым эшелоны помощи двигались по Патине, Ламарии и Клуру. И сами машины не подавали сигналов, только глухо шуршали шинами по асфальту и тонко свистели дюзами, и люди, плотными стенами выстроившиеся вдоль дорог, мертво молчали — начиналось великое действие, и никто не знал, исполнится оно или замрет на полусвершении. Пересекут ли машины заветную линию, разделяющую враждебные государства, или миллионы “нет”, брошенные в урны, погонят их назад.

Я потом узнал, что именно в тот момент, когда я закончил речь в эфире, минута в минуту к последнему моему слову, все водоходы, все водолеты, все поезда, все заводы в стране загудели и засвистели. Я, конечно, слышал и гудки, и свист, когда шел к Гамову со стереостанции, но в Адане мало заводов, а эшелоны помощи были далеко — рев гудков как-то не затронул меня.

Зато сейчас, сидя рядом с Гамовым, я полностью ощутил грандиозность перемен, свершившихся в считанные минуты. Дело не только в том, что замершие машины разом пошли. Еще впечатлительней был переход от мертвой тишины к грохоту, гаму, свисту и крикам. Эшелоны проходили линию фронта, надрывая клаксоны и свистки, а их встречали воплями — солдаты, подняв вверх импульсаторы, садили в небо синими молниями и орали, а жители, высыпавшие на границу, бросали в машины цветы, тоже орали и пели, пели и орали. Женщины, вырываясь из толпы, висли на подножках, взбирались на открытые платформы и на крыши, их подхватывала охрана. С каждым мигом, с каждой минутой движения по дорогам Клуре и грохота машин, и возгласов встречавших, и визга женщин и детей, и цветов, бросаемых на водоходы, — всего этого становилось больше, все звучало громче, было все радостней. Великий праздник открылся в Клуре, он нарастал, разветвлялся на пересечениях дорог Клуре, вливался в города, уже заранее охвачен-

ные ликованием, все ближе шествовал на Фермор, столицу одной из прекраснейших стран нашего мира.

Гамов толкнул меня. Мне показалось, что он сдерживал слезы.

— Семипалов! Неужели они и теперь смогут воевать против нас?

— Не сейчас, а после, — хмуро возразил я. — На дорогах неорганизованный народ, они счастливы, ибо их спасают. Но власть не у них, а у генерала Армана Плисса. А это типичный военный старой школы, то есть бестия, забронировавшая себя колючими заборами воинских приказов, защищенная бастионами понятий солдатской доблести, верности долгу, исторических традиций... Он не появляется в эфире, меня пугает его молчание.

— Он сказал, что не верит в нашу помощь, — напомнил Гамов.

— Самый раз поверить — помощь катится по дорогам его страны. А что если он ждет нашей помощи, чтобы поправить положение в тылу, а потом с удвоенной энергией двинется на нас? Захватит наши эшелоны, превратит наших водителей и охрану в пленных — это ведь равноценно выигранному сражению на поле, — и при этом никаких военных потерь, только прибыль. Вы заметили, что войска на границе по-человечески поприветствовали наши эшелоны, но ни один солдат не покинул своего поста? И граница снова закрыта, уверен в том. Генерал Плисс пропустил продовольствие, но нашим войскам дороги не даст. Он готов к новым боям.

— Боже, до чего же вы не доверяете людям! — чуть не с мукой произнес Гамов.

— Вы сделали меня военным министром, Гамов. Слишком доверчивых военных водят за нос. Я буду безмерно рад, если ваши политические мечты станут реальностью. Но если вы ошибетесь и народ, проголосовавший за вас, ошибется вместе с вами, на мне лежит обязанность смягчить тяжкие последствия такой ошибки. Эшелоны помощи вошли в Клур, но наша армия не покидает своих казарм. Ни один солдат не бросит импультатора на землю, пока Пеано либо я сам не прикажем. И мы с ним, покоровшись голосу верящего в вас народа, будем ждать еще одного голоса — хриплого голоса корпусного генерала Армана Плисса, захватившего в свои грубые руки правительство Клура. А Плисс молчит, Гамов, эшелоны помощи мчатся по его стране,

а он молчит, и армия его стоит на предписанных ей постах, ни один солдат не бросает оружия.

Я думал, Гамов сердито огрызнется на мою тираду, но он сказал:

— Смотрите, Исиро показывает, что в Нордаге.

В Нордаге сотни машин выходили со складов, с городских площадей, где вторые сутки стояли готовые к походу на океан, рядом с машинами бежали люди. И я снова увидел рыжую Луизу на крыше спортивного водомобиля, она мчалась сквозь толпу, радостно крича, и толпа отвечала ей таким же радостным криком. Стереолуч пронесся по улицам столицы, выхватил несколько поселков и развернул зрителю берега океана.

Вероятно, из всех картин, показанных сегодня Исиро, эта была самой впечатляющей. Океан бушевал. Берега Нордага — крутые скалы, узкие фиорды, удобных портов немного. Исиро показал один из таких портов. В гавани, защищенной берегами и гранитным молом, качались с сотню небольших судов, обычные рыбацкие шхуны, на палубах громоздились ящики и бочки с продовольствием. А за молом простирался белый от ярости океан. Нордаги — умелые моряки, но не безумцы, ни один в такую погоду и не пытался выбираться наружу. Исиро перенес стереоглаз в сторону от океана. Мы увидели обширную площадку в прибрежных горах, монтажники завершали установку больших передвижных метеогенераторов, новейшее изобретение инженеров Штупы, каждый из таких генераторов был равен, а то и превосходил те могучие стационарные установки, с какими мы начали войну и какие обеспечили нам превосходство в искусственных ураганах на полях сражений. Мы увидели и самого Штупу. Он неподвижно стоял, закутанный в плащ, опустив капюшон — из темного, как ватное одеяло, неба хлестало дождем. А рядом со Штупой нервно прохаживался, открыв голову дождю и ветру, Франц Путрамент. Президент Нордага демонстрировал пренебрежение к плохой погоде, в его стране, впрочем, плохие погоды — обычность, ясному дню там радуются как празднику. Я невольно засмеялся, подумав, что еще не так давно тот же Штупа обеспечил Нордаг таким количеством ясных дней, что чрезмерно затянувшийся праздник стал превращаться в наказание.

— Как они дружески беседуют, — удивленно сказал Гамов. — Между прочим, Семипалов, вы прекрасно сделали, что

выпустили президента из тюрьмы. На воле он нам будет полезней. А что Штупа делает? Неужели пытается усмирить океан?

— В древности была такая легенда: некий разъяренный царь приказал высечь плетью море за то, что оно не услужило ему хорошей погодой, — сказал я. — Штупа не такого высокого мнения о своем могуществе, как тот древний царь, наказывать океан он не собирается. Но проложить от Нордага до Корины полосу относительного спокойствия он способен. Мы с ним обговорили эту операцию, он заверил, что новые метеогенераторы обеспечат безопасное плавание на этом участке океана. Правда, на срок не очень большой, но подготовленные заранее суда успеют добраться до Корины.

— Это будет сегодня, Семипалов?

Я посмотрел на часы.

— Это будет сейчас. Именно этот час Штупа назначил для усмирения океана. А наш метеоминистр — педант, он считает любое нарушение своих графиков личным несчастьем.

Пока я объяснял Гамову, что Штупа планирует своими метеоустановками превратить широко распластанную в атмосфере бурю в беспорядочную толчею между Нордагом и Кориной, — волна будет налетать на волну, вал с запада пересиливать вал с востока, север схватится с югом, и оба утихнут в противоборстве, — Штупа велел запускать метеогенераторы. Меня и раньше удивляло — еще с метеосражений под Забоном, — как легко атмосфера и вода подчиняются атаке метеоорудий, а сейчас у Штупы метеотехника была совершенней, чем в те дни. Буквально на глазах бушевание за молом смиралось. Океан, только что совершенно белый, обретал свой нормальный цвет — темно-синий, почти черный. Тучи, мчавшиеся с океана, разорвались, солнце брызнуло на океан, он снова переменил цвет — из темного стал светло-зеленым.

И мы с Гамовым увидели, как Путрамент, охваченный восторгом, кинулся к Штупе, жал ему руки, готов был даже целовать нашего метеоминистра. Но сдержанный Штупа на неумеренные эмоции никогда не отзывался, не показал и сейчас склонности к объятиям. И еще мы увидели — Исиро перевел стереоглаз с метеобатарей на гавань, — как из порта за мол в усмиренный океан вылетают груженные доверху суда. Они именно мчались, форсировали сразу полный ход, чтобы не потерять ни минуты драгоценного краткого спокойствия в океане. А на пристанях, на береговых кручах тысячи людей провожали

их взмахами рук. Грохот, подобный буре, сопровождал отплытие кораблей помощи — пронзительно ревели сирены, били колокола. Путрамент, снова взявший в руки власть, не отказал себе в таком удовольствии — вдруг на всем побережье загремели орудия. Это было, конечно, красочное зрелище — все скалы опоясали огни салюта. Но я поморщился. Казимир Штупа, наш главнокомандующий в Нордаге, все же переоценил примирение. Я верил Путраменту, но надежней было не допускать нордагов к боевым средствам. Правда, потом Штупа успокоил меня — салют произвели по просьбе президента, но у орудий дежурили наши военные, Пеано и не думал отдавать их нордагам, даже смирившимся.

Я поднялся.

— Гамов, вам пора в постель — набраться сил перед выступлением в эфире. А мне пора к оперативной работе. Одна просьба: ваше появление на стерео — завтра. Но если хоть малейшее, хоть крохотное... лучше отложить ваше слово к миру, чем рисковать осложнением!

Гамов радостно улыбался.

— Никаких осложнений! Скоро, очень скоро я смогу вернуться на свое место.

— Надеюсь на это, — сказал я и ушел.

Два вопроса оставались нерешенными: не предпринял ли упрямый вояка Плисс враждебных действий против наших людей, вступивших на территорию Клуре, и доходит ли помощь сразу до тех, кому она назначена, — до женщин и детей? Пеано успокоил меня: никаких передвижений войск в Клуре не отмечено, захватов продовольствия военными не наблюдается. Готлиб Бар добавил, что армия клуров устранилась от приема и распределения продовольствия. Гражданские Комитеты Помощи принимают грузы и раздают их в своих районах по семьям. Не знаю, договорился ли Готлиб Бар заранее с клурами о механизме распределения либо клуры сами позаботились о порядке, но эшелоны прибывали в заранее назначенные им места, а местная администрация дальше действовала сама. Разгруженные эшелоны должны были тут же возвращаться назад — и это был единственный пункт в плане помощи, который не удалось выполнить. Клуры не выпускали наших людей. Повсеместно пустые машины оставались на улицах, а водители и охрана вовлекались в уличные празднества. И если бы я не беспокоился о том, что за внешней картиной ликования где-то уже набирают силы при-

тихнувшие на время враги, если бы, повторяю, меня не тревожило загадочное молчание словоохотливого еще недавно генерала Плисса, я от души наслаждался бы зрелищем, каким не уставали заполнять эфир операторы Исиро.

Втайне, не доверяя собственным предчувствиям, я надеялся, что наша великодушная акция вызовет братство среди солдат Клуга и наших. Вооруженные клуги приветствовали салютами эшелоны помощи, но, пронзая небо молниями импульсаторов, сами эти импульсаторы на землю не бросали. Надежды Гамова не сбывались, реальней были скорей мои мрачные опасения, что дальше использования наших даров армия клуг не двинется.

А население Клуга вело себя по-другому. Женщины, пытавшиеся захватить стереостанцию и призывавшие нас на помощь как друзей, показывали на улицах всех городов, что призывы те шли от души, а не только от измученного недоеданием желудка. И если мужчины еще только дружески жали руки водителям и охранникам эшелонов и поднимали шляпы, то женщины неистовствовали. Они кидались обнимать и целовать их. Я увидел, как две солидные дамы, задержав одного солдатику, тащили его каждая к себе и покрывали поцелуями. А он, ошалевший от смущения, вырвался и трусливо сбежал. Впрочем, сбежал ненадолго, его тут же перехватила стайка девушек и с хохотом тормозила и целовала, и он уже каждой подставлял губы. А над веселым смехом толпы плыл в воздухе гул колоколов, в храмах звонари трудились не покладая рук, только к полночи утих благодарственный звон. Гулянки и смех продолжались всю ночь — не только на улицах, а и в домах, куда чуть ли не силком тащили наших солдат, они не очень и противились такому насилию, хотя каждому заранее разъясняли, что стычек в Клуге не допускать и вольного общения с населением тоже. Я отметил неожиданную особенность — клуги голодали, каждый кусочек хлеба, каждый стакан молока был чуть ли не драгоценностью. Но недостатка в вине не было, под вечер многие были навеселе — и не только клуги, но и наши солдаты.

Все это было хорошо, конечно. Но генерал Плисс молчал, а должен был хоть что-то сказать, хоть промывать что-то невразумительное, если уж разучился общаться с людьми иначе чем языком приказов. Под утро, так и не дождавшись официальной реакции на наше благотворительное вторжение в Клугу, я задремал.

Утром меня разбудил Прищеп.

— Андрей, включай скорее стереовизор! — кричал он, чрезвычайно взволнованный. — Речь королевы Агнессы! Корина объявляет мир. Президент Нордага в Корине, он добрался туда, едва не погиб. Он тоже выступает.

Я несколько раз до этого видел по стерео королеву Корины. Высокая авантажная дама, она никогда не улыбалась, не шутила, не позволяла себе словесных вольностей. Слушать ее было всегда скучно, хоть иногда она говорила и важные вещи. Сейчас я слушал ее с волнением. Она сама волновалась. У нее перехватывало голос, она два раза прикасалась губами к стакану с водой. А сказала она, что совершилось невероятное. Латания, с которой Корина недавно вступила в войну, в отместку развязала против их островного государства жестокие метеокары. Искусственные циклоны, нагнанные Латанией, погубили весь урожай, только великодушная помощь Кортезии позволила коринам пережить самую ужасную в истории зиму. С весной беда еще губительней поразила Корину — водная аллергия, никогда не переводившаяся на их влажном острове, но никогда и не набравшая большой силы, вдруг выросла до всенародной эпидемии, поражающей маленьких детей. Причиной нового бедствия были все те же искусственные циклоны. Королева Корины прямо бы обвинила Латанию в медицинском терроризме, в истреблении детей как способе поставить вражескую державу на колени, если бы сама Латания не пришла на помощь в борьбе с возбужденной ею эпидемией. Латания не пожалела своей энергетической основы ее военного могущества, над Кориной все лето сияло солнце, еще не было в истории нашей страны такого безоблачного неба, как в этот год. И эпидемия отступила, матери и отцы вздохнули с облегчением. Это сделала Латания, с которой мы воюем. Уже тогда, на исходе лета, ей, королеве Корины, стало ясно, что война против страны, спасающей твоих детей, безнравственна. Это ее мнение в правительстве Корины знали, но с ним ее министры не посчитались. Она понимает, что и сейчас не найдет полной поддержки своих министров. В представленном ей докладе правительства вина в неурожае и голоде полностью возлагается на Латанию, не допустившую на остров ни единого дождя, иссушившую реки, болота и озера. Да, Латания повинна в нашем неурожае, но ценой этого неурожая она защитила наших детей, другого способа их спасения не было. И она, королева Корины, сразу же после конца эпидемии запросила свое правительство, имеют ли они

моральное право воевать против народа, спасающего детей. Правительство постановило, что война определена договорами с Кортезией, а договоры не отменены, поэтому война должна продолжаться, если, конечно, сама Латания не признает свое позорное и окончательное поражение. Латания своего поражения не признала, она пока одерживает победы и спокойно может ожидать, что свое поражение признает Корина. И такое ожидание тем основательней, что разразился голод у нас и в Клуре, мы уменьшили пайки до опасной дозы, и в народе, и в армии умножаются болезни. Надо смотреть правде в глаза: к весне много людей в тылу погибло бы, остановилась бы промышленность, а армия могла превратиться в небоеспособный сброд. Кортезия обещала помощь, но бушующий океан не позволял судам выходить из портов. Близилась самая страшная зима в истории нашей страны. Но совершилось чудо. Слово “чудо” — единственно точная формула. Наш враг снова спасает нас. Огромный народ великодушно проголосовал за помощь воюющим с ним коринам и клурам, латаны добровольно сокращают свои продовольственные пайки, чтобы накормить нас. Вопрос референдума о помощи невероятен, не укладывается в нормальном сознании: “Согласны ли вы помочь собственным продовольствием врагу, который завтра, возможно, воспользуется вашей помощью, чтобы оружием сразить вас?” Невероятность в том, что латаны ответили “да” на вопрос, на который единственным нормальным ответом нашего нормального бытия может быть только “нет”. Мы не верили, что это “да”, равновеликое чуду, может прозвучать на референдуме. А оно прозвучало. И помощь уже пришла. Суда с продовольствием уже разгружаются в наших портах. Могучие метеоустановки латанов принудили море, разделяющее Нордаг и Корину, к временному спокойствию. Мой старый друг, мой добрый друг, отважный президент Нордага, освобожденный латанами из плена и воротившийся к власти для организации похода помощи, прибыл в Корину на одном из суденышек, чтобы рассказать, какие удивительные перемены происходят в стране, с которой мы воюем и которая пришла спасать нас. Он сам предстанет перед вами — великий аргумент совершающихся в мире перемен. А я своей властью объявляю мир с Латанией. Мы не разрываем наши старые связи с Кортезией, кортезы — наши друзья и остаются друзьями. Но войны с Латанией больше нет. Преступником будет тот, кто укусит руку, протянутую тебе на помощь. Благо-

родство всегда было чертой коринов. Мы отныне друзья великодушных латанов.

Франц Путрамент появился на экране в матросской робе, в какой прибыл из Нордага. Он весело объявил, что мысль о визите в Корину явилась ему, когда он увидел знакомого рыбака, старого товарища. Они быстро поменялись одеждой, капитан суденышка не возражал. Ему не терпелось прибыть с первой партией помощи, да и правительство Корины надо было ознакомить с обстановкой в Латании. При первой возможности я возвращусь обратно, пообещал он, я не беглец с родины, а ходатай за мир в новом мире.

— Старый авантюрист и романтик, — сказал я Гамову о Путраменте. — Не возражаю, если он задержится в Корине, плохого он там не сделает. Но почему молчит Плисс? Его молчание терзает мои нервы!

Гамов был спокойней. Это был, наверно, первый случай в нашем долгом общении, когда он меньше думал о завтрашнем дне, чем я. Возможно, болезнь истрепала его силы — и не только физические. Но теперь я думаю, что даже в том очевидном нежелании проанализировать меняющиеся дела во враждебном зарубежье, как это ни парадоксально, он снова показал свою уникальную интуицию. Он был заранее уверен, что и в Клуре, и в Корине, и у наших южных соседей, и даже в самой Кортезии все сложится наиболее благоприятнейше, лишь бы референдум прошел благополучно. Референдум прошел с громадным успехом, все остальное должно стать естественным выводом из этой воистину решающей победы. Надо теперь дожидаться. Именно так он и высказался в своем очень кратком обращении к народу по стерео — поблагодарил всех за великодушие, за решимость пойти на жертвы ради идеи человеческого братства, лишь заглушенной, но не отмененной войной, и попросил прощения, что нездоровье не дает говорить больше, даже о королеве Агнессе не сказал, как будто не совершился этот важнейший факт — выход Корины из войны. Он, и вправду, выглядел плохо. Нездоровье показало всем важную черту его характера, мы в его окружении уже хорошо приноровились к ней — в минуты неудач в нем вспыхивала исполинская энергия, он готов был немедленно кинуться на борьбу с опасностью, а первые минуты успеха расслабляли, он чуть ли не опускал руки в такие блаженные минуты. Зрители отнесли его вялость к болезни, а не к характеру. Он встал и поблагодарил поверивших в него, это было

самое важное — он сумел подняться с постели! И его слушали чуть ли не со слезами, с замиранием сердца — Прищепа после говорил, что ни одна из его прежних, воистину блистательных речей не вызывала такого восторга, как эта короткая вялая благодарность народу.

И эта ночь шла у меня без сна. Я поехал к Пеано, на его большом экране можно было смотреть то, что интересовало самого Пеано, а не то, что решал показывать Исиро. И я снова любовался отважными нордагами, без колебаний пускавшимися в океан, как только их утлые суденышки загружались доверху. Океан был приведен в смирение, но мне, не моряку, было жутковато смотреть, как волны ходят по морскому простору между Нордагом и Кориной — правда, прежней сплошной яростной пены уже не было, пена оторачивала только гребни валов. “Не роскошь, но и не гибель для опытного морехода” — так оценил сам Штупа свои усилия. Я спросил, как он упустил президента в Корину, Штупа ответил, что в сторожа к президентам не нанимался, о пропаже Путрамента надо спрашивать Прищепу. Прищепа посмеялся, когда я обратился к нему с тем же вопросом. Путрамент оставил нам свою дочку, а это значит, что он не сбежал, а придумал себе небольшую государственную командировку. Я удовлетворился этим объяснением — как я уже говорил Гамову, я не видел ничего плохого в исчезновении президента из своей страны. Меня только удивила экстравагантная форма бегства, она, впрочем, придавая популярности лихому президенту, работала и на нас.

Под утро на командном пункте Пеано появился Прищепа.

— Друзья, важная новость. Только что закончилось совещание у Плисса. Генерал Арман Плисс пошел спать.

Пеано удивленно посмотрел на Прищепу, а я пожал плечами.

— А что важного, что Плисс пошел спать? Все люди обладают замечательным свойством время от времени засыпать... Вот если бы ты сказал, что генерал Арман Плисс третьи сутки не спит...

— Именно это я и хочу сказать. Генерал не выходил из своего кабинета с того часа, как у нас начался референдум, ему постоянно докладывали, как идет голосование. В эти дни он дважды связывался с Аментолой. Он вызвал к себе после первого разговора с президентом Кортезии всех командующих дивизиями и корпусами и после короткого совещания отдал приказ не чинить препятствий проходу в Клур эшелонов помо-

щи, но и не брататься с нашей охраной. Сегодня ночью состоялось новое совещание генералов. Арман Плисс сделал два распоряжения: доставить к нему в правительственный дворец группу наших офицеров и солдат из охраны эшелонов, подготовить стереостанцию к передаче его выступления в полдень — и поехал домой выспаться перед речью к народу. Вот такие новости, друзья.

— Как ты их толкуешь?

— Меньше того, что сказала королева Корины, он не объявит. Уверен, что он предложит нам мир и дружбу.

Меня все же одолевали сомнения. Все зависело от того, о чем договорился генерал с Аментолой. Я возобновлял в памяти обличье Плисса — усатое, лупоглазое, вислоухое, багровощекое лицо, узкие плечи, погоны, концами повисающие в воздухе, живая карикатура на храброго солдата... Этот человек одержим идеей военного достоинства, он способен на любой поступок, лишь бы тот подтверждал его представление о солдатской чести. От вояки, презрительно обозвавшего великодушие сумасшествием, я не ожидал добра.

— В полдень он выступит, ты сказал? До полудня недалеко, наберемся терпения.

Генерал Плисс возник на экране в полной парадной форме — при орденах и оружии. И еще больше, чем во время беседы с журналистами, он смахивал на карикатуру лихого солдата. Но то, что он сказал, не отвечало его внешнему виду. Даже в самых радужных мечтах я не мог помыслить о таком крутом повороте политики его страны.

— Друзья мои, солдаты и мирные граждане! — так он начал свою речь. — Довожу до вашего сведения, что я недавно дважды беседовал с великим президентом Кортезии господином Аментолой. В первой беседе я спросил, скоро ли придет помощь, которую он нам обещал и без которой нашему народу грозит гибель. Он сослался на затянувшиеся бури в океане. Я со всей честностью солдата разъяснил президенту, что бури не аргумент для задержки помощи, война — тоже буря, а мы добровольно ввязались в военную бурю в интересах нашего заокеанского друга. И еще я прямо сказал, что в нынешних бедствиях нашего народа виновата Кортезия, ибо если бы мы не начали войну на ее стороне, то и не было бы у нас ни эпидемий, ни голода. И потому не только государственная обязанность Кортезии, но и ее воинская честь требуют, чтобы она немедленно, пре-

небрегая метеопомехами, выслала к нам корабли с продовольствием. Мы — так я сказал президенту, — выходя во имя союза с ней на поле битвы, не уклоняемся от схватки с врагом лицом к лицу, если слишком дуют ветры, если размокла земля, если ломит голову или разболелся живот. Война есть война, а воинская честь есть воинская честь! А президент, заверив нас в помощи, жертвует достоинством солдата, откладывая под разными предлогами выполнение своего слова. Вот так я разговаривал с президентом Аментолой! И президент попросил одного дня отсрочки, чтобы дать окончательный ответ, когда выйдут в океан корабли с продовольствием. Вчера состоялся второй разговор. Президент информировал меня, что до прекращения бурь и речи быть не может о помощи, а когда эти бури прекратятся, он не ведает, возможно, будут продолжаться всю зиму, ибо так и называются — зимние. И тогда я сказал, что до весны, когда наступит успокоение в океане, треть клуров перемерет от голода и болезней, а если зимние бури сменятся бурями весенними, то и еще одна треть нашего населения погибнет, и великий Клур прекратит свое тысячелетнее существование. Я обвинил Аментолу, что он изменяет своему солдатскому долгу, что вся Кортезия тем самым изменяет союзу с Клуром, и я, стало быть, имею все основания обвинить кортезов в предательстве своих верных союзников. А с предателями надо поступать как с предателями, так я разъяснил президенту. И объявил, что с изменниками союз немыслим — и потому все воинские обязательства Клуря перед Кортезией отныне и навеки отменены.

Усатый генерал сделал остановку, выпил воды, поправил мундир, словно он жал ему, хотя мундир висел на худом теле просторным мешком. Я уже не сомневался, что Плисс, как и до него королева Агнесса, предложит вечный мир Латании и объявит нейтралитет в продолжающейся войне. Я недооценил решительности генерала Плисса.

— А в те часы, когда шли мои переговоры с президентом Кортезии, — продолжал генерал, — в Латании, в стране наших врагов, совершался опрос народа, удивительный опрос, сама постановка его виделась опровержением всех человеческих обычаев можно ли, нужно ли идти на жертвы, чтобы помочь попавшему в беду вражескому населению? Я перед референдумом в Латании высказался всенародно, что жертвы, за какие голосуют, равнозначны государственному сумасшествию либо святости, которая в политической деятельности еще опаснее

сумасшествия. У меня нет причин отречься от своих слов, но со всей солдатской искренностью признаю: и понимание мое, и оценки ситуации в Латании — все это далеко разошлось с действительностью. Благородная королева Корины объявила, что в Латании совершилось чудо и на чудо надо отвечать достойно. Вполне согласен с ее величеством королевой Агнессой. Я солдат, я привык, что на поле боя не бывает чудес, что в сражении действуют только расчет, материальные ресурсы и воля к победе. Я поневоле стал политиком, ибо прежнее наше правительство в трудную минуту предстало сбродом трусов и подонков, его надо было срочно менять. Но, став политиком, я очутился в мире чудес. Чудо стало обыденностью сегодняшнего дня. И сам я стану трусом и политическим подонком, если на эти грянувшие на нас чудеса отвечу недостойно их и себя.

Он еще помолчал, выпил воды и снова заговорил:

— Впервые за многие месяцы наши дети могут вдоволь попить молока, поесть хлеба с маслом; впервые наши люди могут идти на свои рабочие места, не подтягивая потуже пояса, чтобы заглушить муки голода. Друзья нам отказали в помощи, помощь пришла от врагов. Сograждане и солдаты, это значит, что мы неверно смотрели на мир, что в понятия “враг” и “союзник” вкладывали не то содержание, какие эти понятия реально несли. Вот они, наши враги, — кортезы, причинившие нам зло эпидемией и голодом, трусливо уклонившиеся от обещанной помощи под вздорным предлогом волнений в океане, кортезы, предавшие всё, что человек ценит в человеке, а солдат в солдате. И вот они, друзья, — латаны, против которых мы так неразумно, так несправедливо направляли свое оружие. Именем своего народа исправляю историческую несправедливость: объявляю войну заокеанским трусам и предателям кортезам, объявляю военный союз с латанами. Генерал Пеано, вы сейчас слушаете меня, докладываю: больше моя шпага никогда не поднимется против вас, она будет сражаться за вас. Армия клуров поступает в ваше подчинение. А в знак нашего единения, в знак подчинения нашей армии вашему командованию назначаю триумфальный марш ваших и наших войск по Аллее Побед от правительственного дворца до площади Величия.

Экран погас. Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что кто-то из нас сохранил умное спокойствие. Неожиданность нас ошеломила — это было единственно точное определение. Пеано вдруг заулыбался самой глупой из своих благодетных улыбок,

на этот раз она не скрывала его истинного настроения, а выражала его. А я со смехом сказал ему:

— Альберт, принимайте пополнение — армию Клура. Не собираетесь ли вылететь в Фермор для триумфального шествия с новыми союзниками?

— Вызываю Гамова, — объявил Прищепа, он первый пришел в себя.

Гамов в пижаме сидел перед стереовизором своей маленькой приемной. Мы поздравили его с ошеломляющим успехом, он поздравил нас и сказал, что история переламинается. Теперь слово за Аментолой.

— Вы ожидаете от президента предложения мира?

— Я жду нового поворота в войне, — серьезно сказал Гамов. — Аментола не тот президент, чтобы подражать импульсивным генералам. И Кортесия не такая страна, чтобы испугаться ухода Клура. Океан скоро успокоится, корабли Кортесии снова выйдут на водные просторы. Что они принесут нам? Послание мира или заново оснащенные боевые дивизии?

Гамов снова стал прежним. Вялость болезни прошла. Он уже не ликовал от сегодняшних удач. Сегодня для него было уже вчера. Для него завтра уже шло сегодня. Он, снова обгоняя время, всматривался в даль, для нас еще темную. Он не захотел порадоваться с нами тому, что уже совершилось, потому что его тревожило то, что еще должно было совершиться.

Мы отключились, чтобы не утомлять его разговорами.

Пеано ушел в штаб, переход клуров из врагов в союзники требовал новых приказов по армии. Прищепа удалился к себе — уже, наверно, накопилась новая информация. Я остался в помещении главного военного экрана. Мне не хотелось к себе, там меня уже ждали министры, там надо было думать и решать, не отвлекаясь на посторонние дела. Но я жаждал еще немного побыть зрителем, а не деятелем. Я хотел полюбоваться возведенным триумфальным шествием клуров и наших воинов из тех, что прибыли в Клур с эшелонами помощи.

Площадь перед дворцом появилась на экране за пять минут до полудня. Окраины ее заполняла публика, а в центре выстроились две воинские колонны — по одну сторону офицеры и солдаты Клура при всех регалиях, а по другую, в своей походной форме, несколько десятков солдат нашей охраны эшелонов помощи. Нашу колонну возглавлял Корней Каплин, старый полковник водолетней дивизии. Над Каплиным развевалось

боевое знамя наших войск — по виду очень ветхое, очевидно когда-то плененное, а ныне из трофейных запасов Клура (наши охранники помощи не брали в дорогу воинские знамена). Голову генерала из Клура осеняло многоцветное знамя гвардейского полка, тоже из старых, — по военной традиции Клура, потрепанные в боях знамена окружались особым почетом. А позади двух неравных колонн — маленькой нашей и большой клуров — взвод музыкантов был готов грянуть торжественный марш, когда перед строем появится Арман Плисс.

И он появился точно в полдень. Он возник в дверях дворца, постоял, красуясь, вынул саблю, поднял ее над головой и стал вышагивать к построенным колоннам. Он именно вышагивал, а не шел. Он демонстрировал церемониальный шаг, ни за какие блага мира, даже под угрозой страшных кар сам я, ныне тоже военный, даже генерал, не смог бы воспроизвести его походку. Он прошагал этим удивительным шагом до колонн, картинно повернулся к ним, отдал салют своему флагу, снова повернулся, стал во главе — Каплин оказался по одну сторону, а по другую — свой генерал. Знаменосцы придвинулись, теперь два знамени осеняли Плисса с двух сторон. Он снова поднял саблю, грянула музыка, и колонны пошли.

Все так походило на спектакль, что мне показалось, что я смотрю сцены из какой-то оперетты. Мне даже захотелось засмеяться. Появившаяся в эфире картинка триумфального парада была чудовищно далека от той войны, которую я знал и которую вел. Но потом я подумал, что вся мировая история смахивает порой на оперетту и что естественны не только кровь, грязь и страдания, но и такие яркие спектакли, как разыгранный Арманом Плиссом. И еще я подумал, что крупнейший деятель современной истории, наш диктатор, так артистически превращает политические катаклизмы в театрализованные представления не только потому, что театральность сродни его натуре, а еще и потому, что сама история театральна, и он тесным слиянием с самой историей ощущает эту ее особенность.

Обе колонны, предводительствуемые Плиссом, пошагали вслед за ним с дворцовой площади на парадную улицу Фермора — Аллею Побед.

Во внутреннем дворе правительственного дворца гражданского народа было немного — несколько сот очень чинных, очень дисциплинированных особ, никто из них не аплодировал появившемуся генералу, не бросал в воздух шапки, не заглашал

восклицаниями музыку. Гости дворца только подчеркивали своим дисциплинированным молчанием и важной неподвижностью значение начинающегося шествия. Но на Аллею Побед прихлынуло полгорода. И военный парад, едва начавшись, сразу завершился. Рев голосов заглушил медные громы оркестра, толпа ринулась на Плисса, схватила его на руки, то же проделала и с нашим Корнеем Каплиным, сперва обоих тянули в разные стороны, они перекатывались из рук в руки — и какую-то минуту я опасался, что их и вправду разорвут на части, во всяком случае, ни от скромной полевой одежды нашего полковника, ни от роскошного мундирного великолепия генерала Плисса не останется и живой нитки. Однако буйный восторг толпы до таких крайностей не дошел. Даже восстановился некоторый порядок — правда, не тот, что намечался по военной росписи. И Плисс, и Каплин по-прежнему двигались впереди колонн, только генерал, для симметрии шагавший слева от Плисса, куда-то пропал. И двигались Плисс и Каплин не своими ногами, а на руках десятка дюжих мужчин, отбивших свою добычу у сотен других.

И теперь, вспоминая шествие по Аллее Побед, я думаю, что оно стало гораздо красочней и выразительней, чем то, что расписывалось по первоначальному сценарию. Толпа, теснившаяся на тротуарах, радостно бесновалась, пела, размахивала руками, бросала вверх головные уборы. Холод уже стоял изрядный, но ни одно окно, выходившее на проспект, не осталось закрытым, и в каждом окне теснились жители и тоже неистовствовали, орали, пели и махали руками, охваченные единством восторга.

И самым удивительным в этом удивительном параде был его виновник — корпусной генерал Арман Плисс. Он покоился на высоко поднятых руках, но покоился так, словно не сидел, а по-прежнему шел, только по воздуху, а не по брусчатке. Он вытянулся в воздухе во весь рост, левой рукой делал какие-то приветственные жесты бушевавшей толпе, а в правой высоко поднимал саблю, словно вел своих солдат в сражение. И эта закончившаяся в прямизне фигура, ухваченная десятками рук с боков и сзади — ни один не осмелился стать впереди, — и взметенная в грозном замахе сабля производили воистину волшебное действие: генерал звал толпу куда-то вперед, может быть, на немедленную схватку с самим Аментолой, и толпа готова была бежать за ним хоть на край света, во всяком случае, до завершающей Аллею Подвигов величественной Триумфальной Ар-

ки. До сих пор не понимаю, как реально не возник такой бег и не были потоптаны те, кто стоял впереди приближающегося генерала с высоко поднятой саблей.

А генерал плакал. Он что-то говорил, не опуская сабли и не переставая махать толпе, а по щекам его катились слезы. Ему надо было перестать махать рукой, опустить саблю и вытереть платком щеки, но он не мог этого сделать, это было бы недостойное признание в слабости, он должен был грозить саблей далекому врагу, должен был благодарить своих сограждан за то, что они тоже были ему благодарны. И неудержимые слезы скапливались в усах, соскакивали на пышные погоны, на роскошный мундир. И генерал Арман Плисс снова и снова странно морщил лицо и сердито моргал, чтобы удержать слезы, а они лились и лились — его слезы в тот удивительный день в Ферморе были, вероятно, единственным, что отказывало ему в повиновении.

У Триумфальной Арки парад завершился новой короткой речью генерала. Выходя на трибуну, Плисс успел вытереть щеки.

Война в Клуре завершилась.

Рискованный план Гамова — прийти на помощь нашим врагам, чтобы поразить не их, а их вражду к нам, — полностью удался.

Сразу по завершении парада в Ферморе я посетил Гамова и принес мои поздравления.

— Рад, страшно рад, что я ошибся и что вышло по-вашему, а не по-моему, — сказал я от души.

Он радовался вместе со мной.

11

Мы не сомневались, что референдум о помощи Клuru и Корине породит смятение в душах, поставит перед каждым в этих странах проблему, нравственно ли продолжать войну. И мы были уверены, что выход Корины из войны и переход Клур на нашу сторону потрясет и народ заокеанской державы. Но в какую сторону — на мир или на усиление вражды — повернут Кортезию события в Корине и Клуре, знать не могли. Всего можно было ожидать от страны, в течение добрых ста лет считавшейся первой в мире, по могуществу равновеликой всему остальному миру. В ней всегда была сильна национальная гордость, переходящая в национальное чванство. Кортезия могла и возмутиться, что от нее отходят друзья, она могла мстительно

доказать, что и при полном одиночестве способна бороться с врагами.

Волнение за океаном, естественно, было огромное. Но то было волнение информационное, а не организационное. И стерео, и газеты соревновались в нагромождении известий из Клура, из Корины, особенно из Нордага — мы сохранили особый режим в этой стране, там было много иностранных журналистов. Воротившийся в свою страну Путрамент чуть ли не ежедневно беседовал с этими журналистами — он становился хорошим помощником нашему Омару Исиро. Кортезию набивали удивительными сообщениями об удивительных событиях, ее могло разорвать от бездны трудно перевариваемой информации.

И ее разорвало. Но по-иному, чем мы прикидывали. Не только я, но и сам Гамов и даже Гонсалес — все мы соглашались, что акция террора не удалась. Если министра Милосердия, нашего добряка Пустовойта, заваливали просьбами всяческие комитеты помощи — та же Норма Фриз, к примеру, то к Гонсалесу даже не поступало счетов от террористов. Сам он считал, что причина в силе заокеанской полиции, быстро раскрывающей разрозненные террористические группы. Но причины таились глубже. Индивидуальный террор чужд кортезам. Пока их страна побеждала, пока вела за собой другие страны, пока провозглашала себя бастионом лучшего мироустройства, деятели этой страны окружались почетом, ими гордились, с ними могли спорить, но их уважали, даже не соглашаясь с ними. Здесь не было почвы для злодейского — исподтишка — нападения на них.

Все переменилось после ухода Клура и Корины из союза с Кортезией. Все как-то осознали, что совершилось нечто невероятное и что Кортезия, кичившаяся своей благотворительностью, никогда бы не могла зайти так далеко, чтобы помогать врагам. С великой страны вдруг сорвали покрывало нравственного величия, аура ее щедрости вдруг потускнела. Прозвучало два оглушительных взрыва: старый друг, верный союзник Корины вышла из союза, ибо не увидела в нем ни дружеского союзничества, ни братской помощи в годину бедствия. Королева Корины разорвала вековые связи двух держав — и никто в Кортезии не осудил ее за такой оскорбительный поступок.

А второй взрыв ударил еще больней. Военный правитель Клура не только заклеил Кортезию печатью предательницы,

но и объявил ей войну как изменнице чести, как трусливой эгоистке, требующей от других самопожертвования, но не способной ничем поступиться самой. Должен признаться, что я ожидал взрыва ярости в Кортезии, негодования на генерала Плисса. И великой неожиданностью было, что ничего похожего не произошло — глухая растерянность охватила страну. “Оглядываются на самих себя и не понимают, кто же они такие” — так доложил Прищепа на Ядре о положении в Кортезии.

Вудворт высказался с необычной для него категоричностью:

— Тяжелое недоумение — верная формулировка. Срок его будет невелик. Ожидаю вскоре бури. Возможно, всегда единая Кортезия распадется на полярности и вспыхнет междоусобица.

— Считаете возможной гражданскую войну? — спросил Гамов. Он задал этот вопрос с улыбкой. Никогда не было гражданских войн в этой самой благополучной из стран.

Вудворт ответил с той же категоричностью:

— И гражданской войны не исключу. Еще никогда моей родине не наносили столь обидных оплеух. Кортезы сейчас спрашивают себя — кто же мы такие, что нас так оскорбляют? Если есть в том наша вина, то кто носитель этой вины? Результаты такого внезапного самоанализа не замедлят показать себя.

И они, точно, показали себя, только со стороны, какой и он не ожидал. Гонсалес в свое время надеялся на группы гангстеров, выполняющих его террористические приговоры ради высоких заработков за злодеяния. Такие группы, и вправду, создались, но настроение общества долго не благоприятствовало террору. Убийства политиков и промышленников, как бы высокопарно их ни обвиняли в преступлениях перед человечностью, слишком явно шли на пользу Латании и слишком явно вредили усилиям самой Кортезии. Террор, названный Гамовым Священным, в Кортезии выглядел уголовщиной. Профессионалы разбоя не спешили накинуть на себя плащи политических уголовников, они предпочитали оставаться уголовниками простыми.

Но все разительно переменилось после референдума и ответных действий Корины и Клуга.

Вдруг прогремело три выстрела — один в фабриканта боевых вибраторов и резонансных установок, два в судовладельца, чьи корабли второй месяц, доверху нагруженные, простаивали в портах. На оплату двух убийств немедленно предъявили счета по ценнику казней Гонсалеса. Уверен, что террористы сильно

просчитались, потребовав уплаты, политическая природа казней побледнела перед жаждой денег. Гонсалес пообещал перевести гонорар за убийство в любой банк любой страны, куда террористы пожелают, либо вручить его тайно. Правительство в ответ на террор наконец само опубликовало список заочно приговоренных Черным судом к смерти и обязалось обеспечить каждого из приговоренных надежной охраной. Объявление о правительственной охране нагнало страху больше, чем несколько удачных выстрелов: полиция Аментолы вдруг открыто призналась, что убийцы стали организованной силой и с ними надо бороться всеми средствами.

— Аментола впадает в панику, — прокомментировал Прищепа ситуацию в Кортезии. — Он не мог придумать ничего глупей, чем всенародно признать силу террористов. Этим он прибавит им боевого духа. Не исключаю, что следующей их мишенью станет он сам — наградная ставка очень велика, ради такого приза не один гангстер поставит свою голову против пули полицейского.

Прогноз Прищепы оказался неточным только в том, что до покушения на президента еще несколько человек из списка Гонсалеса распростились с жизнью. На эти разбойные казни кортезы не реагировали прежним всеобщим возмущением.

Удар террористов настиг наконец и Аментолу. Его водород, специально оборудованный внутренней защитой, промчался над хитро заложенной вибрационной миной. Президента спасло, как ни странно, что мина оказалась много сильнее, чем нужно для уничтожения машины. Первая же судорога в почве бросила водород вверх, и он по инерции, содрогаясь в воздухе всеми рычагами и переборками, пролетел почти двадцать лан над землей и рухнул в отдалении от эпицентра вибрации. А там растрескалась земля и нескольких прохожих, остановившихся поглазеть на президента, провибрировало до распада тел на части. Президент отделался только страхом и несколькими часами страданий — противорезонансного жилета, которым снабжается каждый солдат, на нем не оказалось, и в панике не удалось быстро доставить эти жилеты со склада. Я бы жестоко солгал, если бы сказал, что покушение на президента не вызвало возмущения в стране. И волновались, и возмущались, но как-то без запала и страсти. И сразу стали слышаться недобрые голоса: “Взялись за президента, много он нагородил ошибок — теперь заставят расплачиваться”. А неугомонная Радон Торкин не пре-

минула снова дать знать о себе: “Нужно было взять импульсатор, а не вибрационное устройство, — посетовала она. — Когда мне удастся подобраться к Аментоле поближе, я пушу в ход импульсатор, пусть он не сомневается”. Думаю, что Аментола и не сомневался в серьезности замыслов бывшей актрисы, из мести за погибшую дочь разрядившей карманный импульсатор в собственного мужа. Но у полиции хватало бдительности не подпускать и на тысячу шагов хорошо всем известную Радон к президентскому дворцу.

Я разговаривал с Гамовым о террористических актах в Кортезии:

— Вы знаете, Гамов, деятельность Гонсалеса отвратительна мне во всех ее проявлениях, — сказал я прямо. — Но то, что вы называли Священным Террором, имело хоть какой-то рациональный смысл у нас в стране. Террор шел против бандитов и помог усмирить разгул разбоя. А против кого террор в Кортезии? Против политиков, против промышленников, против всех, кто способствует войне. А ведь и у нас есть поборники войны, нас с вами тоже можно к ним отнести. Мы ведь не просто воюем, а воюем усердно, самозабвенно, в общем, с охотой. Но мы ведь не организуем террор против себя? Уж больно выгоден террор в Кортезии национальным интересам Латании. И тогда все эти гангстеры, пришедшие на службу к Гонсалесу, должны считаться изменниками своей родины, а не исполнителями каких-то высоких философских идей, как задумали вы.

Гамов очень странно посмотрел на меня, хорошо помню, что меня удивил этот взгляд, хотя я и не понял тогда его значения.

— Интересная мысль, Семипалов. Террор против себя... Не тривиально...

— В стиле ваших любимых опровержений классики, — сказал я, засмеявшись. — Нет, серьезно, чего нам следует ожидать в Кортезии? Коруна отстранилась, в Клур Пеано вводит наши войска, там сплошное братание и праздники. Южные соседи замерли на границах — войны Кортезии, естественно, не объявляют, но и воевать с нами раздумали, на это у них ума хватает. А дальше что? Если Кортезия еще может вторгнуться весной на континент, то у нас ни в одно время года нет сил перенести войну за океан. Лучшая наша перспектива — война замирает, но не прекращается. Это далеко от победы.

Гамов с первых моих слов имел готовое возражение.

— Кортезия слишком большая страна, чтобы внутреннее напряжение сразу выплеснулось на поверхность. Я согласен с Вудвортом — в Кортезии зреет буря. Наберемся того, что у нас всегда в дефиците, — обыкновенного человеческого терпения.

Гамов, проповедующий терпение, — ситуация не из ординарных! Я все же не мог оставить разговор незавершенным.

— Очень хорошо — буря. Но кто возбудит бурю? Откуда подует ветер, поднимающий волны?

— Я говорю не о той буре, что исчерпывается волнами на поверхности, а о тектонических взрывах внутри. Я предвижу их. Но детали не спрашивайте — не знаю. Мы с вами политики, а не пророки.

Про себя я, как и Гамов, надеялся, что волнения в Кортезии не ограничатся активизацией бандитских групп, перекрашивающихся в политических террористов. Но единственным, что в какой-то степени подтверждало формулу Вудворта “буря зреет”, было возрождение Комитета Помощи, возглавляемого Нормой Фриз. Правда, он изменил вывеску и назывался Комитетом Мира, но руководила им все та же Норма Фриз. И она начала с того же, что положила в основу прежнего Комитета Помощи, — отстранила мужчин от руководства. Мужчин в ее новом Комитете было, конечно, больше, чем женщин, но только на второстепенных должностях. Она прямо объявила на учредительном съезде нового Комитета: “Мужчины, к сожалению, слишком любят войну, чтобы им можно было поручить дело мира. Они в любом мирном договоре оставляют возможность для новой войны. Такими воинственными рожаем мужчин мы, женщины, приходится считаться с этой нашей оплошностью. Но мириться с ней не нужно. Это значит, что дело мира надо взять в свои руки”. Это было уже новое в деятельности энергичного профессора математики, променявшей науку на политику. И она не стеснялась, когда речь заходила об Аментоле. Он, конечно, был образцом настоящего мужчины — высокий, красивый, идеально сложенный, умный, достаточно смелый. И ему доставалось за всех мужчин от Нормы Фриз — она недаром, до политической карьеры, считалась самым красноречивым оратором на профессорской кафедре.

Мне, впрочем, ее наскоки на президента казались столь же несерьезными, как и террористические угрозы Радон Торкин. Было огромное различие между голодным бунтом женщин, захвативших стереостанцию и яростно сопротивлявшихся по-

том умиряющему их генералу Арману Плиссу, в Клуре, и критикой президента с трибуны Нормой Фриз. В первом случае это была трагедия, а во втором разыгрывался спектакль.

— Ты неправ, Андрей, — сказал Павел Прищеп. — Кортезия не Клур, в ней свои обычаи, в ней логика пока сильнее эмоций. Норма Фриз методично разрушает фундамент, на котором зиждется военная концепция страны. А что до легковесного спектакля, то вспомни, что мы еще недавно считали Армана Плисса чуть ли не опереточной фигурой. Норма Фриз созывает на будущей неделе антивоенный съезд женщин Кортезии. Не сомневаюсь, что на съезде примут важные решения.

Я приказал осведомлять меня обо всем, что произойдет на антивоенном съезде женщин. Поначалу казалось, что Прищепе изменило его понимание ситуации за океаном. Норма Фриз произнесла академический доклад о пользе мира и вреде войны и о том, что новая обстановка в Корине и Клуре после великодушных действий Латании делает войну не только вредной, но и бессмысленной. Она явно остерегалась острых формулировок, не нападала на президента, не грозила отстранить мужчин от политического руководства в стране, о чем незадолго до съезда уже высказывалась открыто. Она недоговаривала, это скоро стало ясно каждому слушателю.

И все, о чем она умолчала, вынесли на трибуну другие ораторы. И первой, конечно, Радон Торкин.

Говорят, она в молодости была очень красива. Молодые ведьмы, слетающиеся, по преданиям, на ежегодный шабаш на Гору Сатаны в Родере, все сплошь красавицы, отбор на шабаш очень строг, и уродство там непростительней, чем на наших благотворительных балах. Это каждый знает, хотя мало кто честно признается, что участвует в увеселениях на знаменитой горе. Но типичный образ ведьмы — это все же красочная старуха, до того необыкновенно уродливая, что безобразие уже не вызывает отвращения, а только удивление и любопытство. Так вот, Радон Торкин была классической старой ведьмой. Я знал, что ее, по старой памяти, в газетах называют красавицей. Но на трибуне съезда появилась ведьма. Седовласая, плохо причесанная, костлявая, она простерла длинные жилистые руки — и зал замер. Вероятно, не одному мне почудилось, что еще до речи Радон взлетит над трибуной, сделает два-три хищных круга и только потом, плавно опустившись, начнет говорить. И если бы даже в эту минуту у нее изо рта вырвалось пламя с дымом и

распространился серный запах, это не вызвало бы ошеломления, ибо вполне соответствовало ее облику.

А говорила она хорошо, это надо признать.

Как умелый оратор, она начала не с проклятий, а с деловых обвинений. Мы сами выбираем наших президентов, в последний раз выбрали с большим преимуществом перед другими кандидатами Амина Аментолу. Почему захотели этого человека? Мужчины — потому, что он наболтал им с три короба о величии Кортезии, о высоком благе быть кортезом и о том, что это преимущество Кортезии перед всеми другими народами он усилит и умножит! А чем задурил красавчик Аментола женские головы? Да именно этим — отличной мужской статью. На него любовались, им восхищались, заслушивались его медоточивым голосом, а о том, что он вещает своим хорошо поставленным баритоном, не задумывались, просто не верили, что от такого мужественного мужчины можно ожидать чего-либо плохого. Гордились, что наконец появился президент, на которого стоит смотреть, а не только слушать его. Извечная слабость женщины — безмерно преувеличивать достоинства мужчины. Сколько женских драм совершилось из-за неконтролируемого возвеличивания мужчины! Пока твой дружок — ухажер и жених, он для тебя живое воплощение всех добродетелей. А когда станет мужем и отцом? Где его вымечтанные тобой достоинства? Ты словно прозрела! Перед тобой не полубог, не рыцарь без страха и упрека, не преданный тебе поклонник, а обычный мужлан, грубое существо, к тому же плохой любовник и скверный отец — нечто недостойное ни уважения, ни горячей любви. А куда деться? Ведь нет таких фирм, чтобы поставляли мужей по каталогу, где гарантируются одни хорошие качества. И смиряешься. Таков же и наш президент. Он покори нас внешностью и обхождением, мы восхищались им, ждали от него только блага. А чем он одарил нас? Войной, в которой мы терпели поражения, в которой гибнут наши дети, бездарно, непоправимо, непростительно гибнут! Потерей уважения наших союзников, они кричат нам в лицо: “Кортезы — предатели!”, а раньше кричали: “Кортезия — спасительница!” Президенту плюют в лицо бывшие друзья, и нам заодно с ним, а он утирается и сохраняет красивую улыбку, и нам предлагает держаться так же — улыбаться в ответ на плевки! Пора, пора взглянуть правде в лицо — наш брак с президентом Аментолой не удался, в нем нет ни одного из тех достоинств, какими

он пленил нас, кроме разве красивой фигуры, ее он пока сохраняет.

— В семейной жизни мы чаще всего смиряемся, — продолжала Радон, сделав короткую передышку. — Лучшие годы ушли, мужчины твоего возраста все разобраны — жизненный автобус мчится по скверной дороге. Но почему терпеть негодного президента? На его место — десятки претендентов. Брак с ним не удался, устроим новое замужество! Мужчины еще не потеряли веры в него, а женщины трусят, боятся развода, хотя и понимают, что от Аментолы можно ждать только новых оскорблений, нового горя. Я прощаю мужчинам их тупое непонимание, они на тонкие отношения неспособны, прощаю и женщинам их трусость. Пристрелить Аментолу мне не удастся, с горечью констатирую. Но почему не выбросить его из президентского дворца? И выбросить досрочно! Провести всенародный референдум о президенте!

Зал зашумел, и Радон Торкин сделала передышку. Она еще не перешла на крик, но уже повысила голос. Владела она голосом превосходно — сказывалось артистическое умение, сделавшее ее знаменитой.

— Повторяю: немедленно референдум! И не спрашивать согласия правительства, Аментола не будет копать себе могилу собственными руками. А просто назначить дату и призвать всех кортезов отдать свой голос за или против удаления Аментолы из дворца. Это не такой уж трудный вопрос — гнать или не гнать неудавшегося руководителя. В Латании голосовали по тысячекратно более трудному вопросу. Кружится голова, когда думаешь — согласен ли ты пожертвовать своим продовольственным пайком, чтобы помочь голодному врагу? Я спрашивала себя, могу ли ответить “да” на такой вопрос, и колебалась — найду ли в себе такую жертвенность. А они нашли. Президент Аментола усиливает войну против них, вместо того чтобы благодарно протянуть им руки в знак дружбы и поклонения. Женщины, не говорю, кричу: наш президент вполне созрел быть выброшенным в мусорную яму, и великий позор нам всем, если мы не сделаем этого!

— Закономерен вопрос — кого в новые президенты? — продолжала Радон. — Известного политика? Все политики — радетели войны! Каждый — тот же Аментола, если не хуже. Был один хороший человек, вечный противник Аментолы — Леонард Бернулли. Но мужчина в президенты не годится. Пора

признать этот печальный факт. Наша руководительница Норма Фриз призывает отстранить мужчин от руководства, ибо они воинственны, жестоки, вздорны, их головы забиты соображениями чести, воинской храбрости, готовности к смерти ради национальной, местнической гордости, обывательского чванства. Ни одно из таких иллюзорных понятий не годится для реальной жизни, для пропитания, устройства жилища, здоровья детей. Но мужчины носятся с надуманными призраками, как дураки с раскрашенными игрушками. Реальную жизнь устраиваем мы, женщины, а мужчины только под угрозой непрерывных скандалов соглашаются нам помогать.

Так сделаем реальный вывод из реальной обстановки — отстраним их от руководства страной, как практически отстраняем своих мужчин от каждочасной заботы о семье. Президентом нужно избрать женщину, министрами должны быть только женщины. Пришла пора для новой революции: мужчины так же не могут благоустроить страну, как неспособны сами устроить семейное счастье. Предлагаю в президенты Норму Фриз!

Последние слова Радон Торкин не произнесла, а выкрикнула. Помолчав, пока зал не успокоился, она продолжала, все усиливая голос:

— Я знаю: очень многие мужчины сочтут личным оскорблением вручить женщине верховную власть. Природная грубость и мужское чванство спровоцируют их на отпор нашим настояниям. От мужчин можно ждать любых эксцессов. Ну и что? Я спрашиваю вас — ну и что? Почему мы должны бояться их грубости? Разве в семье мы не сталкиваемся с яростью наших мужчин, с их невоспитанностью, с их угрозами физического воздействия? И разве не научились мы преодолевать их физическое превосходство нашим моральным превосходством? Я спрашиваю вас, женщины: разве большинство семейных скандалов не завершаются нашими победами? Разве мужчины, побесившись и побушевав, не покоряются нашим настояниям? Кто извиняется после скандалов — мы или устыженные своим хамством мужчины? Так заставим их покориться нам в политике, как мы принуждаем их покоряться в семье!

И опять ее прервали шум и аплодисменты зала. И опять она, помолчав, продолжала речь. Теперь ее голос возвысился до крика, только крик соответствовал содержанию речи — она хорошо рассчитала соответствие голоса и смысла.

— Вы скажете, это объявление войны мужчинам! Нет, отвечу я, это продолжение нашего вечного сопротивления их жажде власти — всегда и во всем. Неизменное наше сопротивление, только перенесенное из семейных клетушек на государственную арену. И в этой новой схватке с мужчинами мы победим, как побеждаем в семье. Есть великий факт нашей жизни, мы просто его не всегда осознаем. Нам без мужчин очень трудно, а им без нас невозможно — вот этот великий факт. Кто первый лезет с примирениями после семейных скандалов? Мужчина! Ни одна женщина, когда ее оскорбляют, не попросит прощения, не полезет с ласками, не заберется ночью в постель к своему мужчине, выпрашивая любви. Нет, на такие повороты настроения способен только мужчина! Вспомните, женщины, разве не ваши мужчины после грохота и проклятий шепчут вам в ночной темноте ласковые слова, готовы, как в дни ухаживаний, носить вас на руках, уверять в вечной любви. И мы покоряемся их настроениям, потому что воображаем, что наш мужчина единственный среди всех. Вздор, женщины! Все мужчины одинаковы, можете мне поверить, я их хорошо изучила. Я не призываю вас ненавидеть мужчин, но уважения они заслуживают мало.

— Возвращаюсь к нашему неудачному президенту, — продолжала она. — Убить его сложно, хотя это решило бы многие проблемы, да и латаны отвалили бы огромную премию за такой разумный акт. Но выгнать его из президентского дворца надо. Все мы должны проголосовать за его уход — и заставить мужчин поддержать нас. Всегда и всюду мы должны помнить великий факт — нам без них только плохо, а им без нас невозможно. А если не сдадутся, если не покорятся, то значит, что мы сами неспособны использовать наши женские преимущества, что мы — никудышные женщины. Обращаюсь к вам только с одним призывом — женщины, будьте настоящими женщинами!

И этот последний призыв она не произнесла, а прокричала. Зал неистовствовал. Я никогда и представить не мог, что собрание почтенных, хорошо одетых, пристойно воспитанных дам может орать и выть, как банда пьяных молодчиков вокруг ринга, где их любимый боксер валит на канаты своего соперника. Норма Фриз выждала минуты три и попыталась водворить спокойствие в зале, но ее никто не слушал. Радон Торкин пробиравась к своему месту, но так и не добралась — к ней отовсюду тянулись руки, ее обнимали, целовали, тянули к себе, и она пропала где-то в глубине зала.

Женская антивоенная конференция проголосовала за мир с Латанией и досрочные перевыборы президента, назначили и день референдума — первый выходной первого зимнего месяца.

События были столь важные, что я попросил от Павла Прищепы подробного доклада на Ядре. Впервые я видел его смущенным. Он признался, что слишком уж необычны известия от информаторов. Он все же был отличным разведчиком, но политиком иного ранга — выуживать секреты мог, но если один секрет противоречил другому и надо было выбирать между ними, он не всегда угадывал темную еще возможность, лишь впоследствии становящуюся истиной.

Вот что доложил нам Прищепа.

Окружение Аментолы проигнорировало женскую конференцию. Аментола собрал своих министров, но речь шла только о погоде в океане и о подготовке весеннего наступления. Военная обстановка оценивается как благоприятная. Отпадение Корины и уход Клуга в стан врагов занесены в список неудач, но не решающих. Мы плохо воевали раньше, а сейчас мы воюем лучше, ресурсы же наши несравнимы с латанскими — так Аментола смотрит в будущее.

Гамов удивился:

— Неужто и слова не сказали о женской конференции?

— Ни одного! На заседании правительства, я имею в виду. А на запрос журналистов уполномоченный по печати ответил, что женское движение — одно из многочисленных общественных движений, правительство их не контролирует и не опекает. На вопрос, не устроит ли жена ему скандал, если он не выступит против президента, он засмеялся: доныне у него с женой были мир и согласие, он не вмешивался в ее хозяйственные дела, она — в политику. Он надеется, что и дальше будет так.

Я уточнил:

— Значит, правительство не будет запрещать референдума?

— Ни запрещать, ни поддерживать. И поскольку референдум становится частным делом одной из общественных организаций, результаты его правительство проигнорирует, как игнорирует само женское движение.

Гамов сказал:

— Неумная политика. Аментоле нужно найти соглашение с Нормой Фриз, если он хочет твердо сидеть во дворце. Он еще раскается в своем высокомерии.

Я не удержался от иронии:

— Хотите поделиться с Аментолой соображениями, как ему усидеть на посту и продолжать спокойно готовить победу над нами?

Гамов засмеялся. Доклад Прищепы порадовал его той неопределенностью, что смущала самого Прищепу. Президент завяз в тенетах исторической обыденности, он мыслит классическими штампами, он неизбежно разочаруется, и это пойдет нам на пользу — вот такую концепцию рисовал нам Гамов.

А события развивались так.

Референдум вышел не столь удачным, как надеялись его вдохновители. Голосовать против Аментолы пришло меньше половины женщин, мужчин было совсем мало. У пунктов голосования мужчин собралось изрядно, но они относились к женской акции как к веселому спектаклю — сходились кучками, хохотали, поздравляли своих жен и подруг с приобщением к политике, но бюллетени в руки не брали. Все были настроены беззлобно, особенно свирепых женщин-ораторов награждали аплодисментами, но, в общем, не поддерживали. Референдум, по существу, шел не о президенте, а о том, быть миру или продолжать войну, а измена женщин их недавнему кумиру воспринималась с улыбкой. Так же и правительство восприняло женский демарш — это, Гамов был прав, стало крупнейшей ошибкой Аментолы.

Все разительно переменилось уже на другой день.

Норма Фриз объявила, что результаты референдума она сама во главе женской делегации вручит правительству. Ни один мужчина не удостоился делегирования — только женщинам разрешалось посетить прием во дворце. Но уже за час до появления делегации у дворца собралось множество веселых мужчин, некоторые несли в руках роскошные букеты — вручать своим подругам после того, как они покинут дворец. Шел первый месяц зимы, время не для цветов, но все оранжереи и сады опустошили — цветов в руках у мужчин было больше, чем в любой весенний праздник. Часы шли к трагедии, а всем участникам церемонии еще мнилось, что совершается веселье.

Радон Торкин в женской делегации не было. Ее сочли слишком воинственной, а приход во дворец мыслился операцией мирной — он должен знаменовать единство всех кортезов. И Норма Фриз, возглавлявшая делегацию, обычно скромно одетая, выступала в роскошном цветастом платье, она украсила

себя и гарнитуром темных камней. Женщин было всего двадцать, и все, разодетые, как на бал, по одной выходили из водохода, подошедшего ко дворцу, и поднятием рук отвечали на приветствия, смех, веселые пожелания успеха от мужчин, двумя плотными шпалерами выстроившихся на подходе.

Норма Фриз с декларацией в руке подошла к воротам. Двери раскрылись, наружу вышли два офицера. В глубине двора виднелись ряды вооруженных солдат. Обстановка показывала, что обитатели дворца, в отличие от гогочущих мужчин на улице, отнюдь не расположены считать приход женщин развлекательной сценой. Норма Фриз потребовала президента, чтобы вручить ему заявление о всенародном недоверии. Один офицер взял в руки микрофон, голос его разнесся по рядам собравшихся.

— Президента не интересуют ваши декларации. Он занят более важными делами.

— Тогда пусть явится его полномочный представитель — взять у нас декларацию недоверия президенту! — настаивала Норма Фриз.

Ответ офицера был категоричен:

— Никто к вам не явится. Никто вашей декларации не возьмет.

— И вы не возьмете?

— И я не возьму. Мое дело держать оружие, а не писульки.

Норма Фриз обернулась к своим делегаткам. В толпе оживленных мужчин вдруг установилось молчание. Мужские шпалеры стали сдвигаться поближе к женщинам. Норма Фриз с обидой воскликнула:

— Вот как относятся к женщинам военные слуги президента. Даже говорить с нами не хотят!

Одна из делегатов, высокая красивая девушка с длинными кудрями, эффектно уложенными на плечи, выдвинулась вперед.

— Мы пройдем силой. Пустите! — крикнула она офицеру.

— Запрещаю! — сказал офицер. — Ни одна не пройдет во дворец. А будете прорываться, применю силу.

Вот в этот момент в молчаливой толпе мужчин пронесся первый, еще глухой гул. Шпалеры сдвинулись тесней. Солдаты во дворе стали продвигаться к воротам. Высокая девушка гневно крикнула:

— Все равно пройдем! Попробуйте применить силу!

Она оттолкнула офицера и шагнула за ворота. За ней метнулось еще несколько женщин. Офицер схватил девушку за руку, другой дернул ее за платье. Она рванулась, платье разорвалось. Первый офицер толкнул ее в грудь. Удар был сильным, она пошатнулась, но устояла. И повернувшись к толпе, ухватив разорванное на груди платье, с рыданием прокричала кому-то:

— Твою невесту бьют, а ты смотришь!

Из толпы, свирепо расталкивая соседей, вырвался рослый парень с огромным букетом в руках. Он метнул букет в офицера, порвавшего платье на его невесте, и сразил кулаком другого. На него навалились набежавшие солдаты, он разметал их и снова бросился на обидчика невесты. Офицер выхватил импульсатор. Сухой треск, усиленный микрофоном, отчетливо разнесся над толпой, парень, уже сраженный, успел выхватить импульсатор и повернуть его на офицера — оба рухнули под ноги солдат. Женский отчаянный визг потонул в яростном вопле мужчин. Толпа всей массой бросилась на солдат.

Женщины, вытесненные на тротуары, с плачем убегали подальше, озверевшие мужчины сорвали ворота. Солдаты опасались в толчее выхватывать импульсаторы, да и приказа не было, а оба офицера, бездыханные, попирались ногами толпы. Разъяренные мужчины брали массой, один за другим солдаты валились наземь либо бежали в глубину сада и прятались во дворце. Какой-то мужчина вскочил на садовую скамью перед операторами стерео — те одни не поддались ни панике, ни ярости — и дико вопил:

— Наших женщин избивают! Мужчины мы или не мужчины? Все прекращайте работу! На улицу!

Из сада с обеих сторон дворца выползли, нутужно ревя, бронированные водоходы. Ни один не стрелял, на это у правительства хватило ума. Они напирали на толпу, вытесняя ее наружу. На них карабкались, плевали в прорези машин, но уже скоро во дворе не осталось ни одного вторгнувшегося мужчины. Опрокинутые ворота подняли и захлопнули. Солдаты снова высыпали из помещений. Неподвижные водоходы сторожили ворота, готовые к новой схватке с толпой. Толпа рассеивалась. Мужчины кучками провожали делегатов, высокая девушка, первая завязавшая сражение во дворце, шла под охраной доброго десятка мужчин, и то рыдала, что ее жениха больше нет в живых и она повинна в его смерти, то громко проклинала солдат президента и его самого. А тело жениха водрузили на открытую ма-

шину, куда забрались еще несколько раненых, и везли с криками по улицам.

Отчаянный призыв мужчины остановить все работы и выйти на улицы защищать женщин услышала вся страна. О делегации к президенту оповещали заранее, о том, что церемония вручения декларации будет показана по стерео, тоже знали. И еще не завершилась схватка во дворце, как загудели заводы столицы, и их призывный рев подхватили все сирены, все уличные гудки, все клаксоны. Не прошло и часа, как вся страна гудела, свистела и клаксонила. А потом каменное молчание опустилось на города и села. Все остановилось — производство на заводах, движение на улицах, занятия в школах, торговля в магазинах.

Великая забастовка сковала Кортезию.

И сразу стало ясно, что простой остановкой работ не ограничится. Страна созрела для великих перемен — и они приближались.

Прищепа докладывал нам, что президент Аментола непрерывно заседает с министрами и генералами — вырабатываются решения. Что они будут важными, а не отвлекающими внимание и не канализирующими общественные страсти на пустяковые перемены, явствует из того, что помощники президента запрашивают о настроениях на заводах, в казармах, в клубах; о каждом сборище на улице, каждом митинге на площадях сообщается правительству. В армии и на флоте объявлена повышенная готовность.

— Не исключая, что президент готов подавить народное возмущение военными средствами, — суммировал свою информацию Прищепа. — Он все же не из тех, кто пугается женских истерик.

— А если в истерику впадут и мужчины? — спросил я.

Прищепа не исключал такой возможности, но считал ее маловероятной. Бастуют в Кортезии все, но политической программы не выдвинули. Господствуют эмоции, а не программы. Женщины негодуют, что правительство не пожелало с ними считаться, и с прежним жаром требуют отставки недавно любимого президента. Но кандидатура Нормы не муссируется. Вряд ли ее поддержат мужчины, если Аментола и уйдет. Забастовщики требуют, чтобы президент извинился перед женщинами, сам взял из их рук петицию о своей отставке, а вот уходить ли досрочно, пока его дело. И это нечто совсем иное, чем тре-

бование немедленного мира, пока такое требование остается только за женским движением.

— Если Аментола наберется ума публично и достаточно искренно попросить прощения у женщин, то волнение рассосется, — докладывал Прищепа и добавил: — Он, правда, пока не показывает смирения, а всеобщая забастовка уже наносит урон самим бастующим — в квартирах не хватает тепла и света, магазины открылись, товары мгновенно расхватываются. Идет борьба нервов: у кого крепче, тот и возьмет верх.

В резиденции Нормы Фриз — одна из богатых ее поклонниц предоставила ей для политики свой особняк — каждый день собираются не только женщины, но и мужчины: бастующие присылают своих представителей, чтобы выработать единую линию. Но главенство остается за женщинами, они по-прежнему заводили смуты, а от мужчин требуют только поддержки, а не инициативы. На время пропавшая в тени Радон Торкин снова бесчинствует на ярком свету, сплачивая вокруг себя все больше женщин. Она требует ни много ни мало, а смерти президента — в том случае, конечно, если он немедленно не уйдет. И кликушествует, как уже не раз заявляла, что готова в любой момент соединить в своей особе функции обвинителя, судьи и палача. Ей нужна только поддержка — смять охрану президента, чтобы прорваться во дворец, а уж там, с глазу на глаз с Аментолой, она не потеряет решимости. И она демонстрирует зрителям крохотный, специально для нее изготовленный импulsатор и на нем надпись: “Последний аргумент против Аментолы”.

— Если еще недавно ее пассажи лишь вызывали усмешки и привлекали любопытных, — сообщал Прищепа, — то сейчас определяются сторонники, готовые на все. И это уже не группа, а отряд боевиков, которых прибывает ежечасно. На последнем митинге она страстно кричала в толпу: “Мужчины, у вас последний шанс реабилитировать себя — перестаньте трусить и идите за мной!” И ее поддерживали одобрительными криками.

— Митинг был на улице, Павел?

— У дома, где Норма Фриз устроила свою резиденцию. Кстати, и с ней перемены. Чувствуется, что она обижена пренебрежением президента. Когда она возглавляла Администрацию Помощи пленным, он отзывался о ней как о великой кортезианке, принял во дворце, обнял и пожал руку.

— Тогда она не требовала его отставки. Он тоже чувствует себя обиженным.

В настроении кортезов перемены совершались по-иному, чем мы ждали. Негодование против недостойного поведения президента с женщинами оттеснило политическую суть события. Женщины, забывая, что они требовали мира, теперь настаивали, чтобы президент извинился перед ними, — и как-то получилось, что извинение его стало всем важнее и его отставки, и отказа от продолжения войны. Забастовка не прекращалась, но о том, что война идет и подготавливаются новые грандиозные сражения, как-то перестали говорить. Личность президента заслонила собой все поля сражений.

Я посоветовался с Вудвортом.

— Все идет закономерно, — сказал он. — Вы снова не поняли психологию моих бывших соотечественников. Кортезы — индивидуалисты. Для вас великие события истории значительны сами по себе, вы абстрагируетесь от личностей. А кортезы персонифицируют историю в фигурах ее деятелей. Наберитесь терпения, Семипалов.

Мне показалось интересным, что в дни всеобщей забастовки вдруг прекратились все террористические акты. Было впечатление, что добровольные слуги Гонсалеса забыли о своем выгодном ремесле и дружно присоединились к общему отказу от работы, заменив импульсаторы и мины на уличный рев против недостойного обращения Аментолы с женщинами. Логика такого явления не укладывалась в моем сознании.

Кипение страстей в многочисленных комнатах резиденции Нормы Фриз все накалялось, толпы у ее дома становились все гуще, мужчин появлялось там все больше — подходил час разрядки всеобщего напряжения. Норма Фриз объявила второй поход к президенту. На этот раз не для вручения петиции об отставке Аментолы, а для реального удаления его из дворца.

Стерео Кортезии передало ее новое обращение — уже не к одним женщинам, а ко всему народу:

— Мы не знаем, на что решится теряющий спокойствие и разум президент! Я не исключаю, что нас встретят молнии импульсаторов, что нас пойдут давить военные водоходы. В прошлый раз Аментола побоялся встретиться с нами. Сейчас он может набраться храбрости расправиться с нами. Нас это не остановит. Если иного выхода не будет, мы пойдем на приступ

президентского дворца. Зову всех жителей страны поддержать нас и разделить нашу участь.

Вот такую решительную команду отдала Норма Фриз своим сторонникам. И уже за день до нового похода в столицу стали прибывать жители других городов. Радон Торкин, отстраненная от прежней делегации, вышла на авансцену. Она создала свой особый отряд и поставила его во главе общей процессии. И один взгляд на ее спутников — не только женщин, но и мужчин — показывал, что разговорами дело не ограничится. Передовая группа Радон Торкин была военным отрядом, все носили какое-либо оружие, многие были даже с армейскими пистолетами-вибраторами старых моделей, в армии уже списанных, но еще вполне пригодных разлучить душу с телом, если попасть в тело. Ручной вибратор — штука громоздкая, картина была довольно забавная: молодые женщины, сгибающиеся под тяжестью боевых аппаратов, — только сомневаюсь, что даже у тех, кто созерцал эту картину по стерео, возникло веселье, слишком уж неигрушечными были эти игрушки. Зато в мужской толпе, заполнившей все подступы к правительственному дворцу, вибраторов я не увидел — наверное, опасались, что полиция отберет их еще на подходе ко дворцу, но что половина мужчин вооружена карманным оружием, сомнения не было: толпа готовилась дать отпор войскам, если они нападут на женщин, в нестройной схватке карманные импульсаторы еще эффективней вибраторов.

Радон Торкин, артистка не только по недавней профессии, но и по призванию, постаралась превратить второй поход во дворец в красочное театральное действие. Она шла впереди колонны, вышедшей из дома Нормы Фриз, размахивала импульсатором над головой и выкрикивала не то призывы, не то проклятия — в общем гуле слова пропадали. Вероятно, она догадывалась, что улица не театральный зал и крики ее разберут только близкие соседи, и потому дополняла слова еще и командными жестами — все ее спутники в передовом отряде дружно кричали, когда кричала она, отвечали ей воплями ненависти к президенту. И она, конечно, позаботилась о своей внешности — длинные ее волосы были старательно растрепаны, грим на впалых щеках рисовал мертвенную бледность, наведенные черным глаза свирепо горели. Если раньше она только походила на ведьму, то сейчас была подлинной ведьмой,

предводительницей бесовского воинства, достойной подругой Верховного Сатаны на хорошо организованном шабаше.

Отряд ее двигался неистовой орущей толпой, а за ним, держа отчетливую дистанцию, шествовала Норма Фриз в окружении своих сторонников. Здесь не раздавалось диких криков, не взметывались на головами руки, никто не размахивал оружием — Норма помнила, что ее собираются выдвигать в президенты, надо сохранять чинность, чтобы не умножать противников при голосовании. Вокруг Нормы Фриз теснились мужчины, я всматривался в них, стараясь заранее постигнуть, на что они способны. Они способны на все, показывали их нахмуренные, злые лица и то, что многие не вынимали рук из карманов — сжимали приготовленные к бою импульсаторы. Они шли не защищать свою руководительницу от охраны дворца, они готовились требовать, а не упрашивать. И я, разглядывая их угрюмые лица, предчувствовал, что близится тот решающий взрыв событий, какой предвещал Джон Вудворт.

А к двум колоннам, шедшим от дома Нормы Фриз, присоединилась уличная толпа. К отряду Радон Торкин пристало немного, на него больше любовались, чем стремились влиться в его орущие ряды, но окружение Нормы Фриз удваивалось с каждым кварталом. Ко дворцу подошли уже не сотня, а тысячи человек — воинское соединение, готовое к схватке, так показало нам стерео Кортезии. И колонну, приблизившуюся к воротам, тут же умножила вся собравшаяся в окрестностях толпа. Я видел, как многие вынимали из карманов импульсаторы, в последний раз проверяя, правильна ли настройка на разряд, и снова — до поры — прятали. Не знаю, сознавали ли две руководительницы, на что ведут толпу, но толпа готовилась к драке за них.

Охрана дворца настроилась на отпор. К вооруженной страже, оснащенной лишь личным оружием, добавились войска. Два ряда водоходов выстроились на центральной аллее, нацелив стволы своих вибраторов на дорогу. Из люков машин выставились их командиры — выжидали приказа из дворца, чтобы нырнуть вглубь и начать боевой обстрел. У меня стеснилось сердце. Две женщины вели толпу, распаленную негодованием и жаждой мщения. Их были тысячи, орущих и кипящих от молчаливой ярости мужчин. А им противостояло два десятка машин с исполнительными операторами и хладнокровными командирами, послушными только приказу. Силы были слишком неравны,

я лучше всякого другого мог это понять. И осатанело распатланная старуха Радон Торкин и иступленно-спокойная Норма Фриз даже и отдаленно не представляли себе реальной раскладки сил. Одно, только одно еще оставляло надежду на благоприятный исход. Амина Аментолу до сих пор никто не мог упрекнуть в глупости, да и в ненужной жестокости его не укоряли. Вся эта масса прихлынувших ко дворцу людей была обречена на быстрое и беспощадное уничтожение, но что будет потом? Восстание всего народа, гражданская война? Аментола не мог допустить такого чудовищного завершения своей политической карьеры! Но зачем тогда он вызывал во дворец боевые машины? Толпа могла не ведать, но я-то знал — это была последняя модель, самое грозное из передвижных средств уничтожения, мы уже встречались с такими машинами на поле боя — и встреча у самых оснащенных наших войск порождала на линии их движения завалы трупов.

Последний отряд подошел к воротам. Радон Торкин выдвинулась вперед и замахала своим ручным импульсатором, как сигнальным флажком. Многотысячная толпа замерла в грозном молчании. Тишина была настолько полной, что повелительный крик Радон услышали и в отдалении:

— Отворяйте ворота! Стража, вы слышите меня? Мы идем к президенту. Немедленно отворяйте.

И словно услышав ее приказ, ворота стали отворяться. Ни одного человека не виделось за ними в глубине сада, ни один охранник не подошел к воротам, они раскрывались сами. Дворец не противился толпе, ей разрешали войти. Какое-то мгновение Радон Торкин не верила в такой поворот событий и не решалась на первый шаг, но тут же, справившись с неожиданностью, двинулась внутрь. Она шла неторопливо, словно возглавляла какое-то торжественное шествие, и еще выше вздымала над головой свой почти невидимый в костлявой руке — не длиннее одного из ее длинных пальцев — карманный импульсатор.

И подчиняясь заданному ею шагу, двигался за ней правильными шеренгами переставший кричать боевой отряд. А за отрядом Радон Торкин так же торжественно шествовала группа Нормы Фриз с охраной из мужчин. И ни один из ее отряда не возвышал голоса, не выкрикивал призывов и угроз — молчание вдруг стало обязательно для каждого, кто переступал ворота президентского парка.

И толпа, валившая вслед двум отрядам, так же согласно подчинялась никем не отданному, но всеми понятому приказу не бесчинствовать, не нарушать недостойным шумом готовящегося важного события.

А я с волнением глядел на бесконечную колонну — несколько тысяч человек явились на встречу с президентом — и думал о том, что в момент, когда вся площадь перед дворцом и вся длинная аллея будут заполнены, внезапно нырнут в глубину машин их командиры, захлопнутся люки водохранилищ и повернувшись на людей орудия озарятся вибрационными залпами! И осужденной на гибель толпе не придется сражаться, ни одного живого человека не видно вокруг дворца, только могучие железные машины на аллее. Заполнявшие дворцовую площадь люди готовились к сражению, но сражения не будет, будет жестокое истребление всех пришедших сражаться.

Радон Торкин подошла к парадному входу во дворец и остановилась. Остановилась и ведомая ею толпа, второй отряд во главе с Нормой Фриз пристроился к первому, сама Фриз встала рядом с Торкин. Замерли и плотно сдвинутые ряды всех идущих за двумя женщинами. Радон Торкин взмахнула своим импульсатором и прокричала:

— Президента на расправу! Амин Аментола, выходи!

Я не отрывал глаз от водохранилищ. Если командиры машин нырнут вниз и задрают люки, ничто не спасет толпу от казни. И самый раз, прикидывал я, начинать боевые действия. Я чуть не кричал от боли и бессилия — я ничем не мог помочь безрассудным женщинам и увлеченным ими мужчинам. Они стояли вплотную перед жерлами своей смерти, а я был слишком далеко!

Ни один командир машин не спускался вниз. Они по-прежнему недвижимо высились над люками, молча следили за толпой и ожидали команд из дворца. Радон Торкин снова взмахнула своим крохотным импульсатором и прокричала:

— Аментола, сколько мне ждать? Выходи, я убью тебя!

Створчатые двери дворца медленно раскрылись, из дверей вышел Аментола. Он шел один — неторопливо приблизился к Радон Торкин, встал перед ней на первой ступеньке дворцовой лестницы. Он молча смотрел на нее, его грудь, открытая для удара, была на уровне ее головы — лучшей мишени и вообразить нельзя было!

Нет, он был все же очень импозантен, Амин Аментола, последний президент Кортезии. Я много раз видел его на экране, но не любовался его обликом, не восхищался его мужественной красотой — он был моим врагом, врагами не восхищаются, их ненавидят. Но сейчас, когда он встал перед своей убийцей, воспроизведенный десятками тысяч стереозэкранов, я невольно залюбовался. Высокий, широкоплечий, пропорциональный, с очень умным и тонким лицом, с ухоженной, кофейного цвета, гривой, он молча возвышался над распатланной, костлявой, неистовой женщиной и спокойно ждал, что же она осмелится совершить.

А она с дико перекошенным уродливым лицом какое-то мгновение только ошеломленно глядела на него, потом подняла руку с импульсатором и снова ее опустила. Три раза она поднимала на него руку и три раза опускала ее, а он стоял и ждал, на его лице медленно возникала немного грустная, понимающая улыбка. В толпе каменело безмолвие.

— Бросайте оружие, Радон! — негромко сказал президент.

Радон Торкин бросила импульсатор на землю и разрыдалась. Президент поднял руку. Таким жестом показывают, что хотят говорить, и вызывают к молчанию. Молчание уже было, его нарушал только бессильный плач маленькой, похожей на ведьму, старухи, закрывавшей лицо обеими руками.

Президент сказал, разрывая негромким голосом горячую тишину:

— Друзья мои, спасибо, что вы пришли сюда. Хочу порадовать вас важной новостью. Только что закончилось последнее заседание правительства. Больше недели мы взвешивали все возможности международной обстановки. Наши решение единогласно. Мы отказываемся от дальнейшей войны с Латанией и ее союзниками. Только что я послал об этом депешу диктатору Гамову.

То, что произошло вслед за последними словами президента, я увидел только впоследствии и неоднократно потом наслаждался удивительным зрелищем всеобщего восторга. Амин Аментола долгое время был самым популярным президентом Кортезии, но неудачной войной и невежливостью с женской делегацией подорвал свой престиж. И сегодня, в одно мгновение, всего несколькими словами вернул себе и популярность, и любовь.

А я в то мгновение, забросив стерео, включил связь с Гамовым. То же сделал и он. Мы глядели один на другого, и смеялись, и плакали, и бессвязно орали друг другу:

— Гамов, победа! — кричал я. — Победа! Наконец-то победа, Гамов!

— Семипалов, мир! — орал он. — Дорогой мой Семипалов, мир!

Часть шестая
ОЧИЩЕНИЕ



1

Воистину это был сияющий зенит его политической славы!
Должен сделать важное пояснение.

Весь мир считал, что я замещаю Гамова во всех его делах, то есть что мне досконально известно о всех его замыслах. Но у него были тайны и от меня, только сам я не подозревал, что утаивается нечто важное. И когда Гамов захотел собрать всемирный съезд для учреждения мирового правительства, я согласился, что наконец-то завоевана возможность всепланетного государственного единства. Меньше всего я мог предполагать, что и такое истинно историческое совещание Гамов тоже превратит в театральный спектакль — к тому же самый блистательный из всех, поставленных им на мировой сцене. Только два человека понимали его замысел — Гонсалес и Пустовойт. И не только понимали, но и усердно — каждый в своей отрасли — способствовали его постановке и блеску. Поэтому буду описывать увиденное не как активный участник события — так до сих пор я строил свое повествование — а как зритель, в достаточной мере посторонний, чтобы искренне поражаться тому, что совершалось.

А реально все происходило так.

В Адан съезжались приглашенные издалека. Список гостей составлял не я, а Вудворт, ему помогал Гонсалес — кажется, единственный случай, когда эти два человека сочинили что-то дружески согласованное. Правда, Гонсалес — и тоже впервые в своей мрачной карьере — не ставил себе цели кого-то схватить и свирепо наказать. Просто он лучше любого знал, какова ответственность и истинная роль в войне каждого, кого пригласили, — и Вудворт не мог не оценить такой помощи. Что же до Павла Прищепы, то наш блистательный разведчик скромно объяснил мне потом, что считает себя открывателем тайн, а тайны все же составляют лишь часть мировых событий, которые относятся к специальности Вудворта и Гонсалеса. Приглашения, естественно, подписывал не Гонсалес, вряд ли его имя могло вы-

звать охоту приехать в Адан — они шли от Гамова и Вудворта, так мы постановили на Ядре.

Я говорю все это потому, что для меня стало неожиданностью появление многих людей, а еще больше то, как они держались в Адане. Конечно, я не удивился, что тощий король Кнурка Девятый всюду выступает в сопровождении своего министра, посла и разведчика — уж не знаю, какая из профессий была важнейшей, — толстощекого Ширбая Шара, а тот каждую свободную минутку — об этом доносил Прищепа — использует для встречи с красавицей Анной Курсай. И еще меньше удивило меня, что подслеповатый и надменный властитель Великого Лепиня Лон Чудин ни разу не показывался на людях вместе со своим братом Киром Кируном: тайные враги, они открыто расплевались после того, как брат-президент впал в панику, когда эшелоны помощи пошли в Корину и Клур — властительный чурбан предвидел, что наступает конец войны и Великий Лепинь вскоре окажется без пособий Кортезии; а свирепый брат-главнокомандующий доказывал, что самый раз нанести нам удар, ибо щедрые подачки врагам обессилили нашу армию. Но Гамов с Вудвортом пригласили обоих — и ни один не осмелился отказаться. Естественным я счел и то, что королева Корины Агнесса всюду ходит вместе с президентом Нордага Францем Путраментом и его диким зверьком — дочкой Луизой, тут все же была душевная близость; и даже то, что блистательная Людмила Милошевская не расстается с двумя взаимными врагами, Вилькомиром Торбой и Понсием Марквардом: она заставляет обоих мужчин (каждый почти на голову ниже ее) держать себя под руку, — и оба, отворачивая один от другого лицо, одновременно преданно прижимаются к ней. И то не удивило меня, что два других непримиримых врага, скелетообразный Пимен Георгиу и гориллоподобный Константин Фагуста, еще больше, чем оба патина, отворачиваясь друг от друга, бдительно держатся вместе — не проронить бы ни слова из того, что может каждый сказать в любую минуту.

Но что импозантный Амин Аментола тоже будет расхаживать не один, а в троице, выбрав в сопровождающие величественную Норму Фриз и ведьмообразную Радон Торкин, больше чем просто удивляло меня. Я ожидал, что два старых противника, президент и сенатор Леонард Бернулли, радостно пожмут друг другу руки и дружески поговорят, ведь с Бернулли сняли все обвинения в предательстве. Но они не захотели встречаться,

все обвинения в предательстве. Но они не захотели встречаться, да и обе женщины, не отходившие от президента, и не предоставили бы ему времени для общения с сенатором. А ведь одна недавно провозглашала, что ее жизненной целью является согнать Аментолу с его правительственного кресла, а другая — тоже публично, к тому же размахивая миниатюрным импульсатором, свирепо клялась, что разрядит это оружие в президента при первой же их встрече. А сейчас они расхаживали втроем, Аментола что-то говорил, улыбаясь, Норма Фриз подтверждала его слова кивками головы, а Радон Торкин махала костлявыми руками — тоже, очевидно, в знак согласия.

Впрочем, если бы я подробно описывал все, что показалось мне невероятным в поведении гостей, пришлось бы заполнить много страниц. И все это предстало бы ничтожным в сравнении с тем, что совершилось на самой конференции.

День был как все другие дни в эту пору года — по небу тащились ватные облака, с утра просеивался дождь, к обеду дождь превратился в снег и похолодало. И облака, и дождь, и снег, тем более внезапное похолодание, были вольным творением самой природы — ни один метеогенератор не задействовали, так Штупе велел сам Гамов.

За час до открытия конференции все улицы, ведущие ко дворцу, заполнили любопытствующие, почти половина города захотела посмотреть, как поедут из гостиниц водоходы с участниками и гостями. К назначенному часу зал больших заседаний — тот, где с Гамовым недавно случился сердечный припадок — был уже заполнен. Он показался мне незнакомым: одиноко стоял на возвышении маленький стол для столь же маленького президиума, а все кресла, раньше заполнявшие помещение от стены до стены, были вынесены. Зато, это я тоже отметил, собравшиеся свободно общались друг с другом, кто теснился к стенам, кто прохаживался, звучало многоголосье — зал смутно гудел, как большая машина.

— Пора, друзья, — сказал Гамов мне и Вудворту. Все Ядро находилось в комнатке рядом с залом, но выйти к собравшимся должны были только мы трое, так решили заранее, остальные же удалились в зал. Гамов был очень бледен, глаза его лихорадочно блестели. Он волновался, это не одному мне бросилось в глаза. Я встревожился — мне показалось, что он способен на новый публичный припадок.

Мы трое разместились на возвышении за столом — Гамов в центре, я по правую его руку, Вудворт по левую. Я увидел в зале дружно соприкасавшихся плечами Пустовойта и Гонсалеса. И этому тоже удивился — соседство было все же противоестественное. Что до остальных наших руководителей, то они затерялись в общей массе, и никто не собирался выделяться.

Я забыл упомянуть еще одно — и достаточно важное обстоятельство. Перед возвышением выстроилась охрана и оттеснила публику подальше от стола. Образовалась странная ситуация — трое за крохотным столиком на возвышении, перед ними пустое пространство с добрую треть зала, а на двух остальных третях сгустилось человек триста. Мне почудилось, что Гамов страшится нападения и не хочет, чтобы бывшие враги приблизились к столику. Помню, как это меня возмутило. Чего-чего, а нападения ожидать было глупо, такая акция не к моменту. Снова повторяю — я даже не догадывался о замыслах Гамова.

— Начнем! — Гамов торжественно встал. — Наша тема сегодня — послевоенное устройство мира.

И хоть было по меньшей мере странно призывать к серьезному обсуждению серьезнейшей проблемы людей, стоящих на ногах и в сутолоке толкающих друг друга, никто, и я в том числе, не удивился призыву Гамова. Все мы ожидали новой большой речи диктатора, речи можно выслушивать и стоя.

Но вдруг впавшая в истерику Радон Торкин не дала Гамову начать речь. Старая дама стояла впереди с Амином Аментолой и, услышав слова Гамова, кинулась к нему. Двое охранников задержали ее, она забилась в их дюжих руках и подняла свой громкий голос до вопля:

— Где моя дочь? Диктатор, что вы сделали с моей дочерью?

Глубоко уверен, что Гамов не планировал заранее внезапного неистовства бывшей певицы, но мгновенно сообразил, что отчаяние и ярость Торкин могут принести только пользу его планам. Он мигом преобразился. В нем сразу пропало все болезненное, на бледные щеки вернулась краска, он даже как-то вдруг ощутимо вырос. Он сделал резкий жест, даже неистовая Торкин поняла, что он будет отвечать ей, и так оборвала свой крик, словно захлебнулась собственным воплем.

— Радон Торкин, — громко произнес Гамов, — разве вы не читали извещения о казни вашей дочери?

Старая дама снова впала в неистовство:

Старая дама снова впала в неистовство:

— Дайте то, что осталось от моей дочери! Будьте вы все прокляты, будьте вы все прокляты!

Она снова пыталась прорваться сквозь охрану, и снова ее отбросили назад. Гамов опять поднял руку, призывая к спокойствию. Радон Торкин больше не пыталась пробиться к столику, только глухо, какими-то собачьими всхлипами, рыдала. Гамов приказал:

— Комендант! Выдайте матери то, что осталось от ее дочери!

Весь зал вдруг вздохнул единым вздохом. Боковые двери наискосок от нашего столика распахнулись, в проеме у створок встала стража. Сам я до того взволновался, что словно бы со стороны услышал тяжкий стук моего сердца. Радон Торкин, обессилив, повисла на руках охранников, только глаза, полубезумные, налитые кровью, старались высмотреть, что совершалось там, у двери. А за дверью кто-то бежал, стуча каблуками по паркету, в зал ворвалась молодая женщина, охрана расступилась перед ней. Женщина взмахнула руками и бросилась к Радон Торкин, непрерывно, ликуя крича:

— Мама, это я! Мама, я жива! Мама, мама, я живая!

И на радостный крик дочери Радон Торкин зал ответил ликующим, в триста глоток, воплем и толкотнею. И сам я тоже что-то кричал, и вскочил со стула, и махал руками, так это было все неожиданно, так невероятно для меня. А охрана оттесняла назад нахлынувшую толпу, только двум разрешила быть в пустом пространстве возле нашего столика — кричащей дочери и Радон Торкин, рыдающей на ее груди.

Я повернулся к Гамову, хотел и поздравить его, и упрекнуть, что он таил от меня такое радостное событие, как вызволение дочери Торкин из жестоких лап Гонсалеса. Но он, не оборачиваясь ко мне, поднял руку, призывая зал к молчанию, — торжественное действо еще не завершилось.

Не сразу увидели его поднятую руку и не сразу поняли, что готовится новая неожиданность. А когда установилась тишина, ее снова прервал шум в коридоре. На этот раз не цокот дамских каблучков, а тяжкий грохот мужских сапог донесся из дверей — в коридоре шагал строй мужчин, шагал неторопливо и стройно, шагал военным церемониальным шагом, мощно печатая шаг по звонкому паркету. Я вскочил, снова сел, на мгновение прикрыл глаза — не сумел поверить в правду того, что глаза показали.

В зал входили нордаги, те взятые в плен офицеры, о которых я твердо знал, что они были приговорены к расстрелу Аркадием Гонсалесом и что слабые увещевания министра Милосердия Пустовойта не смягчили свирепость приговора. И впереди в парадном обмундировании вышагивали два генерал-лейтенанта — командующий армией Сума Париона и начальник его штаба Кинза Вардант. И на оживших мертвецов они не походили, тогда, в Забоне, в конюшне, превращенной в тюрьму, и в стеклянной клетке, ставшей для них камерой, я видел их в значительно худшем состоянии.

Они остановились, подняли руки и дружно выкрикнули приветствие.

Я перевел глаза с генералов Нордага на стоявших рядом Гонсалеса и Пустовойта. И то, что я увидал, тоже отнес к неожиданностям. Они уже не просто стояли рядом, два старых противника, министр Террора и министр Милосердия, а обнимались, как друзья. И, обнявшись, смотрели на меня, на меня одного — ловили и наконец поймали мой взгляд. Гонсалес захохотал и состроил мне гримасу, Пустовойт погрозил кулаком. И я понял: Гонсалес упрекает меня в том, что я видел в нем лишь злостное зло, а Пустовойт напоминает, как я жестоко отчитал его, когда он проговорился, что обеспечит пленным хорошие условия. “Хорошие условия после расстрела? — с ненавистью сказал я тогда своему другу Николаю Пустовойту. — А есть ли у тебя хоть понятие о милосердии, министр Милосердия?” Хорошо бы теперь нам посчитаться, да нельзя, время для торжества, а не для свары, сказал мне шутливо поднятый кулак. И я чуть не заплакал, так хорош был его запоздалый упрек за неверие в милосердие.

Франц Путрамент, бросив королеву Агнессу и дочь, кинулся к своим нежданно воскресшим генералам и жал им руки, и что-то радостно твердил, а они стали вытирать глаза — так расстрогались. Что до меня, то я на их месте не тратил бы голоса на хорошие слова, а горько бы упрекнул президента за то, что в трудную минуту он предал их, отказавшись выручить из плена. Впрочем, рассуждал я тогда же, сейчас не до укоров, да, вероятно, и сами генералы не видят ничего зазорного в том, что их бросили на произвол судьбы: махнуть рукой на попавших в плен — это вполне согласуется с благородным кодексом воинской чести, в этом смысле Путрамент не отступал от правил.

А в зал, уже без особых приказаний Гамова, входили, вбегали, вливались шумными волнами все новые люди, неожиданные люди — из тех, об аресте и плене которых объявлялось офици-

ально, о которых знали, что они испытали муки свирепых допросов и в завершение получили самую распространенную кару — пулю в затылок в тайных застенках, либо, для особо отмеченных, виселицу на городской площади. Я вспомнил о своей мнимой казни на такой же площади и поразился, до чего же я был наивен. Мне ведь думалось, что только для меня одного придумывалась техника видимого умерщвления без реальной смерти, а это была хорошо разработанная практика. И в доказательство того в зале появлялись люди, приговоренные к смерти до меня, те самые, за гибель которых я ненавидел черного палача Гонсалеса. Был момент, когда мне показалось, что все вообще смерти на войне и кары Черного суда не больше чем огромный обман — так неожиданно, так невероятно, так чудовищно немыслимо все новые бывшие мертвецы с ликованием вторгались в зал. Но я одернул себя. Я велел себе вспомнить тысячи трупов, тысячи разорванных тел, усыпавших поля войны. Только часть людей проходила через застенки Гонсалеса, только часть этой малой части удостоилась тайного спасения — вот они и возникают в зале, словно воскресшие из небытия, можно поражаться, но безмерно радоваться нечему. Но я продолжал безмерно радоваться. Я вскрикивал при появлении каждого давно засчитанного в погибшие, до того радостно было само чудо воскрешения, даже если оно совершалось хоть для одного человека, — а в зал вторгались сотни внезапно воскресших.

Уже не осталось свободного пространства перед нашим столиком, нас стали толкать. Гамов не сумел сразу подняться, у него вдруг ослабели ноги. Мы с Вудвортом взяли его под руки и отвели к стене, там было спокойней. Гамов вдруг заплакал. Он пытался достать платок из кармана, но не достал и стал вытирать щеки рукой. Две стереокамеры вмиг нацелились на него, я погрозил кулаком одной, потом другой, обе отвернули свои раструбы, но какие-то другие стереокамеры продолжали фиксировать нас троих: уже на другой день стерео разнесло по всей планете не только торжество в зале, но и неожиданную слабость Гамова.

— Вам надо уйти, — сказал я. — Вы еще не оправились от болезни.

— Да, я пойду, — сказал он покорно. — Помогите мне.

Мы довели его до выхода из зала, там подскочили Сербин и Варелла. Мы передали Гамова солдатам и воротились в зал. Вудворту хотелось пообщаться с Амином Аментолой — все же

старые, со студенчества, знакомые. Я спросил, хочет ли он встретиться с Леонардом Бернулли, ведь не просто знакомые, а бывшие друзья. Вудворт встречи с Бернулли не искал — непредсказуемо едкий язык у его старого друга, — но если Бернулли сам отыщет его, то от разговора Вудворт не откажется. А мне надо было потолкаться в толпе, поздравить воскресших из небытия с вызволением.

— Какие неожиданности! — сказал я. — Всего мог ожидать, но не милосердия у Гонсалеса и хитрости у простака Пустовойта. И как умело скрывали свои секреты!

— Неожиданности еще будут, Семипалов. Душой ощущаю, что придется еще поражаться.

— О каких новых неожиданностях вы говорите, Джон?

— Не знаю. Но чую, что мы вступили в эру непредсказуемых событий.

2

Утром Гамов созвал Ядро.

Он явился в овальный зал преображенным. Последние остатки болезни, сказавшейся во время “Марша заведомо погибших” — именно так обозвал эту акцию Константин Фагуста, — исчезли, словно их и не бывало. И особого ликования по поводу “воскрешения мертвецов” он не показывал. Он выглядел энергичным, живым, быстрым в решениях. Можно было не опасаться, что новая волна болезни опять повалит его в постель. Уверенностью в его здоровье и был продиктован упрек, которым я открыл Ядро.

— Хочу задать личный вопрос, Гамов. Впрочем, он касается не одного меня, а всех нас. Мы радуемся, что много людей, которых считали погибшими, остались в живых. Но почему это надо было скрывать от нас? Камуфляж, придуманный Гонсалесом и Пустовойтом, был нужен для остального мира — страх кары действовал на врагов сдерживающе. Но мы? Руководители, связанные единой целью?

Гамов заранее предвидел мой вопрос.

— Во-первых, не двое, а трое членов Ядра знали секрет, — спокойно возразил он. — Я придумал эту маскировку, а министры Террора и Милосердия согласились со мной.

— Хорошо, пусть трое. Но нас остается еще семь. Почему такая дискриминация семерых?

— Хорошо, пусть трое. Но нас остается еще семь. Почему такая дискриминация семерых?

— Дискриминация семерых была вызвана тем, что требовалось сохранить тайну от одного. Этот один — вы, Семипалов.

— Вот как? Я всех ненадежней? Такое обидное решение...

Гамов прервал меня:

— Не обидное, а почетное. Мы трое согласно поставили вас в одном отношении выше себя.

Я вглядывался в Гамова. Он сохранял полное спокойствие. Я сказал:

— В одном отношении выше вас? В каком, разрешите узнать? Видимо, вы лучше знаете меня, чем я сам себя знаю.

Он подтвердил мои слова кивком.

— Именно так. Каждый из членов Ядра мог быть посвящен в тайну. И она не сказалась бы на его поведении. Только не вы. Вы неспособны лицемерить даже во имя государственной необходимости.

— А не припомните ли, Гамов, как я вел себя в игре с Жаном Войтюком? Если то было не государственное лицемерие...

Он ожидал и напоминания о Войтюке.

— Тогда вспомните, как, убеждая Войтюка, чуть не убедили самого себя! Чуть сами не поверили в то, что излагали шпиону, Семипалов! Вы рождены для прямых и открытых ударов, а не для лавирования. И если приходится хитрить, вы готовы от раскаяния опровергнуть собственные свои ходы. Такова ваша натура, Семипалов, с этим приходится считаться.

Я сказал угрюмо:

— Итак, я ненормален. И вам приходилось ориентироваться на мою ненормальность.

Он улыбался.

— Вы слишком нормальны, Семипалов. Мы ориентировались на то, что любой ваш ход в запутанной ситуации будет самым естественным. А мы втроем, — он кивнул на Гонсалеса и Пустовойта, — запутывали политическую ситуацию и придумывали самые неестественные ходы. — Он помолчал, не сводя с меня глаз, и добавил, как бы забивая по шляпку гвоздь: — Однажды я подтолкнул вас на политическую хитрость, вы признались, будто предаете нас. Но сколько стоило труда, чтобы подсказанное решение показалось вам собственной мыслью! И сколько мук это принесло вашей жене? Вы ей не открыли, что казни не будет. Вы не поверили в ее способность сохранить тай-

ну, а ведь ей так бесконечно важно было знать, что вас вовсе не поведут на реальную виселицу. Вы не пожелали рисковать тем, что кто-нибудь удивится, что жена предателя вовсе не так уж горюет о смерти любимого мужа и не так уж возмущается, что этот любимый муж изменник своей страны. Вы не хотели даже малейшего риска. Как же могли идти на риск мы, зная ваш характер?

— В чем же мой характер мог сказаться?

— Да хотя бы в том, что вы ненавидели Гонсалеса, и это было известно не только разведчикам врага, но и любому опытному политику. Эта ненависть была великой фигурой в политической игре. А смогли бы вы искренно ненавидеть, если бы узнали о реальных делах в застенках Черного суда?

Дальше спорить не имело смысла. Я буркнул:

— Все ясно. Вопрос к Гонсалесу. Много людей было обманно приговорено к казням? Только ли припасенные для эффектного показа конференции?

Гонсалес улыбнулся широкой улыбкой — и впервые я воспринял ее без внутреннего омерзения. Но я не дал себе обмануться этой улыбкой. Парад воскресших из небытия мог быть незначительным оправдательным покрывалом, наброшенным на арену страшных дел.

Но Гонсалес ответил:

— Нет, конечно. Появление в зале сотни мнимо приговоренных к казни — лишь часть всеобщего освобождения таких же людей в других местах. И их гораздо больше, чем тех, что были в зале.

Тогда я задал второй вопрос. Очень многое зависело от правдивого ответа на него. Каждый невольно стремится облагородить самые скверные свои действия. Стремление оправдаться Гонсалесу тоже не чуждо. Так я думал о нем в ту минуту. Только Гамов знал его досконально и не удивился ни моему вопросу, ни его ответу.

— Не следует ли так понимать, Гонсалес, что вообще все ваши действия были лишь политическим камуфляжем и вы не повинны в потоках пролитой крови?

Он все же с секунду помедлил, прежде чем дал прямой ответ на прямой вопрос:

— И на это скажу — нет. И министерство Террора, и Черный суд вполне отвечали своим грозным названиям. Несколько сотен, казнь которых предотвратили, не снимают моей ответственности за реально казненных. Может, лишь немного облегчают мою вину — не больше!

Тогда я задал последний вопрос:

— Насколько облегчают, Гонсалес? Не допускаете ли вы, что одна безвинно снесенная голова на весах справедливости перевесит сотни голов, оставшихся на своей шее?

Гонсалеса не покидало спокойствие, только голос его стал жестче:

— И это допускаю. Вы сказали — невинно снесенная голова. Но где мера вины и невиновности? Какому суду поручить решение этой философской проблемы?

Я зло бросил:

— Во всяком случае, не вашему. Черный суд, сколько помню, философскими проблемами не занимался.

До сих пор не понимаю: сам ли Гонсалес реально изменился или так переменилось мое отношение к нему, только я уже по-иному воспринимал выражение его лица. Он улыбался — хорошей, человечески печальной улыбкой, она вызывала сочувствие, а не отвращение.

— Вы правы, Семипалов. Большой ошибкой моего суда было то, что насущные реальности бытия отвращали от великих вопросов сущности этого бытия. В новом мире все будет по-иному.

— Надеюсь на это. Создаем новый мир мы сами. Начинаем эту работу. Вудворт, вы просили у меня слова.

Вудворт сообщил, что среди гостей конференции и философ Орест Бибер, приехавший вместе со своим другом писателем Арнольдом Фальком в Адан для дискуссии с Гамовым о проблемах войны и мира. И Бибер, и Фальк попали в плен во время крушения армии Марта Троншке. В плену Фальк днем трудился на заводе энерговодоудаления, а вечерами громогласно проклинал среди лагерных друзей все войны вообще и эту, приведшую его к плену, в особенности. В общем, из певца сражений стал яростным их хулителем. Зато Бибер не переменился. Он написал трактат о послевоенном общепланетном устройстве. Вчера он протолкался к Вудворту и поделился мыслями. Идеи Бибера показались Вудворту приемлемыми.

— Я хотел бы, чтобы Ядро заслушало Бибера. Он ожидает в соседнем помещении.

— Пусть входит, — сказал я. — Но ставлю условие — чтобы он не читал нам всего трактата, а кратко изложил одни основные идеи.

Появление Ореста Бибера на Ядре показало, что плен не изменил его.

— Садитесь, — предложил я. — И прежде всего два вопроса — как поживает ваш воинственный приятель Фальк? Он тоже здесь?

— Он умчался домой сразу после освобождения, — ответил Бибер. — Он засел за великий роман, после которого ни одному человеку и мысли такой не придет — ввязываться в сражения. Люди должны забыть не только о механизмах уничтожения, но даже о том, что пять пальцев руки можно сжать в кулак. Он объявил этот роман грандиознейшим своим созданием, хотя пока не написал ни строчки.

— Второй вопрос. У вас несогласия с Арманом Плиссом. Генерал даже публично намекнул, что рад вашему пленению, не надо, мол, отвлекаться на пустые дискуссии. Плисс на конференции. Как прошла ваша встреча?

— Генерал кинулся ко мне с объятиями. Он признался, что никогда не понимал меня, но теперь, выйдя на пенсию, ведь всех военных оставят без работы, а он ничего не может, кроме войны... Так вот, он будет изучать мои книги, по десять страниц каждый день. А когда узнал, что у меня готов проект послевоенного устройства, то расстрогался до слез, ибо именно о мирном устройстве мечтал всю свою жизнь.

— Излагайте свой проект, Бибер. Не исключено, что и мы растрогаемся, как ваш brave генерал.

Бибер не сказал нам ничего нового. Он повторил нам наши же мысли. Правда, было важно, что человек, далекий от нас, мыслит, как и мы. Ибо то, что одновременно является в голову многим людям одинаково, значительно убедительней откровений гениальных одиночек. И я объявил Биберу, что мы, правительство Ядро, без возражений принимаем идеи его проекта.

— На всякий случай, перечисляю главные из этих идей. Единое мировое правительство, возглавляемое Гамовым, правда уже не диктатором, а главным президентом мира. И под его началом совет национальных президентов, куда войдут и нынешние короли, вроде Агнессы из Корины и Кнурки Девятого из Торбаша. Объявляется вечный мир, армии распускаются, вооружение уничтожается, за исключением того, какое потребуют полиции в своих странах. Что еще? Все государственные границы, таможни, визы и паспорта ликвидируются. Вводится общая для всех стран валюта. Каждый свободно выбирает для обита-

ния ту страну, что ему больше по душе. Возможно, не станет нужды и в том, что мы называем дипломатической деятельностью. И последнее. Кто доложит конференции о проекте мирового жизнеустройства? От имени нашего правительства предлагаю это вам.

Бибер молча переводил взгляд с меня на Гамова. Гамов улыбался. Я немного возвысил голос.

— Что означают ваши колебания, Бибер?

Он справился с растерянностью.

— Видите ли, я ожидал, что сам Гамов — как творец новой политики... Но решаете вы, а не он, это неожиданно...

— Вполне закономерно, Бибер. Гамов творец нашей политики, а мы ее исполнители. Председательство на заседаниях — организаторская функция, а не творчество. Это дело лучше выполнять мне. Гамов выступит на конференции с общей речью, а подробный доклад о новом миропорядке лучше сделать вам, у вас уже готов целый трактат на эту тему.

Гамов перестал улыбаться и очень серьезно сказал:

— Все верно, Бибер. Поддерживаю Семипалова.

Бибер согласился докладывать, и я его отпустил. Было еще несколько дел, мы их решили. Я закрыл Ядро. Все пока шло по плану.

3

Я, конечно, понимаю, что надо подробно описать и весь ход, и решения мирной конференции в Адане. Создавалось новое мироустройство, и я, немало потрудившийся, чтобы осуществился именно такой поворот истории, ощущал и свою особую ответственность за него. И если я не вдаюсь в подробности первых актов миропорядка, то из очень личных причин. Совершились те драматические неожиданности, наступление которых предвидел Вудворт, и они заслонили в моих глазах более важные — с позиций мировой истории — международные события. В старину говорили: “Своя шкура ближе к телу”. Никогда не думал, что мне придется на своей шкуре испытать справедливость этой поговорки. До этих дней мне меньше всего думалось о личном благополучии. В гигантской битве всего мира за новое бытие мое крохотное частное бытие не имело практического значения, так я это понимал, так реально было. Но наступил час, и для меня центром стал я сам и вопросы: “Кто я? Что ждать от

меня и чего ждать мне?” — заслонили резкий поворот мировой истории. Не знаю, была ли здесь железная закономерность самой истории, но такую неожиданность не предвидел и предсказавший эру неожиданностей Вудворт.

Сразу же скажу несколько слов о конференции.

Гамов произнес самую блестящую речь из всех, какие я слышал. Не буду ее передавать, она повторила то видение будущего, какое он излагал уже не раз. У меня просто не хватит красок, чтобы описать, как встретила конференция его вдохновенную речь. Даже аплодисментов не было, аплодисменты показались бы слишком ничтожным ответом. Все разом поднялись со своих кресел и запели благодарственный гимн. А в восторженном гимне особо выделялся режущий голос Армана Плисса, генерал вел точную мелодию, но вел ее так, словно выпевал по нотам воинские команды. Еще сильнее выделялось звучное контральто Радон Торкин, к старухе вдруг вернулся ее молодой позабытый голос, и она самозабвенно благодарила прекрасным голосом за спасение дочери. А потом все же грохнули аплодисменты, и такие долгие, что я устал хлопать и только притворялся, что работаю ладонями.

И был трехчасовой доклад Ореста Бибера. Прений доклад не породил. Президенты и короли одобряли, каждый с оговорками по второстепенным пунктам, основную идею — объединение все стран под президентством Гамова.

А затем участники конференции разъехались по домам — осуществлять реконструкцию своей собственной власти. И мы в Адане, ставшем временной столицей мира, тоже спешно реконструировали старые органы управления. И мне казалось, что и Гамову, и всем нам, его помощникам, предстоит долго, наверное, до самой смерти, укреплять созданную нами единую мировую власть.

Все спутала грянувшая неожиданность.

Гамов созвал внеочередное Ядро.

Он явился в овальный зал первым и сразу занял председательское кресло. Я поначалу даже обиделся, настолько это противоречило установленным им же обычаям. Но когда он начал объяснять, почему собрал нас, я понял, что именно так и надлежало поступить — противоестественно было бы, если подобное заседание вел я, а не он сам. Я сел сбоку и оглядел собравшихся. Почти на всех лицах проступали удивление и тревога. Только Гонсалес и Пустовойт не удивлялись и не тревожились. Зато ни

разу не видел я на лице Пустовойта такой подавленности, такой мрачности на лице Гонсалеса. Они знали, зачем нас созвали.

Гамов открыл Ядро словами:

— Я прошу у вас санкции на суд над одним преступником.

Мы молчали, никто не решался спросить, о каком преступнике он говорит. Молчание прервал я:

— Гамов, вы прежде должны объяснить...

Он прервал меня:

— Объясняю, преступник — я.

Ответом на его слова было ошеломление. Я мог допустить любое предположение, даже подумал, что Гамов попросит отставки, он как-то намекнул, что после победы делать ему, собственно, нечего — миссия его завершена. Хотя такая мысль граничила с ненормальностью, но в ней все же таился резон — уход от дел после блистательной победы тоже с блеском завершал карьеру. Такой выход знаменовал бы надлом в психическом состоянии Гамова, но не означал внезапного приступа безумия. Но иначе, чем прямым сумасшествием, я не мог в ту минуту назвать новое требование Гамова.

Я первым пришел в себя.

— Гамов, мы привыкли к здоровым идеям в каждом вашем предложении. Но сейчас надо созвать консилиум врачей, а не Ядро. Я провожу вас в постель.

Я встал. Он усмехнулся. Голос его сохранял спокойствие.

— Садитесь, Семипалов. В постель мне не надо. Прошу, выслушайте меня не прерывая.

Я сел.

Он произнес невероятную речь. Это вовсе не означает, что она была бредовой. В ней сохранялся его ясный разум, но только неожиданный разум, четкая логика, но иная логика, чем та, которой мы пользовались в повседневности. Она исходила как бы из мира иных понятий, и не сразу уяснялось, что вообще способны существовать такие чуждые нам понятия.

А говорил он о том, что с самого начала руководства его душу томила двойственность. Он творил добро и зло одновременно, ибо каждое его действие, если оно и помогало своему народу, то шло во вред всем народам, с которыми мы воевали. И даже если в далекой перспективе война, какую он вел, обещала всем народам благо еще не испытанного абсолютного мира, то благостная эта перспектива достигалась ценой гибели людей на фронтах и великих лишений в тылу. Добро творилось посредст-

вом зла — вот реальность, терзавшая его сознание. Он понимает — тут таится великая загадка философии. Надо наконец расправиться с ней. Дальше, не сделав этого, жить нельзя. И еще ясней он понимает, что собравшиеся здесь десять человек неспособны в обычном споре бросить свет на тайну, тысячелетиями не разъясненную человечеством. Он уважает своих сотрудников, но отнюдь не переоценивает мощи их ума. Поэтому он призывает весь мир принять участие в споре, что сильнее — добро или зло? И что — нужней? А для этого самое хорошее — предать проблему строгому суду, и пусть суд оценит меру принесенных им, Гамовым, добра и зла, покарает за зло, поблагодарит за добро. Один из властителей прошлого, когда его генерала, вернувшегося из удачного похода, хотели наказать за допущенные им провинности, категорично изрек: “Победителей не судят!” Он, Гамов, сейчас победитель. И то, что победитель требует суда над собой, придаст особый вес каждому аргументу в судейской дискуссии. Ибо на побежденного легко валить все грехи. Но если победитель склонится под грузом совершенного им зла, значит, это зло, было, точно, безмерно. Именно этого он и добивается.

— То есть чтобы вас осудили за безмерность вашего зла? — иронически уточнил я.

Он поспешно поправился:

— “Осудили” — в смысле “оценили”. Я не жажду кары, но хочу объективного понимания собственной деятельности.

— Не только вашей, но и нашей. Мы были вашими помощниками.

Он ответил с вызовом:

— Я принимаю всю вину за зло на себя. И ответственность за него согласен нести один. Добро разделю с вами, Семипалов.

Пока Гамов излагал свое неожиданное желание, я напряженно размышлял. Я понимал, что он ожидал нашего сильного сопротивления, и поэтому заранее отвел его, объявив, что десяток человек в этом зале, включая и его самого, не могут быть судьями в великом философском споре. И не постеснялся упрекнуть, что мы опасаемся за собственное благополучие — и почти высокомерно освободил от ответственности не только за свои идеи, но и за их осуществление. Это было обдуманное оскорбление. Но оно затыкало наши протестующие рты. Одного он не учел. Он превосходил нас всех в творении идей, но претворял их в жизнь, главным образом, я — это была моя прямая обязан-

ность. И заодно обязанность всех его других помощников. Я видел по их лицам, что от меня они ждут противодействия Гамову.

— Итак, публичный суд по поводу философских проблем, — сказал я, — довольно оригинальная криминалистика! Но кто судьи? Уж не Гонсалесу ли вы поручите быть арбитром? Уж не он ли разрубит своим карающим мечом узел, который за тысячелетия не могут распутать глубокие философские умы?

— Именно Гонсалесу мы и поручим суд. — Гамов игнорировал мои насмешки. — Он будет судить не философскую проблему, а мое участие в ней, меру моей собственной вины в политике. Уверен, что Гонсалес с этой задачей справится.

Я обратился к Гонсалесу:

— Вы даете согласие на суд по самообвинению Гамова?

— Гамов уже говорил со мной. И я согласился.

— Вот как — уже говорил? После мирной конференции?

Меньше всего я мог ожидать того, что ответит Гонсалес:

— Раньше. Первый разговор состоялся, когда Гамов предложил мне стать министром Террора.

— Значит, задолго до нашей победы, в дни, когда мы стояли на грани поражения, вы согласились с Гамовым, что будете его судить, если он станет победителем? Очень интересный разговор! А если бы все-таки была не победа, а поражение?

— При поражении и без меня хватило бы для нас судей.

— Для всех нас, а не для одного Гамова, тут вы правы. Еще вопрос, Гонсалес. Ваш Черный суд не считал обязательным наличие хорошей защиты, ограничиваясь обвинением. Вы и Гамова собираетесь судить без квалифицированной защиты?

— Гамов сам подобрал для себя защитника и обвинителя.

Я повернулся к Гамову.

— Вы назовете обвинителя и защитника?

— Я говорил об участии в суде с редакторами газет Константином Фагустой и Пименом Георгиу.

— Естественно. Пимен ревностно восхвалял нас, ему и быть вашим защитником. А Фагуста нас рьяно клял — лучшего обвинителя и не подобрать.

— Вы неправильно оцениваете их действия. Пимен Георгиу взял роль обвинителя, таково было его желание. А Фагуста согласен быть защитником.

Мне показалось, что я нащупал слабость в позиции Гамова.

— Фагуста, вечный ваш обвинитель, — защитником? А Георгиу, столь же вечный ваш прислужник, — обвинителем? Га-

мов, такое распределение ролей не гарантирует объективности ни обвинения, ни защиты.

Гамов сразу уловил, куда я клоню.

— Вы опасаетесь, что прислужник станет плохим обвинителем, а вечный критик будет неубедительным защитником? И что суд превратится в фарс? Этого не будет. И Георгиу, и Фагуста дали мне обещания точно выполнять свои обязанности.

— Дали искренние обещания быть объективными? Вы и с ними говорили задолго до победы?

— Именно так, — холодно подтвердил Гамов. — Разговор о грядущем суде произошел в тот день, когда они согласились стать редакторами газет, противостоящей одна другой.

— И я об этом ничего не знал! Своеобразно вы понимали роль своего заместителя, Гамов!

Гамов пожал плечами.

— Суд даст ответ на причины утаивания от вас моих действий.

— Только ли от меня? — Я обратился сразу ко всем: — Кто еще знал, кроме Гонсалеса и двух редакторов, что Гамов планирует после победы суд над собой и заранее намечает, кто какую позицию займет в суде?

Все члены Ядра дали отрицательный ответ. Я подвел итоги:

— Мы услышали совершенно невероятное предложение. Президент объединенного мира в качестве первого своего государственного акта издает указ о суде над собой. Думаю, Гамов, на этом можете закончить наше удивительное совещание.

И тут слово взял Гонсалес:

— Подождите закрывать Ядро. Гамов взял все возможные преступления на одного себя. Он не собирается никого обвинять, он только самообвинитель. Но я был больше чем помощником Гамова — его рукой. Как и он, я должен предстать перед судом.

— Вы о чем говорите, Гонсалес? Перед каким судом?

— Перед тем судом, который будет судить Гамова. Перед судом, который я сам возглавляю.

Мне было не до смеха, но я рассмеялся. Никто не поддержал моего неестественного веселья. Очень много грозных следствий вытекало из самообвинений Гонсалеса. Любой из нас, оставаясь помощником Гамова, имел самостоятельность в своей области, хоть и не мог выпендриться назвать себя рукой диктатора.

— Гонсалес, вы городите чушь! Вы идете дальше Гамова в нагромождении несуразиц. Он себя только отдает под суд, то есть в чужие руки, вы же собираетесь устраивать собственный суд над собой, то есть вручаете себя в свои же руки. Какая здесь возможна объективность?

Гонсалес усмехнулся новой для меня усмешкой. Правда, она и раньше, бывало, изредка появлялась на его лице, немного печальная, очень чедовечная, только она казалась мне лицемерной: я так ненавидел Гонсалеса, что все в нем виделось мне отвратительным. А сейчас улыбка эта объяснила, что нет нагромождения несуразиц, а есть очень серьезное решение, и нельзя подозревать, что он, обвиняя себя, намерен себя выгораживать.

— Наш руководитель отвергает доктрину “победителей не судят” и, сам победитель, потребовал суда на собой. Я последую его примеру.

— В качестве одного из победителей в войне?

— В качестве победителя гораздо более безусловного, чем сам Гамов.

— До сих пор мне казалось, что я что-то понимаю...

— Вы сейчас все поймете. Всякий суд — это война, причем во многом сложнее схватки армий, ибо он не двухсторонний, а многомерный. Защита сражается с обвинением, это одно обличье суда. И одновременно и защита, и обвинение сражаются с судьей за его душу, за его окончательное решение. Одна из сторон — защита или обвинение — должна неминуемо проиграть, такова природа суда. Но судья, что бы он ни решил, всегда победитель, это тоже природа суда.

— Вы хотите сказать, что всегда являлись победителем, когда выступали в роли верховного судьи, ибо решения ваши были окончательными?

— Именно это. А сейчас, являясь победителем в любом суде, я, как и наш руководитель, предаю себя суду. То, что я не только предаю себя суду, но и сам буду судить, не так уж важно.

— Все же парадоксально. Итак, вы судите Гамова и себя в качестве одной из его рук. У Гамова, однако, две руки. Какой вы себя считаете — правой или левой?

— Это имеет значение?

— Немалое. Я тоже считаю себя одной из рук диктатора. И всегда был уверен, что моя роль — быть его правой рукой.

Он усмехнулся.

— Согласен на роль левой руки. Что из этого следует?

— А то, что вы бросаете мне вызов. Если левая рука согласна идти под суд за совершенные ею проступки, то правая не может остаться в стороне. Ибо и та, и другая одинаково выполняли волю своего хозяина. Вы требуете, не называя этого прямо, чтобы и я согласился идти под суд.

Он огрызнулся:

— Могу и прямо предложить, если вам нужно.

— Не надо. Ясно и так. Я принимаю ваш вызов и согласен идти под суд. Достаточно троих подсудимых, или привлечем к ответственности еще других помощников? Не только голову и руки, но и ноги, и легкие, и желудок?..

Гонсалес даже передернулся от возмущения.

— Ни Гамов, ни я не превращаем наш суд в игру острот!

— И я не буду. Гонсалес, мы приняли невероятное до бессмысленности решение. Нужен механизм его осуществления. Предлагаю вам сочинить такой механизм. Можете не торопиться. Думаю, ни одного из нас троих не терзает желание срочно сунуть голову в петлю. Доложите свои идеи, когда приведете их в систему. Гамов, пора закрывать Ядро.

Гамов во время моей перепалки с Гонсалесом не проронил ни слова. Зато его передернуло еще больше, чем Гонсалеса, когда я пустился в рассуждении о виновности таких членов тела, как ноги, легкие и желудок. Не сомневаюсь, он вдруг увидел, что его трагическая идея самообвинения может рассматриваться и как предмет, достойный осмеяния. Трагическое он хотел испытать, смешное было непереносимо. Обычно Гамов покидал Ядро одним из последних, сейчас он удалился первым. За ним ушел Гонсалес, молчавшие до того члены Ядра обрели голоса.

— Как понимать предложение Гамова? — спросил Джон Вудворт. Он очень редко признавался в непонимании, в подобных случаях предпочитал молчать — профессиональная черта дипломата.

— А вот так и понимайте — по случаю своей победы наградим себя за великий успех самооплевыванием, — огрызнулся Готлиб Бар.

Пустовойт жалобно воззвал ко мне:

— Андрей, я ничего не понимаю — что будет?

— Будет только то, что будет, — и ничего сверх того, — сердито ответил я. Меньше всего мне хотелось раскрывать свое состояние сентиментальному Николаю Пустовойту.

Уже за дверью я раздраженно попенял Павлу Прищепе:

— Я всегда был уверен, что ты мастер разведки. Как же мы пропустили, что наш руководитель сходит с ума?

Павел возразил:

— Не он один. Ты тоже подыграл ему, а не опроверг его безумия. И вообще вы с Гамовым поставили меня разведывать дела наших противников, а не ваши собственные душевные катаклизмы. Я не следил за Гамовым, за тобой — тоже.

— Очень жаль, что не следил за нами, меньше было бы неожиданностей, — вырвалось у меня.

4

Я молчаливо кипел. Меня трясло от негодования. Я отпустил водород и пошел пешком. На улице раза два или три я останавливался и в бешенстве топал ногой. Из меня рвалось все то, что я должен был высказать, но не высказал на Ядре. Я перебарывал себя, не давая себе впасть в истерику. Елены дома не было. За окнами темнело, потом зажглись фонари. Я сел в кресло и вслух приказал себе:

— Никаких эмоций, только понимание.

Приказать себе понимать было легче, чем реально понимать. Эмоции забивали мысли. Негодование понемногу превращалось в обиду. И негодование, и обида подводили к пониманию. Я спросил себя — что случилось? Меньше всего я боялся за собственную безопасность или потерю своего государственного лица. Я негодовал, что Гамов скрывал от меня не только свои тайные помыслы, но и поступки, а я ведь должен был знать все, что знал он сам. Гамов считал меня недостойным быть поверенным его души. Тому же Гонсалесу, даже тощему Пимену Георгиу или лохматому Константину Фагусте он поверял то, чем не удостаивал меня. Почему? Может быть, я сам породил в нем невозможность полного доверия?

И, дойдя до такого вопроса себе, я по-новому взглянул на то, что делал Гамов и что мог делать я, если он был со мной искренним.

Во мне восстанавливались картины прошлого, и я начинал находить в них то, что ранее не осмысливал. Я вдруг понял, что никогда по-настоящему не понимал Гамова. Я всматривался в него ежедневно, но не видел его — не все в нем ясно видел, так будет правильнее. Он воображался мне парадоксальным и непредсказуемым, им командовали внезапные импульсы, политические озарения. И только иногда я удивлялся, до чего точно

укладываются его скачки в естественные требования обстановки, до чего все кривушки и зигзаги складываются в конечном итоге в размеренное движение к однажды вычисленной цели. Цели, которая заранее допускала, даже предписывала, даже сама предупредительно создавала условия для парадоксальных поворотов, для точно рассчитанных зигзагов. К ясной цели он шел не прямо, а криво, потому что надо было петлять между холмов, спускаться в долины, лезть на крутизну и хлюпать в болотах. Он уподобил себя водоходу, вышедшему из начального пункта А в далекий конечный пункт В. И старт, и финиш абсолютно ясны, но, боже мой, как непроста, как опасна своими поворотами, рытвинами и зигзагами дорога между ними, между реальным стартом и желанным финишем.

И, поняв это, я сразу понял и то, что, если бы мы, помощники Гамова, знали, по какой дороге он направит нас, мало кто стал бы ему помощником. Конечную цель движения видел лишь он один, мы же вглядывались в появлявшиеся препятствия и помогали преодолевать их, на большее нас не хватало.

И я вспомнил вечер нашего знакомства, когда мы с Гамовым выручили двух девушек, попавших на улице в руки хулиганов, и Гамов повалил на землю и чуть не загрыз кинувшегося на него с ножом верзилу. Как меня тогда удивила его свирепость, как поразил вопль сраженного хулигана: “Так же не дерутся люди! Так же не дерутся!” Смог бы я дружески сойтись с Гамовым, если бы знал, что дикая его ярость в драке не случайная вспышка гнева, а коренное свойство характера, и что еще года не пройдет, как он, захватив верховную власть в стране, открыто объявит всем, что власть эта будет не просто строгой, а свирепой, именно это страшное слово он выбрал для борьбы с бандитизмом. Нет, сказал я себе, не обманывайся, ты не отшатнулся бы от Гамова, если бы предвидел, что уличная драка не случайная вспышка, а сознательная манера борьбы с ночным отребьем. Они лучшего и не стоили, эти звери, хищными стаями нападавшие на женщин и стариков, так я сказал себе. И ты одобрил пытку пленника Биркера Штока, тот готовился принять физические терзания, даже смерть, но не вытерпел унижения. А ведь это был не случайный гнев Гамова, а новый метод — заменять терзание тела тяжким испытанием духа. Ты принял, казалось тебе, единичный случай, но разве не произошло того же, когда Гамов внезапно надумал часть захваченных в бою денег отдать солдатам, отличившимся в сражении? Импульсивный поступок

ты принял, а если бы тебе тогда же сказали, что это отныне военная политика — оплачивать банкнотами героизм в бою, измерять в золоте любовь к родине? Обстоятельства принудили нас ввести неклассические методы войны, так ты объяснил свое согласие на них. Вспомни, гневно сказал я себе, как ты придумал собственную казнь за измену, чтобы враги поверили в хитро подсунутый им обман, как ты гордился самопожертвованием, какой поистине героической представлялась тебе твоя решимость. А если бы ты знал, что обстоятельства были созданы так умело, что только мнимое твое самопожертвование могло преодолеть их? А если бы еще добавили, что никакая это не чрезвычайность, а давно уже применяемое мнимое умерщвление для устрашения живущих и что столь же давно разработана техника смерти без реального убийства? Согласился бы ты тогда взойти на эшафот, обрек бы на муки собственную жену, как и ты, ничего не знавшую о мнимых казнях? В обмане, равноценном подвигу, ты углядел веление рока. От обмана стандартного, поделовому разработанного, ты бы с отвращением отшатнулся. Разве не так?

И еще я вспомнил последний и, может быть, главный из тайно спланированных парадоксов Гамова, когда мы, исполнители его верховной воли, чуть ли не все разом отказали ему в ее выполнении. Ибо он, хоть и готовил нас к такому ходу, все же переоценил меру нашей безгласности. Он потребовал открыть пищевые склады для врагов, сражавшихся с нами. Мы отвергли такой поступок как бессмысленный до преступности. А он поднял на нас весь народ, поднял его на самопожертвование, равное безумию. И чем поднял? Молением о собственном здоровье! Он воздвиг перед каждым дилемму: здоровье диктатора против части твоего пайка, малой части твоего благосостояния. Но реально ведь речь шла отнюдь не об одном пайке, о миллионах пайков, о благополучии народа, и все это — за здоровье одного человека! Переметнул весь спор из огромной схватки держав в маленькую, очень частную, очень личную задачу — что важнее: частица твоего пайка или мое здоровье? Нет, обман был не в том, что он поставил на кон свою жизнь! Уверен, не встал бы Гамов с постели, скажи народ не словечко “да”, а словечко “нет”. И был бы конец ему — реальный, а не придуманный.

Вся моя прошлая жизнь, начиная с момента, как пошел в помощники к Гамову, вдруг представилась чередой хитросплетений

ний, обманов себя и других — кривые и кривушки, скачки и зигзаги, ложь вместо истины. И в этом хаосе обманов и обходных дорог я — локомотив, непрерывно поворачивающий на очередную кривушку по указке свыше.

Я понемногу успокаивался, негодование стихало. Я постепенно стал понимать, что если и был обман, то в мелочах, в кривизне избранной дороги, но не в сути конечного пункта. Мы хотели победить в войне — и победили, цель достигнута. Мы — вместе с Гамовым, не он один — задумали ценой одной войны уничтожить все войны — и разве это не свершилось? Почвы для межгосударственной вражды больше нет, ибо нет больше враждебных друг другу держав. Чего хотели, того и добились — разве не так? Конец — делу венец, говорили предки. Надо праздновать и торжествовать, таково нормальное понимание событий.

Да, нормальное, сказал я себе и снова заволновался. Нормальное для человека, ведущего себя нормально. А Гамов, взамен торжества, потребовал суда над собой. И принудил нас дать на это согласие, еще и потянул двух помощников на скамью подсудимых. Что реально таится в его поведении? Новый зигзаг в политике?

Я обессилел от трудного размышления. Мне захотелось поесть, потом прилечь. Я пошел на кухню поискать еды. Вошла Елена и присела к столу. Я положил ей ветчины и зеленого горошка.

— Как хорошо, что кончилась война, — весело сказала она. — Нормальная еда перестала быть предметом мечтаний.

— К сожалению, война не кончилась, — хмуро возразил я.

Она встревожилась

— Как тебя понимать? Кто-нибудь откалывается от союза? Не Лон Чудин? Не верю я этому честолюбцу!

— Я тоже не верю. Но он подписал общее решение. Против себя он не пойдет.

— И правильно сделает. Никто не идет против себя.

— Я знаю одного, кто восстал на себя.

— Кто он?

— Наш руководитель — Гамов!

— Гамов? — Она чуть не со страхом посмотрела на меня. — Неужели он опять заболел? Ты сказал, что война не окончилась. Значит, он?..

— Гамов? — Она чуть не со страхом посмотрела на меня. — Неужели он опять заболел? Ты сказал, что война не окончилась. Значит, он?..

— Именно это. Гамов объявил войну себе, да и, в частности, своим главным помощникам — мне и Гонсалесу. Он просит суда над нами троими.

Она глядела на меня распахнутыми глазами.

— Я ничего не понимаю, Андрей.

— Ты думаешь, я что-либо понимаю? Не преувеличивай моей сообразительности. Я путаюсь среди разных мыслей, как в глухом лесу между деревьями.

— Расскажи подробнее, что произошло. Будем думать вместе.

Я описал спор, вспыхнувший на Ядре. Не скрыл и метания мыслей, томивших меня, когда я вернулся домой.

— Я совсем потерялся — кто мы? Герои или преступники? Ожидаем заслуженных наград за победу или столь же заслуженных кар за провинности? Гамов — руководитель объединенного мира или кандидат в тюремную камеру? Одно несовместимо с другим. Я не хочу признавать за собой вины!

— И правильно, что не признаешь! Ибо нет за тобой вины.

— А как объяснить всему миру, что от заместителя диктатора утаивались важные события и планы? Что меня оскорбляли недоверием?

Она впала в такое же возбуждение, что недавно изводило меня. Только мысли ее складывались по-иному. Он воскликнула:

— Нет, не так! Не оскорбление недоверием, а уважение к твоей честности. Опасение, что обходные пути к успеху встретят твое противодействие. Гамов слишком ценил тебя, чтобы испытывать твою прямоту.

Елена сказала мне то же, что говорил недавно сам Гамов. Даже слова складывались похожие. И такая схожесть не могла не утешить меня. Но если Елена объяснила отношение Гамова ко мне, то его отношение к самому себе оставалось тайной. Она заговорила и об этом.

— Андрей, до чего ты плохо разбираешься в Гамове! Была одна важная причина, позволявшая ему не думать, прямо ли дорога к цели.

— Тайная причина, давшая индульгенцию его грехам?

— Да, именно то, что он заранее постановил для себя отдаться суду, который и оценит меру созданного им добра и причи-

ненного зла. И сделает это только в случае победы, ибо нормально победителей не карают при жизни, приговор им выносит история потом, когда это их уже не может волновать. Гамов и тут пренебрег классикой. Он открыл в истории новую дорогу и первым зашагал по ней. Нужно восхищаться его смелостью, а не негодовать на него.

Она и впрямь восхищалась. Меня всегда задевало ее преклонение перед Гамовым. Я уже знал, что преклонение не связано с любовью, для ревности оснований не было. Но я ничего не мог поделать: я тоже восхищался Гамовым, но ее поклонение уязвляло меня.

— Значит, ты считаешь правильным новый поступок Гамова?

— Конечно! Разве можно в этом сомневаться?

— Я сомневаюсь. Что даст публичный суд?

— Полное оправдание, если не найдет вины. И очищение, если кару объявят. Разве наказание не снимает преступления?

— Смотря, какая кара и какие провины... Иные наказания ликвидируют не только вину в преступлении, но и самого преступника. Если суд приговорит Гамова, да и твоего мужа заодно, к смертной казни...

Такая мысль, по всему, не являлась ей в голову. Она с испугом глядела на меня. Боюсь, философия предстоящего суда вполне открылась ее уму, но судейская практика осталась в тени. Я чувствовал удовлетворение, что напугал ее.

Она быстро пришла в себя и снова принялась спорить:

— Ведь судьей будет Гонсалес, так? Вместе с тобой и Гамовым он будет судить и себя самого. Неужели он поднимет руку и на себя? Ты лучше меня знаешь Гонсалеса...

— Я лучше тебя знаю Гонсалеса и потому скажу — понятия не имею, как он поступит. Он из самосожженных, которые могут полезть в костер впереди своего вожака.

Я постарался смягчить эти нерадостные слова почти веселой улыбкой. Но я не был одарен искусством Пеано демонстрировать хорошую мину при плохой игре.

Елена покачала головой.

5

Я понимаю, что должен описать хотя бы главное, что совершилось до придуманного Гамовым суда. Ибо каждому ясно, что не могло только что конституированное мировое правительство начать с публичного самосуда. Надо было сконструировать автоматически действующую власть, а потом уже на время отделяться от управления, чтобы сразу все не застопорилось.

Обойду молчанием нашу гигантскую работу в месяцы, предшествующие суду. Главными фигурами стали Бар и Вудворт. Им вручалась центральная власть на время вынужденного, моего и Гамова, бездействия, когда мы займем места на скамье подсудимых. А если с этих скамей нам уже не вернуться в правительство, то они пойдут сами по намеченному пути, так мы решили. Я только посоветовал обоим не повторять, заняв наши места, тех наших ошибок, которые Гамов счел достойными судебного преследования. Вудворт даже не улыбнулся, а Бар язвительно заверил, что главной нашей ошибкой он считает создание Черного суда, еще и поныне не распущенного. И потому первым его действием, если мы уйдем от власти, будет ликвидация всего, что хоть немного напоминает Гонсалеса. Я от души поддержал его.

А затем было объявлено о сессии Черного суда в его обычном составе, и что на сессию вынесено обвинение диктатора Гамова, его заместителя Семипалова и самого председателя Черного суда Гонсалеса в том, что они, находясь у власти, совершали преступные действия.

Первым ответом во всем мире было то же, что и на Ядре, — ошеломление. Недоумение сменилось протестами, протесты превращались в дикие споры. Я не буду ничего этого касаться, чтобы не уходить от главного. Скажу только, что еще никогда весь мир так не бушевал, как в дни, предшествующие суду.

Лишь на одном останавлиюсь подробнее. Ко мне на прием попросился сенатор Кортезии Леонард Бернулли.

Я с трудом узнал его, так он постарел.

— Думал, что никогда, Леонард, вы не согласитесь пожать мою руку, — сказал я, улыбаясь и сжимая его ладонь.

— Вы не Джон Вудворт, того я никогда не одарю рукопожатием, — проворчал он, удобно размещаясь в кресле.

Раньше я уже говорил, что Бернулли не брал красотой. Он был слишком асимметричен — короткое туловище, широкие плечи, массивная голова, почти полное отсутствие шеи и руки, достающие до колен, как у обезьяны. Части, из каких складывалось его тело, составляли комбинацию уродств, а не совершенств. Он представал глазу по-звериному сильным — наверное, и был таким — и всегда сохранял обличье зверя. Одни глаза его, острые, умные, мгновенно вспыхивавшие и погасавшие, были столь по-человечески проницательны, что один взгляд в

их глубину — верней, столкновение взглядов — заставлял забыть о его выдающемся уродстве.

Ощущение своего политического поражения и долгое пребывание в тюрьме не могли не сказаться на его облике. И я ожидал, что уродства сенатора станут еще уродливей, но они не усилились, а смягчились. Он похудел, голова уже лежала не на плечах, а ворочалась на прорисовавшейся шее. И широкое лицо стало гораздо уже, нос уменьшился. Красивым он, конечно, не стал, но и прежним уродством не отвращал.

— Вы, конечно, знаете, о чем я хочу поговорить? — начал он.

— И отдаленно не догадываюсь, — ответил я.

— Тогда ставлю вас в известность, что возвращаюсь в политику.

— Отлично делаете. Какие политические задачи вы себе ставите?

— Те же, что были прежде. Но хочу их расширить.

— Если вы соблаговолите...

— Именно для этого я и явился. Я был врагом Аментолы. Я не щадил его за то, что он плохо вел начатую им войну.

— Сколько знаю, войну объявил наш тогдашний лидер Маруцзян.

— Перец и соль одинаково лишены сладости. Маруцзян уже не фигура. Что восстанавливать его стершиеся в песке истории следы? Аментоле вы власть оставили, только ограничили ее. Значит, и ответственность за все его дела не сняли. Хочу, чтобы он был наказан за то, что потерпел поражение. Побежденных всегда осуждали. Не будем пренебрегать хорошими традициями.

— В новом наступлении на вашего врага Аментолу вы видите усиление своей прежней деятельности? Но вы собираетесь расширить борьбу. Против кого расширение?

Он посмотрел на меня, как на тупицу.

— Против вас, конечно! Провести с таким успехом всю военную кампанию и завершить чудовищной глупостью! Судить вас за это, судить!

Я засмеялся.

— Бернулли, мы и без ваших стараний отдаем себя под суд.

— Не тот суд. Настоящий, а не дурацкий! Вас надо судить за одно намерение идти в обвиняемые. И не выискивать в отдельных поступках во время войны какие-то грехи, войну в целом вы провели блестяще, это признает даже такой политический

дебил, как наш президент Аментола. Ваш поступок со мной! Ведь шедевр! Акция высшего порядка! Я исступленно спорил с вами, но уже в тот момент сознавал, что сражен высшей силой. Только политический гений мог так спланировать мое похищение. Кто был автором этой удивительной идеи — вы или Гамов?

— Гамов — вдохновитель всех наших действий, но в вашем похищении роль сыграл и я. Вся же организация легла на полковника Прищепу.

— Я так и думал, что без вашего участия не обошлось. Моему бывшему другу, недотепе Джону Вудворту, такие операции не по плечу. Пользуюсь случаем, чтобы принести вам искренние поздравления по случаю великолепной смерти на эшафоте. Я не отрывался от стереовизора, когда вы просунули голову в петлю. До ужаса было похоже на правду. Кстати, именно воспоминание о том происшествии привело меня к вам.

— Хотелось бы ясней...

— Сейчас объясню. Вы совершаете противоестественную операцию, отдавая себя под суд. Все ваши действия — такие дикие парадоксы, такие до гениальности непредвиденности, что вас зачаровала собственная необычайность. Но сейчас не будет любимых вами розыгрышей. Отдавая себя под суд, вы возрождаете силы, сраженные вами и жаждущие отмщения. Не заблуждайтесь! Если станете перед реальным судом, отыщутся сотни поводов, чтобы послать вас на виселицу. Не рискуйте своей жизнью. Вы прекрасно победили нас, не лишайте же мир результатов своей победы.

Пока он говорил, я обдумывал возражения.

— Бернулли, вы толкуете суд только в смысле — осуждать. Но суд способен и оправдывать, это тоже его функция. Кстати — почему бы вам не принять участие в нашем суде над собой? Не обвинителем, этого вы не пожелаете, а защитником?

— Уже назначены защитник и обвинитель — Фагуста и Георгиу.

— Официальные — да, но могут быть общественные.

Бернулли встал.

— Очень ценная мысль. Сегодня же попробую напроситься в свидетели защиты.

После его ухода я долго не мог приступить к делам. Было приятно, что такой еще недавно злой и проницательный враг нынче просится в защиту — немаловажное свидетельство, что наша победа стала признаваться благом для всех. И было тяго-

стно, что он увидел в суде одно осуждение. Я вдруг понял, что воспринял неожиданный проект Гамова как новую его блажь, как новый крутой вираж в политике, который закончится таким же успехом, как и прежние его виражи, скачки и зигзаги. Я спросил себя — а желает ли он благополучного исхода? И что сочтет благополучным исходом — оправдание или осуждение? Нет, какое-то легкомыслие таилось в моем решении присоединиться к Гамову на скамье подсудимых!

Я вызвал секретаря и спросил, много ли людей просят на прием?

Он подал мне обширный список просителей. Среди них я увидел Путрамента с дочерью, и Людмилу Милошевскую с Понсием Марквардом и Вилькомиром Торбой, и его величество Кнурку Девятого, и генерала Армана Плисса, и философа Оре-ста Бибера — разумеется, вместе с писателем Арнольдом Фальком. Я бросил список на стол и приказал секретарю:

— Всем отказать. Буду принимать тех, кого сам захочу увидеть.

6

Суд открылся в овальном зале, где некогда заседал Маруцзян и где мы захватили власть.

Гонсалес в мантии председательствовал за длинным торцевым столом, рядом по двое размещались его безликие судейские офицеры в черных воротниках. За продольным столом уселись обвинение и защита со своими свидетелями — по одну сторону стола Пимен Георгиу, по другую — Константин Фагуста. А за третьим столиком — для докладчиков — заняли места мы с Гамовым. Я не удержался от шутки:

— Гамов, не кажется ли вам знаменательным, что нам предложили те места, с которых мы объявили свержение председателя Маруцзяна и маршала Комлина? Когда их увели под конвоем, вы еще сказали что-то непонятное, вроде “Эс швиндельт”. Старое состояние не возвращается?

Он посмотрел на меня с недоумением. У него была превосходная память, но он не вспомнил, что тогда говорил.

Первый день заняла судейская процедура — присяги, регламенты, уточнение списков свидетелей и еще многое такого же рода.

Второй день отвели докладу главного обвинителя.

Прежде всего о нем самом. Он преобразился. Я много раз упоминал, что из всех, кто окружал нас, Пимен Георгиу был самым невзрачным — низкорослый, худой, немногословный, с невыразительным лицом. Мне, впрочем, всегда казалось, что именно эта неприметность, эта привычка рядом с любым из нас стираться во второстепенность и является главной характеристикой его характера. Он просто должен был быть таким, чтобы быть на своем месте. Он не имел права обладать другим голосом, кроме нашего, другим пером, кроме предписанного. Низкорослость и неприметность отлично укладывались в такую схему.

Нет, я не хочу сказать, что он физически вырос, что голос его вдруг приобрел громогласность, что в сером лице вдруг запылал румянец, что глубоко — почти до полного исчезновения — утопленные в глазницах глаза вдруг выперли наружу и стали извергать пламя. Георгиу выше собственной головы не прыгнул. И вместе с тем стал иным. В нем появилась значительность. И оттого, что значительность наполняла каждое его слово, каждую мину, каждую позу, исчезло и то, что всего более отличало его — неприметность. Глашатай правительства, он был невиден. Обвинитель правительства, он стал виден всем. Из фигуры он вдруг обратился в личность. Каждое слово его многочасовой обвинительной речи звучало ударом похоронного колокола. Он не просто обвинял нас, а пригвождал обвинениями, вбиваемыми по шляпку.

Начал он вполне, мне показалось, разумно: в любом процессе противоборствуют две стороны — удаchi и поражения, добрые дела и скверные, проникновенья в истину и самообольщенья лжи. И потому не надо впадать в восторг от успеха и в панику от неудачи. Но есть все же гигантская разница между противоположными сторонами единого процесса, каждая требует особой оценки. Нельзя принимать как равно неизбежные добро и зло, как нельзя одинаково относиться к красоте и уродству — красота все же восхищает, а уродство все же порождает отвращение. Хорошее и скверное неизбежны в великих процессах истории, но столь же неизбежно, что за хорошее надо хвалить, за плохое — осуждать. Именно это он собирается делать. Он будет исследовать только плохое, только зло, только преступления, привнесенные в нашу жизнь правительством Гамова. Гамов предводительствовал в войне. Война есть величайшее зло, независимо от того, во имя каких целей — естественно, благостных,

инные неэффективны — ведут борьбу. Войну он не исследует. В ней зло неизбежно, оно — душа войны, оно пронизывает весь ее ход от начала до завершения. Он сосредоточится на тех преступлениях, которые не были неизбежны, но широко использовались как моторные стимулы государственного процесса: то, чего можно было не делать, но что было сделано.

Он сказал, что, еще не захватив полностью власти, Гамов ввел неслыханные кары, не только ущемляющие физическое существование, что в делах войны, в общем, обычно, но и анти-моральные, которые обвиняемые прикрывали словом “неклассичные”. Расстрел виновного на войне — акт классический, он обычен. А выбрасывание того же виновного в навозную яму? Жизнь сохранена, но опозорена — лучше ли смерти такая жизнь? Гамов, овладев властью, объявил всенародно, что ему мало быть властью строгой, суровой или жестокой. Он будет властью свирепой, только такая характеристика его устраивала. И пошел свирепствовать! В тюрьмах отбывали сроки тысячи осужденных. Преступники как преступники — каждый получил именно то, чего заслуживал, и спокойно дожидался конца карательного срока, чтобы выйти на волю. Но Маруцзяна сменил Гамов, и судьба обитателей тюрем сменилась. Им объявили пересмотр уже рассмотренных дел. Рецидивистов, частых жителей тюрьмы, лишь отдохавших в ней между разбоями на воле, заново пересудили по тем же старым обвинениям. И тем, кто был приговорен к смертной казни, но впоследствии помилован с заменой казни на заключение, помилование отменили. Тюрьмы разгрузили и от оставшихся — отправили всех на северные работы, вымывавшие здоровье куда быстрее тюремного режима. И ввели неслыханную практику ответственности родственников и друзей преступников. Родителей подростка, ушедшего на разбой, арестовывали, конфисковывали их имущество и ссылали, заклеив чудовищным обвинением: “За воспитание у сына тяги к преступлениям”. А ведь никто сознательно не воспитывает в своем ребенке злодейства, тут действовало тяжелое время и окружение.

— До зверств доходило стремление наказывать не одного преступника, но и знакомых, получивших хоть микроскопическую пользу от его преступления, — с пафосом разглагольствовал Пимен Георгиу. — Одна девушка познакомилась с обаятельным парнем, он водил ее в ресторан, они танцевали и веселились. Что естественней, чем такая дружба молодых людей,

чем слияние их юных душ? Но парня арестовали, он участвовал в разбоях и насилиях, все его ресторанные деньги были из вывернутых чужих карманов, на иных даже лежали невидимые капли крови. Я согласен, разбойник заслужил многолетнюю тяжелую работу в северных зонах. Но почему выслали девушку? Чем она виновата? Она рыдала, протягивая руки к судьям: “Пощадите, я ему не помогала, я только танцевала с ним!” Не пощадили! Была ли необходимость в такой свирепости, спрашиваю?

— Еще один чудовищный случай, — продолжал Пимен Георгиу, распаляясь. — Я говорю об Антоне Карманюке, подполковнике полиции, многократно награжденном, отце троих детей. Его повесили у дверей его же собственного участка в парадном мундире с позорной надписью, что он за мзду выпустил на свободу пойманного разбойника. И свирепый суд не принял во внимание ни того, что разбойника этого поймал сам Карманюк, ни того, что им оказался брат его жены и жена валялась в ногах мужа, пока он не согласился отпустить его. Никакого снисхождения не оказали судьи полковника Гонсалеса, приговор утвердил другой обвиняемый, генерал Семипалов. Карманюка повесили, его жену и детей выслали, имущество конфисковали. Где справедливость? Я уже не говорю о милосердии! Какое искать милосердие у гонсалесов и семипаловых, но должна же быть элементарная справедливость!

Все остальные обвинения были в том же роде. Он нанизывал одно на другое, десяток на десяток, сотню на сотню. Я мог только удивляться, как он собрал столько наших проступков, так тщательно изучил их, с такой подробностью сохранил в памяти. Многие обвинения были неоспоримы. Что я мог сказать в защиту казней Мараван-хора и его приближенных в Кондуке и репрессий против населения этой несчастной страны или в защиту расправ в наших лагерях военнопленных, когда освобожденные солдаты платили своим недавним мучителям ответными муками и казнями? Все было злом — одноподобным злом — и то, что вынудило наш ответ на издевательства над нами, и самый этот наш ответ.

— Я уже не говорю о такой чудовищной “неклассичности”, как плата за убийство врага в бою, хотя такая награда усиливала до крайних границ стремление к смертоубийству, — вещал Пимен Георгиу. — И не только потому, что жажда убийства есть поощряемая всеми командованиями во всех войсках обыден-

ность войны. Вдумайтесь в другое. Они оплачивали родным смерть убитого в бою солдата. Это же возмутительно, хотя на поверхностный взгляд может показаться благородством. Страдание от гибели родного человека смягчалось солидной в нищем быту денежной компенсацией. Оплакивание превращалось в оплачивание. Не кощунство ли? Не страшно ли, что в иной семье уже могли с надеждой ждать не возвращения отца семейства либо юного сына, но солидного чека, свидетельствующего о его славной гибели в бою? Не становился ли тот страшный чек желанным? Люди уже не только не боялись гибели родного человека, но и рассчитывали на его гибель. Нет, не все, я никогда не брошу такое дикое обвинение всему народу. Но если хоть в одной нестойкой душе породилась жажда такого чека, то нравственности всего народа был нанесен великий ущерб. Вот к чему реально приводила такая благородная по виду акция, как оплата родным гибели их сынов, отцов и мужей в бою. Великая безнравственность делалась реальной — гибель родного человека становилась выгодной.

Разделавшись с оплатой убийств и плена, Пимен Георгиу обратился к преступлениям Священного Террора и Акционерной компании Черного суда. Тут он разошелся. Правда, и любому другому на его месте хватило бы материала для тяжких обвинений. Впрочем, он и не ставил себе цели перечислить все случаи преступлений, совершенных под маской возмездия или справедливости. Черный суд прикрывался справедливостью, но всегда это была лишь целесообразность сегодняшнего дня, нужная только одной из воюющих сторон. Выгоду Латании Гонсалес декретировал как всеобщую норму поведения. А из такой нравственной формулы вытекала абсолютная безнравственность. Гонсалес платил бандитам, как героям, больше платил, чем платят героям, ибо то, что они делали, было особо выгодно Латании. Настало страшное время, когда нападения исподтишка, охота за чьей-то головой стали гораздо выгоднее, гораздо почетней, чем отличная работа в тылу. Все то, что министерство Террора свирепо преследовало в своей стране как преступление, оно поощряло в других странах как подвиг. Гонсалес и его слуги виноваты не только в безнравственности, а в значительно большем — они поднялись на все человечество, исказив ту основу, на какой зиждется вся наша культура, понятие о морали, общепринятые нормы этики. Будет ли нравственным жестокое наказание нарушителям нравственности?

Во время длинной тирады редактора “Вестника” я поглядывал на Гонсалеса. Он не смотрел ни на нас, ни на стол обвинений и защиты. Иногда он поднимал склоненное лицо и улыбался какой-то очень жалкой улыбкой. Он оставался главным судьей на процессе, странным судьей, вынужденным выслушивать обвинения против самого себя и наделенным правом решать судьбу обвиняемых, в первую очередь — свою. Впервые его облик не отвечал возложенному бремени. Я не любил Гонсалеса. Меньше всего можно было потребовать от меня сочувствия этому страшному человеку. Сейчас я сочувствовал ему. Он не был страшен, он был печален. Меня всегда поражало загадочное противоречие между ангельской красотой его лица и отвратительной жестокостью его дел. И вот — противоречие это исчезло. Лицо не опровергало душу, а впервые выражало ее. Он молчаливо соглашался со всем, что валил на него Пимен Георгиу. Такой человек способен осудить себя на смерть, с беспокойством думал я.

Я понемногу устал от словопотока Пимена Георгиу. Я продолжал записывать все обвинения, что он предъявлял правительству, но даже рука отяжелела, так их было много. Мне хотелось встать и обрушиться на него, я мог легко подобрать оправдания доказательнее обвинений. Регламент суда не позволял такого самоуправства. Я сидел рядом с Гамовым. Он, как и я, записывал все. Иногда я поглядывал на него. Ни следа недовольства не отпечатывалось на его лице: он предвидел все, что говорил Пимен Георгиу. Гонсалес после речи обвинителя закрыл судебное заседание. Следующий день он отвел возражениям Фагусты против доклада Георгиу.

Должен теперь сказать о Константине Фагусте. В отличие от Пимена Георгиу, Фагуста внешне не переменился. Доселе он славился у читателей злой критикой наших действий. И я не понимал, почему он вызвался выступить в нашу защиту. Стать обвинителем ему было бы естественней, как и постоянному глашатаю наших решений Георгиу больше приличествовало бы пойти в защитники.

Оба отлично понимали, что постороннему зрителю — или слушателю — их нынешняя роль не может не показаться противоречащей прежнему поведению. Фагуста не постеснялся выразить это открыто — прямо обвинил Пимена Георгиу в неискренности.

— Признаться, меня удивляет, — так начал он прения сторон, — что неизменный пропагандист воли правительства, редактор официального “Вестника” вдруг переметнулся в отвергатели. Есть ли для такой метаморфозы убедительные причины?

— Беспричинных явлений не бывает, Фагуста, — ответил Георгиу. — Разве вы не изучали это в курсе философии?

— Оставим пока философию в стороне. Я ведь спрашиваю не о причинах вообще, а об убедительных причинах. Вот они-то имеются ли?

— Да, имеются. Даже вам они покажутся достаточными.

— Для этого я должен их знать. Повторяю...

— Не надо, Фагуста! Отвечаю. Главной причиной было то, что правительство вводило меня в курс всех своих начинаний. Мне не приходилось измышлять несуществующее, я ничего не придумывал.

— Согласен. Вы были тем, что некогда именовалось: “Голос Бога”. Но я ведь спрашиваю не об этом. Почему раньше вы рьяно поддерживали все акции Гамова, а сейчас столь же рьяно нападаете на них? В статьях, публиковавшихся в вашем “Вестнике”, сплошные панегирики правительству. Разве не так?

— Так. Но из этого не следует, что я поддерживал все, что печатал. Моя газета — официальный орган. Она говорила то, что хотелось правительству. Но это не означает, что того же хотелось и мне.

— Стало быть, вы писали то, что самому не нравилось. Убеждали нас в одном, а сами оставались уверенным в другом. Такое поведение носит точное название: лицемерие! Вы лицемер, Георгиу! Редакционные статьи, которые вы писали...

— Я печатал редакционные статьи, но вовсе не писал их. Их писал другой человек. Между прочим — член правительства. Скажу определенной — у меня не было права редактировать их. Да это было и не нужно. Литературно рука автора статей была гораздо сильнее моей.

— Но редакционные статьи шли без подписи. В журналистике это означает, что содержание статей совпадает с мнением редактора.

— Не существует правил без исключения.

— Тогда поставлю новый вопрос. Кто же был этот загадочный член правительства со столь высоким авторитетом, что вы не осмеливались редактировать его творения, хотя их содержание вызывало возражения?

— Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос без специального разрешения нашего главного судьи.

— Разрешаю отвечать на любые вопросы защиты, — постановил Гонсалес и добавил: — И меня интересует, кто печатал у вас статьи, комментирующие нашу правительственную деятельность.

— Не просто комментирующие, а активно освещающие их необходимость и правоту. Все анонимные редакционные статьи писал сам Гамов. Надеюсь, вы теперь понимаете, что не имело никакого значения, согласен ли я или не согласен с их содержанием. Равно не было у меня и права вносить что-либо свое в их текст.

Признание Пимена Георгиу в сотрудничестве с Гамовым не показалось мне ошеломляющим. Редактор “Вестника” часто появлялся у Гамова в его служебной комнатухе, приносил портфель, полный бумаг. Гамов, наверное, вносит свои поправки, дает указания, на какой теме сосредоточить ближайшие выпуски “Вестника” — так думал я раньше, не предполагая, что Гамов решил сам удариться в журналистику. Можно удивляться лишь тому, где он находил время для таких занятий. Но это была уже иная проблема.

Но если я не услышал ничего поражающего в ответе Пимена Георгиу, то Фагусту он ошеломил. Это было даже забавно. Фагуста привстал, сел, вдруг побагровел, широко открыл рот, словно готовясь произнести целую речь, но не произнес ни единого слова. Он словно бы захлебнулся невысказанной речью. Даже для невнимательного зрителя виделось ясно, что Фагуста, всегда слывший проницательным журналистом, на этот раз не показал способности к разгадкам политических секретов. Мне его реакция на сообщение Георгиу показалась куда удивительней, чем само сообщение. В тот момент сам я и не подозревал, что могло так потрясти лохматого журналиста. И когда прозвучало объяснение его состояния — мое потрясение не уступило тому, что испытал Фагуста.

До педанта Георгиу смешные положения не доходили, но сейчас и он счел возможным поиронизировать:

— Как видите, Фагуста, вы не должны обвинять меня в неискренности. Не повернуть ли такое обвинение против правительства? В дополнение к преступлениям еще и неискренность...

Фагуста с трудом, но овладел собой.

— Дело не в неискренности, Пимен. Это все мелочи: искренен, неискренен... Произошло нечто более важное.

Гонсалес обратился к Фагусте:

— У вас есть еще вопросы к обвинителю?

— Больше вопросов нет, — буркнул Фагуста.

— Тогда переносим судебное заседание на следующий день.

7

Эта ночь шла без сна. Весь день Елена провела перед экраном стереовизора, ночи нам еле хватило, чтобы обсудить судебное заседание. Елена негодовала, неприметный прежде Пимен Георгиу виделся ей теперь сборищем всех недостатков. Фагуста правильно упрекнул его в лицемерии. Он лгал, что был против правительства! Посмел бы он хоть раз не согласиться с Гамовым — и близко бы не подошел к редакции своей газеты.

— И такая лживая душонка осмеливается учить нас морали! — возмущалась она. — Я смотрела на тебя и Гамова, ни один не дал ему отпора!

— Я смотрел на Гонсалеса. Было чем любоваться.

— Ты любовался Гонсалесом? Ты же всегда твердил, что красивая физиономия этого человека лишь маскирует его душу.

— Сегодня они совпали — лицо и душа.

Новый день весь отдали Фагусте.

Он говорил с утра до вечера. Если я скажу, что он произнес блестящую защитительную речь, то этого будет мало. Дело было не в том, что он подробно излагал события, рассказанные мной раньше, — и спасение детей наших врагов от губительной водной аллергии, и то, что мы наперекор всем законам войны послали врагам часть своего скудного пайка, чтобы спасти их от голода, и то, что, объявив о казнях многих военных преступников, мы их не умертвили, а скрыли в убежищах, а после победы выпустили словно бы заново воскресшими. Все эти факты теперь знал весь мир. Но, собранные воедино, они производили впечатление продуманной концепции благотворения. И, конечно, она не только смягчала описанные Пименом Георгиу случаи сознательного зла, но и опровергала их. Таково ее реальное действие на слушателей во всем мире — Омар Исиро усердствовал, стереокамеры зафиксировали каждый жест Фагусты, каждое его слово.

Меня же поразило искусство, с каким Фагуста находил хорошие оборотные стороны в действиях, какие Пимен Георгиу объявлял преступными.

— Вот вы говорите, что преступным было решение правительства отбирать больше половины продовольствия, посылаемого Кортезией своим воинам в плену, — говорил Фагуста, обращаясь к Георгиу.

Георгиу немедленно подал реплику:

— Не менее преступным было предшествующее решение снизить общепринятый паек чуть ли не до половины. Сперва осудили пленных на голодное истощение, вынудили этим родных отрывать последнее от себя, чтобы спасти близкого человека из тяжелой беды, а потом еще ограбили голодных, отобрав значительную часть посылок.

— Согласен — такими представляются действия правительства, если их рассматривать только с показной стороны. Уменьшение пайка военнопленных — одна сторона. Но тут же обратная: врагам разрешается помогать своим пленным. Этого ведь раньше не бывало, Георгиу, чтобы противнику разрешали кормить своих людей, томящихся в плену. И разве это плохо? А то, что родные не чувствуют себя бросившими своих близких, что они могут не только бессильно плакать о них, но энергично помогать им, буквально спасать? И не издалека, а приезжая в их лагеря, ведь и это было разрешено — увидеть своего сына, своего мужа, обнять его, побыть с ним... Почему вы об этом забываете, высоконравственный Пимен Георгиу? И ведь этот только часть обратной доброй стороны, есть и другая, еще важнее. Вы ничего не сказали, куда подевалось награбленное, как вы изящно поименовали изъятие части продовольствия. А ведь его направили в лазареты, в детские дома, спасали раненых солдат, предохраняли детишек от дистрофии. Что в этом преступного, спрашиваю? И разве сами кортезы не чувствовали, что названное вами грабежом смягчает их собственную вину перед нами, перед пострадавшими в боях, перед нашими голодающими детишками. Мы разрешили женщинам, объединенным в Администрацию Помощи Нормой Фриз, посещать все лагеря военнопленных, все госпитали, все детские учреждения, чтобы они могли сами убедиться, что все изъятое продовольствие идет только на добрые дела. Так не будет ли аморально объявлять аморальными эти акты благотворения? Вот как оно поворачивается, уважаемый Пимен Георгиу. У вас тоже две стороны. И по-

казная — осуждение чужого зла — лишь прикрывает обратную сторону — отрицание реального добра. Осуждать вас за это так же сурово, как осуждаете вы? Или милосердно пожалеть вас, что не сподобились понимать реальную жизнь, если она предстает не в примитивной однолинейности, а совершается как многообразный многосторонний процесс?

Все это Фагуста выкладывал почти доброжелательно. Впервые я слушал его с удовольствием. И не только потому, что он не обрушивал на нас злую критику, а защищал. От его критики мы и прежде могли легко оборониться, указывая на ее односторонность. Его нападки на нас были столь же прямолинейны, как и официальные восхваления Георгиу. Но сейчас он раскрывал неоднозначность наших действий, докапывался до их глубины, а не скользил по поверхности. Я всегда полагал, что обвинение в принципе сильнее защиты, сейчас защита брала верх над обвинением. Во всяком случае, я именно это услышал в речи Фагусты.

Пимен Георгиу повернул против Фагусты его собственный аргумент.

— Вы упрекнули меня, что я, не поддерживая действий правительства, вынужден печатать анонимные статьи Гамова в обоснование этих действий. Вы объявили, что только лицемер поступает так. А как вели себя вы? Печатали разгромные статьи против правительства, а сейчас выступаете в его защиту. Разве это не самая явная двуличность? Вы под влиянием победы переметнулись с одной позиции на другую, а меня называли лицемером. Я мог бы подобрать для вас определенье и жесточе — самопредательство. Отречение от того, что недавно исповедовал, восхваление того, что пламенно хулил.

Фагуста засмеялся. Он чувствовал, что его позиция более прочна, чем позиция обвинителя.

— Нет, Пимен Георгиу! Я вовсе не переменил свои мнения о действиях правительства. А если бы и переменил, то без двуличности. Прозрел, исправляю ошибку — движение вперед, но не лицемерие. Но и такое оправдание мне не нужно. Я не изменил своим взглядам.

— Но ваше нынешнее поведение!..

— Оно совпадает с моим прежним поведением. Я критиковал отдельные акты правительства, но не его общую линию. Я был, в сущности, сторонником Гамова, а не противником. И даже как-то говорил об этом Семипалову, только он не понял меня.

— Гамову тоже говорили?

— Он понимал мое поведение.

— И одобрял те критические статьи, что появлялись в “Трибуне”?

— Больше, чем одобрял. Он сам писал их.

— Сам писал? Гамов был тайным сотрудником вашей газеты?

— Рад, что до вас дошла эта истина.

— Гамов сотрудничал в “Вестнике” и одновременно писал статьи против самого себя в “Трибуне”? Но ведь это невозможно!

— Тем не менее это было.

Пимен Георгиу до того взволновался, что уже не говорил, а кричал. Фагуста отвечал ему спокойно. Теперь я понимал, почему он вчера так растерялся, когда Георгиу объявил, что Гамов был тайным сотрудником его газеты. Фагуста не смог допустить, чтобы Гамов противоборствовал с собой, одновременно восхваляя и хуля себя. Ему первому открылась парадоксальность такого поведения — и он впал в ошеломление. Сегодня наступил черед Георгиу потеряться от внезапно открывшейся раздвоенности диктатора. И ему было хуже, чем Фагусте. В конце концов, хвалить себя, обосновывать правильность своих действий — вполне естественный поступок. Но яро нападать на себя? Но зло критиковать собственные действия? Но доказывать в широко читаемой газете, что каждый собственный шаг ведет к великим трудностям и несправедливостям, если не прямо в обрыв? Для здравого смысла это немыслимо. Повторяю: Георгиу было хуже, чем Фагусте.

А всех хуже было мне. Мне открылась тайна, о какой я и подозревать не мог. Я встречался с Гамовым каждый день, мы спорили и соглашались, он поверял мне задушевные желания, свои отдаленные планы. Так мне всегда понимались наши отношения. И все было не так! Одна фраза Фагусты, что Гамов тайно писал статьи против собственной политики, разом, как взрыв мины, опрокинула все огромное здание нашего душевного сотрудничества. Я бы мог сказать, что перед моими ногами разверзлась бездна и уже нет времени отпрыгнуть — такая вычурная фраза точно описала бы мое состояние.

Я с негодованием повернулся к Гамову. Я хотел, не стесняясь тех, кто находился в зале, бросить ему упрек в двуличии. Я хотел обвинить его в недостойном поведении. Гамов молча, ликуя смеялся. Он радовался эффекту признаний Константина

Фагусты. Он наслаждался, что наконец высветилась так долго скрывавшаяся тайна — двойственность его поступков. Бессмысленно было бросать ему в эту минуту упреки. Он счел бы их лишь еще одним основанием для своей радости.

Тогда я повернулся к Гонсалесу. И то, что увидел, немного примирило меня с обидой на Гамова. Гонсалес изумился еще больше, чем я. Одного взгляда на его растерянное лицо, всегда бледное, а сейчас налившееся кровью, на его испуганно распахнутый рот было достаточно, чтобы сообразить, в каком он смятении.

Между тем, Пимен Георгиу продолжал перепалку с Фагустой.

— Ваше сообщение о тайном сотрудничестве с диктатором так поразительно, что без дополнительных разъяснений не обойтись. Не соблаговолите ли рассказать, как оно возникло?

Фагуста соблаговолил. Он с удовольствием повторил это ёрническое словцо, чтобы показать, как ему приятно исполнить просьбу обвинителя. Фагуста признался, что порядком перетрухнул, когда его внезапно подняли с постели и под охраной доставили к диктатору. Гамов ждал его в комнатке, ставшей потом знаменитой благодаря усилиям Омара Исиро. Охраны — того же Сербина, неотделимого от жилища Гамова — тогда и в помине не было. Беседа продолжалась до рассвета. Гамов попросил помощи Фагусты в очень важном и очень секретном государственном деле. Оно, это дело, вполне элементарно, если говорить о его техническом выполнении, и чрезвычайно сложно, если описывать его философскую суть. Именно такое определение, “философская суть”, дал своей просьбе Гамов — и оно сразу заинтересовало Фагусту, он понял, что речь пойдет о чем-то незаурядном, а все незаурядное — мечта каждого журналиста.

— Многие действия нашего правительства могут оказаться очень непопулярными, говорил мне Гамов, — продолжал Фагуста свой рассказ. — Они вызовут критику. Может возникнуть и противоправительственное движение. Это чревато возможностью бунта. Враждебные страны, та же Кортесия, постараются своими деньгами, своими агентами, своей моральной поддержкой раздуть в открытое пламя тлеющий антиправительственный жар. И возникнет — наряду с внешним — не менее опасный внутренний фронт. Допускать это нельзя. Надо взять критику правительства в свои руки, то есть превратить ее в самокритику.

Мы сами отлично разглядим недостатки и прорехи нашего правления, почему не сказать об этом открыто? Читатель, если согласится с такой критикой, примет ее как выражение своих настроений и будет удовлетворен — не зажимают рот! А если кто не согласится с ней, еще лучше, будет подыскивать аргументы, поддерживающие правительство. Открытой критикой своих недостатков мы создадим громоотвод, чтобы канализировать накапливающееся раздражение без вспышек молний.

— Отличный по цели план, — одобрил я. — Но разрешите и мне сразу начать с дозволенной критики. Кто поверит в искренность осуждений самого себя? Или вы не знаете, что самокритика редко вызывает уважение, но гораздо чаще — раздражение. Общее мнение: чего же он сам-то стоит? Видит, что плохо, признает неудачи, но примиряется с ними, только себя ругает. Вы не боитесь такой реакции?

— Потому и пригласил вас, что боюсь. Конечно, ни один из членов правительства не подпишет самонападения на себя. Это выглядело бы комедией. Но почему это не сделать вам? Вы так умело критиковали Маруцзяна. Вы прекрасно справитесь с критикой наших поступков.

— Именно потому, что я умело нападал на Маруцзяна, я не могу напасть на вас. Я вовсе не ваш противник, Гамов. Вы пошли по моему пути, но дальше меня. Я критиковал Маруцзяна, вы его свергли. Вы осуществили то, о чем я мечтал. Боюсь, моя критика будет неискренней

— Я предвидел и это, — сказал Гамов. — Я предлагаю такой план. Статьи против государственной линии буду писать я сам. А вы печатайте их в качестве редакционных. Вашей подписи стоять не будет, и моей, естественно, тоже. Согласны?

Фагуста оглядел нас веселыми глазами. Он переживал минуту возбуждения, почти равного торжеству. Его мощные лохмы вздыбились — волосая шатеновая аура увенчала голову.

— Я сказал Гамову, что на такое содружество согласен, — продолжал Фагуста. — Мне оно даже облегчает выпуск газеты. Иначе пришлось бы самому изобретать критику правительства, а тут оно само подсовывает материал против себя. И гарантирует, естественно, что наказаний не будет, хотя многим покажется, что опубликование подобной критики должно преследоваться. Но, сказал я Гамову, ваше предложение — политическая игра, ловкая, но не сложная. Вы считаете, что в ней есть какая-то фи-

лософская суть. Простите мою непонятливость, но философии в политическом обмане я пока не вижу.

— Необычность политического хода и есть философская суть моего предложения, так объяснил Гамов, — продолжал дальше Фагуста. — И еще он сказал, что в физике действие равно противодействию. Правда, закон этот относится только к состоянию равновесия. В динамичной социальной жизни он не всегда оправдывается. Ибо если бы действие не пересиливало противодействия, то не осуществилось бы никакое развитие вообще. Но что действие порождает противодействие, справедливо и в общественных процессах. Значение своих поступков правительство видит и в тех протестах, какие они порождают. И если критику со стороны не услышать, потому что рты заткнуты, то нужно самим взяться за это дело — выяснить степень и формы противодействия. Вот так объяснил мне Гамов. Я не спорил. Философия не моя специальность. Я не имел желания влезать в эту запутанную область. В заключение Гамов вручил мне готовую статью с критикой первых решений его правительства. И я ее в тот же день напечатал от имени редакции. Вот так и пошло наше секретное сотрудничество.

Пимен Георгиу поинтересовался:

— О вашей договоренности с Гамовым знало правительство?

— Гамов предупредил, что ни Семипалову, ни Гонсалесу не расскажет о союзе со мной. А другие члены правительства стояли от Гамова дальше, чем эти двое.

На этом Гонсалес закрыл третий день суда.

Гамов вернулся к себе. Я пошел вместе с ним. В приемной сидели Сербин и Варелла. Варелла почти весело поздоровался с нами, у этого бравого молодца, боюсь, создавалось впечатление, что неожиданный суд не сулит ничего опасного. Сербин с тревогой и надеждой посмотрел на меня. От его прежней ненависти ко мне не осталось и следа. Он знал, что от его кумира Гамова можно ждать любых поступков, созданный им суд над собой был типичным примером такой опасной непредвиденности. И Сербин знал, что я против этого. Он верил, что я спасу его полковника — именно это и сказал мне взгляд Сербина. Объясняться вслух он не посмел.

В комнатке Гамова я со вздохом опустился на диван.

— Какой день, Гамов. Тысячи неожиданностей! В этой связи...

— Знаю, знаю, — весело прервал он меня. — Обрушите на меня массу упреков. Все они справедливы, заранее соглашаюсь.

Я не удержался от улыбки — так запальчива была уверенность Гамова, что он все знает обо мне.

— Не надо, Гамов. Фагуста сегодня доказал, что вы со страстью способны критиковать себя. Против такого искусства я бессилён. Скажите вот что. Вы молча слушаете, что говорят о вас. Боюсь, вам даже нравится, что вас ругает ваш верный — до поры до времени — пигмей Пимен Георгиу, По-моему, это болезненная извращенность, но это уже ваша забота. Не прервете ли свое молчание?

— Прерву, конечно. Произнесу речь.

— Речи вам произносить не впервой. И очень хорошие речи. Надеюсь, с позиций ораторства она не уступит прежним. Но в чью пользу, Гамов?

Он удивился моей непонятливости.

— Как в чью пользу? Раз я придумал этот суд над нами, значит, должен доказать, что он создан отнюдь не болезненной прихотью.

— То есть выступите с обвинениями, а не с защитой?

— Вы правильно понимаете. И надеюсь, вы тоже выступите.

— Тоже с обвинениями?

— Обвинения у вас не получится. Лучше возьмите защиту.

— Взять защиту? — переспросил я. Меня мучило чувство, которого я не мог точно выразить словами. — Зачем вообще эта бессмыслица споров — один обвиняет себя, другой себя защищает? До сих пор мы с вами совершали серьезные дела — вели войну, спасали детей, своих же врагов спасали. Хватало и экстравагантности, но она не отменяла исторической важности действий! Но этот суд! Экстравагантность ради экстравагантности. Зачем он, Гамов? Зачем мне самозащита, мне, одной нашей победой защитившемуся от всяких нападков?

— Очень жаль, что вы этого не понимаете, — холодно сказал Гамов. — Мне думалось, ваш проницательный ум проникнет в глубинную необходимость суда. Впрочем, это ваше дело. Вы сказали, что выступите на суде с защитой. Я правильно понял, Семипалов?

— Не совсем. Конечно, это будет защита. Но такая защита, которая прозвучит для вас как обвинение.

— Именно этого я и хочу. Обещаю слушать вас с большим интересом.

Четвертый день суда принес новые неожиданности. Гонсалес объявил:

— Вызываю свидетеля обвинения — бывшего помощника генерала Семипалова Жана Войтюка.

Должен признаться, что исчезнувший Жан Войтюк представлялся мне погибшим. Если уж служба Павла Прищепы не обнаружила его следов, то, значит, его уже нет в живых. Меньше всего я мог предполагать, что Войтюк возникнет из небытия, да еще пойдет на меня с обвинениями.

Он сел за указанную ему сторону стола — около Пимена Георгиу. Его вид поразил меня. Конечно, я понимал, что он не блаженствовал в домах отдыха, скрываться надо было по-настоящему. Но что он так опустится, — не ожидал. Он и раньше не брал особенным изяществом, но, хорошо одетый, чисто выбритый, в неизменно свежем белье, пахнувший хорошим табаком и духами, производил приятное впечатление. Я вспомнил Вилькомира Торбу, когда того привели на встречу с Гамовым прямо из подвала, где он скрывался несколько суток среди стояков отопления, без еды, в грязи, утоляя жажду из какой-то натекшей на полу лужи. Правда, Войтюк не был небрит, как Торба, пиджак его не был в пыли и пятнах, рубашку он успел переодеть, зато исхудавшее лицо, заострившийся подбородок, впавшие глаза свидетельствовали о гораздо больших лишениях. Во мне настолько засел образ внешне безупречного дипломатического сотрудника, что я, наверно, сразу бы и не узнал его, если бы столкнулся с ним на улице.

И еще одну важную перемену я обнаружил в нем сразу, как он заговорил. Я знал Войтюка разным — осторожно нащупывающим пути ко мне, наглым, когда ему показалось, что он хитро завлек меня в капкан, безмерно испуганным за красавицу жену, внезапно оказавшуюся в железных тисках Гонсалеса, смиренно покорным, когда я объявил, что он обязан служить мне, вновь радостно воскресшим, когда эта служба предстала чуть ли не подвигом — я согласился на союз с его хозяевами. Но при всех переменах обличья он ни разу не терял присущей ему внутренне — наверно, профессиональной у каждого дипломата — респектабельности. Немыслимо было и подумать, что он способен орать, дико размахивать руками, грязно ругаться, лезть в драку. Ничего от былой воспитанности не осталось внешне в озлобленном, изголодавшемся бродяге, явившемся на суд сви-

детелем обвинения. От него надо было ожидать скандалов, а не речей, брани и проклятий, а не аргументов.

Впрочем, ума он полностью не потерял. И понимал, что нынешний облик не свидетельствует в его пользу. И если он к нему добавит и несдержанность в словах, и личные оскорбления, а этого как раз хотелось, то сильно ослабит обвинения против меня. Он одергивал себя чуть ли не в каждой фразе.

Гонсалес обратился к Войтюку по-деловому:

— Войтюк, вы свидетельствуете против своего прежнего руководителя Семипалова или против всего нашего правительства?

Войтюк чуть не сорвался с ровного голоса на крик:

— Буду свидетельствовать против генерала Семипалова, а тем самым и против всего вашего правительства.

— В чем вы обвиняете Семипалова?

Войтюк ответил не сразу — видимо, все еще сдерживал крик, по-прежнему непроизвольно рвавшийся из горла.

— Я обвиняю главу правительства военного министра генерала Семипалова в том, что он государственный изменник.

Всего я мог ожидать от обозленного Войтюка, только не такого дикого обвинения. Шпион обвиняет своего начальника, разоблачившего его измену, в том, что именно разоблачитель является истинным изменником!

Я не удержался от восклицания:

— Войтюк, не путаете ли вы меня с собой? Кто из нас является шпионом — вы или я?

Войтюк повернулся ко мне, ошалело сверкая глазами и перекосив потемневшее лицо.

— Генерал! Шпион и изменник — понятия разные. Да, я был шпионом — и горжусь, что удостоился такого опасного дела. Но изменником я не был. А вы хоть и не шпион, но изменник. И я докажу это!

Больше я его не прерывал. Меня заинтересовало, какие доказательства сможет привести Войтюк в подтверждение своего чудовищного обвинения. Гамов тоже заинтересовался, он всем туловищем наклонился вперед, поглядел на меня смеющимися глазами — ни секунды не верил Войтюку — и снова повернулся к нему.

— Да, я шпион, — желчно повторил Войтюк. — Но я служил своему государству, а не чужому. Хотя я родился в Латании, но я лишь наполовину латан. Мой дед и мой отец — чистокровные кортезы, лишь осевшие в чужой стране. И они служили своей

далекой родине, когда Латания с ней не враждовала. И продолжали ей служить, когда вспыхнули свары между двумя державами. И я с детства знал, что мне, кортезу, нужно помогать своей родине. Я никогда не пытался снять с себя благородную обязанность быть тайным кортезом среди латанов. Я сам выбрал себе самую опасную функцию — разведывать силы и возможности Латании, чтобы помогать моей истинной родине, родине моей души Кортезии. И денег за это не получал, с меня хватало, что там, за океаном, знают о патриотизме моих стараний. Да, я был шпионом, благородным, бескорыстным шпионом. Смелым и удачливым — и радовался, что ни разу не разочаровался в такой профессии.

— До тех пор, пока не перешли на службу к Семипалову? — деловито уточнил Гонсалес.

— Да, до встречи с генералом Семипаловым. Но и в борьбе с ним не совершил измены! Потерпел поражение. Был вынужден скрываться в диких трущобах. Но совесть моя чиста. Действия мои честны, это самое для меня важное. Семипалов меня победил, не отрицаю. Но как победил? Не силой, а хитростью. Не благородством своих поступков, а низкой изменой!

— Вы больше ругаетесь, чем доказываете, — заметил Гонсалес. — Но суд — выяснение истины, а не перепалка между врагами.

Войтюк снова постарался сдержать желчь.

— Перехожу к доказательствам. Мой бывший начальник генерал Семипалов — государственный изменник, потому что совершил два поступка, внешне непохожих, но по сути одинаково предательских. Во-первых, он через меня передал в Кортезию секретнейшую военную информацию, что против Нордага готовится чудовищная акция истребления. Я понимаю, могут сказать, что то была военная хитрость, на которую попался президент Нордага, срочно покинувший выгодные позиции у Забона, чтобы избежать вторжения армий Латании. Но представьте себе, что хитрость не подействовала и Путрамент не отозвал своих войск от Забона. Ведь тогда бы пришлось реально осуществлять план вторжения, а план уже выдан, нордаги могут заблаговременно подготовиться к отражению.

В показания Войтюка вмешался Гонсалес — его не удовлетворили доказательства бывшего шпиона Кортезии.

— Вы не находите, Войтюк, что ваши рассуждения идут по принципу: “Ежели да кабы, да во рту росли бобы, то был бы не

рот, а огород”? Была задумана военная хитрость, она удалась — при чем тут измена?

— При том, что измена составляла реальность военной хитрости. Она и удалась только потому, что была изменой. Нордаги поверили в реальность моего шпионского сообщения и правильно сделали, оно и было реальным. Но оно было передано заведомому шпиону — и потому стало актом измены. Я еще не знал, что Семипалову известна моя тайная профессия, я еще мог вообразить, что болтливый генерал откровенничает с полюбившимся ему сотрудником. Но Семипалов знал, что вручает важнейшую тайну шпиону своих врагов. Такой поступок должен квалифицироваться как измена. Поэтому я и обвиняю моего бывшего руководителя, что он, глава государственной власти, в сущности, обыкновенный государственный изменник.

Войтюк с вызовом оглядел зал — ожидал протестующих реплик. Но я дал себе слово не вмешиваться больше в рассуждения Войтюка, а Гонсалес не счел нужным опровергать их. Войтюк продолжал:

— Но Семипалов — изменник не только потому, что ради сомнительной в тот момент военной хитрости выдал врагам секретнейшие сведения о планах своей армии. Он изменник в ином, гораздо более высоком смысле. Он, как и его наставник Гамов, представлял свои цели и действия целями и действиями государства. И непрерывно изменяя себе, изменял персонифицированному в себе государству. Это звучит парадоксом, но я докажу, что это реальность.

Он опять помолчал, набираясь дыхания, он уходил от практических дел в дебри абстракций. Тайно передавать за рубеж добытую информацию было ему все же проще, чем оценить ее сущность.

— Чем победили Гамов и Семипалов? Не одним же тем, что подчинили себе все органы управления, хотя и это имело значение. Они завоевали души. И души не одного своего народа. В конце концов, Латания много меньше объединившегося против нее мира. Но он не объединился, в этом фундамент ее успеха. Враги Латании раскололись, их души смутились. Почему? Да потому, что поверили в благостные заявления Гамова и Семипалова. Эти два человека непрерывно афишировали общее для всех — и друзей, и врагов — благо каждого своего начинания. Они взывали к самопожертвованию, к собственным лишениям, лишь бы состоялось благо для соседей, даже для тех, с кем вое-

вали. Но это все было лукавство. Все действия задумывались как полезные для себя, их конечным результатом должна была стать собственная выгода. И если такой выгоды заранее не высчитывалось, то и самопожертвований не допускалось. Придумали чудовищный обходной путь! Чуть не святость себе приписали, чуть не били себя в грудь: отказываем себе в самом необходимом, а ведь для того, чтобы вам, врагам, было лучше. И ведь действовало! И ведь верили! И нельзя было не поверить, ибо то, что совершали руководители Латании, так противоречило здравому смыслу, что это нельзя было ни принимать логически, ни столь же логически опровергать. Оставалось одно — верить. Древний философ не мог доказать, что Бог существует, понятие о высшем существе казалось абсурдом, противоречащим логике. И нашел выход из тупика: верю, ибо абсурдно. А недавний враг генерал Плисс объявил, что действия Латании равнозначны святости, то есть сумасшествию, ибо оба эти состояния совпадают. И хоть святым не стал, но в сумасшедшего превратился быстро, поверив в святость уже не одних правителей Латании, но всей Латании, проголосовавшей за придуманное свыше лживое самопожертвование.

Войтюк опять помолчал, смиряя кипевшее негодование. У него дрожали руки, он нервно сжимал их, жест очень неудобный для хорошего оратора. Я быстро отметил недостатки его аргументации — они могли составить фундамент моих возражений.

— Итак, не было реальной святости самопожертвований, была хитро замаскированная выгода. Все то же стремление к одной надежды поставленной цели. Лукавый обман выдан за жертву. Но что такое обман? Это предательство тех, кто поверит обманщикам, предательство их ожиданий. Но не только их! Ибо если человек вслух говорит одно, а втайне добивается иного, то он предает собственные обещания, поскольку ему уже важно не так их осуществление, как польза, что они скрытно ему несут. Вот почему обвиняю Гамова и Семипалова в предательстве своих планов, в измене собственным благородным заявлениям. Они вели двойную игру — типичное действие изменника!

Тут была кульминация речи Жана Войтюка, моего бывшего дипломатического сотрудника, моего домашнего шпиона, которым я вертел, как куклой. Он еще говорил, но мелочи — лишь дополнял уже сказанное.

Гонсалес объявил перерыв. Гамов сказал мне:

— Войтюк обвинил нас гуртом, но больше всех — вас. Многое мне показалось интересным, кое-что доказательным. А ваше мнение?

— Не увидел ничего ни интересного, ни доказательного, — отрезал я. — Как шпион он еще был на своем месте, хотя и проиграл игру. Но как социолог, тем более — философ, не годится никуда. Камня на камне не оставляю от его не очень хитрых хитроплетений и не очень умных умствований. — Я обратился к Гонсалесу: — Хочу выступить.

— Все вечернее заседание отдаю вам, — пообещал Гонсалес.

На вечернем заседании Войтюк уселся рядом с Пименом Георгиу. Гонсалес не разрешал посторонним быть в зале, но если кто выступал защитником либо обвинителем, тем позволялось присутствовать до конца суда. Не могу сказать, чтобы мне доставляло удовольствие постоянно видеть злое лицо бывшего помощника. Приходилось терпеть, не я устанавливал судейский распорядок.

Я начал с напоминания об удивительных показаниях главного обвинителя и главного защитника. В чем удивительность их речей? В том ли, что один, всегда восхвалявший правительство, вдруг переметнулся в его яростные критики, а другой, настырный и надоедливый наш критикан, с не меньшим пылом пустился нас защищать? В этой их неожиданной перемене есть много удивительного, но главная удивительность не в ней. Она в том, что за ними двумя стоит один человек — наш диктатор Гамов. Они и прежде яростно схватывались друг с другом или, вернее, враг с врагом, но то была лишь иллюзия борьбы двух противников, а реально стоявший за ними Гамов схватывался сам с собой, шел сам на себя войной. Их бурное противостояние было спектаклем теней, иллюзионом воображаемых картин. Необычность состоит в том, что каждый, зная, что сам марионетка, и не догадывался, что другой несколько не лучше. И еще в том, что мы, друзья и помощники диктатора, понятия не имели, что он так раздваивается, что у него два обличья. Меня, его заместителя, верно гнувшего его политическую линию, буквально ошеломило, что он втайне сомневается, что линия эта истинна и необходима, и втайне, уже не от своего лица, а в образе придуманной марионетки, извещает мир о своих сомнениях. Я был обескуражен и возмущался — таково было мое состояние.

Я остановился, перевел дух, посмотрел на Гамова. Он сидел рядом, я видел его только в профиль. Он улыбался. Он предви-

дел, что я скажу дальше. Я тоже усмехнулся — про себя, конечно. Он ведь помнит, как я пообещал, что моя защита его действий станет обвинением их. Пусть он рассчитывает их силу заранее, опровергнуть их не сумеет. Я вызвался спорить с Войтюком, но главным моим противником был Гамов.

— Так я чувствовал себя только в начале процесса, — продолжал я. — Потом негодование прошло. И я понял, что удивительности только кажущиеся, все не только логично по высшим законам логики, но даже примитивно. Двойственность Гамова выражала двойственность того исторического процесса, который мы возглавили и вели. И если это была двуличность, то двуличность самой истории. Мы любим воображать наш мир собранием одномерных линий и однозначных поступков. Но одномерных линий нет, как нет человека с одной грудью, но без спины, как нет предмета без тени. Гамов почувствовал двузначность мира и постарался поставить реальное двуличие нашего существования нам на пользу. Но почувствовать — отнюдь не значит понять. Гамов не понял значение открытия, какое совершил. И не поняв, впал в ошибки. Этот суд, придуманный им, одна из таких ошибок.

— Мы поставили себе задачу — изменить мир в лучшую сторону, — продолжал я. — Полностью истребить все войны, сделать невозможной саму возможность войны, таков был наш план. Но все на свете отбрасывает свою тень, в том числе и добро. Тенью добра является зло. Реальное добро для массы людей неотделимо от какого-то тоже реального зла. Спасая детей от водной аллергии созданием засухи, убивающей детскую хворь — уж куда выше такого добра, — мы одновременно уменьшили урожай и обрекли тех же детей на последующее голодание, а это зло, и немалое зло. Я мог бы тысячекратно умножить число подобных примеров. Повторяю: тенью добра является всегда сопутствующее ему какое-то зло, как реальная тень сопровождает реальное тело. Гамов ополчился на зло, сопровождавшее наши добрые дела, как если бы мы лично были ответственны за двойственность реального мира. В этом его ошибка. Он надумал судить человека за то, что на солнечном свете тот отбрасывает от себя черную тень. Гамов устроил суд над законами мира, не нами порожденными и не от нас зависящими. Если существует реально устроитель Вселенной, то надо посадить на скамью подсудимых и его — за то, что он породил во всех явлениях мира двойственность. Скажем ему тогда: “Твоя Все-

ленная двулична, поработай-ка еще над ней”, — и, возможно, он, вторично засучив рукава, перемонтирует по нашему заказу все мировые законы. Но пока этого нет, все наши попытки вытравить из каждого хорошего поступка сопутствующие ему недостатки равносильны задумке отрубить от человека влекущуюся за ним в полдень тень. Ваш суд, Гамов, не больше, чем иллюзия рубки теней. Заняться этим красочным делом можно с великим, до пота и мозолей, усердием, но продемонстрировать отрубленные тени вам не удастся. Пустая фантазия — ваше судилище, Гамов!

После этого я обратился к Жану Войтюку:

— А вам скажу, мой неудачливый бывший сотрудник, что и вы пошли в рубщики теней. Только масштабы у вас с Гамовым несопоставимы. Он замахивается на принципы мироустройства, вы углубляетесь в свои делишки, сетуете на то, что движение вперед идет не по ровному лугу, а по дороге, полной ям, валунов и кривушек. В одной из петель таких кривушек засели вы, хитро поджидая, что я поверну по ней и прямехонько к вам в рот! Но я обошел вашу петлю по другой кривой, много шире — и вы взвыли об обмане. Вы, Войтюк, радетель честного шпионажа и благородного предательства, не понимаете того же, чего не понимал Гамов, хотя, повторяю, гигантски различны ваши масштабы. Вы взываете к справедливости, Войтюк, — говорил я, — попытаемся же разобраться, что такое справедливость. Богиня справедливости изображается с повязкой на глазах и с весами в руках. Вы не вдумывались, Войтюк, почему это так? Очень жаль, многого бы не произнесли, если бы подумали. Она надела повязку, чтобы остаться слепой к внешности судимых, чтобы ни поверхностный блеск не очаровал, ни наружное убожество не отвратило. Судить она должна только по весу поступков. Так оцените вес человека и вес сопровождающей его тени — что пересилит? Всё кладите на весы — сотворенное нами благо и неизбежно при этом возникающий ущерб. В любом противоборстве победа одной стороны всегда означает поражение другой. Положите на чашу весов победу и на другую поражение — весы не покажут равновесия, одна чаша перетянет другую. И главный вопрос любого исторического процесса, взвешенного на весах справедливости, — что весомей для всеобщего блага. Ибо победа сама по себе вовсе не равнозначна накоплению блага. Вполне возможно и обратное. Силы зла нередко торжествуют над усилиями добра. Вот что требует осмысленного анализа, а вовсе не

то, что кому-то во всеобщей схватке причинено что-то плохое. Не говорю уже о том, что причинить злему зло — во многом тоже акт добра. Важно, единственно важно — оценить вес созданного нами добра и вес произвольно, либо даже сознательно, причиненного нами зла.

И чтобы совершить такое сравнение, я могу не обращаться к тем мелким аморальным поступкам, которые так волнуют моего бывшего штатного шпиона Войтюка, — продолжал я дальше. — Пимен Георгиу дал энциклопедический обзор зла, какое несла с собой наша деятельность во имя вселенского блага. Буду отталкиваться от его списка наших преступлений. И покажу, что на весах справедливости их реальный вес несравнимо меньше того хорошего, что мы сотворили в своей борьбе.

Я не восстанавливаю здесь свою речь. Все написанное мною до этих страниц может служить реальной иллюстрацией к тому, что я говорил.

После заседания Гамов, Гонсалес и я уединились в комнатке Гамова, и я сказал ему:

— Обещал в своей защите нашего дела хлестнуть вас по носу, Гамов, и выполнил обещание. У вас будут претензии?

— Отличная речь! — воскликнул Гамов. — Не ожидал, что вы способны так философски мыслить, Семипалов! Вы меня на многое в нашей государственной практике заставили взглянуть по-новому.

— Очень хорошо говорили, — подтвердил Гонсалес. — Мне нелегко будет опровергать такие убедительные рассуждения.

Я спросил с вызовом:

— Будете опровергать меня?

— Что еще мне остается, Семипалов? Завтра пойду на вас.

Он улыбался новой своей улыбкой — печальной и решительной одновременно. Мне хочется передать впечатление от этой улыбки, но не подберу подходящих слов. Она была человечна. А я не привык видеть в нем человечности. И она выражала обещание не пощадить себя. Все это до того не вязалось с привычным обликом главы Террора, что, хоть я и воспринимал улыбку такой, какой она была, но не мог примириться с тем, что она такая.

Воистину Гонсалес виделся мне всегда иным, чем был реально!

Вечером был долгий разговор с Еленой.

— Ты был великолепен, Андрей, — говорила она восторженно. — У меня замирало сердце от восхищения. И это чудесное определение — рубрики теней. Я все повторяю его про себя. И я смотрела на Гамова, когда ты говорил. Сперва он улыбался, словно предугадывал, что ты собираешься сказать, потом удивился, потом выглядел так, словно ты в нем самом открыл ему что-то новое.

— Именно так он и выразился после заседания. Но суд не окончен. Будут говорить и Гонсалес, и Гамов. И будет еще много нового.

9

Дико прозвучали слова, какими Гонсалес открыл четвертый день суда. Он встал за своим столом, церемонно поправил судейскую мантию и торжественно провозгласил:

— Вызываю свидетеля обвинения полковника Аркадия Гонсалеса, министра Священного Террора, председателя Черного суда.

Я с такой иронией воспринял этот вызов самого себя к показаниям против самого себя, что ожидал дальше отработанной процедуры: Гонсалес — как судья — будет задавать себе — как обвиняемому — разные вопросы, будет ловить себя на неточностях и несуразностях. Но Гонсалес, похоже, понял, что такая приверженность форме превратит суд в балаган, и потому вопросов себе не задавал. А сразу приступил к рассказу о своей деятельности.

И понемногу его рассказ превратился в настоящую исповедь.

Он начал с того, что еще в те трудные дни, когда мы сражались в окружении — с трех сторон прямые враги, кортезы и родеры, с четвертой стороны, с тыла, изменившие нам патины, — он, незначительный штабной офицер, понял, что надежды вырваться из губительного кольца прямыми военными действиями — сила на силу — у нас практически нет. Он поделился мыслями с другом, тоже малозначащим тогда офицером Альбертом Пеано, и тот согласился, что нормальные расчеты сулят нам поражение. Нужно придумать что-то поистине сверхординарное, что-то в войне не принятое, чтобы преодолеть стянувшие нас вражеские путы. Ни он, ни Пеано не могли сотворить чуда, а требовалось только оно. Еще меньшим творцом чудес мог стать их начальник, генерал Леонид Прищепа, хороший солдат, но и только.

— Но вскоре мы заметили, что в нашем офицерском кругу выделяются два неординарных человека: подполковник Алексей Гамов, с его уникальным чувством новизны, не принятой в практике, и майор Андрей Семипалов, прирожденный военный в высшем смысле этого слова, смело бросающийся в бурю непредсказуемых событий, умело их преодолевающий. Я признался Пеано, что эти два офицера по натуре — истинные руководители и что им я охотно вверил бы свою судьбу — только военную, конечно, о дальних перспективах мы пока не говорили. И мы с Пеано согласились, что надо поддерживать этих двоих, если они предпримут для нашего вызволения что-то необыкновенное. Необыкновенности не заставили себя ждать. Таков был рейд в тыл против Питера Порпа, осуществленный Семипаловым, таков был дележ денег среди солдат, произведенный Гамовым. Моя верность Гамову подверглась в те дни тяжкому испытанию, я чуть не поднялся против денежного ценника за воинские подвиги. Гамов думает, что меня смирило его красноречие, но меня принудил к повиновению мой друг Пеано. Мы с ним всю ночь спорили, он упрекал, что я споткнулся на первой же колдобине, подвернувшейся под ноги на новой дороге, открытой Гамовым. И я сдался и пообещал не отклоняться от обещаний Гамову. А вскоре представилась и прямая возможность показать свою преданность. К нам прилетел посланец правительства Данило Мордасов и попытался отнять розданные солдатам деньги. Гамов велел мне немедленно казнить Мордасова. Я мог отказаться. И не только оттого, что приказ Гамова означал восстание против правительства, а мы еще не согласились идти против своих владык, но и по более важной для меня причине: я носил оружие, но еще не поднимал его даже против врагов. Я ведь был штабной расчетчик сил на карте, а не силач в поле, а от меня потребовали вдруг даже не сражения с врагом, а убийства уполномоченного своего правительства. Не знаю, сколько секунд продолжались мои колебания, но не успел Мордасов вытащить свой ручной вибратор, как я пошел на него с импульсатором в руке и впервые в жизни нажал на кнопку боевого контакта.

Не буду распространяться о терзаниях после совершенного мной убийства. Я понимал тогда одно: Гамов догадывался, что моя верность непрочна, что я могу в трудную минуту отойти от него. И он, чтобы связать меня с собой узами кровавого нарушения устава, поручил мне убийство, твердо зная, что среди на-

ходившихся тогда в комнате офицеров меньше всех для роли палача годился я, никогда не применявший оружия даже на стендовых стрельбах, — я неизменно находил причины не посещать их. Так думал я тогда, так считал и Пеано, не раз потом беседовавший со мной об этом первом моем убийстве. Какая-то истина в наших рассуждениях была, но не вся правда, и далеко не главная правда. Гамов уже тогда метил гораздо дальше, чем связать меня с собой пролитой по его приказу кровью.

— На другой день после захвата власти Гамов призвал меня для разговора с глазу на глаз, — продолжал свою исповедь Гонсалес. — И ошеломил предложением создать министерство Террора и возглавить его. Что нужна сильная власть и жестокие кары, грозящие безмерно расплодившимся шайкам, я не спорил. Но почему я? Разве Гамову непонятно, что я меньше всех подхожу к такой должности? Только вы, с вашим отвращением к жестоким наказаниям, годитесь на пост руководителя террора, доказывал Гамов. Ибо ваше неприятие суровых кар гарантирует, что они не будут сыпаться как из мешка, каждая будет обоснована. А чтобы сами не усомнились в объективности своих приговоров, я сведу вас на тайное совещание с Николаем Пустовойтом, которого хочу назначить в министры Милосердия. Убежден, что, если Пустовойт откроет хоть малейшую брешь в справедливости вашего приговора, он убедит вас, что кару надо смягчить, и тем снимет с вас вину неоправданной жестокости.

Так убеждал меня Гамов и наконец убедил. Я провел ужасную ночь — смятение, страх перед самим собой, перед тем, что мне назначено делать. И я вспоминал, как казнил Данило Мордасова, а теперь предстояло совершать такие казни ежедневно, десятками. И если сам я не возьму в руки импульсатора, а поручу это страшное дело другим, то это не лучше, а хуже — не буду видеть пролитой крови, не станет хоть этого амортизатора — ужаса от совершаемой твоими руками казни. Я не мог поделиться мыслями даже с близким другом, Альбертом Пеано, договоренность с Гамовым была из самых секретных. И тут меня заполонила мысль, показавшаяся сгоряча спасительной. Ты отныне будешь приговаривать преступников к смерти, сказал я себе. Преступник или не преступник, но он человек, а ты лишаешь человека жизни. Он жил не по твоим уставам, не ты виновен в его жизни. Но умер он по твоему велению, ты виновен в его смерти. Значит, и ты преступник. Ты собственным преступлением караешь чужое преступление. Как же ты оценишь собствен-

ную вину? Правильно, только собственной смертью! Помни, твердо помни — в тот момент, когда ты приговоришь кого-то к смерти, ты выносишь смертный приговор и себе. На весах высшей справедливости одна смерть уравнивает другую. Совесть твоя останется чистой. И успокойся на этом.

— Я успокоился, — с горечью говорил Гонсалес, — и на рассвете наконец уснул. А в полдень в той же комнате Гамова впервые встретился с Николаем Пустовойтом, моим будущим тайным сотрудником, моим будущим открытым противником. И мы с ним договорились, а Гамов одобрил нашу договоренность, что приговоры мои будут исполняться реально, только когда Пустовойт не подберет для них весомых возражений. А если такие возражения поступят, но политическая необходимость будет на моей стороне, свершится не кара, а имитация ее. Пустовойт пообещал создать в своем ведомстве тайную инженерную группу, разрабатывающую видимость казни без ее реального исполнения. Он же потом устроил секретные убежища для мнимо казненных, где они должны были содержаться до нашей победы. Как функционировали эти учреждения Пустовойта, может рассказать генерал Семипалов, сам пожелавший совершить над собой во имя политических целей такую обманную операцию. Он, правда, считал, что только для него придумана эта “классически неклассическая” операция, так он сам квалифицировал ее, воротившись к власти. Он и не подозревал, что операции эти и до него были исполнены тысячекратно.

— Так я и думал в те первые дни, — говорил Гонсалес. — И спокойно объявлял смерть убийцам детей и женщин. Но спокойствие мое строилось из песка, оно стало осыпаться с каждой новой казнью. Я понял, что утешаю себя лживой мыслью — жизнь за жизнь, голову за голову. А за сотни голов всего одна? Разве одна отнятая жизнь уравновесит массу отнятых жизней? Равновесия не получалось. И каждый день приносил усиление этой великой несправедливости — гора снесенных голов все вырастала, ей противостояла только одна ответная голова. Все мы торопили победу. Победа осуществилась. Настал день ответа за все, что было сделано. Не рубщики теней, как назвал нас Семипалов, а верховные судьи справедливости вышли на арену истории. Я совмещаю в себе неслыханное в мире триединство — обвиняемого, обвинителя и судьи. И хоть время для вынесения приговора еще не настало, прения сторон продолжаются, торжественно объявляю: как обвинитель — требую для себя

смертной казни, как обвиненный — признаю справедливость такого приговора, как судья — поступлю по велению справедливости. На этом объявляю перерыв.

Он сразу покинул зал. Не знаю, где он скрывался, но его не было видно с добрый час. Гамов с уважением сказал:

— Сколько же мук нес в себе этот человек, а мы и не подозревали о такой раздвоенности его души.

— Что до меня, то я всегда ощущал в нем разительное противоречие, — возразил я. — Такая ангельская красота лица — и такие черные дела. Согласитесь, что одно никак не согласуется с другим.

— Теперь противоречие души и внешности снято.

— Вас это радует, Гамов? Светлый Гонсалес еще страшней Гонсалеса темного. Он жаждет возмездия за совершенные поступки, а это значит, что он поступит с нами, как прежде поступал с бандитом. Он присудит нас к смертной казни!

Гамов пожал плечами и ничего не ответил.

После перерыва Гонсалес вызвал свидетеля защиты — Ореста Бибера.

Прошло много времени с того дня, когда приехавший изда- лека философ средних лет вступил в самонадеянный спор с Га- мовым и потерпел поражение в этом споре. Он был тогда полон уверенности, что несколькими аргументами убедит Гамова в ошибочности его концепции мирового развития. Бибер взял на себя в тот день функцию нашего обвинителя, сейчас вызвался быть защитником. Видимо, долгое раздумье у себя в Клуре и потом в лагере военнопленных заставило его переоценить прежнее понимание мировых событий.

Он поместился рядом с Константином Фагустой. Вдвоем они составляли забавное противоединство — массивный, крупного- ловый, лохматый Фагуста — средней руки медведь, обозвал его как-то Павел Прищепа — и высокий, по-молодому стройный, узкоголовый, с птичьим профилем философ.

Бибер начал с того, что основа сегодняшних судейских спо- ров коренится в личности Гамова.

— Редактор “Вестника” Пимен Георгиу поведал нам, что все статьи, защищавшие правительство, руки диктатора. Редактор “Трибуны” откликнулся на это признание столь же необычным заявлением, что все статьи против правительства, появлявшиеся в его газете, тоже принадлежат диктатору. Дипломат Жан Вой- тюк поднял вопрос о соотношении добра и зла в действиях Га-

мова и обвинил своего бывшего руководителя генерал Семипалова в том, что тот мог достигать своих целей только ценой измены и обмана. А Семипалов указал, что нельзя рассматривать попутное зло независимо от совершенного им с Гамовым исторического добра. Новую нотку — и тоже связанную с личностью Гамова — внес главный каратель Аркадий Гонсалес. В отличие от Семипалова, попытавшегося охватить ширь проблемы, Гонсалес сосредоточился на своей личной ответственности за террор, названный в свое время Священным. Словечко “священный” принадлежит к оправдательным, оно заранее объявляет террор не только необходимым, но и того сильнее — желательным. Но сегодня тот же Гонсалес поведал нам, что не находит прощения для своих действий, что видит за них единственное воздаяние — собственную смерть. И так как во всех своих поступках он следовал велениям диктатора, то тем самым заверяет, что и Гамову надлежит ожидать такого же завершения своей блистательной карьеры — смертной казни.

— Кто из них всех, обвинителей и защитников, прав? — поставил Бибер главный вопрос и ответил: — Каждый прав, если оценивать их аргументы по критериям философии, а не по личным страстям. И по тем же высшим критериям каждый в той же степени неправ. И сейчас я попытаюсь это доказать. И я оттолкнусь от того, чем Гамов побил меня в нашем давнишнем споре.

Дальше Бибер объявил, что все до него рассматривали реальные исторические события либо оторванно одно от другого, либо в их равновесной неподвижности. А мир существует лишь в непрерывном движении — то идет вперед, то кипит в противоборстве без развития, то отступает назад. В том их споре Гамов указал на общеизвестный, в общем, факт, что мировая история движется вперед, а не назад, что мир совершенствуется, а не деградирует, что материальное и духовное благоденствие все растет — и это главный смысл совершающегося пути. Недавно в “Трибуне”, продолжал Бибер, опубликована запись того, как Гамов усмирал бунт в дивизии водолетчиков. И там приводится замечательная выдержка из речи Гамова офицерам, подавленным тем, что их питомцы поднялись на них, требуя немедленной отправки на фронт: “Спасибо вам, офицеры, что воспитали солдат, способных превзойти вас самих”. В этом обращении Гамова к офицерам глубочайшая философская истина возглавленного им движения. Ибо он пришпорил историю, как вяло передвигающегося коня. Ибо он чрезвычайно умножил объем добра,

осуществляемого в мировом процессе. И если при этом умножалось и совершаемое попутно зло, то оно становилось в сумме все меньше и меньше сравнительно с накапливающимся добром. Нужно судить исторические события не по отдельным фактам, а по окончательному результату. И вот итог — вся планета объединена, впервые в истории война государств друг против друга практически невозможна, ненависть, распалявшая народы, сменилась взаимной помощью. В войне, начавшейся как истребительная, возникло и стало господствующим международное великодушие — разве это одно не оправдывает все то скверное, что неизбежно возникает в самом скверном действии человечества — войне государств?

Бибер разглагольствовал еще долго. Он хорошо подготовился к выступлению на суде. Не знаю, как обстояло у него с философией, но исторические факты он толковал правильно. Я даже удивился — до чего же много мы совершили такого, за что надо хвалить, а не наказывать.

10

Вечер был свободен от словопрений, я пошел в свой служебный кабинет. Секретарь доложил, что просящихся на прием стало еще больше, но он всем, как я велел, отказывает. Я попросил список. Среди множества людей значилась группка из троих — генерала Пеано, полковника Каплина и солдата Сербина. Сочетание было столь удивительным — командующий всеми армиями и простой солдат, — что свидетельствовало о чрезвычайности. Я попросил секретаря позвать их. Они явились быстро — вероятно, где-то собравшись, уже ожидали вызова. Я с усмешкой сказал Пеано:

— Раньше вы не испрашивали приема, Альберт, а просто входили.

— Раньше была война, генерал. Сейчас войны нет, и я прошу разговора не один, а с группой товарищей.

Все это Пеано выложил без тени улыбки на всегда улыбающемся лице. Даже в дни наших неудач на поле боя он не выглядел таким мрачным. Я понимал, что они втроем будут говорить со мной о процессе.

— Говорите, Пеано.

— Говорить будет Сербин. Он убедил нас идти к вам. Он считает, что только вы можете найти выход из нехорошей ситуации.

Слишком многое разделяло нас с Сербиным. Был момент, когда я всей душой ненавидел этого полуграмотного, фанатичного солдата, вдруг выросшего, ничего не смысля в государственных делах, в государственную фигуру. Мы тогда схватились с ним — и я потерпел поражение. История показала, что победа надо мной обернулась в конечном итоге благом для всех нас, а не бедой, как я страшился. Но все же воспоминание о той борьбе не создавало потребности в дружбе. И я сказал, пожав плечами:

— Сербин, вы просите у меня помощи, хотя еще так недавно...

Он поспешно прервал меня. Он не хотел возобновлять старые схватки. Не уверен, что он так же хорошо помнил их, как я. Почти мольба появилась на его сером лице.

— Генерал, что было, то было. Только вы можете сейчас, никто другой. Прикажете только, все исполним!

И лицо Сербина, и его слова, и страсть, вдруг прозвучавшая в голосе, так не вязались с нашими прошлыми отношениями, что у меня невольно вырвалось:

— Какие приказания? Чего вы хотите?

— Генерал, полковник сходит с ума, надо его спасти, — скорбно вымолвил Сербин. — Каждый день толкуем в охране, теперь с начальством посоветовались... Один вы можете выручить...

— Объяснитесь подробнее, — приказал я.

Нет нужды излагать все, что наговорил Сербин. Важным было лишь то, что солдаты охраны Гамова — Сербин, Варелла с товарищами — и друзья их в обычных войсках испугались за Гамова. Что Гонсалес ненормален, сомнений не было, не может человек, долгое время сеявший вокруг себя смерть, остаться в здравом уме. Но о расстройстве ума у полковника никто и не подозревал. Однако только помрачение сознания может объяснить поведение Гамова в последние дни. Он ведет себя странно и дома. Все свободное время ходит по комнате — раньше или сидел за столом, или, уставая донельзя, ложился на диван и сразу засыпал — и разговаривает с собой, да так громко, что из другой комнаты слышно. Вечером спрашивал себя: “Да как он это выполнит? Какие возможности?” Я зашел к нему, рассказывал Сербин, говорю: “О чем вы, полковник?” Он засмеялся — все, мол, думаю, вот приговорит нас Гонсалес к смерти, а как проведет? Силами своих судейских офицеров? Не такая уж си-

ла. Надо посоветоваться с ним. И снова засмеялся. И глаза чудные!

— Сходит с ума, — повторил Сербин. — И ребята такого же мнения. Надо прекратить процесс, пока вовсе не спятил полковник. Ребята меня послали к вам. Арестовать Гонсалеса, такая просьба. Прикажите — мигом засадим в такую тюрьму, чтобы и сам забыл, где он.

— Дело не в Гонсалесе, а в Гамове — это значительно хуже, — сказал я и обратился к Пеано и Каплину: — Ваше мнение, друзья?

Пеано считал, что его старый друг Гонсалес готовит смертный приговор себе, а следовательно, и Гамову. Он уже давно вынашивает план расплатиться собственной жизнью за все то зло, что причинил множеству людей, когда командовал террором.

— И вас он не пощадит, Семипалов. Вы фигура гораздо крупней, чем он, следовательно, и вины на вас больше, чем на нем. Вспоминаю, в самом начале нашего правления он как-то признался мне, что придет час расплачиваться кровью за свои грехи. Я расценил это как неверие в нашу победу, от торжествующего врага пощады не ждать. Но, уверен сейчас, он предвидел расплату и после нашей победы. Надо принимать меры.

— Те меры, о которых просит Сербин?

— Генерал, — горячо сказал Пеано, — в войну я верно подчинялся вам. Гамов руководил нами всеми, но моим подлинным начальником всегда были вы. Я сочту себя подлым предателем, если оставлю вас на расправу. Армия в моем распоряжении, я подниму ее, когда вы прикажете.

— И даже арестуете Гамова, если я прикажу?

— Арестую и его, если не будет другого выхода. Армия всегда была покорна Гамову и вам. Но сейчас она не понимает Гамова, его поступки не одобряются. Мы объявим его больным, изолируем, пока он воротится в нормальное состояние. Предвижу в армии взрыв, если Гонсалес объявит фанатичный приговор. Армия не потерпит казни того, кто привел ее к победе.

— Вы мне понятны, Пеано. А вы, полковник Каплин?..

— Мы готовы, — спокойно сказал Каплин. — Операция разработана, каждый знает свою роль. Мы захватим дворец правительства в считанные минуты. Охрана Черного суда будет сразу изолирована. И если кто окажет сопротивление, пусть потом пеняет на свою мать, что родила его.

— И я должен отдать приказ о бунте?

— Только вы, — твердо сказал Каплин. — Моя дивизия кипит, меня растерзают, если не принесу от вас решения разогнать этот отвратительный Черный суд.

Пока они объявляли планы сопротивления суду, я обдумывал новую идею. Что армия дружно поднимется против Гамова во имя защиты его от него самого было, естественно, хорошо. Но пока было преждевременно призывать силу к восстанию против справедливости — а суд провозглашен именно для восстановления справедливости, я не имел права забывать об этом.

— Нет, — сказал я. — Я пока не отдам вам приказа об аресте Гамова и Гонсалеса. Это крайняя мера может стать возможной, если не останется другого выхода.

— Вы что-нибудь придумали, генерал? — спросил Пеано.

— Придумал. И тогда понадобится помощь армии.

— Что же это такое?

— Референдум, — сказал я. — Опрос всего населения мира, желает ли оно нашей казни, когда Гонсалес вынесет последний в своей карьере смертный приговор. Вмешательство армии потребуется, если Гонсалес прибегнет к своим силам, чтобы немедленно привести приговор в исполнение. Он думает, что он арбитр высшей справедливости, — покажем, что есть и выше судия: все человечество.

— Понятно, — сказал Пеано. Я уже не раз упоминал, что разработка новых путей в стратегии не относится к числу его достоинств, но практические решения он осуществляет быстро и решительно. — Сразу же, как Гонсалес огласит свой приговор, вы ответно объявите референдум. Если Гамов попробует возражать, вы признаете его больным. А с Гонсалесом мы справимся мигом — офицеры Каплина ворвутся внутрь, разоружат охрану и изолируют Гонсалеса, а понадобится — и Гамова.

— Согласен. Знак на захват дворца я вам подам. Но надо договориться с Омаром Исиро, чтобы он не прерывал стереопередач, иначе вы в нужную минуту можете и не увидеть, что я проигналил.

Пеано засмеялся, до того показались смешными мои опасения.

— Генерал, Исиро предложил нам свою помощь задолго до того, как мы надумали просить его о помощи.

Когда они втроем уходили, Сербин в дверях обернулся и благодарно кивнул мне. Я вспомнил, как по его лицу катились

слезы, когда он говорил по стерео о том, как ждет Гамов референдума. Он страшился тогда за своего больного полковника, не меньше страшился и теперь. Впервые я чувствовал, что с радостью сделаю все, чтобы его страхи рассеялись.

Я еще долго сидел в кабинете, никого не принимая и не касаясь накопившихся бумаг. Меня заволокло успокоение, первое в эти дни. Я откинулся в кресле, закрыл глаза, все снова и снова анализировал многоугольник сил, схватившихся в противоборении на суде и за его пределами. Как в прошлые годы при расчете перспектив военной кампании, я перебирал в мозгу, кто за меня, кто против, кто безразличен и каково влияние всех этих сил на ход событий.

Меньше всего я мог в те вечерние минуты предугадать, что в многоугольник точно взвешенных мною причин и следствий уже завтра ворвется еще одна непредугаданная мощная сила. И, ошеломленный ее появлением, я на какое-то время сочту ее чуть ли не сверхъестественной.

11

Гамов начал свою исповедь, когда Гонсалес открыл утреннее заседание суда.

Не я один понимал, что Гамов должен выложиться, как еще ни разу не выкладывался. Я предвидел новую яркую речь, убедительное перечисление собственных провин, смиренное раскаяние, что все же пришлось их совершать. Так бы поступил я, будь на его месте. Но он повел себя по-иному.

Он признался, что не только с интересом, но и с волнением слушал все, что говорили обвинители и защита. Он благодарит всех за старание, с каким изучили его поступки за время войны. Но не может ни к кому присоединиться, как к единственно точному истолкователю его действий. Дело в том, что и обвинители, и защитники одинаково правы во всем, что предъявляли ему и что отвергали. Одни утверждали “да!”, другие возглашали “нет!” Но истина была в том, что совершались удивительные события, и в них одновременно присутствовало и “да”, и “нет”.

Такое начало речи меня не удивило. Примерно это же говорил Орест Бибер, указывая, что исторические процессы идут сквозь свои собственные утверждения и опровержения. Важно лишь, что побеждает — опровержение или утверждение, — а кто победит, нужно ценить по единственному критерию — конечному результату.

Но Гамов отверг предложенную Бибером дорогу и пошел по своей.

— Итак, обвинение доказало, что мы творили зло и должны за него быть наказаны, — говорил Гамов. — А защита столь же убедительно установила, что возникающее зло — попутная неизбежность и предотвратить его невозможно, если не обрывать историческое развитие. И еще установила, что благо, к которому мы стремились, в каждом конкретном случае много весомей попутного зла. А уж если взять конечный итог, объединение мира, уничтожение самой возможности войны, то и разговора нет — результат оправдывает все лишения, он колоссален сравнительно с частным страданием отдельных людей. Вот так строила свои аргументы защита. И ее аргументы по первой видимости убедительней обвинений. Не верней ли вместо суда над победителем устроить ему апофеоз, не на виселицу посылать, а увенчать короной из цветов?

— Но то, повторяю, лишь видимость, ослепляющая глаза внешним блеском, — продолжал Гамов. — А в глубоких умах всегда живет стремление проникнуть дальше внешности, постигнуть те движения и силы, которые являются истинными причинами событий. Попробуем и мы с вами сейчас преодолеть видимость событий и проникнуть в их реальную глубину.

— И для этого надо определить критерии событий, — говорил Гамов. — Все давали свои критерии. Семипалов доказывал, что в каждом важном случае создаваемое нами благо значительней попутного зла. Бибер утверждал, что благостный конечный результат оправдывает все кочки, все ямины, по которым шла история. Но есть одно обстоятельство, объединяющее все аргументы защиты. Она глядит на историю как бы со стороны. Ее оценка — глазами стороннего наблюдателя, а не муками барахтающегося в огне участника. И тут мы подходим к мучительной проблеме нашей жизни: благо чаще всего всеобщее, зло чаще всего конкретно. И потому у них свои критерии событий. И все чудовищно меняется, когда одно и то же событие оценивается по двум несхожим критериям справедливости.

Гамов промолчал. Голос его стал глухим от внутреннего напряжения.

— Случилось в нашей борьбе одно событие. Президент Амин Аментола после поражения Фердинанда Вакселя и Марта Троншке произвел воздушное нападение на наши незащищенные города. С оперативной точки зрения это было ему выгодно,

поднимало дух у населения и союзников — не все потеряно, борьба продолжается. И нам показывало: рано торжествовать победу, ваш успех — только частная военная удача, надо усиливаться для решающей схватки. В общем, каждая сторона извлекала какие-то свои выгоды из воздушного налета кортезов. Можно было бы, по Семипалову, судить, на чьей стороне зло злее, на чьей добро добрее. А если учесть и нашу воздушную месть — казнь пиратов-водолетчиков над их собственными городами, то, возможно, посторонний исследователь истории признает, что конечный результат той операции кортезов принес больше пользы нам, а не им. Все это взгляд со стороны, обзор сверху, а не из гущи событий.

Но при налете заокеанских водолетчиков среди убитых была и девочка лет шести-восьми, стерео потом показывало, как она лежала у стены дома, в который не успела вбежать. Сперва ее опрокинула воздушная волна от взрыва, потом настигли осколки другого взрыва. Она упала на спину, простерла обе ручки вверх, и тут ее поразила смерть. В последнюю минуту своей короткой жизни она обратилась к беспощадному небу, моля о пощаде. Не было пощады, не услышали жестокие небеса! Так она и застыла навек с простертыми в небо руками, внезапная судорога гибели окостенила ее маленькое тельце. За что ее постигла такая кара? В чем она провинилась перед людьми? Вдумайтесь! Погибла вселенная, не один крохотный человечек. Та вселенная, что открывалась ей. Была, была вселенная, включавшая ее в себя, как малую часть. Были солнце и луна, были звезды и травы, были родители и подруги, дома и деревья. И была она средоточием этой огромной вселенной — ее центр, ее живая душа, ее глаза. И ничего уже нет! Не маленький человек погиб, большая вселенная погибла в нем. За что? Для чего? И не говорите, что она лишь попутное ничтожное зло на великой дороге ко всеобщему благоденствию. Нет для нее ничего всеобщего, нет великой дороги совершенствования, нет в конце ее желанного блага. Ибо нет ее самой, все, абсолютно все погибло! Какой же ложью будут велеречивые объяснения о благе тех, кто уцелеет после бомбежки! И у кого хватит совести доказывать над ее тельцем, что все не так плохо. Ну, она погибла, но сколько еще в живых, еще многие погибнут, как она, зато оставшиеся добредут до вожделенного рая, вон он там, рай, за теми холмами, еще несколько усилий, еще немного погибших — и кончено, мы у цели! Нет таких людей, не должно их быть, кто взялся бы кощунственно

высчитывать, что перевешивает на весах справедливости — ее маленькая сегодняшняя гибель или дальнейшее добро, дорога к которому пролегает через ее окостеневшее тельце. Ибо нет маленькой гибели маленького человечка, гибель абсолютна, гибель всего, гибель навсегда, — нет ее самой, вмещавшей в себя весь мир. И все, что останется существовать, ничтожно рядом с абсолютной трагедией — ее несуществованием!

Гамов опять помолчал. Ничем его нынешняя горестная речь не походила на прежние вдохновенные обращения к народу.

— Вот мы и приходим к главному выводу, значение которого очень редко понимают руководители исторического движения. Вывод этот в том, что добро чаще всего всеобще и лишь во всеобщности своей содержит что-то важное, а в каждом своем конкретном выражении не поднимается выше мелочей. Зато зло, даже если оно и малозначительно в картине всего движения, в каждой своей единичной конкретности огромно, а порой и абсолютно. Победа моей армии на поле сражения огромна для моей страны, моей партии, моей творящей войну идеи, но что она для меня? Да ничего — появилась возможность для краткого отдыха, прибавят мяса и крупы в вареве, выдадут разок захваченные у врага сигареты. А если ранят или умертвят? Пустяк для страны, для партии, тем более — для идеи, вдохновляющей на войну. А для меня, безногого, несчастье, которого не преодолеть, для слепого — горе, которого уже никогда не избыть, а для убитого — абсолютная катастрофа, гибель мира навеки. Так как же их сравнивать — великие всеобщие блага, размазанные по миллионам голов и оттого в каждой конкретности ставшие маленькими, и ничтожная для всеобщности моя инвалидность либо моя смерть, такое огромное, такое непоправимое мое личное несчастье? Какой общей единицей измерить эти два явления? Или сказать, что они несопоставимы, что нет для них общего измерения, и на этом успокоиться? А совесть — есть она или нет? А если есть, то неужели молчит? Но вот вы увидели человека, у которого взрывом разорвало живот или который с воплем пытается приладить наполовину оторванную ногу. Ну, и что? — скажет сознание. — Маленькое горестное событие на фоне огромной удачи — победы в сражении. Покачаем головой и спокойно отправимся на радостный митинг, посвященный счастливой победе. Но тут просыпается в вас тайный зверек, совесть, хватаящая острыми зубами душу. Кто-то назвал совесть чудовищем с зелеными глазами, другой вопил, что она когти-

стый зверь, скребущий сердце. А я скажу, что она единственный чуткий индикатор на любое маленькое горе, оказавшееся вне всеобщих понятий добра и зла. И порождает двух своих духовных слуг, отвергающих сразу все доводы логики, — сострадание к тому, кто страдает, и свою ответственность за его страдание. И все это вместе — угрызения совести. И я сейчас, на суде над мной, утверждаю, что это великое, что это священное чувство — угрызения совести — есть самое важное различие между человеком и зверем, между человеком и мыслящей машиной, которую иные гении уже создают в своих лабораториях. Жалок тот, в ком совесть нечиста, писали предки. Да, жалок, но, и жалкий, он остается человеком, ибо не лишен вовсе совести, ибо так по-человечески грызет его этот когтистый зверь, таящийся в глухих недрах души. И суд, на который мы сегодня выносим наши деяния, вызван тем, что нас грызет совесть за все нами совершенное, что она порождает в нас великое сострадание к тем, кому причинили зло, и нашу непереключаемую на других ответственность за это зло.

Теперь я хочу воротиться к той девочке. Да, летчик напал не на нее, он целился не в ее маленькое тельце. И если говорить о конкретном адресате его бомб, то им был я, были мои помощники. Он направлял свои удары против нас, руководивших войной, только мы были истинной целью его внезапного появления из-за горизонта. И если он не мог обрушить свой бомбовый груз непосредственно на мою голову, то лишь потому, что и он сам, и пославшие его генералы отлично понимали — не подпустят его ко мне, он сам погибнет задолго до того, как очутится в опасной близости. И он бил по ней, чтобы резонанс ее гибели, ее мольба о пощаде пронзила мой слух, истерзала мою душу. Она ведь ничего не решала в войне, она ведь ничем не воздействовала на ее течение — только этим, своим жалким криком, вечно звучащим в моих ушах, своими крохотными ручонками, взметнувшимися к небу в последнем пароксизме ужаса. Точно, очень точно рассчитали операцию заморские генералы, безошибочно точно провели ее летчики, названные в Кортезии бесстрашными героями. Они ударили по моей совести, заставили задыхаться от нестерпимого чувства ответственности. Вот что они совершили, эти герои-летчики, вскоре сами погибшие в наказание за нее на своих аэродромах либо, спустя еще неделю, живыми брошенные с высоты на камни своих городов, на головы своих рыдающих родителей и жен — они заставили меня

понять, что истинным убийцей неведомой мне девчонки был я, больше их всех — я, в первую голову — я. И месть им собственной их гибелью за ее гибель, по сути, не является справедливым отмщением, ибо главный виновник ее смерти жив — я! Требую смертной казни для себя за все то зло, что я причинил людям, думая, что веду человечество к великому совершенствованию и еще не слыханным благам.

На этом Гамов закончил свою речь и сел.

Какое-то время — мне не измерить его в привычных нам единицах — зал пребывал в оцепенении. Мне вдруг почудилось, что Гонсалес сейчас встанет и торжественно возгласит, что, уступая настояниям Гамова, приговаривает и его, и себя, и меня заодно с ними, к самому справедливому, что мы заслужили, — к смертной казни.

Гонсалес встал и произнес очень буднично:

— Вызываю последнего свидетеля защиты, Тархун-хора, — первосвященника Кондука, наместника и потомка пророка Мамуна.

Так на арене сегодняшнего противоборства появилась новая могучая сила, о какой я и отдаленно не мог подозревать. Пока Тархун-хор неспешно приближался к креслам защиты, я вспоминал, что знал о нем. Но мне вспомнилось только то, что такой человек, глава церкви в Кондуке, реально существует и что он не восстал против президента Кондука Мараван-хора, приказавшего своей армии внезапно напасть на наш мирный городок Сорбас. И что за такое поведение первосвященника следовало бы привлечь к беспощадному Черному суду Гонсалеса, но Омар Исиро, временный оккупационный начальник в Кондуке, почему-то пожалел его, да и других священников не преследовал — очевидно, по особому повелению Гамова, так я это тогда расценил. Не предвидел ли Гамов уже тогда, что первосвященник может впоследствии понадобиться для защиты? Но достаточно было бросить один взгляд на Гамова, чтобы понять — он не столь поражен появлением Тархун-хора, как я, но все же искренне удивлен. Зато Гонсалес никакого удивления не показывал — он-то знал, кого вызывает.

Внешность первосвященника не бросалась в глаза — старик как старик, седой, жилистый, высокий, по всему видно — сохранил немало физических сил, мог бы предаваться не только богослужению, но и физическому труду. Одна одежда выделяла его из окружения — и не только светского, но и духовного. В

Кондуке носят нормальную одежду, покрывающую, но не маскирующую тело. Тархун-хор был замаскирован в сиреневый балахон, существовавший как-то самостоятельно от тела и колышавшийся независимо от движений хозяина. И глаза нельзя было назвать ординарными — глубоко посаженные, они так не по возрасту ярко сверкали из глазниц, что прежде всего замечались на темном от вечного загара лице. В их вспышках, а они порой как бы вспыхивали, была проницательность, а не хмурость.

Тархун-хор подошел к столу защиты.

— Назовите себя, свидетель, — предложил Гонсалес.

Тархун-хор говорил очень ясным и звучным голосом, звучащим гораздо моложе, чем можно было ожидать от старика. В храме с хорошей акустикой такой голос должен был воздействовать на слушателей независимо от того, что вещал его хозяин.

— Меня зовут Тархун-хор, я семьдесят четвертое живое воплощение пророка Мамуна.

Гонсалес высоко поднял брови.

— Я понимаю так, что вы прямой потомок древнего пророка, семьдесят четвертый по счету поколений?

— Вы неправильно понимаете, судья. Я истинный потомок Мамуна, но по счету поколений только шестьдесят девятый, а по счету воплощений — семьдесят четвертый.

По озадаченному лицу Гонсалеса было видно, что он не разобрался, чем счет поколений отличается от счета воплощений. Но он не захотел углубляться в эту запутанную область.

— Вы просили меня, Тархун-хор, разрешить вам выступить на суде для защиты обвиняемого Гамова?

— Нет, судья, я не просил об этом, — прозвучал спокойный голос.

— Но я вас так понял, Тархун-хор...

— Вы меня неправильно поняли, судья. Я не собираюсь защищать Гамова. Я недостойн быть его защитником.

Гонсалес овладел собой.

— Значит ли это, что, не пожелав пойти в защитники, вы хотите стать его обвинителем?

— И обвинять Гамова не могу. Если я недостойн быть его защитником, то тем более нельзя ждать от меня обвинений.

Гонсалес начал сердиться.

— Ни защиты, ни обвинения. Тогда зачем вы явились?

Тархун-хор спокойно ответил:

— Чтобы убедить ваш высокий суд, что Гамов вам не подсуден. У вас нет прав ни осуждать, ни оправдывать его.

— У меня иное суждение по этому вопросу, свидетель.

— У вас неправильное суждение, судья. И если вы разрешите мне задать несколько вопросов самому Гамову, а затем рассказать о том, что знаю я и чего не знаете вы, то вы перемените свои ошибочные суждения на истинные.

— Задавайте вопросы.

Тархун-хор повернулся к Гамову. Его звучный голос стал особенно торжествен.

— Президент мира, кто ваш отец?

Я не раз замечал, что Гамов в обычном общении не выносит ни вычурности, ни напыщенности. Обращение как к президенту мира, в то время как он усадил себя на скамью подсудимых, не могло ему понравиться. Он хмуро ответил:

— Я не знаю, кто мой отец.

— Тогда ответьте, кто ваша мать?

— И матери своей я не знаю.

— Очень хорошо! Тогда скажите, где вы родились?

— Я не знаю места своего рождения.

Тархун-хор, видимо, ждал таких ответов. Будто два острых огонька вырвались из провалов на темном лице — так вспыхнули его глаза.

— Знаете ли вы что-нибудь о своем детстве? Помните ли себя маленьким?

— О детстве своем не знаю ничего. И маленьким себя не помню.

— Помните ли вы вообще что-нибудь о себе?

— У меня отчетливы воспоминания о том, что происходило со мной после того, как меня спасли в пустыне.

— Вас спасли в пустыне? Около города Сорбаса, правда?

— Да, около города, который так преступно уничтожил ваш правитель Мараван-хор, за что я велел его казнить.

— Я видел его казнь. Он заслужил ее. Расскажите, как вас спасли? И кто спас?

— Меня нашли работники обсерватории неподалеку от их поселка. Я помню только, что меня несли на руках, потом уложили на повозку, а потом я помню себя в постели и врача около нее. Таковы мои первые отчетливые воспоминания о себе. Все остальное пропало — амнезия, потеря памяти, так это называется.

— Вам не говорили о том, что могло предшествовать вашему бедствию в пустыне? Как вы очутились в песках один, почти умирающий?

— Высказывали разные предположения. Точных фактов не было, кроме одного — перед тем, как нашли меня, свирепствовала песчаная буря. Первые этажи обсерватории занесло, все дороги замело. Какой-то караван, шедший в это время в Кондину, столицу Кондука, попал в эту бурю и погиб, во всяком случае, ни следов его в пустыне не осталось, ни о его последующем появлении в Кондине никто не слышал. Я находился в составе этого каравана, недалеко от обсерватории свалился с верблюда или с повозки и благодаря этому, единственный среди всех, сохранил свою жизнь. Все остальные, в том числе и мои родители, были заметены песком. Так мне правдоподобно объясняли мои спасители в обсерватории — и у меня нет оснований сомневаться в их правдивости.

— Правдивость это еще не правда. Весь караван, люди, животные, все повозки заметены, а вас нашли на поверхности. Вы считаете это правдой?

— Я сказал — правдоподобно, а не правда. Я не поручусь за все, что мне говорили, только передаю рассказ. И я не знаю, был ли я погружен в песок или лежал поверху. И то, и другое возможно. Легкого мальчишку ветер мог и катить, не засыпая, а тяжелый груз, людей и животных постепенно заваливало. Думаю, если произвести раскопки в окрестностях обсерватории, то останки погибшего каравана обнаружат.

— Обнаружить, что осталось в песках от погибшего каравана, можно, если он реально там погиб. Вы не пробовали раскопать пески, чтобы найти останки своих родителей?

— Даже не думал. До войны — не по возможностям. А во время войны — не до того.

— Что вы скажете о своей дальнейшей жизни после того, как вас спасли в пустыне? Вы ведь ее хорошо помните?

— Ничего не скажу — и как раз потому, что хорошо помню. Она привела меня к тому, что я стал президентом мира и подсудимым, ожидающим сурового наказания. Эта жизнь у всех на виду. Мои биографы, когда они появятся, скажут обо мне гораздо больше того, что я сам знаю о себе.

— Они уже появились, президент. И один такой биограф знает вашу жизнь гораздо лучше, чем ее знаете вы сами.

— Очень интересно! Кто же этот мой проницательный биограф?

Тархун-хор усилил звучность голоса до предела:

— Этот ваш биограф, лучше знающий вашу жизнь, чем ее знаете вы, — я!

Я уже не раз говорил, что на суде происходили события, вызывающие ошеломление или состояние, близкое к тому. Не могу сказать, что ответ Тархун-хора породил ошеломление, этого все-таки не было, но он всех удивил, особенно Гамова, и, вероятно, больше всего его. Что до меня, то я с самого появления первосвященника предчувствовал какую-то неожиданность и молчаливо ожидал, когда же она совершится.

Гамов продолжал спрашивать:

— Как понимать вас, Тархун-хор? Очевидно, вы раскопали что-то из того времени, о котором я ничего не помню.

— Правильно. Речь о той вашей жизни, которая была до появления в пустыне.

— У вас есть сведения о погибшем караване?

— Именно о нем. Его не было. Никакой караван не появлялся в те дни в окрестностях обсерватории. И никакой, естественно, не погибал.

— И у вас есть доказательства, что его не было?

— Конечно. О всех караванах, пересекающих северную пустыню Кондука, то есть южные края Латании, в обеих странах ведутся в торговых палатах подробные записи — откуда идут и куда, с чем, кто ведет, кто участвует в походе.

Я приказал моим священникам проверить в Кондуке и в Латании все сведения о бурях и торговых сношениях между двумя странами. Так вот, о той буре сохранились подробные сведения — и когда началась, и когда окончилась, и сколько было разрушений, какая скотина погибла в деревнях, как долго потом восстанавливались потери. И никаких сведений о каком-либо караване. Он ниоткуда не выходил, никуда не приходил, нигде не отмечался в пути.

Гамов, внимательно слушавший Тархун-хора, задумчиво произнес:

— А вы не допускаете, что то был не торговый караван, отмечаемый в коммерческих палатах, а какой-то иной, из переселенческих, из тайных для двух пограничных служб?

— Допустили и это. И проверили. Если караван погиб в окрестностях обсерватории, то где-нибудь в песках должны были

сохраниться его останки. И тогда раскопки покажут, как совершилась его гибель.

— Для раскопок надо точно знать место...

— И это учли. Мы пригласили ученых с приборами, фиксирующими любую неоднородность в песчаном слое. Неоднородности обнаруживались часто — скелеты давно погибших тварей, крыша дома, принесенная одной из бурь. Но погибшего каравана не было на обширном пространстве вокруг обсерватории. Даже мельчайших следов его не нашлось в толщах песка — какой-нибудь веревки, сбруи, колеса, не говоря уже о людях, верблюдах, повозках... Не проходил караван в этих местах.

Гамов пожал плечами. Во мне вдруг поднялись воспоминания о днях после мнимой казни. Что-то похожее на испытанное в тогдашнем секретном особняке открытие надвигалось и сейчас. Гамов поинтересовался:

— Как же вы толкуете мое присутствие в песках около обсерватории, если не было проходившего мимо каравана? От обсерватории до ближайшего поселка так далеко и такая дорога... Даже дюжий мужчина не рискнет на пеший поход, а я все же был мальчишкой, а не богатырем.

— Вы не приходили ни из какого ближнего поселка. Вы возникли из иного мира. И возникли из этого чужого мира именно в том месте нашего мира, где вас нашли.

На лице Гамова появилась улыбка. Отсутствие каравана, доставившего его к обсерватории, его смутило, но появление из чужого мира не укладывалось в голове.

— И вы верите, что такой чуждый нам мир реально существует где-то во Вселенной, почтенный Тархун-хор?

На это последовал ответ:

— Не только верю, но и твердо знаю, что такой иномир реально соседствует с нами в общей Вселенной. И что он во многом схож с нашим. И что жители иномира проникают в наш мир, а наши жители внезапно пропадают в иномире. И такие перескоки совершаются в течение многих веков.

— У вас имеются доказательства, Тархун-хор? Вы встречались с пришельцами из соседнего мира?

— Пока только с одним.

— Назовите его.

— Это вы, президент.

Гамов презрительно рассмеялся в лицо Тархун-хору. Раньше он не позволял себе таких поступков.

— Вздор, Тархун-хор! Придерживайтесь хотя бы примитивной логики! Повторяю — у вас есть твердые доказательства, что пришельцы существуют? Твердые, первосвященник, твердые, а не фантазии.

Тархун-хор чувствовал себя гораздо уверенней, чем Гамов.

— Доказательств в том смысле, какого требуете вы, у меня нет. Но есть свидетельства, подтверждающие существование иномиров.

— Излагайте их.

— Я лучше спою. Я привык их петь. Это очень древние тексты. Их еще предки переложили на музыку.

Гамов понимающе кивнул.

— Вы говорите о песнях пророка Мамуна? Я кое-что слышал об этих произведениях, их исполняют в храмах. Но разве они могут служить доказательствами в проблемах Вселенной? Ваш предок Мамун — великий поэт, но отнюдь не астроном. Мне пришлось несколько лет трудиться в астрофизике, но никогда не возникало потребности копаться в сказаниях Мамуна, они оставались вне науки.

— Прослушайте их снова, и вы перемените свое мнение о Мамуне.

Тархун-хор запел. Убежден, что если бы этот человек не стал первосвященником какой-то древней религии, то прославился бы как оперный певец, до того силен и красив, чист и звучен был его баритон. Я невольно заслушался и не сразу оборвал себя — нужно было не наслаждаться пением, а вникать в содержание того, о чем пел Тархун-хор, — все же это был молитвенный текст, а не оперная ария.

Всего Тархун-хор исполнил три песнопения Мамуна. В первом пророк вещал о каком-то дальнем мире, его навек потерянной родине. Тот мир огромен и славен большими городами. В нем сияет ослепительное солнце, в нем зеленеют обширные луга, шумят вековые леса, грохочут исполинские валы у берегов океанов. Но мир тот поражен великой хворью — враждой между народами. И происходит та вражда от разноязычия, каждый народ, даже изолированная где-нибудь в горах крохотная группка, говорит на своем особом языке, и его не понимают даже соседи. Это величайшее бедствие того мира — разноязычие — превращает в ад прекрасную планету. Пусть высшие существа того мира наконец соединятся и подарят своему миру величай-

шее из благ человеческого общения — одноязычие. Он вечно будет об этом молиться.

Такова была первая песня Мамуна, в общем, довольно ясная, — не столько доказывала, что существует иномир, сколько показывала устройство этого гипотетического мира. Зато вторая песня могла побить рекорд загадок. В ней было все непонятно от начала до конца — какие-то космические взрывы, вулканические извержения на ровных местах, целый народ, вдруг переброшенный из одной Вселенной в другую. И это мое толкование песни, а не сама песня, заполненная рыданиями пророка и сетованиями на жестокость собрания богов, изгнавших из своей среды какого-то неугодного бога с его народом.

А в третьей песне Мамун проповедовал, как жить на новой планете, куда волей богов переброшены их предки. Им даровано величайшее благо человеческого существования — одноязычие, — они должны стать достойными этого блага. И хоть сейчас даже их одноязычное человечество разделено на разные народы, он знает, что такое противостояние не вечно. Народится на их земле или прибудет из иномира великий вождь и сумеет сплотить все размежевавшиеся народы снова в один. Он молится, чтобы явление нового вождя произошло скорее.

На этом Тархун-хор закончил свое пение и возгласил, протянув к Гамову руку:

— Вы слышали пророчество Мамуна о вашем появлении среди нас.

Он, по всему, ожидал совсем иной реакции, чем то полунедоумевающее, полуироническое молчание, каким сопровождалось в зале его пение. Орест Бибер высоко поднял брови, Константин Фагуста засмеялся и весело тряхнул шевелюрой, даже чопорный Пимен Георгиу изобразил на сером лице что-то вроде улыбки — услышал-де чепуху, да прощаю. Гонсалес сохранял на своем красивом лице безразличное спокойствие. А у Гамова противоречивые чувства: удивление, интерес, скепсис — понемногу сложились в откровенное неприятие всего, что Тархун-хор напел. Он сказал:

— И вы верите, что Мамун открыл какой-то удивительный иномир, существующий по соседству с нашим?

— Не сомневаюсь, что он правдиво изобразил этот мир. Он был ясновидцем, наш великий пророк Мамун. Он проникал мыслью в любые миры.

Этого было достаточно, чтобы Гамов потерял интерес к Тархун-хору. Гамов ненавидел мистику. И даже когда использовал свое влияние на людей, казавшееся почти мистическим, он оставался реалистом, великим практиком политики. Гамов уже не скрывал насмешки.

— За полтысячелетия до нашего времени предсказал и мое появление из таинственного иномира, и роль, которую я сыграю в мире нашем? Скажите, уважаемый Тархун-хор, пророк Мамун не предсказывал, какое у меня будет имя, когда я возникну из иномира?

Настала очередь и Тархун-хору смутиться. Возможно, этот наивный человек ожидал, что Гамов возликует, узнав, что его пришествие возвещали высшие силы и что он сам принадлежит к породе этих сил.

— Нет, о вашем имени великий Мамун не пророчествовал в своих песнях. Он только предвидел ваше появление и вашу роль.

Вероятно, я был единственным в этом зале, кто отнесся к высказываниям Тархун-хора без недоверия и без насмешки. Конечно, пророческий лепет древнего поэта не мог убедить меня в достоверности его предвидения будущего спасителя мира. Все такие фантазии являются в каждую эпоху множеству людей, ибо человеку свойственно надеяться, что появится некий мессия и разом покончит с извечными непорядками, выручит из невзгод и недугов. Сила Мамуна была в том, что он выразил свои фантазии яркими стихами, что потом эти великолепные стихи положили на звучную музыку. Общая среди народов мечта о вселенском спасителе получила художественное оформление, она продолжала действовать уже не так на умы, как на чувства.

Но если пророчества Мамуна об ожидаемом в будущем мессии остались для меня лишь древними фантазиями, то к туманным сведениям об иномире, соседствующем с нашим, я не мог относиться как к вымыслу. Я ведь сам реально видел этот мир в приборах двух физиков, двух Бертольдов — Швурца и Козюры. И этот сопряженный с нами мир, как называли его и толстый ядрофизик Швурц, и худой хронофизик Козюра, я рассматривал и поражался, как он схож с нашим. Я вспомнил о бедной девочке, на моих глазах превратившейся во время ядерной войны в иномире в пылающий столб, унесшийся вверх, и стало так же страшно и больно, как было, когда до меня дошло изображение нашей девочки, с мольбой простиравшей ручки к небу. Гамов

говорил об угрызениях совести, о муках, порождаемых этим главным из человеческих чувств — состраданием к чужой беде и мукой своей ответственности за чужую беду. У меня заболело сердце, когда Тархун-хор пел первую песню Мамуна, ибо я не в силуэтном наброске, как у Мамуна, а в реальной картине снова увидел ту девочку в ином мире, превратившуюся в уносящийся в небо факел. Мне захотелось закричать, так стало больно сердцу. Гамов все-таки ошибся. Смерть той неведомой девочки не породила во мне угрызений совести, я не почувствовал ответственности за ее гибель. Но стало непереносимо стыдно, что живу в мире, где могут совершаться такие преступления, даже если этот мир называется не моим, а соседним.

Я постарался не показать своего состояния, когда Тархун-хор выпевал суду первую песню Мамуна, но сразу понял, что в ней не фантазия, а отблески реальных знаний. Зато пророчество Мамуна о грядущем спасителе меня не взволновало — поэтические мечты, сладостное ожидание царства добра. И пока Тархун-хор оглашал своим великолепным баритоном овальный зал заседаний, я понемногу успокаивался.

Между тем пробудился от молчания Гонсалес.

— Первосвященник, мы с интересом выслушали прекрасные песни вашего пророка, в них есть многое, о чем следует подумать на покое, если будет покой. Но какое они имеют отношение к нашему суду?

Тархун-хор с достоинством ответил:

— Я представил доказательства, что президент по происхождению не является жителем нашего мира и потому не может быть осужден нашим судом.

— Вы не представили доказательств. Все ваши доводы исходят из предположительного толкования фактов, но не отвергают и других толкований. Принять их в качестве бесспорных суд не может. Тем более, это относится к пророческому наследству Мамуна. Его поэзия — для концертов, а не для суда. Закрываю заседание до завтра.

Он первым покинул зал.

Я пошел вместе с Гамовым. Гамов со смехом сказал:

— Вам понравился балаган, устроенный первосвященником? Какие-то туманные предания о людях из чужих миров! Я не склонен преуменьшать свою роль, но далек от ее фантастического преувеличения.

Я ответил со сдержанностью, о некоторых фактах рано было распространяться:

— Ваше происхождение осталось непроясненным. Мы еще возвратимся к проблемам, поставленным семьдесят четвертым живым воплощением пророка Мамуна.

Придя к себе, я вызвал Павла Прищепу и Альберта Пеано. Павел слушал суд по стерео в служебных помещениях дворца. Я сказал с упреком:

— Павел, почему ты не информировал Гамова о том, что открыли твои физики? Существование иномиров показалось ему лишь фантазией малограмотного древнего поэта.

— Ты тоже не поделился с Гамовым тем, что узнал от моих физиков. Тебе, как и мне, не показалось своевременным перегружать его мозг сведениями о работах, далеких от завершения.

— Вызови физиков ко мне. Предсказаниям Мамуна полтысячи лет, но они свидетельствуют о том же. Это меняет все наши представления об истории. Больше нельзя держать Гамова в неведении.

К концу разговора с Павлом появился Пеано.

— Вы слушали суд? — спросил я. — Неожиданные факты, не правда ли?

— Неожиданно, да, — ответил он. — Но только в том смысле, что до речи Тархун-хора я представить себе не мог, что серьезное судебное заседание превратится в выслушивание исторических анекдотов и фантастических преданий.

— У меня другое мнение. Вас не удивило, Пеано, что у Гамова нет представления о своем происхождении?

— Один ли он, кто не помнит своих родителей? Меня мало интересуют его отец и его мать. Важно, что он такой, каким мы его знаем, и что мы считаем его своим руководителем.

— Завтра он перестанет быть нашим руководителем. Завтра Гонсалес приговорит его к смертной казни. Завтра, Пеано, завтра!

Пеано осветился своей прежней благожелательной улыбкой, лишь прикрывающей, а не выражающей его истинное состояние, он твердо знал, что будет завтра.

— Не так страшен Гонсалес, каким он себя малюет. Будем завтра ждать вашего сигнала.

12

Все совершалось, как я рассчитывал.

Гонсалес в длинной речи перечислил преступления, совершенные нами во время правления. Он, правда, не позабыл о том хорошем, что мы сделали, но хорошее выглядело гораздо бледней плохого. Раньше он с какой-то душевной страстью объявлял свои жестокие приговоры как высшее веление справедливости, а сейчас — и тоже во имя высшей справедливости — с не меньшей страстью осуждал нас за то, что недавно превозносил. И в обоих случаях был искренен. В моей голове такая искренность не уместилась. Но и самый суд, придуманный Гамовым, тоже не уместился в моей голове.

В заключение Гонсалес объявил, что возглавляемый им Черный суд приговаривает к смертной казни трех бывших руководителей Латании — Алексея Гамова, Андрея Семипалова, его заместителя, военного министра, и Аркадия Гонсалеса, министра Террора и председателя Черного суда. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

— Пусть войдет стража Черного суда и возьмет под арест троих приговоренных к казни! — возгласил он.

В этот момент все камеры повернули раструбы на меня. Омар Исиро знал, что ему делать. Сейчас на всех экранах мира могли видеть только меня. Я встал, поднял руку и громко проговорил:

— Время! Всем, кто видит меня, — время!

В зал ворвались не солдаты Черного суда, а водолетчики из дивизии Корнея Каплина. И впереди шагал сам старый полковник. Он встал рядом со мной с небольшим вибратором в руках. Гонсалеса окружило с десятков водолетчиков с Иваном Кордобиным и Жаном Вильтой, другая группа, с Сергеем Скрипником и Альфредом Пальманым, выстроилась вокруг Гамова. Он с удивлением смотрел на меня и на них. Гонсалес с возмущением крикнул:

— Что вы такое надумали, Семипалов? Где мои солдаты?

Я ответил достаточно спокойно, чтобы он сразу понял, что время парадоксов кончилось и теперь пойдет нормальная политика.

— Ваши солдаты арестованы и увезены из дворца. Объявляю арестованными Гамова и вас. Прошу не оказывать сопротивления.

В ответ Гонсалес рванулся ко мне. Я уже говорил, что в этом высоком, широкоплечем, худом человеке с женственной талией и ангельски красивым лицом таилась воистину исполинская фи-

зическая сила. Сейчас зрители во всех странах мира смогли оценить, насколько она велика. Три водолетчика отлетели от Гонсалеса, как щепки, и повалились на пол. Только ловкий Жан Вильта, ухватившийся за правую руку Гонсалеса, сумел удержаться на ней. Гонсалес яростно махнул Вильтой в воздухе, ноги водолетчика описали полуокружность. Но сбросить его с себя Гонсалес не успел. Мгновения борьбы с Вильтой хватило, чтобы на нем повисли остальные водолетчики. Я спросил:

— Связывать вас, Гонсалес, или покоритесь силе?

Он зло огрызнулся, уже не пытаюсь вырваться из десятка рук.

— Для чего арестовываете нас? Что за комедию вы надумали?

Я постарался, чтобы мой ответ прозвучал почти любезно:

— Прекращаю комедию, так правильней.

Гамов, спокойно сидевший в своем кресле, по-прежнему с любопытством глядел и на водолетчиков, и на Гонсалеса, схваченного целым отрядом дюжих молодцов. Не было заметно, чтобы вторжение военных в зал особенно потрясло его. Впрочем, хуже того, что готовил нам троим Гонсалес, ждать не приходилось. И когда в какой-то момент вдруг установившейся тишины Гамов обратился ко мне, в его голосе не прозвучало ничего, кроме обычной любознательности:

— Мне кажется, Семипалов, вы повторяете ту операцию, которая так удалась вам, когда свергли Артура Маруцзяна. Правда, сейчас она против меня.

— За вас, а не против вас, Гамов! — огрызнулся я. — В той операции я стремился вручить в ваши руки власть, в этой стремлюсь сохранить власть в ваших руках. Надеюсь, вы это скоро поймете.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал он без выражения.

Водолетчики наконец усадили Гонсалеса. В зал вошли все члены Ядра и расселись за столами — кто рядом с защитниками, кто с обвинителями. Пеано широко улыбнулся мне и помахал рукой. Гонсалес гневно отвернулся от старого друга. Вудворт хмурился — процессы, выходящие за межи дипломатических приличий, были ему не по душе, хотя, работая с Гамовым, он и раньше не мог обходиться без них. Бар, Штупа и Пустовойт изображали на лицах довольство, а Омар Исиро сиял — он, кажется, единственный по-серьезному тревожился, не сорвется ли задуманная операция. Одного Прищепы не было — он в этот час умчался в далекую секретную лабораторию за двумя физиками. Все стереокамеры были по-прежнему направлены на меня.

— Должен информировать мир о том, что произошло и что еще должно совершиться, — начал я. — Начало событий вы видели — Черный суд под председательством Гонсалеса вынес смертный приговор троим обвиняемым. Я не согласен с приговором суда и принял свои меры. Военные части арестовали Гонсалеса. Как это происходило, вы видели сами.

Гонсалес, приподнявшись в кресле — его тут же на всякий случай схватили за плечи стражи, — вызывающе крикнул:

— Вы преувеличиваете свои возможности, Семипалов. У вас нет права отменять решения нашего высшего суда.

Я постарался не показать закипавшую во мне злость.

— С чего вы взяли, что я отменяю ваши судебные решения? Я только приостанавливаю их. Лучший способ для этого посадить вас на время в тюремную камеру, а ваши карательные войска изолировать.

— Но вы и Гамова арестовываете, судя по тому, что вокруг него охрана. Себя-то вы не сажаете в камеру!

— Себя в камеру не сажаю, вы не ошиблись, Гонсалес. Больше того — на некоторое время узурпирую всю правительственную власть. Вы спросите, на какое время? На то время, пока Гамов будет сидеть в тюрьме. То есть на то, надеюсь, не очень длительное время, пока высший человеческий суд либо не отменит решение Черного суда, в чем я абсолютно уверен, либо не утвердит, что, по-моему, невозможно.

Снова пробудился пребывавший в молчании Гамов.

— Вы сказали — высший человеческий суд. Что вы имеете в виду?

Я повернулся к нему. Я задыхался от страсти и негодования, но с Гамовым надо было объясняться по-иному, чем с Гонсалесом.

— Что я имею в виду? То самое, к чему мы уже не раз обращались в трудные моменты. Только раньше мы призывали население нашей страны как верховного судью нашей политики ответить, за нас оно или против. А теперь мы пригласим на ответ весь мир. Вот он, верховный судья наших поступков, — коллективное мнение человечества. Перед ним должны отступить все частные решения, все личные пристрастия, все одиночные мнения, Гамов! Черный суд над нами — ваше единоличное решение, вы могли своей волей, своим умом, своей жаждой самопожертвования убедить и Гонсалеса стать заодно с вами, но уже меня убедить не смогли. Вот первый недостаток вашего суда, а

их будут тысячи. Я добровольно присоединился к обвиняемым, но не затем, чтобы покорно протянуть шею в петлю, а чтобы доказать вам и Гонсалесу, что недостойн справедливости этот суд над нами. Гонсалеса и вас убедить мне не удалось, вы готовы пожертвовать собой. Но я не хочу жертвовать собой. Не допущу и вас расправиться с собой. Судить нас станет все человечество, только такой суд я признаю. И до того, как прозвучит приговор всего человечества, я изолирую вас обоих от фанатичных слуг, от вас самих, наконец. — Я повернулся к Гонсалесу. — Как видите, я не отменяю вашего решения, вы, выбранный нами, и мной в том числе, наш законный высший судья. Было бы позорным для меня признавать ваши приговоры, пока они не затрагивают меня лично, и оспаривать их, чуть они мне невыгодны. И я не отменяю, но приостанавливаю ваш приговор, пока истинно высший суд не выскажет о нем свое мнение.

И повернувшись к стереокамерам, я торжественно провозгласил:

— Объявляю с завтрашнего дня подготовку к всемирному референдуму. Вопрос один: справедлив ли приговор Черного суда, вынесенный Алексею Гамову, Андрею Семипалову и Аркадию Гонсалесу?

После моего обращения к населению всего мира о референдуме охрана увела Гонсалеса в назначенное ему помещение. Сам Корней Каплин возглавил отряд, сопровождавший Гамова. Гамов, уходя, улыбнулся мне — показывал, что не сердится на свой арест. Я спустился вниз и попал в круг друзей. Готлиб Бар, старый, еще до войны, товарищ, громко расцеловал меня, Пустовойт и Штупа ограничились рукопожатиями, а Омар Исиро восторженно воскликнул, что был посвящен во все детали сценария, но до момента, когда Корней Каплин зашагал в овальный зал, трясся от страха, что план не удастся.

Смеющегося Пеано я поздравил с хорошим выполнением операции и подошел к Фагусте и Георгиу, по-прежнему сидевшим друг напротив друга — думаю, что один не вставал, потому что этого не делал другой, — они все старались делать одновременно. Фагуста захохотал, тряхнув шевелюрой, и громыхнул во всю мощь голоса:

— Отлично сработано, Семипалов! Так обдурили балбеса Гонсалеса! Что вы теперь будете делать с такими военными способностями в мире, где установили вечный мир?

Пимену Георгиу я сказал с иронией:

— Вы не разочарованы? Столько трудов положили, чтобы обвинить всех нас в тяжких грехах! Правда, не меньше трудились и когда истово нас восхваляли.

Он ответил с ледяной надменностью:

— Я всегда исполнял свой долг. И когда доказывал необходимость каждого вашего государственного акта, и когда вскрывал преступления, содержащиеся в любом из этих актов.

Семьдесят четвертый живой потомок древнего пророка терпеливо ожидал, пока я закончу переброс репликами с обоими журналистами. Он стоял передо мной по-военному прямо, седой, с яркими голубыми глазами, сверкавшими из глубоких глазниц.

— Я с ужасом слушал, что наговаривал на президента этот бессовестный человек, ваш Черный судья, — сказал он.

— Почему бессовестный? — засмеялся я. — Каждый делает, что умеет. Гонсалес лучше всего осуждает. Это его страсть — карать.

— Есть существа, неподвластные его суду.

— Для Гонсалеса таких существ не существует.

Из глаз первосвященника вырвалась вспышка. Он медленно проговорил:

— Вижу, вижу — и вы не поверили в то, что я рассказал о происхождении президента.

Я широким жестом обвел овальный зал.

— Здесь много людей, уважаемый Тархун-хор. Могу вас уверить, что я больше их всех согласен с вами.

За время суда я почти не занимался государственными делами. Их накопилось множество. Я удалился к себе — и просидел в кабинете до ночи. Позвонила Елена, она радовалась, что призрак незаслуженной кары рассеян, и просила прийти домой. Я отговорился занятостью и пошел к Гамову. Около его квартиры ходила стража — все те же водолетчики. В приемной Гамова сидели Сербин и Варелла, они вскочили, когда я вошел.

— Как ваш полковник, друзья? — осведомился я.

Мне ответил Варелла, Сербин только поглядел затравленными глазами.

— Ходит по комнате. Прислушиваемся — не позовет ли? Нет, молчит, только ходит — от окна к двери, от двери к окну.

Гамов прекратил свою ходьбу, когда я вошел, показал мне на кресло, сам сел напротив. Мне показалось, что он готовится к долгой беседе. Я тоже готовился к ней.

— Вы так долго отсутствовали, — пожаловался он. — Я боялся, что вы вообще не придете — можно уже со мной не считаться.

— Сами виноваты! — огрызнулся я. — Раньше делили поровну всякие неотложности, а теперь все взвалили на меня одного.

— Будете перевозить меня в тюрьму? — переменял он тему разговора.

— Зачем? Вас нужно изолировать от людей Гонсалеса, да и от вас самого. Не уверен, что вы сегодня предсказуемы. До референдума побудете здесь, а потом снова появитесь перед народом.

— А вы уверены, что референдум отвергнет приговор Гонсалеса?

— Гамов, вы же умный человек. Неужели вы сомневаетесь, что Гонсалеса поддержит только малое число? Бесконечно малое число, если говорить терминами математики...

— Нет, я не сомневаюсь. И это меня тревожит.

— Хотите смерти? — спросил я прямо.

— Хочу эффектного завершения, — ответил он столь же прямо. — Одно дело — появиться, красочно победить и исчезнуть, оставив миру решение кардинальной философской проблемы — где граница между добром и злом. Остаться и руководить усмирённым миром — это все же не вклад в философию.

— Знал, что вас мучают философские болезни, но не до такой же степени... Это временная хворь, Гамов. Мы еще поговорим о философском содержании наших поступков. И сделаем это без Гонсалеса и Бибера. Один орудует в философии топором, другой хрупок — раз поспорил с вами и сразу сломался, перейдя в вашу веру.

— Вы будете мягче Гонсалеса и тверже Бибера, Семипалов?

— Ваш ученик, Гамов. Это обязывает. Постарайтесь до референдума не заболеть по-серьезному.

В приемной Сербин со страхом смотрел на меня. Мы говорили с Гамовым тихо, он ничего не мог расслышать — это испугало его.

— Семен, слушай меня внимательно. — Впервые я назвал солдата по имени, а не по фамилии. — Для начала — ты обыскал полковника? И одежду его, и все помещения? Ножи, бритвы, карманные импульсаторы?..

Он быстро ответил, страх его увеличивался:

— Мне помогал Варелла, он взял на себя помещение, я — всю одежду. Импульсатор был в столе, Григорий его изъяс. Я ничего не нашел.

— Отлично, Семен. Теперь так. Полковник плох, у него помутилось сознание. И если с головы полковника упадет хоть волос по причине твоего попустительства... Своей головой ты не расплатишься даже за один волос полковника!..

У Сербина жалко исказилось лицо. Он схватил мою руку и припал к ней губами. Я вырвал руку и вышел. Я волновался не меньше, чем он.

13

Мне не хочется распространяться о тех двух неделях, что прошли до референдума. В них было слишком много звонков, встреч и разговоров. Я начинал сердиться, когда меня спрашивали о Гамове. Гамова ничто плохое не ожидало, в этом я был уверен. Референдум мог завершиться только его новой громкой победой. Так оно и произошло. Я не помню, сколько людей поддержало приговор Гонсалеса в Нордаге, Патине, Родере, Ламарии, наверное, были и такие. Но они исчислялись той величиной, которую я в разговоре с Гамовым окрестил бесконечно малой. В Патине и Кортезии, в Клуре и Корине таких ненавистников Гамова вообще не оказалось. О южных и восточных странах я не говорю. Тархун-хор успел перед референдумом объявить Гамова вторично явившимся в наш мир пророком — после этого в странах, где верили в Мамуна, никто не осмелился даже подумать о смерти Гамова, не то что потребовать ее на референдуме. По телефону я сказал Гамову о новом демарше первосвященника примерно в таких выражениях: “Привет вам, духовный владыка четверти человечества! Вы теперь не политик, а пророк. — звучит впечатляюще, не правда ли?”

Мы с ним посмеялись удивительному повороту его популярности.

А когда результаты референдума стали ясны, я предупредил Гамова, что явлюсь к нему для долгого и серьезного разговора.

— Вы пока мой тюремщик, — ответил он без иронии, — и потому можете приходить без предупреждений.

— Но с предупреждением лучше, — возразил я и направился к нему.

В приемной я спросил вскочившего при моем появлении Сербина:

— Как полковник?

— Все ходит по комнате. Так вроде бы ничего, только все ходит.

Гамов улыбнулся мне и показал на кресло.

— Диктатор, поздравляю вас с освобождением, — сказал я, усаживаясь. — И докладываю, что специальным приказом ликвидирован Черный суд. Гонсалесу предстоит выбрать себе новую должность. Я ему ничего не предлагаю, это можете сделать вы, воротившись в президенты. Рекомендую лишь подыскать ему что-нибудь не раздражающее людей, он один из тех, кого всюду ненавидят.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Вы сильно сдали, Семипалов! Вы не больны?

Я не удержался от упрека:

— В принципе — здоров. А если выгляжу худо, так вы задали мне хлопот. Думаете, было просто вас арестовать? Кстати, вы выглядите не лучше моего.

Он, и правда, казался усталым и постаревшим.

— Много думаю, Семипалов. И в частности о вас.

— Ругали меня?

— Зачем? Вы действовали, наверно, правильно. Но испортили всю программу, которую я намечал для себя.

— О вашей дальнейшей дороге потолкуем особо. Разрешите вначале доложить, что я проделал за вас, взобравшись на ваше высокое кресло.

— Докладывайте, — сказал он без интереса.

Я рассказал о встречах с руководителями разных стран, о демобилизации армий, о переводе военных заводов на мирную продукцию. Это были проекты, о каких он мечтал, теперь они становились реальными событиями. Описание того, что я совершил за дни его временного отсутствия, не могло не увлечь его. И он понемногу оживлялся.

— Как видите, я действовал в вашем духе, как ваш исполнительный ученик. Будете критиковать?

— А вы думаете, что все так хорошо, что и покритиковать не за что? Раньше у вас не было такого самомнения, Семипалов, — пошутил он.

— Раньше я работал за себя, теперь же выполняю вашу программу. Из почтения к вам не осмелюсь себя критиковать. Звучит, конечно, парадоксально, но ведь это ваш метод — все осуществлять через парадоксы. Теперь побеседуем о том, что де-

лать завтра. Вы сказали, что хотели бы идти иной дорогой. И в том, что реальная дорога отлична от вымечтанной, — моя вина. Все это туманно. Туманностей раньше у вас я не замечал. Неожиданности, парадоксы — да, но не туман. Поэтому хотел бы объяснения.

Он рассеяно глядел в окно. То ли колебался, нужно ли рассказывать мне о своих планах, то ли не знал, с какой стороны подойти. И хоть такая нерешительность была несвойственна Гамову, я терпеливо ждал — в происшествиях последнего времени, начиная с суда над собой, было много такого, чего я не понимал. Нужно было поставить все точки над *i*.

— Ответьте мне на один важный вопрос, но только не сразу, а подумав, — прервал он затянувшееся молчание. — Кто я такой, по-вашему?

— Не уверен, что над ответом нужно долго думать. Вы — разный. Вы менялись непрерывно с того дня, как я вас узнал. Сперва инженер-астрофизик, потом офицер плохо обученного полка, потом командир грозного воинского соединения. Что еще? Благодетель своих, но одновременно и тех, с кем воевали, а в результате победитель в войне, объединитель земли в единое государство, первый общемировой президент. И главное — в каком бы образе вы ни являлись, вы всегда на своем месте. Вы единственный человек, который неизменно соответствует сложившимся вокруг обстоятельствам. Верней — вы из тех редчайших деятелей истории, которые умели создавать нужные себе обстоятельства и потому всегда им соответствовали.

— Не то, — сказал он и поправился: — Не буду опровергать, хотя бы потому, что такое понимание мне приятно. Но вы описываете реального человека, своего напарника, и это — ошибка.

— А разве вы не реальный человек, Гамов? И разве я не ваш помощник? Слово напарник слишком высоко, не надо мне льстить.

— Все верно, — повторил он. — Реальный человек, вполне реальный. Но не в этом суть. Я отделился от себя телесного. Моя нынешняя реальность в том, что я стал бестелесным.

— На призрак вы все же мало похожи, хотя и не вполне поправились от болезни. До бестелесности пока далеко.

Он начал сердиться на мою иронию.

— Вы не хотите меня понимать! Моя бестелесность в том, что в глазах множества людей я превратился из человека в символ.

— В символ чего, Гамов?

— Вы перечисляли отдельные мои функции и посты, но каждый мой новый образ становился постепенно символом некой цели. Если вам не нравится “символ”, применяйте термин “идея”. Я превратился в воплощение идеи. Если я и перестану жить, а это неизбежно, то идея, воплощенная во мне, не пропадет, а усилится.

До меня не сразу доходили его откровения.

— Вы сказали — в каждом вашем poste был свой символ? Но если так, то ваша дальнейшая деятельность на посту всемирного президента породит свои новые идеи, и они станут новыми символами.

— Вот именно! — воскликнул он. — И каждый новый символ, воплощаемый во мне, будет ослаблять уже осуществленные мной идеи, прежде них ставшие символами моего существования. Моя нынешняя драма в том, что я достиг главного, чего хотел. И каждый новый день будет не усиливать, а ослаблять меня. Вам теперь понятно?

— Не все. Итак, вы осуществляете в себе сегодня некий символ. Снова повторяю — чего? Объясните хотя бы в двух словах.

— В двух словах такие понятия объяснить не могу.

— Хорошо, не в двух, а в ста. Обещаю не перебивать.

Он начал издавека. До войны ему и мысли не являлось, что он — нечто большее, чем рядовой ученый, наблюдатель далеких звезд в обсерватории. Внезапный призыв в армию, возмущение бездарностью командиров, решавших его судьбу, заставил ощутить себя военным, умеющим сражаться гораздо искусней, чем они. Это еще не было чувством предназначения. Но выход из окружения, начавшаяся перед этим борьба с правительством, породили ощущение, что он способен заменить бездарных руководителей страны. Он еще не шагнул дальше такой идеи — возглавить народ и повести его вперед. Куда вперед? Только ли к победе в этой войне? К победе, порождающей как свое неизменное следствие неизбежную в будущем возможность новых войн? Нет, ради этого не следовало захватывать руководство страной. Истинное его предназначение — бороться не за победу в войне, а за уничтожение всякой войны вообще. Побеждать не в войне, а войну.

— Одно я сразу понял — и это была новая мысль, — продолжал Гамов, все более возбуждаясь от нахлынувших воспоминаний, — что старыми — классическими — способами не

пойти войной на войну. Ведь в ней возникает свое обаяние, свои высоты — смелость, находчивость, выручка друзей, способность к самопожертвованию, — да и еще много свойств, признаваемых благородными. Надо было обличить войну как преступление. Но сделать это открыто — выбить оружие из рук собственного солдата. Отнять у собственной армии уверенность не только в необходимости борьбы, но и в благородстве этой борьбы — да это самому толкнуть ее на поражение! Я не был дураком, чтобы решиться на такое. И я знал, что вы, мои помощники, не позволите мне этого. И тогда я придумал для себя раздвоение. Громко, на всю страну, на весь мир доказывал правоту нашей войны и исподволь напоминал, что и в нашей правильной войне всегда присутствуют горе и лишения, что рано или поздно придется за них отвечать. Поручить двум разным людям такое противостояние мнений я не мог, страсть защиты своих мнений привела бы их к такой схватке, что вышла бы за межи государственно допустимого, — и пришлось бы каждого одергивать. И я решил оставить за собой одним это противоборство добра и зла, ибо только я один мог соблюсти в каждый момент нужную меру между восхвалением и критикой. Так появились Константин Фагуста и Пимен Георгиу — и каждый думал, что только он выражает мои сокровенные взгляды.

— Вы и с Гонсалесом и Пустовойтом проделали нечто похожее, — заметил я. — Один, распространяя террор, вселял в каждого ужас, другой защищал от террора актами милосердия.

— Похожее есть, но есть и различие, — возразил Гамов. — Редакторы вели свои линии открыто, в том было их преимущество. Гонсалес виделся гораздо злей, чем был реально. Что же до Пустовойта, то в первое время он вообще лишь втайне исполнял свою функцию милосердия. Главными в задуманном мною плане были Георгиу и Фагуста, а не Гонсалес и Пустовойт.

— Итак, вы увидели высшее предназначение в том, чтобы не только победить в войне, но сделать ее действительно последней. А так как это при множестве разнородных государств немислимо, то надо подвести мир к единодержавию, то есть стать всемирным президентом. Я правильно рисую ваше предназначение?

— Правильно, но односторонне. Вы увидели далеко не все.

— Что я увидел и чего не увидел?

— Нашу военную цель вы видели ясно с самого начала. И то, что мы вообще добились ее, также и ваша заслуга — вы планировали наши военные операции. Но вы пока не поняли последнего моего предназначения себе, гораздо более важного, чем облик президента, упразднившего войны и объединившего человечество в едином миродержавии. К сожалению, вы дальше политики и войны не смотрите.

— А есть еще что-либо столь же важное, как война и политика?

— Есть, Семипалов.

— Что вы имеете в виду?

— Проблемы морали. Даже так — революция в морали и моя роль в ней. Я задумал нравственный переворот в сознании людей.

— Очень интересно. А подробней?

Последнее предназначение открылось ему в те дни, когда водная аллергия поразила Клур и Корину. Классическая теория войны покоится на аксиоме — что врагу во вред, то нам на пользу. Мы помогли врагам спасти их детей — и уже тем поколебали их ненависть к нам, нашу ярость против них. Основы так легко вспыхивающего недоброжелательства, вызывавшего войны, были поколеблены, но еще не разрушены. Ибо, помогая врагам, мы еще не жертвовали своим добром — могли подумать, что, спасая чужих детей, мы оберегаем своих — просто нашли, мол, новый способ защитить свои границы от наседающей хвори. Но тут разразился голод у наших соседей. Голод у них шел в наш великий прибыток — шатающийся от недоедания враг уже не солдат. По законам военной классики то была великая удача. Против стратегии восстала нравственность. “Твой сосед, его жена, его дети страдают от голода, окажи им помощь, на это у тебя хватит возможностей”, — требовала очнувшаяся совесть. “Не сходи с ума, враг использует твою помощь против тебя, ибо ты не только усиливаешь его, но одновременно и ослабляешь себя”, — сурово напоминала стратегия. “Пусть это безумие, — твердила совесть, — но они же мучаются, они протягивают руки — я не могу не помочь”. — “Они — враги! — настаивала стратегия. — Не мешай мне готовить победу!” — “Они — люди! — плакала совесть. — Не нужна мне твоя победа на поле, усеянном умершими от голода по моей вине, ибо мы сами вызвали этот голод созданной нами засухой”.

— Вот так они схватывались в моей душе, эти две могучие силы — интересы войны и муки совести, — сумрачно говорил Гамов. — И обе были близки мне, обе были потенциями моей собственной души — я руководил войной и вел ее к победе, и я страстно пробуждал в народе вечные нормы морали, заглушаемые фанфарами каждодневной целесообразности. Минутное схлестнулось во мне с вечным! И вскоре я понял, что стратегия побеждает нравственность. Вы, Семипалов, отшатнулись от меня, вокруг возникла пустота, а сквозь эту расширяющуюся пустоту издалека доносился гул растерянности и непонимания. И тогда я почувствовал, в чем истинное мое предназначение в этом мире — не военным победителем предстать перед ликующим народом, а образом страдания и торжества совести, когда и хлеб завоеванной злом победы горше желчи, и оставленная себе половинка пайкового хлеба слаще меда именно потому, что другую половинку ты великодушно отдал ему, твоему сегодняшнему врагу, такому же человеку, как и ты, и если сделал себе зло, то во имя добра, — себе сделал зло, а не врагу, Семипалов! Простите мне эти выпренные слова — страдание и торжество совести, но я их в те дни болезни повторял чуть ли не ежеминутно, я дышал ими, как воздухом. Я стал для себя образом нравственного долга, увидел в себе символ общечеловеческой совести, лишь волей обстоятельств персонифицированной во мне. И я бросил себя на чашу заколебавшихся политических весов. Устами Семена Сербина я ежедневно твердил народу: вот он я, больной, отказывающий себе в полновесной пище, призываю и вас к этому, ибо есть нечто высшее в каждом из вас, я только символ этой вашей собственной высшей природы, так дайте ей возможность открыть себя. А если не откроете, если животное себялюбие заглушит в вас высшее ваше начало, то и я, как разбитый символ вашего нравственного величия, прекращу свое существование — и заранее к тому готовлюсь.

— Никто не сомневался, что вы прекратите принимать пищу, если референдум будет против вас. Но вы победили, Гамов.

— Да, я победил. И бесконечно горжусь, что силы совести оказались мощней традиций зла, столь часто господствовавших в истории. Вечное добро, истинная правда существования преодолели повседневную выгодность зла — и это совершенно мною! Вот что открылось мне в последние дни моей борьбы! Живой образ торжествующего добра, символ справедливости на века, не на одно маленькое человеческое существование, — раз-

ве это сравнится с постом всемирного президента? Только одно еще следовало совершить, чтобы стал абсолютным символ общечеловеческого добра и совестливости, персонифицированных во мне. Но этого не произошло.

— И вина в том, что не произошло, очевидно, моя, Гамов?

— Ваша, Семипалов! Вы сорвали общемировым референдумом решение суда, очень нужного мне для полного утверждения.

— Ваша казнь была так необходима для окончательного возвеличивания?

— Не надо иронии, Семипалов! Именно моя казнь была для этого необходима. Вдумайтесь, и вы сами это поймете. Нам с вами ясно, что движение добра везде сопровождалось попутным злом, что само это попутное зло становилось иновыражением добра. Зло — всегда зло, только прикрывается маской добра. И я задумал не только восславить добро, но и осудить примазавшееся к нему зло. И совершить эти две операции в одном лице — в моем собственном. Семипалов, какого сияния достиг бы образ воплощенного во мне величия! Собственной жизнью породил великое добро, собственной смертью уничтожил тянувшееся за ним зло! Еще ни один человек не достигал такой высоты, а вы лишили меня этой высоты — стать единственным в мире воплощением процесса совершенствования. И когда я подумаю, что теперь... Назначать на должностные посты, планировать производство, заботиться об улучшении еды, строительстве домов... И с каждым своим действием постепенно превращаться из символа в обычного человека, из высшего образа философии в расторопного администратора... Видит бог, не к этому я стремился!

Он говорил слишком восторженно, слова звучали слишком напыщенно. Но я удерживал себя в руках, от моей выдержки зависел дальнейший поворот событий.

— Да, Гамов, облик вы себе сотворили впечатляющий. Не политический деятель, а сверхъестественное существо. Но почему же вам и дальше не сохранять себе такое почти божественное сияние?

Он сразу насторожился. При его дьявольской интуиции он, конечно, предчувствовал, что я пришел к нему не только выслушивать жалобы на уничтоженный нимб великомученика справедливости.

— Что вы подразумеваете, Семипалов?

— То, о чем докладывал первосвященник Тархун-хор. Он считает вас пришельцем из иномира.

Гамов остывал на глазах.

— И вы верите в этот вздор?

— Я бы не осмелился безапелляционно отрицать существование...

Гамов прервал меня.

— Вы забываете, что я в прошлом астрофизик. Доказывать астроному, ежедневно созерцающему миллионы светил в нашем мире, что рядом раскинулся еще иной, невидимый, сопутствующий или сопряженный — названий можно подобрать десяток... не слишком ли многого хотите?

— Только внимания и размышления. Апеллирую к вашему разуму, а не суеверию, которого в вас нет. Предлагаю исходить из фактов, а не из чертовщины. И тогда докажу, что вера Тархун-хора в ваше неземное происхождение нисколько не противоречит реальным фактам.

— Слушаю вас. — Гамов с удивлением посмотрел на меня.

Я напомнил ему, что он не знает своего происхождения — и уже по этому одному оно примысливается, а не подтверждается метрикой. Чем вымысел Тархун-хора хуже других вариантов? А потом рассказал о секретной физической лаборатории Павла Прищепы. О том, как встретился с ядрофизиком Бертольдом Швурцем и хронофизиком Бертольдом Козюрой и как меня поразило их сообщение о сопряженном мире, параллельном нашему, но независимом от нас. И как сам потом наблюдал при помощи их ядро— и хроноаппаратуры удивительные картины того мира, похожего на наш, но чудовищно огромней нашего.

— После возвращения из небытия я позабыл об инструментальных открытиях тех двух физиков. А когда на суде Тархун-хор заговорил о загадке вашего появления в нашем мире, я вспомнил о двух физиках. И потому совсем по-иному воспринял первосвященника, чем все в зале. Так удивительно, Гамов, сходились предания Тархун-хора с реальностью нашего двойного мироздания, что я поверил во все, что вы назвали бреднями. Я велел Прищепе доставить ко мне Швурца и Козюру. Они наблюдали заседание суда и были уверены, что вы именно такой пришелец из иномира, каким вас нарисовали. Все сходится до мелочей. К тому же, один из них считает и себя вышвырнутым из иномира, правда не достигшим ваших успехов в мире чужом, а другой сам пытался проникнуть в иномир, но потерпел аварию

на переходе. Оба заверили, что аппарат переброса настолько усовершенствован, что сейчас авария исключена. За день до референдума я с Павлом побывал в лаборатории и снова видел пейзажи сопряженной вселенной, и они поразили меня еще сильнее, чем в первый раз. Я снова понял, что иномир мне чужд, ни одна черточка его не восстанавливает во мне ощущения чего-то забытого. Но не воспримете ли вы картины иномира иначе? Если вы когда-то пребывали в нем, то не восстановится ли воспоминание о чем-либо, изображенном на этих фотографиях?

Я положил перед Гамовым кипу снимков с экрана иновизора — так называли физики свой прибор. Гамов не просто разглядывал их, а вдумывался в каждую картинку — иногда даже закрывал глаза, чтобы лучше понять, что увидел.

Потом он сложил их в кучку и протянул мне.

— Любопытный мир. Не ожидал, что такой реально существует. Но он ничем не воспроизвелся в моей памяти. Если я и прибыл оттуда, то амнезия полностью вычеркнула его из сознания. Не забывайте, что меня ребенком нашли в пустыне около Сорбаса. Что я мог запомнить?

— Значит, в принципе вы допускаете?..

— Семипалов, не надо хитрить! — оборвал он меня. — Я понимаю, чего вы хотите.

— Да, Гамов, именно этого! И оно — то самое, о чем вы мечтали для себя. Но вы избрали ужасное средство! Казнить себя, чтобы доказать свое величие! А тут не казнь, а уход в иное существование. Это гораздо эффективней! Не низменное, не кровавое уничтожение своего живого тела, а вознесение живым в иные сферы. Нечто сверхъестественное в реальной политике.

Он сказал задумчиво:

— Что-то есть, не отрицаю. А вы останетесь претворять в практику единого государства нашу мысль о существовании без войны, без государственных споров, идею о едином человечестве?

— Вашу идею, Гамов, вашу, а не мою. Я честолобив не меньше вашего, а возможно, и больше. Но мое честолобие на порядок приниженной. Оно не вторгается в лес философских категорий, оно не идет дальше политики. И если мне удастся укрепиться в памяти истории верным вашим учеником, реальным воплостителем вашей идеи единого миродержавия, то я сочту себя на вершине своих мечтаний.

Он протянул мне руку.

— Вы убедили меня. Готовьте аппараты к броску в иномир.

14

Я ехал с Павлом Прищепой в переднем водоходе, за нами шла машина Гамова, он пожелал остаться один, а за ним целая кавалькада — члены Ядра и охрана. Павел сказал:

— Все же я удивляюсь, Андрей. Так легко согласиться!

— Ты говоришь о Гамове?

— О Гамове мне говорить нечего. Его будет судить история, а не мы. Но почему мы согласились с ним? Отпустили без возражений. И удивляюсь, и не понимаю себя.

— А что не понимать? Ты сам дал ответ на свой вопрос. Гамова будет судить история, а не мы. Нам — делать то, что делали и раньше: покоряться его решениям. Впрочем, повторю то, что говорил на Ядре: я известил Гамова об открытиях двух физиков и подал мысль о перенесении в иномир как отличном завершении своей грандиозной карьеры. Он ухватился за эту мысль. Все нормально.

— Хороша нормальность! — с негодованием пробормотал Павел.

Мимо проносились деревья старого леса. До лаборатории физиков осталось с десятков лиг. Павел снова заговорил:

— Мне звонила Елена. Сколько дней прошло с окончания суда, а ты не приходишь домой. Отговариваешься, что занят.

Я засмеялся.

— Передай ей, что явлюсь после вознесения Гамова.

— Явись без предварительных обещаний — единственное, что нужно.

Я искоса посмотрел на него. Он был очень хмур.

— Павел, — сказал я, — тебе не кажется, что ты был бы Елене гораздо лучшим мужем, чем я?

Он резко ответил:

— Давно так думаю. Но Елена выбрала тебя, еще когда мы оба ухаживали за ней. Приходится считаться с ее ошибками.

Мы въехали в парк, подкатили к крыльцу. Навстречу выскочили оба физика. Я подвел их к Гамову. Они были вне себя от восторга, что сподобились наконец признать их открытие.

— День вашего торжества, друзья! — сказал им Гамов. Он умел находить слова, каких ждали от него. — Я ваш первый пассажир в иномир. Не тревожьтесь?

— Все сойдет прекрасно! — восторженно крикнул толстый ядрофизик Бертольд Швурц. — Даю немедленно голову на отсечение, если хоть малейшая запятая не та! Семь раз пересчитывал переход в иномир. Все интегралы сошлись. Прокатитесь в кабине, как в карете.

— И мою голову берите! — поддержал друга худой хронофизик Бертольд Козюра. — Не то чтобы хоть секунду на переброс... Пронесетесь практически вне времени. Матрица перехода в иномир дала разброс в две микросекунды — самый пустячный пустяк.

— Во время такого вневременного перехода даже соскучиться не успею. — Гамов пожал им поочередно руки и пошел в лабораторию. Оба поспешили за ним — толстый Швурц семенил короткими ножками, худой Козюра широко размахивал ногами, как исполинскими ножницами.

На втором этаже, рядом с иновизором — в нем впервые я увидел сопряженный мир, — высилось новое сооружение — кабина для вневременного переброса из нашего мира в сопряженный: куб размером с добрую комнату, весь заставленный механизмами, приборами и пакетами. Назначение приборов и механизмов я узнал в последнее посещение лаборатории — хронодвигатели, обеспечивающие переброс вне времени, и ядромоторы, дававшие энергию хронодвигателям для скачка из одной вселенной в другую. Но пакеты меня удивили.

— В них, — разъяснил Бертольд Швурц, — гарантия от случайностей. Импульсаторы, вибраторы, водомоторы, даже водолет на одну персону... На всякий случай.

— А также еда недели на две, — добавил Бертольд Козюра. — Тоже на непредвиденный случай.

— Боюсь, там будет все непредвиденно, а не только отдельные случаи, — сказал я.

Гамов в это время разговаривал с Готлибом Баром и Николаем Пустовойтом. Я поманил его к кабине, подошли и другие члены Ядра. Физики ввели Гамова внутрь кабины, объяснили назначение каждого механизма. Меня отвел в сторону Гонсалес.

— Вот и получилось по-вашему, Семипалов, — сказал он печально. — Мы с вами вдвоем остались в живых, хотя и заслужили смерть, а нашего великого руководителя отправляем в изгнание.

— Раньше это называлось вознесением, а не изгнанием, Гонсалес.

— Раньше таких событий вообще не происходило. Скажите мне вот что, Семипалов. После исчезновения Гамова на его пост подниметесь вы. Вы смените Гамова, но сможете ли заменить его?

— Вопрос неправомерен, Гонсалес. Он не предусматривает ответа. Может ли трава, попавшая под ноги, заменить машину, сломавшуюся в пути? Может ли, даже если его подучить, умный бык стать профессором математики?

— Я ждал иного ответа.

— Я сделаю то, что дано мне сделать. Новые пути в истории не открою. Но уже открытую Гамовым тропку постараюсь утоптать. Я не Гамов. Как, впрочем, и вы, Гонсалес.

— Понятно, — сказал он со вздохом и отошел к кучке около кабины. Там шел оживленный разговор. В сторонке стояли Готлиб Бар и Николай Пустовойт. Я присоединился к ним.

— Совершается, — сказал я. — Вот и конец нашего общего движения к мирному миру. Наш глава исчезает — и как величественно!

— Лучше бы остался, — отозвался Николай Пустовойт. Он еле сдерживал слезы. — Величия у него хватает и без этого...

Готлиба Бара тоже огорчало путешествие Гамова в иной мир. Он не восстал против его желания, но считал, что и без сверхъестественных вознесений вполне хватило бы большого дела, ничуть не убавляющего уже завоеванное величие. Между прочим, Готлибу Бару наша победа пошла на пользу больше всех. Он, как и Фагуста, страдал от скудности нашего служебного пайка и теперь отъедался за многие месяцы вынужденного голодания — пополнел, на щеках появилась краска, возобновилась свойственная ему прежде вальяжность в движениях. И он вспомнил, что до войны отдавал свое время не только службе — уже пригласил меня на возобновленные “четверги”, где можно было поговорить о литературе, о новинках науки и повстречаться с интересными людьми. Показывая на стоявшего у кабины Гамова, Готлиб Бар сказал то, что тревожило нас всех, — при нем мы что-то значили, сохраним ли свое значение, когда он уйдет от нас? Бар с чувством произнес слова древнего поэта:

...Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возбудив бескрылое желание
В нас, чадах праха, после улететь.

Я знал этого поэта и добавил:

— Ты опустил следующую строчку, Готлиб: “Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!” А она ко времени — воистину пора.

Я подошел к Гамову.

— Не время ли, Гамов, объявить прощание с нашей землей?

Гамов торжественно встал спиной к кабине. Все стереокамеры направились на него. Он произнес всего несколько слов — признавал, что по происхождению из иномира, рад судьбе, назначившей ему сыграть большую роль на новой родине, и уверен в своих помощниках, ставших его преемниками, — они поведут мир и дальше по проложенному им пути.

— Прощайте, друзья! — проговорил он и повернулся к кабине.

Все остальное сохранилось во мне так зримо и так четко, словно я тысячи раз рассматривал одну и ту же картину. Гамов двигался несколько впереди, почти вплотную к нему с правого плеча шел я, меня — и тоже почти вплотную — сопровождал Гонсалес, а слева от Гамова, тоже на шаг позади, шествовали Вудворт, Пустовойт и Бар. У входа в кабину стоял Бертольд Швурц и держал руку на пусковом рычаге, чтобы включить ядро- и хрономоторы в момент, когда Гамов вступит в нее. И Гамов уже занес туда ногу, когда Гонсалес повернул церемонию вознесения в иномир по своему сценарию. Я, кажется, упоминал, что у этого человека, выглядевшего почти идеальным красавцем, была одна несообразность в пропорциях — почти обезьяньи длинные руки. Никогда не мог предполагать, что длина его рук сыграет такую роковую роль в моей собственной судьбе.

Гамов, повторяю, уже занес ногу в кабину, а мы остановились в шаге от нее, когда Гонсалес неожиданно для всех совершил одновременно три движения — протянул вдоль моих плеч левую руку, схватил ею Гамова и с силой отшвырнул его назад, меня с такой же силой толкнул грудью вперед, а правой рукой отбросил Швурца в сторону — толстый ядрофизик, даже не вскрикнув, повалился на пол. Под многоголосый вопль, вырвавшийся у всех, я влетел в кабину и рухнул, а Гонсалес, это я увидел последним зрением, рванул к себе пусковой рычаг.

И во мне распространилась безмерная тьма.

15

Я очнулся на кровати в большой светлой комнате. В окно лилось солнце, его яркость смягчали полупрозрачные гардины.

Возле кровати рядом стояло пять кресел, в каждом сидел мужчина в халате поверх мундира. Они молча смотрели на меня, я молча смотрел на них. Они были очень разными и одновременно очень похожими. Разными были их возраст и, очевидно, чин. Похожими — лица и мундиры. Первым у постели поместился горбоносый бородатый старик с темными глазами, чуть не выкатывающимися из орбит, последний гляделся почти юнцом, но также пучеглазым, бородатым и носатым. Старик сказал что-то непонятное, ему так же непонятно отозвались, потом средний наклонился ко мне и произнес на языке, похожем на наш, но с чужими интонациями:

— Здравствуйте. Меня зовут Леон Сеговия. Я буду вашим переводчиком. Как вы себя чувствуете? И как вас зовут?

Я ответил помедленнее, чтобы он разобрал каждое слово:

— Меня зовут Андрей Семипалов. Я еще не знаю, как я себя чувствую. Не уверен, что смогу свободно встать и ходить.

Они в ответ радостно заговорили на том же незнакомом мне языке. У нас такой беспорядочный разговор называли бы галдежом. Я старался вникнуть в их слова, но не был уверен, что могу точно воспроизвести даже звучание, не говоря уже о смысле, настолько быстры и путаны были звуки, слагавшиеся в слова. Потом я узнал, что эти военные в больничных халатах просто радовались — ни один не был уверен, что язык, на котором со мной заговорили, будет мне понятен.

— Лежите, выздоравливайте. Завтра приду, — сказал Сеговия.

Все они поднялись и один за другим скрылись за дверью. Я закрыл глаза и постарался вспомнить, что совершилось со мной, когда я рухнул на пол кабины. Вспомнилась рука Гонсалеса, схватившаяся за пусковой рычаг. Я прислушался к своему телу — болит ли что? Ничего не болело, только впечатление было, что не лежу, а свободно подвешен в воздухе. Откинув одеяло, я осмотрел себя. Повреждений на теле не было. Я опустил босые ноги на пол, сделал шаг, другой. Ноги хорошо держали тело. Подобравшись к окну, я распахнул гардину. Солнце чуть не ослепило меня, глазам стало больно. У нас даже в пустыне, в извечном царстве жары, солнце никогда так не светит. Я прикрыл глаза рукой и посмотрел вниз. Вначале я не увидел земли. Напротив моего окна возвышался дом, он поднимался над моим окном этажей на двадцать. Солнце светило в проем между ним и другим таким же домом. Но вниз оба дома рушились бесконеч-

ной чередой этажей. Я попытался сосчитать этажи, идущие вниз, и сбился, перейдя первую сотню. Лишь потом я узнал, что эти два дома и тот, в котором меня поместили, имели по сто восемьдесят, по двести этажей, и научился видеть крохотных человечков, похожих на жуков, на узкой улице между домами и автомашины, казавшиеся спичечными коробками, ползущими по мостовой.

Солнце прошествовало проем между двумя домами, скрылось за соседним домом, и сразу стало темно. В окнах загорелись лампы, но сияние окон не высвечивало глубины провала между домами. Я отошел от окна и лег в постель. Меня мутило от усталости. Я не то уснул, не то потерял сознание.

Утром военный в халате поверх мундира принес мне поесть. Еда, в общем, была та же, что и у нас, но больше блюд и вкусней приготовлено. Особенно мне понравилась мутная сладкая жидкость со звучным названием какао. У нас такой не было.

После завтрака появился Леон Сеговия. Теперь я гораздо лучше понимал его. Было впечатление, что он за одну ночь выучил много наших слов, улучшил произношение. Он сказал, что на него работал лингвистический компьютер, он только запомнил те несколько сотен слов, какие извлек из многих миллионов, хранившихся в компьютерной памяти. Мне его замечательный учитель вообразился мудрым стариком, поседевшим на толковании древних текстов, — я уже знал, что этом мире господствует страшный порок: разноязычие. Но Леон Сеговия разочаровал меня — компьютер не человек, а машина, и в его электронной памяти хранится все словарное богатство тех четырех тысяч языков, какие употреблялись в прошлом и обычны сегодня. Я ужаснулся:

— Четыре тысячи! Да как возможно при таком излишестве языков какое-либо сознательное общение?

— Четыре тысячи, — повторил он. — И это не все существовавшие языки, многие пропали вместе с их народами, другие выродились, хотя народы сохранились. — И Сеговия успокоил меня: — Не думайте, что нужно знание всех языков, для общения достаточно десяти главных. Мы их называем международными. Образованные люди ограничиваются обычно тремя языками — родным и двумя международными.

— Все равно много, — возразил я. — И какая трата сил — изучать, кроме родного, еще несколько международных языков! Кстати, как вы открыли мой язык? Он, наверное, не из ваших

международных. Неужели хранился в памяти вашего всезнающего учителя-компьютера?

Дело обстоит именно так, объяснил Леон Сеговия. Когда меня поместили в больницу, я часто в бесспамятстве бормотал несколько слов, отсутствующих во всех международных языках. Компьютер перебрал весь словарный запас трех тысяч языков, пока, перейдя к последней тысяче, не наткнулся на малый, давно угасший язык, где произнесенные мной слова дали расшифровку: “Пить!”, “Болит бок”, “Дайте воды!”. Остальное было делом несложной техники. Призвали его, Леона Сеговию, майора по военному званию, профессора лингвистики по профессии, к тому же из того народа, чей родной язык в той же языковой группе, что и вымерший древний язык пришельца. Понадобилось, конечно, изучить все, что сохранилось в словесном хранилище от исчезнувшего языка. Он проделал это, пока пришелец лежал без сознания. Зато сейчас мы можем разговаривать свободно, не правда ли?

— Совершенно свободно, — подтвердил я. — У вас, вы сказали, звание майора? Мною интересуются военные вашей страны?

— Весь мир, не только мы. Но и мы, конечно. В вашем багаже нашли много оружия — и почти все оно нам незнакомо. Поэтому мы должны задать вам несколько вопросов. Кто вы? Откуда? Для чего появились у нас? Почему прихватили с собой так много оружия? Каков принцип действия каждого вида оружия?

— Я хочу прежде узнать, как и где я появился у вас?

— Мы подобрали вас на футбольном стадионе. Вы сломали ногу нашему форварду Майку Диксону.

— Разве я играл у вас в футбол? У себя на родине никогда не увлекался этим видом спорта. Вы сказали — я сломал ногу форварду? Я ударил его?

— Не вы, а он ударился о вас. Верней, не о вас, а об вашу... Короче, Майк Диксон мчался с мячом к воротам противника. И когда он замахнулся для удара, перед ним вдруг возникла ваша кабина. Она в мгновение материализовалась на пустом месте перед воротами, где метался вратарь. Все зрители потом твердили, что возникновение кабины было равнозначно чуду: не было — и вдруг стало. И Майк вместо мяча нанес удар по металлической кабине, она не шелохнулась, а он упал со сломанной ногой.

— Надеюсь, он поправляется?

— Уже ходит, но играть больше не будет. Кабину открыли, когда явилась военная полиция. Вначале было подозрение, что наши соседи подбросили по воздуху новую бомбу, ожидали взрыва.

— Воображаю, что происходило с публикой на стадионе!

— Невообразимо! Кто рванулся прочь, кто — на поле, чтобы поглядеть на кабину. Были стычки с полицией, та не подпускала никого. Когда прибыл командующий, разогнали всех и начали вскрывать кабину. Вы лежали на полу почти бездыханный. Теперь вы понимаете нетерпение всего мира? Столько дней прошло, а еще ничего не известно о вашей миссии... Можно так назвать ваше появление?

Я подумал, прежде чем ответить.

— Пожалуй, верно — миссия. Но дело такой сложности несколькими словами не исчерпать. Моему появлению у вас предшествовали долгие и бурные события...

Он быстро сказал:

— Все, что происходило у вас, нам очень интересно.

— Надеюсь на это. Но в одной беседе не расскажешь о том, что совершалось несколько лет. Передайте вашим руководителям, что я хочу подробно записать историю моего появления у вас, и только после этого буду готов к переговорам.

— Будете писать от руки, печатать на машинке или надиктовывать на магнитофон? Я покажу вам, как это делается.

На другой день он принес магнитофон и обучил обращению с ним. Так началась моя работа в новом мире. С утра до обеда я надиктовывал, что происходило у нас со дня, когда состоялось мое знакомство с Гамовым, после обеда выправлял напечатанный текст.

В вечерние часы я думал о Латании, о Кортезии, об Адане и других городах, о моей жене и друзьях, о Гамове и Гонсалесе. Передо мной проносились знакомые люди, я обращался к ним вслух, они отвечали. Я допрашивал их, допрашивал себя — как могло произойти то, что произошло? Все упиралось в Гонсалеса. Чем больше я думал о нем, тем меньше понимал его поступок. Он не любил меня, я с ним тоже не дружелюбствовал. Но ведь это не причина, чтобы выбрасывать меня в небытие из нашего мира? Он не был против контактов с иномиром, не опроверг и того, что Гамов по происхождению иномирянин. Ему не нравился уход Гамова на старую родину, другим тоже не нравилось вознесение, но ведь он согласился с Гамовым, как всегда во

всем с ним соглашался. Почему же он удалил меня? Что это было — обдуманная операция или импульсивный поступок? Хотел таким способом сохранить своего руководителя? Хотел отделаться от меня?

Еще я думал о Елене — как сложится ее судьба без меня? Раньше она никогда не заполняла моих мыслей. Зачем было тратить силы на размышления о ней — она всегда неподалеку, вспомнилась — бросай все дела и торопись к ней. Я никогда не бросал дела ради нее, дела касались миллионов людей, а она была одна. Я просто не имел права бросать множество людей ради одного человека только потому, что он мне близок. Я ставил долг выше привязанности, так это было. Я был плохим мужем, так мне сейчас думалось. И корил себя — она заслуживала лучшего спутника жизни. Я вспоминал Павла Прищепу. Если и существовал в мире человек, идеально ей подходящий, то это был он. Он влюбился в нее в юности, любил ее всю жизнь, ради безответной своей любви не сближался с другими женщинами — если и был для него свет в каком-то окошке, то в том окошке светили ее глаза. Я виноват не только перед ней, но и перед ним — он остался одиноким. Теперь все переменится, думал я. Теперь она, одинокая, склонится к нему. У нее не останется другого выхода. Он был моим другом, самым близким другом, он, оттесненный мной, никогда не переставал меня любить. Он успокоит ее одним тем, что искренне горюет обо мне. Рано или поздно она ответит на его любовь — и это станет ее счастьем.

Как ни странно, но я почти не думал о том, возможна ли помощь. Не пошлют ли сюда, в иномир, вторую кабину для моего вызволения? В первые дни такие мысли являлись, но сразу показались невероятными. Кабину для переброса в иномир оба физика создавали десятилетиями. Если примчится вторая, то через годы, а что произойдет со мной за этот срок? К тому же хронофизик Бертольд Козюра как-то обмолвился, что время в иномире течет гораздо быстрее, чем в нашем. Год в нашем мире, сказал он еще при первом посещении их лаборатории, примерно равен двум десяткам лет в иномире. Какая же польза для меня, если через год по-нашему, через двадцать лет по-здешнему примчится второй космопришелец? Меня уже не будет, а если и буду ковылять по земле седым старцем, то что толку отправлять меня обратно?

Зато я много думал о том, почему среди нескольких тысяч разных языков местного мира нашелся один, древний, почти погибший, но в принципе совпадающий с единым нашим языком. Это, конечно, не могло быть случайностью. Сеговия, рассказывая об истории их мира, привел и предание, что некогда у них внезапно исчез целый народ. Было землетрясение, потом пожары, потом потоп — и народ полностью пропал, даже следов пребывания практически не сохранилось. И вот я стал думать, что тот загадочный народ не пропал, а переселился в нашу, сопряженную со здешней, вселенную. И мы на своей Земле — потомки того исчезнувшего народа. Две сопряженных вселенных не просто статически соседствуют, а динамически передвигаются одна возле другой, то отдаляются, то сближаются. В какой-то момент случилось столкновение, взаимное притяжение вселенных вырвало из одной целый клочок вместе с населявшим его народом и перенесло этот клочок в другую. Так и произошел наш мир и наш одноязычный народ, распавшийся потом на несколько стран.

И еще я думал, что в мире, куда меня перенесла судьба, я могу найти себе полезное дело. Я вспоминал песни Мамуна, предания, изложенные Тархун-хором, рассказы Швурца и Козюры — во всех присутствовало появление пришельцев из иномира. Раз сведения о таких пришельцах бытуют, то Гамов не единственный пример. А если здесь не знают, что их могут посещать гости, то надо их просветить. Я сам убедительнейший пример такого иномирного гостя. И еще, думал я, существует какой-то, вероятно, естественный, стихийный механизм переброса, почему и появляются в нашем мире пришельцы, — надо этот механизм обнаружить, усовершенствовать и использовать для регулярной транспортировки из одного мира в сопряженный с ним. Вот задача для целой жизни, размышлял я.

От таких мыслей во мне загоралась надежда. Но все сразу гасло, когда я от мечтаний переходил к практике. Мне пока не сообщили, чего от меня ждут, и не поинтересовались, чего жду я. Я немного освоил местный язык, начал читать доставляемую мне газету и с удивлением узнал, что газета не сообщает правды обо мне. Люди интересовались, что с пришельцем из другой вселенной, материализовавшимся на стадионе, а им сообщали, что я по-прежнему лежу без памяти и лучшие врачи не могут привести меня в сознание. Хорошо уже, что пришелец не умирает, но это только благодаря героическим усилиям врачей, со-

крушено врал газета. А я в это время уже заканчивал книгу о войне между Латанией и Кортезией! Люди, державшие меня в уединении на 128 этаже военного центра, преследовали неведомые мне цели. Если в одну из их целей входит и желание умертвить меня после того, как вытянут все нужные сведения, то известия, что я нахожусь в беспмятстве, хорошо подготавливали для этого почву.

Передавая Леону Сеговия последнюю страницу — наш приезд в лабораторию двух физиков и предательство Гонсалеса, — я сказал:

— Вот и закончил я интересующий вас отчет о событиях в моем родном мире. В этой связи у меня к вам много просьб и вопросов. Главная просьба — хочу детальней ознакомиться с вашим обществом. Оно далеко продвинулось в сравнении с нами. Ваши исполинские здания, гигантские самолеты, столько населения... Нельзя ли поехать по вашей стране, познакомиться с людьми, посетить театры и музеи?

Леон Сеговия был подготовлен к тому, что я задам эти вопросы.

— Ваши просьбы вполне естественны, но придется подождать. Ваша книга вызвала большой интерес у наших экспертов. Ее с увлечением читают, делают выводы — каждый по своей специальности. Вы сказали, что наше общество далеко превосходит все, чего вы добились. Но есть области, в которых вы обогнали нас. Наши энергетики и понятия не имеют о таком источнике энергии, как сгущенная вода. А ваше умение командовать циклонами, создавать по желанию дожди и засуху! Один эксперт сказал: “Голова кружится, как подумаешь об их успехах в метеоиндустрии!” Не меньше восторга у механиков вызывают ваши водоходы и водолеты, а особенно необыкновенное ваше оружие — электробатареи, вибраторы, импульсаторы... Та страна, которая овладеет подобной техникой, станет господствовать в нашем мире. Поэтому мы и держим вас в изоляции и даем неверные сведения о вашем здоровье. Утечка информации о том, что мы нашли в вашей кабине, и о ваших знаниях, может стать губельной для приютившего вас государства.

— Приютившего или взявшего в плен? Оба определения меня не устраивают.

— Какое бы вы хотели?

— Я уже сказал — я ваш гость. И хочу, чтобы ко мне относились как к посланцу дружеского мира. Я прибыл к вам пока один...

— Надеюсь, ваш мир не готовит вторжения? — спросил он с беспокойством.

— Из последних страниц моей книги вы поймете, что у нас и не думают о вторжении. Но реальна перспектива регулярного общения. Я мог бы помочь наладить такое общение, если моя кабина сохранилась.

— Передам правительству ваши предложения и просьбы.

Я подошел к окну. Время шло к полудню. Солнце еще не появилось в проеме между двумя гигантскими зданиями, и улица пропадала в темной глубине. Я смотрел вниз, люди и машины там только угадывались, но не виделись. В противоположных окнах горели лампы. Меня одолевали сомнения. Все, что я говорил о себе как о госте в иномире — заблуждение. Я здесь не гость, а узник. Их мир разделен на противоборствующие государства — вражда куда сильнее нашей, ибо у нас не было разноязычия. Не хотят ли использовать меня для сведения своих внутренних счетов? Не держат ли меня в изоляции, чтобы я разрабатывал одной группе военных новое оружие против другой? Собираются воспользоваться моими знаниями, как козырной картой во взаимной убийственной игре?

И я с горечью думал, как странно повернулась моя жизнь. На своей планете я вместе с Гамовым привел наше общество, наконец, к вечному миру. А здесь мое появление подбавит огня в тлеющую борьбу, возможно, превратит скудный жар во всемирное пламя. Меня используют как пылающую головешку, брошенную в стог сена. “Великий миротворец!” — такой титул мне законно присвоили на родине. “Проклятый пришелец, творец истребительной войны!” — под таким названием мне войти в историю иномира. И мне примириться с таким поворотом? Или я уже не ученик Гамова?

Нет, думал я, нет! Я стою ровно столько, сколько реально стою. Узнать от меня больше, чем сам захочу открыть, никому не удастся. Усилить одну из групп для победы над другой — за кого вы меня принимаете? Есть хорошее слово, отвергающее все лукавые расспросы: не знаю! Не знаю ничего о наших механизмах, не знаю, для чего и как они применяются, понятия не имею, какова их конструкция! Вы же читали в моей книге, что кабина предназначалась не для меня, откуда мне знать, что в нее

положили для вневременного межмирового рейса. Не надо, я не из тех, кто страшится занесенного кулака. И смертью не пугайте, все должны умереть, какая разница — немного раньше или немного позже? Да, пытка ужасна, я, как и все вы, благородные господа, побаиваюсь боли. Но есть вещи непереносимей телесной боли. О муках пыток никто не вспомнит после моей смерти. Боль умрет вместе со смертью, но память о предательстве будет беспощадно долго, мстительно долго преследовать меня и после смерти. Что перед этим ваши награды за предательство, ваше избавление от пыток? Честолюбие, говорите? Себялюбие, утверждаете? Ну, и что? Честолюбие происходит от чести, любить свою честь — что может быть выше? Любить лучшее в себе, то, что полюбили в тебе другие, — вот мое самолюбие. И это фундамент, на котором я устанавливаю свое величие. Я и перед такой формулой не останавлиюсь — величие! И покажу величие вам, даже если придется извиваться под пытками палача.

Так я укреплял свой дух горячечными мыслями. Мой мозг пылал, рождая картины допросов, издевательств и пыток. Я почти реально переживал все, что воображал, — и всюду, во всех картинах, оставался тем, кем предназначил себе быть. И только устав, стал снова думать о другом исходе — может быть, правители этой страны склонятся на предложение о дружбе наших народов, может быть, увлекутся планами трансмировых рейсов. И тогда, передав им все, чего мы достигли, я совершу лучшее, что мог бы совершить, — и не будет больше причин горевать о неожиданной разлуке с родиной.

На другой день Леон Сеговия сообщил мне, что правительство готово выслушать мои предложения — надо идти в зал заседаний.

За порогом моей квартирки, из которой я ни разу не выходил все дни заточения, ко мне пристроились четыре охранника — два по бокам, два позади. На следующем этаже Сеговия привел меня в обширный холл, распахнул одну из дверей — около нее тоже стояли охранники — и пригласил:

— Зал правительства. Входите, пришелец из сопряженного мира.

В зале было полно сидящих людей. Все молча встали, когда я вошел, молча стояли, когда я проходил к указанному мне месту. Я позволил себе и некоторую свободу, чтобы продемонстрировать независимость. Вдоль торцовой стены на столиках под стеклом были выложены трофеи из кабины: пакеты с едой, от-

дельные механизмы и приборы, комплекты одежды и белья и особо оружие — переносные вибраторы, резонансные снаряды, тормозные жилеты и около десятка карманных импульсаторов с набором запасных разрядников. На полу у крайнего столика возвышался метеоаккумулятор с энерговодой. Я посмотрел на него и усмехнулся — уж этот-то механизм был излишним: в кабину не поместили — да он и не влез бы в нее — подвижный метеогенератор, а без него аккумулятор не мог ни вызвать настоящий дождь, ни даже убрать с близкого неба крохотной мороси.

Пока я обходил столики с трофеями, все в зале стояли и молча следили за мной. Вероятно, им казалось, что я, как хозяин всего этого добра, делаю оценку — все ли имущество в сохранности.

Сеговия указал мне на пустой столик с одним стулом, стоящий на некотором отдалении от выставки трофеев. Я сел. Теперь застекленные ящики с оборудованием кабины были позади меня, а впереди весь зал. Сеговия скромно присел у стены на свободное место с небольшим приборчиком в руках, вероятно, переносным компьютером.

В том же не нарушенном пока молчании я обводил глазами зал. Среди присутствующих были знакомые, приходившие ко мне в больницу, — в тех же мундирах, но уже без халатов. Но большинство сидело в цивильных костюмах. Люди были как люди, ни один не брал ни особой фигурой, ни выражением лица — сидели, молчали, смотрели на меня и терпеливо ожидали, что я скажу. И хоть их было много больше, чем бывало на Ядре, мне стало казаться, что я вновь веду важное заседание и буду указывать, кому и когда говорить. Наверное, это сказалось и на тех первых словах, с какими я обратился к ним:

Добрый день! Начинаем нашу встречу. Кто хочет слова?

1986-1987

Калининград - Комарово

Содержание

Часть первая
ПОРЫВ К ВЛАСТИ..... 5

Часть вторая
СВЯЩЕННЫЙ ТЕРРОР..... 103

Часть третья
ПЕРЕЛОМ 187

Часть четвертая
НАСТУПЛЕНИЕ..... 299

Часть пятая
ЧЁРТ НЕ НАШЕГО БОГА..... 435

Часть шестая
ОЧИЩЕНИЕ 575

Сергей СНЕГОВ
СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
Т О М 2

Руководитель проекта
П. Угроватов

Редактор
Т. Ленская

Оригинал-макет изготовлен
издательством «Редкая книга»
(г. Калининград)

ЛР № 071177 от 05.06.95 г.
Подписано в печать 09.09.96 г.
Усл. печ. л. 43. Изд. № 129.
Цена 35 000 р.
Цена для членов клуба 31 200 р.

Издательство «ТЕРРА»—«Азбука».
196105, Санкт-Петербург, а/я 192.

Книги издательства «ТЕРРА» можно заказать по адресу:
109033, Москва, а/я 66.

Scan Kreyder - 03.07.2017
STERLITAMAK

